

Дружба народов

8'90



ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал

орган
Союза
писателей
СССР

8'90

Дружба народов



М. СТРАТИЛАТ. Экслибрисы.

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ**

**ОРГАН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ СССР**

**Основан в марте
1939 года**

Адрес редакции:
121827 ГСП.
Москва, Г-69
ул. Воровского, 52.
Телефоны:
главный редактор
и первый заместитель
главного редактора —
291-62-27,
заместитель
главного редактора
и зав. редакцией —
291-62-49,
ответственный секретарь —
202-52-03,
отдел прозы — 291-63-63,
отдел поэзии — 291-85-10,
отдел публицистики —
291-63-54,
отдел критики
и библиографии — 291-05-09,
редактор приложений —
291-64-50

**Художественный редактор
Николай ПШЕНЕЦКИЙ**

**Технический редактор
Анна СЕЛИВЕРСТОВА**

Сдано в набор 08.05.90.
Подписано в печать
20.11.90.
Формат бумаги 70х108 1/16.
Бумага кн.-журн.
Гарнитура «Балтика».
Печать высокая
Усл. печ. л. 23,8.
Усл. кр.-отт. 26,25.
Уч.-изд. л. 30,00
Тираж 790 000 экз
(1-й завод 1 — 390 000 экз.)
Зак. 1955.
Цена 1 р 10 к.

Издательство
«Известия Советов
народных депутатов СССР»
103798, ГСП, Москва, К-6,
Пушкинская пл., 5

Ордена
Трудового Красного
Знамени
типография «Известий
Советов народных
депутатов СССР»
имени
И. И. Скворцова-Степанова,
Москва, Пушкинская пл., 5.

Дружба 8'90 народов

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей БАРУЗДИН
Первый заместитель главного редактора Александр РУДЕНКО-ДЕСНЯК

Ответственный секретарь

Акрам АЙЛИСЛИ
Ануар АЛИМЖАНОВ
Лев АННИНСКИЙ
Альгимантас БУЧИС
Василь БЫКОВ

Игорь ЗАХОРОШКО

Наталья ИВАНОВА
Анатолий ИВАШЕНКО

Наталья ИГРУНОВА

Юрий КАЛЕЩУК

Николай КАРЦОВ

Алим КЕШОКОВ

Юрий КИРШИН

Григорий КОРАБЕЛЬНИКОВ

Георгий ЛОМИДЗЕ

Елена МОВЧАН

Рафаэль МУСТАФИН

Леонид НОВИЧЕНКО

Борис ПАНКИН

Вардгес ПЕТРОСЯН

Тимур ПУЛАТОВ

Юрий СУРОВЦЕВ

Леонид ТЕРАКОПЯН

Зам. главного редактора

Бронислав ХОЛОПОВ
Константин ЩЕРБАКОВ

***В 9-м и 10-м номерах
читайте новый роман Анатолия Рыбакова
«Страх».***

***Это вторая книга дилогии
«35-й и другие годы»,
продолжение «Детей Арбата».***

Из книги
«Поле—Россия»



это ведь очень давно
и другого
нет — Слава Богу! —

И СЛОВНО
какое-то счастье
(этого
может быть
места)
болью (особенно «чистой»)
болеть начинает:

о в благодарном
(«до слез»)
состояньи! —

и в тишине (словно духом
 блуждаешь
не понимая — и мирен
с непониманьем) — о в этом! —

В ТАКОМ ВОТ СИЯНЬИ:

березы

поблескивают
 (самое
 будто
 в этом-то и происходит
 Значительное) —

веет же — скажешь-не-можешь —
о веет же
веяющий всюду! —

(и в зыби
тем более
поверхности круга-холма
словно чуда) →

и тени
спокойною
«чьей-то» молвою
свою полноту
(как душа)
сохраняющей
(и-дарственно-и-невторгаемой) —

поле оттеняют

1980

я дома на земле
мне ничего не надо
а малости хотел бы:
страдания живого! —

(вдруг понимаю: лишь народ
огромный
взрывает-дарит — одному-другому
страдания жар: пылай же им
отдельно
а боль как дар — семьи:
и этим мы — сосед еда и брат! —

а свежесть
та
народом называясь —

как кровь твоя
рука
и грудь
не оставляет и живет-живит:

искрится-отдается
взрыв-и-спаянность

С пением: к завершению

А. Назаренко

колыханьем лесного подола
ушла вереница — с улыбками были — исчезла
с собой уводя и напев
шагами ушла — колыханием некого дела руками
дрожание края лесного
мне оставляя уже ненадолго:

— нет не взорвется ничто я спокойствием буду задушен:

боже какой это Бог мой спокойный
так на виду затихать! —

просто такими простыми
из света из глины покровами кровь укрывая:

в лес заблестеть — доискриться как в мареве
в том что одной светокостью осталось
слабо маячить мне лицами:

землю рожавшими! — небу:

(здесь мне забыть и о бедных вещах мне беднее молчать: эта
сила как вещи ненужные даже слаба умирать: это ветер
шуршит в разрушеньях давно — даже крови не нужно:
пролиться как знак! — и такой уж пустырь — равнодуш-
ное око! — и будет землею все более — дню):

и значит пора отосниться
больше чем Богу покоя:
призраку света пора отосниться
свету отсутствия лбов — огневыми раскатами
нас открывавших:

что ж? допоем: ничего не предвидится
значит еще как воде отосниться
«о вереница» ходьбе-веренице:

— Боже прими за живое хотя бы такое:

о отосниться (и лес закрывается):

слабостью тихой слезе-веренице! —

вам — недопевшим

1983

Песенка для нас с тобой

а беда-то у нас — в пять копеек ценой! не назвать
и бедой

и не ходит — едва семенит
и не ломится в дверь — за дорогой шуршит
да не тень — будто полость пустая в огне!
только в том вот беда что хоть горя и мало
будто рядом — с какою-то меткой!.. — и неким тряпьем
нехорошим

(да уж как-то живьем) шевелит
и еще — как подобие вздоха!
да не оглянись:
ибо может в такое-то время
больше Бога сказать (а быть может и сказано)
и давно ожидая дрожит

1983

Улицы и овраги

М. Фонфрег

из островков
(все мне)
то лето состояло:
я говорю: цветы: и островок и снова
другие — влажные слезами: там
на улище
и где-то за оврагом
и каждый — проходя душою — мой
(такое шелестенье видимое):
был — друг живой (объяття промельк гибкий
от образа
еще плеснет
не раз)
был — будто рядом Анненский
и детством в фартучке пришедшая мне девочка:
вот так и излучалось
вздрагивало
родное мне!.. — и очень живо взглядами
общенье
в тишости моей
мерцало:
я жил в провалах белого... — и сном
я проходил — как время

1983

И: место — давнего знака

а то что однажлы	(прозрачного душами —
мелькнуло — как будто виденьем:	будто единым:
— при свете закатном	ветром — особым) —
кланяющейся головы красота —	
(добром ли творилась	о — продолжаясь:
творила ль добро) —	
остается — сиять:	(давно уже нет никому
	даже веянья дара — и видеть
там — где когда-то народ	и помнить) —
был — полем а место:	
	в мире (да хоть отмененном) —
головы-излучения:	среди Поля-России:
— серединою миропространства! —	кланяющейся головы красота

1985

Джума Ахуба

Кто бросит камень

Р О М А Н

С абхазского.

Перевод

Гелия Ковалевича



С тропы своей ни в чем не сступая,
Не отступая быть самим собой,
Так со своей управиться судьбой,
Чтоб в ней себя нашла судьба любая
И чью-то душу отпустила боль.

А. Тварговский

Адица...

Вывел на бумаге твое имя и долго разглядывал, удивляясь, словно птенцу, только что вылупившемуся из яйца. О чем я только не думал! Потом зачеркнул — несколько раз. Так что ни одной буковки невозможно различить. Не потому, что хочу забыть твое имя: не знаю, с чего начать. Живет в нашем поселке человек по прозвищу Черный Ворон. Личность известная... Может, с того и начать, как мы с ним встретились? Встретились, гонимые ветром, древесный лист с побережья и с горного склона...

Но тебе будет трудно понять. Лучше — как танцевали на свадьбе у Чокнутого... Но ты скажешь, что я бессердечен, если в моей памяти остался твой смех, а не слезы.

Ладно, начну с сегодняшнего дня. Обычный, будничный день. Воеет циркулярная пила, разрезающая на доски огромные буковые стволы, которые не обхватят двое мужчин. И вдруг — тишина... Ругань бригадира, что-то неразборчиво выкрикивает снабженец Фриц (это я его так прозвал, настоящее имя потом скажу). Его голос раздается в цехе, как в пустой бочке. Наверно, оправдывается. «Полетели» зубья пилы, то ли на гвоздь напоролась, то ли на стальной осколок, засевший в стволе... Фриц стоял под электрической лампочкой, щеки и подбородок влажно лоснились. (Он обильно потеет — и в жару, и в холод.) Я захлопнул дверь будки, где сидел мой Дамш. Чтобы пес не накинудся на Фрица.

А бригадир все орал:

— Сколько раз говорил, не рубить в тех местах! Нет такого дерева, чтоб без осколка от бомбы... Посмотри, что с пилой! — Он задышался от злости. — Чтобы дать план, готовы оголить всю Абхазию, рубить направо и налево — куда достанет топор.

Фриц, поставив ногу на бревно и поглаживая живот, снисходительно улыбается: мол, кричи сколько влезет.

Я сижу перед входом в цех за сколоченным из досок квадратным столом. Утром выпил немного, но хмель уже развеялся.

Говорят, что выпивка растравляет душевные раны. А я после первого стакана забываю о всякой тоске, будто и солнышко ярче светит.

Доносится шум моря. Не переставая, дует пронизывающий ветер. Осень. Чем больше распилим, тем меньше останется лесов. А чем их меньше, тем свободней ветрам.

Журнальный вариант.

Цьума Ахеба. Ахахе зыршәуа (абхаз.)

Итак, начало ноября. Всего два месяца, Адица, и из нашей жизни уйдет еще год. А к нашим годам прибавится новый... Ладно, не буду об этом. Но как же не напомнить тебе, не упрекнуть: если сейчас шестьдесят пятый, то, стало быть, ровно двенадцать месяцев, как я покинул Апсару. Ну, пошути, сделай серьезное лицо и пошути: «Почтим сей прискорбный факт минутой молчания!»

Есть такое абхазское выражение: о человеке, заблудившемся в лесу, говорят — он вывихнул себе плечо... Потому и кружит вблизи одного и того же места. Надеюсь, тебе понятно, что хочу сказать. Может, понятно и Мери? Надо ее спросить.

Год, как я ушел из Апсары. И пять лет нашей разлуке. Я тебе причиняю боль, напоминая о Том Дне? Но Тот День, То Утро, То Воскресенье... Как я их помню! Да, было воскресенье, утро солнечное, без единой тучки на небе.

В то раннее утро ты послала ко мне нашу соседскую девочку. Где ты нашла ее? Теперь-то знаю, почему сама не пришла. А тогда очень удивился. Что это, гордость, небрежность, подумал я. Если бы зашла, как всегда, отворив калитку... Если бы! Наша собака бросилась бы к тебе с радостным лаем. Подумаешь, раннее утро! «Забыла, что задали в школе». А можно бы ничего не выдумывать. Когда это мой отец или мать спрашивали, зачем ты пришла? Отец, улыбаясь, поцеловал бы тебя в лоб, а мать пригласила бы в дом, ласково прикасаясь к твоим плечам.

Ты же осталась за воротами. Стояла, прислонившись спиной к забору. словно не хотела видеть моих стариков. Это было оскорбительно и по отношению ко мне, я был в растерянности. Не мог понять, что это значит. Я разозлился. И я не сразу вышел к тебе. Даже решил не разговаривать, когда в понедельник увидимся в школе. Но, оказывается, сам черт смеялся надо мной!

Кто споткнулся утром, до вечера спотыкается. Один грех порождает другой. Когда в понедельник узнал о твоём внезапном решении, я понял (а как иначе мог бы тогда это расценить?), что значит твоё нежелание войти в мой дом — ты заранее знала, что поступишь со мной так, как поступила, и тебе попросту было стыдно.

Ты прислала соседскую девочку, чтобы тайком вызвала меня за ворота. Я был тебе очень нужен...

Помнишь, как я растерялся? Я всегда считал себя простаком, и, наверное, мое лицо выглядело глупым. Стоит и моргает, недотеха. А ты говоришь... и до меня не доходят слова. словно бычка ударили обухом в лоб. Я оглох... Прости, неловко выразился. И все-таки думал, что испытываешь или шутишь. Когда ты заплакала, я не попытался успокоить.

— Алиас, мы должны расстаться... Другого выхода нет.

— До завтра?

— Нет, совсем.

— Ты что, — удивился я, — в космос собралась, как Гагарин? Может, плохой сон приснился? Но, когда тебе снится плохое, мне, наоборот, хорошее. Будто мы с тобой уже старые-старые, ковыляем еле-еле по отцовскому двору... Внук принес стакан воды, мы заспорили из-за этого стакана, и тут я проснулся.

И, знаешь, никакой горечи не испытал, когда ты сказала: расстаемся. Уезжает твоя мать? Понятно. И ты вместе с ней. Но нет, тут же подумалось мне, ведь ты заодно с теми, кто настроен враждебно к этой женщине. Как же тогда уедешь? Это невозможно!

А помнишь, Адица, нашу единственную ночь?

Говорят, есть птица, которая поет раз в жизни. Зато какая песня!

Вот и мы спели свою песню...

Наверно, я отдам это письмо Мери, нашей общей подруге, «нянечке нашей любви», как ты ее называла. А она передаст тебе. Как прочитаешь, брось в огонь. Много злого, тяжелого в письме, пусть сгорит,

в дым превратится. А память сохранит хорошее... Память не сотрешь, не сожжешь в огне. Разве что время потрудится...

Старый пастух Гудиса рассказал мне одну сказку.

Будто бы лишь сутки в году мы принадлежим сатане, остальными же ночами и днями нашими правит создатель. Пусть так. Но для меня все наоборот. В тот год словно черт вселился в меня. Но сам господь протянул мне руку! Дал силы, чтобы выжить.

Я не верил тебе. Глупец, где были мои глаза? Видел твои слезы, видел, но как легкомудро, как самонадеянно решил, что причина не во мне и тебе. Подумал: «Это из-за матери, она всему виной!» И не стал утешать. Что за привычка у апсарцев соболезовать по любому горькому поводу!

В понедельник, едва вошел в класс, окружили, стали расспрашивать: что произошло? Никто не верил, что взяла и вышла за Маджгану ни с того ни с сего.

— Чем ты ее обидел?

— Алиас, если виноват, извинись перед ней.

Одна из девушек сказала безнадежно:

— Нет на свете любви...

— Всех оскорбила! Ты знал, что она собирается за Маджгану?

Удивись, но я ответил, что знал. И давно!

— Ну, артисты! — пораженно воскликнул кто-то. — А мы-то верили...

— Может, просто поссорились?

— Если б поссорились! Гляжу, после уроков идут преспокойно вместе домой. Она к себе в поселок, а он провожает. В субботу!

— Я еще ему крикнул: эй, Алиас, ты не спутал дорогу?

— А я вам точно скажу: Адицу увели. Слушай, тебя оскорбили, а ты терпишь! Один не можешь — позови нас на помощь.

— Да никто насильно не уводил, сама пошла, — беспечно отмахнулся я. — И хватит об этом. Хотите, сами у нее спросите.

Тут вошел учитель, и меня оставили в покое.

Почти весь урок я просидел в оцепенении, глядя в окно на цветущие сливы и алычу. Было солнечно, голубые тени бродили по земле. Потом стало расплываться перед глазами, вспыхнули и распались какие-то сверкающие паутинки...

— Алиас, что ты там увидел в окне? — раздался голос учителя.

Весь класс повернулся в мою сторону. Я молчал, смагивая слезы.

— Что с тобой?

Михаил Алексеевич, он преподавал историю, смущенно покашлял и поправил пустой рукав, заправленный за ремень.

Я открыл парту, чтобы забрать портфель. На крышке было вырезано твое имя... Когда проходил мимо Мери, она сунула мне скомканный носовой платок.

— Извините, — пробормотал я и плотно притворил за собой дверь.

Если б знал тогда хоть четверть того, что знаю сейчас, я бы понял, куда идти и что делать!

...Пришлось на несколько дней прервать письмо. Если скажу, что для меня большой праздник таким вот способом общаться с тобой, то не верь. А когда в самом деле пришел праздник, ей-богу, не без удовольствия отложил перо и предался веселью и, кажется, вовсе забыл о тебе. Ничего не поделаешь, Адица, жизнь есть жизнь.

Подвели итоги квартала, и всем отвалили премии в размере месячного оклада. За перевыполнение плана. Больше положенного вырубили и распилили. А кого это волновало? Только мой отец горько пожал плечами. Греетесь, подпалив собственный дом, сказал он.

Нет, не умеем мы ценить добрых людей! Это я о себе и о Дамше. Ненавидим Фрица, глаза бы его не видели, гада. А если б не он, то

и премия улыбнулась бы. Теперь лишняя копейка завелась. Договорились с хозяйкой, у которой снимаю угол: все, что попало в мой карман сверх зарплаты, это, извините, мое. При общем котле и постели... Живем под одной крышей, а женщина она молодая...

С ребятами из цеха пошли в столовку обмыть премию. Нас было трое. Посидели ничего себе, я уж собирался рассчитаться, когда появился Фриц. Улыбается, гад, спрячьте свои рубли, говорит, я расплачусь. Ребята подмигивают мне, дескать, у него денег куры не клюют. Я, само собой, в амбицию. Не потому, что такой щедрый, если откровенно. А Фриц, как увидел, кто держит стол, тут же спрятал свои денежки. Вот и спрашивается: кому хуже, ему, этому Фрицу, или мне?

Чтоб мой дурацкий язык шилом проткнули, надо ж было сболтнуть: Фриц! Его теперь все так называют. Меж собой, конечно, за глаза. И он знает, от кого пошло.

Дамш и моя хозяйшка ничего не имеют против, когда я с приятелями выпью стакан-другой и «по земле начинает кататься яичко»¹. Дамш рад, что я в хорошем настроении, стало быть, пристегну поводок к ошейнику и выведу гулять. Буду смотреть на горы, в сторону нашего села. Постепенно мною снова овладеет тоска... А Дамш, облюбовав какой-нибудь куст, поднимет заднюю лапу, я отпущу его, будет носиться по двору — у него свои радости. Женщина, у которой я пристроился, тоже довольна, когда малость подвыпью: обоим начинает казаться, что у нас настоящая любовь.

Прости, Адица, за эти подробности. Где я остановился?..

Понедельник, последний школьный урок... Я вышел из класса, сжимая платочек, который сунула Мери. Учитель окликнул из окна, когда я брел по двору. Я даже не оглянулся.

Между мной и тобой, Адица, пролегло черное воскресенье. А в субботу, помню, ты весело выпорхнула из школьных ворот — чтоб больше не возвращаться. Тебе было очень весело.

Вот и я вышел за ворота, слезы застилали глаза... Напротив, через пыльную площадь, наш сельмаг, возле которого убили человека. Я смотрел на крыльцо магазина, на то, как пылит ветер, смотрел пустыми глазами, будто ничего здесь и не произошло!

С тех пор все эти долгие пять лет... Но сначала о том, что заставило меня взяться за письмо. Прежде и в мыслях не было напомнить о себе. Что это даст, зачем? Не то что ей писать, думал, встречу случайно — сделаю вид, что не заметил. Отомщу, причинив ей боль. Иного она не заслуживает. Все, кончено! Поставил точку. Даже если узнаю истинную причину твоего отступничества, не перемену решения.

И вот тем не менее пишу... Что-то, значит, изменилось. И во мне самом, после того как окунулся в жизнь и стал кое-что понимать. Да и многое прояснилось. И захотелось, чтоб и ты знала, что узнал я. А тут еще Мери... Как-то встретились, я сказал в шутку:

— Мери Мери, нянечка любви моей!

— Нянечка не сумевшая воспитать ребенка.

Печально так ответила...

Отец говорит: зверей, деревья, травы, жуков, человека породила одна природа-мать. Зверю хорошо, когда сыт. Дереву — когда его корни в доброй земле. оно радо влаге и солнцу. Человеку же всегда чего-то недостает. И жить он не может без какой-нибудь малой малости... Я смотрел на Мери и вспоминал эти отцовские откровения.

Мы с Дамшем вошли в местный магазин. Я знаком со всеми девочками-продавицами из книжного отдела. Люблю детективы, и они мне оставляют. Всегда ношу с собой либо шоколадку, либо припасая букетик цветов. Поверишь ли, одариваю с удовольствием. Ни в одну из них я не влюблен, хотя все они славные девочки. А просто так. Приятно дарить женщине цветы. Видишь, какое качество я в себе обнаружил!

¹ Абхазское выражение, означающее состояние полного благополучия.

На этот раз достался Жорж Сименон. А уж обрадовался: вдруг Конан-Дойль? Разворачиваю бумагу — нет, опять Сименон... Ругаю, но прочитываю от корки до корки.

Выхожу на крыльцо с Сименоном, подъезжает «Победа» цвета жухлого дубового листа, за рулем парень лет тридцати. Оказалось, муж нашей Мери. Тут же нас и познакомила.

Я сразу же определил по шуму, что не все ладно в моторе.

— Так исправь! — попросила Мери.

Я покачал головой: поклялся, никогда не сяду за руль и вообще близко к машине не подойду.

Почему — этого не сказал.

Смотрел на Мери и удивлялся. Щечки розовые, глаза блестят, прямо-таки светятся. Брови вразлет... И вот о чем подумал. О плодородии. Есть благодатные почвы. И есть женщины, которым богом дано рожать и быть матерями. С каждым новорожденным они становятся краше. Мне показалось, что Мери даже ростом стала повыше. Где ее девичья сутуловатость? Стройна, невозмутима, и сколько женской стати! Известно, счастье каждый по-своему понимает. А у Мери все ее счастье в плодородном чреве, да заткнет уши дьявол при этих словах.

Она обняла меня за плечи и отвела в сторону.

— Слушай, где ты пропадал, мы тебя совсем потеряли? — и словно судья заглянула прямо в глаза. Меня аж жаром обдало. В первое мгновение я не о тебе вспомнил. Адица, не о тебе. Об Алхасе я подумал — уже не знает ли Мери, что у нас с ним стряслось? И отлегло от сердца: совсем о другом она спрашивала. Будто бы ты мной интересовалась, где я и что со мной...

— Да убери ты его! Что такое, как пенсионер, ходишь с собакой!

— Он не тронет! Дамш, подойди, познакомься! — Я потянул за поводок. — Так, хорошо. Умница, Дамш!

— Господи, этот несчастный разговаривает с собакой, как с человеком! Неужели больше не с кем?

— Единственный, кто не солжет и не предаст. А знаешь, что мне сказал Дамш? Верь этому человеку, он добрый.

— Сто лет не виделись, а он о своей собаке! Что с тобой случилось?

— Ничего примечательного, дорогая Мери. Все самое обычное. Жил-был некий паренек-дурочок, взял и бросил школу. Сам себя наказал. Когда в последний раз открыл крышку парты, увидел вырезанное имя и заплакал... А можно посмеяться. Посидел дома сиднем и ушел в горы с пастухами. В горах отстал сатана от его души... Потом — армия. По возвращении работал в колхозе. Надоело — сбежал. Тоже ничего необычного. А сейчас вот гуляет с собакой... Ты заметила, Мери, как обеднела наша Апсара с моим уходом?

— Перестань болтать! Ты же знаешь, как мы все относимся к тебе. Я еле-еле тебя нашла. — Она смотрела на меня пристально и осуждающе. — Ты сдался! — И подняла обе руки. — Сдался, отошел в сторону, спрятался.

— В тебе говорит женская солидарность. Женщины всегда заодно. Лучше взгляни, что выделывает Дамш. Поглаживает хвостом твои стройные ноги... Вообще можешь мне говорить все что угодно. Считаешь, я недостойн твоей подруги?

— То, что я знаю об Адице, тебе во сне не приснится. Нет, удивляюсь твоей слепоте...

— Мери, скажу только одно: перед твоей подругой моя совесть чиста. Она нечиста в другом. Но это вас с Адицей не касается.

— Слушай, когда ты родился? В каком столетии?

— На следующий год по возвращении отца с фронта. Что доказывает, что я действительно его сын. В тысяча девятьсот сорок третьем,

— Скорее во времена нашествия Наполеона. Да так там и остался! А нынче, чтоб ты знал, в особой цене лишь здравый смысл.

— Ну да?

— Зла на тебя не хватает! А так любила, как родного брата.

— Мери-Мерика-Америка... Ты становишься все красивее, чем тебя кормит муж? — Я вовсе на нее не обиделся. Она уверена, что во всем права. И не надо ее переубеждать. Апсарские старики говорят: невинного не склюет Черный Ворон. — Что было, то было, — сказал я, — и кончим на этом. Что нового в Апсаре? Никто не помер? Больше никого не убивали?

— Кое-кто из стариков, а так... Тебя уже не было в селе, когда Алхас вместе с машиной сорвался в пропасть?..

Вот оно как припирают к стенке! Неожиданный вопрос — и преступник теряется. Он в ловушке, конец. Я наклонился к Дамшу и поглядел его. Чуть было не вырвалось: «Если б не беда с Алхасом, я бы никуда не уехал!»

— Ладно, Мери, всего. Иди, муж заждался.

— Я хотела тебе сказать...

— Когда спросили сатану, почему он стал сатаной, он ответил, что осатанел, узнав больше самого господ бога. Если б и ты знала, что я знаю, тоже сбежала б из этой Апсары.

— Напиши Адице.

— Вот уж чего не ожидал! Выходит, не один я изменился. И всего лишь за пять лет! Ну, а через десять вообще друг друга не узнаем! Советуешь черкнуть письмецо замужней женщине...

— Именно. Вспомни наш последний разговор. С Адицей ты так не разговаривал.

— Ты ищешь правду, я ищу правду. Все мы чего-нибудь ищем. А старуха с косой ищет нас! — пошутил я.

— Чего я ищу, ты позже поймешь. Напиши ей обо всем. Плохо, когда люди не понимают друг друга. Даже те, кто разошлись, если поговорят по душам...

— Эх, Мери, Мери, да разве они бы разошлись, если, как ты говоришь, по душам?.. Стали бы сталкивать друг друга с кручи, вместо того чтобы отбросить ружья?

Мери пошла к машине, и Дамш увязался следом.

Я окликнул:

— Скажи, а ты счастлива?

Приостановилась. Вновь подошла ко мне. Походка и взгляд ответили на мой вопрос. Но я хотел услышать.

— Да! — И, понизив голос, сказала: — Счастлива. Только не думай, что он свалился с неба прямо ко мне за пазуху.

Она испытующе смотрела, нахмурясь: понимаю ли я?

И я кивнул.

— Значит, напрасно говорят, что счастье притупляет рассудок.

— Спасибо. Еще раз напоминаю о просьбе. Иначе дружбе нашей конец. Напишешь — передай ей или мне. Договорились? А не знаешь, в этом магазине есть детские коляски?

Я пожал плечами.

— Мне она вряд ли будет нужна. Но я рад за тебя, Мэри, что хоть ты счастлива.

— Будешь и ты, если поумнеешь.

Из магазина она вернулась ни с чем.

— В вашем заводском поселке что, детей не рожают? Продавщица говорит, колясок в глаза не видела.

Открыла дверцу машины и, садясь, взъерошила волосы мужу.

— Ты не ревнуешь? Болтаю с чужим мужчиной... — Высунулась, подмигнула мне: выше голову! — Теперь знаю, где тебя искать. Не забывай о моем наказе. Пока!

Я слабо махнул рукой.

Стоял с Дамшем возле крыльца и думал, что счастье — вещь дефицитная, на всех никогда не хватит. Слава богу, хоть верим, что оно существует. Мери, Мери... Злые завидуют, а добряки неудачники отогревают душу у чужого костерка. Мери.. Когда мы все состаримся, она останется такой же молодой и беспечной. Развалится крепость — скажет: ну и хорошо, еще лучше построят. И внезапная мысль пришла в голову. Может, она и Адицу упрасивала мне написать? А цель? Чего добивается?

Впрочем, и я ни к чему такому не стремился, когда стал распутывать узелок за узелком... Правду искал? Она тоже правду, ничего, кроме правды. Только писать Адице бессмысленно. Да и подло — замужней-то женщине. Мало мне старых грехов!

По дороге домой, держа под мышкой завернутую в газету книгу, я вспомнил одну из наших с тобой встреч. Непонятно, почему именно эту... на похоронах твоей матери... Извини. Мсыгуды. Я стоял в стороне. Ты, Адица, сама подошла. У тебя горе. думал я, зачем еще прибавлять? В душе человека не разберется и создатель, куда же мне, бедному! Когда размышляю о себе, такое зло берет, так бывает противно. что только... посмеяться. Тебе это знакомо? Лучшее лекарство от всех горестей — посмеяться над самим собой. Какая-то нелепая, запутанная жизнь... Знаешь, я ненавижу твоего мужа Маджгану, как может овца ненавидеть волка или трава огонь, вижу его с тобой и еле сдерживаюсь, чтоб не броситься, не сбить с ног! А тогда, в день похорон твоей матери (опять вырвалось невольно — матери), в день похорон Мсыгуды, его не было и я с наслаждением и яростью твердил себе: вот кого она выбрала, бессовестного, ничтожного человека. Скажи, чего бы я больше хотел: видеть его рядом с тобой или чтоб стигнул он? Не пришел оплакать ту, что родила тебя, видимо, посчитав ее недостойной слез. Можно подумать, сам безгрешен, как младенец!

А кто он, как не убийца? Убить, затоптать любовь в человеке... Прости, Адица. Я не должен так говорить о твоём муже. На похоронах, подойдя ко мне, ты поблагодарила за то, что явился, один из всего села.

Ждала от меня каких-то слов... Нет, Адица, в твоей благодарности я для себя ничего не искал. И не поверишь, если скажу, что хотелось увидеть в тебе: ложь! Все обман — и заплаканное лицо, и горе... Все напоказ! А ты продолжала:

— Кто-то прислал такси... Наверно, сосед этой несчастной, дай ему бог здоровья. Я никого здесь не знаю. Расспроси, кто он. Надо вернуть ему деньги. Покойная оставила и на похороны, и на поминки...

Пообещав, я попросил сохранить для меня некоторые фотографии, которые были у Мсыгуды.

— В ее комнате справа от двери стоит сундучок. Там письма, бумаги. И фотографии.

— Хорошо, Алиас, если они тебе зачем-то нужны.

И отошла.

А откуда мне известно о письмах и фотографиях? Ты подумала об этом? И другое. Как умирала мать, кто был возле нее, какими были ее последние слова? Ты знаешь?

Как-то отец рассказал мне нечто, похожее на притчу... послушай. Идет путник по дороге, пыль, зной нестерпимый. И ест персик, срезая ножиком кожуру. Съел, а косточку бросил... Он, этот путник, прохожий. Больше здесь никогда не ступит его нога. Съел персик и подержал на ладони морщинистую влажную косточку. Подумать бы ему: бросить в пыль — затопчут. Леня закопать, так хоть в придорожную канаву швырни. Может, и примется... Не ты, так твой сын сорвет сочный плод.

Отец часто повторял эту притчу. И при тебе, Адица. Только ты

не поняла и забыла. А я не забыл, как отец поглядывал на тебя... Послушать бы эту сказочку твоему Маджгане, он бы сообразил что к чему.

И еще скажу.

Зачем верующий исповедуется? На что надеется? Участь его решена. Прошел свой путь до конца... Он исповедуется, чтобы о его опыте задумались те, кто останется жить.

Если ты когда-нибудь, проходя мимо моего дома, завернешь узнать, жив ли он, твой бывший... Кто бывший? Друг? Любовник? Бывший знакомый...

Нет, лучше так. С пригорка возле Апсары видно море. А в ясную погоду и корабли. Черный дым, который тянется вдаль, это из трубы нашей лесопилки. Давай вот что сделаем. В день твоего рождения в условленный час я дам гудок в твою честь. Как я это сделаю, моя забота. Ты услышишь... Но это, так сказать, лирика. Ведь вы с Маджганой будете строиться. Милости просим! Достанете материал — хорошо, нет — поговорю с нашим «снабженцем», привезут лес, напилем и для вас. Знаю, с кем поладить, кому в карман сунуть. А вернется из заключения твой брат Бадз, ему свой угол понадобится... Хотя вряд ли, отца он не сможет оставить одного.

Бадз...

Вспомнил о нем, и все встало перед глазами, словно вчера случилось...

Еще и месяца не прошло со дня полета Гагарина. Пышно цвели плодовые деревья, и, будто радуясь силе, шумя на всю Апсару и пенясь, спешил к морю Чагир. «Из земной зеленой колыбели человек поднялся в облака!» — на переменах важно читал свои стихи наш поэт-одноклассник... Старики, сроду не державшие газеты в руках, ходили с гордо скинутыми головами. Иные покручивали усы.

— А что он говорит, который побывал на небе? Не встречал там господ бога?

Когда на площади прозвучал выстрел, прошла половина урока истории, мы повскакивали из-за парт и бросались на улицу. Михаил Алексеевич всех вернул и, пока не унесли убитого и не разошлась толпа, не выпускал.

— Человек впервые полетел в космос, а мы, апсарцы, так и остались дикарями, — с болью в голосе сказал он.

Эта наша последняя весна... Что станет с родником, если его взбаламутит поток? Пройдет не один день, прежде чем грязь осядет. Выстрел точно грязью обдал наши души.

Если помнишь, это было во вторник. Не только день и какой был урок, помню даже, о чем думал в то время. Ты замечала, когда принимаются рассказывать о каком-либо примечательном событии, хорошем или плохом, то начинают обычно с того, что предшествовало ему: что делал, о чем думал, какая была погода. Потому что жизнь как бы надвое разделилась. На «до» и на «после».

О чем я думал?..

Мы с тобой идем по городскому парку, гуляем. Я качу перед собой детскую коляску. Ты и я взрослые люди. Нет, уже пожилые! Переглядываемся с улыбкой, радуясь на внука... Когда в тот день я сквозь слезы смотрел в классное окно, в белой цветущей алыче мне виделась ты в подвенечной фате.

Ты сидела за второй партой. А я в самом последнем ряду, ведь был на год старше вас всех. В восьмом классе целый год проболел, и ты догнала. Да, я сидел в последнем ряду, и это к лучшему: когда открыл крышку парты, никто не увидел твоего имени, вырезанного перочинным ножом.

И вдруг — выстрел! Ударил возле уха. Выстрелили всего один раз. И наступила тишина. И в этой тишине пронзительно заголосила женщина, словно убили ее отца или сына... Я и сейчас не знаю, кто она.

Больше всего нас напугал ее крик. Мы повалили на улицу, учитель не смог остановить. А потом он сказал, что мы дикари. Все, до единого. Ты в класс не вернулась, поэтому не слышала. Тебе называли имена убитого и убийцы или сама догадалась?

— Уходи, тебе нечего здесь делать! — крикнул мне отец. Откуда он появился? И почему в бурке и башлыке? Я хотел спросить... и вдруг поразило: как он спокоен! словно ничего не случилось. Ничего, ровным счетом!

Вынесли из магазина какую-то белую ткань и, как простыней, накрыли лежавшего в луже крови. Кто-то протестовал:

— Что вы делаете? Может, он еще жив...

— Бадз стрелял. Бадз, сын Арсаны!

Голосившая женщина куда-то пропала. Ты-то, верно, сразу поняла, кто она. Побежала оповещать родственников, чтобы взяли за оружие. Но мы помним, никто не пытался мстить. Ты умно поступила, не вернувшись в класс. Самой в голову пришло, подсказали? Уж не мой ли отец? Он знает, как поступать в подобных случаях: все должны быть там, где им надлежит по законам родства. Безусловно, отец принял вашу сторону. Пусть не думал о наших с тобой отношениях, но тебе известно, какая дружба связывала его с твоим отцом. И тут вспомнил, как за несколько дней до этого видел у него пистолет. Отец был очень недоволен, что оружие нечаянно попало мне на глаза. «Подарок человека, которого нет в живых», — объяснил он и спрятал подальше. Я был поражен: отец, который ни разу не выстрелил ни в зверя, ни в птицу, над которым посмеивались, дескать, всю войну, наверно, поваром прослужил, хранит у себя как ни в чем не бывало... Правда, когда им овладевает гнев, взгляд становится едким и острым. Даже в тостах отмечают, что перед разъяренным кабаном устоит. Но чтобы и в будни не расставаться с оружием, носить с собой просто так! «Для чести или позора живет человек на земле!» — любит он повторять. В том смысле, что честь превыше всего. И вот сейчас при виде смертельно раненного человека так спокоен, даже не попытался помочь...

Какой-то мужчина подошел к нему и спросил, что делать.

Отец поправил башлык и спрятал руки под буркой: ничего, мол, не нужно. Лишь выдавил неохотно:

— Послали за машиной.

Отец был невозмутим. Как тот крестьянин, которому к полю еще идти и идти, и он говорит себе: заверну-ка в рощу, срублю дубок на ярмо.

Я чувствовал, что случившееся касается тебя, Адица, но когда услышал имя твоего брата, имя твоего отца, растерялся. Искать тебя, защитить, утешить?..

— А в кого он стрелял? — спрашивали.

— В кого же он мог выстрелить? Будто с луны свалились.

«Бадз убил, это Бадз!» — вертелось у меня в голове, и я совсем забыл про пистолет, который видел у отца..

Нас стали загонять в школу, слышались голоса из толпы:

— Все этого ждали!

— Какой парень из-за него пропадет!

— Чего не бывает из-за женщины...

— Вот и нужно было ее, а не Арутана. она виновата!

Какой-то старик стоял в стороне, опираясь на посох.

— Правильно поступал с нами Черный Ворон... — бормотал он. — Посмотрел бы сейчас, как палим друг в друга! Если нет страха, ничто не остановит.

Учитель нас подгонял, мы оборачивались. Рядом с собой я увидел Мери. В испуганных глазах ее стояли слезы... Потом чей-то голос прокричал из толпы:

— Бросьте его! Пристрелили, как собаку... Как собаку, и закопают!

Я ничего не понимал! Откуда такая злость? Мог ли я знать, что случившееся в тот день — нечто более значительное, чем просто убийство. Хотя ты скажешь: что может быть значительнее человеческой смерти? А мне ясно теперь, есть вещи пострашней...

Вскоре на площадь на колхозном грузовике приехал Мирон. Ты, конечно, знаешь его. сейчас он работает трактористом. Мне он как старший брат. Только-только вернулся из армии и ходил в форме. Помню, учитель сказал: ну хоть этот парень поможет пострадавшему!

В те годы между мной и Миромом разница в годах казалась огромной. Потом и я отслужил, вернулся в село, стал шоферить и эта разница как-то стусеивалась, словно он так и остался в прежнем возрасте а я сразу повзрослел.

Вспомнил о Мироне — и тоска охватила... Говорю себе: кроме отца и матери, в Апсаре он единственный человек, по ком болит душа. Ты, Адица, совсем другое, о тебе буду помнить всегда, всю жизнь. Школьные товарищи, соседи? Никого уже не осталось... Одни в армии, на сверхсрочной, другие уехали учиться, третьи подались в город. И удивительно — ни разу не написал Мирону. В голову не приходило! О чем писать? Жив, здоров, работаю — и все? Это он и так, наверное, знает...

Какой толк разглядывать корни высохшего дерева? Стали они отмирать, следом и ветки посохли... Разглядывай не разглядывай, все равно не оживить. Ты когда-нибудь видела человека, соизвавшегося в собственной глупости? Если перед самим собой, то куда ни шло. А публично? Будешь выглядеть вдвойне дураком. Спросишь, к чему клоню? Я промолчал бы, если бы ты и твои близкие не были причастны к содеянному мной. (Прости за высокий «штиль».) Написать Мирону о своих грехах? Или просто о том, как живу? По вечерам, привязав Дамша к крыльцу или оставив у соседа Петровича, хожу иногда в кино, играю в нарды во дворе, слушаю разговоры пенсионеров. Когда выдаются свободные дни, езжу в Сухуми... Живя в Апсаре, кричал: надоели эти бесконечные свадьбы, похороны, будто для того и существуем, чтобы выдавать замуж и хоронить. А здесь вроде бы все убежденные холостяки и никто не собирается помирать. Не помню, когда был на чьей-либо свадьбе или похоронах. В Апсаре некуда было деться от них — каждые субботу и воскресенье! Почти вся зарплата уходила на подарки молодоженам и родственникам усопшего. Утешайся, что у самого когда-нибудь будут сын или дочь...

В самом деле, о чем писать Мирону?

Жизнь моя похожа на тихую послушную жену.

Была бы еще приятнее, если б не Дамш, моя черная собака, чтоб ее Алышкинтыр¹ забрал! Позже расскажу, что она натворила.

Вот вкратце и вся моя жизнь. Адица. Забытого тобой... будем считать, друга. По утрам, спустя полчаса после заводского гудка, этот человек выходит из трехэтажного дома, слева и чуть впереди идет женщина. С работы ли, на работу, в руке объемистая кошелка. Так к ней привыкла, что без кошелки и не представишь. С такой же легкостью несет набитую доверху как и пустую. Против своего спутника немного полновата, но это вовсе не значит, что толста.

Вместе идут минут десять, молча. Можно подумать, обижены друг на друга. А просто им уже нечего друг другу сказать, иссяк предмет разговора, как кукуруза в закроме нерадивого хозяина.

Дойдя до развилки, она сворачивает к детскому саду.

— Надумаешь пообедать дома, еда в холодильнике. Хоть сегодня приди вовремя, имей совесть, — напоминает она. Голос едва слышен, но знаю, что ее заботит.

Непонятное воодушевление охватывает, я кричу вслед:

— Слушай, а смогу ли я отказаться, если предложат выпить за совесть?

¹ Собачье божество (Алифат).

Точно уже приняла рюмку-другую...

Дай тому бог, кто свел меня с этой женщиной. Когда приехал из Апсары, месяца не проходило, чтоб не поменял квартиры. Закидывал на плечо свой рюкзачок и шел с Дамшем, как говорится, куда глаза глядят. А сколько объявлений развесил на столбах! «Молодой мужчина со щенком снимут комнату». Но одних не устраивал я сам, другие отказывали из-за Дамша. Покуда не встретился с ней... Однажды и она сказала в сердцах: «Тот, кого не впустили в дом, тащил за собой еще и собаку». Не подозревал, что это меня так заденет! Смолчал. Что правда, то правда. Все из-за Дамша. Эта псина доброго ко мне отношения не ценит. Вот уже полгода, как его кормят и поят, отвели местечко за перегородкой на светлой веранде — все впустую! Не знаю, что он, зверюга, нашел плохого в хозяйке?

Ладно, а как живется тебе, Адица?

Солгу, сказав, будто тоскую по Апсаре и раскаиваюсь, что уехал. Вообще-то, когда отсюда, с берега моря, смотрю в сторону гор, у подножия которых лежит наше село, порою сердце щемит подобно тому, как у ветерана в дурную погоду ноют старые раны. Омоешь затосковавшую душу стаканом вина и чувствуешь, как воспаляется боль, словно глотнул жгучего перца. А уж если совсем немоготу, еду на субботу и воскресенье, поручив Дамша пенсионеру Петровичу, живущему на первом этаже.

И однажды по приезде в Апсару некое обстоятельство заставило меня глубоко задуматься. Помнишь толстовского «Хаджи-Мурата»? Там во вступлении автор рассказывает о репейнике — растоптали, вдавили в землю, а не погиб, не поддался, выжил, такая в нем оказалась сила... Будешь смеяться, но и со мной вышло, как с тем репейником.

После армии я некоторое время работал шофером.

Как-то отец сказал:

— Алиас, дад¹, приведи-ка своего дружка, тракториста Мирона, хочу кое о чем его попросить, в долгу не останусь.

— Уж не пахать ли собрался? — я удивился. — До весны далеко, зачем тебе трактор?

— А вон видишь ольху, на которой лоза? В конце пашни?

— Рядом с дикой грушей?

— Ольха разрослась, слава богу. И лоза — хорошо. Не будь ольхи, ей бы не подняться. До шести корзин винограда снимаю. Можно и больше, да груша мешает, лоза уже к ней тянется. Каждую весну перекладываю, чтоб груша листвой не застила. В тени виноград не созревает, кислый... Срезал ветки — гуще растут. А срубить опасно, соседние яблони переломает. Так вот, если трактором зацепить... Ольха с лозой дух переведут!

Я подумал, подумал и решил, что отец прав. Пользы от груши действительно никакой, плоды мелкие, горькие.

Мирон долго себя просить не заставил — и по дружбе, да и обязан был многим. Сколько раз с его трактором возился!

Обмотали дерево тросом и вырвали с корнем.

Отец радовался:

— Дай вам обоим бог здоровья! Осенью надавлю вам вина. Отдохнет мое деревце, отдохнет, родимое! — И Мирону: — Да будет земля пухом твоему отцу. Когда он погиб в горах, я был среди тех, кто искал... На плечах вынесли тело, а потом спускали на носилках, связанных из жердей. Три дня мыкались... Отец твой жил для людей, и ты пошел по его стопам, бог тебе воздаст!

Я был благодарен отцу за такие слова. Знал, это общее мнение. Отец в совете старейшин ничего не решает без согласия совета, тоста за человека не поднимет, если недостойн.

А поначалу испугался, когда отец вспомнил Апту: ненароком раз-

¹ Обращение к младшему по возрасту.

дует огонь, который мы с приятелями Мирона старались потушить. Ты знаешь, о чем говорю. Ведь рядом с отцом Мирона похоронили Арутана, которого застрелил твой братец. Сказав, «да будет ему земля пухом», отец мог, как это делал обычно, прибавить, что, мол, у нас все возможно: рядом с прахом достойного зарывают и кровосмесителей... Честно скажу, и мне не понравилось, что так поступили. Но похоронили и похоронили, ничего теперь не поделать. И, если бы Мирон выкопал останки Арутана, родственники покойного сочли бы за надругательство, пролилась бы кровь.

Я не стал дожидаться, когда отец свернет на опасную тропку, и перевел разговор:

— А смотрите, какие корни у груш! Что там листва, у разных пород и корни разные. Желтые у этой груши... Как ящерицы! Ветки не смогли ужиться, а корни-то как переплелись. Что тебе девичья коса!

— Может, напрасно... вырвали? — сказал Мирон.

Если его отец действительно был таким, как говорят, то Мирон весь в него. Не то что обидеть человека — комара жалко. Бывало, едет на тракторе, а мы кричим: травку помнешь!

Мирон помаргивал, жалостливо глядя на свою работу: с грушей повредил и ольховые корни.

— Немножко не подумали...

С кем бы ни говорил, неотрывно смотрит прямо в глаза. И по ним определяет: не вырвалось ли неосторожного слова? Тут же смягчит.

— Ей оставшихся хватит! Прикрою землей, ничего, дай бог тебе хорошей жизни, — ответил отец и задумался. — А вот надо же! — сказал он следом. — Кладут подлеца с человеком, который за людей отдал жизнь. Только у нас могут... Нет, правды не будет!

Все-таки не выдержал!

— Обедать пора, мать давно звала, — поспешно сказал я. Надеюсь, что отец поумней. Упрекает апсарцев во всех грехах, а не подумал, что наотмашь бьет по больному месту.

Настала весна, прошло лето, отпыхал жаркий август... Новую весну отцовская ольха не встретила.

И вот недавно, стоя во дворе, долго разглядывал обломавшиеся сучья: нету теперь ольхи, загубили. А рядом лежит дикая груша, корявый ствол зарастает травой, торчат скрюченные мертвые корни. Ничего не оставалось отцу, как срезать лозу: может, корешек выбросит молодой побег. Конечно, отец не даст погибнуть виноградной лозе, но я сейчас не об этом. Отцу казалось, что деревья мешают друг другу, и он просчитался. Вырвав одно, загубил другое. Отличил хорошее от дурного! Не разъединить, не разорвать, настолько тесно сплелись.

Это маленькое умозаключение грустно меня позабавило. И подобно тому, как река непременно приведет к морю, так и оно, мое умозаключение...

Потерпи, Адица, я вернусь позже к этому разговору, и мы вместе продолжим.

Скажи, способен я... на убийство? Всегда и для всех был «не от мира сего», книгочей, воздыхатель, мечтатель... «Алиас, — подшучивали надо мной, — расскажи про большую любовь! Правда, что, кроме нее, ничего нет на свете?» Эти шуточки я слышу до сих пор.

Как ты думаешь, Адица, почему я уехал из Апсары? Пока был в армии, мне было легче. А вернулся — и старое вернулось. Каждый день видеть тебя, избегать, подавлять в себе желание, терзаться... И ты это знала! Правда, я уже был не совсем тот, что до армии. Небо надо мной расчистилось, кое-где посверкивала голубизна. А если и заходили сызнова тучи, то ненадолго... Впрочем, настоящая причина моего бегства в другом. В армии я приобрел специальность шофера. И в колхозе благодаря Мирону сразу дали грузовую машину. Я неплохо водил. Не перечил завгару, куда ни пошлет. Пригодилась привычка к армейской дисциплине. Да хорошие привычки, как известно, не на

век. Вскоре, по выражению отца, ослабла узда... Твой Маджгана тоже крутил баранку. Если и приходила мыслишка подстроить ему какую-нибудь неприятность, то гнал от себя. Так шло время, а через полгода сняли с машины и перевели в гараж. Когда обсуждали мой «вопрос», выступил твой муж, будто мало мне зла причинил. Говорил, желает одного только хорошего, но это себе в оправдание. Гвоздем сидят во мне его благие предостережения:

— Хватит заливать за воротник! На наших же глазах попадет в аварию. То вон в дерево врезался, то в яму угодил. А если б людей вез?

Возразить нечего, все как есть. Только мудрость, которой жизнь учит, состоит еще и в том, чтобы понимать разницу между «нужно» и «можно». О чем сказать и о чем лучше помолчать. Если бы и я поднялся и рассказал, что мне известно о нем... Ты, мол, в открытую, и я! В незавидном бы положении оба вы оказались: как смотрели бы друг другу в глаза?

Помнишь Алхаса? Его дом в самом начале села. В то время он работал на самосвале, тоже шоферил. А теперь не баранка в руках, а костыли, живет на инвалидную пенсию. Попал в аварию... Было ему тогда лет пятьдесят, семья, дети, у начальства на хорошем счету.

С того злополучного собрания вместе возвращались домой. Я не сдержался, все кипело внутри, точно один Маджгана и виноват:

— Хватит, сколько меня топтал! — я аж задыхался от злости.

Алхас молча посмеивался. И я вовсе осатанел! Конечно, откуда ему знать, что творилось у меня на душе.

— Ладно уймись, ничего плохого он не сделал. Остынешь, будешь благодарить

— Ага, приду поклонюсь! В ножки! Спасибо за все, так мне и надо! Все вы одинаковы...

— Подумаешь, счастье—сидеть за рулем. Тебе же лучше. Теперь все от тебя зависит! — сказал Алхас. Я и рот раскрыл: никак не ожидал, что это он про собрание. Я-то ведь совсем о другом!

— Все равно мог бы и промолчать.

— Да что он тебе сделал такого?

— Спроси, он расскажет.

Все же взял себя в руки. Не выворачивать же наизнанку душу. Но нелегко было... И вот думаю: зря, надо было сказать о Маджгане, какую он мне подножку поставил. Может, все бы повернулось иначе. Алхас умный человек, хорошенько не взвесив, слова не выложит. И не стряслось бы того, что такой тяжестью легло на мою совесть. Хотя как знать! Уже не воротись... Я бы не только из Апсары, на край света убежал бы куда глаза глядят, лишь бы вернуть Алхасу здоровье!

Только одно слабое утешение—напоследок, когда понял, что нельзя оставаться в селе, исказнив себя, сам пришел к Алхасу.

Не бойся, твоего имени я не коснулся. Если бы слышала наш разговор, убедилась бы, что не лгу. «Наш разговор!» Можно подумать, беседовали за мирным стаканом... Я не давал ему слова вставить. Кипел и бурлил, меня было не остановить, как сбежавшее молоко.

Я смотрел на Алхаса, на его искаленную ногу, и меня душили слезы. Жалость, раскаяние и презрение к себе... И растерянность. Я чувствовал, что всего лишь игрушка в руках какой-то злой силы.

Ведь это я искалечил Алхаса!

Не веришь!

Не веришь, что я способен... Я бы и сам не поверил!

Вот послушай наш разговор.

— Заходи, заходи, Алиас! Как давно тебя не было... Кто привез меня в больницу? Ты. Что же это скрылся, забыл... Я там, в больнице, часто думал и говорил о тебе. Где пропадал?

Апсарцы любят похвалить друг друга, преувеличить, превознести

твою честность, доброту, верность обычаям. Это у нас в крови! Да, все было правдой, что обо мне говорил Алхас. Во всяком случае, многое. Отвез в больницу, не дал умереть — и вот в его представлении сложился образ бескорыстного друга, готового в любой момент прийти на помощь... И этот друг является к бедняге, чтобы покаяться; ты думаешь обо мне лучше, чем заслуживаю. Я подлец!

Ты бы видел, как радостно заковылял на костылях мне навстречу, когда я окликнул! И что-то перевернулось и умерло во мне. Как он смотрел на меня, неловко и поспешно переставляя свои костыли, какие были глаза! А я видел в них вопрос и мольбу: «Разве я не любил тебя? За что ты меня погубил?»

Что сказать ему, я вытвердил назубок.

И начал как ни в чем не бывало:

— Кто дома, Алхас?

— Дома хозяйка, она будет рада. Заходи... знаешь, соскучился по работе, поговорим. А что так рано? Ничего не случилось?

— Да вроде того... Уезжаю! Вот и зашел сказать на прощание несколько слов.

Что-то насторожило его, уже не настаивал, чтобы зашел в дом. Следом за мной заковылял через дорогу. Мы сели под деревом. Я посмотрел на его вытянутую негнущуюся ногу и отвел глаза.

— Ты и сейчас в гараже? — спросил Алхас.

Я кивнул.

— Не обижайся, сам виноват. Пьяницей не назвать, не такой, чтоб валяться в канаве... Но часто закладываешь. А машина, проклятая, знаешь какая. Маджгана ни при чем.

— Конечно... — усмехнулся я. — Обломить птице крыло и ее же обвинить, что не может летать. Но это так, к слову. Я ведь по делу к тебе...

Достал сторублевку и положил Алхасу в карман.

— Передай сыну. Слышал, что уезжает. В дороге пригодится.

— Спасибо. Дай бог, чтобы и я смог тебя отблагодарить. Женишься, будут дети... Пенсии не хватает. Ломал голову, что дать парню в дорогу.

И вновь заговорил о больнице: когда лежал, кто, дескать, навещал чаще других? Не забудет хорошего.

Я слушал со сжавшимся сердцем. Бадз против меня — праведник! Хоть знал, за что стреляет в человека. Прав или не прав, другой вопрос. А этот, ни в чем не виновный... Как говорят у нас в Апсаре? «Несчастье не выбирает — все равны, и хорошие, и дурные». Оставим тех и других, даже ты не подозреваешь, что... чуть не сказал: виновата!

— Не знаю, Алхас, как начать... Уезжаю из Апсары. Хочу спросить, как ты думаешь, почему я сразу нашел тебя?

— Судьба привела! Если б не ты, разве я остался бы в живых? А нога что, пустяк.

По соседнему проулку, грохоча, проехала грузовая машина. Алхас прислушался, лицо напряглось и вдруг плачуще, безнадежно опало. Мне было тогда лишь до себя, я не понял причины. Только спустя несколько дней вспомнил его потрясенное лицо. Да, он был прирожденный шофер...

— Судьба? Не я, так сваны подобрали бы. Я сделал другое, Алхас...

— Что ты говоришь! Вот оправлюсь немного — и в гараж слесарить. Не хуже твоего получится... Хотя руки у тебя золотые, все к тебе обращаются... Слушай, будешь в городе, купи мне палку поудобнее. Костыли скоро не понадобятся.

— Куплю, Алхас. Обязательно!

— Кто на твоей машине?

— Подожди, Алхас. Бог с ней, с машиной. Когда совесть не мучит, остальное ничего не стоит.

— Совесть? А что ты сделал такого?.. Ты о чем говоришь?

— А вот! — И положил руку ему на колено. — Это и сделал. Он решил, что шучу.

— Говоришь, судьба. Обоим нам повезло, что остался жив...

— Детям моим повезло, это верно. Сам не пойму, как из такой аварии выкарабкался живым! Машина-то вдребезги.

— А почему сорвался, знаешь?

— Я же тебе говорил. Еще в больнице. Дорога из рук вон, одни повороты на подъеме. А потом крутой спуск. Перед выездом проверял тормоза, все было в порядке. Лучше б, конечно, ехать на своей, но завгар дал машину Маджганы. Говорит, только что из ремонта. Кто ремонтировал, спрашиваю. Алиас. Ну, раз он, о чем говорить. Еще летом завфермой договорился со сванами насчет дранки. Нужно было покрыть козлятник на пастушьей стоянке. Документы на руках, садись и поезжай. Должен был Маджгана. А у него мать заболела, приходит к заведующему, не могу, говорит, мать надо везти в Сухуми, пробуду дней десять. Пусть подождут, а нет, отправляйте другого. Ждать некогда, зима на носу. Вот завфермой вместе с председателем и пришли ко мне: выручай...

— Ты бы сказал, что машина неисправна.

— Сорвался был и Маджгана. Тут опыт уже ни при чем... Да я и сказал про свою, мол, барахлит. А мне: бери у завгара ключи от машины Маджганы, она на ходу.

— В такую погоду на чужой машине!..

— Силком не заставляли. Но время подпирало. День-другой — и снегом закроет перевал. Я не мог отказать.

— Если бы знать все наперед!.. А ведь всю ночь не спал, сколько раз поднимался, выходил... чтобы все назад переиграть. А потом, перед рассветом... Махнул рукой, и так стало мне покойно, точно траур сняли с души... Не успеет сегодня солнце зайти, рассуждал я, и надедут черное по Маджгане! Выпил несколько стаканов и отправился в гараж...

— Как же ты пьяный-то поехал меня искать? А правда, я тогда удивился: как он здесь вовремя оказался? Что его привело?

— Ах, Алхас, Алхас! Многому ты еще удивишься, когда узнаешь. Не торопи... Люди, оказывается, на все способны. Зависть, месть, обида... Опасные вещи! Богом или чертом они придуманы? Считал, раз обошлось без жертв, забуду. Не получилось. Как вспомню кровь, а ты лежишь в пыльной траве... Если бы не выбросило из кабины, костей бы твоих не нашли!

Да, в то утро пришел в гараж, сторож уже в будке. Увидел, что я поддал, и решил: зря болтается, дома не сидится. А мне посмотреть, ушла машина Маджганы или еще здесь.

— Что это... сначала один пришел, теперь ты? Когда вы так к работе рвались? — ворчал сторож.

— А из наших шоферов был кто-нибудь? — спросил я.

— Был да уехал! Уже, наверно, до Сванетии добрался. Знал, что дальняя дорога, ну и поставил бы машину возле дома. Зачем тащиться сюда, будить старого человека...

— Нехорошо поступил! А легко ли ему? Подумай сам. Оставлять молодую жену, вылезать из нагретой постели... Ха! Это очень трудно. Но ничего, ему полезно пройтись пешочком. Подышал свежим воздухом, легче будет жать на педали.

— Хай, Алиас, пьяный ты, что ли! Ну-ка дыхни... Постыдился б болтать. Он тебе в отцы годится. Верно, не сделавши добра, не получишь худа. А Алхас-то о тебе везде одно хорошее... Так-то ему плащ! Тьфу ты, господи, видеть тебя не хочу. Иди себе с богом!

Я опешил, ушам своим не поверил.

— Про какого Алхаса говоришь, старик? Вон его машина! У тебя спросовок с умом неладно. Это Маджгана в рейсе.

— Будешь меня учить... Залил zenки и мелешь. Разговаривать не умеешь! Я Алхаса от Маджганы не отличу?

Вспоминая то утро, совсем забыл про Алхаса, который сидел рядом. Будто кому-то другому, не ему и рассказываю... А он то и дело поглядывал в сторону ворот, боясь, как бы кто не услышал.

— Что тебе в голову-то взбрело, что поедет Маджгана? Не он, так другой, — проговорил Алхас.

— Да будь он тогда в гараже, я бы на колени встал! Вырыл яму для одного, а попал тот, кого больше всех уважаю... Бросился к первой попавшейся машине, завел — и вон из гаража! Сторож за голову взялся, подумал, что спятил.

— Подстроил Маджгане, чтоб отказали тормоза? Обвинил тебя в пьянстве, и ты ему... А что же твой отец? Его сын...

Он все еще думал, что это из-за собрания. Будто такое счастье крутить баранку!

Алхас попытался встать. С трудом оперся на костыль, но не смог сладить с негнувшейся ногой. И повторял: «Твой отец! Его отец...». Словно вдруг забыл свое имя. «Его отец». Человек, которого обесчестил сын...

— Иди, — он махнул рукой. И я увидел, что он смеется. Напрасно говорят, что смеются в радости. А он смеялся — тихо, в растерянной задумчивости. Лучше бы ударил! Потом сказал, и я понял, что это он самому себе: — Хайт, лучше бы я погиб... Бадз убил человека. Но кто он по сравнению с этим трусом! Тот хоть думал, что защищает честь. А про этого говорили, мол, выпивает, но в порядочности никому не уступит и руки золотые... Действительно, когда вышел на поворот, тормоза не сработали. Только успел вывернуть руль... не помню, как вывалился из кабины. Как машина ушла вниз, как ее било о камни, не слышал. Ничего не слышал...

Тут я не выдержал, Адица. Никогда даже себе не произносил этих слов, а тут сорвалось:

— Если топчут тебя, топчи сам! Так уж случилось, что не он, а ты оказался... Теперь знаешь, кто тебя чуть не убил.

По-моему, он не слышал.

— Сколько спрашивал себя: откуда он взялся? Сваны вытащили наверх, а он — вот он... на нашей машине... Куда ехал? Если за Дранкой, зачем послали меня?..

Надо было встать и уйти. Но я был точно связан... Все, что сказать, обдумал заранее. А что делать потом? Не раз я вспоминал эту минуту.

— Маджгана меня оскорбил, оболгал, лишил работы, и я, как последний трус, решил исподтишка отомстить? Ты ведь так и думаешь. Пусты! Об остальном тебе незачем знать.

Алхас молчал. А я будто ждал чего-то — от него и себя...

— Может, всего и не знаю, — заговорил Алхас. — Но пойти на такое способен только кровник. Кровная месть у нас испокон веков... Одно знаю, отвез меня в сухумскую больницу ты, чаще других навещал, из палаты не вылезал... врачам и сестрам делал подарки... И я считал, роднее нет человека.

Я чувствовал, ему невыносимо видеть меня. Ты права, Адица, я эгоист: если мне тяжело, то это мне тяжело и я должен сбросить груз, освободиться. Чтобы жить дальше. Жить! А гнутья... Нет, я не кончил, было еще что сказать.

— Слушай, Алхас. Маджгана на крючок не попался, повезло ему и на этот раз... Но сейчас я хочу о другом. Ты знаешь, с Маджганой мы встречались дважды за день, перед рейсом и после. Ходит такой счастливый, сияющий... У меня руки дрожали, еле сдерживался, чтоб не хватить молотком по башке...

— Откуда такая злоба?..

— Да, злоба! Но после того случая все ушло из меня — злоба, от-

чаяние... начисто! Стал даже заискивать перед ним. Проверить машину — пожалуйста. Потом тебя выписали из больницы и в Апсаре стали понемногу забывать об аварии. Жив человек, назначили пенсию, дескать, и слава богу. Люди забыли, а я? Встречу Маджгану, он про свою семью рассказывает, словно мы помирились. Ах, какая у него жена Адица ах, как падчерицы ее любят, будто мать родную! А ты, Алиас, слушай и умиляйся. И казни себя, что этот счастливчик живехонек, а за него страдает невинный... Думал, пойду в милицию и все расскажу, отсижу срок и выйду с чистой совестью.

— Чем бы мне это помогло?

— В старину был обычай: плата за кровь.

— Ты бы заплатил за мою ногу? — усмехнулся Алхас. — Интересно, сколько бы выложил?

Кое-как он поднялся, встал на костыли. Отошел на несколько шагов.

— Хайт, чтобы так не похожи были отец с сыном!

И я пожалел, что не открылся отцу. Если бы он встал между нами, может, все обошлось бы иначе. Был бы жив Арутан, послушайся он отца, и Бадз не сидел бы в тюрьме.

— Алхас! — крикнул я. — Не жалея, скажи, чего я заслужил. Мне станет легче.

Когда оставляют наедине с большой совестью, это тяжелее любого позора. Молча отворачиваются и уходят, считая, что недостойн ни жалости, ни упреков. Много тяжелей, чем если бы за добро не отплатили добром. «Ты не знаешь, Алхас, какую боль мне причинил Маджгана. На моем месте ты, не раздумывая...»

Если бы люди перестали скрывать друг от друга, что у них на душе, страшной сделалась бы наша жизнь. Тайные укоры, вражда вылезли бы из своих нор... Позор — отомстить, ударив из-за угла! А если открыто? Оповестив о своей ненависти весь белый свет?.. Ты первая, Адица, назвала бы меня предателем.

Алхас вытащил из кармана деньги и бросил...

Прости, Адица, снова приходится отложить перо — с лесозаготовок прибыла машина, надо идти...

Привезли в связке несколько огромных буковых стволов. Мне хотелось погладить их светоносную гладкую кору... точно это не мертвое дерево, а тело уснувшей молодой и сильной женщины. Сейчас разгрузят и пустят на пиломатериал. Осматриваем каждый ствол... Есть сходство между затянувшейся раной на человеческом теле и следом от пули или осколка на стволе дерева. Если не вырезать застрявший свинец, может попасть под зубья пилы. Вокруг собираются старые фронтовики.

— Винтовочная! От трехлинейки.

— Нет, это немецкая. Чтоб им в голову попало!

— Кого-то спасло дерево...

А шофера спешат. Выгрузят бревна — и снова в рейс. У них так: до обеда привезут, перекусят и тут же назад. С ночевкой на месте. Иначе засветло не успеть туда и обратно. А главное, со встречной машиной не разминуться на узкой дороге. Однажды в свой выходной и я поехал на лесосеку со знакомым водителем. Хотел посмотреть. Расскажу, как было, пусть это даже унижит меня... Все в тот месяц смешалось, перепуталось у меня, такая тоска навалилась! В заводском клубе иногда крутят кино, даже артисты порой заглядывают, есть и библиотека. Но ничто не помогало. В душной комнате открывают форточку или на улицу выходят, чтоб продышаться. Так и я. Захватил с собой кое-какой еды в дорогу отдал Дамша Петровичу и поехал.

Проскочил мост на Басле и через Сухуми к Сухумгэс. Добрались до подножия горы Дау, возле которой на бзыбском берегу расположено село Псху. Рядом лесозаготовители поставили свои палатки. Как они на такой крутизне рубят, а потом трелюют тракторами?..

Здесь есть на что посмотреть, но самым удивительным была для меня дорога.

Когда кружили по серпантину, взбираясь вверх, я не очень обращал внимание. Порожняком езда легкая. А вот обратно, с грузом в тридцать тонн... То и дело чиркали бортом о скалы, глянешь в другую сторону — голова кругом идет, пропасть, облака ползут под колеса, переднее вообще в воздухе висит. Говорят, привыкают, когда такое изо дня в день. Но как раз привычка и может погубить. Шофер, с которым ехал, бояться не боялся, да я по глазам, по лицу напрягшемуся видел, что каждую минуту готов к худшему. Если откажут тормоза, прыгай из кабины, пока не загремел... Хотя и тогда навряд ли останешься цел. Как пойдут за спиной бревна крошиться — подумаешь, представишь на миг, и не по себе!

Если забыть, что не за так работают да что леса начисто сводят, то всем бы шоферам по Золотой Звезде на грудь.

Одолев такую дорогу, покуда живой и здоровый, въезжает на завод... И каково, если к нему отношение самое плевое! Крановщик куда-то запропастился, стой и жди... Или поищи, побегай. Нет и нет подльца, а, кроме него, кто сгрузит?

— Алиас! Если еще не поддал.

— Кран ремонтирует. Что ж, не сможет и стрелу завести?

Идут ко мне и просят: «Не откажи, Алиас! Что тебе стоит, Алиас!» Не скрою, люблю, когда просят. Значит, нуждаются во мне, не обойдутся. Дай-то бог, чтоб и ты почувствовала когда-нибудь, что не можешь без меня обойтись! Видишь, о какой малости молю...

Сантименты в наш практичный век! Только и слышишь: что по чем да как ловчей ближнего объехать.

Спросишь, как научился работать на кране? Кабина на высоте пяти-шестизэтажного дома. Видны не только поселок, море, река Кодор, но и наша Апсара. От нечего делать залезал к крановщику, не давал ему скучать. Насмотревшись на окрестные виды, следил за работой. Ничего вроде бы хитрого: снизу кричат «вира», «майна» или флажками машут. Вниз или вверх и куда груз подавать.

Подходит один из шоферов, смотрит умоляющими глазами, помаргивает. Ладно. Беру деревянный метр, тетрадь и карандаш.

— Вот гляди, бывший коллега. Когда доска выйдет из-под пилы... Ну, ты знаешь мою работу. Действуй!

Народ ушлый, понимает с полуслова. Наш Фриц их приучил. А если хочешь знать, его настоящее имя: Самсон Григорьевич. Шоферюга — в карман, достает четвертак.словно мы в «очко» собрались перекинуться.

— Прошу, не подведи. Мало — добавлю.

Что ему эти двадцать пять! Он за лето на легковую машину зарабатывает. К деньгам я тоже равнодушен, но не в них дело.

— Спрячь свои кровные,— говорю,— я разгрузу. Только попроси директора, чтоб он меня попросил.

Помимо того, что не имел права, была и другая причина: с директором мы немного не в ладах. Не поверишь, если скажу, из-за чего между нами кошка пробежала. Точнее, собака. Мой Дамш. Мой черный пес, который сейчас спит в своей будке. Но оставляю до другого раза эту историю.

Вот так, пусть попросит директор. Без этого я не согласен. Потеряю четвертак, а приобрету больше.

Кран не нужно гонять по рельсам и разворачивать — стрела сама доставала до машин. Разгрузил, шофера мне «спасибо» — поднимают над головой в кулак сжатые ладони и по машинам. Уехали, тишина. Стою на верхотуре, смотрю на горы, в ту сторону, где родная Апсара. Потом отворачиваюсь: не могу, не хочу! В небе ни единой тучки. Желтеют еще не убранные кукурузные поля. Кое-где, вижу, ломают початки, косят чалу на корм скоту... И до рези в глазах блестит море.

Далеко-далеко, как легкое облачко, плывет корабль. Куда? Что за люди на нем? Куда им плыть? В детстве, когда над нашим домом пролетали журавли, моя мать, заметив их раньше, уводила меня в дом и запирала дверь. Говорили, что журавли что-то забирают с собой... Я не знал, что. Но журавли всегда действительно что-то у меня забирали... А когда подрос, уплывающие корабли стали для меня тем, чем были когда-то журавли.

Стоя в кабине крана, я долго слежу за приближающимся кораблем. Из облачка он превращается в чайку, потом величиной с журавля... и вот уже видны люди на палубе. Возвращаются, их ждут на причале...

Я отворачиваюсь. Как ребенок, потерявший мать, ищу в слезах свою Апсару. Еле различима в голубой дымке. А дальше горы. Синие, холодные... прекрасные. Таким же бывает порой и небо. В тучах, наполненных тяжелой влагой. Они затягивают горы и небо, грозно темнеют, и огромный мир кажется крохотной апацхой¹ с закопченным потолком. Низовой ветер гонит над долиной стайки белоснежных облачков, похожих на журавлей. И на миг солнце проглядывает! Горы делаются нежно-синими и вдруг ослепительно зазеленеют, вверх окутанные сиреневым дымом, и снова мрачнеют. Над ними, как дед среди внуков, седой Ерцаху. Мысленно вхожу в Апсару. Дома, разбросанные по склонам холмов, в жухлой осенней зелени. Лай собак, людские голоса... То поднимаясь, то кидаясь вниз, через село бежит дорога. Добегает до центра, где сельсовет. Я вижу себя, идущим по дороге. Когда покидал Апсару... Всего лишь год! А кажется, давно-давно, сто лет прошло. Отцу и матери сказал, что года два где-нибудь поработаю. Они знали о наших с тобой отношениях и понимали, что мне лучше уехать. Может быть, где-то еще мое счастье...

И я закинул рюкзак на плечи. Дома был щенок, подарили соседи, тот самый Дамш, который сейчас спит в конуре, положив морду на лапы. А дома он спал на веранде на старой овчине, которую принес отец. Я взял щенка на руки. Мягкий, тепленький, влажный синеватый носик.

— Не беспокойся, — сказала мать. — Вырастет и тебя встретит. Отец молча стоял, опустив голову.

— Ну, прощай! — Я обнял отца и вышел за ворота.

Щенок заскулил. Пошатываясь, смешно переставляя слабые лапки, побежал за мной. И повалился в траву.

— Иди, иди! — резко сказал отец, словно прогоняя.

Мать подняла щенка и хотела унести.

— Ишь, раскулился!

Она сердечна и ласкова, но бывает суровой.

Щенок пуще заскулил, и я забрал его у матери.

— Вон как по хозяину плачет! Тогда бери с собой, — смягчилась она. — Может, это примета хорошая...

— Собаки ему как раз не хватает! — насупился отец.

Не слушая, мать сходила в погреб и принесла корзинку для сбора чайного листа. В нее и посадила щенка.

Если б я знал, что придется вынести из-за этого дьявола, взял бы его, как же! Бросил бы и ушел. Да и тогда не думал забирать. Вынесу со двора и оставлю у чьих-нибудь ворот.

Кого мне благодарить, как не мать, что все получилось иначе! Если собака или лошадь увяжется за хозяином, сказала она, значит, вернется живым и здоровым.

— А этот-то прямо как дитя!

— Бери, бери. Вернешься, — все здесь твое. — Отец затоптал сигарету, достал другую. Никогда так много не курил. Повернулся и ушел в сад: он все сказал и прибавить нечего.

¹ Хижина.

В воротах я оглянулся. Рюкзак на плече, в руке корзинка, из которой торчала щенячья мордочка. С такой корзинкой, помню, в первые послевоенные годы ходил по селу человек и кричал: «Мыло, иголки, нитки!» Я махнул матери свободной рукой и поправил рюкзак. Щенка хотел отнести подальше. Здесь жалко оставлять, могут и голодом уморить, лучше, говорил я себе, куда-нибудь подальше. Щенок смотрел на меня мокрыми глазами. Остановившись перед воротами пастуха Гудисы, должником которого считаю себя до конца жизни, столько он мне сделал хорошего, я опустил корзину и вздохнул.

Хозяин сидел под деревом, сняв башлык с головы.

— Заходи, дад, — вставая, пригласил старик.

Разве мог я пройти мимо, не попрощавшись! Да и у кого еще, кроме него, оставить щенка? А если хочешь узнать об Апсаре, кто откуда родом и что за человек, с совестью или про совесть никогда не слыхал, поговори с Гудисой. Многому он свидетель, но знает и то, чему свидетелями его деда стать не успели. Время, когда был с ним в горах, лучшее на моей памяти.

Старик погладил щенка, а у меня, думаешь, наверное, вертелось на языке: мол, принес подарить, хорошей породы... возьми, дедушка Гудиса. Вздор! Я просто зашел попрощаться. Чувствовал, что щенка никому не отдам.

Я шел по центральной улице, за плечами рюкзак, в руке корзинка, а навстречу, радостно улыбаясь, женщина в свадебном наряде. Помнишь ее? Ну конечно, Мацкуя! Сколько раз мы прятались от нее по обочинам, когда шли в школу или возвращались из школы! И ты однажды призналась:

— Жалко ее. Как увижу, так целый день сама не своя!

А мне было смешно: худющая, заношенное подвенечное платье и цветочек в руке...

— Вижу я вас, вижу! — кричала Мацкуя. — Спрятались в кустах, сумасшедшие... Придете на мою свадьбу?

И ты, Адица, отводила глаза, стесняясь слез. А я выпячивал грудь и молот глупости насчет мужества и терпения, каждый, дескать, должен нести свое горе, будь то мужчина или женщина.

Теперь же, увидев ее на дороге, я накрыл шапкой корзину и бодро зашагал, будто по неотложному делу. Мы поравнялись, Мацкуя с сожалением, как бы оправдываясь, развела руками.

— Зря я ходила, Алиас, почтальон опять ничего не дал. Ха! Прячет. А я все равно отберу! — Она повязала на голову белый платок, потом сдернула и набросила на плечи. Сама поскущела, увяла.

Было такое чувство, словно я в чем-то виноват перед ней, словно мы с ней даже похожи. Я не утешил ее, не сказал, что в таких случаях говорят: не сегодня, так завтра получишь письмо. Молча стоял, спрятав за спиной свою корзину.

— Ты далеко? — спросила она, опустив глаза. Будто стеснительная невеста!

А ведь мы, Адица, не как другие, никогда не кричали: «Невеста Мацкуя! Где твой жених?»

— Возвращайся поскорей, Алиас. Когда придут мои братья, так и свадьба...

— Они вернутся. Обязательно вернутся! — Я поклонился ей.

— Дай бог тебе здоровья! Вот славно! А то приглашаю на свадьбу, а некоторые плачут! — со смехом кричала Мацкуя.

Не знаю, как донесли меня ноги до автобусной остановки. В тени под деревом, разговаривая, сидели и стояли старики. Ждали автобус или так сошлись. То и дело взрывался смех. Я не слышал, о чем говорили, но невольно заулыбался. Смотрю, Чокнутый среди них. Болтают, что он сумасшедший, не все дома, а уважают, как никого другого. Не пропустят мимо своих ворот, не пригласив.

О том, как Чокнутый смешил почтенных старцев, расскажу в дру-

гой раз, Адица. А сейчас... вспомнил несчастную Мацкую, и расхотелось продолжать.

По железной лестнице я спустился со своей верхотуры. В цех уже пошли бревна, которые выгрузил. У будки, ворча, потягивался Дамш. Если меня долго нет, он начинает грызть поводок.

— Дамш, Дамш!— Я погладил его по голове.— С Фрицем ты правильно поступил,—сказал я и ласково прижал пса к ноге. Мацкую стояла у меня перед глазами... Как вспомню, так сразу всплывает и ненавистное имя — вот у кого не жизнь, а сплошная малина. Ютится где-то на земле полоумная ничейная невеста, как бледная сорная трава, выросшая под порогом, нет никому дела до нее. Хорошо на этой земле одним фрицам покуда...

Сейчас он, правда, сидит, но следствие еще не закончено. Я держу язык за зубами. И зубов не показываю до поры...

Известно, кто утром споткнулся, до самого вечера спотыкается. Так уж устроена жизнь. Почему я уехал из Апсары? Чтобы забыть Адицу. Как говорится, с глаз долой—из сердца вон. Чтобы не видеть рожу Маджганы. Не встречать ковыляющего Алхаса. Забыть, все забыть...

Работы везде хватает. Без куска хлеба не останешься. А кое-что можно и сверх положить, как выразился наш директор. Если с умом. Я так и жил. Одно беспокоило: за что ты меня предала? Я должен знать. Не для того, чтобы извлечь какую-то выгоду и умиротворить тоску. Теперь ничто не поможет. Комиссар Мегре, набив трубку, копался в хитросплетениях чужих поступков и судеб—почему же я не смогу разобраться в себе самом? А потом Мери вбила мне в голову написать тебе...

Кажется, многое понял, еще больше осталось в тени, и тут Дамш, чтоб он взбесился, потащил меня в сторону. Есть ли на свете еще такая собака! Если кто не понравится, то, как бы ни ублажал, Дамш, этот странный, этот верный, этот великий пес, за своего не признает!

По утрам, как я уже говорил, мы вдвоем идем на работу. Я, женщина, с которой... и Дамш. В конуру, сбитую наскоро из досок, я насыпал свежих опилок, Дамш укладывается, уши торчком, словно ждет, когда позову. И я окликаю: «Где ты, Дамш?» Он поднимает брови и смотрит прямо в глаза. «Тоскуешь по Апсаре? Прохладные рощи, низины, горы... Или забыл?» Дамш смотрит помаргивая. В доме моей хозяйки два балкона. На одном из них, который побольше и называется лоджией, я отвел место для пса. С восходом солнца он вскакивает и кладет передние лапы на перила. Я еще в постели и тоже сквозь окно смотрю в сторону гор. Не знаю, слышит ли он со своего балкона неуловимые человеческим обонянием, далекие запахи, но его ноздри начинают мелко дрожать, он принимается лаять, на нашу беду.

— Тихо, Дамш!— говорю я с кровати.

Хозяйка ворочается, накрывается с головой одеялом.

— Чтоб его на твои похороны зарезали!

— Это он к тому, что хватит спать, лучше поцелуйтесь!— я пробую скрасить шуткой и вылезаю из-под одеяла.

Нет, теперь этой женщине не до поцелуев. До чего ж зла, когда так разбудят! Я одеваюсь и тоже кляню Дамша.

— Сегодня чтоб духу псинаго не было! Убирай куда хочешь.

И я в сотый раз начинаю их мирить...

А три месяца назад Дамш и на работе испортил мне жизнь. «Все нервы покушал!—орал директор.— В самое сердце завода вцепился зубами!» Желая поправить дело, я хлебом-солью попытался возместить ущерб, но только все испортил. Правильно говорят, собаки похожи на своих хозяев.

А случилось вот что. Вновь приходится о Фрице, снабженце.

В шестьдесят пятом, когда я сюда поступил, он работал шофером. Водил старый американский «студебеккер». Грохотал тот отчаянно!

То ли из-за этой машины Дамш его невзлюбил, то ли по другой причине, но стоило Самсону Григорьевичу показаться в воротах, как ощети́нился и заходился неистовым лаем. Я хватал поводок и загонял в будку.

— Дамш забрежал, значит, Григорьич идет! — говорили рабочие.

Предупреждали: берегись этого человека, что он делал в войну, неизвестно, а до войны кое-кто хлебнул от него горяшка...

Пусть так, но мне-то что? Лично я ничего плохого от Самсона не видел. А хорошее было. Надо ему несколько досок, нигде не оформленных, идет ко мне на поклон. Мимо не пронесешь и не припрядешь. Как только приложу свой метр, запишу — кончено дело, больше не видать ему этой досочки. А чтобы не записал, «не заметил»... Ну, ты сама понимаешь. А сколько он колбасы перекидал Дамшу! Дамш еще был щенком... и все напрасно!

Рос Дамш, поднимался по службе Самсон Григорьич. Соответственно его служебному положению менялось и мое к нему отношение. Вежлив, приветлив, никаких лишних слов. Что я теряю? Плюну, разотру и забуду. Улыбнуться, завидев его розовые щечки, и покивать — труд невелик. Только чем выше поднимался Самсон, тем неукротимей делался Дамш.

Говорю «поднимался по службе». Тут не так-то все просто. Вдруг снимают с машины и назначают начальником паркетного цеха. Потом бригадиром лесорубов. Но там продержался не больше двух месяцев. Наконец новая должность — снабженец. Все время в разъездах. Дамш отдохнул... Когда на американскую развалюху сел другой водитель, то, как бы она ни грохотала, не обращал внимания. Я уж было подумал, что пса выводят из себя заморские запахи...

Два раза в месяц появлялся на заводе наш Самсон. Прошествоует по двору, остановится у Доски почета, где фотографии ветеранов войны, отыщет свою ряху, улыбнется и в бухгалтерию. Потом к директору на второй этаж.

— Видали, куда поскакал?

— Даром должности не раздают...

— Нынче у директора хорошее будет настроение.

От работяг не спрячешь, все подметят. И язык им не укоротишь.

— А как крался! Боялся, из того кабинета увидят...

Действительно, только парторга Григорьич пока не сумел «прибрать к рукам».

Что до меня, скажу честно: никуда не лез, ни во что не вмешивался. Жил тихо.

Как-то я забыл привязать Дамша, он и накинудся на Самсона. В заводском дворе. Слава богу, я был поблизости. Поймал за ошейник, оттащил. Прямо озверел, рвется, клыки оскалены... Самсон, пятясь, пнул Дамша. Но не сильно, едва достал. А то вряд ли бы я удержал собаку. Не знаю, чем бы кончилось.

— У-у, тварь дворовая!.. Меня и фрицевы овчарки не могли одолеть, были как шелковые! — крикнул снабженец. Лютые складки на переносе и глаза — как на прорези прицела.

Да, Адица, пусть тот, кто желает тебе смерти, посмотрит в такие глаза! Волчьи... Или будто у ворона, опустившегося на падаль.

Я крепко обнимал Дамша за шею. Кто кого защищал — я Дамша или он меня? Замечала ли ты, ворон-могильщик, покаркав, тут же снимается с места — ничто живое не выносит его торжествующего похоронного клетота... Пока успокаивал Дамша, снабженец куда-то исчез. Точно как ворон!

Но с тех пор, где бы ни встретились, первый здоровался. Словно и не было ничего! Черт его поймет... Радоваться, что обошлось, удивляться? «Хайт, дай бог Дамшу здоровья, напугал подлеца!» — думал я. Но почему-то не шли из ума фрицевские овчарки. Что тогда с ним стряслось? Как мигом переменился человек! В общем-то, не лучше

и не хуже других... Глаза убийцы, а голос... будто и впрямь ворон прокаркал.

Направляясь в мою сторону, первым делом просит убрать собаку. Да ради бога!

— Дамш, на место! Тихо сидеть.— Загоняю в будку и говорю как бы между прочим: — А то убьет. Что ему ты! Фрица даже овчарки не одолели.

Ничего такого я не вкладывал в эти слова. Наоборот, думал, ему приятно вспомнить героические годы. Но почему-то у снабженца бледнело лицо и на лбу выступал пот.

Словно в сухой валежник попала искра, вырвавшееся у меня слово разлетелось по всем цехам, и пошло:

— Фриц... Точное имя ты ему придумал. Фриц!

— Да он сам сказал,— оправдывался я.— С фрицевскими овчарками запросто управлялся.

Конечно, заметили, что Самсону не нравится. Некоторых он просто заставил заткнуться. Эти меня осуждали:

— Нашел кличку! Забыл, как фашистов называли?

Вот люди! Ничему история не научила. «Не произносите, ефесы, имени Герострата, совершившего ужасное преступление. Он предал огню прекрасный дворец, подобного которому еще не сотворила рука человека. Ефесы, мужчины и женщины, забудьте подлое имя и предайте проклятию!»

Не произносите, забудьте... Призывы только обессмертили это имя.

Сколько я ни каялся, что жалею, мол, нечаянно вырвалось, сколько ни показывал на Доску почета, не помогло. Самсона никто теперь не называл иначе, как Фриц. Черт меня дернул, навесил кличку... И на кого! На человека куда более могущественного, чем директор.

Ладно бы на этом и кончить, поставить точку, «слинять», как теперь говорят. Но во мне вдруг проснулся Шерлок Холмс! Я стал взвешивать и обдумывать каждое слово Самсона Григорьевича. Бывают минуты, когда неосторожным словом человек выдает свою сущность. Она скрыта, «чужая душа — потемки». Но и кувшин с вином вырывают из земли на радость или на горе... Что значит «не одолели овчарки»? Всюду распинаясь, что на фронте с начала войны. Однако ни ордена, ни медали. Знаю, не все вернулись с наградами. Но если столько провоевал, если правда, что брал Будапешт и Берлин — а с трибуны в День Победы об этом не раз говорил, — то как же так ничем не отмечен? О Будапеште и рейхстаге — охотно, а об овчарках молчок. Рассказал бы, как отбивался от них, как удалось бежать, если угодил по несчастью в плен... Нет, все время на фронте. Какие же овчарки на передовой? Это в концлагерях они сопровождали эсэсовцев.

Шаг за шагом я добрался до конца. Даже по сторонам оглянувшись, не подслушал ли кто моих мыслей, ведь подозреваю черт те в чем. А возведешь напраслину, опозоришь честное имя — что тогда?

Только, как ни держал за руку самого себя, вновь и вновь принимался распутывать узелки, полз по веревочке... И одно выходило: был в плену Самсон Григорьевич. Безусловно, был! Иначе откуда бы овчарки?

И тут возникал вопрос: почему молчит? Ни полслова никогда и нигде! Один он, что ли, попал в мясорубку?.. Сколько прошло лет с той поры. Да и время не то, чтобы трястись за свое горькое прошлое. Война есть война, и судьба кому что назначит...

Так я рассуждал и сам же восставал против себя. А кто ты, как не преступник? Потому и другого подозреваешь... Сделал инвалидом невинного человека. Сначала самого себя рассуди и увидишь, есть ли у тебя право судить других.

Только когда это было, чтобы человек, сам же себя уличив в мер-

зости, останавливался перед тем, чтобы не уличить другого? Бесчестный больше всех рассуждает о чести.

Не мог я остановиться на полпути. Этот придушенный и злобный голос тогда, во дворе, и голос с трибуны... И еще, что особенно насторожило меня: не возненавидел и не преследовал, а, напротив, словно нет и не было у него лучше друга, чем я. Приветливое, улыбающееся лицо, в глазах угодничество... Вот уж что не свойственно Самсону Григорьевичу! Не мне бы его ненавидеть, а ему бы меня. Все перепуталось. Действительно, не умею отличить хорошее от дурного.

Как-то уже говорил о пенсионере Петровиче. Мой сосед, с первого этажа. По вечерам сидим на лавочке, разговариваем. Между ним и Дамшем полное понимание. Дамш ластится к старику, ложится у ног.

Я рассказал Петровичу о снабженце Самсоне и о своих подожрениях.

— Не вмешивайся! — предостерег старик. — Что слухи? Он сидит крепко и может тебе здорово повредить.

Я задумался. «Курица оттого и пропала, что ходит где попало». Словно про тебя, Алиас, сказано! Скольких людей обманула любовь и ничего с ними не случилось, перенесли, как дети переносят корь. Женились, обзавелись хозяйством, нарожали детей. А ты к одной приклеился... И таких дров наломал! Невинного человека едва не утробил. Остановись, Алиас, хотя бы теперь остановись! Дался тебе этот Самсон... Открылся перед Алхасом — свою душу спасал. А подлеца лучше стороной обойти. Наберись и теперь мужества, выскажи в лицо, что о нем думаешь. Только дальше-то что? Существуют специальные органы, пусть и занимаются «снабженцем».

Так я думал, то утешая себя, то браня и укоряя. И каждый раз перед глазами вставала бедная Мацкуя в подвенечной фате, сползающей на плечи. Но, господа, почему ясным днем нужно непременно вспомнить черную ночь? Фриц был на войне, многое видел и испытал, постарался забыть о фронтовых лишениях, наел рожу и радуется жизни. С каждым годом все новые дырки прокалывает в ремне, который скоро не сойдется на пузе. А она, чем дальше отодвигается отгремевшая война, тем больше похожа на высохшую ветку.

Было и другое, Адица, попав искрой мне в душу, оно вдруг разгорелось костром.

Бадз застрелил человека, тут же ты вышла замуж, мы оба бросили школу, не доучившись... Ты вышла замуж, а меня отец отправил в горы с пастухом Гудисой, чтобы я не «свихнулся».

Однажды вечером, когда сидели в шалаше, Гудиса спросил:

— Дад, о ком говорят: умер при жизни? Думаешь, только о том, кто опозорил себя? Если чужое горе не трогает, тебе нет места среди живых.

Простая истина. А глубже не бывает!

И я представил себе: если бы сейчас, как в школьные годы, ты, Адица, встретила на дороге несчастную Мацкую, то заплакала бы твоя душа, стало бы тебе стыдно собственного благополучия?

Кто в нашем селе не знает историю Мацкуи!

Еще в детстве лишилась родителей, воспитали братья, заменив ей отца и мать. Цыплята, потеряв клушу, жмутся друг к дружке. Так и дети, оставшиеся без родителей, ищут утешения друг в друге. Братья выросли, пришло время подумать о том, как устроить дальше свою жизнь. Но началась война. Ушел на фронт старший из братьев. Младший мог бы жениться, да ведь знаешь про наш глупый обычай: пока старший холост, остальные братья и сестры обязаны ждать. Вот кончится война, вернется старший, женится, тогда позаботятся и о тебе. Но война распорядилась иначе. Убивая людей, она убивала надежды живых. Забрали среднего брата. Через два года и младшего. Каждый из них, уходя, говорил сестре: «Ты жди, мы вернемся. Сошьешь себе

подвенечное платье, наденем на тебя платок невесты и сыграем свадьбу!»

Что ей оставалось? Ждать. И она ждала... Одна жила в доме, помогала, чем могли, соседи. А войне все не было конца. В каждом письме Мацкуя напоминала братьям о счастливом дне, когда, женившись, выдадут ее замуж. Очень хотелось, чтобы порадовались братья, увидев сестренку в свадебном наряде...

Сначала погиб старший. Мацкуя надела траур и носила больше года.

Люди сказали: плохая примета. И она сняла черную косынку. Сняла, а через месяц — похоронка. Она оплакала и этого брата. На кроватях разложила вещи погибших, повесила на стену фотографии обоих, перевязав траурными лентами. Люди помнят, как она в голос причитала по покойным...

Шло время, все чаще радовали вести с фронта, бодрее становились письма младшего брата. В селе устраивали торжественные митинги по случаю наших побед.

Когда у всех радость, то и своя рана не так болит. Потому что еще молода душа и жизнь не успела нанести много обид. Погибли два брата, но не зря — согнали врага с нашей земли. Скоро вернется оставшийся в живых, думала Мацкуя.

А за несколько дней до Победы сложил голову и младший...

Помнишь, Адица, как отмечали пятнадцатую годовщину Победы? Собрались участники войны, увешанные орденами и медалями, были и генералы. Мы, ребятишки, смотрели на них во все глаза!

Один из выступавших, старик, так закончил свою речь:

— Хайт, лучше бы и не собирались! Открылись наши старые раны! — И склонился над черным вытесанным камнем, вытирая слезы.

На камне было выбито: «Здесь будет воздвигнут памятник в честь сыновей села Апсара, погибших в Великой Отечественной войне». А рядом на доске, похожей на классную, выведенные золотой краской имена и фамилии. Все смотрели на эту скорбную доску... Лишь позже вырезали имена на мраморной плите под фотографиями погибших. Не было только младшего брата Мацкуи — при жизни не успел сфотографироваться.

Мацкуя водила пальцем по Доске, качала головой и смеялась. Какая-то пожилая женщина подошла, обняла.

— Братья твои за Родину погибли. Видишь, какой им почет!

Хотели эту женщину вразумить, что не надо добивать несчастную, пусть думает о братьях, как о живых.

— Перестаньте лгаты! Поплачет — слезы успокоят душу... — И, как горевестница, встала перед Мацкуей. — Убили, нан, убили фашисты твоих братьев! Не вернутся они!

Мне стало страшно. Я-то думал, Мацкуя ничего не знает и начнет рвать на себе волосы, закричит. Сколько за войну мы слышали таких воплей! Да и после войны. Прибежим — люди во дворе плачут, а покойника нет...

Мацкуя не заплакала, не закричала. Она засмеялась!

— Мои братья... Они обещали. Так вы все приходите на свадьбу! Ха-ха-ха! Братья выдают меня замуж. — Она посмотрела на меня, я попятился, не зная, куда себя деть.

Глаза Мацкуи были тихие, ясные, в них не было ни печали, ни торжества, и пришла она в белом платье, словно действительно готовилась к свадьбе. Только очень была худа.

— Придешь меня поздравить? — ласково спрашивала Мацкуя. Я озирался и кивал испуганно.

— Не бойся, дад, — сказал стоявший рядом мужчина. — Стала такой, когда получила третью похоронку. Несчастная!

Мацкуя вновь засмеялась, прикрыв рот ладошкой.

Вопли по погибшим и смех Мацкуи навсегда останутся в моей па-

мяти. И белое платье... Длинные густые волосы Мацкуи были заплетены в косы, в них красовались два красных банта, будто у девочек-первоклашек. Удивляюсь, как она до сих пор жива! В чем душа держится?.. Точно узница концлагеря. Тогда часто показывали в кино, как наши освобождают заключенных из фашистских лагерей — не люди, а тени.

А у Самсона Григорьевича вид предовольный, щеки — словно сыр, коптящийся над очагом, жирок сочится... Да хоть бы и упыры! Я сам по себе, он сам по себе. Лишь бы спокойно работать, иметь «кусочек хлеба». Убрать Дамша долой с его глаз, и делу конец.

Вышел я однажды на балкон и отвязал Дамша. «Все на свои родимые горы тарашисься? — сказал я псу. — Так и отправляйся восвояси, живи среди волков!» Привел на заводской двор и посадил в кузов лесовоза. Хватит, натерпелся!

Моя сожительница обрадовалась:

— Слава тебе, господи, хоть поспокойней будет!

Но не прошло трех дней, спускаемся утром во двор, а он тут как тут, бродяга! Весь в грязи, прихрамывает, язык до земли...

Вот так-то! Если я еще могу расстаться с Апсарой, то с Дамшем нам порознь не жить. И все же порой думал: «А может, лучше было бы, останься я в Апсаре? От себя не убежишь. Как-нибудь перетерпел бы». И вспомнилась мне, Адица, одна ночь...

Были у меня дела в гараже. Никого. Я да сторож. Вдруг въезжает машина в ворота, и видно, что за рулем вдребезину пьяный. Вылез твой муж Маджгана... Как он доехал? Потрепал меня по голове, словно ребенка, и говорит:

— Сердишься... А я не хотел обидеть.

Я, конечно, понял, о чем он.

— Ты знал, что я любил Адицу?

С пьяным иногда проще: скорее скажет, что на уме.

— Знал. Я многое знал! — пробормотал Маджгана. — Ты ее не любил вовсе. А она — да! Любила... Но больше теперь не любит. Потому что... ты ее не любил. И не любишь...

Я не стал дальше слушать, отошел. А Маджгана такое молот, до чего я сам нипочем не додумался бы. Мне не хватало воздуха, бесцельно тыркался из угла в угол... Сторож спал в своей будке. Заснул и Маджгана, снова забравшись в кабину. Вскрапывал, уронив голову на баранку руля. У меня дрожали и подгибались колени... Что стоило завести мотор и прикрыть ворота? Скажут, произошло замыкание, а он был в стельку. Те, с кем он пил, подтвердят. Даже уснул, не выключив мотор... Только капелька бензина — и все! Ночь была темной, моросил дождик. Несколько раз я выходил из гаража и возвращался. «Решайся! — говорил себе. — Какой же ты мужчина? Ни одна душа не узнает!»

Ноги уже совсем не держали. Я прислонился к воротам. Тихо было в селе, все спали. Спала и ты, Адица. До несчастного случая с Алхасом в горах оставалось около месяца...

Кажется, в ту ночь я понял значение слов: дерево крепко корнями, а человек — душой. Не раз их повторял пастух Гудиса. И они спасли меня. В ту ночь спасли. А потом не смогли...

Ты знаешь его, старого Гудису, как знаешь и многих других апсарских стариков. Но не все о нем знаешь. Я не люблю назидательных притч, но все же расскажу. Может, когда-нибудь пригодится... Ее я услышал от Гудисы.

Но прежде...

Вернемся в тот день, когда прозвучал выстрел у магазина. Люди сочли виновной и твою мать Мсыгуду, изгнали из села. Ты послала ко мне соседскую девочку, сама же не осмелилась показаться в доме. Потому что знала, вместе нам уже не быть.

Что же потом? Этого ни ты, ни Мери не знаете. Мы с Мироном

на машине бросились вас искать. И не нашли. Сопровождавший¹ признался, что сам ночью посадил беглецов на поезд, но я не верил. Мирон всячески утешал:

— Не стоит она того. В субботу невеста, а в воскресенье...

— Она не по своей воле! — защищал я. — Или похитил, или принудил силой.

— В старое доброе время умыкали на коне, завернув в бурку. Сейчас на машине...

— Сейчас и женятся без всякой любви! — резко оборвал я.

— И умыкают на поезде. О таком способе я еще не слышал. Тебе же сказали... Адица была с чемоданом. И одета — хоть сразу за свадебный стол. Ты мимо ушей пропустил. Разве не знаешь, что произошло в их семье? Да она просто сбежала! Подвернулся Маджгана... Был бы другой, так с ним.

Я целый месяц не выходил из дому, боялся показаться на людях. Когда невеста сбегает из-под венца, для мужчины нет большего позора. Я был унижен, обесчещен.

В отчаянии, но и с надеждой на избавление от терзавших меня сомнений и мук я ушел с Гудисой в горы. Чтобы ничего не слышать о тебе и Маджгане. Не ловить на себе сочувствующие взгляды. Ты не знаешь, что это такое, они убивают!..

Проводники вернулись в село, и мы с Гудисой остались одни. Мужчин в Апсаре было тогда наперечет, прошли времена, когда шумной и густой толпой отправлялись на летние пастбища, выбирали старшего и пасли поочередно. А стадо — за триста голов!

Утром мы с Гудисой гнали стадо на горный склон. А позавтракав, ближе к полудню снова на пастбище. Трудно с дойными козами. Отобрать молодняк и разместить отдельно. Два раза в день, утром и вечером, подоить, процедить молоко... Готовить сыр. Но у нас было всего несколько дойных — для себя, молоко шло в пищу.

Так вот и жили вдвоем, я и старик.

Провожая меня, отец, помню, сказал:

— Покарай же, господь, кто виноват перед тобою!

На чью голову он кликал беду? Тебя проклинал, Маджгану? Я и теперь не решаюсь спросить, кого имел в виду. А тогда и подавно. Мир для меня надвое раскололся. Черное и белое — других цветов не различал.

Точно глубокая река разделила людей. На одном берегу — мать, отец, мой друг Мирон, старый пастух, Чокнутый, над которым все потешались, вечная невеста Мацкуя, на которую война вместо черного траура надела фату — и белое, чистое превратилось в черное... Да еще наш учитель истории, вернувшийся с войны без руки. Ты, может быть, ждешь, что назову и твою подругу Мери? Но она другое, как бы в стороне от тех и от тех. А на другом берегу — подлость и злоба. И первыми среди проклятых богом — застреленный Арутан, которого, по выражению старого пастуха, зарыли, как собаку, Мсыгуда, изгнанная из села... и тот, за кого ты, Адица, вышла замуж. Темный, исподлобья взгляд и крохотные барсучьи глаза. Как у снабженца Фрица... Мой отец любил повторять: «Кто упал духом, тот потерял все!» Это обо мне. И если так, что же делать? Как абрек, ворваться в дом твоего мужа и, бросив тебя в машину, увезти?.. Нет, на такое ты не способен, Алиас. Про таких говорят: хоть и в штанах — не мужчина! Мужества ни на грош... Лучше смирись. Забудь Адицу. Девушек полно в Апсаре — красивее и честней. Я клял себя и утешал и снова клял. Старый Гудиса разговаривал со мной и, словно взяв за руку, уводил от самого себя все дальше и дальше... И горы смотрели на меня, обступив. Ладно, не стану мучать тебя, говоря об их красоте. О том, что они исцеляют. Но это так, Адица! Стоишь среди скал, снежные пики нависа-

¹ То же, что шафер.

ют, а ты маленький, одинокий и беспомощный, будто в храме, огражденный от грешной суеты... Тебя поднимает к самому небу, овеивает чистым ветром, точно богиня охоты задела своими одеждами... Не хотел, а не удержался от слов! Потому что действительно, как в храме. О разном говорил пастух Гудиса, но обходил то, что меня угнетало. Конечно, знал от моего отца. Оставаясь один, я брал ружье. Выходил из шалаша и целился в чучело, связанное из веток, воображая Маджгану перед собой. Спускал курок, приклад сильно отдавал в плечо. Чучело стояло неподвижно, глядя из-за камня и словно бы усмехаясь... Когда мы всем классом прибежали на выстрел, о твоём брате Бадзе говорили в толпе:

— Позор кровью смывают.

— У Бадза не было выхода.

И отец согласился:

— Правильно поступил.

Снова и снова я заряжал ружье и палил. Подошел Гудиса, я не заметил. Солнце уже опустилось за хребет, ослепительный свет затопил ущелье и медленнее взбирался по склонам.

Гудиса сел на попону, разостланную возле шалаша на плоском камне.

— Полежала на солнце, и выветрился запах. Садись и ты, дад. А ружье не прячь за спиной. Отнеси на место. За нашей горой,— продолжал старик, когда я вернулся и подсел.— есть еще одно хорошее пастбище. До войны там пастушили. Да и раньше. Называлось Снежное. Потом, когда там со склона сорвался Апта, стали называть его именем. Многие я сегодня передумал... Вот говорят, хорошее рядом с плохим ходит. А почему? Потому что всего намешано в человеке. Творец же его не таким создал. Сотворил и ушел, оставил одного. А сам следил: как будет жить? Почти год минул. Живет человек, как ему подобает. Ночь ли темная, ясный ли день. холод ли, жара — ко всему приспособился. Ну и ладно, решил творец и вовсе оставил человека. Тут и появился дьявол. Видит, человек без присмотра. Не знает, что делать ночью. что днем. Дьявол и говорит:

— Я тебя научу!

А человек как младенец: ничего плохого, кроме хорошего, не было еще в его недолгой жизни. Он и согласился. Дьявол быстро научил. Лжи, кровосмесительству, предательству, злому умыслу, подлости, словом, смешал чистую кровь с дерьмом. С тех пор такая и течет в жилах человека. То хорошее победит, то дурное возьмет верх. Дьявол так поделился с создателем: пусть будут твоими все дни и все ночи, но один раз в году—мой. Страшен этот день! Как над обрывом стоит человек, один шаг — и сорвался. Если одолеет себя, одумается вовремя, на завтра станет ему стыдно. И порадует, что не преступил человеческого в себе. А нет, померкнет для него божий день. Стыд и раскаяние замучают, да что оттого! Содеянного не вернешь. Как загладить поступок, душу спасти? Если пролита кровь, заплатить за нее. Если унижен ближний, прощение вымолить. Искупил, кажется, грехи, очистился, как вновь наступает день дьявола... Так и проходит, дад, жизнь человека. И в радости, и в горе. То его чистую душу охранит господь, то дьявол отспорит...

— Понятно.— сказал я несколько пренебрежительно.— Несчастливым бог создал человека!

— А ты знаешь что такое несчастье?

— Когда любишь, а тебя обманут! — Что было на уме, то и сорвалось с языка.

— И-и лад, без любви человеку плохо, это правда. Но есть кое-что больше любви. Чистая совесть! Вот спрошу тебя. Кого считают сильным мужчиной? (Старик спросил, и я сразу почему-то подумал о Маджгане: отомстит, не моргнув глазом!). Человек с чистой душой,— повторял Гудиса задумчиво,— это тот человек, который сумеет одо-

леть дьявола в черный день! Уговаривает тебя, уверяет нечистая сила, если, мол, поступишь по ее совету, так и честь сохранишь. Заманивает. Лжет! Сильный человек — кто превыше всего дорожит своей порядочностью.

Гудиса замолчал. Потом встал и направился в шалаш. Я следом поднялся. Сели друг против друга возле очага. Старик бросил в огонь несколько осиновых веток. Я не слишком раздумывал над сказанным. Глядел в огонь, как он скручивает осиновые прутья. Когда старик попросил нарезать, я удивился: с листвою, сырые, не будут гореть. Но он настоял. И вон как горят! Гудиса сидел, освещенный костром, протянув к нему руку, посох торчал между колен. И бормотал... Что-то о том, как измучила совесть, а тот, кто наверху, лишь качает головой: делал из тебя человека, ты же в один день все растопчешь...

Вспоминаю сейчас, и мне стыдно, что не слушал, ухом даже не повел. Болтает, дескать, старик! А ведь он заметил, что не находят ответа его слова. В то время они и впрямь были мне не нужны. Мы вышли наружу. В ущелье стоял тяжелый туман. В горах, едва зайдет солнце, становится мрачно, но туман тает с восходом. Старик шептал молитву. Мне показалось, о себе говорит, что это его оспаривают друг у друга бог и дьявол... Вокруг было темно, горы слились с небом. Гудиса вздохнул.

В ту ночь он рассказал еще одну историю, начав с того, что безгрешных нет на земле. Но о ней я напишу в другой раз.

Тогда, в гараже, я удержал себя не потому, что вспомнил нравов учения старика. Маджгана дрых, сидя в кабине, спал и сторож. Мне ничего не стоило... Пастух Гудиса был бы ни при чем. Я еще не видел, чтобы чужой опыт кого-либо чему-нибудь научил. Совсем другое меня держало...

Я так рассудил: «Алиас, допустим, ты покончишь с Маджганой. Подожжешь машину, и никто на свете не узнает, как это случилось. Хотя ерунда, узнают! Зло обязательно когда-нибудь раскроется. Ну что ж, тюрьма так тюрьма. Но как объяснишь свою подлость? Мол, ненавидел Маджгану, из-за него отобрали машину... Дурацкое оправдание, никто не поверит! Значит, выложить правду. А утаю — все равно догадаются, кое-кто знал о наших с тобой отношениях... Да зачем и утаивать! В мести надо идти до конца».

Ты знаешь Мери. Она не предаст, не разболтает. И я еще раз говорю, это мое послание, как прочтешь, сразу сожги... как сожгла тот день и ту ночь, о которых сейчас напомним тебе. Может быть, не по-мужски взывать к своей совести, но у меня ничего нет, кроме того дня и той ночи, и, если я буду знать, что и ты о них не забыла, мне будет легче.

По словам старого пастуха, лишь сутки мы принадлежим дьяволу, а остальное время в году отведено для искупления совершенного зла. А вот у меня все наоборот. Богу я принадлежал один-единственный день. Мы сами, Адица, в тот день были как боги! Мы были вдвоем в доме моих родителей и были убеждены, что он станет и твоим. Так думали и мой отец и моя мать.

Когда я начал это письмо, была осень. И сейчас слякотный, холодный ноябрь. Подобно тому, как два человека, всю жизнь прожившие рядом, по-разному режут скотину, так и между селом Апсара и морским побережьем, где стоит наш заводик, разница в климате преогромная. Хотя друг от друга в каких-нибудь двух десятках километров. Там, в Апсаре, даже люди не те. Походка тяжелая, грузная, будто на плечи накинута бурка. Чаще идут дожди. В один из осенних дней, когда воздух особенно свеж и пахнет костром и чалою, когда море, кажется, лежит у самых гор, а их ледяные вершины говорят тебе: видишь, какую мы долгую прожили жизнь, как тихо состарились,

поседали,— в один из таких дней под вечер я вышел за ворота, чтобы встретить стадо. Люблю, если поблизости нет отца, надеть его войлочную сванку, взять в руки посох деда (да будет земля ему пухом). Не потому, что отец не разрешает. А начинает подкалывать:

— Думаешь, напаялил отцовскую шапку, взял посох деда — и молодец молодцом? Это право надо заслужить!

Так вот, в час, когда в село входит вечер, я в отцовской сванке и с посохом деда, уверенный, что в отсутствие родителей один смогу управиться со всеми делами, вышел на улицу. А навстречу мне девушка, почти девчонка, в голубой косынке. Голова опущена. То ли задумалась, то ли избегает взгляда прохожих. Наш целомудренный и суровый обычай не велит заглядывать в лица. Девушку украшает скромность. Мне показалось, что я впервые тебя рассмотрел. И удивился этому. Сколько тебе тогда было? Семнадцать? Когда я родился, моей матери исполнилось столько же... Ты была рослая, стройная. Если больше не подрасту, подумал, она станет выше меня. Я остановился, натянул сванку на глаза и оперся на посох. Так у нас встречают незнакомого человека. Потом ты призналась, что приняла меня за отца, и еще ниже склонила голову, а поравнявшись, тихо поздоровалась:

— Здравствуйте...

— Добрый вечер,— ответил я, не сдержав смеха.— А что это «вы»? Так со свекром разговаривают.

Ты вспыхнула, подняла недоуменное лицо.

— Это ты?..

— Интересно, куда держите путь? — спросил я.— Одна на пустой улице! А скоро ночь...

Шутил, а между прочим действительно очень хотелось знать, куда ты идешь. Злосчастная ревность!

— Так уж, кроме тебя, никого и нет! На randevу... Слышал такое слово? Тайное свидание.

Поддразнивали друг друга, веселились. Так в узких берегах играет, искрится, пенится торопливая горная река.

Оставалось шесть месяцев до выстрела, оборвавшего жизнь человека.

Шесть месяцев до позорного изгнания Мсыгуды...

Что нас толкало друг к другу, Адица? Любовь? Не злая ли сила!

«Ты подожди. я провожу. Вот только загоню скотину. Подожди. Подою, а потом... Отгоню телят от коров, и пойдем...»

Родители ушли в гости с ночевкой. Как я хотел похвастаться перед тобой: видишь, и стадо встречаю, и сам дою, хозяйствую — могу семью содержать!

Мы пришли ко мне. В доме не было камина, огонь разводили в каменном ложе посреди амацурты¹, с потолка свисала очажная цепь. Ты порывалась уйти. А я напустил на себя браваду:

— Сейчас сварим мамалыгу поужинаем!

Нет, ты смотри как я встречаю гостей. Я настоящий хозяин!

— Эй хозяйшкa, что же ты стоишь без дела? Так ты ухаживаешь за мужем?

И ты радостно приняла игру:

— Сейчас, сейчас! Сварю мамалыгу и накормлю ненасытного мужа.

— А я пока прилягу. Где там подушка? Куда девалась моя старая бурка? Сколько раз говорил, чтобы не трогали мою старую бурку! — кричал я, подражая отцу.

— Вот она мой господин, твоя бурка!

Бурку я накинул тебе на плечи. Они были одного цвета — твои волосы, брови и эта бурка... Только глаза были серые. Сияющие твои глаза... Огонь очага играл на твоём лице. Навсегда я запомнил широко

¹ Летняя кухня.

раскрытые сияющие глаза и отблески пламени. Боже мой, твержу: было и никогда больше не будет! Эта ночь поделила на до и после нашу любовь, наши с тобой жизни.

— Смотри, Адица, умыкну! Заверну в бурку...

— Куда умыкнешь? Я в твоём доме. А если я тебя? — и надела на меня бурку. Я сбросил её, мы сели, обнявшись. И обо всем на свете забыли...

Дрова в очаге прогорели, постепенно слабев, сник и огонь.

Ещё не рассвело, ты встала и принялась разжигать очаг. Я не оспаривал у тебя этого права — права хозяина. Мне нравилось смотреть на тебя. Что-то говорила, но слова не доходили до сознания. Наверно, и ты не слишком вдумывалась, говорила, чтобы не молчать... Впрочем, кто знает, может, как раз наоборот?

— Ни одного горящего уголька, ни искорки! Не к добру, Алиас, когда гаснет очаг, не к добру! — Мне послышалась тревога в твоём голосе. Возможно, ты просто шутила. Есть у нас обычай: первую ночь после свадьбы новобрачные проводят в амацурте, а утром собираются друзья вокруг очажного огня, веселятся, поют.

Я сказал торжественно:

— Пока, Адица, ты живёшь на свете, в моём очаге не погаснет огонь! — сказал то, что на моём месте сказал бы любой, не придавая словам особого смысла. Поворошив угли, я развел огонь. Ты смотрела с кушетки, закутавшись в бурку. Я подошел, сжал твои руки. — Пока ты живёшь на свете, мой огонь не погаснет!

Так говорил матери мой отец, подняв тост. И я повторил за ним эти высокие слова. Другие были нужны? Одно-единственное, истинное?.. Что жить без тебя не могу. Прошла наша ночь, вместе встретили солнце — и вот я не могу без тебя, не могу, не могу без тебя! Не сказал. Ни тогда, ни после. Теперь говори, кричи — не услышишь! От себя не уйти. Я апсарец по месту рождения и духом. Мы, апсарцы, жизнь проживем рядом с человеком и доброго слова ему не скажем, а на поминках вознесем до небес!

Горел огонь посреди амацурты. И он встречал утро. Огонь в нашем очаге...

Мы были уверены: наш! Мы хозяева. Так нас учили: «Счастье человека в его руках». Да как бы не так!..

Шел по дороге человек, нес на плече острый топор. Увидел дерево и от нечего делать всадил в него свой топор по самый обух. Вот сколько во мне силы и удали! Вскинул топор на плечо и пошел дальше.

Ты удивишься, Адица, но причина нашей разлуки...

...Прости, приходил следовательно по делу Фрица. Серый строгий плащ, очки, папка под мышкой.

Ему понадобилось ещё что-то выяснить. Спрашивал — я отвечал. Потом расписался внизу каждого листка. Поговорил следовательно и с рабочими. Потом, как всегда, завернул в партком.

Так вот о причине нашей с тобой разлуки.

Маджгана ли во всем виноват? Почему ты, говорил я себе, забыл про мать Адицы Мсыгуду? Случалось, ночи напролет проводил за размышлениями, вставал ни свет ни заря, шел в гараж. Там у меня в шкафу всегда вино или водка... Дай ей бог здоровья, продавщица отпускала в долг. Не думай, что я места себе не находил, сгорая от неразделенной любви. Нет, я по-прежнему любил тебя, но уже другими глазами смотрел на мир.

Было далеко до рассвета, я брел по дороге. Поглядишь в небо, которое пересекает Млечный путь, и кажется, сам идешь по такому же, только он проложен по земле... Спустишься по склону, звездное

небо собирается в узкую щелку, а поднимаешься на всхолмок — ты единственный властелин мироздания. На юге спокойно лежит море, на севере вздымаются горы.

Дорога вела через кладбище. Летом чужой человек, проходя мимо, и не заметит — все заросло колючкой ежевики, папоротником.

Мы от многих обычаев отмахнулись, считая пережитками. Погосты в забросе, порой и не найти. Может, потому, что привыкли скрывать свою печаль как и радость, не хотели, чтобы горе омрачало душу. Теперь сердца окаменели, хороним прямо у большой дороги. А то и во дворе. Гость сникнет, войдя в ворота. Хозяин встанет утром с улыбкой, глянет с веранды во двор — перед глазами мрачнеет могила... Какое нужно сердце! Нет, не так глупы были наши предки, хоронившие в удаленных местах. Хочешь навестить прах усопшего — собирайся в путь!

Лето было на исходе. Еще стоял папоротник, зеленый, густой, охраняя поля от пыли и ветров. И такой высокий, что, пожалуй, с дороги только всадник разглядит могилы. Я шел мимо и не думал о похороненных здесь. Ни о бабушке с дедушкой, ни о дяде, скончавшемся от ран через год после войны, ни об отце Мирона Апте. Ни об Арутане, которого зарыли где-то в стороне... Низко склонилась к морю ущербная луна, из-за гор ширилось бледное сияние восходящего солнца. Если мы, апсарцы, не в силах переменить к лучшему, думалось мне, так пусть будем такими, какие есть. Лишь бы с нами остались эти горы, море и эта сельская пыльная дорога. И память о прошлом... А ведь и до сих пор не найдены родники заваленные махаалжирами-апсарцами, которые навеки покидали свой кров и родную землю.

Проходя кладбище, я заметил на краю дороги легковую машину. Задняя дверца была открыта. Я заглянул внутрь. На сиденье в неудобной позе лежал сухонький старичок. Что это в такую рань, подумал я. И стало не по себе, когда всмотрелся. Уж не помер ли? Нет, старик спал, тихо посапывая. У него были странные усы — изогнутые, словно козлиные рога.

Я разбудил старика.

— А? Едем-едем, сейчас, — забормотал он, протирая глаза.

— Что вы тут делаете?

Старичок вылез на дорогу, стал хлопать себя по бокам, согреваясь со сна.

— Попросила, я привез, — смущенно сказал он, кивнув в сторону кладбища. — Она мне никто, просто по соседству снимает комнату. Сказала, заплатит сколько запрошу... Только чтоб до рассвета.

Он все хлопал и хлопал себя по бокам и плечам, будто по нему ползали муравьи.

Я перепрыгнул канаву и, раздвинув папоротники, увидел женщину. Стояла, склонившись у могилы.

— А почему ночью? — спросил я. — Кто она?

— Откуда мне знать! Попросила — я привез. И чтоб никто не видел...

Я, может, ушел бы, так ничего и не узнав. Не вспомнил бы и про обычай: увидишь незнакомого у могилы, подойди и поклонись праху, раздели скорбь. Старик же сказал:

— Как вы, абхазцы, поступаете! Не прощаете кровосмесительства и попранной чести ни живому, ни мертвому. Недостойного лежать в земле выбрасываете из могилы... Уважаете свою землю. Клянусь, эта женщина мне посторонний человек.

Я не помнил, кто там похоронен — там, где стояла женщина. Отец Мирона Апта, чьим именем мы, апсарцы, гордимся? Но мать Мирона совсем не похожа на эту женщину. Да и зачем ей скрываться?.. Неужели Арутан? Сколько было споров, когда его хоронили! Наверняка это одна из сестер... Говорят, ни разу не видели их возле могилы. Даже траура не носили, не оплакали. Тайком ходят на кладбище...

Не могла быть и ты, Адица. Я присутствовал на похоронах Арутана, пришел из-за Мирона, чтобы удержать от неразумного поступка. Он кричал: «Все равно вырою! Чтоб лежал рядом с моим отцом?..» Старики успокаивали: «Зарыли, как собаку... Наняли каких-то бродяг, те и выкопали могилу. Никто из нас не взялся за лопату... Завернули в старую бурку и забросали землей. Изменника хуже не похоронят! Даже палку не воткнули в изголовье. И не огородили. Собаки будут справлять нужду, свиньи разроют... Зарастет травой».

А сейчас, при свете утра, я увидел, что могила ухожена, черный камень, золотом выведено имя.

Могила обнесена железной оградой, выкрашенной серебристой краской. Просторно, оставлено место и для близких. Куда там могиле Апты!

Внутри ограды мраморный столик. Кувшин, ваза с цветами, стаканы... Придут, помянут, обмакнув кусок хлеба в вино... (Позже я узнал, что был день рождения Арутана.)

Когда женщина подняла голову, я разглядел ее лицо. Сердце замерло, будто меня застали на месте преступления. Это была твоя мать, Адица! На могиле Арутана, убитого твоим родным братом, ее сыном. Мсыгуда, которая сделала нас обоих несчастными, женщина без стыда и чести, от которой отказались собственные дети, которую изгнали из села...

В то лето, когда я ушел с Гудисой в горы, много было среди апсарцев разговоров о вашем семействе. Пришли люди из села, принесли муки, соли, других припасов. И, конечно, новости. Мне бы тогда встать и уйти, но боялся выдать себя.

— Жаль Арсану! — сказал один о твоём отце. — Такого мужчину опозорила, умереть ей страшной смертью!

Другой возразил: пока есть такие, как Бадз, жива совесть апсарцев.

— А дочь-то ее какова! Отреклась от матери... Иди, говорит, куда хочешь.

— По совести поступила. Но за одно я бы ее осудил — тут же и замуж! Нехорошо.

Я насторожился.

— Удивляюсь, Маджгана был наготове, что ли?

— А чего вдовцу не жениться на такой красотке? Сорвалась звездочка с неба и залетела за пазуху...

— Наверно, и до этого поглядывали друг на друга.

— Скажешь! Станет такая вздыхать и поглядывать... Что она, не дочь своей матери? Платье дочери из материнского подола!

Гудиса покосился на меня. Но ни слова не сказал. Я тоже молчал, будто вовсе тебя не знаю. Не провели вместе ночь, не встречали рассвет в амапурте...

Кто-то пожалел покойного Арутана:

— Ну, открылась их связь с Мсыгудой... Взять бы ей и уйти! Человек бы жил до сего дня.

И тут Гудиса вмешался. Сидел, слушал, опустив голову, и вдруг с силой вонзил посох в землю.

— Судите о том, чего не знаете! А разобраться и понять — ума жалко... Прогнали Мсыгуду, убили Арутана. А мы сами-то, апсарцы, кто такие? Все у нас по совести? Ни на кого зла не держим? Сидим, болтаем, потому что другого дела нет... Не знаю, слышали, нет, расскажу историю. Люди, считавшие себя порядочными, чистыми, возмущались поведением женщины и потащили на суд к создателю, чтоб покарал ее за измену. И создатель сказал: «Пусть один из нас, не совершивший греха, бросит камень в нее!» И ничья рука не поднялась...

Разошлись по домам. Не буду учить вас уму-разуму, но если праведника отыщете, то поставьте ему памятник при жизни.

Совесть, добро, сострадание... Есть ли человек, который не знает, что такое жалость? Это как инстинкт самосохранения, знакомый и зверю. И во мне шевельнулось что-то похожее на сострадание к этой женщине, когда она, укрыв лицо платком, в черном платье до пят, выбирала травинки с могильного холмика, точно малое дитя здесь похоронено...

Я отвернулся.

Словно боясь, что угонят, старик стоял возле машины, держась за дверцу.

— Ты здешний? — спросил он. Я посмотрел на него исподлобья. «Если привез, одного поля ягоды!» Ненависть к Мсыгуде я перенес на старика.

— Такие как ты, и разжигают вражду... Зачем сюда прикатил?

Старик съезжился, втянул голову в плечи.

— Просит — я привожу, отвожу...

— Сколько раз?

— Один раз под утро, другой ночью... Сядет на заднее сиденье, плачет молча. Спросил ее: к мужу брату ездим? Ни слова не сказала.

— К любовнику! Из-за нее убили.

— Вон что! Не знал... Любови! Убили б меня из-за такой женщины, считал бы себя в раю. Хотя и в возрасте, но красива... Сидит сзади, а у меня мурашки по спине, хоть уже и старик! — И засмеялся, качая головой и шурясь мечтательно.

— Ты бы полапал ее, не откажет!

— Злой ты какой... Так о женщине не подобает мужчине... Сами же вы, абхазцы, говорите, что хорошая собака не залает на женщину.

— Она не женщина!

Старик наморщил губы.

— Убитый тебе кто? Отец, брат?

Я едва не заорал прямо в лицо этому хиляку: «Недоумок! Лучше бы заткнулся! Эту женщину я уважал и любил как родную мать, при встрече язык проглатывал от волнения.. А ее дочь была моей невестой!» И сам заткнулся — задушил в себе отчаянный выкрик. Вспомнил как-то сказанное отцом: «Кроме нашей Апсны в целом свете нет больше такой страны, где рядом бы хоронили ангела с дьяволом». Но не то страшно Адица, что ангела с дьяволом хоронят чуть ли не в одной могиле, а то, что при жизни они целуются, как родные! Кто из них лицемер?

— Я с нее не беру денег — сказал старик. — Из уважения. В молодости, наверно, была очень красива... Познакомлю со своей старухой, пусть узнает, что такое любовь. У меня тоже есть дочери, внуки... Ах, какая любовь! А сколько ей?

— Сорок семь три месяца и три дня! — крикнул я. Хотел вйти, но что-то удерживало. Да не что-то, а злоба. «Три месяца и три дня». Что я хотел сказать, прибавив от себя дурацкие три дня и три месяца? У апсарцев ум и сердце не в ладу. И торопливо заговорил, меня понесло: — Хочешь ее биографию? В тридцать девятом вышла замуж. Еще в институте. Замуж выскочила неожиданно, никто ничего не знал до последнего дня. Точно так же поступила ее дочь. Есть такое в их роду... Муж, Арсана, был намного старше.

— Он жив?

— Инвалид. Дома сидит. Еще рассказать? В сороковом году родился сын. Сейчас он в тюрьме. Он и застрелил любовника матери. Через три года, в сорок третьем, появилась дочь, зовут Адицей. Еще?

Скажу еще: если когда-нибудь увижу вас здесь, останешься без ног! Понял?

— Не знал, что вы такие звери. А то стороной объезжал бы эту Апсару.

— Звери — не звери. не твоего ума дело. Денег с нее не берешь... Кто тебе поверит? Богатеешь на чужом несчастье!

— Ты или кем-то обижен и не знаешь, на ком выместить, или родился таким.— надулся старик.— Сказал же тебе: не беру. Ты как не слышал. Не беру с нее денег! Любовь уважаю.

Действительно, подумал я, не сладивши с конем, исхлестал плеткой седло. Чего накинудся на старика? Я извинился.

— Живу в Сухуми возле Красного моста,— смягчился и он.— Дом на берегу Беслетки. Расспроси соседей, о ней скажут много хорошего. Такая женщина!

Прямо как о близкой родственнице заговорил, даже голос дрожит. И усы торчком! Мог ли я тогда знать, что сказанное стариком мне пригодится...

— В книгах читал про любовь и думал: вранье. В жизни не встречал. А теперь своими глазами увидел... Ее окно выходит в небольшой дворик. Привезли ограду для могилы, сама выкрасила под серебро. Моя старуха спросила, для кого так старается. Для себя, отвечает. Мы посмеялись: шутит. Днем на работе, а по ночам шьет на продажу. Что зарабатывает, все на могилу тратит. Вот любовь!.. С тех пор как он умер...

— Как убили,— поправил я.— Умер бы в заключении, ему бы лучше...

— Он сидел? Если и после смерти забыть не может, то уж как ждала из тюрьмы-то!

— Дня не ждала! — Я так сказал, чтоб не очень-то нахваливал старик. Откуда мне было знать, что попал в точку? Вон надгробье над могилой Апты, видно с дороги... Мирон подновил надпись. Дата гибели — 1939 год. В том же году, рассказывают, ограбили колхозную кассу и подожгли сельсовет. А когда Мсыгуда вышла замуж? В том же, тридцать девятом. Что получается? Всё за одно лето: ограбили кассу и спалили сельсовет, в горах погиб Апта, посадили Арутана и, наконец, Мсыгуда, дня не погоревав, вышла замуж... Да и случайно ли погиб отец Мирона? Гудиса говорит, что вместе пасли. Стадо ушло к леднику, опасное дело... Апта побежал заворачивать, ему кричали, чтоб вернулся, не послушал. Неделью искали труп...

Сухумский старик снова что-то забормотал.

— Она и ползком сюда приползет,— разобрал я.— Посадили... А вернулся — еще сильнее полюбила...

— Она меня за муку полюбила, а я ее за сострадание ко мне! — продекламировал я. Какое вообще мне дело! Я встал у обочины, решив дожидаться Мсыгуды. Все выскажу... Как она обманула меня. Словами, улыбками... Предала! Правильно сделала Адица, когда сказала: ты мне не мать! И я найду, что сказать. Лишь бы взять себя в руки, не сплеховать. Знаю, в последний момент чего-то вдруг устыжусь. Не раз так бывало. А теперь конечно хватит!

Она пройдет по этой тропе другой нет. Лицом к лицу столкнемся... Я сложил руки на груди и расставил ноги. Такая внушительная поза, вызывающая.

Солнце уже поднялось из-за гор. Роса подсохла, и в воздухе таял тонкий утренний пар.

Она повесила на железную калитку замок и направилась к дороге

Пройдет мимо — плюну ей под ноги. Буду смотреть прямо в лицо. Пусть знает, я из тех, кто выдворил ее из села!

Делает вид, что не замечает?

Нет, подняла голову. В глазах ни страха, ни удивления... Но это

была ты. Адица! Я даже попятился... Показалось? Но ведь точно — ты, твои глаза! Я и представить не мог, что у тебя и у матери твоей одинаковые глаза. И глаза, и взгляд! Прости, что говорю о ней и о тебе вместе... Но, если бы дьявол хоть однажды не прикинулся ангелом, молния сразила бы его!

Знаешь, ей было все равно, держу ли я цветы или прячу за спиной топор.

— Ради твоей матери, — проговорила она очень тихо, — прости меня...

— Моей матери? Но она... — и запутался.

— Бог свидетель, как я хотела, чтобы ты и моя дочь были счастливы! Но к моему несчастью прибавилось и ваше... Ты виноват. Я совсем растерялся.

— Виноват?..

— Но будь все-таки счастлив.

Она ласково обвела рукой вокруг моей головы, как прежде, когда встречала меня в своем доме. Жест, принятый среди абхазских женщин означающий дружелюбие и пожелание счастья...

Старик, склонившись перед ней, распахнул дверцу машины.

Я не мог сообразить что произошло. Тупо стоял с опущенными руками. И тут явственно услышал: «Эгоист!» Ты часто меня так называла теперь-то понимаю, вовсе не в шутку.

— Горячишься, ревнуешь! Потому что эгоист.

— Не хочу чтоб другие заглядывались.

— Посмотрит — и я побегу за ним?

— Если по любви. выходи за кого хочешь. Но если силой уведут...

— Силой никто меня не заставит.

— Еще как! Закрывают в бурку — и поперек седла. Даже проще. Посадят в машину и одна ночь все решит.

— Не то что ночь, год будут держать взаперти — кто мне не мил, ничего не добьется

Каждый из нас не был сам по себе, ни у меня, ни у тебя уже не оставалось свободного выбора... Но ты его сделала. Легко или с сомнениями тяжелыми, со слезами — какая теперь разница! Моя мать сказала: «Чего ждешь от дочери Мсыгуды!»

И я вспоминаю балагура из села Апсара, прозванного Чокнутым.

Когда с рюкзаком за спиной и Дамшем в плетеной корзинке я вышел к автобусной остановке то в толпе стариков сразу увидел Чокнутого. Что-то рассказывал, бурно жестикулируя топал ногами, возводил глаза к небу... Жил слава тебе господи не хуже других. Во дворе козы несколько коров буйволы... Продай одну из коров и оденься по-человечески! Нет это ему незачем. Полы черкески изодраны, будто собаки гнались, заплатка на заплате, ноги в обмотках, концы вылинявшего башлыка обрезаны. Возрастом хоть и не старше, к примеру, моего отца а выглядит дел ледом, боролища до самых глаз волосы ниже плеч. Даже с Гудисой здоровадается, как с младшим: «Здравствуй даа Гудиса!»

Как-то сказал: «Облик человека должен соответствовать уму». Под «обликом» он разумел одежду.

Чокнутый смотрел на меня из-под ладони.

— Радуйтесь еще один дурак! Встречайте!

Если б обиделся, действительно был бы дурак. Я засмеялся вместе со стариками.

— Все в мире даа шиворот-навыворот, — продолжал Чокнутый. — И у вас, апсарцы то же самое в головах.

Кто-то спросил:

— А ты не апсареп, пропади ты пропадом?

— Не спеш. Не сравнивай орла с вороной. Пусть я среди вас. Как говорится, с волками живешь, по-волчьи и воешь. Ночь для нас —

ясный день, день — темная ночь. Один я нормальный. Да что мы, вся природа пошла наперекосяк!

И зорко огляделся, ожидая возражений.

А попробуй возрази! Такое прозвище выдаст, что не только ты, внуки с ним будут ходить.

— О, сидящий на облаках! — воздел он руки. — Насмехаешься? Погляди на этих дураков и скажи им, что не я, а они чокнутые. Смеются, когда надо плакать. Радуются, когда горе кругом. Зло для них — добро, а добро — зло. Все сикось-накось!

— Бревна не видит в своем глазу, несчастный!

— Это я? Да я посланник божий — мозги вам вправить. Вот ты, — ткнул он пальцем в старика, всеми почитаемого за мудрейшего человека.

Старик бровью не повел. Сидел себе невозмутимо.

— Он кто? Самый лучший из вас?

— Таким мы его знаем...

— Они знают! Как-то на днях во время застолья этот наш мудрейший был тамадой, и я ждал, что ты ответишь, когда он поднимет тост за тебя. Он сказал, ты могуч, как дуб. И подобен скале...

— Правильно, если по достоинству.

— Выходит, хвалу тебе воздал? Похвалил и сам получил удовольствие. Вот давайте срубим десяток дубов и столько же буков, ольховых деревьев. Посмотрим, где пустое нутро. Нет более дуплистого дерева, чем дуб! А если б сказал, что ты похож на бук, ты бы обиделся. Дескать, малохольный, недокормыш. У бука-то кора бледненькая!

— А скала чем тебе плоха?

— Еще хуже. Сто лет проживет, всех перестоит? А ты подведи ручеек под скалу и увидишь, кто кого. Но попробуй скажи апсарцу, что он могуч, как ручей. Голову снесет! О господи, и зачем ты меня сотворил нормальным?

Чокнутый уставился в небо, задрал бороду. Я видел, как дрожит его горло. Чокнутый шумно сглотнул слюну и затараторил:

— Посмотрите на парящего орла! Вы, апсарцы, с вывихнутыми мозгами... Завидуете царственной птице? Смотрите, смотрите! — Вдруг прижал бороденку к груди и исподлобья пристальным взглядом обвел лица односельчан. — В своих тостах превозносите орла?

— А как же! О зорком говорят: глаз, как у орла.

— Нет высшей похвалы тому, о ком скажут, что у него орлиное сердце!

Чокнутый горько покачал головой.

— Глаз, как у орла... Верно, у орла острое зрение. А для чего? Чтобы высматривать добычу! Пролить кровь! А если с квочкой вас сравнить? Книжал выхватите, оскорбитесь: значит, и слеп, как курица, и туп, как курица, и труслив, как курица! А без курицы жизни вам нету... Придет гость — чем накормите? Курицу поджарите! Восхваляете убийцу-орла и пренебрегаете домашней птицей-кормилицей... Воистину не все в порядке в ваших головах! Зло превозносите, добра не замечаете. И вот когда вы хвалите меня — я печалюсь, когда хаете — ликую!

Старики смеялись, слушая Чокнутого. Вместе с ними смеялся и я...

До сих пор в ушах смех моих односельчан.

Когда думаю об оставленной Апсаре, то вспоминаю шутки Чокнутого. Иногда они смешат потешают а иногда заставляют задуматься. Живы наши понятия, все с ног на голову?.. Неправедны умом? Может быть, и сердцем? Может мы совсем не знаем себя? Привыкли о себе думать одно, а на самом деле совершенно другие? Рассказав мне о гибели Апты, старик Гудиса прибавил с сомнением: «Зачем

знать правду? Погиб, как герой. Пусть таким останется в нашей памяти». Что хотел этим сказать? Каждый сам для себя выдумывает бога? Я ведь тоже тебя выдумал... Когда спрашиваю себя, сказать или промолчать, вижу, что нерешительности моей, как и словам, одна цена.

Кто первый поднял камень и бросил в Мсыгуду? Хотел бы я увидеть этого праведника! Есть ли такой путник, что ни разу не споткнулся на дороге?

Однажды ребята из гаража купили несколько бутылок, закуску. Сидим, выпиваем, разговариваем.

— Прощу в моем присутствии ни слова о ней, — сказал твой муж Маджгана. Он имел в виду тещу. — Ее дочь тоже не хочет. У меня как-то вырвалось, что она очень похожа на мать... Что было! Чуть не ушла. Я-то, конечно, о внешности... Помните, как у нартов? Один упрекнул молодую беременную женщину из племени ацан, что в ее жилах течет жалкая кровь, она вспорола себе живот, выбросила ребенка и убежала в горы... Вот и Адица такая.

— Внешность внешностью, а главное совесть, — сгладил кто-то из ребят. — К примеру, мой сосед. Сдвинет челку направо — ну вылитый Гитлер. А когда режут курицу, не может смотреть, отворачивается.

Я не ввязывался в разговор. И слава богу. Трудно бросить обвинение, бросить камень... Того гляди, в собственную голову угодит! Можно, конечно, стерпеть, если за дело. Что, как говорится, посеешь, то и пожнешь. Тяжелее другое. Скажу, что имею в виду. Не бродила бы курица по улице, жива бы осталась... Я сам на себя накликал беду. Ведь кто тебя познакомил с Маджганой? Это было еще в девятом классе, вместе возвращались после уроков. Как всегда, отстали от всех. Сзади на заснеженную дорогу выехала полуторка. Я сразу узнал машину, на которой ездил Маджгана. Тогда в нашем селе шоферы пользовались таким же уважением, как сейчас космонавты. Мне захотелось похвастаться перед тобой своим знакомством.

— Это Маджгана! — сказал я. — Несколько раз бывал у нас дома. И руль мне давал подержать.

Маджгана, высунувшись из кабины, позвал:

— Садись, подвезу.

— Я не один...

— Вижу. Красивая девушка! — И настежь открыл дверцу. — Приглашаю!

Как бабочка, летящая на огонек, ты вспорхнула на подножку и уселась рядом с Маджганой. Я примостился с краю...

Съев абрикос, прохожий выплюнул косточку. А много лет спустя привелось брести той же дорогой. Палка в руке. спину не распрямить — жизнь согнула. Эй, путник, взгляни какие плоды на ветках, зрелые, сочные! Старик не может и головы поднять. Забыл, как выплюнул косточку, забыл свое далекое легкое время...

Мелькнуло у меня опасение, что напрасно я посадил тебя в кабину. Раза два, может, случайно Маджгана коснулся локтем твоей груди. Ты сидела ни жива, ни мертва.

— Кто эта девушка, чья дочь. Алиас? — спросил Маджгана.

Я ответил. И Маджгана на правах взрослого человека заговорил о том, как быстро растут дети, не успеешь оглянуться — пора женить, замуж выдавать.

— Помню свадьбу твоего отца Арсаны! Давно ли было! — Маджгана сокрушенно и радостно качал головой. Сжав зубы, я смотрел на его локоть. Но, когда Маджгана намекнул на свой возраст, я остыл, успокоился.

— Охотники знают,— продолжал он, обращаясь к тебе,— в ущелье позади вашего дома, где каштаны, с предгорий спускаются дикие кабаны. Арсана первый выходил с ружьем. Сейчас уже не ходит, годы не те... Всегда его вспоминаю, когда там охочусь.

Ты отодвигалась, жалась ко мне.

Я настоял, чтоб Маджгана остановил машину. Мы спрыгнули на дорогу. На прощание Маджгана сказал, и ты вряд ли забыла:

— Счастлив будет тот, кто женится на такой красавице!

Конечно же. помнишь! Женщины не забывают.

По моему лицу ты все поняла. Передернула плечами.

— Ты эгоист. Алиас. Да-да, эгоист!

Я промолчал. А когда машина скрылась в снежной пыли, сказал, решив обратиться в шутку:

— Если я эгоист, то ты тоже не Сатаней Гуаша¹. Той ничего не стоило заполучить любого мужчину.

— А у него приятная улыбка! — тебе хотелось помучать меня.

— Жена еще приятней. А дочери просто красавицы! В мать.

Ни дочерей, ни жену Маджганы я в глаза не видел. Знал со слов отца. А недавно подумал: действительно, чем-то ты напоминаешь Сатаней. Недаром говорят, что Маджгана под каблучком у молодой жены. Не хочу бросить тень на вашу семью. знаю, что так и есть. Ты виновата. Ты... И он, конечно. Помню, как оскорбилась. Тебе показалось, что связываю твою свободу. Гордецу все враги. Боясь, что потеряю тебя, я, глупец, лишь ускорял наш разрыв. Чем крепче виноградное ушло, тем скорей разорвет бочку...

Внешностью в мать, душою — Сатаней Гуаша...

Одну притчу рассказал мне старый Гудиса. О матери и дочери. Я догадывался, кого он имел в виду: Мсыгуду. Ты ведь знаешь апсарцев. Говорят о быке, а разумеют корову...

Но черт побрал бы этого Дамша! Столько из-за пса неприятностей.

К моей сожительнице иногда заходит мужчина, человек семейный. «Бывший друг», так сказать... Придет, посидит и уйдет. Мне не мешает. А Дамш возненавидел, бросается, словно волка почуял.

Хозяйка поставила мне ультиматум:

— Если ты и твоя собака его обидите, оба вылетите отсюда!

Действительно, кто мы такие? Приживальщики. Надо тихо себя вести. Но вместо благодарности за угол и то, что кормят, Дамш свою ненависть к «другу» перенес на хозяйку. Что меня ожидало, сама понимаешь. Среди прочих ее достоинств на первое место я бы поставил гостеприимство. Кто бы ни пришел, не успеешь оглянуться, стол уже накрыт. Готовит отменно, и чего только нет в холодильнике! Шеф-повар в детском саду. Все бы хорошо, но мамалыги ни разу не видел. День-другой я могу вытерпеть а на третий сам не свой, бегаю по знакомым: где бы отведать? Как пьянице опохмелиться. Спросил: почему в детском саду не готовят мамалыги, что тут зазорного? Фыркнула в ответ. Дескать дети на государственном обеспечении и поэтому едят государственную пищу. Пришлось самому варить.

— Зачем покупать? Нам свою кукурузу девать некуда,— сказал отец перед моим отъездом и насыпал целый мешок. В початках. Мать хотела, чтоб дома полушчили, но я люблю сам — приятное занятие! Привез, поставил мешок на веранде. Дамш сразу учуял, заерзал. Потом бросился мне на грудь, лизнул в лицо. Я приласкал его, ушел на работу.

А вернувшись, застал настоящую битву. В углу веранды Дамш с оскаленной пастью, хозяйка орет, в руках швабра, тычет в собаку.

¹ Героиня нартского эпоса. Идеал женской красоты.

Мешок разорван, и по всей веранде раскиданы кукурузные початки. Дамша проделка!

Я схватил пса за ошейник и потащил к двери.

— И ты, и твоя собака — из одного дерьма! — крикнула хозяйка.

Мы сидели с Петровичем во дворе, разговаривали и, когда замолкали, я снова и снова вспоминал старого Гудису, его грустные притчи... Как я тогда, в горах, ненавидел все, что невольно связывал с твоей матерью. ненавидел тебя! «Платье дочери из материнского подола...» Гудиса хорошо понимал мое состояние и однажды сказал: все мы в чем-нибудь неправы, и на болоте порой вырастают прекрасные цветы.

— Нельзя о дочери судить по ее матери, — сказал он. — Вот один поехал с друзьями сватать девушку. Хозяева накрыли стол. Шутки, смех. Юноша вышел на веранду и засмотрелся на сад. «Нравится? — подойдя, спросила дочь хозяина. — Яблоки уже созрели». — «Красавица, — важно ответил гость — я смотрю не на яблони. Вон в саду привязана моя лошадь. Удивительный нрав был у ее матери. Залезет на дерево и жует листву... Жду, сделает ли так и моя лошадка?» Мать девушки слыла легкомысленной, но дочь была рассудительна. Сразу смекнула, к чему клонит гость и ответила: «Если мать лазила по деревьям, то посиди здесь и подожди, может, твоя добрая лошадка полезет».

Будь парень поумней, не принял бы всерьез ее слов. Потом так и не женился. А она... Я один из внуков, кто с честью проводил ее в последний путь.

Не выходит у меня из головы встреча с твоей матерью утром на кладбище, помню ее слова. И на мне лежит вина в том, что расстались с тобой? Но в чем же я виноват?

Ухоженная, огражденная могила... Приезжает, ни страха, ни стыда... Только из-за любви к Арутану? Прошло время, когда я болтал, что ничего нет выше этого чувства. И нет ничего страшней смерти. Ерунда! Не дай ее бог раньше времени, но кое-что и пострашней смерти. Кого больше пожалеть — покойного Арутана или Мсыгуду? Не думай, что притупилась моя неприязнь! Не то что простить — еще больше озлобился.

Не раскаявшейся я увидел ее тогда, не сожалеющей, а, напротив, утвердившейся в обдуманном зле. Что сказать глупцу, который совершил бесчестный поступок? Не поймет.

Узнав, что Мсыгуда дерзко пошла наперекор селу, опасаясь нового убийства, собрался совет старейшин. В него входит и мой отец. В двусмысленное положение он попал... Своим высшим долгом считал не допускать кровопролития. Но для этого должен был переступить через братское чувство к опозоренному Арсане.

— В старину мстили за друга. Друг считался родней брата, — сказал отец моей матери, и я заметил, как изменилось ее лицо: знала, слова мужа не расходятся с делом. — Пусть через женщин, которых мы послали, Мсыгуда передаст, что раскаялась. Но какова! Мы вовсе не знали ее!

— Больше себя уважали. — подтвердила мать. — А не забыл, что сказал Арсане, когда тот ее привез?

— Разве он послушался бы! Был без ума от нее...

Я слушал отца и вспоминал разговоры пастухов, коротавших в горах у костра вечернее время. Говорили о Мсыгуде. Кто-то сравнил ее с деревом, обожженным грозой: обуглилась кора, а сердцевина цела. «Посмотришь на ее осанку и не скажешь, что перенесла позор. В голову не придет!» — «Не заглядывайся на чужих... Муж ее, Арсана, инвалидом вернулся с войны без ноги. Конечно, нехорошо говорить насчет него, но ведь и до войны, если по совести, разве он под-

ходил Мсыгуде? Что лицом, что мужской статью. И намного старше... Это правда, что человек раз в году сходит с ума. Не сейчас она помешалась, когда спуталась с Арутаном, а когда выходила за Арсану!» — «А вы когда-нибудь слышали, чтобы говорили: жена Арсаны? Нет! Муж Мсыгуды! Только так. Ну ладно, Арсана не из видных мужчин. А кого она выбрала себе в любовники! Ведь говоришь с ним — тошнит, рукой прикрываешься. Как из коптильни вылез!»

Гудиса толкует о боге и дьяволе, об одних сутках в году, отданных дьяволу... Хороший человек однажды поступит против совести и разума. А плохой? Весь год во власти нечистого, грешит, прелюбодействует, лжет... И вот лишь на короткие сутки душу его посетит бог, заставит совершить добро. Оно покроет грехи, и скажут про злого человека: что ж, он порой дурно поступал, но и на солнце есть пятна!

Изменился человек, так все в нем перепутано, что сам создатель не узнает и отвернется. Вырубает леса, оскверняет реки, предаёт ближнего. Что с ним стряслось?

Я долго рассматривал фотографию Бадза, осужденного за убийство. Другими не были, но знали друг друга с детства. «Знали!» Лишь сейчас стало известно, что Бадз закончил Сухумский индустриальный техникум... В школе был тихоней, всегда в тени. А в футбол прекрасно играл, не догнать. Помню, как он стоял в воротах! Ловок и бесстрашен был этот тихоня... В то время в школе не было электрического звонка, на веранде висел колокол, принесенный из церкви, разрушенной в двадцатых годах. Перед концом урока на веранду выходил учитель или директор и объявлял, что пора звонить на перемену. Мы ссорились, оспаривая друг у друга право дернуть за веревку. Однажды, когда звонил Бадз, колокол сорвался и, грохнувшись о перила веранды, скатился наземь. Выбежал директор.

— Это историческая реликвия! Знаете, сколько ему лет?... Кто сорвал?

Бадз опустил голову.

— Я. Случайно получилось. Не хотел...

Как бы он поступил с Фрицем на моем месте? А если бы увели невесту? Наверно, не мучил бы себя. Нашел бы выход. Передал бы обидчику: как невесту увел, так и приведи. А нет, отбил бы силой. Даже рискуя жизнью...

На фотографии Бадз невозмутим, взгляд открытый, прямой: не трожь и я тебя не трону. На следствии показывал, где стоял, откуда стрелял...

Вот слова одного из свидетелей — продавщицы:

— Арутан купил сигареты, кто-то подошел к нему, не помню, кто, и что-то сказал. Арутан так и застыл на месте. Я выглянула в окно и увидела Бадза: стоит у ворот, руки в карманах... Мы знали, что они враги, и предложили Арутану спрятаться в складском помещении. Он немного помялся, потом зажег сигарету и вышел из магазина. До конца двора уже не дошел...

Мог бы действительно спрятаться. А уж если вышел, почему не побежал? Нет, шагу не прибавил... Что тут сказать?

Есть еще фотография Бадза. Стоит с мотком электропровода, в руках «кошки» для лазанья на столбы. Сельский монтер. «Сын Арсаны, счастья ему, свет нам проводит!» — говорили апсарцы.

Следователь спрашивал сестру Арутана:

— Как они относились друг к другу, была ли вражда?

Та ответила, что брат очень уважал Бадза и Бадз не раз бывал у них в доме. Провел электричество, но от денег отказался с презрением. После освобождения из тюрьмы, рассказывала она, брат радовался любому гостю, особенно Бадзу.

Еще бы! Не кто-нибудь — сын возлюбленной. Ты, Адица, лицом в мать, а Бадз голосом в нее пошел...

Представляю себе, как сидят за столом друг против друга, поднимают тосты — будущий убийца и его жертва. Один с виду старик, грустная усмешка в глазах, ладонью прикрывает беззубый рот, курит непрерывно и ежится, словно еще не вышел из него холод сибирских зим. Другой молод, румян, сочувственно спрашивает, опуская глаза: «Тяжело было? Тосковал по дому?» — «Нет, совсем не тосковал» — отвечает Арутан. Бадз растерян, не понимает. Потом поймет, когда сам окажется за решеткой... «Не тюрьма страшна, — продолжает Арутан, — а позор! Никакой срок не искупит его перед людьми». Бадз кивает: это ему приятно.

А «старик» только одним живет — воспоминаниями. О какой-нибудь, уже далекой-далекой лунной ночи, когда тайно встречались с Мсыгудой за селом, оба молодые, робко влюблены друг в друга... Вспоминает, как гасли огни в селе, как расстались под утро...

Бадз и Арутан, по словам сестры Арутана, поднимали тосты друг за друга... Мог бы он. Бадз заметить альбом, лежавший на старом патефоне. Мог бы и раскрыть из любопытства... Активисты двадцатых годов, передовики по сбору чая, группа выпускников средней школы... Вряд ли бы все это заинтересовало Бадза. А вот один снимок привлек бы его внимание. На фотографии парень и девушка перед гостиницей «Абхазия». Рослые, стройные. Девушка улыбается, туго заплетенные косы лежат на груди, парень держит шапку в руках. Лица взволнованные, счастливые, но, приглядевшись, заметишь и смятенную робость.

Это Арутан и твоя мать. Адица.

Если б Бадз увидел этот снимок, то никогда не поднял руку на человека, которого в молодости любила его мать.

Кто-то сказал, что если бы первый человек, сделав свой первый шаг на земле, беспечно не раздавил муравья, путь человечества не был бы отмечен кровавыми преступлениями. Найдись тогда один благоразумный и отвел бы руку Бадза, сжимавшую пистолет, не сошлись бы тучи и над нашими головами.

Такого благоразумного не нашлось.

Все мы, апсарцы, заставили Бадза совершить преступление. А говорят: это Бадз убил Арутана... он один!

За час до убийства пятеро парней заходят в столовую рядом с магазином, чтобы выпить по стакану, закусить и разойтись по домам. На суде показывали:

— Нет, пьяны мы не были — бутылка на пятерых. Кто первым начал об Арутане, не помню... Бадз заявил, что на нем нет позора, так ему старики сказали, которые предложили Арутану покинуть село. Своими ушами слышал. Бадз не думал убивать!

И еще:

— Не все с ним согласились. Засмеялись: Арутан никуда не уехал, как жил в селе, так и живет. Арутану, дескать, плевать на тебя. С твоей матерью спит! Бадз полез в драку. А ему: «Ты лучше отомсти Арутану. Он сейчас в магазине». Ни я, ни другие не остановили... И в мыслях не держали, что убьет. Ну ударит несколько раз... Оружия при нем не было. Он и ножа никогда не носил! А пистолет вырвал у Арутана. Я этого не видел, но так все говорил.

Удивительное дело! Сами подтолкнули на преступление, а на суде выгораживали ни малейшей вины за собой не чувствовали... А могли сунуть оружие — под горячую руку? Я даже спросил одного:

— Вы же друзья! Поэтому и помогли ему?

— Чем помогли?

— Дали пистолет.

Теперь-то я знаю: ни у кого из них не было оружия. Откуда? Но что натравливали Бадза — точно. Неспроста затеяли разговор об Арутане! Не было оружия и у него. А если б был вооружен, как бы смог

Бадз «вырвать из рук»? Друг от друга на расстоянии десятка шагов!

По признанию Бадза, кто-то сунул ему пистолет. Кто? Был в таком состоянии, что не припомнит...

Я спросил отца, кто в тот день был у магазина. Отец назвал. И, когда я поинтересовался, кто во что был одет, он возмутился:

— Курица свою погибель из земли выколупывает! И ты, несчастный, вроде нее!

— В чем виновата курица, если ей в корм яд подсыпают? — изрек я глубокомысленно.

Я уже достаточно испытал на себе, что значит разозлить врага. Это причинить зло и себе. Но что делать! Не успокоюсь, пока не пойму, что нас разлучило. Должен знать.

Твержу себе: удрал из села, все знают, кто виноват в аварии с машиной Алхаса... нашел себе уютное местечко, крышу над головой, живи, как остальные. Зачем тебе больше всех надо? Вредишь одному себе! Еще этот Дамш... Кто ко мне с добром, кто со злом? Вот ты, Адица. Счастье принесла любовь к тебе? Прости, что сравниваю: ты и какой-то там подобранный бездомный щенок... Я люблю и привязан к этой несчастной собаке... от которой только зло.

Увидит Самсона Григорьевича во дворе — рычит, клыки в пене. А перед моими глазами встает Мацкуя в марлевой жалкой косыночке вместо фаты... Господи, что мы к нему пристали? Говорят, кровь, которой пролиться, в жилах не удержать. Змею убивают за ее жало. А яд полезен, спасителен. Но какой апсарец, укушенный змеей, тут же не разможжит ей головы? Подумает ли о пользе? Мои зубы выпадали один за другим, будто какая зараза... Стыжусь признаться, только хуже было бы скрыть. Сами собой выпали? Соврал, для чего, не знаю. Выбили! Скажешь, правильно бросила, не смог постоять за себя, не отомстил.

В библейской легенде простодушную Еву соблазнил Змей, а Ева — Адама. На наш лад переключить — это Нан и Дад. Создатель их проклял, изгнал из рая, одного заставил добывать пропитание в поте лица, другую рожать в муках.

Стараясь дознаться правды, все запутал: чуть не угробил честного человека, сам себя изгнал из родного села и в довершение за эту самую «правду» еще и морду набили, лишился сразу двух зубов...

Чем выше поднимался по службе Самсон Григорьевич, тем больше я боялся его и... уважал. Во всяком случае, никакой неприязни. А вот Дамш чем сильнее ненавидел, тем меньше боялся. Когда наш завод давал план и мы огребали премии, первым долгом директор благодарил Самсона Григорьевича. Мы тоже считали своим долгом поставить «всемогущему» Самсону, богу нашему Самсону несколько бутылок коньяка или «Московской». Но в тот день, когда он выбил мне зубы, устроили стол в честь нашего примирения... Прямо по поговорке: пошел оправдываться, а вернулся опозоренным. Из-за стола нас вывели кровными врагами...

А с чего началась вражда?

Однажды он пригнал машину первосортного леса. Мы такого сроду не видели. Не какой-нибудь бук, с которым имеем дело. И время-то выбрал в отсутствие парторга, тот был в отпуске.

Бревна трехметровые, ровнехонькие, одно заглядение. Фриц пошептался с крановщиком, машину быстро разгрузили. Бревна завезли в цех. Я спокойно сижу, ничего не вижу, не слышу.

— Надо сегодня же распилить! — кричит мне Самсон. — Останешься на вторую смену, прощу!

Мое дело замерить длину и толщину доски, записать в тетрадь. Помножив данные, получим количество кубов.

Встал у входа, сгибаю и разгибаю свою деревянную метровку. Вот циркулярная пила, по транспортеру пошел первый пиловочник. По

толщине определил: пятидесятка. Приложил метровку, замерил длину, записал и покосился на «хозяина». Один из пыльщиков что-то орет ему в ухо и показывает на меня. Сейчас подойдет. Точно, подходит с улыбочкой.

— Что это ты делаешь, Алиасик?

Так меня все — Алиасик.

— Что ты делаешь, слушай, дорогой? — жирную шею раздул, как индюк, и оттого не голос, а клекот: го-го-го. У нас в селе говорят: когда у Хаджи воры стали со двора уводить коз, он тоже одну поволок за рога. Уважаемый Самсон привез, распилит, продаст на сторону. Те, кто рубил, грузил, распилил, в накладе не останутся. Каждому рту по ложке. А я чем хуже? Что, моему рту ложка не подойдет? Отец упрекает: я самому себе враг. Вот и посмотрим, кто прав.

— Что делаю? — невинно спрашиваю Фрица и жестами показываю: измеряю и записываю, как положено. А потом начальству докладываю. Вон в тот корпус.

По морде Самсона Григорьевича вижу: понял, что не дам ложку пронести мимо рта.

— Ай, слушай! Совсем забыл! — И ударил себя по лбу, словно усопшего оплакивал. Спасибо, если оплачешь, когда помру, но не забудь о живом!

— Мое дело маленькое, — говорю, — передать бумагу.

— Алиасик! Хороший ты наш человек! Есть у меня кой-какие задумки на твой счет... Директор меня уважает, как себя, — заклекотал Фриц. — Если перестанешь болтать, как иногда с тобой бывает, понимаешь... Подумаешь, прежде чем сказать... тогда и мы подумаем о должности бригадира или завскладом. Хорошую будешь иметь долю.

— Мне хватает моего места, — отрезал я. Нет, думаю, не зацепишь! Самсон, конечно, пропустил это мимо ушей.

— Понимаешь, для одного большого человека в Сухуми хочу сделать! — Вплотную подошел, коньяком так и разило. Я разозлился: не «бормотуху» хлещет, не по-нашему... Уставился, ест глазами и руку поднял, как для молитвы: — Ты меня хорошо понимаешь? Очень влиятельный человек, строит двухэтажный дом...

— Самсон Григорьевич, ты же знаешь мои обязанности. Ведомость пойдет куда надо. Там и договаривайтесь между собой.

— Хайт, прямо из дремучего леса! Во время войны «языка» добыть было легче, чем найти общий язык с нашим парторгом. Кляузник, больше никто! А я человек и поступаю по-человечески. — Он сунул руку в карман штанов, достал пачку — двадцатипятирублевки, червонцы... Всесильный мужик, властелин мира, Алиасик же — муравей. И тут я сообразил, что злюсь не из-за того, что хотели обойти в доле, а теперь покупают. Купят и сапогом раздавят, потому что не человек... Нет, так не пойдет. Плевать мне на твои темные делишки. Не то что я, Абрскил¹, ни перед кем не клонивший головы, ничтожную трясогузку не смог одолеть. Мир я не спасу, справедливым не сделаю. Могу об одном себе позаботиться. Чтобы себе не опостылеть. Я схватился за руку Самсона, но он ловко вывернулся. И ласково так, не спеша, положил всю пачку мне в карман. И погладил по нему ладонью. Ей-богу, я стоял и только хлопал глазами. Не знаю, Адица что со мной произошло...

Позже, когда нас мирили, кто-то сказал:

— Собака сама по себе не кинется. Это ты крикнул: «Дамш, возьми!»

Действительно, я что-то кричал. «Дамш, Дамш!..» Но будто бы и не я. Как во сне...

Помнится, потянул Самсона в сторону, чтоб нас не видели, воз-

¹ Мифологический герой.

можно, близко к конуре оказались или цепь была длинная. Дамш высочил и сзади вцепился Самсону в локоть.

А потом я еще кричал: «Дамш, держи его!»

Вызывали к следователю: что, как, почему?

Получилось со мной по поговорке: упавшего с дерева укусила змея. Не хватало того, что произошло в Апсаре, и здесь попал в переделку. Чтоб он взбесился, этот Дамш!

Фрица отвезли в поликлинику, перевязали руку. Сделали укол.

На другой день рано утром прихожу на завод. Места себе не нахожу. Подошли двое, из цеха. Случалось, угощал пивом, если было на что. Дружками не назовешь, так, знакомые. Подсели.

— Вчера мы были у Самсона.

— Как он? — спросил я. — Проклятый Дамш!..

— Ты своего пса укороти. Мы просили за тебя Самсона.

— Зачем? Мне ничего не надо.

— Смотри, ему ничего не надо! Свобода надоела, парень? Сказал бы заранее...

— В самом деле, Алиас, сроком пахнет!

— А что я сделал? Со мной в Апсаре не такое случилось...

— Что в Апсаре, никого не касается. Здесь не Апсара. В общем, сказали Самсону Григорьевичу, что еще молодой, зеленый, жалко, если загремит. Значит, такие дела: организуй стол. И при всех попросишь прощения.

— За что прощение? За взятку, которую он хотел сунуть? Ну, тыпнула собака...

— Превышение самообороны! А если взятка, надо было сообщить куда следует, а не натравливать собак. Ветеран войны Родину защищал...

— Он вор!

— Докажи! Кто видел взятку? Еще клевету пришьют. По двум статьям сядешь!

— Поставь ему стол, не глупи. А нет, пеняй на себя.

Я сидел, сжав голову руками. Он так мне противен был, выразить не могу... «Го-го-го!» Сволочь! Но если всех, кто не по нраву, травить собаками... Раньше бы вцепился Дамш, когда он деньги вытаскивал. А теперь не докажешь верно. Кругом обложил Фриц!

Придется накрывать стол...

Сказать легко, да как сделать? Откуда я возьму деньги? «Ты враг одному себе» — твердит отец. Не переделывать, таким создан. В нашу последнюю встречу я сказал ему, что догадываюсь чей пистолет: не он ли, отец, закутавшись в бурку, стоял рядом с Бадзом?

Совесть! Если ей во всем следовать, она когда-нибудь придушит. Или к черту эту Абхазию, где родился, живу Бежать как из Апсары. Пока не пропал. Много я передумал... и стал искать деньги для стола. Вся зарплата до рубля, стаю хозяйке. На обед она выделяет рублевку. «И так, — говорит, — обоих кормлю, крышу даю, чего еще надо!» Что верно, то верно. А если рублевки не проедать, все равно за месяц на стол не соберешь! В долг залезать.. Снова я вспоминал Мацкую и, не поверишь, Мсыгуду. Вдруг слились в одно лицо, скорбное, как у богоматери...

Страшнее всего — память. Ум, совесть слухавят. Память никогда. Ни мимо хорошего ни мимо плохого не пройдет. Изгоняя из рая Отца и Мать наших бог проклял их, но не отнял памяти. Как-то еще спасает меня, что знаю немного, а раз так, то столько же и помню. Только язык не умею держать за зубами, знай я больше — не двух зубов бы лишился, а челюсти!

В рабочей столовке я накрыл стол на десятерых. Пригласил и соседа Петровича, может, скажет несколько слов обо мне.

— Чтобы Дамш не мешал, пока будете мириться, заберу к себе,— пошутил старик. Я понял, не придет. Он и не пришел.

Оставшуюся монету положил повару на лапу, чтоб со вниманием отнесся. Неподалеку от завода живет один мингрелец. Понадобится доска или балка в хозяйстве — не отказываем. И он выручает, когда на заводе «гости» (комиссия). Я и взял у него вина из ахардана¹. Любый стол украсит.

Сели вечером, после работы. Те двое, что ходили на переговоры к Самсону Григорьевичу (они и привели его), показывают глазами: начинай. Никто еще не притронулся к выпивке.

Я встал. Зубы еще целы, не надо, как теперь, держать руку перед ртом.

— Глубокоуважаемый Самсон Григорьевич! — сказал я. Чтобы он слова не вставил. А то закаркает и у меня дальше духу не хватит.— Я очень виноват перед тобой. За твое добро заплатил злом. В присутствии этих людей извиняюсь перед...— чуть было не вырвалось «Фрицем», я рукавом вытер губы.

— Алиасик! Я рад, что мы поняли друг друга! — Он тоже встал. Разрешил: можете пить и есть. С куриной ножкой в руке подошел ко мне и чмокнул. Я стоял, как бревно, как чурка.

Рядом шепнули:

— Сам должен был подойти.

— Неученый еще, научится,— по голосу узнал цехового точильщика.

Мы пили, ели. Разговаривали.

— Хотите знать, что мой отец думает насчет выпивки? — вдруг спросил я. (Вот уж действительно нашел, что вспомнить!) Вино, говорит, ослабляет винты на человеческой челюсти. Выходит, она у нас на винтах. Может, потому он так выразился, что я имею дело с винтами и гайками. Чтобы лучше понял.

— На винтах?.. Это твой отец хорошо сказал. Иногда, правда, надо их ослаблять, чтоб что думаешь, то и вслух. За здоровье Дамша! — точильщик поднял стакан.— Кабы не он, не сидеть бы нам за этим столом!

— За Дамша? — я оторопел.— Ладно... За Дамша, так за Дамша. Собака никогда не предаст... никогда! Она чует, человек или гнида...

— А почему же твой Дамш цапнул Самсона Григорьевича? — заскрипел точильщик, словно брусом по зубьям пилы провел.

— Самсона Григорьевича? А он... Фриц! Самсон Григорьич, Фриц, ты не должен обижаться на Дамша. Твою печень, душу он как на рентгене. С одного взгляда! — покачиваясь, я пошел искать собаку.— Не я, а Дамш назвал тебя Фрицем. Его убить надо за это... Фриц Григорьич, а как ты ушел от немецких овчарок? Когда в концлагере...

Земля у меня из-под ног пошла вверх тормашками. Она вверх, а я вниз...

Еще под столом почувствовал, что во рту недостает двух зубов. Да благословит господь того, кто остановил Фрица-Самсона. А то бы еще и ногой двинул... Я выполз из-под стола и, держась за скулу, завопил что было мочи:

— Дамш! Дамш! Он предатель, убийца!..

Сейчас, Адица, вот о чем я подумал. Как люди враждуют между собой из-за опасливого недоверия, так и собака с волком схватываются насмерть из-за страха друг перед другом. Если б я был способен на убийство, то убил бы Самсона Григорьевича. Убил бы из страха.

¹ Сорт винограда.

Черт с ними, с зубами, дело разве в них! Будут гроши, вставляю. В идиотское положение угодил... Самсона посадили. Ничего я не доносил! Не то чтоб доносы строчить, в разговоре с участковым на себя взял вину, дескать, при всех оскорбил. Выложил, как было. Без утайки. Даже защищал Самсона, оправдывал, как мог. Никому я не хочу плохого. Только все равно пошло у меня кувырком. Одни перестали здороваться, если начальство поблизости, другие, кивнут и мимо. Эти говорят: «Правильно ты его! Хозяином себя считал, делал, что вздумается... Карман набивал! Прежде наш директор был чист, Самсон и его замарал. А чем до войны занимался... Скольких погубил! И в войну геройствовал... Вопрос — на чьей стороне? Не бойся, Алиас, если что, мы за тебя». А другим я поперек горла: «Сам не жрешь и нам не даешь! Мало тебе зубов выбили!»

Попадись им в темном углу...

Есть и третьи. Подойдет один такой, оглядываясь, и начнет, будто души не чаёт во мне: «Молодец, Алиас, за правду стоишь!» Мне одно, начальству другое: вот, мол, явился на нашу голову, тень бросил на коллектив! Хорошего человека из-за него посадили... Конечно, выручат. Но и один день за решеткой — не сахар!

Дерево, которое клонится во все стороны, ветер не свалит. Эти третьи при любой погоде выживут.

Наплевать мне на тех и на тех! О себе голова болит, как бы ни с чем не остаться. Не раз подмечал: дадут стакан молока, так обязательно в нем муха утопится или с чистого потолка какая-нибудь соринка слетит...

А знала бы ты, как я радовался недавно!..

Ждал, когда опять к следователю позвонят на очную ставку с Самсоном Григорьевичем, не видеть бы его вовсе, и тут, откуда ни возмись, Мирон! Наш сельский тракторист, сын пострадавшего за колхозное добро... Улыбается, а в глазах тревога за меня. Почему я ушел из Апсары, он не знает. Не знает, как, ополоумев, готовил гибель Маджгане, а в аварию угодил Алхас, и о том не знает, как стал заискивать перед Маджганой, чуть ли не угодничать: прощай зло врагу своему!..

Не успели толком поздороваться, Мирон заторопил:

— Давай, давай. Алиас, поехали!

— Куда?

— Расскажу по дороге. Не можешь замену себе найти?

— Могу... Отпрошусь у бригадира. Да что у тебя такое?

— Все отлично, давай!

Его старенький «Москвичонок» стоял у заводских ворот. Весь залатанный, следы сварок там и сям... Сам развалюху поставил «на ноги». Думаю, если б не гибель отца, Мирон обязательно выучился бы на инженера.

Когда выбрались на магистраль и свернули налево, я понял, что едем в Сухуми. Мирон обнял меня свободной рукой. И впервые за долгие дни вдруг стало так хорошо!..

— Все же куда мы едем? — спросил я.

Хотя были одни в машине, Мирон склонился к самому уху.

— Чья-то, понимаешь, жена рождает! Вот такие дела...

— Твоя? — переспросил я, будто не дошло, что говорит о своей. — Я еще был в Апсаре когда она ходила беременной. Поздравляю! Это действительно радость! — Я порывисто обнял Мирона нас едва не занесло. — Но сейчас-то куда? За доктором? В Апсаре есть же больница... Да не гони, разобьемся!

— Ее мать захотела, чтобы в Сухуми. Они впереди. Надо догнать.

— Теща, значит, настояла? — подколот я.

— Чтоб у тебя такая была! Золото!

— Жена рождает. А теща при чем?

— Когда начались схватки, повезли сначала в нашу больницу. А врач как назвал где-то в районе. На медсестер не оставишь! Теща говорит: повезем в Сухуми. На шоссе остановил первую же машину, пересадил, а сам к тебе. Крюк небольшой...

— И хорошо сделал, Мирон. Я так соскучился по тебе! Легко меня нашел?

— Да я не впервые на твоей лесопилке. Покупал кое-что на строительство дома.

Уж не у Самсона ли Григорьевича, подумал я. Но расспрашивать не стал. У человека радость, зачем портить настроение? Не хватало бы еще рассказать, как этот Самсон зубы мне пересчитал...

— Помнишь Чокнутого? — спросил Мирон. — Он нам в больнице попался. Знаешь, что сказал? «Отчего это нас. апсарцев, все меньше и меньше? А оттого, — говорит, — что природу обидели. Природа и женщина — одно и то же. Ими порождено человечество. А мы как относимся к женщине? Родится мальчик — палим из ружья, быка закалываем. А девчонка... Будто несчастье пришло в дом!» Все правильно. А говорят, он чокнутый.

— Мудрый человек! В честь женщины — артиллерийский салют. Вот возьми и обрадуй апсарцев, если дочь родится!

— Честно говоря, хотелось бы сына... Я ведь один у отца.

— Ты об отце... От пастухов я кое-что слышал.

— Это когда лечил сердечные раны в горах? — улыбнулся Мирон.

Не стоило бы ему лишний раз напоминать про мои раны. Но в улыбке было столько сочувствия, что я простил. Посерьезнев, Мирон сказал:

— А знаешь, плохо они живут с Маджганой. Мы с ним часто видимся. Что-то у них не ладится...

— Убить его мало!

— Зачем так? Кто из них виноват, не знаю. На чужом несчастье, выходит, семью не построишь. И ребенка нет...

— Пусть кошку заведут!

Сказал и себя же унизил. Вот опять не сдержался... И Мирону не понравилось.

— Ты это... извини, Алиас. Много в тебе стало зла. Нехорошо, брат, плохо! — пожурил он все с той же смущенной улыбкой. — Старики страдают: «Бог накажет!» А ведь обязательно заплатишься за дурное. Бог не бог, а есть что-то такое... Не тебя накажет, так детей. Все-таки в старину были хорошие обычаи! Кровников мирили.

— Что было, то было. Давай о другом.

— Как хочешь.

— Я о твоём отце не досказал. Гудиса мне показывал место, где он погиб.

— Да? Ты видел?.. А я вот ни разу не побывал. Мать не пускает ни в какую! Убей — не пущу, говорит. Может, вместе с тобой сходим, тайком? Имя бы его написал на том месте.

— Оно так и называется: «Место, где погиб Апта».

— А знаешь что... — Он зашептал мне на ухо, будто могли посторонние услышать: — Родится сын, назову именем отца!

— Лучшего не найдешь, — согласился я. Были у меня смутные догадки насчет того, почему в один и тот же год погиб Апта, посадили Арутана и Мсыгуда неожиданно вышла замуж. Но я при себе эти догадки придержал. Не к месту и не ко времени был бы разговор.

— Давай так сделаем. — сказал Мирон. — родится сын, даю ему отцовское имя и для всех накрываю стол. Если дочь — за тобой имя и угощение. Хотя и так знаю, как назовешь. Адицей. Правда? Смотри. вон их машина!

За Келасурским мостом мы обогнали. Мирон жадно косился на зеркальце заднего обзора. Я тоже взглянул.

— Не скажешь, что собирается рожать, смеетсяя!

— А ты что, плакал бы на ее месте?

У Мирона было счастливое лицо, и я подумал: встань сейчас посреди дороги допотопный «Москвичонок», Мирон взвалит и понесет на себе... Сильным становится счастливый человек!

— Алиас, какое самое большое чувство? Любовь? Этой болезнью я уже переболел...

— Любовь — это болезнь? Впервые слышу!

— Да, сердечная болезнь. Никогда не забуду, как всю ночь ждал ее... Машина наготове, я и близкие друзья сидим, ждем. Час, другой... Нет и нет! Луна сияет вовсю, звезды, а у меня черная темень в глазах. Лишь под утро дождались... Так переволновался, что два дня в себя не мог прийти: не верил, что она рядом, жива-здорова. Самое большое чувство не любовь, а то, что испытываешь, когда жена рожает! Тут все! И радость, и страх, и воспоминания. Радуешься: скоро будешь отцом. И боишься, как пройдут роды. И другое удивительно! Когда погиб отец, я был в колыбели. А сейчас, кажется, слышу его голос, будто разговаривает со мной. Даже вижу его! Ты улыбаешься... Я правду говорю! Поверишь, когда свою жену повезешь в роддом.

— Моя жена уже родила.

— А ты не шути! — И, похлопав по плечу, засмеялся. Ему было трудно меня понять. Как и мне Мирона с его счастливыми страхами.

У жизни свои законы. А не было бы их, пришлось бы придумать. Моему слабому уму не постичь, плохи они или хороши, эти законы, но одно заметил: если идешь наперекор, то ох как потом пожалеешь! Жизнь не прощает слишком большой радости. Верно поступают апсарцы, скрывая от посторонних глаз свои радость или беду.

Мирон и в городе не снизил скорость. Проезжали по Беслетскому мосту, и я вспомнил старичка возившего Мсыгуду на могилу Арутана. Его дом где-то возле моста, над речкой. Сердце забилося... Рядом и двор женщины, по чьей вине мы разлучились. Да только ли по ее? Вспомнил и тут же забыл. Не хотелось думать о ней.

Я подивился расторопности Мирона: в считанные минуты, поднял на ноги весь персонал роддома, переговорил с врачами. И, когда подъехала роженица, ее сразу же увели. Теща Мирона поспешила следом.

Мы с Мироном стояли за воротами. Смешным показалось, что он и теща стесняются друг друга и пытаются спрятать это смущение улыбками, отводят глаза... Правда, смешно.

Мирон беспрерывно курил, прохаживался взад-вперед.

— Слушай, она наверно, проголодалась! — Оказывается, это о теще. Да, такого заботливого зятя поискать.

Вечерело, зажглись огни в окнах. Наконец появилась и мать роженицы. Я поймал такси, посадил тещу Мирона и отвез ее к каким-то родственникам.

— Я тебя утруждаю, прости, но, если сегодня родит, — сообщи пожалуйста. Ночь спать не буду!

Я пообещал.

Когда вернулся к Мирону тот потащил в ресторан. Но я отказался. Зашли в магазин, купили лаваш, бутылку пива.

Сидим в машине, жуем, отхлебываем по очереди из горлышка. В полночь из роддома вышла акушерка в белом халате.

— Это она! Она принимала! — Мирон выскочил из машины. За ним конечно, и я. Но что-то мне не понравилось в ее лице... Сказав Мирону несколько слов, тут же скрылась за дверью.

— Сын! Сын! — завопил, запрыгал Мирон. — Сын родился!

Улыбаясь, я смотрел на него и думал, что, окажись теща рядом, как жену, подхватил бы на руки и зацеловал. Он метнулся ко мне, остановился, стал рыться в карманах, ища сигареты. А я взбежал на крыльцо, открыл дверь и в коридоре догнал медсестру.

— Подождите! Это в подарок. За радостную весты! — И положил в кармашек халата сложенную бумажку.

Но медсестра вернула деньги.

— Он родственник вам?..

— Мы с ним друзья. Почему не берете? Ведь сын! — Я поймал ее руку и попытался сунуть деньги в ладонь.

— Сын у него, но...

— Не пойму, родился сын, что еще добавлять? Как здоровье ребенка, как мать?

— Все в норме, роды прошли хорошо, она уже разговаривает...

— Тогда в чем дело?

— Понимаете... Ребенок родился слепым. Я не могу ему сказать. Не смог и я.

И теще Мирона не сказал. Поздравил с внуком и скатился по лестнице к счастливому отцу. Всю дорогу он пел, размахивал руками, хорошо, улицы были пустынные. Взахлеб говорил о том, каким сильным вырастит сына, научит ездить верхом...

— Что еще для него сделать? Когда отец погиб, у нас была одна амацурта. А сейчас дом, большой, как казарма. Ничего ему не придется строить. Будут друзья, пусть и немного. А нет, моих друзей хватит, чтоб в доме не было отбою от гостей! Ты знаешь. Алиас, в селе нашу семью уважают. Мать рассказывала, кукурузу собирали вскладчину... «Не дадим с голода умереть, Апта голову положил за общее добро!» Я тоже не из ленивых. Все будет у моего сына!.. Ты что, заснул?

— Какой может быть сон!

— Сидишь так, будто спишь...

— Знаешь, что ты можешь самое лучшее сделать для сына? Брата ему подарить.

— Ну, за этим дело не встанет! Раз начала рожать, умереть мне вместо нее... Хайт, я все про себя. Когда женишься и у тебя родится сын, я не буду, как ты, сидеть в полусне. Увидишь!

— Если женюсь, если родится...

— Не веришь? Слушай, кому везло с первой любовью? Все забудешь, когда станешь отцом!

Он верит. Почему бы и мне не поверить, что к его сыну вернется зрение?

Не сказал о несчастном сыне Мирона и тебе, Адица, когда спустя десять дней встретились на свадьбе у Чокнуттого. Сегодня правда, а завтра ложью обернется. И наоборот. Мы пошли с тобой танцевать, и ты упрекнула:

— Ради приличия улыбнулся бы!

Я еще крепче сжал губы. Думаешь, сердце, как сумасшедшее, не билось?.. Увидел тебя и голову потерял! Кусал губы и молчал. Да и на свадьбу попал без приглашения.

Лгут одни трусы. А человек который носит штаны и считает себя мужчиной, не боится правды. Какая бы ни была! Если уж солгать, то так, чтоб не уличили.

Только все равно не скроешь. Ни правду, ни ложь. Как не скроешь, что у тебя зубов недостает. Так или иначе узнают...

На свадьбу меня потащил Мирон. Ехали из роддома, боялся другу в глаза заглянуть. он вдруг сказал:

— В субботу будешь в Апсаре?

— А что?

— Чокнутый женится! Бакир Баталович! Теперь придется так его называть. Сенсация! — ввернул он по-русски.

— Он разве не был женат?

— Уже три года, как разошелся. А знаешь, из-за чего?

— Я тогда в армии служил.

— Анекдот! Ходит в тряпье, не стрижется, не бреется, но баньку любит и все на нем чистое. А захочет, нарядится, что твой князь!.. И язык подвешен любую охмурит. Первая жена была местная. Чокнутый стал ее перевоспитывать: у апсарцев мозги набекрень, что ни скажут, понимай наоборот. «Значит, и у меня,— спрашивает,— мозги набекрень?» «Конечно»,— отвечает Чокнутый. «Если совру, то правду скажу?» — «Ее самую!» — «И наоборот?» — «И наоборот!» — «Если так, родненький, я от тебя никогда не уйду, день и ночь буду с тобой!» Собрала свои вещички и поминай как звали. Жди, говорит. Он, как дурак, и прождал целых три года... Так что приезжай обязательно!

— Меня он не приглашал. Не родственник, не сосед.

— Зато родственник Адицы по мужу. Да и пойдешь со мной!

Уж не встречу ли с Адицей устраивает, подумал я.

И потом все время думал... Вот пишу тебе это бестолковое письмо, которому конца не видать. Мери настояла! А зачем?.. Сам не пойму. Ну, разошлись по какой-то причине, так хоть бы друзьями остались. А Мирон? Только ему и хлопот, что мирить поссорившихся. Вроде наших благодушных стариков на сельском сходе... Зовет на чужую свадьбу, где свою невесту увижу замужней женщиной! В школе надо мной подшучивали: «Книгочей, интеллигент!» Хорош «интеллигент» — из ревности едва человека не погубил и себя заодно... Ты когда-нибудь слышала, Адица, чтоб голыми ногами ходили по колючкам? Нет, все норовят по нежной травке. Чего добивался Мирон?

Как бы то ни было, достал денег на свадебный подарок, точно я близкий родственник Чокнутому, и прикатил в Апсару.

Как же я был зол на тебя, на Мирона! На всех... Выложил деньги и сказал во всеуслышание:

— Человек, который сегодня вступает в законный брак, наш апсарский мудрец, наш добряк Бакир, как вы знаете, мне не дядя, а я ему не племянник. Однако между нами более глубокая связь — это взаимопонимание и дружба.

Интересно, когда мы с Чокнутым были друзьями?

Не пожалел ни денег, ни пустых слов. Пустых? Когда черпак окунаешь в воду, он наполняется...

Одна из женщин сказала другой, упомянув имя моего отца:

— Хороший у него сын, да пьет много.

Я шутовски поклонился, хотя был трезв как стеклышко:

— Грешен, мать, люблю!

Когда ты, помогая хозяйке, с тарелками проходила мимо, я окликнул, подозвал: сестрица, дала бы нам из того, что несешь, скучаем за пустым столом! Сидевшие рядом не дураки, смекнули, что к чему. Стол ломился от угощений, некуда локоть поставить. А ты... ты так и вспыхнула! Видел бы тебя Маджгана в этот момент. Когда танцевали с тобой, все искал его глазами: пусть побесится! А потом я пел. Вместе с Мери, как когда-то в школе. Она первым голосом, я вторым. Нас сразу окружили. Пошли танцевать... Сделали один круг, другой. Мери уступила танец тебе.

Ты делала вид, что мы совсем незнакомы... Только не смогла до конца выдержать роль. Танцевала отменно, и я не ударил лицом в грязь, о. еще бы, сколько раз на школьных вечерах выходили в круг! А кончился танец, не поклонилась, не поблагодарила... Ну, хотя бы тех, кто пел и хлопал в ладони. Затерялась в толпе, оставив у какой-то девушки свой передник, который сняла перед танцем. Хотел тебе отнести, аккуратно сложить и отнести... И вовремя Мирон попался на глаза. «Поедем!» — сказал я.

В воротах догнала Мери.

— А ты мне сегодня понравился!

— Да? Брось мужа и выходи за меня замуж...

— Адица была испугана. Ты заметил?

— Разве?... А кто такая Адица?

— Перестань! Помнишь, о чем я просила? Напиши ей... Ах, до чего ты все-таки глуп!

— О подруге хлопочешь... А я уже забыл ее.

— Видел бы ты свое лицо, когда она подошла! Маджгана не выдержал и вылез из-за стола...

— Какой наблюдательный! Разбирается в лицах.

— И в людях.

— Похвали, похвали его!

...Да, дорогая Адица, ты тогда здорово напугалась — не думала меня встретить на свадьбе. Выпиваю, не сдержан, могу устроить скандал. Набить и морду кое-кому... По-мужски, кулаком решить все проблемы. А вдобавок... Ведь, когда выпью, язык что попало мелет! «Эй, Маджгана, спроси-ка свою жену, при всех спроси, не провела ли ночь со мною под одной крышей?» Или ты забыла, что это значит для апсарцев? Всего одну ночь! Какая чепуха. подумаешь, ночь... Может, мы читали сказки друг другу! Люди сказали бы с презрением, что я не мужчина. Не Маджгана, а я! Обо мне пусть что угодно. А вот про тебя... Какую радость доставила бы им Адица: чего же вы хотите от дочери Мсыгуды! Ты слышала, конечно, нашу перебранку с Мери: «Кто такая Адица?.. Я забыл ее!» Чем чаще жизнь поворачивается ко мне спиной, тем мне отрадней, узнаю цену себе и людям. Кто чего стоит... Родная Апсара! Я помахал ей ручкой на прощание, ее милые шуточки мне поперек горла. И не хочется больше играть во взрослые игры...

Мы ехали с Мироном по проселку в его «Москвиче», тьма окутала село, а на юге, над морем, висела низкая светлая луна. Мирон говорил о моих стариках, которые дома одни, мне бы подумать о них. Дом, хозяйство... Я же думал совсем о другом.

У сельсовета попросил остановить машину и вышел. Фонари еще не зажгли, и было далеко видно вокруг. Какое небо над селом! Оно не всюду одинаково, как не одинакова земля...

Мирон дремал в машине, привалившись к дверце. Может быть, считал, что лучше оставить меня одного?

Рядом с Дворцом культуры когда-то стоял сельсовет. Чуть дальше пологий спуск и за ним поредевший лес. Местные жители там пасут скот. В стороне, на склоне холма, с которого село как на ладони, дом твоих деда и бабки, Адица. До замужества здесь жила и Мсыгуда. Возможно, сохранился и дуб, у которого встречалась она с Арутаном. И в ту ночь встретились, когда была ограблена колхозная касса и сгорел сельсовет.

Ограблена, сгорел... Рука одного и того же злоумышленника? По-разному судят...

Вернувшись к Миرونу, я сказал:

— Постоял на площади, где Арутана убили.

Мирон поежился.

— Короткая память у людей, все забудут... Кто был хорош, кто и в земле недостоин лежать! Видел, какая могила Арутана? — Он возвращал меня в Апсару, к призракам-скитальцам, не находящим себе места...

— Если бы человека оценивали по его могиле! А мы даже не знаем, где похоронен Нестор Лакоба. В Сухуми только памятник... А каким ты помнишь Арутана? — спросил я.

— Зачем это тебе? Адица не вышла бы за Маджгану, если б не ее мать... Тебя она пошадил!

— Каждому то, что заслужил! — оборвал я.

— Вот именно.

— Мне за то, что среди зимы захотел земляники... Не дали! Но с обидчиком я рассчитаюсь.

— В селе говорят об Алхасе...

— Это наше с ним дело.

— Если бы только ваше!

— Наше! И больше ничье. Остановись у двора Гудисы.

Он взглянул с недоумением, не понимая, что со мной. И, когда медленно отъехал, я вспомнил, что оплошно не предупредил: не говорить отцу, что я в Апсаре гулял на чужой свадьбе.

Был тот вечерний час, когда большие крестьянские семьи собираются к ужину. То там, то здесь раздавался ленивый лай собак. Я стоял на дороге, чувствуя, как дрожит горло. Завтра же найти Мирона и попросить прощения, подумал я, и в памяти тут же зазвучал голос отца: проклятый богом... всех подозреваешь в подвохе и зле. С Мери был груб, обидел Мирона. Лишь я и Адица, а вокруг нас враги, насмешливая злоба или недомыслие... Нет, один я невинен и чист. Зачем я иду к Гудисе?

Дверь в кухню была открыта. Огонь очага освещал половину двора... Однажды мы шли по склону, стадо паслось на той стороне. Впереди Гудиса с посохом, склон был не так уж и крут, но у старика вдруг подломились колени. Я подбежал.

— Оставь, дад,— сказал Гудиса.

Таким он запомнился мне — на коленях, с лицом, обращенным к горам. Над хребтом сиял снежный Ерцаху.

— Вот мы и расстаемся,— пробормотал старик.— Последний год... Это он с горами прощался.

Но у него дом, большая семья, на зависть любому. Сыновья, дочери невестки, внуки...

Встретил меня, как желанного гостя, накрыл стол. А потом я попросил оставить нас вдвоем. Старик сидел перед камином, бушевал огонь. Как патриарх. Гудиса сидел с посохом в руках, все знающий обо всех, живых и мертвых.

И я спросил, помнит ли он свои и Апты свидетельства по делу Арутана.

Да, он помнил.

— Из района приезжал... называли Черным Вороном. Стряпал бумаги... Люди из страха доносили. Или молчали — тоже из страха...

— Дед, а ты все тогда сказал? Ведь ты и Апта... В архивных документах лишь то, что известно всем.

Прямо в лоб! Никакого уважения к почтенному возрасту: ты и Апта сказали не все. Ты промолчал, скрыл, дед Гудиса... Я был точно вне себя. Из-за свадьбы. Ты, Адица, такая похорошевшая, но уже давно не моя, и Мери — само счастье... А я один сам с собой, со своим унынием, думали, завистью! Да хоть бы к Гудисе, старому человеку, немного снисхождения... А зачем? Снисхождение! К старости, к правде, ко лжи...

— Вы с Аптой были в горах. Потом верхом на лошадях спустились в село, чтобы получить деньги в кассе — свои и пастухов. Ведь так и было?

Гудиса кивнул.

— Весь день с утра ждали у сельсовета, а назавтра должны были вернуться...

— Помнишь, говорил мне про ангела, оставляющего человека на произвол дьяволу? На одну-единственную ночь.

— Кто знает, дад, может, кому и удастся перехитрить своего беса. Тогда много было скота и пастухов было много... Что ты хочешь узнать?

— Во дворе сельсовета вы с Аптой ждали кассира. Это я знаю. А в ту ночь... Вы были в дороге? Вместе ночевали?

— Нет! — жестко сказал Гудиса. Будто я в чем-либо его заподозрил.

— Не вместе? И не знаешь, где Апта был той ночью?

— Не знаю.

— А наутро встретились?

— Утром я зашел к нему. И он сказал, что произошло в сельсовете.

— Он спал, и ты его разбудил? Или он уже встал? Что он делал, когда ты увидел его?

— Копался в своем ореховом саду. Спросил, зачем ему лопата. Сентябрь — дерево не посадишь, окучивать ничего не надо...

— А он?

— В старые времена закапывали кувшины с вином. Так вот он кувшин из одного места в другое перенес...

— И ты поверил?

— Да, он объяснил, свиньи подкапывают. Когда Апта погиб, я рассказал пастухам про тот кувшин. Покачали головами: это его бог покарал. Нельзя выкапывать, не принеся жертвы.

— В саду один был кувшин?

— Нет, как один? Мирон и сейчас в них наливает вино. Арутана в тот же день арестовали, он сознался через неделю... Не вернулись бы в горы, жив был бы Апта. Побледнел он страшно, когда нас к следователю вызвали. Что ему ни скажут, соглашался. И по дороге в горы был сам не свой. Твердил, засадит нас Черный Ворон... Верно, если б не его смерть, посадили бы вместе с Арутаном! По правде сказать, я бы не побегал спасать скот. Ничего было не сделать... А Апту прославили. Газеты много писали. Он только-только женился, жена родила... Черного Ворона боялся. А пастухи смеялись: по ночам не спит, скучает по жене и ребенку.

Немного рассказал Гудиса. А вопросов уйма. Зачем, к примеру, потребовалось выкапывать, переносить кувшин? Свиньи рылись... А почему ранним утром, перед тем, как сызнова отправиться в горы? У следователя весь издрожался! Скажут: кто не боялся в те времена! А сейчас начни разговор об Апте, до небес вознесут. Герой! О нем одно хорошее, об Арутане же слова доброго не услышишь. А каков был на самом деле?

После тюрьмы сильно изменился. И внешне, и характером. Друзей нет, не с кем горем поделиться. Сестры говорят, хотел уйти из села. Мать не отпустила... Что же, так все и отвернувшись? Старики советовали ему: «Живи, хозяйствуй. Никто не гонит. Ты за свое заплатил». Остался. Время шло, он все холост. «Женись!» — настаивали родственники. Отвечал: «Чтоб на моих детей перешло клеймо?» Поэтому и не женился? А чем занимался, оставшись в Апсаре? Выращивал табак. Сам сажал, ломал, сушил... О Мсыгуде, по словам сестер, слышать не хотел. Слышать-то не хотел, а переживал страшно, покоя не знал...

Одного понять не могу. Как бы он ни переменялся, натерпевшись в лагерях, каких бы унижений досыта ни хлебнул, вряд ли забыл о нраве апсарцев. Другой и дня бы не остался в селе! И что ж, если б не выстрел Бадза, у нас с тобой, Адица, все счастливо сложилось бы?.. Да сама природа бы воспротивилась! А уж что до апсарцев... Они бы сплетнями извели.

Вот мой отец... Ты знаешь, он был с теми, кто посредничал между сторонами в этом запутанном деле. Надеялись уладить, избежать кровопролития. И ничего не смогли!

— Какой толк от вас? — говорил я отцу. — Только ускорили развязку!

И отец снова заводил о Мсыгуде и Арутане, о дружбе с Арсаной, мужем Мсыгуды... Позор Арсаны — его позор. А теперь и вдвойне, потому что инвалид, беспомощен, не способен себя защитить. Совет старейшин взял его сторону. Вроде как моральная поддержка. А с Бадза потребовали слова, что не возьмется за оружие. Большое дело сделали! Отец так и сказал: «Большое дело».

— Где же оно? — не согласился я. — Убийство произошло!

— Арутана просили уйти из села. Он не ушел.
— А почему? Кому знать, как не тебе, что с Мсыгудой не дали встретиться, поговорить! Они, кажется, любили друг друга...
— Ты кого защищаешь, кого?!
— Я хочу правду узнать.
— Она у того, кто стрелял.
— Так где же ваше миролюбие? На словах одно, на деле другое. Оправдываешь убийцу... Не понимаю!

Отец и не попытался объяснить. Вот ты, Адица, говоришь: думаю только о себе. А отец считает, что и для себя пальцем о палец не ударю, ни на что не годен. Снисходительно похлопал меня по плечу. Мол, до Бадза тебе далеко, сосунок. И пошел по своим делам. Я глядел ему в спину и думал: «Знаю вас, апсарцев! Если двое совершили скверный поступок и один из двоих уже мертв, все на него и вали! Живого не дай в обиду!»

Обвиняют Арутана во всех смертных грехах, и его родственники молчат, зажав рты. Молчат. Но и камень треснет, если раскалится... Не мы ли, апсарцы, говорим: кровная месть не стареет. Вот возмущутся за оружие родственники погибшего, потом и отомстившим отомстят... Я ушел из Апсары, чтоб не видеть никого, а душа тоскует. Моя бабушка, помню, молилась перед сном: «Боже, будь милостив к нам! Не накажи. Сами не знаем, что творим». Мы глупы и торопливы, и из-за этого наши несчастья. А сколько других пороков! В старину маршановцы, жившие по соседству, друг друга резали. Нет бы что доброе после себя оставить! Хоть бы тех же чачбовцев высокородных перерезать за то что стравливали семьи, внушали, что кровная месть свята. Позор-де смывают кровью. Превратили Бадза в разъяренного кабана... А Арутан? Бежал бы из села без оглядки! Или сидел бы в своем дворе, не высовывал носа. Нет, апсарцев возмутило, что не побоялся, вышел... Вот и поплатился! «Все справедливо». Арутан же в больнице говорил следователю: Бадз стрелял, а оружие в руку вложили апсарцы. Мог бы скрыться, но зачем? Вот тогда бы возликовали... Арутан прервал все отношения с Мсыгудой, чтоб ни малейшей тени не бросить на женщину. Не верили! Руки потирали, опозорив невинную... Пока крови не дождались. Пусть теперь успокоятся. Не то что невинных, они и себя защитить не могут от собственной глупости!

Перед смертью он им сполна воздал. Это он. А ведь даже я поношу земляков! Он хотел чтобы стали лучше, умнее... Арсана, твой отец, каким он был в молодости? Как и сейчас, ковылял с палочкой? Другим его не представляем. Как Льва Толстого без бороды, будто всю жизнь был стариком. Но Мсыгуда не любила твоего отца. И тот не мог этого не чувствовать. Так почему женился? Был старше, но не настолько, чтоб отступить. необъезженных коней обуздывал! Может быть, умыкнул? Не такое уж и геройство. Мсыгуду силой выдали? Согласия девушки не спрашивали. Случалось, что еще ребенком засватывали...

Ночевал я в доме Гудисы. И когда утром, распрощавшись, вышел за ворота, честное слово, вовсе не думал, что по пути заверну к твоему отцу. Виднелись верхушки знакомых карагачей, забило сердце, и я вспомнил, как сидел с книгой в вашей акуаске и также сердце билось, когда поглядывал на тебя...

— Алиас, что у тебя со щеками? — спросил твой отец.

— А что? — я обеими руками схватился за щеки.

— Да на них чурек можно испечь!

Меня всего жаром охватило.

Вспомнил этот смешной случай и почувствовал влагу на глазах. Вернуть бы то время!

Дрожали колени, когда открывал калитку во двор... Спросили б:

ты и прежде бывал у Арсаны, какой дом у него? Что ответить? Каким видит ласточка родное гнездо, вернувшись весной из-за моря? И только ли тот дом родной где ты появился на свет? Здесь родилась моя любовь. здесь же ее и убили... Да, хорош дом. из тяжелых каштановых досок, на высоком фундаменте. По верху веранды деревянный орнамент — какие-то птицы... Смотрел и думал: Арсана строил, твой отец, у него умелые руки. Сам он сидел на веранде, прислонившись к подушке. палка в ногах.

— Такар, Такар! — прикрикнул он на собаку, которая с лаем бросилась ко мне. Но вдруг остановилась. завилала хвостом. Поверишь ли, Адица, узнала!

Более холодно, чем до твоего замужества, поздоровалась со мной жена Бадза. Словно по моей вине не стали родственниками.

Заметил ли Арсана, что на моих щеках нет и в помине прежнего румянца? Наверно, заметил. С трудом поднялся навстречу.

Надо бы спросить о Бадзе, выразить пустое сочувствие... И не смог. Сказал, что был у Гудисы, полночи проговорили.

— Он многое помнит! — Точно капкан поставил: про тебя, дескать, говорили, про молодые годы, о Мсыгуде. Кто знает, может откровеннее станет. Но Арсана спросил безучастно:

— Что же он рассказывал?

Я не ожидал такого вопроса. И сам полез в капкан.

— Да разное! К примеру, что мы, абхазцы, не от нарттов, а от ацанов...

— Неужели мы такие неказистые? — удивился Арсана и придвинул графинчик чачи, которую с закуской принесла невестка. — Выпейка стопку.

— И я не поверил! Как это от ацан, которые росточком с папоротник? А он говорит, дело не в росте, а в гордости. Силой не отталкивались, но ни перед богом, ни перед людьми головы не склоняли! — Тут я поймал себя на том, что и голосом, и манерой подражаю старому Гудисе. Врал напропалую! Говорят, чтобы сравниться со львом, стань сначала лисицей. Но, чтобы узнать правду, хитри и изворачивайся — такого не слышал.

— Судить о человеке легко, понять трудно, — сказал Арсана. До него еще не дошло, куда я клоню. — Про кого столько судачили, как про нее несчастную? «Совестливая, порядочная...»

— Ну, теперь все открылось!

Арсана взглянул косо.

— Открылось? А кто знает правду хоть о себе самом? Не то что о другом — о себе знать ее не захочешь! — Взял книгу со стола, повертел. — Каждому на роду написано предназначенное... Не переступишь. Послушался бы я твоего отца... Не бери ее, не потому выходит за тебя, что любит. А разве я не знал?

Это он не мне, а себе самому. И, уверен, не в первый раз.

Я дотянулся до стаканчика, выпил и сказал, пожав плечами:

— Дело прошлое, сплетни всякие...

Невестка с ненавистью посмотрела на меня. Отвернулась и ушла к ребенку игравшему во дворе.

Арсана:

— Когда Арутан вернулся из заключения, я сказал ей: если все еще любит разойдемся по-человечески. Не согласилась. Зачем, ответила, нам расходиться?..

Не ошибку свою признала — ту самую «ошибку молодости», сумасшедшую страсть, из-за которой очертя голову прыгают в омут. Поди пойми. Арсана рядом с ней действительно был неказист — до подмышки едва доставал... Говорит, что пошла за него, потому что другого выхода не было. А его «бес попутал»... Арутана арестовали за ограбление кассы и поджог. Арсана не верил! Оговор. Но нигде не защитил. Не из мести. Любовь к Мсыгуде ослепила, ничего друго-

го для него не существовало, кроме этой любви... А прочие что же? Поверили, когда сознался? Людей не обманешь. Блоху по следу найдут! Но смолчали все как один. И вот хотят, чтоб Арутан жил по их совести... А Мсыгуда? Говорят, испугавшегося смерти как раз и повели на кладбище. За братьев испугалась — пропадут!

— Предрассудки нас губят, слова не скажем без оглядки... И не радуйся тому, что не тебе предназначено. Вот когда нужно мужество.

— Кто не хочет счастья? — ободряя, сказал я.

— Счастья на чужом несчастье не бывает! — Арсана повел рукой, как бы отстраняя мои слова. — Не Арутана и Мсыгуду надо бы гнать из села, а меня и ее, когда поженились...

Поженились. Значит, брак зафиксировали? Я подумал об этом и смутился. Кто из наших молодоженов тотчас идет в загс? Пока ребенок не родится, чтоб выправить метрику... А ты ходила с Маджганой? Кажется, нет. Стало быть, нечто иное вас соединило! Между тем твой отец и мать сразу же оформили брак...

Мы разговаривали, сидя за столом, когда неожиданно вошел отец. Накануне, прощаясь с Мироном, я не успел предупредить, чтобы обо мне ни слова отцу. В самом деле, вместо того, чтобы навестить родителей, на ночь глядя потащился к старику, который мне вовсе не друг закадычный, а до родного дома рукой подать, крик петуха услышишь! Конечно, Мирон проболтался. Вот отец и явился за мной. Со двора донесся его голос: «Эй, хозяин есть кто дома?» После нашего разрыва с тобой отец заметно охладел ко мне. Я платил тем же. Ты ему нравилась как невестка, еще бы, дочь близкого друга! Однако надежды не оправдались. Достаточная причина для досады...

Мне стало не по себе, когда увидел отца. Будто застал меня за чем-то предосудительным. А что выделявала собака хозяина! Прыгала гостью на грудь, руки лизала... Соскучилась до смерти! Я вспомнил о Дамше, о его чутье на хороших и плохих людей. Интересно, обладает ли таким чутьем и эта собака?

И еще. Очень удивило, как холодно, отчужденно твоя невестка поздоровалась с отцом. Он поднимался по ступенькам крыльца, когда вышла из кухни и остановилась, точно вкопанная, с видом горевестницы.

— Ну, как, моя хорошая? Да благословит тебя бог! — сказал отец и поцеловал ее в голову.

И улыбка не осветила ее мрачного взора!

Вслед за матерью выбежал ребенок. Отец вытащил припасенную конфетку. Но мать полхватила бегущего мальчика и унесла. Он изо всех сил болтал ногами и кричал, что хочет конфету.

Арсана не обратил на это маленькое происшествие никакого внимания. Может, лишь сделал вид. Или попросту привык... Радость выражало его лицо.

— Где ты пропадал? — сказал мне отец, будто вчера расстались. Знаю, у него одно на языке, на уме другое. Я ответил в тон:

— Да вот по пути решил заскочить... Вы с Арсаной друзья, и мы с Бадзом. Хотел узнать про него.

Напрасно! Отец не поверил ни одному слову. Мало того, знал, почему я здесь. Я по нахмуренному лицу понял.

— Был на свадьбе своего дружка? Свадьба что надо! — засмеялся отец.

— Какого дружка? — спросил Арсана, тяжело, с помощью палки садясь к столу.

— Разве не слышал про его близкого друга? Чокнутый, кто же еще!

— Хайт, что говоришь! Когда это Алиас и Чокнутый были друзьями?

— А что ж тогда его привело на свадьбу? Ведь не родственники!

Мне стало жарко. Я покосился на Арсану. Не то что ему было неприятно замечание отца, но сожаление не ускользнуло от меня. Сожаление, бессилие перед этим человеком: «Я согласен с тобой, что бы ты ни сказал, я согласен».

— Шел мимо, дай, думает, зайду! — подколол отец. — Ну, а как ты, Арсана? Извини, никак не выберу времени заглянуть. Соседи не передавали, что дрова на зиму мы тебе заготовили? Не бойся. без дров не останешься. Недавно о твоём сыне узнавал. Скоро вернется... Как ноги?

И положил руку ему на колено, будто часть своей силы хотел передать Арсане. Я подивился их дружбе.

— Придется, наверно, оперировать. Осколок в пояснице... Хоть бы на месте стоял — бродит! Что делать! А было время, помнишь, бежали с тобой наперегонки! — Арсана улыбнулся через силу. — Болеть не болят, только ходить тяжело.

— Если не обойдется без операции, сам отвезу. Не переживай! Слава богу, живой вернулся. А сколько пропало на войне!

— Спасибо, много хорошего ты мне сделал. Родной брат столько не сделает!

— Амнистия будет. До срока освободят... Забыл спросить, сын Апты не приходил? Договорились, что привезет дрова. Прицепит к трактору волокушу — никаких хлопот!.. А мне нравится новый председатель, года нет, как назначили, а ум уже видишь, в правлении радио играет, настроение поднимает!

Отец и хозяин заговорили о колхозных делах, а я подумал: почему «сын Апты»? Все так называют Мирона. Раньше даже завидовал... Дети Мирона будут хвастать именем деда. В сельсовете висит портрет Апты рядом с фотографиями погибших в войну. Говорят «сын Апты» — и Мирон принимает это за особую честь.

Я спросил, когда отец и Арсана замолчали, наговорившись:

— У сына Апты имени нет?

— Видишь, обиделся за друга! — улыбнулся Арсана. — Твой сын ищет правду, пошли ему бог удачи! — И повернулся ко мне. — Правильно ты его упрекнул.

— Для нас Мирон пока еще сын Апты. А прославится больше отца, станем называть Апту отцом Мирона! — Отец засмеялся, довольный, самому понравилось. — Сыну гордится славой отца. А его позор — позор сына. Или ты этого не знаешь? — Он снова положил ладонь на колено Арсаны: твой сын, дескать, смыл с тебя позор. Я смотрел на эту ласковую руку, и мне было отчего-то стыдно. Отец продолжал уверенно: — Нынешняя молодежь считает что честь и позор умирают вместе с человеком. Это не так! Мой друг где потерял здоровье? В чужой курятник залез и ему, как вору, ноги переломали? Он Родину защищал! И такого достойного человека опозорил какой-то проходимец... Умереть мне вместо Бадза! На нем нет позора. Ни на Арсане, моем друге, ни на дочери его. ни на внуках!

Он встал. И меня поднял строгим взглядом.

— Пошли, дело есть. Ты мне нужен.

Но каким мягким стал этот взгляд, когда прощался с Арсаной!

— Куда это невестка подевалась? — обеспокоился хозяин. — Проводила бы...

«Ты ведь знаешь, — говорили его извиняющиеся глаза, — обижена на тебя».

Обижена? За что же?.. Зачем мне их тайны! Знаю только, прогнала бы моего отца со двора, если б не свекор.

— Не стесняйся, заходи, когда хочешь, — сказал мне Арсана.

Мы с отцом спустились во двор. С радостным визгом под ноги снова кинулась собака. А что бы сделал мой Дамш? Зарычал? Что настораживает меня в отце, что произошло? Нет прежнего тепла... Господи, это я о родном отце! Хватит, выбрось дурное из головы. И Ади-

цу, от которой одни несчастья. Тобой пренебрегли, и вопит ущемленное самолюбие... Заткни ему глотку!

Вспомнил: сегодня воскресенье. Дамш гуляет с Петровичем. А если удерет? Конечно, на завод помчится — искать меня. Не дай бог, попадетсЯ фрицевским прихлебателям, голову расшибут. Сказать отцу о Самсоне-Фрице? Да как начать, с чего?..

Помнишь, Адица, старый граб недалеко от вашего дома, на спуске? Ни травинки под деревом, скот вытоптал. Сколько раз я ждал тебя под этим грабом! И, кто бы мимо ни шел, спрашивал, посмеиваясь: «А ты что, мух от коров отгоняешь?»

Сейчас на грабе ни единого листика. Как всегда, лежали буйволы, меланхолично пережевывая жвачку.

Отец повернул туда.

— Значит, ты вчера был...

— На свадьбе Бакира, — подсказал я. Не Чокнутого, а Бакира! Иначе отец Чокнутым назвал бы меня самого.

— Тебя приглашали?

Я сказал, что пошел ради Мирона. Да и не с пустым карманом.

— Ишь, щедрый какой! Он с Мироном появился... С близкой родней! Пустой ты человек!

Ладно, пустой и пустой... На то и отец, чтоб «учить».

Он немного остыл и спросил примиренно:

— Дома-то почему не ночевал? Так и просидел у Гудисы?

— За разговорами время летит. Вспоминали, как были в горах... О многом... Детство свое вспомнил...

И удивился, услышав свой голос как бы со стороны, и даже порадовался, думал, уже не смогу откровенничать. Отец помолчал.

Из вытоптанной земли торчал корень граба, где мы, Адица, сидели с тобой обнявшись... помню, хотел вырезать твое имя. Успел только букву «А». Ты застала меня за этим занятием. «Чтобы надо мною смеялись?»

— Слушай, — снова заговорил отец. — Что ты все ходишь по людям? Что-то все ищешь...

Точно узду вырвал из рук! Но, ты не согласишься, мне стало легче.

— За себя боишься?

Он сокрушенно вздохнул.

— За тебя! Всех расспрашиваешь, кто в тот день был у магазина, что-то записываешь... Чего ты хочешь? Через два года Бадза освободят. Получил свое, отсидел, чистым вернется. Или ты думаешь, он за кого другого в тюрьме?

— Стрелял Бадз. А убили Арутана...

— Ага! Те самые, кто напомнил Бадзу о его позоре.

— И они тоже.

— Выходит, заставили? Кто? Нет, дорогой мой, Бадз сделал святое дело и по своей воле! А ты считаешь, надо было простить? — Он опустился на корень, где была вырезана начальная буква твоего имени, а я стоял рядом.

— «По своей воле!» — я отвернулся пренебрежительно, будто не отец передо мной. — Где он взял пистолет? С собой принес? Джинсы да сорочка, в кармане разве что носовой платок поместится. А вы все в черкесах и бурках!

— Да, собирались в район. На спевку.

Это правда. Отец и сейчас в ансамбле.

— Сколько вас было? Трое. И Бадз сразу к вам направился. Разве не так?

— Ну-ну? Хотел было у одного вытащить из ножен кинжал. Но не дали!

— Зачем же кинжал, если у него пистолет?

— На суде признался, что был пистолет. Купил у незнакомого человека.

— Он солгал!

— погоди... — Отец вынул сигарету, закурил. Я протянул руку, он не заметил. — Скажи, если б твоего отца опозорили, ты бы встал на защиту?

— Да, если бы знал, что невиновен. Из вас троих кто-то дал Бадзу оружие. Этот кто-то и убил Арутана.

— А ты не так глуп, каким казался... Выучили б тебя, может, что-нибудь бы и вышло. — Он затынулся с усмешкой. Посмотрел снизу из-под бровей и сказал резко: — Вот так, распахнул бурку, вытащил из-за пояса пистолет и сунул Бадзу. Я! Я ему дал. Теперь успокоился?

Можно было бы здесь написать: «Ни один мускул не дрогнул на его лице». То есть на моем. Словно я и до этого знал. Конечно, знал! Только что толку?.. Я повернулся и медленно пошел прочь. Отец вскочил, поймал меня за рукав.

— Когда Арсана, которого считаю своим братом, проливал кровь за Родину, Арутан в Сибири спасался!

— В лагере, за колючей проволокой!

— Ага, невинного засадили! В последнее время на всех, кого до войны посадили, что-то стали смотреть, как на ангелов. Да, были несправедливости. Но Арутана упекли правильно.

— Ты уверен, что он ограбил кассу и поджег сельсовет!

— Послушайте, что он мелет! Тоже мозги набекрень, как у Чокнутого! А ты не веришь?

— Я теперь никому и ни во что не верю.

— Тьфу! Как был врагом самому себе, так и остался... Арутан не захотел по-людски жить с людьми...

— С людьми! Которые оболгали, а потом и честь растоптали!

— Ну, иди, донеси... Скажи, что знаешь, кто дал Бадзу пистолет! — Отец отбросил сигарету и брезгливо раздавил каблуком.

Нет, он ничего не понял. Обмелела река, когда-то делившая людей на завистников и честных, все смешалось, и перестали понимать друг друга...

— А скажи, почему так не любит тебя невестка Арсаны?

— Бадз показал себя настоящим мужчиной. И я помог... Женский ум короток, суетен. И у тебя такой же. Мой друг Арсана...

Я не дал договорить:

— Твой друг Арсана! Я не оправдываю Арутана, но ведь и ты знал, что он и Мсыгуда любили друг друга. Твердишь о дружбе... Что же не остановил своего друга?

— Ты сопляк! Распустил тут сопли! — Он так заорал, что я испугался. — Бадз отвел позор от отца... Но я и о тебе думал, дурак! Дочь Арсаны... Ты спросил меня, хочу я или нет видеть ее невесткой в моем доме? Целовать в лоб, говорить: «Умереть мне вместо тебя...» Ввести в дом дочь человека, с которого не смыт позор. Ради тебя, твоего же добра я пошел на злое дело. Не было иного выхода. — Он встал. — Иди домой, мать волнуется. А мне в сельсовет, опять кого-то надо мирить...

Отец еле волочил ноги, сутулился, как старик. Вспоминалось: мальчишкой, мне года четыре, играю во дворе, отца все что-то нет и нет, но вот входит в калитку и я опрометью мчусь навстречу. Отец кричит, лицо испуганное: упаду, разобьюсь... Подхватывает меня, я обвиваю его шею руками!

А сейчас мы так далеки и не знаю, что ему сказать. Не хочется видеть и мать...

Граб весь облетел. Ветер обрывает последние желтые листья. Туча надвигается с моря... Зачем я с отцом затеял этот разговор? Унизительные, бессильные слова — как холостой выстрел... Чем тяжелей мне становится, тем мучительнее желание встретиться с тобой, Адица. Чтобы задать единственный вопрос: почему? Вот я стою на поляне возле нашего граба, обдуваемого со всех сторон ветрами, и говорю: «Мы слабые люди, Адица, не сумели защитить свою любовь. Вчера

танцевали на чужой свадьбе... Почему не взялись за руки и не ушли прочь вдвоем?»

Слышала, что сказал мой отец? Хотел, чтобы мы поженились лишь после «очищения»... Дикари! Не запрещал произносить твое имя. Потому что знал — наступит день, прольется кровь и тогда он распахнет перед тобой дверь своего дома. Ни я, ни ты не помешали ему... Мы оба слепцы. И такие же дикари!

Если вдуматься, я делаю то же, что он. Во мне кровь отца... Когда, бросив меня, ты убежала с Маджганой, моя мать нисколько не удивилась: «Дочь Мсыгуды и не могла иначе!» Возмущение, гнев? Нет, лишь сожалеющая усмешка...

А ведь ты и внешне — как две капли воды!

Выберусь из водоворота, подплываю к берегу — тут же накрывает догнавшей волной. Воспоминания, воспоминания!.. Слышится голос Мери, смысл слов не доходит:

— Алиас, она вышла за другого, желая тебе счастья.

Чтобы дерево лучше росло и плодоносило, хватают топор. И под корены!

Я поднялся на холм. Далеко внизу остались голый осенний граб и Апсара. Крикнуть бы отсюда, с холма: «Я не хочу вас знать! С вашей честью и совестью!»

Кто более свободен: тот, на кого надели кандалы, или тот, кому заткнули рот кляпом?

Да, мать только усмехнулась... Но, когда разъярится, становится злее рыси. Помню, пришли гости в отсутствие отца. Надо было поймать и зарезать петуха, я гонялся за ним по всему двору, подманивал кукурузным зерном. Петух не давался в руки! Мать зашла в дом и вернулась с ружьем. Дождалась, когда петух усядется на заборе, и выстрелила. Не столько ее меткость удивила, сколько то, как спокойно вынула гильзу и дунула в ствол. А я думал, и в руках никогда не держала!

Я не пошел домой. Вряд ли толком поговорили бы с матерью — смутно было на душе.

Заявил отцу, что ни во что и никому не верю. А как верить? С чего бы, к примеру, Арутану грабить колхозную кассу и поджигать сельсовет? Кто видел его за этим занятием? Никто. Да вот сознался в конце концов!.. Нет, один все-таки видел. Есть в деле фамилия человека, жившего неподалеку от сельсовета. Сейчас уж, конечно, умер. По его показаниям и взяли Арутана... Сперва свидетель говорил про свою корову, которая должна была вот-вот отелиться и не вернулась вечером домой. Хозяин пошел искать. Издали на тропе увидел парня в белой рубашке, в шляпе. В руке черный портфель. Оглянулся и кому-то помахал шляпой... Человека свидетель как следует не разглядел, да и видел со спины. Тут у сельсовета ударил выстрел, в небо поднялось зарево. Это сельсовет горел. А стрелял сторож. Сбежался народ. Утром из района прикатила милиция, людей опросили. Хозяин коровы сказал, что в полночь встретил незнакомца в белой рубашке и в шляпе. Шел в сторону сельсовета, а зачем, неизвестно. Кто такой, люди сразу определили: студент Арутан, он один ходит в шляпе и носит черный портфель...

Царствие небесное тому хозяину: что видел, без утайки и рассказал.

Пришли в дом к Арутану. Действительно: белая рубашка на спинке стула, шляпа на столе. И портфель тут же, никуда не делся. А сам спит.

Все сходится!

Кассира тоже давно нет в живых, на войне сложил голову. Портрет на Доске почета. Он-то что, тот кассир, что рассказывал следователю? Из района привез сто десять тысяч, в конторе дожидались пастиухи Гудиса и Апта. Дело к вечеру, ведомость не оформлена. Прихо-

дите завтра... Кроме пастухов, был и Арутан, пошутили насчет того, у кого в портфеле что лежит. «На такие деньги я бы и институт, и аспирантуру закончил безбедно!» — смеялся Арутан. Гудиса: «Были бы у меня, отдал бы. Учись на здоровье!» Пошутил и Апта: дескать, чего ты, Арутан, пялишься на казенную сумку? Вырви да беги!.. Деньги кассир запер—и домой. А может, и дома не было? Кто теперь скажет! Главное, чистым вышел. Как и Гудиса. Остается Апта...

Арсана хорошо сказал об Арутане: «Я знал про него и Мсыгуду. Невозможно, чтоб в одном человеке такая любовь уместилась с подлостью!» Невозможно... Спрашиваю себя: а ты, Алиас? Когда узнал о коварстве невесты, трое суток куска в рот не брал, исстрадался, черной тенью для тебя накрылся мир... Но взгляни на свои руки. В крови... В крови Алхаса. Вы сба чудом спаслись! Отчаяние помutilo тебе рассудок и душу. А что Арутана толкнуло бы?.. Лишь под утро вернулся домой, и мать подтвердила... Но нет, ни единым словом не выдал любимую, с которой провел ту злосчастную ночь, не назвал ее имени!

Так кто же остается?

Договорились с Мироном, что утром зайду. Ему в Сухуми, подбросит до лесопилки. Рассказать о своей заботе? Что хочу разобраться в давней истории. Что отца его подозреваю... Не оправдаются подозрения — потеряю друга. А если правда? Еще крепче подружусь? Но Мирон не из тех кто... Ну, договаривай: не из тех, кто боится правды! Поймет... Да надо зайти. Встретят хлебом-солью, сядем за стол. Первый стакан за его отца. Сколько раз я поднимал этот тост! Искренне, от души. А теперь? С трудом вытолкну из себя лживые слова? Я представил это, и сердце мое устыдилось. Буду прятать глаза... Знаешь, какие глаза у лошади, когда осаживает на краю пропасти?

Я шел мимо памятника погибшим на войне. Это возле сельсовета, и ты, конечно, не раз видела его. Впрочем, говорят, редко выходишь из дома — сидишь, как взаперти, и поджидаешь мужа...

Верхушку холма срезали бульдозером и на образовавшейся ровной, точно двор хорошего хозяина, площадке поставили женскую фигуру на гранитный постамент. Поговаривают, скульптор лепил с Мацкуи.. Памятник еще не завершен, имена погибших на фанере. Я нашел братьев Мацкуи: Амиран, Ардашил, Арзакан. И даты рождения и смерти. Повсюду разбросаны куски засохшей извести. Я подобрал валявшийся обломок и рядом с именем братьев нацарапал: «Мацкуя».

Застекленная Доска почета пряталась под навесом. Участники революции, активисты коллективизации — слава и гордость апсарцев. В самом центре фотография Апты Парновича Тыкубы. Сколько ему было, когда погиб? Немного — тридцать пять. В бурке, баплык до бровей. И глазенки, как у барсука, который вот-вот залезет в амбар... Я даже огляделся по сторонам, будто вслух это сказал. Всю жизнь твердили: герой! И я верил. А объявили бы негодем — презирал бы так же бездумно. Адица перевернула мне мозги, я стал похожим на Чокнутого... Раньше было, как у людей: посапывает Дамш в конуре, в цеху пилат доски, я пишу цифирки в тетрадь, мимо идут люди — одни в одну сторону, другие в другую... И вдруг что-то стряслось! Самсон Григорьевич Фриц сволочь... остервеневший Дамш... зубы выбили... такая вот заваруха! Или я болен? Излечиться не поздно. Вернись! И больше ничего...

Родник, пробившийся из земли, не потечет назад.

Мирона дома не оказалось, уехал. Забрал жену и ребенка из роддома и отвез к городским родственникам. Не было и матери, дверь закрыта. Верно, ушла к Чокнутому, соседу, у того еще свадьба... До недавнего времени стояла во дворе развалюха: кухня с очагом и тесная комнатуха. И вон какую хоромину отгрохал Мирон! Шифером покрыл, наличники выкрасил белилами. Да поможет ему бог — все своим потом! А сад старый — орех, яблони, груша.

Старой была и давиленья. Мирон не разобрал, оставил в память об отце

Я заглянул сквозь плетеную стену... «Если увидят, скажу, что хотел выпить стаканчик вина. Кто не поверит!» Горлышки зарытых кувшинов торчат, присыпанные землей, у задней стены длинное деревянное корыто, в котором еще Апта, закатав штанины, топтался, давил высыпанный из корзин виноград... На гвозде запыленное седло — ни разу не видел Мирона на лошади.

Кувшины большие зарыты — видно по тому, как еще и соломой у каждого обмотана горловина. Наверно, Мирон открывал по случаю рождения сына. Один кувшин распечатан, и черпак рядом. Не будь замка на двери, и вправду зашел бы и выпил.

Ореховый сад стоял в легком тумане. Здесь по обычаю зарывают моляльные кувшины. Только в спешке это не делают, а молитву творят!

Вот этот, накрытый медным помятым чаном... Вряд ли тот самый. Апта торопился: закопал и лишь землей присыпал. Думается, и в давиленье не схоронил, среди прочих, больших. Может, под деревом зарыл? А под каким?..

Зимнюю яблоню посадишь — разве что внуки дождутся. Растет медленно, но и живет долго. Под одной такой яблоней белел замшелый камень. Я взялся обеими руками и потянул. Куда там! И пошевелить не смог. Вспотел от натуги и больше всего боялся, что одолею, выверну из земли.

И будто со своей души камень отвалил, когда убедился, что никакого кувшина, а лежит себе этот валун, наверно, еще со времен первого махаджирства, бог знает сколько.

Я сел на камень и вытер пот с лица.

За ореховыми деревьями в конце кукурузного поля кренился косячок дуб. Когда-то здесь был сплошной лес, дуб же поленились срубить, и вот стоит он, обломанный, с одной-единственной ветвью, склонившейся над полем Мирона. В стволе старых дубов не счесть дупел, бывают такие, что и человек заберется...

Я подошел. Боже, как его земля держит, чем жив? Весь в дуплах! И в коме дырища, устлана привядшим папоротником. Свисает паутина с застрявшими в ней опилками, в нескольких местах порвана... Вновь меня охватил непонятный горький страх. Чего я здесь брожу? Время все похоронило, заткало паутиной...

Я перелез через ограду и вышел на дорогу.

Оглянулся. Как настезь раскрытые ворота ада, темнел зев дупла. И будто бы холодом тянуло... Не быть мне Шерлоком Холмсом. Тот и бровью не повел, если б приставили к виску взведенный пистолет! Ради истины не пощадишь бы собственной жизни. Я же истерзался, душа в пятках. Не за себя — истины боялся! А за тебя... Не такой уж я трус. Сидеть бы вместо Фрица, кабы не удержали, когда выбил мне зубы. Слабейший и придумал оружие, первым поднял камень.

Увидел бы Мирон, как шастаю по саду, перелезаю ограду, до смерти бы удивился. И я вспомнил об отце и подумал о нем с завистью. Не мучал себя, не спрашивал у совести, что такое долг дружбы... Всю жизнь считал Арсана родней брата. Разве я не знаю апсарцев? Не дай бог, если друг отца убьет человека, придет к отцу и попросит защиты — отец спрячет и, не задумываясь, снимет со стены ружье.

Говорит, я чокнутый. Понаписано про любовь, что и с солнечным лучом схожа, делает добрей и нежней, и с ветром, и с морем сравнивают... Коли так, то во мне ненависть, а не любовь. Не я бросил тебя, Адица, но, как корова отгоняет от себя чужого теленка, так и меня вышвырнула Апсара. Потерянное уже не найти, лучше сохранить, что осталось...

Олеся Николаева

Тайные тризны



Потому что

Потому что обои невзрачные, мебель вытертая — неуют
потому что погода мрачная, по телевизору ничего
потому что давным-давно не приходят, давным-давно не поют
потому что горестно человеку, когда не любят его

Потому что ужасно болит — не помогает твой аспирин
потому что можно и так и этак — ну жил и жил
потому что, стораю, капают горячо воск или стеарин
потому что ведь не заставишь — насильно ж не будешь мил

Потому что голова уже вся седая, прокурена; кофеин, танин
потому что—что вы все время спрашиваете—не знаю я ничего
потому что должен ведь когда-то побыть человек один
потому что нельзя ничего поделать, чтоб любили его!

Приживалка

Жить зиму приживалкой на даче ледяной
с хозяйской желтой, жалкой, придурочной женой:
следить, чтобы медведи не перелезли в сад,
да не зашли соседи иль гости невпопад;
да не шумели сосны под вечер, и одна
в тоске великопостной к ним не ушла жена...
Она так жадно курит и с гушей кофе пьет,
глаза в окошко щурит, на цыпочки встает
и крошит, и вздыхает, и сыплет, и горит,
и уши затыкает, и громко говорит.
И от ее трезвений и бдений в полный рост
все жарче треск полений и блеск морозных звезд.
Но на ее пожары — чуть что — и через лес
примчатся санитары с сиреной до небес...
Так пусть перед туманной, поломанной душой
заплачет окаянный, ползучий смысл земной,—
со всей своей державой бесплодной, как зима,
пусть плачет, подлый, здоровый, пусть сам сойдет с ума!
Победствует, потужит, дым выгонит в трубу,
И пусть, и пусть, заглушит свой ропот на судьбу!

* * *

Жаль этих чувств — этих смертников, пленников, пленниц!
Ежевечерне — последнее солнце садится.
В отроче умирает младенец,
в девушке — отроковица.

В юноше отрок кончается, юноша — в муже.
Тайные тризны. Поминки без помпы и тостов,
лишь рукава все короче, да пояс все туже.
Будни на наших погостах.

Ах, как прерывисты линии судеб сквозные,—
выглянут, спрячутся: сумрак настанет крошечный
кто ж это выглянул вдруг сквозь провалы глазные?
Словно бы будущий некто и некто нездешний...

Ибо и можно постигнуть бессмертья науку,
смерть принимая по капле, как противоядье:
благославляю дающего — твердую руку,
славлю меня умертвляющего пядь за пядью!

Бедность и юность

Бедность и юность,
вы пахнете разом,
морозом, упреком, скандалом семейным,
глинтвейном.
Сидючи боком,
вместе на узеньких саночках катите,
бедствуя в поле широком,—
крепко повязаны барщиной гордости
и самолюбья оброком.
Податью плоти гневливой обложены,
данью фантазий,
схвачены Тем, Кто боролся с Иаковом,
сброшены наземь...
Паче всех связей блюдут бесприданницы
вид неподлеглый,—
или не в ваших подвалах скрывается
каторжник беглый?
Две гимназисточки, злые чернильницы вдруг опрокинув
на скатерть,
думали — лучше б в гетеры, в галерницы, в ночь,
чем на паперть...
Как вы мutilи меня и мытарили!
Думала — спятит
вовсе дорожка! За все ваши «дешево» —
дорого платят!
Здесь и повсюду, где только щеколдою
тою же звякнешь.
До откровения от верхоглядства — по морю
шаг лишь!
Ишь, как за всех, вами на берег брошенных,
вялых, как рыба,
на полудохлом — без запаха — воздухе больно мне,
ибо —
каждый, кто беден и юн был, час от часу
чахнет, томится,
в зеркало смотрится — то прибедняется,
то молодится...

* * *

Здесь собирается гордость юродств доморощенных,
 всякий помысел, рискующий заблудиться,
 отпирающееся «да», соглашающееся «нет»,
 все, погибшее до того, как ему родиться.
 Эта местность, замешанная на шипящих,— ересь, спесь;
 голоса той еще перебранки,
 ибо то, что в землю зарывали веками,— здесь
 обнажилось с изнанки.
 Ибо столько веков закручивались в спираль
 истоки самоуправства и окаянства,
 чтобы вставала здесь дыбом горизонталь
 и разжавшейся вдруг пружиной била в пространство.
 Ибо здесь, я повторяю, такой наворочан пласт
 баснословных предков в их промахах и провалах,
 что — чем дальше, тем крепче держит, и не отдаст
 без уплаты пошлины — запоздалых.

* * *

...И даже когда помыслы отовсюду тебя теснят
 и водят тебя, обещая волю, по кругу и вдоль забора
 и, кажется, скорей схоронят, чем сохранят,
 и родственники расхищают тебя, как дом без призора...
 А те, кто любил тебя,— где они? Полегли
 где-нибудь в поле ратном или погибли в тенетах,
 иль казнены на площади, иль увели
 их в плен Вавилонский, что ли?— поскольку нет их!
 И даже когда все чувства раздражены
 и противоречат друг другу и многолики,
 но не как херувимы, которые впряжены
 в Господнюю колесницу, въезжающую в великий
 мрак, и в коих в красе нетленной запечатлен
 и орел, и лев, и телец, и человек... Твои же
 поступки тебя везут на злой повозке измен:
 все ниже становится путь, земля все жиже...
 Но даже когда ты бедствуешь и горишь,
 и черные заливают реки тебя, и все волкодавы брешут,—
 стой, не сходи с места, где падаешь и стоишь:
 услышат, найдут, придут,
 поднимут, уймут, утешат!

Мамед Исмаил

С в е т

С азербайджанского.

Перевод

А. Кушнера

* * *

Не сомневайся в том, что есть у гор язык.
Вот ты кричишь в горах — и слышишь отклик дальний.
О, научиться бы ценить нам каждый миг!
Что жизни сладостней и что ее печальней?

Сон с явью, кажется, идут в одном строю,
И луч, рассеяв мглу, крадется к изголовью,
И сердце брошено, как семя, в грудь мою
И проросло оно печалью и любовью.

Нельзя без радостей, нельзя и без обид —
Одни и те же с ними связывают нити,
Ах, знаю, знаю я, что сердце нам томит,
Не у кого-нибудь, а у меня спросите!

И видим зорче мы, и слышим мы не так,
Как раньше слышали: любовь шлифует душу.
Перед цветущим вдруг я замедляю шаг
Кустом размашистым — боль просится наружу.

Но равнодушия дороже мне она
И безмятежности, — живу я с этим жаром.
Известно точно мне, где прячется весна:
Твой адрес наизусть затвержен мной не даром.

Прощальная песня стариков

I

Я исчезну среди бела дня
Или ночью, мир простит меня,
Сердце, верность прошлому храня,
Среди птиц лесных должно
остаться.

Знаю, время мчится на коне,
Но пешком брести привычно мне,
Если уж застыть в смертельном
сне, —

Среди милых гор хочу остаться.
Не печалься: вспыхнул и потух.
Гаснет зренье, изменяет слух,
До каких же пор наш гордый дух
Должен неизменным оставаться?

На земле живем мы только раз.
Гаснет свет, кончается рассказ.
Кто моложе, провожают нас —
Нам слезою в их глазах
остаться.

День уходит, жизнь уходит, срок
Настает переступить порог,
Ах, земля уходит из-под ног,
А горам придется здесь
остаться.

Господи, считаешь, как скупой,
Наши дни, гляжу во след
с тоской,
Не вцепиться в ворот твой
рукой, —
В пустоте ей горько оставаться.

II

Сколько слов ему я посвятил,
Силы тратил, сердца горький
пыл,
Сколько зерен в землю посадил—
А пшеницы не дал он мне,
не дал.

Светел будь иль темен будь,
как ночь,—
Все равно судьбы не превозмочь,
Мне судьба моя послала дочь,—
Не дал сына бог мне. сына
не дал.

Я не знаю, где он, в облаках

Или от меня он в двух шагах,
Вся удача у него в руках,
Но удачи не дал он мне, не дал.

Сад судьба садовнику дала,
И цветы шиповнику дала,
И шипы терновнику дала,
Но ума, я вижу, бог мне не дал.

Дал глаза мне, чтоб я плакать мог,
Дал язык, чтоб высказать упрек,
Деньги, чтоб хранил я, дал мне бог,
А копилки не дал он мне,
не дал.

Свет

В годы войны наш старый дом развалился, и дядя помог мне с матерью перебраться в землянку; вместо окна на потолке он пробил проем — баджу, днем падал сквозь нее солнечный свет, а в ясные ночи лунный. Быть может, то было окно, открывшееся в мою будущую судьбу.

Для созреванья нужно время.
Темна тоска небытия.
И девять месяцев, как семя,
Во тьме тайлась жизнь моя.

Но вот прорезали, как бритва,
Ростки земной покров,—
как знать,
Что помогло мне, чья молитва,
Луча живая благодать?

С тех пор всегда хватало риска,
Луч проникал во тьму, как Бог.
Свет был веревкой альпинистской,
Что из колодца нас извлек.

Как странно жить на белом свете,
Был миру дан я, как обет.
Есть сказка о «Мелик-мамеле».
Мой друг, зовут меня Мамед.

Был темен мой удел, и все же
От Бога не был скрыт я.
В землянке рос я белокожий,
Темнее в мире нет жилья.

Но лунный свет ночами жидкий
В землянку нашу проникал.
Висела, кажется, на нитке
Жизнь,— ничего, что слаб накал.

Зато заглядывали звезды
В мои глаза, их робкий свет,
Ночной пронизывая воздух,
Со мною дружен с детских лет.

А тьма всю жизнь враждует
с нами.
Еще точнее сказать хочу:
С рожденья вспыхивает пламя,
Мечтает смерть задуть свечу.

Везенье вроде царской птицы,—
С небес слетает не ко всем,
И луч, что к нам из тьмы
струится,
С тем — разговочив, с этим —
нем.

И стороной, глядишь, кого-то
Без объяснения причин
Обходит он... И впрямь
без счета
Нас на земле, а Бог — один.

И может быть, он, данный свыше
Нам — просто свет, что в тот
проем,
В дыру, проделанную в крыше,
Смотрел в младенчестве моем.

Марк Алданов

Истоки

РОМАН



Читателю «Дружбы народов», думается, нет нужды представлять Марка Алданова: в минувшем году в №№ 3 и 4 журнала был опубликован его роман «Ключ». Впервые на родину стали возвращаться произведения этого большого мастера исторической прозы, писателя, который был исключительно популярен у эмигрантской читательской аудитории 1920-х—50-х годов. И. А. Бунин неоднократно выдвигал кандидатуру Алданова на Нобелевскую премию.

С этого номера «ДН» начинается печатать роман Алданова «Истоки». «Это наименее плохая, по-моему, из всех моих книг», — делился необыкновенно требовательный к себе Алданов с Буниным в письме от 26 февраля 1950 года. «Истоки», крупный по объему роман, широкое эпическое полотно, написан в Соединенных Штатах в годы второй мировой войны, главы публиковались в «Новом журнале» и в газете «Новое русское слово» (Нью-Йорк) в 1943—1946 годах. Отдельное издание, текст которого положен в основу настоящей публикации, вышло в Париже в 1950 году в издательстве УМСА-PRESS. Еще до того, как книга увидела свет по-русски, появился ее английский перевод, озаглавленный «Перед потопом», а несколько позднее — испанский. В 1948 году Книжное общество Англии избрало «Истоки» в качестве лучшего романа месяца.

Алданов знал тайны занимательности, роман построен искусно, читается с напряжением. Вначале ряд отдельных, не пересекающихся сюжетных линий, персонажи вымышленные и исторические, от цирковой наездницы до всероссийского самодержца; читатель погружается в напряженные идейные споры 1870-х годов — о путях исторического развития России, о природе власти, о нравственности в политике, о разобщенности царской власти и интеллигенции. Постепенно выявляется главная авторская мысль: истоки розной русской революции, шире — истоки свойственной всему XX столетию жестокой нетерпимости можно отыскать в тех 1870-х, когда общество разделилось на два непримиримых лагеря и каждый, совершенно убежденный в своей монополии на истину, стал делать ставку на насилие. Контрапунктом романа является необыкновенно ярко написанная сцена убийства Александра II народовольцами, эта сцена — одна из лучших в русской исторической прозе.

Элемент уголовщины, описания заговора и убийства придают действию остроту. В историческом повествовании, как в жизни, перемежаются пустяки и очень важное, автор использует контрасты. За картиной лунной ночи в Эмсе, когда галантный русский царь спешит на свидание, следует описание случайной, казалось бы, встречи на железнодорожной станции двух неизвестных молодых людей, Желябова и Перовской. Занимательность приключенческой интриги совмещена с эрудицией научного исследования. Воссозданию аромата эпохи способствуют характернейшие детали, умело отобранные, малоизвестные большинству читателей. Вот знаменитый врач, убежденный, что антисептика при хирургических операциях — нововведение ненужное, пустое. Вот дама, расспрашивающая телеграфиста, почему, когда по проводам летят телеграммы, их не видно...

В портретах исторических лиц самые мелкие детали у Алданова всегда основаны на тщательном изучении документов, вымысел сведен до минимума. Георгий Агамович

рассказывает, что спросил Алданова, откуда взялась в одной из его повестей такая подробность: у императрицы Марии-Луизы попугай с голоса Наполеона заучил фразу «*Marie, je t'aime*» («Мари, я тебя люблю»). «Марк Александрович,—рассказывает Агамович,—назвал источник и, помолчав, не без досады добавил: «Знаете, это до сих пор мучает меня. Там сказано, что какую-то наполеоновскую фразу попугай повторял. Но не сказано, какую. Я ее придумал сам». Как же была велика историческая добросовестность Алданова, если он сомневался в своем праве даже на столь незначительную вольность!

И вместе с тем автор «Истоков» меньше всего археолог, ослепленный блеском открывшегося ему исторического материала. Он писал о разных эпохах: в его повести «Бельведерский торс» действует Микеланджело, в романе «Брег» есть сцена народного выступления в Берлине 17 июня 1953 года. Но человеческая природа на протяжении веков, по его убеждению, оставалась неизменной. Главная тема Алданова: во все времена попытки изменить мир к лучшему путем применения силы, создать «нового человека» неизменно проваливались, история никогда не шла по тому пути, на который ее старались направить. В «Истоках» несколько страниц посвящено Берлинскому мирному договору 1878 года. Его задумывали как основу для прочного мира в Европе, на деле он оказался миной замедленного действия, обусловил, в конечном счете, начало первой мировой войны. Алданов пишет об извечной иронии судьбы, на страницах романа возникает парадоксальная, казаться бы, параллель: циркачи и политики как люди тройного сальто-мортале.

Несомненно, навеян Толстым, судьбой его Левина нравственный итог исканий главного героя «Истоков» Мамонтова: счастье только в личной жизни, в семейном очаге. Страницы, посвященные смерти Дюмmlера, заставляют вспомнить «Смерть Ивана Ильича». Толстой был кумиром Алданова, вслед за Толстым он повторял: «На фоне перешедших в историю событий только проявляются характеры людей». Вместе с тем эмигрантская критика отметила и существенное отличие ученика от учителя. Редактор «Нового журнала» М. М. Карлович писал в рецензии на «Истоки»: «Отрицая историю Л. Толстой уходил от нее к двум вечным полюсам: «высокому бесконечному небу», которое раненый князь Андрей видит над собой на поле Аустерлицкого сражения, и укорененной в земле роговой человеческой жизни (знаменитые «пеленки» в эпилоге «Войны и мира»). Кажется, ни то, ни другое Алданова не утешает. Во-первых, он не может уйти от истории, так как в отличие от Толстого обладает высокоразвитым историческим чувством. Во-вторых, в нем нет и следа никакого руссоизма, нет бунта против культуры. Напротив, человеческая культура и есть то, что он по-настоящему ценит и любит — ценит и любит тем более, чем яснее представляется ему ее хрупкость. Он гуманист, не верящий в прогресс. И это придает его мироощущению трагический характер».

Андрей ЧЕРНЫШЕВ,
доктор филологических наук

ТОМ I

Часть первая

I

В этот день, 11 января 1874 года, Николай Сергеевич Мамонтов, как многие жители поздно встававшего Петербурга, проснулся гораздо раньше обычного времени. Он растерянно поднялся на постели, шуря от заливавшего комнату света, низко опустив голову, и прислушался: «Что за черт? Что такое случилось?»

Гул выстрелов был очень силен; номер гостиницы выходил окнами на Исаакиевскую площадь. Мамонтов не сразу догадался, что это салют. Потом выругался, зевнул и опять опустил голову на подушки, лениво считая выстрелы. «Ну, хорошо, не довольно ли? Я решительно ничего не имею против их свадьбы, но зачем они мешают людям спать? Семь... восемь... Я думал, началась революция... Кажется, что-то о революции и снилось... Довольно... Право, довольно!.. Не хочу, чтобы больше стреляли....» Мускулы на его худом, приятно-некрасивом лице обозначились сильнее, точно от физического усилия. Но попытка подавить салют усилием воли не удалась. «Зна-

чит, завтра «новая жизнь»... Но и старая была очень, очень недурна... Стоит ли уезжать?..»

Яркий свет резал глаза: одно из окон было против кровати, Николай Сергеевич никогда не опускал штор. «Что же сейчас делать?» — зевая, спросил себя он. Все скучные дела уже были кончены. «Можно встать, а можно лежать в кровати хоть до полудня, и то, и другое недурно, и в этой свободе есть для меня большая прелесть. Что если она мне нужнее политической? — неожиданно подумал он и поморщился. — Мысль довольно мещанская, Бакунину и Марксу я об этом не скажу. И о Кате не скажу...» На него как будто беспричинно нашла радость. Выстрелы наконец прекратились с последним глухим, долго замиравшим раскатом. «Не поработать ли? Жаль, все в ящике. В солнечный день совестно поздно вставать...» Он вскочил и надел туфли, как всегда, забившиеся под кровать дальше, чем было нужно.

Вид у комнаты был неудобный. Почти все уже было уложено. В углу стоял мольберт, под ним лежали гири — и то, и другое Мамонтов оставлял в гостинице. Вместо этого мольберта был накануне куплен складной и уложен в ореховый ящик с отделениями для палитры, для кистей, для красок. Старые краски, еще какие-то измазанные баночки, скляночки, трубочки, тряпочки были свалены в углу. В гостинице из-за этих баночек и скляночек к Николаю Сергеевичу относились без уважения, а Черняков, входя, морщился: «Почему твоя комната всегда имеет такой неряшливый вид? Неужели тебе нравится богемный жанр? Посмотрел бы на мой кабинет: ни соринки», — на что Николай Сергеевич неизменно отвечал: «Молчи. Мастерские Тициана и Леонардо имели точно такой же вид». Черняков обычно оставлял за собой последнее слово: «Так то Тициан и Леонардо».

«Стенька Разин», не свернутый, на подрамнике, лежал в другом, большом, низеньком ящике. Мамонтов поднял крышку и ахнул: столь новой при взгляде сверху вниз показалась ему уложенная накануне вечером картина. «Точно и не я писал! — думал он, прищурив глаз. — Кажется, хорошо... Посмотрим, что теперь скажут люди... А Стенька у меня все-таки сусальный богатырь. На самом деле он был среднего роста. Картина, кажется, хорошая, но не искренняя или не вполне искренняя. Неправда, будто я так люблю русскую удачу. Эту любовь я взял из чужих мастерских, да и туда она попала из газет. Чем мне по-настоящему может нравиться Стенька? Кое-что взято у Василиев. — Два художника, которые ему нравились в Академии, Перов и Суриков, оба назывались Василиями. — Но я не останусь в исторической живописи, буду писать портреты». Он вздохнул, опять лег, взял со стола книгу «Отечественных записок» и дернул шнурок колокольчика. Никто не откликнулся — из-за напыла иностранцев прислуга гостиницы была перегружена работой. Он дернул шнурок во второй, в третий раз. Наконец кто-то постучал в дверь. Мамонтов приказал подать самовар.

— Не забудьте, пожалуйста, принести льду, — добавил он. Всегда говорил прислуге «вы», что приводило ее в растерянность. Николай Сергеевич улегся поудобнее на трех подушках и открыл на закладке книгу; накануне начал читать роман какой-то дамы: «Попечитель Учебного Округа». «Ох, что-то уж очень скучно...» Он с вечера не верил ни в религиозный экстаз одной героини, ни в то, что в другой героине «все было бархат, начиная от кроткого блеска ее глаз до ласкающего шелеста ее платья». С утра в романе появился «молодой надменный князь, с нахально-ленивым выражением лица и с несколько лошадиными зубами, через которые он пропускал отдельные фразы, фразы, ценившиеся в Петербурге на вес золота». «Как, однако, скверно пишет эта баба! И какое мне дело до князя с лошадиными зубами?» — подумал Мамонтов и из-под одеяла наудачу подтолкнул правой рукой книгу, которую держал в левой: вдруг открылся на интересном месте? Критик жаловался на полный упадок литературы: не только нет Шекспиров и Дантов, но некого поставить рядом с Тургеневым и Гончаровым, да же с Львом Толстым и Крестовским — псевдонимом¹. «Критик еще глупее романистки», — сказал себе Николай Сергеевич, обидевшийся за Льва Толстого: он недавно с тем же восторгом прочел во второй раз «Войну и мир» этого писателя, входившего в большую моду.

Мамонтов встал окончательно и занялся гимнастикой. «За границей можно будет купить гири фунта на три потяжелее. Сила пока растет и уменьшаться начнет не скоро». Тусклое зеркало отражало бицепсы — «сделали бы честь атлету, ну, не про-

¹ Н. Д. Хвощинская-Зайончковская (1824—1889), популярная в 1870-е годы писательница, подписывала свои произведения «В. Крестовский — псевдоним».

фессионалу, как Карло, а сильному любителю... Кажется, во мне начинает развиваться самодовольство. Но люди часто называют самодовольством просто сознание человеком своих сил. Что же мне, собственно, дает уверенность в своих силах? Compliments профессоров и товарищей в университете, в Академии? Compliments были большие. Однако это плохой признак, если человек чувствует себя способным ко всему. Катя восторгается мною искренне, но что же понимает в людях Катя? И влюблена она все же не в меня, а скорее всего в Карло, и ничего у меня с ней не будет, и слава Богу: была бы грубая мещанская «интрижка», — неуверенно сказал он себе. В дверь постучали. Мамонтов поспешно опустил гири. Ему всегда было неловко перед прислугой гостиницы и за гири, и за живопись, и за то, что он вставал часа на четыре позже слуг. Вместо лакея самовар принесла молодая горничная. Николай Сергеевич, бывший в ночной рубашке, поспешно сорвал с кресла халат, рукава, как нарочно, были вывернуты наизнанку.

— Виноват... Я думал, это Степан. Пожалуйста, поставьте сюда. Нет, я заварю сам... Что, кажется, очень холодно?

— Лютый мороз, барин, — ответила, улыбаясь, горничная. — Лед в ванной комнате. Неужто будете обтираться?

— Да. Я привык. — Он хотел было игриво пошутить и не пошутил. Горничная сказала, что газета на подносе, и вышла с той же улыбкой, оглянувшись в дверях. Николай Сергеевич с досадой швырнул на кресло халат, сердито посмотрел на свои голые ноги и подумал, что ночная рубашка — идиотская вещь, фабрикантам давно следовало бы придумать что-нибудь получше.

Он заварил чай, срезал полукруг еще горячего, с осыпавшейся мучной пылью калача, густо намазал маслом обе половины рога и с наслаждением выпил два стакана чаю. Масла больше не оставалось. Николай Сергеевич налил себе третий стакан и съел весь калач, макая куски его в сладкий чай. «Просто неловко, надо было бы для приличия оставить хоть что-нибудь на подносе...» Он думал немного о миловидной горничной, немного о Кате, думал, что следовало бы заглянуть в газету, хоть в ней, наверное, ничего нет, кроме этих придворных торжеств. Однако не развернул газету, подошел к окну, отворил первую форточку, за ней вторую. «Ах, как хорошо!.. Особенно вон то: золото и снег. И то второе пятно кареты с красным на розоватом снегу!..»

Крест, фронтоны, купол Исаакиевского собора были покрыты снегом. Дома были разукрашены русскими и английскими флагами. По площади неслись сани, запряженные парой вороных рысаков под сеткой. За ними, сильно отставая, тяжело меся снег, проехала придворная карета с людьми в красных ливреях. Верх кареты, цилиндр лакея были покрыты снегом. В разреженном тумане слабо видны были громады дворцов. «Уж не остаться ли? — нерешительно спросил себя Николай Сергеевич, с новой ясностью чувствуя, как он любит все это. — Этот великолепный, барский, самый барский в мире город, этот чудесный собор, эти пышные дворцы, даже тот памятник деспоту в кавалергардском мундире на невозможном коне. Да, красота!.. Философствующий граф-помещик, который так изумительно пишет, сказал бы, что красота умрет и что я застыну перед смертью, как застыл перед ней князь Андрей. Но что же мне делать, если я о смерти не хочу думать!.. Не остаться ли?.. Живописью можно заниматься здесь. Бакунин, Маркс не уйдут... И что же, собственно, я скажу Бакунину и Марксу? Ведь это все-таки будет книжный разговор, в котором я распушу перья: буду показывать свой ум, образование, революционные чувства, а они будут стараться заполучить лишнего сторонника, если они вообще будут со мной разговаривать... Могу ли я говорить с Бакуниным или с Марксом о себе, о том, что я не знаю, что с собой делать, что я хочу жить и не знаю, как и для чего, не знаю, зачем вообще живут люди. Для них это скучное «само собой», о котором они и говорить не станут. Могу ли я сказать им о Кате? Об этой горничной, которой я чуть только что не предложил за любовь денег?.. Конечно, я сейчас несу вздор, но во мне, быть может, то единственное и хорошо, что я себе врать не могу. Другим могу... И сколько я ни убеждал себя, что «Капитал» доставил мне великое наслаждение, — не убедил. «Капитал» доставил только такую же умеренную радость, как в гимназии «Пифагоровы штаны»: «Слава Богу, главное все-таки прочел, понял и заучил. Ловкая штука...» И я знаю, что буду читать и перечитывать, быть может, всю жизнь «Войну и мир» этого помещика, о котором в Европе, верно, никто никогда не слышал, а в «Капи-

тал» больше в жизни не загляну, разве только нужно будет (хоть едва ли) написать ученую статью и кого-то посрамить какой-нибудь цитатой...»

В жарко натопленную комнату врывается морозный воздух. Мамонтов затворил форточку и надел халат, приведя рукава в порядок. Густо-синий цвет халата вызвал в его памяти вагоны первого класса. «Увижу теперь, что это такое... Во мне сказываются и черты «*raivenu*»¹. Это более чем естественно — дед крепостной», — как всегда, с мучительным чувством ненависти подумал он. В детстве он еще ездил по первым железным дорогам в вагонах зеленого цвета, потом, с ростом состояния отца, перешел на желтые и теперь впервые купил место в синем вагоне. «Завтра еду, как хорошо!» — опять подумал он, представляя себе все волнующее в отъезде. «П-п-первый звонок...» «А-луга, Псков, В-вильна, В-варшава — второй звонок!» — ненужно торопливая покупка газеты или папирос, ненужно торопливый бег за носильщиком по перрону, затем радостное успокоение в уютной полутьме жарко натопленного вагона, отчаянный третий звонок — «Теперь звони сколько хочешь, я уже сижу!» — жуткий, точно случилось несчастье, свист, странно-слабый после звонков, ни для чего, наверное, не нужный звук рожка, нерешительно тяжелый толчок, медленный уход вокзала, города назад в пространстве и во времени — «Кончилась глава!» — мысли о даме, сидящей в углу купе, о том, что будет к обеду, торжественное появление кондуктора с фонарем, с каким-то странным инструментом в руке, сообщение о близости большой станции, новый перебег по перрону с поднятым воротником пиджака, после морозного обжoga счастливое тепло, радостная толкотня у буфета в освещенном зале, первая рюмка водки, поспешный выбор первой закуски.

В знаменитой гостинице было две ваннные комнаты, которыми пользовались теперь англичане и американцы — русские предпочитали баню, а немцы находили роскошь дорогой. На пороге Николай Сергеевич вспомнил, что во внутреннем кармане пиджака остались деньги, вернулся (хоть тут ничего не крали) и сунул в карман халата бумажник. В нем были две тысячи рублей наличными и перевод в восемь тысяч на Ротшильда. С ними лежало и рекомендательное письмо к Бакунину. Его фамилия, разумеется, в письме названа не была. Из предосторожности не было даже имени-отчества в обращении. Вместо «Михаил Александрович» было написано «*Mon vieux Michel*»², хотя старик земец не так уж близко знал знаменитого революционера. Письма к Карлу Марксу достать не удалось: в Петербурге никто Маркса не знал, по крайней мере, из людей, к которым мог бы обратиться Мамонтов. «Да Михаил Александрович сам вас направит к этому — как его? — к Марксу, ведь вы сначала едете в Швейцарию, а только потом в Англию», — сказал старый земец. «Вот тебе раз! Они лютые враги», — возразил Николай Сергеевич. «Лютые враги? — недоверчиво переспросил земец. — Я думал, это одна компания». Мамонтову показалось, что он хотел сказать: одна шайка. Он рассердился, но сдержал себя. «Ну-с, а что же вы, молодой человек, скажете о счастливом событии?» — прощаясь с ним, полусерьезно спросил земец. «О каком событии?» — «Я придаю ему большую важность: в первый раз Романовы сочетаются узами брака (он шутливо подчеркнул интонацией официальное выражение) с английским королевским домом. Все-таки, не говорите, родственные влияния имеют у них значение. Впредь британская конституционная монархия будет оказывать влияние на наше самодержавие. Возможно, что это начало новой эры в европейской истории». — «Отчего же только в европейской? В мировой, в мировой», — сказал Николай Сергеевич. «Не шутите, молодой человек, не шутите. Да, да, я знаю, ваше поколение не верит в положительную работу. Все у вас разрушай да разрушай! Вот вы не верите, а Гладстон верит! Ведь этот брак состоялся не без него, он как его в Палате приветствовал! К Гладстону вы лучше бы ездили, молодые люди, а не к Марксу и не к Бакунину...»

11 января великая княжна Марья Александровна, дочь императора Александра II, выходила замуж за герцога Эдинбургского, сына королевы Виктории. Этому браку всей Европой приписывалось большое политическое значение. По случаю свадьбы в Петербург приехали высокие особы из разных стран, каждая в сопровождении большой свиты. Высокие особы и важнейшие из приближенных лиц жили в Зимнем дворце. Для людей менее значительных были сняты комнаты в лучших гостиницах, в их числе и в той, в которой жил Мамонтов. В коридорах, в *hall'e*, в ресторане ему бес-

¹ Выходка; человек, пробившийся наверх (франц.).

² «Старина Мишель» (франц.).

престанно попадались люди в непривычных его взгляду иностранных мундирах. Каждый вечер устраивалась иллюминация на главных площадях и улицах столицы. Газеты печатали сообщения о завтраках, обедах, приемах, балах.

Николай Сергеевич вернулся в свой номер, дрожа от холода. «Бесполезно было бы утверждать, что ванна со льдом в январе доставляет удовольствие...» Он таким образом закалял волю. «Теперь недурно было бы выпить четвертый стакан чаю, если бы не было совестно. Покойный отец, вернувшись с завода, выпивал целый самовар», — опять с неприятным чувством подумал он. Его отец скончался недавно, наследство все еще не было приведено в ясность, состояние осталось как будто немалое, однако очень запутанное. Наличных денег не было вовсе, был только завод и небольшое имение, приобретенное отцом на юге после получения дворянства. Долгов осталось много — в последние годы дела пошатнулись. Десять тысяч рублей, находившиеся в бумажнике Николая Сергеевича, были им взяты на год под вексель у кушча-процентщика. Заключить заем было нетрудно, но купец, хорошо осведомленный о состоянии наследственного имущества, потребовал двадцать процентов годовых и уступил только два процента, которые, очевидно, собирался уступить с самого начала. «Велено потчевать, а неволить грех. Меньше не возьму, нельзя, Николай Сергеевич», — говорил он почтительно и твердо; он точно подражал изображающим купцов актерам Александриянского театра, только что не разглаживал бороды. Мамонтов не умел торговаться. Подумал было, уж не взять ли, в таком случае, меньше: тысяч шесть? Решил все же взять десять, так как совершенно не знал, на сколько времени уезжает за границу и скоро ли будут закончены сложные дела, связанные с продажей завода (имение он любил и хотел оставить за собою).

Николай Сергеевич оделся, сел в кресло и развернул газету. В мире ничего важного не произошло, он каждый день ждал, вдруг прочтет сообщение о какой-нибудь революции или о походе за дело свободы, вроде гарибальдийских походов, о походе, в котором можно было бы принять участие. Унылая непонятная гражданская война шла в Испании; маршал Серрано кого-то разбил наголову — хотя как будто не очень наголову — и требовал от французского правительства выдачи членов хунты, так как они не политические, а уголовные преступники. «Нет, в этой войне я участия не приму», — думал Николай Сергеевич с насмешкой одновременно и над собой, и над маршалом Серрано, и над хунтой (его смешило это слово). — Вот и в этой тоже нет». Столь же унылая, непонятная революция происходила в Сан-Доминго; кто-то свергнул президента Базза, президент поспешно бежал, а впрочем, как будто не бежал, по крайней мере, его представитель в Лондоне называл сообщение о поспешном бегстве президента гнусной клеветой врагов. «Скажем, бежал, но не поспешно. Я думаю, самому Бакунину такие революции не интересны». Дизраэли вел хитрый подкоп под Gladstone, и из Лондона шли слухи, будто положение либерального премьера поколебалось. Во Франции правительство получило после жарких прений довольно приличное большинство голосов: 393 против 292. В Японии возможен приход к власти либерально-консервативной партии Ивакура. Либерально-консервативная партия окончательно нагнала скуку на Мамонтова. Он заглянул в некрологи — умирали все светлые личности и люди кристальной душевной чистоты. Впрочем, большая часть газеты была отведена торжествам бракосочетания, ожидавшимся в этот день обеду и балу в Зимнем дворце. «...При питии за здравие играют на трубах и литаврах и производится в С.-Петербургской крепости пальба: за здравие Их Императорских Величеств и Ее Величества Королевы Великобританской и Ирландской — 51 выстрел; за здравие Высокобракосочетавшихся — 31 выстрел; за здравие Всего Императорского дома и Августейших гостей — 31 выстрел; за здравие духовных лиц и всех верноподданных — 31 выстрел...» Ему нравилась пышность петербургского двора хотя он при случае говорил, что это грабят русский народ. «Все-таки с их стороны очень мило что они пьют за мое здоровье...»

II

Черняков приглашенный Николаем Сергеевичем к завтраку «часов в одиннадцать» явился в одиннадцать часов. Аккуратность шла к его представительной, степенной довольно грузной фигуре. Мамонтов почти во всем расходился с этим своим школьным товарищем, но любил его или по крайней мере любил проводить с ним время. От Чернякова веяло спокойным самоуверенным благодушием, основанным на

прекрасном здоровье, на прекрасном аппетите, на прекрасно начатой университетской карьере, на совершенной порядочности, на непоколебимом сознании, что в мире ничего дурного с порядочными людьми не бывает. Он был очень расположен к людям, никогда не отказывал в услугах, но и не допускал, чтобы ему в них отказывали. Действительно, ему никто ни в чем не мог отказать. В двадцать девять лет он был видным приват-доцентом петербургского университета, писал в журналах солидные статьи, где что-то разбиралось «в общем и целом» и что-то «проходило красной нитью»; он даже с некоторыми правами мечтал о политической карьере. Михаил Яковлевич был холост, состояния не имел, но зарабатывал недурно и, как сам сказал Мамонтову, «в трудную минуту всегда мог обратиться к сестре». «Обратиться к сестре ты, конечно, можешь, но, как отнесется к твоему обращению очаровательный Юрий Павлович, еще неизвестно. Поэтому в трудную минуту, которой у тебя, впрочем, никогда не было и не будет, лучше, право, обратиться ко мне», — сказал Мамонтов. «Ты глуп», — ответил Михаил Яковлевич, — Юрий Павлович, если хочешь, стоил ретроградства, но прекраснейший человек, и я тебе раз навсегда запрещаю говорить о нем дурное».

— Так ты еще не уехал? — спросил он, опуская воротник шубы и стряхивая снежинки с низкой котиковой шапки. — Хорошая вещь печь! Сегодня температура близка к абсолютному нулю, на котором помешались мои коллеги-физики. Так ты еще не уехал?

— Нет, я еще не уехал, — ответил Николай Сергеевич покорно и даже с некоторым сознанием своей вины; знал, что ему весь день будут задавать этот вопрос; он уже простился в Петербурге с теми, с кем ему полагалось простаться, и считал главным положение человека, прощающегося во второй раз. У людей всегда при этом неприятно разочарованный вид: как? Вы еще не уехали? — Задержался только на один день и завтра уезжаю наверное, твердо тебе обещаю, не сердись... Постой, не снимай шубы — мы сейчас же пойдем завтракать. Куда ты хочешь?

Михаил Яковлевич так же неторопливо снял перчатки, вынул из кармана своего хорошо сшитого двубортного сюртука модный фиолетовый платочек и протер им золотые очки, которые не только не портили его, но украшали, как его украшали и английский сюртук, и батистовый платочек, и холеная черная борода; Мамонтов ему советовал отпустить окладистую русскую бороду: «С ней ты будешь еще национал-прогрессивнее, а какой же лидер партии без бороды?»

— Мой друг, от добра добра не ищут, — сказал Черняков. У него был приятный, звучный баритон с внушительными уверенными интонациями, очень подходивший для лекций по государственному праву, для ссылок на основные законы Российской империи или на прецеденты в конституционной истории Англии. Говорил он прекрасно и так правильно и гладко, что точную запись его лекций можно было бы печатать без всякой правки, они в стилистическом отношении были ничем не хуже его статей. Первую свою лекцию он обычно отводил философским вопросам; бывший на открытии его курса Мамонтов после лекции сказал ему, что за трогательные интонации в словах о Спинозе его мало повесить. «Я тебе раз навсегда запрещаю говорить о Спинозе, говори об основных законах...» Они всю жизнь что-то раз навсегда запрещали друг другу, никогда друг на друга не обижаясь. — Я готов, разумеется, идти за тобой в огонь и в воду и в любой трактир. Но отчего бы нам не пообедать в твоей гостинице? Сюда ведь люди приезжают из-за границы, чтобы поесть как следует. Особенно немцы.

— Именно. Здесь сейчас слишком много немцев. Вся гостиница заполнена германскими адъютантами, лейтенантами и черт знает кем еще. Русская великая княжна выходит замуж за английского герцога — казалось бы, при чем тут немцы?

— Я так и знал. Как вся наша радикальная интеллигенция, ты германофоб. Но я не хочу отвлекаться в сторону. Ты, разумеется, сейчас себе говоришь: «Какая свинья этот Черняков! Я его пригласил на завтрак, а он выбирает такой дорогой ресторан...» Постой, не смейся и не кричи, а слушай. По случаю моего таинственного, бессмысленного и решительно ни для чего не нужного отъезда за границу мы, конечно, должны выпить шампанского. Но ты хочешь угостить меня, потому что ты уезжаешь, а я желаю угостить тебя, потому что я остаюсь. Поэтому с самого начала предлагаю не ломаться, а платить пополам. Идет?

— Не идет. Я буду ломаться: ты у меня в гостях. И, разумеется, я ставлю бутылку шампанского.

— Если ты такой эрцгерцог, то уж ставь не одну бутылку, а две. Мне очень хочется с тобой выпить как следует, потому что я тебя люблю, хотя ты меня нена-

видишь и презираешь. За то, что я буржуа, профессор — по крайней мере *in spe*¹ — и мирный обыватель, тогда как ты высшая натура, духовное существо, гениальный дилетант и Леонардо да Винчи — тоже *in spe*.

Смеясь, они спустились вниз. Несмотря на ранний час, ресторан уже был почти полон; они заняли последний стол у окна. Всюду слышалась немецкая речь, реже английская и французская, еще реже русская.

— ...В Париже, — сказал Черняков, закусывая икрой рюмку водки, — я тебе советую, благо ты богат, как сорок тысяч Крезов, завтракать в *Café Anglais*, а обедать в *La Tour d'Argent*. Мне, скромному приват-доценту и — в полное отличие от тебя — буржуа больше по духу, чем по кошельку, оба сии богоугодных заведения были недоступны. Но, к счастью, меня приглашали моя сестра и Юрий Павлович, с которыми я вместе путешествовал. Говорю «вместе», но, под разными предложениями, я со свойственным мне тактом деликатно отставал на один день, чтобы не смущать их великолепие своим вторым классом. Они в Париже, разумеется, жили в «Гранд-отеле», а я в маленькой гостинице на *rue des Saints-Pères*. Однако к обеду и к завтраку бывал их высокопревосходительствами приглашаем неоднократно, вследствие чего с оными заведениями имею знакомство основательное... Чтоб не забыть: сестра очень просила еще раз тебе кланяться.

— Я ее сегодня увижу. Должен быть там вечером, в семь часов.

— У Юрия Павловича?

— Не у Юрия Павловича, конечно, а у Софьи Яковлевны.

— Хочешь на прощание вручить ей билет на какой-нибудь благотворительный концерт? Она, конечно, возьмет, если ты завезешь.

— Нет, у меня к ней серьезное дело. — Черняков смотрел на него с любопытством. — Впрочем, это не секрет, по крайней мере, от тебя. Я из-за этого дела и остался на лишний день в Петербурге. Ты знаешь Перовскую?

— Какую Перовскую?

— Соня Перовская, молоденькая, очень милая девушка. Ее недавно арестовали и посадили не то в Петропавловку, не то в Третье отделение, толком никто не знает. К ней никого не пускают, но...

— Постой. За что арестовали и посадили?

— Разве у них разберешь? Вероятно, ни за что. Или за пропаганду, то есть опять-таки ни за что. — Черняков пожал плечами. — И меня просили похлопотать у твоей сестры. У нее, говорят, большие связи.

— Связи у нее действительно громадные, особенно с той поры, как ее посетил государь, — сказал Михаил Яковлевич равнодушным тоном. Мамонтов знал, что его товарищ очень дорожит и гордится свойством с фон Дюмлером. «Это, разумеется, самая выгодная позиция: оппозиционные, передовые взгляды при влиятельной консервативной родне», — раздраженно подумал Николай Сергеевич. — Связи у сестры громадные. Но сделает ли она, я не знаю. Юрий Павлович не очень это любит.

— Ах, Юрий Павлович не очень это любит?.. Странная женщина твоя сестра! — сказал Мамонтов. — Она построила свою жизнь, вроде как Бисмарк построил германскую империю: шаг за шагом, от войны к войне, от победы к победе. Первая победа: брак с твоим очаровательным Дюмлером. Победа вторая: первое письмо от Тургенева. Победа третья: знакомство с первым великим князем. И, наконец, победа четвертая, полный триумф: государь побывал у нее в доме! Теперь ей больше не к чему стремиться, как Бисмарку больше нечего делать после создания германской империи... Не перебивай и не сердись, ты отлично знаешь, что я большой ее поклонник. Всегда держал алебарду! Скажу больше, я, пожалуй, не встречал женщины с более ярким сочетанием даров судьбы. Она умница, красавица, добрая, внимательная. Просто даже непонятно, зачем одной женщине дано так много. И как глупо, что при такой натуре она думает о вздоре и только о вздоре!

— Это совершенно неверно... Сестра, напротив, чрезвычайно тебя любит. Не знаю, за что и почему, так как ты болван... И вообще мы говорим не о моей сестре, а о тебе. Сестра меня спрашивала, зачем ты едешь в Швейцарию. Я ответил, что этого не знаю не только я, но не знаешь и ты сам... Ну, если ты имеешь смелость утверждать, что ты не болван, то объясни мне, зачем ты едешь в Локарно. На какого черта тебе нужен Бакуния? — спросил Черняков, сильно понизив голос.

¹ В будущем (латин.).

— Что ж это не несут котлеты? Прислуга тут теперь перегружена...

— Я говорю не о котлетах, а о Бакунии и я утверждаю, что тебе совершенно не нужен Бакунин,

— Ах, да, нужна национально-прогрессивная партия, которую ты хочешь создать.

— Не я хочу создать, а русское общество этого хочет. Эта партия в отличие от всяких Бакуниных явление органическое. И, будь уверен, в ней будут работать все порядочные люди. Здесь непочатое поле работы. И рано или поздно государь к ней обратится.

— К тебе, значит?

— Разумеется, не ко мне, а к партии. И, поверь, это не только мое мнение. Могу тебя уверить, наши ретрограды очень боятся, что государь станет на этот путь. Я это знаю из самого достоверного источника... От Юрия Павловича,— добавил он весьма значительным тоном.— Что ты на это скажешь?

— Ничего не скажу. Это мне просто неинтересно. Вы хотите создать при государе какой-то совещательный или полусовещательный орган. Ты что-то такое нашел в истории, земский собор или боярскую думу...

— Я нашел!.. Земский собор или... Какое невежество!

— Да все равно! Я знаю, что не ты это нашел и что земский собор и боярская дума не одно и то же, но мы спорим не о словах. По существу, вы все хотите, чтобы при царе были какие-то представители, от дворянства ли или от купечества или от духовенства. Само собой, чтобы лидерами — вы ведь так выражаетесь: лидеры — были вы, профессора. А нас все это вообще не интересует. Мы принципиально никак не можем считать нормальным положением, чтобы какой-то генерал *bon vivant*, может быть, даже хороший человек, правил восьмидесятимиллионным народом.

— Извини меня, это не разговор,— сказал Черняков, морщась и оглядываясь по сторонам.— «Какой-то генерал!» Это дешевая демагогия. За «каким-то генералом» ты-сячелетняя историческая традиция. Кому же править Россией? Твоему Стеньке, что ли? Или Бакунину с Нечаевым? В твоих словах я вижу полное неуважение к истории, столь характерное для всех наших радикалов. Вся задача в том, чтобы громадную историческую силу царской власти направить на верный прогрессивный путь. И нашей будущей партии в первую очередь нужно теоретическое и историческое обоснование. Не скрою, что этому я и собираюсь посвятить свои силы. Внимательно ли ты прочел мою работу о вечевых собраниях и земских соборах? Я тебе ее послал.

— Да, я прочел,— солгал Николай Сергеевич.

— Кстати, по поводу этой моей работы. Ты, кажется, хорошо знаком с Клем-бинским?

— Не так уж хорошо, но знаком.

— Не могу понять, в чем дело. Я ему давно послал и эту свою работу, и заметку о некоторых своих планах для помещения в его хронике «Книги и писатели», но прошло больше месяца и ни слова не появилось. Ты не мог ли бы ему напомнить?

— Когда же? Ведь я завтра уезжаю.

— Конечно, тебе будет трудно лично ему передать, но ты можешь ему написать. Чтобы не утруждать ни тебя, ни его, я сам набросал два слова. Вот. Может, у него затерялось.— Он вынул из кармана листок.— Я только попрошу тебя переслать ему с маленьким препроводительным письмом. Можно?

— Постараюсь.

— Извини меня, «постараюсь» — это не разговор. Если тебе трудно, я могу это устроить через кого-либо другого.

— Хорошо, я пошлю.

— Спасибо. Вот, возьми. Теперь вернемся к делу. Итак, зачем ты едешь к Бакунину и к Марксу?

— Я не еду к Бакунину и к Марксу. Я еду за границу, где надеюсь повидать Бакунина и Маркса,— раздраженно сказал Мамонтов.— Не в обиду будь сказано тебе и Юрию Павловичу, то, что делается в России, меня не удовлетворяет. Готов, конечно, сделать исключение для твоей работы о вечевых собраниях и земских соборах...

— Почему ты сердишься?

— И мне хочется узнать, о чем думают умные люди за границей.

— Однако ты умных людей хочешь искать только в революционном лагере.

— Кто же есть еще? Не прикажешь ли обратиться к Бисмарку? Я, пожалуй, и не прочь, да он меня мудрости учить не станет. И потом мудрость Бисмарков!.. Нет,

брат, нас Эльзас-Лотарингиями не прельстишь.— Он налил себе и выпил залпом третью рюмку водки.— Монтень говорил: «Tous les maux de ce monde viennent de l'ânerie»¹. Все эти Эльзас-Лотарингии от «ânerie» и происходят, что бы там ни говорили о гении Бисмарка и ему подобных! Нет, у них уму-разуму не научишься! А у революционеров — может быть... Видишь ли, я твердо решил вложить в свою жизнь хоть какой-нибудь разумный, не говорю, вечный, но долговременный смысл. Да вот, недавно умер мой отец. Ты его знал. Он был недурной человек, не злой и умный, хоть без образования. Но умер — и никто слезы не проронил. Больше того — зачем слезы? Я и сам не очень их ронял, хоть многим ему обязан, — его навсегда все забыли ровно через десять минут после того, как опустили гроб в могилу. И я не хотел бы прожить жизнь так, как ее прожил отец. Если у человека нет ни гения, ни хотя бы большого таланта для личного творчества, то...

— Постой. А у тебя есть?

— Ты отлично знаешь, что нет! То остается вложить свои небольшие силы в какое-нибудь большое общее дело. Я такого дела и ищу. И тут я его пока не нашел. Когда создастся твоя прогрессивная партия и когда государь к тебе обратится, тогда поговорим. До того я здесь ничего не вижу. Вижу только, что народ голодает и погряз в невежестве, вижу, что ни за что ни про что в ссылке Чернышевский. Я не большой поклонник его мыслей, но ссылать его было верхом безобразия! Так именно создают в стране революционное движение.

— Так ты хочешь примкнуть к революционному движению? — с недоумением спросил Черняков, опять понижая голос.

— Если б хотел, то не говорил бы об этом... в ресторане гостиницы.— Он хотел было сказать: «То не говорил бы об этом тебе».— Нет, и к этому у меня не лежит душа. Помнишь: «Du weisst, o Gott, dass ich kein Talent — zum Martirtume habe...»². У меня тоже нет таланта к мученичеству. Впрочем, не знаю. Ничего не знаю. Я еду осмотреться.

— И отлично. Осмотрись, приезжай назад и прими участие в работе прогрессивных мыслящих людей. И не иронизируй, другого пути нет, все остальное бред и утопия... Какой у нас царь ни есть, он умнее и образованнее, скажем, королевы Виктории. Между тем Англия процветает.

— В Англии, насколько мне известно, Виктория никакой власти не имеет. А у нас... Да брось ты восхвалять царя! Он все-таки деспот, и в нем все-таки порода отца, а может быть, и порода деда. Вспомни, с какой жестокостью было подавлено польское восстание.

— Я так и знал! Восстание индусов было подавлено с меньшей жестокостью? Но англичанам можно, а? Пойми, я не одобряю жестокостей, едва ли мне это нужно объяснять тебе, — прибавил он, взглянув на хмурое лицо Мамонтова.— Думаю также, что с поляками можно было и должно было договориться. Но нельзя все валить на нас одних. Дай срок...

— Даю, даю. Бери срок и жди, пока за тобой пришлют из Зимнего дворца. А я как-нибудь пойду своей дорогой. Вот я только что сказал тебе, что силы у меня небольшие. В конце концов, и это неизвестно.

— Я знаю, что ты горд, как Люцифер.

— Какой там черт Люцифер!.. Говорят, у меня талант художника. Я в этом далеко не уверен. Вот главная цель моей поездки за границу. Кроме того, мне просто хочется повидать Европу, пока есть здоровье и деньги. В Локарно к Бакунину я заеду разве на один или два дня, а жить буду в Париже. Если там знатоки признают, что у меня большой талант, я уйду в живопись. При малом таланте не стоит и незачем.

— А если большого таланта не окажется?

— Не знаю, что тогда буду делать... Планы у меня разные. Была и такая мысль... Я хорошо знаю иностранные языки. Отец ничего не жалел для моего образования. Не стать ли мне журналистом? Теперь в мире появились международные журналы. Вот, наконец, наши котлеты... Почему ты смеешься, как идиот?

— Так... Одним словом, у Леонардо да Винчи сто тысяч проектов. Что ж, желаю тебе успеха во всех, кроме одного — революционного.

— Этот, быть может, самый лучший. Я тебе тоже желаю больших успехов. Же-

¹ «Все беды этого мира происходят от глупости» (франц.).

² «О Боже, ты же знаешь, что у меня нет таланта — для мученичества» (нем.).

нись на миловидной национал-прогрессивной девице с хорошим приданым, купи себе дом неподалеку от Юрия Павловича и устрой назло его ретрограднему салону другой салон, с хорошим либерально-консервативным направлением и с явно выраженным национальным духом. На больших обедах у тебя будут подаваться национально-прогрессивные суточные щи с няней и тосты будут произносить известнейшие профессоры и писатели. Может быть, самого полоумного Достоевского заполучишь? И непременно чтоб было несколько национал-прогрессивных князей и графов.

— Международный журналист, ты глупеешь не по дням, а по часам. Особенно когда без причины сердиться и стараешься это скрыть,— благодушно сказал Черняков, кладя на тарелку телячью котлету.

После шампанского стало веселее, но не очень весело. Они отказались от второй бутылки. К концу завтрака все уже было сказано и об Александре II, и о Бакунине, и о Марксе, и о положении России, и о положении Европы, и о швейцарских гостиницах, и о парижских ресторанах.

— Почему твоя сестра назначила мне свидание в семь часов? Самое необычное время,— сказал Мамонтов.

— Разве ты не читал в газетах? Сегодня в пятом часу обед у государя. Они вернутся, верно, только на полчаса — вечером в Зимнем дворце бал.

— Очевидно, Софья Яковлевна теперь не может прожить без государя более получаса?

— Нельзя, брат. По их положению они должны быть и на обеде и на бале... А ты что делаешь вечером?

— Я? Я не у государя.

— Ты, конечно, в цирке? У твоей Катилины или как ее? Шутовское имя.

— Почему «конечно» и почему она «моя»? Что за вздор!

— Ну, хорошо, не буду... Значит, ты едешь завтра? Если только будет какая-нибудь возможность, я приеду на вокзал.

— Ну, вот! Зачем тебе беспокоиться, ты человек занятой. Меня никто никогда не провожает.

— Нет, нет, я приеду, если только будет малейшая возможность,— с силой повторил Михаил Яковлевич так, точно у него в этот день были дела большой важности.

Мамонтов смотрел на него и думал, что это очень милый, благожелательный, услужливый человек, начиненный честолюбием до пределов возможного, не очень интересующийся женщинами, деньгами, наукой, интересующийся только своей карьерой. «Вероятно, его идеал: чтобы каждый день в каждой русской газете были слова «профессор М. Я. Черняков». А позднее, когда их «прогрессивная партия» создаст парламент, чтобы всюду было: «как нам сказал член Палаты М. Я. Черняков», «интервью с проф. М. Я. Черняковым», «по мнению лидера прогрессивной партии М. Я. Чернякова»... И вместе с тем он человек неглупый и хороший, я не могу это отрицать...»

— А то, может, разопьем еще бутылку? — спросил он. Михаил Яковлевич взглянул на часы и не успел ответить. За соседним столом произошло смятение. Немцы повскакали с мест и бросились к окнам. Послышались голоса: «Der Kaiser!..», «Alexander der Zweite!..»¹. Черняков и Мамонтов тоже поднялись. По площади проезжали верхом два человека. Один из них был царь. Слева ехал человек гораздо более молодой, в иностранном мундире. «Эдуард! Принц Уэльский! — восторженно прошептал немец. — Принц Уэльский!» Сзади на довольно большом расстоянии ехали два казака. Александр II, чуть наклонившись в седле, что-то с улыбкой рассказывал своему спутнику. «Наверное, они разговаривают о женщинах,— почему-то подумал Мамонтов,— тот, говорят, еще перещеголяет нашего, хотя его перещеголять невозможно...» Об успехах молодого принца Уэльского у дам уже ходили по Европе всевозможные рассказы. «И как смотрит на царя, с каким восторгом. Учится, должно быть. Вот только ему наружностью до нашего далеко. Правду говорят, что наш, как был и его отец, самый красивый человек в России», — с завистью думал Николай Сергеевич, глядяваясь в лицо Александра II. Немец объяснял, что этих лошадей подарил царю турецкий султан. «Кровные арабские жеребцы, таких нет нигде в мире!»

¹ «Царь!..», «Александр Второй!..» (нем.).

III

В Петербурге говорили, что дед госпожи фон Дюммлер, будто бы перс или турок, был не то лакеем Екатерины II, не то камердинером Павла I. По другим сведениям, отец Софьи Яковлены был армянским стряпчим в Баку. Говорили и то, что она внучка выкреста из евреев. По богатству ее муж не мог соперничать со старыми и новыми миллионерами. Тем не менее их дом считался одним из первых в столице. Почти все признавали, что этим Дюммлер обязан своей жене: «Не она сделала блестящую партию, а он». Знаменитый художник написал портрет Софьи Яковлены и, назначая за него скромную плату, пояснил, что работа была для него «большой честью и еще большей радостью». Тургенев писал ей длинные письма с черновиками и копией. Шепотом из года в год передавали, что не сегодня, так завтра она будет выведена в очередном великосветском романе Болеслава Маркевича или князя Мещерского и выйдет скандал на всю Россию. Но этой зимой слух оборвался — в декабре в доме Дюммлеров побывал царь, не баловавший посещениями Рюриковичей и даже великих князей. И стало ясно, что дом не будет изображен ни князем Мещерским, ни Болеславом Маркевичем.

В этот вечер особняк на набережной был ярко освещен огромными огненными вензелями императора и императрицы. У подъезда стояли парные извозчичьи сани. «Если у нее гости, то как же говорить о таком деле?» — подумал Николай Сергеевич с досадой, поднимаясь по освещенной карселевыми лампами, выстланной мягким ковром лестнице. Он был в дурном настроении духа. «Верно, будут разные господа в сюртуках и мундирах, с аксельбантами и звездами, изо всех сил старающиеся походить на царя и до смешного на него непохожие».

Расставшись с Черняковым, Мамонтов от скуки поехал в клуб и часа четыре играл в карты. Этот клуб помещался недалеко от Литовского замка, что имело свои основания. В Литовском замке, по слухам, жил палач, тот самый, который повесил Каракозова. Согласно вековому международному поверью игроков, близость палача приносит счастье. Хотя вольнодумцы указывали, что это счастье, очевидно, должно распределяться между всеми игроками поровну, в клубе чуть ли не день и ночь напролет шла игра. Николай Сергеевич недурно играл в коммерческие игры, не зарывался в азартных, но ему в последнее время не шла карта. Так и на этот раз он заплатил к вечеру сто семьдесят рублей, выслушав игровые соображения партнеров о счастье в любви и более деловитые о «полосе невезения». Существование «полосы невезения» ни у кого из игроков сомнения не вызывало; о ней говорили, как о бесспорном явлении природы, некоторые игроки даже знали, сколько полоса длится и как можно ее сократить.

Мамонтов не обедал в клубе, заказал только чай, рассчитывая на ужин с Катей. Он ругал себя за поездку в клуб, за проигрыш и за то, что ему жалко проигранных денег. «Уж не скупость ли? Тут и наследственности быть не может: отец был щедр и сыпал пожертвованиями, особенно до получения Владимира. Я не скуп, но и не расточителен...» Расплачиваясь с лакеем, он нашел в кармане листок бумаги, развернул и прочел написанную необыкновенно четким почерком записку: «Приват-доцент Санкт-Петербургского университета М. Я. Черняков закончил большой труд: «Этапы и вехи истории идеи самоуправления. Вечевые собрания и земские соборы на Руси». Исследование русского ученого вызвало оживленный интерес в западноевропейской научно-политической литературе. Возможно, что оно будет переведено, целиком или в извлечениях, на немецкий язык. В настоящее время М. Я. Черняков готовит новый курс государственного права и ряд специальных работ». «Как все-таки ему не совестно? — подумал Мамонтов. — А может быть, у них так принято? Иначе Клембинский и не мог бы вести хронику «Книги и писатели». Николай Сергеевич хотел было выбросить записку, но, вспомнив о данном слове, вздохнул, тут же написал препроводительное письмо и покинул клуб. «Лихача прикажете?» — почтительно спросил внизу швейцар. На это нельзя было ответить иначе, как «да, позовите лихача». «Чем не времяпрепровождение для купчика?» Чтобы наказать себя за инстинкт бережливости, он купил для Кати самую дорогую бонбоньерку в самой дорогой кондитерской. «У Дюммлеров оставлю у швейцара, который больше похож на аристократа, чем его барин... Впрочем, их к аристократии, кажется, никто и не причисляет», — подумал Николай Сергеевич, очень недолюбливавший аристократов. Он с некоторым удовлетворением вспомнил разговор, слышанный им в итальянской опере: рядом с ним какой-

то фронт, восхищаясь красотой сидевшей в ложе госпожи фон Дюммлер, сказал, что по рождению она «*deux fois rien*», «*Trois fois rien*»¹, — поправил другой фронт.

Хозяйка дома прощалась с невысокой дамой и, держа в обеих руках ее руку, что-то говорила ей по-французски. На лице Софьи Яковлевны сияла улыбка. «Кажется, и место у нее рассчитано: вот тут, под лампой. При этом освещении она действительно красавица», — подумал Николай Сергеевич. — Недурно было бы написать ее портрет...» Увидев его, она ласково улыбнулась. Невысокая дама повернула голову в меховом капоте. Мамонтов вспыхнул.

— Разрешите представить вам моего друга, — сказала, улыбаясь, Софья Яковлевна, видимо, довольная эффектом. — Мосье Мамонтов, один из лучших художников России. Маркиза де Ко... Впрочем, вас не называют, — весело сказала она даме. — Это, должно быть, странное ощущение: знать, что твое лицо известно каждому человеку на земле. Как вы думаете? — обратилась она к Николаю Сергеевичу. Действительно, называть даму не требовалось. Он впервые слышал имя маркизы де Ко, но эти темные глаза с густыми бровями, это бледное «неземное» и вместе детское лицо были известны всему миру — перед ним была Аделина Патти.

На площадку лестницы выбежал мальчик лет одиннадцати в матросском костюме. Софья Яковлевна его подозвала.

— Это мой сын Коля, — сказала она. — У меня к вам просьба: поцелуйте его. Пусть он всю жизнь говорит, что его целовала Патти!

Гостья засмелась и поцеловала упиравшегося мальчика. Как она ни привыкла к таким и сходным просьбам — как раз в этот день императрица в точно тех же выражениях просила ее поцеловать другого Колю, старшего внука государя, — они, видимо, доставляли ей удовольствие. Николай Сергеевич молча вглядывался в ее лицо, чтобы навсегда запомнить. «Да, глаза удивительные...» «*Les noires étincelles*», «*La Juppon bébé*»², — вспомнил он то, что постоянно говорили о глазах и лице Патти. — А смеется Катя лучше...» Гостья, видимо, не знала, что сказать. Софья Яковлевна тотчас пришла ей на помощь.

— Его зовут Коля, это уменьшительное от «Николай»... Мой ангел, — обратилась она по-русски к сыну, — отведи твоего тезку в серую гостиную. Ты знаешь, что такое тезка? Ну вот, будь хозяином дома, а я сейчас к вам приду, — смеясь, сказала она. Мальчик проводил Мамонтова и скрылся.

В гостиной было все то, что считалось обязательным: мебель Булла или подделка под нее, камин серого мрамора, бесчисленные ящички из китайского лака и слоновьи кости, картины Виллевалде и Айвазовского. Только не было фамильных портретов, «*et pour cause*»³, подумал Мамонтов. Впрочем, на одной из стен висел фамильный генерал в александровском мундире, дядя или дед фон Дюммлера, но вид у этого портрета был довольно смиренный, точно он говорил: «А все-таки и я предок...»

— Очень рада, что познакомила вас с Патти, — сказала, входя, Софья Яковлевна. — И не удивляйтесь рекламе, которую я вам сделала...

— Да уж, можно сказать!

— Мой милый, это необходимо. Когда вы отошли, я еще ей о вас наговорила. Вы уезжаете, но вы можете встретиться с ней за границей. Если бы Патти заказала вам свой портрет, вы на следующий день стали бы знаменитостью... Я не предлагаю вам чаю — поздно. Хотите портвейна? Нет? Нет так нет. Как же она вам понравилась? Она очень спешила — ей еще нынче петь в опере... Ах, как она сегодня пела!

— Сегодня? Где же это?

— Во дворце, разумеется... Вы, может быть, не слышали? — смеясь, спросила Софья Яковлевна. — Сегодня великая княжна вышла замуж за герцога Эдинбургского.

— *Un mariage très discret*⁴, — сказал Мамонтов, — целый день гремели колокола и палили пушки. Утром мне спать не дали.

— Бедный!.. Так вот по этому случаю государь дал обед. И за обедом пели Патти, Альбани и Николини. Но тех просто никто не слушал. На Альбани мне было жаль смотреть. Патти затмила всех и все. Она спела что-то из Россини с верхним «ге», потом в честь новобрачных английскую песенку «*Home, sweet home*»⁵... Я не могла себе представить подобную овацию в Зимнем дворце! Люди забыли о присутствии государя

¹ «Дважды ничто». «Трижды ничто» (франц.).

² «Черные искры», «Юнона в детстве» (франц.).

³ «И по известной причине» (франц.).

⁴ — Свадьба в высшей степени скромная (франц.).

⁵ «Дом, милый дом» (англ.).

и государыни! Впрочем, государь сам аплодировал, как студент на галерке Большого театра. Он осыпал ее подарками: подарил ей веер, кольцо, браслет, не знаю, что еще. Вообще она вывезет из России целое состояние.

— Ей, я думаю, не нужно.

— Боюсь, что нужно. Вы знаете, ее муж — она с ним не живет — наложил арест на ее имущество. По законам передовой Французской республики это можно. Там женщины совершенно бесправны, не то что в отсталой России. *C'est un pauvre sire, Monsieur le marquis de Caux*¹. Она поэтому больше не поет во Франции, так как ее гонорары пошли бы ему. Зачем великие артистки выходят замуж? Все они неизменно несчастны в браке и скоро расходятся с мужьями: Тальони, Малибран, Бозию, Гризи, Патти... Да, она несчастное существо. И какая это мука — выступать каждый день! Я после обеда во дворце захватила ее сюда, чтобы напоить ее чаем, — сказала Софья Яковлевна таким тоном, точно без нее Патти оказалась бы на улице голодной. — Так вы не уехали? Когда вы уезжаете?

— Завтра.

— Ах, какое было великолепие! — продолжала она, не слушая его ответа и, видимо, еще не в силах справиться с впечатлениями дня. — Мы были во дворце чуть не с утра. Сначала венчание по православному обряду, потом по английскому обряду. Потом обед в самое необычное время: в четыре тридцать. А вечером надо опять туда ехать на бал. Лорд Лофтус, английский посол, сказал мне, что по великолепию ничего не видел похожего на наш двор. Особенно эти *bals des palmiers*².

— Это еще что такое?

— Не «еще что такое», а это сказка из «Тысячи и одной ночи». Из царских оранжерей привозят пальмы, изумительные пальмы, каких нет, кажется, в Африке. Николаевский зал превращается в Альгамбру. На крыше аршин снега, а под ней тропический сад. Между пальмами столы, каждый человек на десять. Перед обедом государь подходит к каждому столу, говорит несколько слов и прикасается к чему-нибудь. У нас он съел ягоду винограда и оставался больше минуты. Обычно остается еще меньше, чтобы не заставлять гостей стоять... Ну, я вас слушаю, рассказывайте, в чем дело.

Мамонтов изложил свою просьбу. Она теперь слушала внимательно.

— Какая это Перовская? Есть графы Перовские. Неужели из семьи министра?

— Кажется. Но они не графы. Это бедная ветвь семьи.

— Ведь Перовские были незаконные дети Разумовского? Значит, они в родстве с царской фамилией?

— Не знаю. Они, кажется, не от Алексея Разумовского, а от Кирилла. Но, повторяю, никаких связей у них нет. Если вы можете что-либо сделать, ради Бога, сделайте. Софья Яковлевна задумалась.

— Конечно, я могу это сделать, — сказала она. — Ее грехи, по-видимому, пустяковые? Я могу попросить государя и не думаю, чтобы он мне отказал. Но... Ручаетесь ли вы, что если эту вашу Сонечку выпустят, то она не пойдет дальше? Вы сами понимаете, в каком положении я тогда окажусь!

— Поручиться я не могу, — сказал, немного подумав, Николай Сергеевич. Он вспомнил Перовскую, ее круглое личико, крутой лоб под светлыми волосами, ласковые голубые глаза, вдруг становившиеся очень нехорошими, когда кто-нибудь из товарищей оказывался «бабником», внезапное раздражение, пробежавшее по ее лицу, если в ее чистенькую комнату входили в мокрых, грязных калошах. Хотя она была общей любимицей, ее за ворчливость дружески прозвали Захаром, по имени какого-то дворянина или городского. — Нет, я не могу поручиться, — твердо повторил он. Софья Яковлевна вздохнула.

— Тогда я не могу просить, — так же твердо сказала она. — Посудите сами. Что если она полезет к Каракозовым! Только этого мне не хватало бы! Да, правду сказать, и вам! Не могу. Пусть лучше они действуют через родных, можно возобновить родственные связи. Борис Александрович Перовский — очень влиятельный человек. За родственницу хлопотать естественно... Вы сердитесь?

— Не сержусь, конечно, но огорчен. Пока, во всяком случае, ее дело совершенно несерьезно.

— Тогда, быть может, ее скоро выпустят... Объясните мне, что такое происходит с нашей молодежью. Какое дело этой Перовской до политики? Она хорошенькая?

¹ — Это бедный господин, маркиз де Ко (франц.).

² Балы с пальмами (франц.).

— Нет. Довольно миловидное лицо, но не красивое.

— В этом, верно, и причина.— Она смягчила улыбкой это свое замечание.— Сколько ей лет?

— Не знаю. Лет девятнадцать, должно быть.

— Бог знает что такое! — сказала с негодованием Софья Яковлевна.— Дети занимаются государственными делами! — «Чем же надо заниматься? Как ты, придворными сплетнями?» — подумал Мамонтов.— Но об этом я не хочу говорить. Тем более что вы начинаете на меня сердиться, между тем я вас очень люблю, и не только потому, что вы друг моего брата. Скажу одно: ведь ни вы, ни ваша Перовская, вероятно, не предполагаете, что в России будет республика, как во Франции? Очень, кстати сказать, она хороша, эта Французская республика!.. Ну, а если так, то лучше государя, чем Александр Николаевич, у нас никогда не было и не будет. Вы со мной не согласны?

— Извините меня, это дамский подход к политическим вопросам,— сердито сказал Николай Сергеевич, спрашивая себя, брат ли влияет на сестру или сестра на брата. «Конечно, она на него...»

— Не думаю. А если и дамский, то я не виновата. Вы не знаете государя, а я его знаю. И я в жизни не встречала более очаровательного человека. Начать с того, что он такой красавец! По-моему, он еще красивее отца. Я ребенком видела Николая Павловича. У него было страшное лицо, и он, видимо, это в себе культивировал. Тут ничего хорошего нет. Конечно, люди приходят в ужас, если на них смотрит зверем человек, который может их казнить. Александр II величествен, добр и прост. Все слы слы говорят, что не видели такого величественного монарха. Еще сегодня Лофтус сказал мне: «Every inch a king...»¹ Это, кажется, из Шекспира, правда? И как он добр! Как умен!

— Вы говорите, как влюбленная.

— Да я и в самом деле влюблена в государя. Вы читали «Войну и мир» графа Льва Толстого? Хороший роман, хотя и очень растянутый. У него там офицер Ростов влюбляется в Александра I. Так и я влюблена в Александра II.

— Полагаю, что это не совсем то же самое... Я слышал, кстати, что император недавно удостоил вас посещением? Как же это было?

— И вы? — спросила она и опять вздохнула.— Все меня спрашивают: как же это было? Подразумевается: как ты, интриганка, этого добилась? Не протестуйте, это так. А я вам говорю, что нисколько этого не добивалась. Просто государь к нам заехал, не могла же я его выгнать, правда? И даже не заехал, а зашел пешком. Нашего швейцара Василия чуть не разбил удар. Да и меня тоже... Вы совсем не любите государя?

Он засмеялся.

— В день освобождения крестьян — мне тогда было пятнадцать лет — я хотел отдать за него жизнь... Быть может, потому, что мой дед был крепостной,— добавил Николай Сергеевич. Она с любопытством на него смотрела.

— Я сама не аристократка,— сказала она.

— В их положении чрезвычайно легко очаровывать людей. Если они не рычат, как звери, это уже очаровательно. А если у них вдобавок человеческое лицо и человеческая улыбка, то люди, особенно женщины, сходят по ним с ума.

— Не думаю, чтобы вы были правы... Что же касается влюбленности в настоящем смысле слова, то для государя сейчас другие женщины не существуют: он влюблен как мальчик в свою Катю Долгорукую,— пояснила Софья Яковлевна. Лицо ее зашевелилось. Она не сказала и не могла сказать Мамонтову, что государь, зайдя к ней и впервые в жизни оставшись с ней наедине, неожиданно попросил ее пригласить к себе княжну Долгорукую, которую многие в обществе бойкотировали. Эта просьба вызвала у нее, потом у ее мужа растерянность и восторг. Приглашение княжне было послано на следующее утро только потому, что нельзя было послать ночью.— Скажу вам одно: все, что в России есть хорошего, держится на одном государе. Если, не дай Бог, его не станет, вы будете иметь дело с... Аничковым дворцом (она не сказала: с наследником). Посмотрим, что тогда запоет ваша Перовская... Хотите маленький пример? В России, вы знаете, не любят евреев. Так вот недавно в Петербурге побывал сэр Мозес Монтефиоре... Вы слышали о нем?

¹ «Каждым вершком государь...» (англ.).

— Понятия не имею. Что это за гусь?

— Не гусь, а очень почтенный человек. Ему девяносто с лишним лет. Он приехал из Англии просить государя о даровании евреям полного равноправия. Государь совершенно его очаровал, я слышала это и от самого Монтефиоре, и от Лофтуса. Государь проводил его до лестницы и чуть ли не поддерживал под руку. Этого он не делает даже для Вильгельма. Его тронуло, что такой глубокий старец совершил далекое путешествие в интересах своих единоверцев.

— И что же? Даровано ли евреям равноправие? — спросил насмешливо Николай Сергеевич.

— Будет понемногу дано. Государь уже сделал для них много. Это вы, молодежь, думаете, что все можно сделать в один день. Да еще при существовании Аничкова дворца и его людей... Да... А кроме всего прочего, зачем лезть на рожон? Этих Перовских горсть, и ничего они сделать не могут, и слава Богу! Только себя губят. И если многое у нас плохо, то революция сделает все в сто раз хуже. Вспомните ужасы Парижской коммуны.

— Ужасы ужасами, но, может быть, новая эпоха пойдет именно от этой Коммуны, которую вы так ненавидите.

Софья Яковлевна посмотрела на него, улыбнулась и перевела взгляд на часы. Мамонтов тотчас поднялся.

— Нет, еще есть время, — сказала она. — Вы говорите, новая эпоха. Я не знаю, от чего идет новая эпоха. По-моему, скорее всего, от той поры, как люди стали мыться как следует. От Людовика XVI и от Дантона, должно быть, одинаково дурно пахло... Вы хотите уходить? Во всяком случае, не сердитесь на меня из-за вашей Сонечки. Если б вы за нее поручились, я попросила бы государя.

— А кто ж тогда поручился бы за меня?

— За вас? — Она с недоумением на него взглянула. — Да, в самом деле, кто же поручился бы за вас? Впрочем, я почти уверена, что вы ни к какому революционному движению не примкнете, если такое движение действительно существует. Вы слишком страстно любите жизнь. Как и я... У нас вообще немало общего, — неожиданно прибавила она. — Я была бы очень огорчена, если б ошиблась. Потому что я искренно вас люблю. Мне нравится, например, что вы «внук крепостного» и так прекрасно говорите по-французски, по-английски... Вы надолго уезжаете за границу?

— Может быть, и надолго.

— Вдруг там встретимся. Юрий Павлович хочет посоветоваться с врачами. Кстати, вы его извините: он так устал от сегодняшних торжеств, что прилег на полчаса отдохнуть... Когда вернетесь, тотчас дайте о себе знать. Я вас сведу с Патти, вы можете в нее влюбиться. Право, это лучше, чем цирковая артистка. — Она засмеялась. — Извините меня, брат что-то сказал, проговорился, а я обожаю сплетни... Мне нравится в вас и то, что вы легко краснеете, да, да... Ну, счастливого пути, и, ради Бога, держитесь подальше от революционеров. Уж о вас-то я должна буду хлопотать... Что еще? — спросила она с досадой ливрейного лакея, принесшего на подносе картонку. — Вот его только не хватало! Просите. И скажите Юрию Павловичу, что я прошу его выйти. Вы не очень спешите? — обратилась она к Мамонтову. — Останьтесь еще на несколько минут. Вам надо видеть людей и заводить полезные знакомства, иначе вы ничего в жизни не добьетесь... Да, да, я знаю, вы ничего и не добиваетесь, я знаю... Это восточный принц. Он шут гороховый, но у него несметное богатство и огромные связи... Вот он... Только не смейтесь.

Она встала. В комнату вошел невысокий толстый человек в фантастическом костюме, залитом драгоценными камнями. Он остановился на пороге и прикрыл глаза рукой, точно ослепленный сильным светом.

— Your beauty is more precious to my eyes than a casquet of rubies. Your voice is more delightful to my ears than the song of ten thousand nightingales¹, — сказал он нараспев, с восхищением поднял к потолку обе руки и тотчас их опустил.

— Честь, выпавшая на долю моего дома, поражает меня, — ответила Софья Яковлевна. — Могу ли я представить вашей светлости моего лучшего друга, москее де Мамонтова? Это один из величайших художников мира. Он уезжает за границу по приглашению австрийского императора и горит желанием побывать в великолепных дворцах вашей светлости.

¹ — Ваша красота драгоценнее в моих глазах, чем шкатулка рубинов. Ваш голос пленительнее моему слуху, чем несня десяти тысяч соловьев (англ.).

Принц неторопливо повернулся к Николаю Сергеевичу и благосклонно кивнул ему головой.

— Please leave your glorious palace of crystal and pass one unworthy evening in the pestilential shanty I inhabit¹, — сказал он. Мамонтов откланялся и вышел, стараясь удержаться от смеха.

IV

Он ездил в цирк чуть не каждый вечер, обычно только для одного номера программы, в котором выступала Каталина Диабелли. Это нелепое имя носила русская акробатка Екатерина Дяконова. Сходство между ее фамилией и псевдонимом было, впрочем, случайным. Она псевдонима и не выбирала, а по старой традиции цирковых артистов вошла в семью акробатов-клоунов, которая, тоже по обычаю, приняла итальянскую фамилию. На самом деле в семье ни одного итальянца не было. Белый клоун был русский, а глава семьи, универсальный акробат Карло, — финн. Ни в каком родстве они между собой не состояли.

На арене под все растущий гогот публики с криками катался коверный клоун, рыжий. Мамонтов, только заглянув в зал, направился к уборным артистов. Его в цирке уже все знали, ценили за щедрость и всюду пропускали беспрепятственно. Служитель поспешно раздвинул перед ним красную занавесь. Запах конюшни и зверей, заполнявший весь цирк, еще усилился.

— Что сейчас? — спросил Мамонтов, протягивая служителю полтинник.

— Покорнейше благодарю, барин. Минут через пять «Венгерская почта». Пожалуйста; прямо и налево, — весело сказал служитель. и в его тоне, в том, что он знал, куда барин идет, Николаю Сергеевичу показалась игривость.

За кулисами проходили мрачные люди с густо выбеленными лицами, со страшными ярко-красными глазами, тяжело ступавшие, неестественно высокие, жирафообразные фигуры в скрывавших ходули длинных мантиях. Уборная семья Диабелли была довольно далеко, за пустой огромной клеткой, на которой была надпись: «Кровожадные и травоядные звери. Бенгальский королевский тигр. Просят не раздражать», — и за общей цирковой конюшней. Дальше, за невысоким барьером, служители держали под уздами шесть великолепных белых лошадей. На них были стеганные плоские замшевые седла и странно длинные, собранные у седла красные поводья. Карло, высокий, худой, стройный человек лет тридцати, в красной венгерке, в белых лосинах, поставив на табурет длинную ногу, натирал мелом носки и каблуки лакированных ботфортов. Увидев Мамонтова, он не обнаружил ни удивления, ни неудовольствия и даже не спросил: «Так вы не уехали?»

— Вы к Каталина? — почти без вопроса в интонации, неприятно-равнодушно сказал он, — Прошу оставаться у нее не более пяти минут. Она не должна волновать себя, — пояснил акробат. Он говорил по-русски довольно бегло, но с ошибками, с финским акцентом (и вместо «три» произносил «ри», что всегда приводило Катю в восторг).

— Я не пробуду и трех минут. А вы волнуетесь?

Карло пожал плечами. Мамонтов знал, что «Венгерская почта» совершенно не интересует акробата; он сам говорил, что, если бы напивался, то мог бы исполнить ее в пьяном виде. Теперь его интересовали только прыжки. В двойном сальто-мортале, считавшемся очень опасным номером, он достиг совершенства. Мечтой жизни Карло было тройное сальто-мортале, до сих пор удававшееся лишь нескольким акробатам на земле, остальные разбивались насмерть.

Николай Сергеевич неопределенно махнул рукой и пошел дальше. «Нет, кажется, он не ревнует. Да и нет причины...» Мамонтов до сих пор не знал, какие отношения существуют между Карло и Катей. Иногда ему казалось, что Карло ее любовник, иногда — что они просто друзья. Знающие люди говорили ему о чистоте цирковых нравов: артистам строго запрещалось даже ухаживать за артистками. Еще недавно рыжий должен был проделать пятьдесят флик-фляков и заплатить рубль штрафа за то, что сгоряча хлопнул пониже спины дрессировщицу, показывавшую свинью Амурчика. «Это вам не театр!» — говорили пренебрежительно цирковые артисты.

Белый клоун Альфредо Диабелли, он же Алексей Иванович Рыжков, уже проделал свой номер и теперь в отгороженном отделении уборной, стоя вверх ногами,

¹ — Пожалуйста, покиньте ваш прекрасный хрустальный дворец и потратьте один неудачный вечер, чтобы посетить мерзкую лачугу, где я обитаю (англ.).

заканчивал тренировку; у него было правилом — после выступления, даже очень утомительного, еще пять минут упражняться у себя до вечернего чая; он был немолод и боялся потерять мускульную гибкость. Пот градом катился с его еще замазанного белилами лица; он уже снял мушку с носа и нашлепку со лба. Под расстегнутой странной, шелковой с блестками блузой у него была теплая шерстяная фуфайка. Увидев сквозь расставленные руки Мамонтова, клоун в знак приветствия помахал ногой в огромной шутовской туфле, в белом чулке до колена, затем вскочил и сел на табурет, заложив правую ногу за шею. Хотя Николай Сергеевич уже знал штуки Альфредо, это зрелище всегда повергало его в изумление.

— Господи, зачем вы это делаете? Прямо смотреть больно!.. Что у вас сегодня было? Бутылки?

— Да, бутылочки. Публика любит,— скромно ответил клоун, как бы прося не винить его за вкусы публики. Номер этот заключался в том, что клоун, проявляя, как всегда, крайнюю неуклюжесть, на бегу с хриплым криком нечаянно наступал на первую из расставленных длинным рядом бутылок; бутылка падала, он перескакивал на другую бутылку, тоже падавшую, и так проходил весь ряд; затем с аханьем, с криками ужаса, с беспомощными жестами, ни разу не коснувшись земли ногами, шел по бутылкам назад, поднимая перед собой неуклюжими движениями туфли и ставя на прежнее место одну за другой все упавшие бутылки. Только знатоки могли оценить, какой изумительной ловкости, какой точности в движениях, какого гимнастического совершенства требовал этот номер программы, шедший под бурный хохот зрителей. — Публика любит, — повторил он, опустил правую ногу, заложил за шею левую ногу и, наконец, сел по-человечески, тяжело дыша. — Другие после номера отдыхают, а я сначала еще работаю, это очень полезно.

Он взял с другого табурета полотенце и, глядя внутрь колпака, где у него было пришто крошечное зеркальце, стал стирать с лица пот и белила. Мамонтов положил на освободившийся табурет бонбоньерку и прикрыл ее своей высокой меховой шапкой. Ему всегда неловко было наедине с Рыжковым. Алексей Иванович был очень почтенный, степенный и неглупый человек. Он и говорил всегда рассудительно, серьезно, порою даже интересно. Неловкость происходила от контраста между этими его свойствами и его костюмом, его штучками, особенно его криками на сцене. В начале их знакомства Мамонтову после представления бывало совестно смотреть ему в глаза. Этой неловкости он не испытывал при разговорах с Карло или с Катей.

— А вы бы сели, Николай Сергеевич. Катя сейчас выйдет. Вот ей будет сюрприз, она, бедненькая, вчера плакала, когда вы ушли, а мы отправились к директору.

— Неужели? — быстро спросил Мамонтов. Дверь в перегородке распахнулась, из своей уборной вдруг вылетела Катя в одном трико телесного цвета и в сапожках. Она с визгом бросилась с разбега на шею Николаю Сергеевичу. Он крепко ее поцеловал, затем, вспыхнув, оглянулся на Алексея Ивановича. Клоун, впрочем, даже не повернул к ним головы; поцелуи у Кати не имели никакого значения, они просто были условной формой приветствия, вроде рукопожатия.

— У-у, какой холодный!.. Так вы не уехали?! Ах, как я рада!

— Я должен был задержаться на один день. Завтра уезжаю... Я хотел... Я думал, что вы, быть может, нынче свободны? — начал Николай Сергеевич, еще не совсем пришедший в себя. Рыжков отнял полотенце от лица.

— Катя, поди, надень мантию. Так не выходят к публике.

— Какой же он публика? Он публика! — Она вдруг залилась смехом. «Да, где Пятти так смеяться!» — с восторгом подумал Николай Сергеевич. — Вы публика? Или вы наш друг? Мой друг?

— Я ваш друг, большой друг! Больше, чем могу выразить, — неожиданно сказал Мамонтов гораздо более торжественными словами, чем следовало по разговору. — Впрочем, вы это знаете... Я только на одну минуту. Знаю, что вам сейчас не до меня, да и Карло не велел вас беспокоить. Вот что: хотите поужинать сегодня со мной после спектакля? Я и вас прошу, Алексей Иванович. И, разумеется, Карло («Почему «разумеется»?»).

— Господи, как я рада!... Так жаль, что вчера мы не могли, я плакала полчаса! Выходит, у нас все-таки будет отъездной ужин!.. Господи, как я рада!

«Значит, плакала она из-за ужина, а не из-за меня», — отметил Николай Сергеевич, только теперь ясно сознавший, что если он охотно остался в Петербурге на лишний день, то отчасти из-за надежды на «отъездной ужин». Накануне семья Диабелли

была, к крайнему его огорчению, неожиданно приглашена вечером на чай к директору.

— Тогда я зайду за вами тотчас после выстрела. Идет, Алексей Иванович?

Клоун положил полотенце, вздохнул и покачал отрицательно головой.

— Нельзя, Катенька.

— Почему нельзя? Это еще что? — Она ахнула.

— Что такое? Что случилось?

Рыжков, немного поколебавшись, объяснил, что на вечере у директора Катя сильно запачкала вареньем платье, его утром пришлось отдать в чистку.

— Так в чем же дело? — начал было удивленно Николай Сергеевич и осекся, вспомнив, что всегда видел Катю в одном и том же сером платье. «Это моя вина! — с досадой подумал он. — Не бонбоньерки ей надо было приносить. Экий я осел, не догадался...» — Так знаете что? Если у вас нет другого платья, то мы устроим ужин у вас в фургоне, а? Я съезжу и привезу все, что нужно. Мне и то ресторации смертельно надоели. Что вы об этом скажете?

— Разве что так? Это другое дело, — сказал клоун.

— Господи! Конечно, у нас! Какой вы умный! И Карло будет страшно рад... Впрочем, у него сегодня тренировочный вечер. Он каждый третий день после представления ходит пешком на острова! Гимнастическим шагом туда и назад, без шубы! Сумасшедший! Но он к часу ночи возвращается... Так вы все привезете, милый? Я вас так люблю! Страшно!.. Голубчик, привезите свежей икры! Немножко! Я ее обожаю!

— Катя! — строго сказал Рыжков. Николай Сергеевич засмеялся и обещал привезти и икры.

— А пока позвольте поднести вам это, — сказал он, вынимая из-под шапки бонбоньерку и заранее наслаждаясь эффектом. Эффект превзошел его надежды — от визга Кати минуты две нельзя было сказать ни слова.

— ...Потом, когда мы съедем все конфеты... Тут три фунта, да? Когда мы съедем все конфеты, я сделаю из этого шкатулочку... Зеркальце приклею, — говорила она, глотая одну конфету за другой; она их, по-видимому, и не разжевывала. — Алешенька, вы все умеете. вы мне устроите перегородочку — тут, где ананас. Это можно?

— Можно. Все можно. Только не жри столько конфет. Цирковой артистке нельзя, потому что... — начал Рыжков. Она тотчас его перебила:

— Вы сами же, Алешенька, говорите, что все можно! А я только сегодня! Ах, какая чудная бонбоньерка! — сказала она, видимо, наслаждаясь не только вещью, но и ее названием. — Просто прелесть! Я уверена, вы дали пятнадцать рублей, правда? Вы не скажете, потому что вы такой светский. Но я страшно вас люблю, вы милый, милый! — Она поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. От нее пахло шоколадом, одеколоном. — Все еще холодный!..

— А теперь, Николай Сергеевич, извините, вам надо уходить, — сказал Рыжков. Издали уже доносились трубные звуки.

— Ах, да. У Карло сегодня двойное сальто-мортале? — спросил Мамонтов. Ему уходить очень не хотелось. В этом трико вблизи он еще никогда ее не видел.

— Избави Бог! — испуганно сказала она. — Позавчера было последнее. Нет, сегодня только «Венгерская почта», потом мой выстрел, а потом пантомима «Сон фа-раона».

— Вы волнуетесь?

Она опять залилась смехом. «Это плохие писатели говорят «серебристый смех», а ведь действительно, точно серебро звенит...»

— Какой вы глупый!

— Катя! — еще строже сказал клоун.

— Он не обидится. Он знает, что он умен. Вы страшно умный. в сто раз умнее меня, но в цирке вы, милый, не смыслите ничего. Выстрел — это пустяки, никакой опасности, падаешь на сетку, как на постель. Это мы в России выдумали, говорят, за границей они еще выстрела не знают, такие дураки!.. А вот когда у Карло проклятое двойное, я дрожу как осиновый лист — нет ничего проще убиться. А тут он еще себе вбил в голову тройное сальто-мортале! Он сумасшедший, Карло!..

«Из-за чужого она, верно, не дрожала бы как осиновый лист... Если б Карло разбился, она, наверное, досталась бы мне», — неожиданно подумал Николай Сергеевич. «Отбивать» ее у другого было, по его понятиям, недостойно. — А может быть, я боюсь его? — с еще более неприятным чувством спросил он себя. — Нет,

не боюсь, хотя он страшный человек...» Мамонтов опять поцеловал руку Кате и простился.

— Значит, через полчаса после выстрела в фургоне, — сказал он. — Да, я найду, я помню, где ваш фургон.

Когда он занял свое место, Карло Диабелли уже стоял на арене с длинным бичем в руке. Музыканты на балконе играли старенький, милый общеизвестностью галоп. Первая лошадь из белой шестерки перескочила через низкий барьер и размеренным галопом пошла кругом вдоль барьера. Медленно поворачиваясь на каблуках, Карло следил за ней взглядом. Когда она поравнялась с ним, он без заметного публике разбега вскочил на седло и нашел равновесие, наклонив к центру арены свое сжатое, точно ставшее более коротким тело. Это была единственная трудная часть «Венгерской почты». Вторая лошадь тяжело поскакала по кругу, поравнялась с первой и пошла рядом с ней. Карло перенес одну ногу на ее седло. Третья лошадь прошла между двумя первыми, под его ногами; он на ходу подхватил и развернул ее поводья. Через несколько минут Карло, стоя на двух лошадях, правил всей шестеркой, скакавшей дугом по краю арены и все ускорявшей ход. Прodelав последний тур, он прыгнул на песок, побежал наперерез шестерке и остановился, высоко подняв бич. Музыка оборвалась. Лошади остановились, выстроились в ряд и поднялись на дыбы, теперь изумляя, почти страша, точно невиданные звери, зрителей своей громадной величиной и мощью. Держась на задних ногах, перебирая в воздухе передними, они медленно попятались к барьеру под оглушительные щелчки бича и повелительные непонятные окрики Карло. Музыка опять заиграла, сливаясь с восторженными рукоплесканиями публики. Этот номер программы всегда имел огромный успех, но Карло им не гордился. Двойное сальто-мортале, связанное для него со смертельной опасностью, обычно оваций не вызывало.

Шесть служителей в красных ливреях с позументами, изображая величайшее напряжение, выкатили на арену громадную пушку из выкрашенного под бронзу дерева, затем закрепили против нее на столбах сетку. Карло внимательно проверил столбы и попросил публику соблюдать полную тишину. Эту тщательно заученную наизусть фразу он произносил почти без акцента, мрачным гробовым голосом. Музыканты заиграли что-то боевое. На арену в трико, покрытом синей мантией, выбежала Каталина Диабелли. Ее встретили рукоплесканиями. Она раскланялась с публикой и, бросив служителю мантию, побежала навстречу Карло. Он высоко поднял ее. Затем, держа над головой ее ставшее прямым, как палка, тело, понес Каталину к пушке. Ее сапожки вошли в дуло — кто-то ахнул, — она исчезла в дуле с головой. По залу пронесся восторженный гул. Музыка перестала играть. Настала совершенная тишина. Карло стал за пушкой, незаметно положил руку на пугач, приделанный к ней сзади, рядом с пуговкой пружины, и стал очень медленно считать: «Раз!.. Два!.. Р-ри!..» Отпустив пружину, он выстрелил. Каталина вылетела из пушки, пронеслась над ареной и упала в сетку. Через полминуты они, держась за руки, раскланивались с редевшей публикой.

Часть вторая

— Locarno! Piazza Grande! — прокричал кондуктор. Мамонтов встал и взвалил себе на плечи купленный в Цюрихе дорожный мешок. На нем был костюм альпиниста, придававший ему, по его мнению, несерьезный вид. «Эти идиотские чулки — просто второе детство. А альпеншток на ровном месте совершенно не нужен и делает человека смешным. Иван Грозный всаживал кому-то в ногу такой остроконечный посох, это, по крайней мере, было занятие...» Николай Сергеевич был в хорошем настроении духа, несмотря на то, что ноги у него горели, а плечи были натерты ремнями мешка. Он вышел и остановился в восторге, окинув взглядом площадь. «Да ведь это Италия! Точно в другую страну переехал!»

День был солнечный и довольно холодный. «Что же сейчас делать?» — нерешительно спросил себя Мамонтов. Можно было бы тотчас отправиться на поиски виллы Бароната, но лучше было сначала устроиться, умыться, отдохнуть. «Конечно, теперь ехать к Бакунину поздно. Пока разыщу его и доеду, пройдет два или три часа. И какой же разговор, если у меня будут спать глаза? Да и нельзя вваливаться к незнакомому человеку в обеденное время. Городок крошечный, но, верно, и тут найдется какой-нибудь Отель Бориваж или Вилла д'Англетэр. Сегодня я имею право на

хороший обед. Говорят, в итальянской Швейцарии есть недурные вина, и кормят будто бы гораздо лучше, чем в немецкой...» Он вспомнил о петербургских обедах, о водке, об икре, но тут же решительно себе подтвердил, что нисколько не сожалеет о своей поездке. «Когда, постранив, воротиться домой, и дым отечества...» Все у нас, кстати, думают, что «дым отечества» это из Грибоедова. А Грибоедов это взял у Гомера как нечто общеизвестное... Месяца три-четыре можно провести и без дыма отечества и даже без отечества...»

В Цюрихе Мамонтов узнал, что Бакунин живет в вилле «Бароната», расположенной на Лаго Маджоре, поблизости от Локарно. Николай Сергеевич доехал до Флюэлена на пароходе, там переночевал и на заре отправился по Локарнской дороге пешком. В мешке были туалетные принадлежности, перемена белья, мольберт, кисти, краски. Были еще съестные припасы, но от них ничего не осталось уже к девяти часам утра — на первом же привале он съел все, что взял с собой в дорогу. Хотел было после завтрака поработать, но так и не вынул кистей из мешка. Дорога была на редкость живописна, один грандиозный пейзаж следовал за другим, и не было оснований предпочесть один другому. «Может быть, дальше попадется что-нибудь еще лучше? Все равно я в один присест не мог бы ничего набросать. Да я и не пейзажист, и трудно писать, когда плечи болят от ремней, а ноги от этих проклятых башмаков...» Затем его нагнал дилижанс, в котором оказалось свободное место, и только теперь в Локарно Николай Сергеевич почувствовал, что ему очень наскупили красоты природы и что его начинает утомлять Швейцария, по крайней мере, немецкая с ее Швейцаргофами, Бориважами, Бельведерами, Эспланадами. «Право, люди творят не хуже природы! Как хороши эти линии аркад! А эта церковь на горе! Колокольня немного высока для фасада... Вот где бы поселиться до конца дней!» — подумал он без уверенности: вдруг через три дня станут невыносимыми и эта площадь, и колокольня, и весь этот городок, по ошибке попавший сюда из Италии.

Он зашел в аптеку, чтобы справиться о гостинице. Аптекарь, живой, бойкий старичок, свободно говорил по-французски с забавным итальянским акцентом. Он снисходительно осмотрел Мамонтова, очевидно, расценивая его финансовые возможности. «Кажется, расценил их весьма низко», — подумал Николай Сергеевич.

— Наш городок мало посещается туристами, несмотря на то, что он гораздо лучше многих прославленных курортов, — сказал аптекарь внушительно, как будто даже с угрозой прославленным курортам. — Больших гостиниц у нас нет. Рекомендую вам Albergo del Gallo, очень прилично и недорого. Вы сюда надолго?

— Я завтра думаю уехать, — ответил Мамонтов. «Что если его и спросить? Еще, пожалуй, в гостинице ни по-французски, ни по-немецки не понимают. Мы в свободной стране, конспирация тут и вправду не нужна». — Не можете ли вы мне сказать, где находится вилла «Бароната»? Я знаю, что это на озере и близко, но как туда проехать?

Аптекарь вышел из-за прилавка и, к удивлению Николая Сергеевича, протянул ему руку.

— Вы друг Микеле Бакунина? — спросил он. — Я тоже его друг и поклонник. Когда он приезжает в Локарно, то всегда заходит ко мне. Разумеется, я могу вам объяснить, я сам там бывал много раз. Туда можно проехать на лодке, это чудесная прогулка, одна из самых прекрасных частей Лаго Маджоре, — опять строго сказал он, точно Мамонтов это оспаривал. — Можно также, если хотите, нанять извозчика. А если вы любите ходить, то можно пройти и пешком. Так вы друг Микеле? — снова спросил он, радостно улыбаясь. — Это великий человек! Мы все его обожаем. Мы ему немного и помогали, кто как мог, когда ему приходилось совсем плохо. Теперь его дела поправились и он купил эту виллу.

— Разве это его вилла? — удивленно спросил Николай Сергеевич. «Кто же это мы? Аптекари? Локарнцы? Анархисты? Неужели этот аптекарь анархист?»

— Его и Кафферо. Это тоже мой друг. Когда вы хотите ехать к Микеле?

— Сегодня уже поздно. Я хотел бы завтра, скажем, часов в девять?

— Если б сегодня вечером, я, пожалуй, поехал бы с вами, — с сожалением сказал аптекарь. — Завтра утром не могу, я работаю. Но вы приходите сюда в десять часов, я сговорюсь с лодочником. Он возьмет с вас недорого, а может быть, даже отвезет бесплатно — он тоже друг и ученик Микеле. И хозяин Albergo del Gallo сделает вам скидку, если вы скажете, что вы друг Микеле: хозяин тоже анархист. — Ни-

колай Сергеевич невольно оглянулся на дверь, но тотчас вспомнил, что здесь такие слова можно произносить совершенно безопасно.

Они простились как добрые знакомые. Аптекарь сделал скидку на мыле, сообщив, что с в о и м продает без всякого заработка. «Я даже не сказал ему, что я с в о й, — с недоумением подумал Николай Сергеевич. — Что если бы я был полицейским агентом?»

Гостиница была живописная — тоже такая, какой полагалось бы быть в Италии, а не в Швейцарии. «Живописность — это конечно, но пообедаю я где-нибудь в другом месте», — подумал Мамонтов, поднимаясь вслед за хозяином по покрытой тонким рваным ковром лестнице. Комната, впрочем, была хорошая: большая, с двумя окнами, с камином, в котором над газетной бумагой и щепками лежали дрова. Она стояла так дешево, что Николай Сергеевич не счел нужным сослаться на Микеле. Он попросил затопить камин. Хозяин сказал, что обед будет готов часа через полтора и что он стоит полтора франка: два блюда с сыром и вином.

— Если вам угодно, вам подадут обед сюда, — предложил хозяин. — Без всякой надбавки.

— О нет, я спущусь вниз, как только умоюсь, — ответил Мамонтов. Хозяин ничего не сказал, но ушел как будто не совсем довольный. Николай Сергеевич подошел к окну. Оно выходило в небольшой запущенный сад с уже знакомыми ему фиговыми деревьями. Между ними на веревках висело белье. В садике была беседка со столиком и двумя стульями, и в этой беседке было что-то необыкновенно уютное и даже умирительное. «Вот бы что писать, а не Сен-Готард! — сказал себе в восторге Мамонтов. — Кажется, во мне пропадает «второстепенный фламандец семнадцатого века»...» Другое окно выходило на улицу. Против него были домики, тоже умирительные, чуть ли не средневековые, с аркадами и балкончиками, с садиками и с бельем на веревках. Николай Сергеевич сел в кресло, стоявшее у окна под старинным распятием. К окну на уровне спинки кресла было на подвижном стержне прикреплено зеркальце. «Это зачем?» — с любопытством спросил себя Мамонтов, наклонившись. Зеркало отразило всю улицу с обоими тротуарами. «Какая прелесть! Очевидно, местные кумушки так проводят время: шьют или вяжут в кресле и видят все, что делается на улице, а их самих не видно...» В зеркальце показалась тележка, запряженная клячей. Ею правил старик в сером балахоне и в странной фуражке. «Право, это русский стиль, — с удивлением подумал Мамонтов. — Чем не Рязань!» Действительно, в крупном, необычайно массивном облике, в широком лице старика, в его бороде, в фуражке и в балахоне, даже в том, как он сидел в тележке и правил лошадей, было что-то необыкновенно напоминавшее Россию, что-то старозаветное, барское, помещичье, даже степное. «А вдруг это Бакунин!» Сердце у Мамонтова немного забилося. Тележка подъехала к гостинице и остановилась, из гостиницы выбежал юноша. Старик в балахоне с видимым усилием вылез из тележки и оказался человеком исполинского роста. «Помнится, кто-то говорил, что Бакунин гигант? Или это Маркс гигант? Или они оба гиганты? Нет, не может быть, чтобы это был Бакунин...» Старик потрепал юношу по плечу и, предоставив ему тележку, вошел в дом.

В дверь постучали. Немолодая иссиня-черная служанка принесла два кувшина воды и полотенце. Она опустилась на колени перед камином и принялась его растапливать. Мамонтов смотрел на нее, чувствуя неловкость, как всегда в тех случаях, когда на него работали женщины.

— Могу ли я вам помочь? — нерешительно спросил он. Но служанка по-французски не понимала. Николай Сергеевич подошел к ней и стал подталкивать в камин щепки и бумагу. На старых, пожелтевших газетах были названия: «Equaglianza»... «Fratellanza»...

— Как называется та церковь на горе? — спросил он, как умел, по-итальянски, больше для того, чтобы не молчать. Его итальянского языка служанка тоже не поняла, но, быть может, по жестам, означавшим гору, или потому, что об этом спрашивали все, догадалась и радостно ответила, что церковь называется Madonna del Sasso. Николай Сергеевич утвердительно закивал головой, точно именно этого ожидал, но уже не решился спросить, как зовут только что приехавшего великана. Дрова загорелись. Мамонтов долго стоял у камина, не отрывая глаз от пламени. Он сам удивлялся своему волнению.

Николай Сергеевич еще мылся, когда снизу донеслись рукоплескания. «Это еще что такое?» — изумленно спросил себя он. Рукоплескания продолжались довольно

долго. Затем оттуда же стал доноситься мужской звучный, низкий голос. Разобрать слова было невозможно. «Конечно, это не разговор, а лекция или речь...» Да тогда, верно, это тот старик! Неужели в самом деле Бакунин!..»

Мамонтов поспешно оделся и, ориентируясь по голосу, пошел по уже полутемному коридору. На лестнице голос был слышен гораздо лучше. Внизу пробежал на цыпочках тот самый юноша с необыкновенно взволнованным лицом. Он нес канделябр с незажженными свечами. Речь доносилась из комнаты, бывшей в конце другого коридора. Николай Сергеевич отправился туда. «Если спросят, почему я лезу, куда не звали, скажу, что иду столовую...» Но его никто ни о чем не спрашивал. Он тоже на цыпочках подошел к двери.

В узкой, довольно длинной полутемной комнате за столом, положив на него огромные руки, сидел уже без балахона и фуражки бородатый великан. При слабом свете кончавшегося дня Николай Сергеевич не мог разглядеть его как следует. В комнате на стульях, на табуретах, на скамейке, принесенной, очевидно, из сада, разместились человек двадцать пять или тридцать. Мамонтов, согнувшись, скользнул к скамейке и сел. Никто и здесь не обратил на него внимания.

Старик говорил что-то по-итальянски необыкновенно выразительно. Он довольно сильно пришепetyвал, по-видимому, по недостатку зубов. Тем не менее в каждом его звуке, в жестах, в необыкновенной внушительности речи чувствовался замечательный оратор. Говорил он гладко, не заглядывая в лежавшую перед ним бумажку, и лишь очень редко в поисках нужного выражения, нетерпеливо морщась, щелкая пальцами правой руки, переходил на французский язык и снова возвращался к итальянскому. Обычно ему с разных сторон радостно подсказывали перевод французского слова. Слушали его все с благоговейным вниманием. Николай Сергеевич не понимал речи, но теперь уже не могло быть сомнений в том, что это Бакунин. «Какая сила! Да, это очень большой революционный оратор, не чета петербургским студентам! Что же это за сборище? Неужели тут все анархисты? На вид мастеровые...» Старик вдруг сильно повысил голос. Что-то пробежало по залу.

— *Creare una minoranza dirigente e comunicare la scintilla rivoluzionaria: le masse sarebbero venute poi!*¹ — прокричал старик, ударив кулаком по столу. В комнату на цыпочках вошел юноша с канделябром. Он пробрался вперед, поставил канделябр на стол и присел на кончик скамьи, не сводя глаз со старика. «Какая замечательная голова! Лев!» — подумал Мамонтов, вглядываясь в оратора. В комнате, впрочем, почти не стало светлее. При свете свечей лицо старика изменилось и теперь казалось грозным.

Николай Сергеевич слушал, но понимал очень плохо. Старик говорил о неудаче испанской революции. По-видимому, он приписывал ее провал тому, что революционеры слишком церемонились. «Что же надо было делать? — с недоумением спросил себя Мамонтов. — О каких бумагах он говорит? Бумаги надо было сжечь? Зачем жечь бумаги? Верно, я не так понял...» Вдруг рядом с ним со скамьи вскочил бледный, измученный человек и принялся что-то разъяснять. На него неодобрительно зашикали. «Кажется, этот говорит по-испански... Да, «х-х» — это испанский звук...» Старик тотчас тоже перешел на испанский язык, но на нем ему было говорить не так легко. «Не понимаю», «не понимаю», — послышались жалобные голоса. Испанец, немного владевший французским языком, повторил свое объяснение по-французски.

— Свобода, равенство, братство, говорите вы? — закричал старик и опять ударил по столу кулаком так, что на канделябре что-то сильно зазвенело. Испанец испуганно замолчал и сел. — *Liberté, égalité, fraternité*², — сопя, повторил старик и сердито засмеялся. — *Liberté, égalité, fraternité!* — Быть может, по рассеянности он продолжал говорить по-французски. «Говорит совершенно как француз, только «р» твердое. Как будто чуть старомодно, так, верно, говорила русская аристократия в начале столетия. Может быть, царь так говорит», — думал, улыбаясь, Николай Сергеевич. Теперь он слушал очень внимательно. Старик издевался над республиканским девизом. Он доказывал, что всеобщее избирательное право и есть самая настоящая контрреволюция, что оно непременно будет использовано эксплуататорами против трудящихся. — В современном обществе работник — раб! — закричал он так, что его, наверное, было слышно на противоположном конце дома. Юноша рядом с Мамонтовым

¹ — Создайте руководящее ядро и зажгите революционную искру: тогда массы пойдут! (итал.).

² — Свобода, равенство, братство (франц.).

вскочил и заплодировал, за ним заплодировали все другие. Старик сказал более спокойно: — Il faut avoir vraiment l'esprit mensonger de Messieurs les bourgeois pour oser parler de la liberté des ouvriers! Belle liberté qui les enchaîne par la faim à la volonté du capitaliste!.. Et la fraternité! Encore un mensonge! Je vous demande si la fraternité est possible entre les exploiters et les exploités, entre les oppresseurs et les opprimés? Comment? Je vous ferai suer et souffrir tout un jour et le soir, ayant recueilli le fruit de vos souffrances et de votre sueur, le soir, je vous dirai: Embrassons-nous, mes amis, nous sommes des frères!..¹

Послышался смех. Старик, однако, даже не улыбнулся. Лицо его осталось нахмуренным и грозным. «Игра ли это? — спросил себя Мамонтов. — Нет, едва ли... С ним, очевидно, по душам не разговоришься. Но как же мне быть? Подойти после окончания и передать ему письмо? Лучше это сделать через хозяина. И потом все-таки вдруг это не Бакунин, а какой-нибудь другой революционер? Надо для верности спросить...»

— ...Мы, сторонники великой социальной революции, мы тоже хотим свободы, равенства и братства. Но мы желаем, чтобы великие слова эти стали из глупых выдумок правдой, настоящей, подлинной правдой жизни! И для этого мы не остановимся ни перед чем! Сейчас перед нами великая задача разрушения! Многое погибнет! Гнилое должно погибнуть! Много крови будет пролито! — прокричал он. — Но я скажу, как один деятель Французской революции: «Разве так была чиста та кровь, которая пролилась?»

Опять послышались рукоплескания. Кто-то из слушателей воспользовался передышкой и робко попросил говорить по-итальянски, а то, к несчастью, не все понятно. На лице старика вдруг выступила детская, веселая и вместе чуть жалостная улыбка, совершенно не шедшая к его страшным словам. Николай Сергеевич тоже воспользовался минутой и на цыпочках скользнул к двери. Хотя на него никто в комнате не обратил внимания, он чувствовал себя неловко, точно без билета, минуя контроль, проскочил в театральный зал. «Это, быть может, верно даже в настоящем смысле, ведь, в самом деле, тут за вход, должно быть, платят. Да, это новый, совсем новый мир, — думал Николай Сергеевич. — Конечно, в Швейцарии революционеры могут выступать открыто, но, кажется, хозяин не очень хотел, чтобы я обедал внизу. Верно, столовая тут где-нибудь рядом, а его голос слышен за версту... Вот он, хозяин... — Из отворенной хозяином двери донесся запах жареного мяса и лука. Николай Сергеевич только теперь почувствовал, как он голоден. — Ничего не поделаешь, придется отложить обед, но, разумеется, теперь я пообедаю здесь...» Он вынул из кармана письмо земского деятеля и, скрывая смущение особенно непринужденным тоном, окликнул хозяина, который бросил на него подозрительный взгляд.

— Скажите, пожалуйста... — Он на мгновение запнулся, слово «мосье» показалось ему неподходящим. — Это Бакунин? Если это Бакунин то я хотел бы передать ему одно письмо из России. Я к нему и приехал... Не будете ли вы любезны сказать ему после его лекции? Ведь это Микеле Бакунин?

— Да, это сам Микеле Бакунин. Вы хотите, чтобы я передал ему письмо?

— Нет, вы только ему сообщите, что у меня есть письмо для него из России. Я буду у себя. Если он может меня принять, пожалуйста, скажите мне, я тотчас спущусь.

— Очень хорошо, — недоверчиво ответил хозяин без обращения. «Не знает теперь, кто я, «мосье» или... Как анархисты называют друг друга?» — Николай Сергеевич, шагая через две ступени, поднялся в свою комнату, где теперь ярко горели в камине дрова, и зажег свечу на столе. Он очень волновался. Походив немного по комнате, Мамонтов больше от нервности снова вышел в еле освещенный далекой свечой коридор. Снизу снова донеслись рукоплескания, на этот раз особенно долгие. «Кажется, он кончил. Сейчас разговор... — Николай Сергеевич бессознательно преобразился, стал очень серьезным, вдумчивым, ищущим правды человеком, страстно желающим освобождения мира. Он заметил это не сразу, но заметил. — Еще новый Мамонтов! Нет, нет, я ломаться не согласен! Буду вообще говорить возможно меньше. Постараюсь, чтобы говорил он, — подумал Николай Сергеевич, нагнувшись над перилами

¹ — Нужно, правда, обладать лживостью господ буржуа, чтобы сметь говорить о свободе рабочих! Хороша свобода, которая приковывает их цепью голода к воле капиталиста.. И братства! Еще одна ложь! Спрашивая я вас, возможно ли братство между эксплуататорами и эксплуатируемыми, между угнетателями и угнетенными? Как? Я заставляю вас потеть и страдать целый день, а вечером, собрав плоды вашего труда, вашего пота, вечером я скажу вам: «Поцелуемся, друзья мои, все мы братья!..» (франц.).

лестницы. Под лампой стоял тот же юноша.— Кажется, я он его ждет...» Через минуту донесся низкий баритон старика, теперь, впрочем, совершенно иной по тону: «Компатриот? Какой еще компатриот?» Внизу показался хозяин с зажженной лампой в руке. За ним следовал окруженный слушателями Бакунин. Они на ходу восторженно ему аплодировали. В эту минуту юноша выбежал вперед, оттолкнул кого-то, вцепился в руку Бакунину и поцеловал ее.

Николай Сергеевич вернулся в свою комнату. «Кажется, я тоже ошалел, как этот мальчик!..» Он бросил в мешок валявшееся на полу белье, зачем-то передвинул на столе свечу, поправил рукой прическу и снова вышел в коридор. Старик, смеясь, шел к его комнате тяжелой, грузной походкой. За ним, почтительно улыбаясь, следовал хозяин с лампой. Увидев Мамонтова, он что-то шепнул Бакунину.

— Михаил Александрович Бакунин? — спросил Мамонтов. — Очень счастлив познакомиться с вами.

Старик вгляделся в его лицо. Хозяин высоко поднял лампу.

— Это вы компатриот? — спросил Бакунин, насмешливо-благодарно повторяя по-русски только что им употребленное французское слово. — Я тоже очень счастлив... А как, компатриот, ваша фамилия? Мамонтов? Ну, отлично, ведите меня к себе. Вы мне привезли письмо? От моих братьев? Может, и еще что-нибудь кроме письма?

— Я не имею чести знать ваших братьев. Письмо от... — Николай Сергеевич назвал имя-отчество земского деятеля.

— Кто такой? У меня на крещенные имена стала слаба память... А-а, — разочарованно протянул он, услышав фамилию, — он жив еще?.. Ну, хорошо, я с ним посижу, Джакомо, — обратился он по-французски к хозяину и взял у него лампу. — Это ваша комната? И камин горит, отлично! — сказал, входя.

— Ради Бога, садитесь, Михаил Александрович, — растерянно сказал Мамонтов, подвигая кресло. Старик стал спиной к камину, заложив назад руки, осмотрелся в комнате и затем с любопытством уставился глазами в Мамонтова. По-видимому, впечатление у него было благоприятное. «Экий, однако, гигант! Я, кажется, не встречал человека крупнее...» Только теперь Мамонтов разглядел старика как следует. Все в нем было нечеловечески огромно: рост, голова, лоб, черты лица, руки, ноги. Лицо у него было необыкновенно широкое, обрюзгое, густо обросшее седоватыми волосами. От носа косо спускались резко обозначившиеся складки. Николая Сергеевича поразили его глаза, глубоко засевшие под густыми седоватыми бровями. «Как у хищного зверя? Впрочем, нет. Прекрасные глаза, но определить их трудно... Да, именно лев! Вот бы его написать! И в этом рубище!» Бакунин был в самом деле одет очень плохо. На нем было что-то вроде плисового сюртука — таких больше не носили, — и сюртук этот был крайне изношен и вытерт. На рукавах рубашки и на брюках виднелась бахрома.

— Ну-с, давайте письмо, — сказал, сопя, старик. Неохотно оторвав от огня руки, он наклонился к лампе и принялся читать, неодобрительно покачивая головой. — «...*Mon jeune ami, Nicolas Mamontoff*», — бормотал он. Прочитав короткое письмо, он при свете лампы еще раз вгляделся в Мамонтова, наклонившись к нему вплотную. — Ну-с, ладно, прочел и восчувствовал.

— Михаил Александрович, ч а й к у позволите? — спросил Николай Сергеевич и решительно на себя рассердился за это слово, показавшееся ему развязным. — Ведь здесь, верно, есть чай?

— Чай у них скверный, сколь я ни учил Джакомо. Но какой же теперь чай? Вот что, друг мой, мы с вами тут пообедаем. Ежели у вас нет денег, это не беда. Я нынче богат. У меня есть десять франков, а обед у них стоит только полтора. Так что я вас, к о м п а т р и о т, угощаю. — Мамонтов так растерялся, что не сразу мог ответить. Очевидно, объяснив себе его смущение по-своему, Бакунин бросил взгляд на его дорожный костюм, на мешок, на грязные башмаки и добавил: — А ежели у вас нечем заплатить за комнату, то я вам дам три франка. Три оставлю себе на табачок и на фанкировку² писем. У меня тут, впрочем, кредит, да и у аптекаря я могу взять, так что вы, компатриот, не тужите.

— Ради Бога!.. Напротив, я прошу вас сделать мне удовольствие и честь быть моим гостем. Для меня будет величайшим удовольствием, если вы со мной пообедаете.

— Я могу сделать вам и это удовольствие, и эту честь, — благодарно ответил Бакунин. Он произносил «чешть». — Разве вы тоже при деньгах?

¹ «...Мой юный друг Николай Мамонтов» (франц.).

² Оплата вперед за доставку почты.

— У меня есть деньги... Я свои вещи оставил в Цюрихе,— невольно пояснил Мамонтов в ответ на подразумевавшийся вопрос старика.— Из Флюэлена я вышел пешком, но скоро устал и сел в нагнавший меня дилижанс. Уж очень болели плечи от этого мешка... Значит, мы спустимся вниз?

— А зачем? Там меня облепят люди. Здесь все итальянские эмигранты, простые люди, лучшие мои друзья. Один мальчуган мне нынче руку поцеловал,— смеясь, сказал он,— дурачок этакий!.. Нет, мы с вами пообедаем в этой комнате... Джакомо! — прокричал он так, что Николай Сергеевич вздрогнул.— У них сегодня, я знаю, спагетти, бифштекс и сыр. А ежели вы богаты, то закажите и бутылочку вина, хоть оно у них дрянное.

— Ради Бога! — в третий раз сказал Мамонтов.— Позвольте мне... Вы не можете себе представить, какая для меня радость увидеть живого Бакунина!..

— «Живого Бакунина», — насмешливо повторил старик, впрочем, как будто довольный.— Ну, и что же из этого следует?

— Позвольте мне выпить с вами шампанского. У них, быть может, найдется шампанское?

Бакунин весело засмеялся.

— Отчего же нет? Хотя, должно быть, здесь с сотворения мира никто шампанского не спрашивал!.. Джакомо, у тебя есть шампанское? — обратился он к вошедшему хозяину. Тот сначала было растерялся, но потом гордо ответил, что за шампанским дело не станет.— Верно, он в лавочку пошлет или, может быть, в Цюрих. Но у вас наверное есть деньги, Мамонтов? У меня тут, правда, неограниченный кредит... Неограниченный так франков до двадцати. Однако шампанское мне не по карману... Значит, два обеда и бутылку шампанского.

— А нельзя ли получить что-нибудь *à la carte* ¹?

— Никогда не заказывайте, молодой человек, ничего *à la carte*, особливо в дешевеньких гостиницах. Что у них к обеду отмечено, то, по крайней мере, свежо... Два обеда, Джакомо, ему обыкновенную человеческую порцию, а мне мою. И пойдя поторопись, мой друг, я голоден, как зверь... Ну вот, будет, значит, пир горой. Ладно, теперь рассказывайте о себе. Вы прямо из Петербурга? Из каких это вы Мамонтовых? Из новгородских? Там, кажется, были помещики Мамонтовы?

— Нет, я не из этих. Мой отец вышел из народа, он был сын крепостного,— сказал Мамонтов. Бакунин взглянул на него из-под бровей, радостно ахнул и оживился.

— Вот это хорошо! Это хорошо! — воскликнул он.— Как вы счастливы, что вы внук крепостного! («Зачем он мне это говорит?» — с неприятным чувством подумал Николай Сергеевич.) — Наше дворянское сословие давно сгнило. Кто это сказал, что Россия сгнила, не успев созреть? Наполеон, что ли? О России это такой гнусный вздор, что и опровергать совестно. А вот дворянство наше действительно насквозь прогнило, уж там я не знаю, успев созреть или не успев. Это, верьте мне, очень, очень хорошо, что вы внук крепостного!

— Я думаю, это ни хорошо, ни нехорошо, это просто факт,— сказал Мамонтов. Бакунин опять на него посмотрел. Николаю Сергеевичу казалось, что старик все время его изучает.

— Нет, это отлично. От этого крепче революционное сознание. Мне надоели даже лучшие буржуа. Способные к жизни и к смелому знанию теперь только внизу — работники. Вот почему я хочу и жить, и умереть с ними... В этом проклятый Маркс прав... Вы знаете Маркса? Не врите, будто читали,— смеясь, вставил он.— Его почти никто не читал, кроме его немецко-еврейской своры да еще меня, но вы, верно, слышали о нем? Он немеш из евреев, самая скверная из всех возможных национальных комбинаций... Вы не еврей? Нет? А то есть еврей с русскими фамилиями, вроде Утина. Слышали? Об этом индивиде можно бы целый меморий написать, и даже должно, да неохота и времени нет. Впрочем, между евреями есть хорошие люди. Вы в Цюрихе не встречали Рабиновича? Это мой ученик. Он еще юноша, даже мальчик, ему всего лет семнадцать. Способный парнишка! Немцы хуже, гораздо хуже! Нехорошо так говорить, но каюсь, я терпеть не могу немцев! Не во многом я сходилась с покойным Герценом, а в этом сходилась. Он тоже немцев не выносил... У вас, надеюсь, нет немецкой матушки или бабушки? Хотя среди крестьян смешанных браков не бывает, и это тоже большое преимущество («Хорошо бы, если б он перестал заниматься

¹ Из порционных блюд (франц.).

моим происхождением!» — с досадой подумал Мамонтов). Наше дворянство на добрую четверть немецкой крови, и это одна из причин, по которым я на него махнул рукой. Наш дворянский Петербург всю жизнь прожил и умрет немцем... Почему это мы заговорили о немцах? Я позабыл...

— Вы что-то хотели сказать о Марксе.

— Да, да, да! Так вот, видите ли, Маркс сказал, что не сознание людей определяет их бытие, а бытие определяет их сознание. Правда, Маркс это разумеет в несколько ином смысле, но это верно и в смысле персональном и единоличном. Вот те итальянские и испанские работники, которым я читаю детские лекции, в их революционность я верю. А в наших дворянчиков не верю! Когда у нас зачнется революция, дворянчики и толстосумы ее и предадут, и погубят, уж это непременно.

— Однако вы сами дворянин.

— К несчастью! — сказал Бакунин. — И даже столбовой — пятнадцатого века. Поэтому, верно, и накопилось во мне столько всякого дрянца! — Он засопел и тяжело вздохнул.

— И среди немцев, должно быть, есть прекрасные, подлинные революционеры, — сказал Николай Сергеевич, желавший вернуть разговор к Марксу. Бакунин вдруг расхохотался заразительным, веселым смехом. Все его огромное тело затряслось. Он опустился в кресло, затрепавшее под его тяжестью.

— Немцы?.. Подлинные революционеры?.. Да где вы это видели?..

— Уж будто нет? — спросил Мамонтов, тоже садясь. Он больше не чувствовал смущения.

— Клянусь, ни одного!.. Я ни одного не встречал!.. Ни единой живой души... Ведь я их всех знаю!.. Он вытер глаза и лоб платком и опять захохотал. — Немцы революционеры!.. Ох, уморил!.. Молода — в Саксонии не была... А вот я в Саксонии была. Даже была там приговорена к смертной казни!.. Нет, брат, немец и революция — это идеи невестные. Ежели у них когда произойдет революция, то это будет одна уморушка. А они революцию произведут, непременно произведут, потому в Англии и во Франции революции бывали, а им надо, чтобы у них было, как в лучших домах. Они все лакеи, и самое комическое в том, что они этого не замечают... Разве только чуть-чуть подозревают. Немцы на весь свет кричат, что они самая высшая раса. Ну, а в душе, кажется, иногда в трезвые минуты сомневаются: вдруг не самая высшая, а самая низшая? И уж не дрянь ли и не мерзость весь их фатерланд, тысячу раз воспетый их собственными поэтами — какой же чужой поэт будет их фатерланд воспевать? Хотя нет, едва ли подозревают. Вот англичанин и не говорит, что он самая высшая раса: он в этом так убежден, что тут и говорить не стоит, какой может быть разговор?.. Один только немец и есть не лакей, а великий человек. Это Шопенгауэр. Я в нем теперь умудряюсь. Когда вам пойдет седьмой десяток, купите, Мамонтов, сочинения Шопенгауэра и сделайте из них *livre de chevet*... Как это по-русски, я свой язык стал забывать.

— Настоящая книга. Шопенгауэр меня не интересует. А вот этот Маркс?

Бакунин вдруг подозрительно на него уставился.

— Послушайте, Мамонтов, вы не марксид?

— Я Маркса никогда в глаза не видал, а с его учением знаком плохо. Приобрел русский перевод «Капитала» и читал, да не совсем кончил, что-то помешало, последних глав не прочел.

— И напрасно, — сказал Бакунин, опять засопев. — «Капитал» — замечательная книга. Я ведь ее переводил... Вы, впрочем, не мой перевод видели. Там вышла одна неприятная история... Конечно, вы слышали?

— Нет, не слышал. В чем дело?

— Не стоит рассказывать. Все равно дойдет до вас, как и ведра других помоев, которыми меня поливали всю жизнь Маркс и его шайка, все его лакеи, Энгельсы, Либкнехты, Боркгеймы и черт знает кто еще. Как только у людей хватает низости и мелкой злобы, просто не могу этого понять. Я знаю, что в политической борьбе грязь неизбежна. На ком ее нет? И на мне много, ох, как много! — сказал он, сопя. — Но такие подленькие штучки — это их специальность. Это их система политической борьбы... Впрочем, не система, а натура, чего они тоже не замечают. Просто они никогда об этом не думают: делают гадости, не мудрствуя, гадость ли это или нет! Ах, когда-нибудь весь свет узнает, что это за народ! — прокричал он злобно, стукнув кулаком по столу, как за час до того на лекции. На столе подпрыгнул подсвечник. — Хотя и

грех то, что я говорю... Нет, нет, надо быть справедливым... Вы спрашиваете: Маркс. Я его ненавижу, но он умница, у него замечательная голова. Я не встречал человека учнее, чем Маркс, и я многому у него научился. Голова у него светлая, хотя он путаник и доктринарист... Вы не удивляйтесь, это бывает, что одновременно и путаник, и светлая голова. Такие-то люди именно всего опаснее. И Маркс теперь самый опасный человек на свете, опаснее Бисмарка, с которым он, кстати, во многом схож, особенно же своей ненавистью к славянству.

— Но он хоть революционер. Вы не отрицаете?

— Не отрицаю. Ведь Маркс все-таки не совсем немец, как мой Рабинович не совсем русский. Да, да, я признаю, он предан классу работников, он имеет большие заслуги, все это так. Может, я и к нему, и к Энгельсу несправедлив. А все-таки душа у него маленькая. И хотя он предан классу работников, а в 1870 году он всей своей маленькой душой желал победы своему проклятому фатерланду... Ведь мы, международные революционеры, все в одном котле варимся и все друг о друге знаем. Я знаю наверное, что Маркс был в восторге от поражения Франции. Он это тоже как-то объяснял интересами работников: в фатерланде, мол, работники сознательнее. Да еще объяснял своей ненавистью к Баденгэ... Заметьте, кстати, ни один немецкий революционер в разговоре ни за что не скажет «Наполеон III», а непременно «Баденгэ», потому что такова у Наполеона была кличка в Париже, а ежели так говорят в Париже, то так и надо говорить, чтобы быть ешег Parisier. Только произносят они не по-парижски, а как-то необыкновенно мерзко: «П-пат-тенкэ», — старик очень похоже воспроизвел немецкий говор. — Маркс и ссылаясь на Баденгэ, но я доподлинно знаю, что желал он поражения Франции не поэтому, а ради гегемонии его немецкого племени: гегемонии военной, политической и особенно культурной. Он сам друзьям говорил, что ежели немцы разобьют французов то его теория восторжествует над теориями Прудона. Что, кстати, и оказалось верно. Протестовать же против политики Бисмарка он стал только после Седана...

— Может быть, именно потому, что после Седана Баденгэ пал и война уже шла с республикой?

— Так марксиды говорят, — сердито сказал старик. — В действительности же после Седана стало совершенно ясно, что Германия победила, что гегемония германскому племени обеспечена и что, стало уже можно протестовать. А Энгельс — чистокровный немец, человек туповатый, хоть ученый, — Энгельс после Седана просто имением ходил, не хуже любого немецкого офицера. Приличнее других держался Либкнехт. Этот тоже чистокровный и уж совсем кретин, но он юго-западный немец, не то из Гессена, не то из Пфальца, черт их разберет, и с детства помнит, что для его юго-западного фатерланда внешний враг не столь француз, сколь пруссак... Ну, а ежели Бисмарк объявит войну России, то все они распоясаются и совершенно потеряют стыд, Маркс хоть запрется на ключ у себя в кабинете, чтобы никто не видел, и там помолится Богу или черту о победе Бисмарка. А чистокровные и запираются на ключ не станут — в солдаты добровольцами пойдут! И, разумеется, объясняют очень подробно, почему интересы фатерланда случайно опять совпали с интересами класса работников. Книжки об этом напишут — глупые, бездарные книжки о том, как они с первого дня все предсказали! С тех пор, как я их знаю, Маркс и Энгельс все предсказывают, и просто не было случая, чтобы хоть одно их предсказание сбылось. Но Боже избави им об этом сказать! Ежели что не сбылось, то вот по каким причинам, а то непременно, ей-Богу, случилось бы именно так, как они сказали! Сам Маркс, впрочем, отлично знает им цену. В душе и Энгельсу знает, да не скажет, всегда его хвалит. Энгельс богатый человек и кормит его... Это тоже может быть только у немцев: глава партии работников — промышленник и был членом Манчестерского биржевого комитета! Английские биржевики очень его любят, и он их очень любит и в их кругу прожил лет двадцать, пил, ел, то он у биржевиков, то биржевики у него! А тайная, великая любовь Энгельса, ежели вы хотите знать, это военное дело. Он убежден, что он великий стратег и тактик, вроде как Мольтке, только по воле злой судьбы попал не в генеральный штаб, а в Интернационал и на Манчестерскую биржу, не повезло. Одно у нем хорошо, Маркса он точно любит и почитает. Кормит его и поит, и даже, кажется, этим не попрекает. Маркс, разумеется, другого полета птица. Этот не биржевик, нет! Не сомневаюсь, что Энгельса он ни в грош не ставит, как и всех других членов Санхедрина. Но в благодарность за кровь и стол он подарил Энгельсу половину наез в своем учении. Впрочем, не половину, а, скажем, сорок процентов. И, ра-

зумеется, тут с его стороны риска мало, потому всякий, кто хоть немного знает Энгельса, понимает, что этот немец не мог написать «Коммунистический манифест», произведение весьма замечательное. Он в их акционерской фирме имеет, по существу, разве каких-нибудь десять процентов. А других Маркс держит по той же причине, по какой когда-то Рашель окружала себя бездарностями. Впрочем, ни один крупный человек никогда с Марксом ужиться не мог бы и не мог. Вот, Лассаль был крупный человек, и, верьте слову, Маркс ненавидел Лассалья гораздо искренней, чем ненавидел Баденю. Не могу это доказать, но голову на отсечение дам, что тот день, когда убили Лассалья, был одним из счастливейших дней в жизни Маркса. А когда я умру, он за счет Энгельса шампанское закажет, как вы сегодня. Да что, кстати, его не несут? Джакомо! — опять закричал он так, что Николай Сергеевич содрогнулся.

— Все-таки в Германии Либкнехт и тот другой, Бебель, очень ругают Бисмарка.

— Ругают, пока Бисмарк не объявил России войны. Бисмарка можно ругать только в мирное время. А когда война, то забудем все и объединимся для фатерланда, интересы которого всегда так чудесно совпадают с интересами международного класса работников. Они, впрочем, и в мирное время ругают Бисмарка с тайной гордостью: социализм социализмом, а очень хорошо, что у фатерланда есть дурхлаухт фон Бисмарк и эксцелленц фон Мольтке... Вы думаете, я все это говорю оттого, что они мои враги? Да вот возьмите Лаврова. Не так давно вся русская колония в Цюрихе поделилась на лавристов и бакунистов, даже до мордобоя дошло в «бремершлюсселе». А разве я против Лаврова что-нибудь говорю? Лавров, ежели вы хотите знать, просто... — неожиданно произнес он не принятое слово. Николай Сергеевич засмеялся. — Ну да!.. Очень исправный был полковник, полковником бы ему всю жизнь и оставаться — командовать дивизией Лаврову было бы уже трудно. Он либеральный поп, как мой полунедруг Вырубов позитивистический поп, и больше ничего. Но, ежели вы меня спросите, способен ли полковник Лавров на мелкие низости и гадости, купается ли полковник Лавров в мелких гадостях, как в своей стихии, я, разумеется, отвечу: нет, не способен, нет, не купается... Вот несут обед! Благодарите судьбу, а то я вас заговорил! Я и Герцену, и Маццини, и Прудону, и Тургеневу не давал слова сказать, хоть они все были мастера поговорить.

Он ласково улыбнулся горничной и дружелюбно с ней поговорил. Знал, и как ее зовут, и кто ее родители, и попросил кланяться какому-то Беппо. Девушка радостно вспыхнула. Николай Сергеевич разлил шампанское по бокалам. Бакунин поднес бутылку к лампе.

— Неважная марка.

— А вы знаете толк?

— Когда-то знал... Ну, вот что, мы должны выпить на «ты»! Тебя зовут Николай? Я тебя буду звать Nicolas, а ты меня зови Michel. Меня все бакунисты зовут Мишелем. А за глаза, подлые, говорят «старик». Число же мое в шифре: 30... Что ты вытаращил глаза? Или ты не хочешь быть со мной на «ты»?

— Помилуйте, такая честь! — ответил Николай Сергеевич, действительно не ожидавший, что будет на «ты» с Бакуниным.

— Да что ты все так странно говоришь: «честь», «удовольствие»! Что за вздоры! Ты человек и я человек, ты революционер и я революционер.

— Почему же вам известно, что я революционер? — с улыбкой спросил Мамонтов. У него язык не повернулся сказать «ты» этому знаменитому старику. Николай Сергеевич, впрочем, уже понимал, что Бакунин — один из тех людей, которым физиологически трудно говорить знакомому «вы», особенно за бутылкой вина.

— Ежели бы ты не был революционером, то зачем бы ты ко мне пожаловал? Зачем ты бы мне сделал «честь»? Ты тогда запаса бы рекомендациями в какую-нибудь амбассадку, а не ко мне. Мне все буржуа давно изрекли анафему, чему я сердечно рад. Ну, твоё здоровье, Nicolas. — Он чокнулся с Мамонтовым, выпил бокал вина и поморщился. — Дрянное шампанское!.. Вот макароны у них первый сорт.

Он поднял крышку огромного блюда. Николай Сергеевич ахнул, увидев гору облитых томатным соусом макарон.

— Господи!

— Не поминай всуе имени Господня... Что, много? Ты, брат, съешь разве одну четверть, а три четверти я беру на себя. Ну, ладно, теперь я буду уписывать макароны и молчать, поскольку это в моих силах. А ты тоже ешь, но за едой рассказывай.

о себе все: кто ты, откуда, что за человек, какие твои убеждения, чего ты хочешь, как смотришь на жизнь, что любишь, что ненавидишь. Одним словом, все.

— Да как же все это рассказать?

— Так просто и рассказать,— сказал Бакунин, навалив себе в несколько приемов на тарелку нечеловеческую порцию макарон.— Постой, сначала выпьем еще по бокалу, чтобы у тебя развязался язычок... Вот так... Ну, будем здоровы. Теперь ешь и рассказывай.

Николай Сергеевич ел с аппетитом и, к собственному удивлению, действительно принялся рассказывать «все». Рассказал о своих родителях, о своем детстве, о гимназии, об университете, о смерти отца. «Потом будет совестно... Или вправду у меня от вина развязался язык? Вздор, от нескольких бокалов! Должно быть, в самом деле он так действует на людей...» Он изредка вставлял замечания вроде: «Не надоело еще? Ведь это совершенно не интересно...» — «Рассказывай, рассказывай, нечего», — сердито-ласково отвечал Бакунин, слушавший очень внимательно, иногда даже задававший вопросы с любопытством, очень лестным Мамонтову. Николай Сергеевич почти дошел до встречи с цирком — «Неужели и об этом рассказать?» — когда кончились и вино, и макароны. Горничная как раз принесла две тарелки с бифштексами, из которых один был тоже невиданных размеров.

— Да что ты удивляешься? — благодушно спросил Бакунин.— Ведь во мне без малого три аршина, восемь пудов живого веса. Надо же мне есть. Я редко ем мясо, а вина почти никогда не пью — финансы не позволяют. Зато, когда заказываю бифштекс, то свою порцию: они считают по-божески, только за две порции, потому что хозяин меня любит. Ему кормить меня чистый убыток, а тебе тем паче... Но по случаю нашей дружбы надо выпить еще... Ты жженку любишь?

— Люблю.

— Вот и отлично. Я не то что люблю, но она мне напоминает Россию и молодость. Впрочем, здесь я ее готовлю не так, как у нас, а с апельсинами и лимонами — уж очень они тут хороши и отшибают вкус их скверного рома.

Он обратился к горничной и подробно, ласково, с шуточками, которых не понимал Мамонтов, заказал ей все необходимое для жженки. Горничная слушала его с восторгом; она, видимо, его обожала, как все в этой гостинице. Когда она ушла, Бакунин с тем же аппетитом принялся за бифштекс.

— Герцен тоже всегда изумлялся моим порциям. Сколько он меня кормил и поил, покойник!.. Он думал, кстати, что он гастроном. А на самом деле аппетит у него был, как у старушки, и он все заливал мерзким английским соусом, так что настоящие гастрономы на него смотрели с отвращением, а на меня изумленно. Вот, например, Вырубов, тот самый, контовский поп,— пояснил он, видимо, довольный своим определением.— Ну, хорошо, ешь и продолжай. Ты очень хорошо рассказываешь.

«Сказать о Кате или нет?» — спросил себя Мамонтов и решил не говорить.

— Да что же все я и я? Мне вас слушать хочется.

— Не ври. И не «вас», а «тебя». Я поговорю потом, когда поем как следует. Тогда тебе слова не дам сказать... Ты начал об отце, я знавал таких людей, как твой отец. Это интересные люди. Ну, ну, рассказывай.

Узнав, что Николаю Сергеевичу досталось от отца наследство, Бакунин по-детски наивно раскрыл рот.

— Так, значит, ты богатый человек?!

— Какой же богатый? Сам еще не знаю, что у меня есть. Наследство под запретом и тяжба,— ответил Мамонтов смущенно. Ему вдруг пришло в голову, что Бакунин может от него потребовать отдачи всего состояния на революционные цели.— Наличных денег у меня немного, да и те я взял у купца-процентщика под вексель.

— Ну, хорошо. И ты вправду хочешь стать художником? — разочарованно спросил старик. Николай Сергеевич засмеялся.

— Не хочу стать, а уже стал. Везу в Париж картину... Я знаю, вы не любите искусства. Правду мне говорили, будто вы, когда руководили дрезденским восстанием, устроили пороховой склад рядом с Сикстинской мадонной?

— Не устроил, но отлично мог устроить. Я добрым немцам советовал тогда поставить эту самую Сикстинскую на валы, чтобы пруссаки не посмели стрелять — они для этого zu klassisch gebildet¹. Впрочем, только тогда, когда дело идет о мадоннах,

¹ Слишком классически образованы (нем.).

принадлежащих им самим. Чужих мадонн им не жалко. А ежели говорить правду, то все эти мадонны ерунда. Из тысячи людей девятьсот девяносто девять восторгаются ими неискренне. И ни один человек от них счастливее не стал. Кто говорит, что стал, тот врет, а я терпеть не могу лжи... Впрочем, у меня тут противоречие — музыку я очень люблю... Ты Вагнера знаешь?

— Композитора Вагнера?

— Да, композитора. Это один из самых поганных немцев, каких я когда-либо встречал. А я, брат, поганных немцев знал на своем веку видимо-невидимо. Но музыкант он гениальный, самому Бетховену вровень. Я его увертюру к «Тангейзеру» могу слушать часами подряд, как Бетховена... Так вот, видишь ли, Вагнер когда-то со мной участвовал в немецких революционных делах. Он тогда тоже называл себя революционером. Но меня посадили на цепь и приговорили к смертной казни, а он, разумеется, вовремя улепетнул и теперь лижет пятки какому-то из немецких королей, немножко более сумасшедшему, чем другие. Вагнер часто спорил со мной об искусстве и все ужасался. Я ему говорил, что и музыку надо уничтожить. Больше дурачился, конечно. А он только жалостно ахал и охал: «Aber nein, lieber Genosse Bakunin! Nein, nicht die Musik!»¹ Почему это я вспомнил о Вагнере? Ох, стар я стал, все позабываю.

— По поводу моей живописи.

— Да, да... Тут ничего тебе присоветовать не могу. Что же ты пишешь? Дам каких-нибудь? Или фрукты? Теперь в Париже молодые художники все пишут фрукты.

— Нет, не дам и не фрукты,— обиженно ответил Мамонтов.— Я написал картину на сюжет из жизни Стеньки Разина.

— Неужто! — радостно воскликнул Бакунин.— Вот это хорошо! На это я тебя, пожалуй, благословляю. Стенька Разин был большой человек, нам всем до него далеко: и Марксу, и Маццини, и мне, грешному. Я всегда думал, что разбой самая отчаянная и почетная страница всей народной жизни. В России только разбойник и был настоящим революционером!.. Ну да, ты носи не ворота! А то кто же, декабристы, что ли? Или Герцен? Герцен был либеральный барин, сибарит, фрондер и чистоплюй, вообразивший себя революционером, вот как он воображал себя гастрономом! Умница был, талантливейшее перо, но революционер он был курам на смех. Он всю жизнь рефлектировал на самого себя, а это для революционера вещь вреднейшая и невозможная.. Это прекрасно, что ты написал Стеньку! Прошаю тебе то, что ты занимаешься живописью. Где же ты его изобразил? В каком антураже?

— На Волге, естественно. Он захватывает струг богача Шорина... Помните?

— Конечно, помню! Стенька — мой любимец. Что ж, ты, верно, многое украсил, а? Он тогда на шоринском струге много людей перевешал. Ты это изобразил?

— Смягчил, конечно,— нехотя ответил Мамонтов.

— Почему «конечно»? И почему смягчил? Ведь это же и есть революция. Ты думаешь, мы-то, ежели что, будем донкишотствовать?

Улыбка у него стерлась. Глаза стали холодными, почти жестокими. Мамонтов смотрел на него с любопытством. Контраст между выражением странных глаз Бакунина и его старческим добродушием был разительный. «Вот бы с него Стеньку писать! Хотя нет, какой же он Стенька? Он и по наружности старый барин. Глаза у него рембрандтовские, какой-то *clair-obscur*², как будто серые, а вот сейчас чуть только не темные. Никогда в жизни не видел такого «зеркала души»... А на вид степной помещик восемнадцатого века, гвардии поручик в отставке, с разными «петербургскими действиями» в прошлом. Может быть, Орловы были такие? Да, хорошо бы написать его портрет, хоть тогда, чего доброго, нельзя будет вернуться в Россию», — подумал Николай Сергеевич.

— Стенька не только вешал людей, но и пытал их, и на кол сажал,— сказал он.— Как же не смягчать? Да и вы, если начнете революцию, то будете «донкишотствовать».

— Не говори вздору. Мы мстить и не собираемся. Хотя у меня есть за что мстить! Я у немцев на цепи с полгода просидел, прикованный к стене, ты понимаешь, что это такое? Два раза был приговорен к смертной казни и долго-долго ждал ее — весь день, всю ночь... Сидел в казематах Кенигштейна, Праги, Петропавловки, Шлиссельбурга, лучшие годы там просидел! Пытать меня не пытали, но в Алексеевском равелине я каждый день ждал пытки, особенно вначале. При Николае очень просто

¹ «Но нет, дорогой товарищ Бакунин! Нет, не музыку!» (нем.).

² Приглушенно-светлый тон (франц.).

могли прогнать сквозь строй — я ведь еще раньше был лишен дворянства... У меня есть за что им мстить! Но для такого глубокого чувства, как мщение, в моем сердце, к несчастью, нет места. Русские люди отходчивы. Мы никого казнить не будем. Мы просто в момент переворота всех их перережем.

Николай Сергеевич изумленно на него взглянул, так не вязалась последняя фраза с тем, что ей предшествовало.

— Хороша же ваша «отходчивость», — сказал он, улыбаясь не совсем естественно — выражение глаз Бакунина не располагало к улыбке. — Не знаю, чем задуманная заранее резня отличается от казней? Каких же «их» вы перережете? Александра Николаевича зарежете?

— Какого Александра Николаевича?

— Царя.

— А ты как думаешь? Его, разумеется, первым. Тебе что, царя жалко?

— Все же как-никак он освободил крестьян... Вопреки дворянам. Моих родных освободил, — сказал Мамонтов, с удивлением замечая, что в разговоре с Бакуниным занимает почти такую же позицию, какую в разговоре с ним самим занимали Черняков и Софья Яковлевна.

— Освободил, потому что боялся, как бы они не освободились «снизу», ведь сам же он об этом цинично сказал. А что он в Польше проделал? Мне Польша так же дорога и близка, как Россия. Тебе нет?

— Мне нет.

— Жаль. Очень сожалею... Нет, ты пока не созрел для революции, да еще мондиальной¹, — нетерпеливо сказал Бакунин.

— А вы верите в мондиальную революцию?

— Какое кому дело, верю я или не верю! Достаточно того, что я для нее жил и живу. Но ежели ты хочешь знать, то я верю, хоть знаю, что мне не дожить. Наступают великие и жестокие времена. Лихо морю расколыхаться, но ежели оно расколыхнется, то успокоится не скоро, очень не скоро. Молодым людям надо готовиться к буре. Да ты, брат, видно, мягкосердого исповедания? Таким в революцию в самом деле носа совать не следует... Зачем же ты, собственно, ко мне приехал? — с недоумением спросил Бакунин. — Ведь ты, значит, не хочешь отдать свои силы революции?

— Я сам не знаю, чего я хочу... Я всего хочу! Скажу правду, я поехал в Европу, чтобы научиться уму-разуму. Думаю, что «ума-разума» сейчас больше всего у революционеров. Так теперь думает в России все наше поколение. — Бакунин одобрительно кивнул головою. — Может быть, мы и ошибаемся. Но трудно думать (он хотел было сказать «мыслить») против своего поколения.

— Твое поколение не ошибается. Какие бы мы, революционеры, ни были — а уж кому их и знать, как не мне? — мы, многогрешные, соль земли, без нас ей и существовать было бы незачем.

— Не знаю. Но, во всяком случае, я хотел побывать непосредственно у источника мудрости. И первым я хотел повидать... Михаила Бакунина, — сказал Мамонтов, выражаясь не вполне естественно — все оттого, что он не мог выговорить «тебя». — Я хотел бы узнать, к чему стремятся бакунисты.

— Ты мою «Государственность и анархию» читал? Первый том уже вышел.

— Нет еще. Я достану в Цюрихе, конечно но...

— Ну, так вот ты там можешь все прочитать. Каюсь, я не люблю говорить об ученых предметах. Прежде любил теперь надоело. Но в двух словах, изволь, скажу. Наша цель: разрушение всех государств уничтожение буржуазной цивилизации, вольная организация снизу вверх посредством вольных союзов, освобождение всего человечества волей восставшей черни...

— Вот как! «Черни»!

— Разрушение всех религиозных, политических, юридических, экономических и социальных учреждений составляющих настоящий порядок вещей. Полное и окончательное уничтожение классов равенство индивидов обоих полов, уничтожение наследственных прав, — сказал Бакунин, закончив, наконец, свой бифштекс. Он с наслаждением закурил папиросу.

— А чем вы отличаетесь от марксистов? Я очень невежествен, я знаю, что мой вопрос смещит... Ну, мне говорили, что Маркс признает государство, а Бакунин нет, —

¹ Всемирной (франц.).

уныло сказал Николай Сергеевич, — я это двадцать раз слышал и никогда не мог понять. Что это значит: не признавать государство? Что вы сделали бы, если бы пришли к власти?

— Прочти мою Лионскую программу. — Бакунин тяжело откинулся на спинку кресла и стал перечислять: — Правительственная и административная машина отменяется. Народ берет всю власть в свои руки. Суды, уголовные и гражданские, уничтожаются с заменой народным судом. Уплата налогов и гипотек¹ прекращается. Богатые классы облагаются должной контрибуцией. Каждая коммуна выбирает делегатов для революционного конвента...

— Так ведь это значит: другой парламент, другой суд, другие налоги, но ведь это все-таки государство?.. Однако я не смею спорить. Значит, Маркс с этой программой не согласен?

— Для Маркса моя программа, как все мое, что ладан для черта. А какая его собственная программа, этого никто и в его Санхедерине не знает. Я тебе берусь доказать, что у Маркса есть все пункты моей программы. Но есть и прямо противоположное. У Маркса все есть. Он ведь только дал ш т а н д п у н к т, — саркастически сказал Бакунин, — а уж пусть там кашу расхлебывают другие. Штандпункт же у него такой, что и толковать и применять может каждый дурак, вот ты и представь, что из сего может выйти. Маркс признает и вооруженное восстание. Разумеется, в свое время. Единственное, чего он не хочет, это чтоб вооруженное восстание произошло в его время. Потому ему, видишь ли, надо работать в Британском музее, и единственное, что он в жизни любит, это его теория и работа над ней в Британском музее... Говорят, впрочем, он еще и жену любит, и в таком сухаре это весьма удивительно. Но ежели тебе кто скажет, что Маркс любит трудящихся людей или своих учеников, то плюнь тому в бесстыжие глаза. Маркс в тысячу раз умнее и учнее всего своего Санхедерина, и он прекрасно понимает, какую они без него сделают революцию! — Бакунин опять захохотал. — Ох, не доживу, а хотел бы я одним глазом посмотреть на мондиальную революцию с Либкнехтом, скажем, во главе! Или, еще лучше, провизорное правительство с гнусецом Борхгеймом!.. Я не Бог знает какой моралист, но одно мое слово ты, брат, запомни: революция должна искать опоры не в подлых и не в низменных, а в благородных страстях. Знаю, что без гнусцев не обойтись, на это порой приходится полузакрывать глаза, но ежели наверху преобладают гнусцы, то революция погибнет, верь моему слову.

Горничная, не постучав в дверь, осторожно внесла в комнату большой поднос, на котором были две бутылки, сахар, тарелка с фруктами и какое-то сооружение со спиртовой горелкой. Бакунин опять ласково заговорил с горничной по-итальянски, одновременно занявшись приготовлением жженки. Горничная, смеясь, ему помогала. В комнате запахло ромом и жженым сахаром. Николай Сергеевич молча улыбался и обдумывал, о чем спрашивать старика дальше.

Они выпили по бокалу горячего напитка, который оказался Мамонтову очень крепким — Бакунин вылил в ведро чуть не половину бутылки рома. Николай Сергеевич похвалил жженку.

— Да разве это настоящая жженка? — сказал Бакунин. — Настоящей я с Сибири не пил! Но уж у нас тут такой обычай: с кем перехожу на «ты», кого принимаю в наше братство, с тем пью жженку. Ну, брат, будем здоровы...

— Ведь я еще в братство не принят.

— Это от тебя зависит. Хочешь, сейчас тебя запишу? — Он полез в карман скуртука и вынул кучу стареньких, потертых и погнувшихся карточек. Николай Сергеевич пробежал одну из них: «Association Internationale des Travailleurs. Fédération Jurasienne. Carte de membre central. Sur la présentation de... le porteur de cette carte... né en... originaire de... profession de... a été admis comme membre central. Les membres centraux ont à payer une cotisation annuelle de fr. 1.50»². Мору сейчас же тебя записать. Полтора франка заплатишь и будешь центральным членом нашего братства. Я тебе и шифр дам, чтобы сноситься со мной. Шифр у нас старый, боюсь, что его уже знают, кому его знать не надо. Я там обозначен числом 30, генеральный совет Интернационала был 76, конгресс Юрской федерации 153... Постой: а не 135? — Он за-

¹ Суды под залог недвижимости...

² «Международное товарищество рабочих. Юрская федерация. Членская карточка. По рекомендации... предъявитель этой карточки... родившийся в... году... уроженец... по профессии... принят в качестве действительного члена. Действительные члены платят ежегодный взнос в размере 1,5 франка» (франц.).

думался вспоминая.— Нет, кажется, 153... Ох, становлюсь стар, все позабываю,— сказал он со вздохом, закуривая новую папиросу.

— А что если я все это немедленно сообщу Третьему отделению? — смеясь, спросил Мамонтов.

— Ты намекаешь, что я неосторожен? Но, во-первых, у тебя рекомендательное письмо. А во-вторых, пора бы мне знать толк в человеческих физиономиях. Ведь у меня какая жизнь была! Опыт кой-какой в людях набрался. Твое лицо мне понравилось. Так как же, хочешь стать бакунистом?

— Могу ли я так сразу стать бакунистом? Я теперь знаю общие цели бакунистов, но, какие ваши планы сейчас, я не знаю и даже спрашивать не могу, а то вы в самом деле примете меня за агента Третьего отделения.

Бакунин подумал с минуту, глядя на Мамонтова в упор.

— Я тебе скажу. Верю тебе, у тебя душа молодая и честная. Ты с норовом человек, но прямолинейный. Мы точно стоим за восстание. В результате восстания власть перейдет к революционному меньшинству, а оно создаст коммунистическое общество.

— Да ведь только что было восстание в Испании и не удалось. И ваше восстание в Лионе не удалось, и еще...

— И еще будет десять восстаний, и тоже не удадутся,— нетерпеливо перебил его Бакунин.— А одиннадцатое удастся. Теперь мы задумали думу о восстании в Италии. Мы и «Баронату» купили для этой цели.

— Что такое «Бароната»? Мне еще в Цюрихе русские говорили, что Бакунин живет в вилле «Бароната». Я и собирался там завтра побывать, но вот встретил здесь... Так эта вилла имеет отношение к восстанию?

— А ты как думал? Понятное дело, мы распускаем слухи, будто я получил от братьев из России деньги, остепенился и бросил к черту все публичные дела. А на самом деле мы купили эту виллу для революционного дела. Вилла дрянная, но вид — очарование! С Премухиным может сравняться!.. Премухино — это наше, бакунинское имение в Тверской губернии, где прошла моя юность,— со вздохом сказал он, тряс головой и точно отгоняя от себя воспоминание о Премухине.— Я в этой «Баронате», впрочем, заодно фрукты развожу и разное другое. Ты *Eucalyptus Globololus* знаешь? Великолепное австралийское дерево и растет здесь не по дням, а по часам. Вот вправду скоро за старостью брошу публичные дела и займусь сельским хозяйством. Что я за каторжник такой, чтобы страдать всю жизнь, а? Разве я не имею права на отдых?

— Как не иметь? — ответил, смеясь, Мамонтов.— Быть может, в Михаиле Бакунине пропал мирный помещик.

— Помещик не помещик, но иногда заквакают лягушки, и у меня комок к горлу подступает! — сказал Бакунин. Он вдруг приложил к глазам платок и отвернулся.— Так мне это напоминает Премухино и Россию!.. Ведь ни Премухина, ни России я больше не увижу. Умирать пора...

— Как же умирать, если вы хотите поднять восстание? — смущенно заметил Мамонтов. Ему в самом деле казалось, что этот замученный жизнью человек скоро умрет.— Но какая же эта вилла?

— Маленькая старая вилла на холме над Лаго Маджоре. В саду сажен двадцать виноградника, несколько гряд овощей и цистерна... Тропинка незаметно спускается к озеру. Кроме того, мы прокапываем подземный ход, так что из одной комнаты виллы можно будет пройти к озеру под землей.

Мамонтов вытаращил глаза.

— Зачем же к озеру идти подземным ходом?

— Как ты не понимаешь? — раздраженно спросил Бакунин.— В «Баронате» у нас будет квартира, убежище для революционеров всех стран, склад оружия и тайная типография. Ежели вдруг нагрянет полиция, мы пробираемся подземным ходом вниз, садимся на лодку, и поминай как звали.

— Куда же можно бежать из Швейцарии? Ведь это самая свободная страна в Европе.

— Найдем, куда бежать! Но главное, разумеется, не в том, чтобы бежать от полиции, до того, как полиция нагрянет. мы еще натворим дел. Понимаешь, один берег Лаго Маджоре итальянский, и мы на нем знаем такие уголки, где нет ни стражи, ни таможен, ни часовых. Нужно доставить для восстания оружие — мы подземным ходом выносим к лодке и переправляем в Италию.

— Да сколько на лодке можно переправить оружия? Ведь такое игрушечное восстание подавит одна полиция без всяких войск.

— Я тебя, брат, не учу, как краски класть на картине. Что ж ты Бакунина учишь, как делать революцию! — сердито сопя, спросил старик, очевидно, не любивший возражений, несмотря на свой бытовой демократизм. — Молод ты, брат, меня учить!

— Ради Бога, прошу извинить! Я в мыслях не имел...

— В революции, ежели ты хочешь знать, всегда три четверти фантазии и лишь одна четверть действительности. Этого только Маркс в Британском музее не понимает! — сказал Бакунин и опять стукнул кулаком по столу. Жженка пролилась из стакана. Он залпом его опорожнил. — И все-таки революция будет! Будет мондиальная, универсальная революция! Злая шутка, что я до нее не доживу и что не я буду ею руководить! Но это все равно, кому выпадет счастье: Бакунину ли, Стеньке ли или кому другому! Лишь бы слились в России две могучие стихии — крестьянская и разбойничья, — и тогда заварится каша на весь мир!

— Ну, хорошо, — нерешительно сказал Николай Сергеевич. — Ну, вы уничтожите врагов. Дальше что?

— Присутственные места сожжем! В первый же день, с их архивами, бумагами, с их вековой человеческой грязью. — Лицо у него вдруг передернулось. — Их сожжем в первый же день!

— Архивы? Если я правильно разобрал по-итальянски, вы и на лекции тоже говорили об уничтожении бумаг? Почему это имеет такое значение?

— Сожжем в первый же день! — угрюмо повторил старик все с той же судорожной гримасой. — Как ты не понимаешь? Ежели все бумаги сожжены, имущественные, судебные, архивные, то к прошлому не может быть возвращения, — пояснил он, мотая головой. — Разумеется, все сожжем, все! Не в первый день, а в первый час! — «Кажется, у него это мания», — подумал Мамонтов, с недоумением и испугом глядя на бледное дергающееся лицо старика. — И заварим такую кашу, какой еще никогда не пробовал мир!

— А когда каша будет сварена и съедена?

— Что же ты хочешь сказать?

— Ну, установите новый общественный порядок. У всякого трудящегося сначала в Италии, потом, скажем, в России, потом во всем мире будет домик, курица в супе, и не только в воскресенье, а каждый день. Что вы будете делать дальше? Что при новом общественном порядке делать таким людям, как Бакунин?

— Дальше что? — переспросил озадаченно старик. — Дальше я сейчас не заглядываю. — Он засмеялся, и лицо его опять приняло добродушное, почти спокойное выражение. — Дальше скоро я все разрушу и начнем все сначала... Ты мне нравишься, право! Ну, довольно об этом говорить. Значит, ты приехал в Локарно единственно для того, чтобы меня, старика, повидать? Польщен весьма. Я повез бы тебя в «Баронату», ты мог бы погостить на нашей квартире, но беда, видишь ли, в том, что я уезжаю по делам.

— Вы уезжаете? Ах ты, Господи! — сокрушенно сказал Николай Сергеевич.

— Так что же?

— Как что. — Мамонтов вздохнул. — Значит, первый блин комом. Ведь я хотел написать ваш портрет, — сказал он, решив за трудностью отказаться от фраз без «вы» и без «ты».

— Вот, значит, для чего ты ко мне приехал! Так бы и говорил! А то «учиться уму-разуму»... Тогда подожди меня, братец, здесь. Я через недельку вернусь.

— Нет, я лучше снова к вам приеду, — ответил Николай Сергеевич. «Если он говорит «через недельку», то может приехать и через три, а ты его жди в этой дыре!» — подумал он. — Если будет ваша милость, я напишу вам и приеду в «Баронату» дня на три-четыре, чтобы работать пелый день и написать вас как следует. Согласны?

— Согласен, но поторопись, ежели не хочешь меня писать в гробу... Я шучу, приезжай, всегда буду рад.

— Однако вы не думайте, Михаил Александрович, будто я вам солгал: я приехал не только для того, чтобы написать ваш портрет. Ведь я еще и не знаю, выйдет ли из меня хороший художник, а плохим быть я не желаю. Не знаю, что я буду делать в жизни. Я действительно хотел научиться у вас.

— Хотел? Больше не хочешь?

— Хочу, конечно, — ответил Мамонтов. Как ни интересен был ему Бакунин, он

понимал, что не научится у старика мудрости, которая ему подходила бы.— Я только не знаю, по пути ли нам? Вы моря крови проливать хотите, а я, Михаил Александрович, не люблю кровь.

— Ты, что ж, думаешь, я ее люблю! — сказал Бакунин.— Терпеть не могу. И жестоких людей не люблю. Но ежели надо, то надо.

— Одним словом, вы готовы ее проливать. А я думаю, что тех же целей можно достигнуть мирно. Не сразу, конечно, но сразу и ценой крови нельзя... Впрочем, с моей стороны нахально спорить с вами: вы об этом думали всю жизнь, а я так мало знаю... Не сердитесь на меня. Может быть, почитаю ваши книги и сам к вам приду: возьмите меня. Я завтра утром уеду в Париж и по дороге в Цюрихе куплю все ваше, что найду в книжной лавке.

— Ну что ж, твое дело. Насильно мил не будешь... Хорошо, хорошо, не протестуй... Так ты спешишь в Париж? Фрукты писать? — насмешливо спросил Бакунин.— А то, когда прочтешь мои книги, тотчас и возвращайся. Будешь с нами работать.

— С вами работать? С кем же и над чем?

— Над чем, я тебе сказал. А с кем? С бакунинцами, ежели они так именуются. Ну, с Кафиеро. Не слышал о нем? Это мой итальянский ученик. Он тоже получил наследство, но он его целиком отдает на дело революции.— Николай Сергеевич вспыхнул.— Нет, это я тебе говорю не в укор, а потому, что пришлось к слову. Что же, ежели ты революции не сочувствуешь? Жаль.

— Я этого не сказал. Я сказал, что сам еще ничего ровно не знаю и не понимаю.

— На деньги Кафиеро мы и купили эту виллу. Я там числюсь хозяином, но, разумеется, она не моя. Я на ней имею стол и кров. Много ли мне нужно? Чай и табачок есть, больше человеку ничего не требуется. Одно только: болеть стал! Это, братец мой, последнее дело.

— Что такое? Какая болезнь?

— Разные, верно. а, главное, сердце ожирело и очень я стал нервозен. Почти не сплю, лежать трудно, одеваться и раздеваться трудно. Иногда по нескольку дней не раздеваюсь, ежели помочь некому. С зубами тоже нехорошо, надо бы заправить челюсть, да не хочется и денег нет.

— Михаил Александрович, возьмите у меня денег! — горячо сказал Мамонтов.— Я не могу отдать свое состояние на революцию, потому что... Потому что этого никто не делает. Но...

— Не говори — никто. Вот Кафиеро отдает.

— Кафиеро я не знаю. Но Герцен, например, был богатый человек и не отдал. Да я и сам ведь не знаю, кому сочувствовать...

— Я тебя ничуть и не обвиняю и в причины твоего нехотения не вхожу. Не отдаешь — твое дело. Тут и объяснять нечего.

— Не отдаю. потому что хочу жить свободно, а это без денег невозможно. Но если бы вы согласились взять у меня несколько сот франков, то я был бы, прямо скажу, счастлив. Не на итальянскую революцию, а на ваше лечение, а? Вы мне сделаете честь.

— Да ты меня так не убеждай. Меня и убеждать не надо. Несколько сот франков, говоришь? Пятьсот?

— Отлично, пятьсот.

— Возьму с благодарностью, вот приятная неожиданность! Надо еще выпить,— сказал Бакунин, разлив по стаканам остаток жженки.— Твое здоровье! — Он выпил и закусил остатками сыра. Николай Сергеевич смущенно отсчитывал деньги.— Спасибо, голубчик. А челюсти я себе все-таки не заправлю. К доктору, пожалуй, пойду, и лекарства куплю, и аптекарю. кстати долг заплачу.— Он вздохнул.— Странно, я всю жизнь брал займы справа и слева и никогда по сему поводу не чувствовал смущения. А что меня за это ругали. сказать тебе не могу. Еще покойный мой друг-недруг Белинский ругал... Он, впрочем, сам брал деньги займы, где только мог, но он это делал с мукой. А я, видишь ли, без муки. Никогда я этого не мог понять. «Честь, честь!» — с ласкадой передразнил кого-то Бакунин.— При чем тут честь? И что такое честь? «Мое» «твое»!.. Я своей жизнью смею думать, завоевал себе право на то, чтобы за мой чай с хлебом и за табак платили другие и чтобы меня этим не попрекали, а?

— Да, разумеется!

— Ну, спасибо тебе. Вот не думал, не гадал! Признаюсь, когда Джакомо сказал

мне о компатриоте, я подумал, что надо выручать этого компатриота из беды. Помнится, я даже предложил тебе денег, а? Ну да, предложил. Ты не думай, что я только беру. Я сам с каждым рад поделиться, когда у меня есть... Господи, у кого только я не брал займы! Помню, в Сибири я задумал бежать из ссылки, нужны деньги, а их-то, как всегда, и нет. Был там вице-губернатор, хороший человек... Как его звали? Забыл, сейчас вспомню... Ну, мы с ним были знакомы, я всех знал. Ведь генерал-губернатор граф Муравьев приходился мне близким родственником. Поехал я к вице-губернатору, говорю ему: так, мол, и так, дайте, говорю, тысячу рублей займа. Он заахал: да у меня, говорит, Михаил Александрович, таких денег нет в свободном состоянии! Да и зачем вам, говорит, Михаил Александрович, такая сумма? Тут в глуши такие деньги и истратить не на что! Тут, в глуши, говорю я ему в ответ, точно, истратить не на что. Но мне, видите ли, ваше превосходительство, бежать нужно отсюда, из ссылки, а на это требуются немалые деньги. И что же ты думаешь? Дал! Ежели, говорит, на побег, то я не могу отказать. Получите... Ты смеешься? Ну да, потому он русский человек. Немецкий вице-губернатор небось не то что не дал бы, а сейчас же послал бы за полицией, уж в этом ты верь моему слову... Или вот не очень давно разозлил меня этот контовский поп Вырубов своими писаниями. Смерть хотелось ему ответить брошюрой, а напечатать ее не на что — было тогда полное безденежье. Что ж, взял я и написал Вырубову: хочу тиснуть о вас ругательную брошюру и пороха не хватает, не пришлете ли мне для уплаты за нее типографии триста франков? Присла! Потому он тоже русский человек... Да что ты хохочешь?

— От восторга, Михаил Александрович!

— Ежели б ты мне не предложил денег, я сам бы к тебе обратился, узнав, что ты богатый человек. Я не говорю тебе, когда отдам. Ты сам понимаешь, что не отдам никогда. Но это очень мило, что ты предложил по своей воле. За это я тебя угощаю: и за обед, и за шампанское плачу я... Не спорь, слушать ничего не хочу!.. А на твои деньги я теперь разведу музыку,— добавил он, подумав.— Нет, я ни к доктору не пойду, ни к аптекарю, ни к дантисту. Они подождут. Завтра же пошлем одного человека в Болонью! Разлюбезное дело!

Он засмеялся от радости. Николай Сергеевич хотел было возражать, но раздумал.

— Я в жизни не видал такого человека, как вы, и даже не предполагал, что такие люди возможны! — совершенно искренне сказал он.— Хотелось бы еще выпить с вами, да боюсь, что вам вредно.

— Вредно? Конечно. вредно. А что мне не вредно? И мясо вредно, и табак вреден. Но больше заказывать вина не надо: и поздно, и выпили мы достаточно. Посчитай: на двоих бутылку шампанского, бутылку красненького и по стакану рому. В молодости, когда я был офицером, я много мог выпить. Теперь не могу, уходили сивку крутые горки.

— Не думаю, уж очень мощная сивка!

— Сивка, пожалуй, крепкая, да горки были очень крутые... А ты пьешь недурно. Ты вообще мне нравишься. *Tu as le diable au corps et le poivre au s...*¹ Я люблю это выражение. Чего ты все гогочешь? Пора тебе, брат, спать. Ты, чай, устал от прогулки с мешком? А я пойду работать.

— Как работать?

— Я всегда работаю до утра. А нынче много надо написать писем разным человечкам. Сколько у меня времени уходит на письма, да и денег, ведь я почти все франкирую,— не без гордости пояснил старик.— Теперь особливо пишу к итальянцам и испанцам... Понравились тебе мои слушатели? Хороший народ, это все эмигранты. Ну, прощай, голубчик. Может, завтра увидимся, а может, и нет — я с утра уйду из дому. Моя комната вон та, против тебя.— Он тыкнул рукой в окно и с большим усилием встал с кресла. Деньги упали на пол, он наклонился, чтобы их поднять. Лицо у него мгновенно налилось кровью. «Он может умереть каждую минуту! — подумал Николай Сергеевич, не успевший помочь старику.— Самое время устраивать восстание!» Бакунин неожиданно его обнял.

— Ежели не увидимся, не забывай и не поминай лихом. И еще раз от души тебя благодарю за деньги. А «мудрости», боюсь, я тебя не научил! Ох, чувствую, выйдет из тебя лаврист! — сказал старик, сопя крепче прежнего.

¹ — У тебя черт в теле и перец в ж... (франц.).

Несмотря на большую усталость, Николай Сергеевич от волнения долго не мог заснуть. По природе он легко находил в людях смешное и дурное, при желании это можно было найти и в Бакуanine. «Однако кто в нем отыскал бы это, тот выдал бы самому себе патент на неизлечимое мещанство. В нем не смешно и не гадко даже то, что было бы смешно и гадко в другом. Вероятно, это происходит от размеров личности, уж очень все титанично в Бакуanine. И самое удивительное, пожалуй, его простота, так необычайно сочетающаяся с умом, блеском и, главное, с мощью... Да, необыкновенный, необыкновенный человек! Но самое странное его глаза! Так они не идут к его простоте», — думал Николай Сергеевич. Неожиданно простота Бакуanine вызвала в его памяти воспоминание о Кате. Он сам улыбнулся этому сопоставлению и подумал, что из Парижа, быть может, скоро вернется в Петербург. «Зачем мне, собственно, ехать в Лондон?»

Мамонтов сам себе ответил, что собирался в Лондон больше по чувству симметрии: «Уж если Бакуanine, то и Маркс. Но прежде всего нет никаких оснований думать, что Маркс меня примет. К Бакуanine было все-таки рекомендательное письмо, хотя оно на него не произвело впечатления. К Марксу нет и письма. Допустим, что я как-нибудь найду рекомендацию. *Distinguons*¹. Для того чтобы написать портрет Маркса, нужно все-таки иметь некоторое имя, иначе он меня примет за любителя в поисках знаменитостей, и в этом будет доля правды. Я поеду к Марксу и к другим, когда создам себе хоть некоторое положение в мире живописцев, а для этого нужно время. Разговоры же об «уме-разуме»... Что дал мне сегодняшний разговор? Решительно ничего, в этом Черняков был прав. Так же было бы, вероятно, и у Маркса. Правда, я рад и счастлив, что познакомился с Бакуanine, и не только из тщеславия, не только потому, что можно будет об этом рассказывать. Конечно, нынешний день дал мне сильнейшее впечатление, которого книги Бакуanine не дали бы. Но «уму-разуму» у бакуинистов не научишься, с их подземными ходами и мондиальной революцией, которую они развозят на лодке... Должно быть, это очень смешно, его «Бароната», — улыбаясь, думал Николай Сергеевич. — Как только такой умный человек может быть столь наивен? Ведь у него и чувство юмора есть, и большой жизненный опыт, и вот со всем этим — «Бароната»!.. Нет, к Марксу мне скакать незачем. Поеду в Париж, и там будет видно... Буду много работать, попробую показать «Стеньку» и другое...»

Николай Сергеевич проснулся от утара — засыпая, забыл потушить лампу. Он с досадой поднялся на подушке, на которой медленно оседала сажа, дунул в стекло, встал и отворил окно. Уже почти рассветало. В окне против его комнаты светилась свеча, Бакуanine сидел за письменным столом и, низко наклонившись, что-то писал.

Часть третья

I

Юрий Павлович вернулся со службы на извозчике раньше обычного часа, что с ним случалось чрезвычайно редко. В министерстве он вдруг почувствовал себя плохо: сильно разболелась голова, как будто был и жар. У себя дома Дюмлер с трудом поднялся по лестнице и даже остановился передохнуть, держась рукой за перила. «Надо было бы перенести спальню вниз», — подумал он, Юрий Павлович вошел в свою любимую, самую теплую в доме комнату, которая называлась диванной, и там опустился в первое же кресло. «Уж не позвать ли врача?»

В последнее время он говорил, что не верит в медицину. Это в Петербурге было с некоторым пор модно, после огромного успеха романов графа Льва Толстого. Но к Юрию Павловичу мода пришла кружным путем, он вообще романов не читал и только перелистывал в «Русском вестнике» главы «Анны Карениной» — о ней теперь говорили в каждом доме столицы. «Нет, кое-что врачи все же умеют лечить... Зубы, например, это бесспорно...»

Узнав что у мужа болит голова и что он репьял вечером остаться дома. Софья Яковлевна насторожилась. Она знала что Юрий Павлович без серьезной причины не отказался бы от бала у германского посла.

¹ <Здесь> Разница в следующем (франц.).

— В чем дело? Только оттого, что голова болит?.. Конечно, теперь не очень удобно отказываться. Но если ты нездоров... Кажется, у тебя жар! — сказала она, вглядываясь в усталое, бледное, с воспаленными глазами лицо Юрия Павловича. — Сколько раз я тебе говорила, что при нашем гнилом климате нельзя в апреле так сразу переходить от шубы к пальто!

— К сожалению, промежуточные формы между шубой и пальто еще не изобретены господами портными, — ответил со слабой улыбкой Юрий Павлович и вдруг, схватившись за грудь, стал кашлять неприятным сухим кашлем.

— Ты простужен, и очень простужен! — сказала Софья Яковлевна, приложив руку к его лбу. — Вот что значит ходить без фуфайки в такую погоду! Ты отлично знаешь, что у тебя хронические катары. Я сейчас же посылаю за Дмитрием Ивановичем.

— Ни за что. Я просто выпью чаю с лимоном и завтра буду совершенно здоров. А тебя я решительно прошу, Софи, отправиться на бал.

— Ты «ни за что», и я «ни за что», — ответила Софья Яковлевна. Оба «ни за что» были без восклицательного знака. Юрий Павлович знал, что его жене очень хочется быть на балу, а Софья Яковлевна понимала, что ее муж согласится вызвать врача. — Эти балы вообще начинают становиться невозможными, надо положить конец этому безумию — ни одного вечера нельзя спокойно провести дома.

Дюммлер устало зевнул. Ему было известно, что в те, действительно редкие вечера, когда они оставались одни дома, Софья Яковлевна, уложив Колю, очень скучала. После недолгого спора был достигнут компромисс. Вместо двадцатипятирублевого профессора Академии был вызван скромный молодой трехрублевый врач, введенный в их дом Черняковым и пригласившийся тогда, когда у Коли «слегка подскакивала температура» или, реже, в случае болезни слуг. Дело было, впрочем, не в расходе, а в том, что появление профессора создавало тревожное впечатление в доме и вне дома. Почему-то Дюмmlеры тщательно скрывали свои болезни, точно в них было нечто постыдное или могущее повредить им в общественном мнении.

Трехрублевый врач Петр Алексеевич никакой тревоги не вызывал. Из-за его имени-отчества и крошечного роста все называли его Петром Великим; хотя эта вечная шутка казалась ему в высшей степени неуместной, он по своему благодушию не серчал. Петр Алексеевич принадлежал к давно обедневшей, старой дворянской семье. Быть может поэтому к нему благоволил Дюммлер, много занимавшийся генеалогией (он имел большую генеалогическую библиотеку и состоял членом общества геральдики; в России Юрий Павлович особенно ценил балтийскую аристократию и в душе только ее признавал самой настоящей). Ему было жалко Петра Алексеевича, который, принадлежа к родовитой семье, был врачом, да еще трехрублевым. Иногда Дюммлер снисходил до разговоров с Петром Алексеевичем на философские и политические темы. В философии оба были материалистами; Юрий Павлович, впрочем, свои философские взгляды держал про себя. Он находил, что религия полезна народу, хотя и не очень полезна. Твердая власть при хорошей полиции могла заменить религию. Этого, впрочем, Дюммлер никому не говорил. В политике он из материализма выводил консервативные воззрения, а Петр Алексеевич — передовые.

Был достигнут компромисс и по вопросу о бале: Софья Яковлевна обещала поехать, если Петр Алексеевич признает нездоровье мужа несерьезным. По ее настоянию Дюммлер надел халат и прилег на диван. Ему дали чаю с лимоном. Лампу заменили свечой с абажуром. Коле велено было не шуметь. Для больного заказаны были бульон и куриная котлета, хотя он с отвращением сказал, что просто не может думать о еде. В доме установился дух любви и общей готовности к жертвам. «Поззия болезни», — подумала Софья Яковлевна.

— Пустяки, конечно, — уверенно сказал Софье Яковлевне доктор по пути в диванную, откуда слышался кашель. — Сейчас в городе у всех инфлюэнца или, по крайней мере, насморк.

— Вы думаете, он может нынче выйти? Только, ради Бога, не пугайте его. Юрий Павлович говорит, что он совершенно не мнителен, но я не знаю человека мнительнее, чем он.

— Все мнительные люди уверяют, что они и не думают о своем здоровье, — сказал Петр Алексеевич и, войдя в полутемную диванную, остановился. Он все боялся раздавить, опрокинуть, разбить что-либо дорогое в этом богатом доме. — Здравствуй-

те, ваше высокопревосходительство, что же это вы? — спросил шутливо доктор, всегда называвший Дюммлера по имени-отчеству.

Когда в комнату внесли лампу, шутливость с Петра Алексеевича соскочила; да и Софья Яковлевна теперь впервые с тревогой подумала, что, кажется, ее муж заболел по-настоящему. Доктор тоже приложил руку ко лбу больного, сделав над собой некоторое усилие: этот материнский жест выходил не совсем естественным в отношении пожилого человека, вдобавок министра и тайного советника.

— Да, конечно, некоторый жар, — сказал Петр Алексеевич, понемногу бессознательно стирая улыбку на лице. Он пощупал пульс, измерил температуру и, поспешно встравив термометр, объявил, что тридцать восемь с хвостиком.

— С каким именно хвостиком? Хвостики бывают разные, — попробовал опять пошутить Дюммлер. Доктор сделал вид, будто не слышит, вынул из футляра старой формы цилиндрический стетоскоп, выслушал больного и нехотя объявил, что ничего опасного нет.

— Обострение вашего застарелого катара. Придется, Юрий Павлович, полежать... Служба? Нет, на неделю-другую вам надо о службе забыть! Служба не убежит.

Поговорив еще о Бисмарке, Петр Алексеевич вышел и в гостиной уже без улыбки объявил Софье Яковлевне, что у Юрия Павловича, по-видимому, крупозное воспаление легких. Он сам предложил устроить консилиум, понимая, что в этом доме при крупозном воспалении легких поднимут на ноги всю Академию.

— Не могу скрыть от вас, что температура 39,5. Вероятно, еще повысится к ночи, — сказал он и, увидев ужас, скользящий по лицу Софьи Яковлевны, поспешил добавить: — Большой опасности я не вижу. Само по себе воспаление легких не страшная вещь. Лишь бы не было осложнений, особенно в области сердца... Если хотите, я сам сейчас съезжу за Кошляковым. Может, на счастье, застану дома.

— Умоляю вас, доктор, привезите его тотчас. Вы поедете в нашем экипаже.

— Вы думаете, его так легко найти! Ведь ваш человек и меня застал случайно, опоздай он на пять минут, не нашли бы до самой ночи.

Приехавший поздно вечером профессор подтвердил диагноз Петра Алексеевича. Температура была 40,1. Больной учащенно дышал и жаловался на боль в груди. Врачи вполголоса даже в гостиной говорили о возможности гнойного плеврита, перикардита и эндокардита. Софья Яковлевна старалась понять значение этих слов, не обещавших ничего хорошего. Самым тревожным признаком было то, что профессор, человек вполне бескорыстный и обладавший громадной практикой, первый, не дожидаясь приглашения, сказал, что завтра заедет опять.

— Но все-таки, профессор, это опасно или нет?

— При общем состоянии организма Юрия Павловича это довольно опасно, — ответил, немного подумав, профессор.

На следующий день в том обществе, в котором проходила жизнь Дюммлера, пронесся слух, что Юрий Павлович очень, очень болен. А еще дня через два или три стали шепотом говорить, что он умирает. Дюммлер имел множество знакомых и сослуживцев, и среди них волнение было велико. Как почти всегда, болезнь поразила всех своей неожиданностью. Люди вспоминали, что видели Юрия Павловича чуть ли не накануне болезни: «Он был вот как сейчас мы с вами! Шутил и был весел». — «Ну, весельчаком он никогда не был...» Разговоры сводились к бессмысленному удивлению: был здоров, пока не заболел.

К общему облегчению, стало известно, что Софья Яковлевна никого не принимает. Знакомые оставляли карточки и поспешно уезжали, как бы опасаясь: вдруг все-таки примут. По утрам первым делом заглядывали в траурные объявления газет. Объявление, которого ждали, не появлялось.

Через неделю стали приходиться более успокоительные сведения. Новый консилиум признал улучшение, сердце выдержало, кризис миновал. Почему-то сообщалось это чуть ли не с некоторым разочарованием, хотя все поспешно добавляли: «Слава Богу!» Непонятное разочарование чувствовалось даже у людей, которые не только не желали зла Дюммлерам, но всячески им сочувствовали. Точно после прежнего полноразличного шепота: «Слышали, умирает Юрий Павлович Дюммлер!» — новые сообщения не удовлетворяли человеческой потребности в драматизме.

Сам больной не догадывался, что его положение так опасно. Врачи и Софья Яковлевна бодро говорили ему о некотором обострении его катара. Мысль о смерти

не доходила до сознания Юрия Павловича то ли вследствие крайней непривычности этой мысли или из-за полной внезапности болезни. Незнанию веселая улыбка жены, ее шуточные упреки, успокоительный тон врачей действовали на Дюммлера, хотя, как все, он отлично знал, что тяжело больных людей всегда обманно успокаивают врачи и родные. Софья Яковлевна обманывала его искусно (она находила бессознательное удовлетворение в этой своей актерской игре). Однако по тому, что врачи приезжали два раза в день, что несколько раз устраивали консилиум, что применялись общеизвестные средства, при помощи которых поддерживается деятельность сердца у умирающих, Дюммлер мог бы догадаться о правде.

Впрочем, он большую часть дня и ночи был в полузабытьи. Острых болей у него не было, страдал он, главным образом, от затрудненного дыхания, от частого сухого кашля, от озноба, от слабости и беспомощности. Ему все хотелось переменить положение — лечь повыше, лечь пониже, — и все было худо, хотя сменявшиеся при нем сиделки постоянно переключались, взбивали подушки. Эти сиделки особенно раздражали Юрия Павловича отчасти своей глупостью, сказывавшейся и в том тоне, в котором они с ним говорили, отчасти самой своей работой — в ней отсутствовала элементарная стыдливость. Как на беду, это были молодые миловидные женщины. Одна из них, самая глупая из трех, проводила ночи в спальне на диване, поставленном вместо кровати Софьи Яковлевны. Дюммлер не мог привыкнуть к тому, что в комнате, куда и днем редко допускались люди, теперь ночевала чужая, неизвестная ему даже по имени женщина. Измерив температуру, сиделка радостно объявляла: «Ну, вот как хорошо, ваше высокопревосходительство! Всего каких-нибудь 38. Молодцом». Этот полушуточный тон, точно он был ребенком, сочетание «вашего высокопревосходительства» с «молодцом» казались ему идиотскими. Угнетали его и непривычная ему бездеятельность, и полная неопределенность положения, он постоянно спрашивал врачей, сколько оно может продолжаться; они отвечали уклончиво или шуливо.

Кроме докторов, жены и сиделок, Юрий Павлович никого не видел. В те часы, когда ему становилось лучше, Софья Яковлевна сообщала мужу, кто присылал спросить, кто заезжал. К этому он проявлял интерес, спрашивал, переспрашивал. Среди приезжавших были его недоброжелатели и даже враги. Их внимание его трогало, и Юрий Павлович думал, что по выздоровлении пересмотрит свои отношения с этими людьми. «Что такое мелкие — да пусть и не мелкие! — счеты по сравнению со здоровьем!.. А Василий Петрович, я знаю, сам больной человек, и тяжело, не то, что я...» Дюммлер теперь особенно интересовался больными. Физически он очень изменился за несколько дней болезни. Между бакенбардами у него появилась седая щетина, старившая его лет на десять, и под ней теперь особенно неприятно обозначилось адамово яблоко. Около ноздрей появилась легкая сыпь. Глаза были воспалены. Его все время била дрожь, в которой он, впрочем, находил и что-то вроде удовольствия. Софья Яковлевна говорила Чернякову, что Юрий Павлович изменился и морально — «размяк». Она, впрочем, и сама подобрела.

На пятый день болезни наследник престола прислал адъютанта справиться о здоровье Юрия Павловича (государь был за границей). Софья Яковлевна тотчас сообщила об этом больному, хотя и знала, что это его взволнует (сама она скрывала удовольствие тем более что не сочувствовала политическому направлению наследника). Юрий Павлович неожиданно прослезился и долго расспрашивал, какой именно адъютант приезжал и что он сказал и что ему ответили. «Надо было его пустить ко мне!» — взволнованно прошептал он. Этот знак внимания тоже мог бы навести Юрия Павловича на предположение, что он очень плох, и тоже не навел.

Под вечер после третьего консилиума сиделка, измерив температуру больного, вышла из спальни, забыв на столике термометр. Юрий Павлович с трудом поднялся на кровати, дрожащими руками вынул из футляра очки и, придвинув свечу, выследил кончик ртутного столбика: 40.2! Он выронил термометр и, задыхаясь, кашляя, повалился на подушки. Только теперь он понял, что его все время обманывают. «Что же это? Неужели смерть? Ist das möglich?» — с ужасом спросил он себя. Он подумал, что не успел оформить некоторые изменения в завещании. Вдруг оно окажется недействительным? Юрий Павлович старался и, к своему изумлению, не мог вспомнить, кому по закону пошло бы его состояние. Все сыну? Нет, часть жене, но какая именно? И то, что он не мог вспомнить законов, известных каждому юристу, еще усиливало его ужас. «Не может быть, чтобы это было правдой! Смерть оттого, что не надел

¹ «Это может быть?» (нем.).

фуфайку!» Подумал, не продиктовать ли письмо к государю, как делали перед смертью некоторые сановники. «Нет, не может быть! Ausgeschlossen!»¹ — прошептал он.

— В чем дело? Отчего ты в очках? — тревожно спросила Софья Яковлевна, войдя в спальную. Она быстро подошла к кровати. — Что это? Ах, я раздавила термометр! Верно, та дура уронила?

— Я видел: 40 с половиной! — прохрипел Дюмлер. — Все обманывали! Зачем обманывали?.. Я умираю, да?..

Софья Яковлевна дала ему честное слово, что у него никогда 40 с половиной не было, что он просто не разглядел, что ртуть, быть может, поднялась из-за тепла свечи на столике. Он сначала не поверил, потом почти поверил, мысли его смешались, он стал бредить, хриплым шепотом произносил малопонятные немецкие и русские фразы. Ночью опять вызвали профессоров. Они не скрыли от Софьи Яковлевны, что есть непосредственная опасность, что не исключен неблагоприятный исход. Эти слова, благозвучно означавшие смерть, привели ее в ужас. В эту ночь она почти не выходила из спальни. Дежурил в доме и Петр Алексеевич, упорно говоривший, что он был и остается оптимистом.

Мнение Петра Алексеевича оказалось верным. На следующий день больной проснулся, обливаясь потом. Софья Яковлевна сама измерила температуру и не поверила глазам. Новый термометр показывал 36,8! Петр Алексеевич, немного вздремнувший в диванной, радостно объявил, что произошел кризис, кончившийся благополучно. Его заявление подтвердил и приехавший профессор.

— Сердце вчера особенно пошаливало, но теперь все обойдется, — сказал он (это выражение, казавшееся Софье Яковлевне игривым и почему-то семинарским, прежде ее раздражало). Получив от профессора подтверждение, что непосредственной опасности больше нет, Софья Яковлевна вошла в спальную.

— Ну, вот, конечно! Теперь ты перестал быть интересным! Больше ни малейшей опасности нет. Температура 36,8, ты сам видел. А сорока с половиной никогда и не было, — весело сказала она. «Мысленная резервация» заключалась в том, что выше 40,2 температура действительно не поднималась; Софья Яковлевна не любила лгать на честное слово, даже для успокоения больного. Преодолевая некоторую брезгливость, она поцеловала мужа в мокрый лоб и объявила, что теперь сама хочет отдохнуть. Действительно, она была измучена и волнением, и бессонными ночами, и всего больше той необычной жизнью, которую вела в последние десять дней. Ей хотелось и выспаться, и подумать обо всем по-настоящему. О чем именно, это ей самой было не вполне ясно.

В доме перестали ходить на цыпочках. В гостиных все увеличивалось количество цветов, а на серебряной тарелке в передней — число визитных карточек. Посетителей, неосторожно спрашивавших, принимают ли, теперь принимали. Впрочем, очень скоро дом Дюмлеров стал опять почти таким же приятным, каким был всегда, и только вначале гости еще говорили испуганным сочувствующим шепотом. Визиты утомляли, но и развлекали Софью Яковлевну. Она даже не очень тяготилась тем, что каждому приезжавшему гостю надо было все рассказывать сначала: когда именно заболел Юрий Павлович, что сказали врачи в первый день, что они говорят сейчас. Уже почти не меняя выражений, лишь несколько ускорив темп, Софья Яковлевна послушно все рассказывала. Гости сообщали, как они узнали о болезни Юрия Павловича, выражали свои чувства и давали советы. Потом начинался обычный разговор, теперь из-за пропущенного времени особенно интересный Софье Яковлевне. Она постоянно ругала петербургскую жизнь и иронически относилась к обществу, в котором жила, но и в эти дни особенно ясно почувствовала, что любит это общество и никого другого не желает.

Черняков бывал теперь в доме сестры каждый день. В прежние времена Михаил Яковлевич лишь забегал к Дюмлерам. Теперь это слово к нему больше не подходило. Общественное положение Чернякова очень поднялось в последний год. Его работа о вечных собраниях была лестно отмечена в немецкой печати; он готовил новый большой труд и считался на вакансии экстраординарного профессора, должность ему даже была почти обещана, потребовались, правда, не совсем приятные для его достоинства ходы и просьбы, но он утешал себя тем, что без таких ходов нельзя стать профессором и вообще ничем стать нельзя. Имя Чернякова не менее двух раз

¹ Исключено! (нем.).

в месяц появлялось и в ежедневных газетах. Михаил Яковлевич теперь стал еще самоувереннее. Софья Яковлевна не стыдилась брата; она даже старалась вводить его в такие дома, которые могли быть ему полезными. Черняков вдобавок был тактичен, в политические споры с ретроградами не вступал, а от особенно важных гостей уходил в библиотеку, где любовался прекрасно переплетенными книгами (среди них преобладали политические, исторические и генеалогические труды на немецком языке). Михаил Яковлевич был страстным библиофилом. Он не был завистлив, но вздыхал, глядя на библиотеку Дюммлера. Книги в ней стояли плотными ровными рядами, как стоят книги у людей, которые их не читают.

Четвертый консилиум признал, что опасность миновала совершенно и что больному необходим продолжительный отдых: надо через некоторое время отправиться на воды в Германию, лучше всего в Швальбах, а то в Эмс не столько из-за миновавшего воспаления легких, сколько из-за застарелых катаров. Затем рекомендовалось поехать до сентября в Швейцарию, а на осень на французскую или итальянскую Ривьеру. Врачи не стеснялись в предписаниях, зная, что денег у больного больше, чем нужно. Юрий Павлович, уже очень оживившийся, заявил, что не имеет никакой возможности оставить службу на столь продолжительное время. Профессор-генерал слегка развел руками, показывая, что это не его дело, вдобавок он недоверчиво относился к пользе службы фон Дюммлера.

— Ты отлично знаешь, что тебе дадут какой угодно отпуск, — сказала Софья Яковлевна так сердито, что врачи посмотрели на нее с удивлением, а муж с робостью.

В заключение консилиум себя распустил, разрешив больному читать — по возможности легкие, не утомительные книги — и есть что угодно, кроме тяжелой пищи. Профессор Академии признал излишними и свои дальнейшие визиты.

— Я всецело полагаюсь на Петра Алексеевича, — сказал он. Молодой врач радостно вспыхнул. Все же, уступая просьбе Софьи Яковлевны, профессор согласился заехать еще раз через несколько дней. И в самой неопределенности этих слов «денька через три» было тоже нечто весьма успокоительное.

Профессора уехали. Петр Алексеевич, ставший, особенно в последние дни, своим человеком в доме, пошел пить чай в серую гостиную. Софья Яковлевна направилась было в спальную, но по дороге, в диванной, силы ее оставили, она опустилась в кресло, только теперь вполне ясно поняв, как ее измучила болезнь мужа. Все кончилось благополучно. Тем не менее решение консилиума совершенно ломало ее жизнь. «Швальбах! Потом Швейцария, потом что-то еще!..» До сих пор она держалась нервным подъемом, зная, что на ней лежит все. Теперь оставалась только скука, та, большей частью уютная скука, которую она испытывала в обществе Юрия Павловича.

Софья Яковлевна никогда не была влюблена в мужа. Юрий Павлович смутно подозревал, что у его жены были увлечения. Другого слова он мысленно не употреблял и гнал от себя мысли более определенные. По своим материалистическим взглядам он не придавал чрезмерного значения супружеской верности. Сам, впрочем, был жене верен — частью из-за переобремененности работой, частью потому, что нежно ее любил. Любовью — еще больше, чем своим положением в обществе и богатством — он ее в свое время и подкупил. За четырнадцать лет у Дюммлеров создались ровные, спокойные дружеские отношения, которым способствовало и то, что оба они были так заняты: он службой, она жизнью в свете и воспитанием сына. Для Софьи Яковлевны муж давно был все-таки свой и самый близкий человек.

«Полгода быть сиделкой при больном!» — подумала она. В этом было новое проявление того, чего Софья Яковлевна боялась больше всего на свете: ей в последний год казалось, что жизнь ее, в сущности, кончилась, что впереди остается лишь более или менее сносное доживание. «Да, немного же мне было дано. Другим гораздо больше... За что это?.. Ничего не поделаешь, буду сиделкой... Но как быть с Колей? Отдать его в лицей? Эти ужасные мальчишеские интернаты... Взять к нему гувернера и повезти с нами? Да, так, очевидно, придется сделать...» У Коли давно не было воспитателей. Софья Яковлевна бессознательно ревновала его к гувернанткам и даже к гувернерам. «Лет через пять-шесть он все равно перестанет обращать на меня внимание!»

В диванной на столе лежал «Русский вестник» с «Анной Карениной». «Вот это ему и дать», — подумала она с неприятным чувством. Ей при чтении казалось, что

есть какое-то внешнее сходство между их домом и домом Анны. Софья Яковлевна находила, что в их обществе теперь чуть не все немного подделываются под этот вызывавший небывалый фурор роман. «Недаром спорят, кто с кого писан... Ну, я на Анну никак не похожа и уж сейчас-то менее всего думаю о Вронских!» — с улыбкой подумала она и, вздохнув, отправилась к мужу.

— Вот, ты хотел читать. Все-таки надо же тебе прочесть «Анну Каренину», — сказала она. Юрий Павлович сам понимал, что надо. Ему было и скучно, и несколько неловко за автора, совестно, что пустяками занимается и заставляет заниматься других почтенный, по-видимому, человек, помещик, принадлежащий к хорошей титулованной семье, русской, но через Остен-Сакенов породнившейся с Брюлями, Мантейфелями, Унгерн-Штербергами и даже косвенно с Кеттлерами, вдобавок, кажется, дальний родственник графа Дмитрия Андреевича.

В спальней уже горела лампа. У Дюммлера подбородок еще не был выбрит, бакенбарды не нафабрены и запущены. Это было одной из причин, по которым он никого не принимал. От жены давно туалетных секретов не было.

— Спасибо, моя милая, — сказал Юрий Павлович, редко в здоровом состоянии так обращавшийся к жене.

— Ну, что ж, ты очень огорчен? Несколько месяцев наедине с женой, это ужасно, правда? — спросила она, наливая в ложку лекарство. — Выпей, пора.

Он с трудом приподнялся с подушек, проглотил, морщась, лекарство и поцеловал руку жене.

— Несколько месяцев? Да ты шутишь, — сказал Юрий Павлович слабым голосом.

— Не я, доктора так шутят.

— Но несколько недель провести с тобой и с Колей на водах — это, может быть, в самом деле стоит, а? Мы с тобой мало пользовались отдыхом. Десять месяцев в году ужасной петербургской жизни и два месяца в деревне или на море — это было неблагодарно. Вот и приходится расплачиваться.

— Это даже нельзя считать расплатой, нам за границей, наверное, будет очень приятно, — так же весело сказала Софья Яковлевна. — А сейчас, ради Бога, постарайся заснуть. Они сказали, что это самое главное. Я тушу лампу.

— Да, пожалуйста. Кажется, Швальбах — очень милое место... Ты знаешь, Софи, мое завещание находится у нашего нотариуса... И позволь сказать тебе: я хотел бы лежать на Смоленском евангелическом кладбище, рядом с графом Канкринным...

— Хорошо, хорошо, — вполне равнодушно сказала Софья Яковлевна, зная, что ее муж очень любит говорить о своих похоронах, когда чувствует себя недурно.

— Извини меня, но я должен обо всем подумать. Тебе известно, что я совершенно не боюсь смерти, но...

— Да, да.

— Государь наследник больше не осведомлялся?

— Нет, больше не осведомлялся, — ответила Софья Яковлевна, подавляя раздражение. Юрий Павлович всегда говорил: «государь император», «государь наследник».

— А кто это приехал во время консилиума? Я слышал звонок.

— Это Миша. Я его оставляю к обеду.

— И сердечно поблагодари его за внимание. Я очень оценил и тронут, — сказал Дюммлер еле слышно. Она поцеловала его в голову и вышла. «Да, именно, поэзия болезни...»

В серой гостиной Михаил Яковлевич и молодой доктор говорили тоже об «Анне Карениной».

— Я сегодня был в редакции «Голоса», — сказал, потягивая портвейн, Черняков. — Там говорят, что Левин женится на Кити и что у Каренина будет дуэль с графом Вронским.

— На здоровье, — ответил доктор, с любопытством и осторожностью гладивший ящичек из слоновой кости. — Поразительно, что люди так интересуются какими-то великосветскими хлыщами, вдобавок никогда не существовавшими. Пусть Каренин и Вронский смертельно друг друга ранят пониже брюха и умрут, не обратившись к врачам, ведь граф Толстой, врачей не признает, — саркастически добавил он. — Меня этот роман с графьями весьма мало интересует.

— Что вы, Петр Великий, это замечательная вещь, — сказал Михаил Яковлевич.

Он всегда с некоторым испугом и без уверенности в голосе хвалил «Анну Каренину», но в душе недоумевал: чем, собственно, восхищаются люди?

Доктор осторожно поставил ящичек на место и закурил папиросу.

— Какое, собственно, назначение этого странного предмета?

— Соня, милая, сердечно поздравляю, — обратился Михаил Яковлевич к вошедшей сестре. — Петр Великий сказал, что, по общему мнению всего синклита, больше ни малейшей опасности нет. Слава Богу! Но я всегда говорил, что этот ваш Кошляков любит пугать людей.

— Так вам теперь кажется. Могу вас уверить, что вначале положение казалось чрезвычайно серьезным. Но и сейчас, хотя опасности нет, надо, господа, соблюдать осторожность, я прямо вам говорю, Софья Яковлевна.

— Когда же нам ехать, Петр Алексеевич?

— Я аумаю, числа десятого мая уже можно будет.

— В Швальбах?

— Непременно в Швальбах. Эмские воды почти такие же, но все-таки не совсем то. И, главное, уж очень в Эмсе шумно, это теперь самое модное место в мире.

— Фактическая поправка, почтеннейший. Эмские воды были в моде еще у древних римлян. Кроме того...

— Миша, не мешай. Вы говорите, в Эмсе шумно, доктор?

— По слухам, съезд там невероятный, особенно из-за того, что туда ездит государь. В Эмс сбросились франты со всех концов мира.

— Да, правда, ведь государь в Эмсе! — сказала Софья Яковлевна. — Я и забыла. А воды почти такого же действия, как в Швальбахе?

— Более или менее: углекислый натр, углекислый литий. Действие почти одно и то же. Затем, разумеется, надо будет поехать на Nachkur¹, — заметил доктор, произнося немецкое слово особенно значительным тоном. Он вдруг поймал взгляд Софьи Яковлевны, направленный на его папиросу с покривившимся кончиком. Петр Алексеевич поспешно пододвинул к себе пепельницу, но пепел упал на ковер. — Господи, как я задержался! Еще в два места нужно, — сказал смущенно доктор. — Значит, завтра, часов в одиннадцать?

— Да, пожалуйста. До свидания, Петр Алексеевич, и спасибо. Миша, проводи доктора, будь так добр.

Софья Яковлевна взяла со стола газету, но и не заглянула в нее. «Какого же гувернера можно найти так быстро? Иметь на шее чужого скучного человека... Неужели так придется прожить полгода? Конечно, я люблю Юрия... Да, правда, люблю, и мне его очень жаль... Однако за что же мне послано это наказание? Впрочем, стыдно так думать...»

— Практика прямо изводит нашего Петра Великого! — сказал Черняков, возвращаясь в гостиную. — Он еще не может прийти в себя: на равных правах участвовал в консилиумах со знаменитостями!.. Впрочем, он отличный врач! Вот и у Юрия Павловича сразу поставил правильный диагноз. Ну, еще раз сердечно тебя, Соня, поздравляю. Мне без вас будет скучно... Жаль, что вы едете в Швальбах. Ты знаешь, в Эмсе будет не только государь, но и сам Мамонтов! Я вчера удостоился получения от него письма. Кажется, это второе за год с лишним!

— Николай Сергеевич? Ему-то что делать в Эмсе?

— Вероятно, *cherchez la femme*²... Представь, он продал «Стеньку» и получил какие-то заказы на портреты!

— Почему ты думаешь: *cherchez la femme*?

— Я так говорю, зная нашего Леонардо... Теперь к тебе небольшая обычная просьба, — сказал Михаил Яковлевич, вынимая из кармана конверт. — Билеты на концерт в пользу недостаточных студентов. Дай на радостях двадцать пять целковых.

— Я дам пятьдесят.

— Вот это очень мило. Не говорю тебе — приходи, так как, во-первых, вы будете в Швальбахе, а во-вторых, ты никогда на этих концертах не бываешь.

— Не сердись, это всегда очень скучно. Вперед знаю: сначала будет хор студентов-медиков под руководством профессора химии Бородина, затем Платонова или Леонова споет какую-нибудь «Ночь» или «Вечер» или «Утро» под аккомпанемент

¹ Дополнительное лечение (нем.).

² — Ищите женщину (франц.).

пьяненького Мусоргского и pour la bonne bouche¹. Достоевский прорычит пушкинского «Пророка». Благодарю покорно.

— Достоевского, пожалуйста, не ругай. Мы с ним, может быть, осенью выступим вместе на одном вечере.

— Ты, Мишенька, с Достоевским?

— Да, я, Мишенька, с Достоевским... Он Достоевский, а я Черняков.

— Я ничего не хотела сказать... Разве ты его знаешь?

— Я хочу предложить ему совместное выступление. Может, еще кого-нибудь пригласим, хотя мы и вдвоем соберем полный зал. Это в пользу голодающих.

— Да, я читала в газете, что ты избран в Комитет. Представь, вижу «профессор М. Я. Черняков» и не сразу догадалась, что это ты! — сказала Софья Яковлевна с улыбкой. Она любила своего брата, но знала его слабости и с неудовольствием думала, что именно слабостями он похож на нее, «хотя в другом роде». — Ты остаешься обедать. Надеюсь, ты свободен?

— Как птичка Божия. Мой университетский курс позавчера кончился, так что и к лекциям не надо готовиться.

— Твой курс кончился?... Постой, дай подумать минуту. Кажется, у меня блестящая мысль... Значит, до осени тебе нечего делать в Петербурге?

— Как нечего? Я всегда работаю для себя.

— Да, разумеется, но для себя ты можешь работать где угодно. Послушай, Миша, что если б ты поехал с нами?... Это прекрасная мысль! Знаешь что? Ты ведь на меня не обидишься, правда? Ты очень любишь Колю, и он тебя очень любит. Теперь Юрий Павлович болен и я должна буду находиться часть дня при нем. Если б ты поехал с нами, я была бы гораздо спокойнее!

— Ты что же, хочешь, чтобы я был гувернером при Коле? — обиженно спросил Михаил Яковлевич.

— Да нет же! Какой ты странный! Нам гувернер при Коле и не нужен, он отлично себя ведет. Но вдруг, например, нужно Колю увезти назад в Петербург, а я должна буду остаться с Юрием Павловичем? Вероятно, это будет именно так. Вот он с тобой бы и вернулся. Ну, а если ты не как гувернер, а как дядя захочешь иметь общий надзор за его образованием, я была бы тебе вообще чрезвычайно благодарна. До сих пор этим занимался Юрий Павлович, теперь он болен, а я, как ты знаешь, совершенно невежественна... Может быть, тебе и самому было бы полезно отдохнуть на курорте? Ты ведь тоже устал за год! А весь день у тебя оставался бы для работы, — говорила Софья Яковлевна, не заботясь о противоречиях в своих словах.

— Я, право, не знаю... Я, собственно, предполагал летом уехать недельки на три в Сестрорецк.

— Ну, вот видишь, «недельки на три». А так ты уедешь на самые жаркие месяцы года, будешь жить в хороших условиях. И, разумеется, если б ты согласился оказывать мне эту громадную услугу, то я потребовала бы, чтобы ты взял деньги на свои личные расходы.

— Как тебе не стыдно, Соня!

— Нисколько не стыдно. Иначе это для меня неприемлемо. Что такое? — обратилась она к лакею, остановившемуся на пороге гостиной.

Узнав, что Юрий Павлович просит ее к себе, Софья Яковлевна поспешно вышла из комнаты.

— Отчего же ты не спишь? — спросила она мужа. — Ведь они сказали, что первое и главное — это отдых.

— Не могу уснуть... Я хотел узнать: ты спросила у Дмитрия Ивановича, к какому доктору в Швальбахе обратиться? Это очень важно.

— Он дал письмо к Фрериху. Это берлинская знаменитость. А Фрерих тебя направит к эмскому врачу.

— Как к эмскому? Ведь они велели ехать в Швальбах?

— Они велели в Швальбах или в Эмс. Я думаю, что надо выбрать Эмс.

— Почему?

— Почему? Коле, говорят, в Эмсе будет гораздо лучше... Кроме того, Петр Алексеевич и мне давно велит пить эмскую воду с молоком. Если так и если тебе, как они говорят, одинаково хорошо то и другое, то я предпочла бы Эмс. Ты против этого?

— Нисколько! Если так, то я всячески за это! — горячо сказал Юрий Павлович.

¹ — На закуску (франц.).

II

Дог князя Бисмарка околеял поздно вечером. Очевидцы передавали, что князь, сидя на полу у трупа собаки и держа ее голову обеими руками, не то истерически рыдал, не то просто плакал, не то чуть не плакал. Очевидцы, несомненно, привирали, соблазненные эффективностью рассказа: «железный канцлер» рыдает над телом своего верного пса (Бисмарка уже называли «железным канцлером»; почему-то это прозвище понравилось и привилось). Весь вечер князь просидел у себя в кабинете, никого не принимал, ни с кем из семьи не разговаривал и пил очень много «даже для него»; старые знакомые Бисмарка уверяли, что он теперь пьет гораздо меньше, чем прежде, в молодости, но это лишь вызывало недоумение: сколько же он пил прежде?

Утром в служебных комнатах канцлерского дворца все говорили о случившемся несчастье. Вышие должностные лица были очень довольны — за редкими исключениями они ненавидели князя. Ближайшие его сотрудники вполголоса (хоть и в своем кругу) обменивались шуточками: надо ли выражать князю сочувствие и не называть ли собаку «покойницей»? Врали, будто в кабинет за вечер было принесено две бутылки шампанского и две бутылки «дюркгеймера» — это было в последнее время любимое вино Бисмарка. Врали, будто княгиня, очень обеспокоенная состоянием мужа, спешно вызвала Блейхредера, «чтобы утешить скорбящего, как его предки утешали Иова»; банкир Герзон фон Блейхредер, управлявший, к негоднованию антисемитов, особенно антисемитов-банкиров, имущественными делами канцлера, был одним из близких к нему людей и будто бы обладал способностью действовать на него успокоительно. Врали, будто фельдмаршал фон Мольтке уклонился от приезда к князю, так как очень занят — с утра пишет стихи. Врали, будто о смерти собаки и об отчаянии канцлера сообщено императору, который только вздохнул и развел руками; это толковалось и как выражение покорности воле Божьей, и как легкий намек на мысль: «Что ж делать, связался навсегда с сумасшедшим!» Престарелый император считался близким другом князя, но в том же тесном кругу говорили, что нельзя сделать большего удовольствия его величеству, как показав ему остроумную карикатуру на Бисмарка или ехидную статью о нем в газете.

В это утро в канцлерском дворце в ожидании появления князя (он вставал не раньше двенадцати) болтали о нем больше обычного. Незадолго до полудня пришло и серьезное сообщение: ссылаясь на нездоровье, Бисмарк объявил, что не поедет на вокзал встречать царя. Улыбки исчезли, оживление улеглось, начался обмен мнениями о политическом положении, которое считалось очень серьезным. Были все основания думать, что канцлер решился на новую войну с Францией. Поэтому очень многое, если не все, зависело от позиции Александра II: обещает ли он, что Россия сохранит нейтралитет? Один высокий чиновник сказал, что в нынешних обстоятельствах лучше не раздражать царя хотя бы в мелочах. Другие должностные лица осторожно промолчали. Критиковать действия Бисмарка не полагалось, да было и небезопасно, как показал опыт графа Арнима. К тому же и ненавидевшие канцлера люди про себя считали его никогда не ошибающимся, гениальным человеком.

Бисмарк заснул только под утро. Он называл собаку своим единственным другом и едва ли очень в этом ошибался. Канцлер прекрасно знал, что в обществе его ненавидят, относился к окружавшей его ненависти равнодушно, признавал ее естественной, но почему-то приписывал, главным образом, своему богатству — он считал немцев завистливым народом. Богатство его очень преувеличивалось сплетнями. Весьма преувеличены были и слухи о том, будто он при помощи и посредстве Блейхредера успешно играет на бирже. Блейхредер никогда не позволял себе справляться у канцлера о его планах, да и знал, что канцлер ему их не сообщит. Однако, часто беседуя с Бисмарком о политике, он старался угадывать планы князя, и его отличное угадывание очень благоприятно отзывалось на делах обоих: Блейхредер оставил своим наследникам сто миллионов марок, Бисмарк же богател умеренно и солидно — столько же благодаря государственным наградам и подношениям от признательного народа, сколько благодаря мудрому, безотчетному, самодержавному ведению Блейхредером его имущественных дел. Канцлер, не веривший в политическую гениальность, был твердо убежден в финансовом гении евреев вообще и Блейхредера в частности. Этот бывший служащий франкфуртских Ротшильдов, присланный ими в

Берлин в качестве советчика по просьбе Бисмарка (поставившего непременным условием, чтобы советчик был еврей) в пору войны с Австрией, когда ни сам Бисмарк, ни Вильгельм, ни министры не знали, где достать на войну деньги, дал совет, после которого они долго изумленно переглядывались. Тем не менее слухи о том, будто Блейхредер пользуется большим расположением князя и имеет влияние на его политику, были совершенно неверны: за исключением своей семьи да еще двух-трех человек, Бисмарк никого не любил; влияния же на него не имел никто.

Здоровье князя все ухудшалось. У него были невралгия лица, тик, подагра, воспаление вен, мигрени, геморрой, несварение желудка, сильнейшие боли в левой ноге. Врачи вдобавок подозревали у него рак печени в результате злоупотребления спиртными напитками и продолжали подозревать еще двадцать пять лет, до самой кончины князя. Некоторые же из близких к нему людей смутно предполагали, что Бисмарк болен тяжким нервным расстройством. Это противоречило решительно всему: и его прозвищу, и его богатырской фигуре, и его общепризнанной гениальности. Преданные князю газеты считали гениальным все, что он делал.

Сам он этого не думал. С собой Бисмарк был правдив беспощадно; с другими, пересиливая себя, старался скрывать свои мысли, иначе было бы трудно управлять государством, но изредка за третьей бутылкой шампанского (вторая еще не очень действовала) доходил до той степени откровенности, которую очень честные или очень лицемерные люди называли циничной. Канцлер признавал за собой ум, настойчивость и волю, да еще то, что называл способностью угадывать ход истории. Он и определял политику как умение в нужную минуту «услышать в истории поступь Бога, подпрыгнуть изо всех сил и вцепиться в фалды Его сюртука». Бездарные и самодовольные государственные деятели, по его долгим наблюдениям, всегда верили в собственную интуицию. Бисмарк не знал, что такое интуиция, и обычно старался выяснять ход истории логически. Теперь, весной 1875 года, он собирался начать новую войну с Францией. Однако уверенности в том, что такова Божья поступь, у Бисмарка не было.

Доводов против войны оказывалось больше, чем доводов за нее. Бисмарк собирался провозгласить новую войну «превентивной», однако он знал, что превентивными были все войны во все времена. Могущество Франции, несомненно, восстанавливалось, но он не имел оснований думать, что оно растет быстрее германского. «Так ли велика опасность нападения со стороны французов? И что если Франция уже сейчас достаточно могущественна для отпора? Что если Россия, обещав нейтралитет, не сохранит его? Что если все кончится крахом? Тогда после всей славы я перейду в историю с репутацией залитого кровью неудачника и те самые люди, которые передо мной пресмыкаются и называют меня гением, будут кричать, что с первого дня разгадали во мне бездарность. Так было и с Наполеоном III», — думал в бессонные ночи канцлер. Он презирал чужие суждения (хотя они часто крайне его раздражали), но в противоречии с этим очень заботился об истории и почти наивно верил в славу. История и была тем логическим, лишь изредка полусознательным мостом, по которому от интересов Германии он переходил к своим собственным интересам. Свои интересы Бисмарк забывал не часто. Однако новая война не могла ему дать почти ничего — он и так был первым государственным человеком Европы, имел княжеский титул, прочно обеспеченное место канцлера и, главное, полноту власти. Парламент ограничивал ее не слишком, а император редко ему мешал, только отнимал время. Новая война была нужна ему не больше, чем те бесчисленные дуэли, которые у него были в молодости; требовали войны не столько его интересы, сколько его натура бретера. Ему и на старости лет еще хотелось волновать мир и себя самого; мелкие волнения повседневной политической жизни больше его не удовлетворяли.

В эту ночь невралгия левой части лица мучила его еще сильнее обычного. Он до рассвета ворочался в скрипевшей под его огромным телом старой и безобразной деревянной кровати. Все в его квартире было грубо и некрасиво. В спальне, слабо освещенной стоявшей на столике свечой, ничего не было, кроме кровати, весов, переносной ванны и старых стульев; по стенам висело несколько больших фотографий: императора, жены, детей и дога. Фотография собаки висела слева в полосе света, и всякий раз, как его взгляд на нее падал, усиливалось его горе. «Да, вот кто был настоящим товарищем по несчастью, по жизни», — думал он и опять, точно мстя кому-то за что-то, сердито возвращался к своим планам, от которых зависели судьбы мира и жизнь миллиона людей.

В сотый раз обдумывая все, связанное с новой войною, он видел, что трудно

не только довести до конца, но даже начать это дело. Народ, разумеется, войны не хотел, как не хотел ее и в 1866, и в 1870 году. Это большого значения не имело, доведение народа до белого каления было просто вопросом техники, хорошо ему известной. Несколько хуже было то, что о новой войне не хотел слышать престарелый император: он все еще не мог опомниться от радостей, выпавших на его долю в конце долгой жизни, от своей военной славы и от того, что он почти вопреки собственному желанию стал неожиданно главой германской империи; кроме того, по своей богобоязненности Вильгельм I не хотел больше проливать кровь. Не слишком желал войны и другой старик, фельдмаршал Мольтке, по тем же причинам, что и император. «Отяжелел, дряхлеет, дай Бог, чтобы совсем не выжил из ума...» В военную гениальность Бисмарк верил еще много меньше, чем в политическую: потерял эту веру именно с тех пор, как гением стал Мольтке, деятельность которого он наблюдал в пору прославивших фельдмаршала войн. Зато хотели войны почти все офицеры — для них война была лучшим, единственным быстрым способом сделать карьеру, что и было во все времена главной причиной войн. «Ну, стариков можно будет переубедить», — думал Бисмарк, заранее подготавливая доводы и исторические фразы.

Эти вырывавшиеся у него исторические восклицания он обычно придумывал в бессонные ночи — готовил их заранее, впрок, еще точно не зная, где, как и когда всплывет. Дело было не очень трудное; изредка он кое-что подновлял из старого запаса. На случай новой войны можно было бы подать в измененном виде: «*Gesta Dei per Germanos*»¹. Канцлер не верил в этой фразе ни одному слову: какие «*gesta Dei*»! Все это было его делом. И почему бы Бог избрал орудием своей воли светловолосый, круглоголовый, во многих областях малоодаренный, а в политике совершенно тупой народ? Под утро ему пришла в голову еще одна фраза, тоже с именем Божиим: «Мы, немцы, никого не боимся, кроме Бога». Затем небольшое дополнение к ней, особенно удобное на случай, если бы он от войны отказался: «Лишь страх Божий запрещает нам воевать». В этой фразе тоже не было ни слова правды: он очень много боялся (особенно франко-русского союза), никогда в своей политике страхом Божиим не руководился и в Бога верил больше по семейной традиции, по затверженным в детстве правилам, по общему для всех немцев высочайшему повелению; духовенство всех исповеданий он ненавидел (говорил, что наиболее неприятные ему люди — священники и бюрократы). Правда для исторических восклицаний и не требовалась: все они, как он знал по своему опыту, были лживы, вымучены, заранее придуманы для райха, когда не просто присочинены историками или услужливыми людьми.

Свой народ он любил также по усвоенной с детства привычке, но ни малейшего уважения к нему не чувствовал. Он знал, что представляется немцам воплощением любви к родине, и поддерживал эту свою репутацию, не смешивая своего патриотизма с особенной любовью к немцам. Уж если существовали люди, которые ему нравились, то они скорее попадались среди русских или американцев. Русской была и единственная женщина, к которой он в зрелые годы испытывал нечто похожее на влюбленность; княгиня Екатерина Орлова теперь была тяжело больна, и ее болезнь его волновала. Бисмарк был не влюбчив и за шампанским с усмешкой говорил, что служить можно либо Вакху, либо Венере и что он предпочитает Вакха.

Из болей, которые, точно сменяясь, мучили его почти непрерывно, особенно сильны были дергающая боль левой щеки и тупая, сводящая в области печени. Он разыскал корбочку с пилюлями, проглотил одну; она оставила шероховатость во рту, запил огромным, в полстакана глотком коньяку. Сначала стало легче, потом боль возобновилась, смешавшись с какой-то другой, и усилилась легкая, за работой забывавшаяся, но редко оставлявшая его надолго мысль об опухоли, быть может, злокачественной (врачи успокоительно улыбались, когда князь их об этом спрашивал, но улыбались не вполне естественно). «Все равно один конец!» — сердито пробормотал он и взглянул в угол комнаты, где вчера на коврике спала собака. Воспоминание о том, как дог просыпался, потягивался, подходил к нему и лизал ему руку, когда он слишком долго ворочался в постели или в мягких туфлях тяжело ходил по спальню, было непереносимо. Бисмарк потянул со стола лежавшую на нем толстую книгу. Упала салфеточка грубого кружева с какой-то скаянкой. Он пробормотал ругательство и допил коньяк назло врачам.

¹ «Божья воля в делах германцев» (латин.).

Попробовал другие способы борьбы с бессонницей. Тихо бормотал слова своей любимой песенки, которой когда-то его научил американский друг юности. Песенка начиналась словами «God made bees, bees made honey; God made men, men made money»¹, но всего текста князь вспомнить не мог и напряжение памяти скорее мешало сну. Попробовал считать по порядку цифры, от единицы до десяти, затем назад, от десяти до единицы. Способ скоро оказался ему глупым, он бросил считать. Раскрыл книгу — в последние годы канцлер мало читал, больше подновляя оставшиеся в памяти немалые запасы. Бисмарк предпочитал книги, называемые вечными; на столике у него лежал Шекспир.

«Ну, хорошо, Ричард кого-то убил, и Макбет кого-то убил, и они все кого-то убивали, кто одного, кто по нескольку людей», — думал он, бегло соображая, сколько людей погибло из-за него; по приблизительному подсчету, выходило не менее восьмисот тысяч. «Правда, я объединил Германию. Однако кто ж теперь скрывать — тут не рейхстаг, — Германия, по всей вероятности, объединилась бы и без меня. Было, верно, десять способов объединить Германию, и, как ни глупы были либеральные профессора и адвокаты 1848 года, их способ тоже мог привести к объединению без трех войн, которыми, впрочем, теперь восторгаются те из них, что еще живы и не впали в старческое слабоумие. С другой стороны, мой способ мог не дать результатов, мог повлечь за собой для нас катастрофу, если б австрийцы и французы были немного умнее и их офицеры немного лучше (солдаты приблизительно стоят друг друга во всех странах). Да и была ли строгая логика в моих собственных действиях? Разве она в политике возможна? Разве есть страна, политика которой была бы логична и последовательна? Основой нашей политики в течение ста лет была дружба с Россией. Однако в 1854 году мы едва на Россию не напали в союзе с Австрией и с Францией, на которых напали немного позднее при дружеском нейтралитете России. Правда, в 1854 году была не моя политика, надо мной тогда все смеялись, сам старик (он разумел Вильгельма) называл меня политическим школьником. Я был проницательнее других, но это только значит, что в мире слепых я был одноклазмой. А я тогда носился с планом вечного союза между Пруссией, Россией и Францией. Позднее, в 1863 году, я очень колебался: помогать ли России усмирять польское восстание или, обманув и поляков, и русских, присоединить к Пруссии Варшаву? И нет страны, которая в своей внешней политике руководилась бы какими-либо принципами. Англия? Англичане серьезно уверяют, что у них принципы есть: не то поддержка свободы в мире, не то борьба с наиболее могущественной континентальной державой. Но это совершенно разные вещи, да и то, и другое вздор, они уже лет тридцать не могут сообразить, кто именно их исторический враг: Франция, Германия или Россия; они меняют своих исторических врагов каждое десятилетие, и вовсе не потому, что та или иная страна стала слишком могущественной: в 1853 году Франция и Россия были приблизительно равны по могуществу, теперь приблизительно равны по могуществу Россия и Германия, и у каждого из знаменитых англичан, сейчас у Гладстона и у Дизраэли, есть свой исторический враг Англии». Что до свободы, то главный ее проповедник — тартюф Гладстон, который еще не так давно защищал торговлю рабами, — думал он с ненавистью (Гладстона он особенно ненавидел и усердно собирал о нем дурные слухи). — «Methought I heard a voice cry «sleep no more! Macbeth doth murder sleep, the innocent sleep, sleep that knits up the ravell'd sleeve of care, the death of each day's life, sore labour's bath...»². Почему ж он, бедный, потерял сон? Макбет, старый полководец, конечно, десятками, если не сотнями в походах вешал, колесовал, четвертовал людей с его попустительства, если не по его приказу, солдаты после штурмов насиловали женщин и разбивали головы детям, а вот от этого убийства и он, и мадам потеряли сон! Сон теряют не от угрызений совести, иначе кто из политических деятелей не страдал бы бессонницей? Вот невралгия — другое дело...»

Один из более глупых врачей советовал ему при бессоннице «думать о приятном», «будить в себе радостные воспоминания». Потирая рукой щеку, князь старался вспомнить, что было особенно приятного в жизни. Кое-что радостное было как будто в молодости, в пору его чудачеств и скандалов, в ту пору, когда его называли «der

¹ «Бог сотворил пчел, пчелы сделали мед; Бог сотворил людей, люди сделали деньги» (англ.).

² «Почудился мне крик: «Не надо больше спать! Рукой Макбета зарезан сон! — Невинный сон, тот сон, который тихо сматывает нити с клубка забот, хоронит с миром дни, дает усталым труженикам отдых...» (В. Шекспир. «Макбет». Перевод Б. Пастернака).

tolle Bismark»¹. Про себя он думал, что почти не изменился с того времени, так сумасшедшим Бисмарком и остался, изменились только характер и размер скандалов. В зрелые годы радостного было немного, «Сцена в Galerie des Glaces»²? Да, я поднес старику императорскую корону. Это, конечно, было большое дело, но на сколько времени? Во Франции за год до революции ни один человек не предполагал, что монархия может кончиться, и даже ни один человек этого не желал... Что же, великое дело на десятилетия? Великий человек до противоположного великого человека? Вдруг Евгений Рихтер или Виндгорст окажутся великими людьми германской республики? Германию Рихтеров мне совершенно не стоило объединять», — с отвращением подумал князь, ненавидевший и презиравший Рихтера.

Несмотря на свой живой ум и живой характер, он понемногу деревенел с годами. Бисмарк насмехался над людьми, которых либеральные газеты называли «юнкерами», и, встречая их беспрестанно при дворе, в армии, в обществе, дивился их туловищу, самодовольной ограниченности, неспособности понять что бы то ни было не усвоенное ими в детские годы. Но, как люди, они были неизмеримо ближе ему, чем образованные Рихтеры, Виндхорсты, Вирховы, чем либеральные адвокаты и социал-демократические токари. Он до конца своих дней чувствовал, что прусский офицер в нем самом сидит очень прочно, гораздо прочнее, чем все иное. Канцлер знал цену своему монарху и за третьей бутылкой шампанского, не стесняясь, объяснил разницу между Вильгельмом I и померанским волом: «Если померанскому волу прокричать «Хью!», то он знает, что надо идти направо, а если прокричать «Хет!», то он понимает, что надо повернуть налево. Между тем его величество еще в этом не разбирается, я за всю жизнь не мог научить его и этому». Однако не только Вильгельм I, но самый мелкий монарх был для него не совсем таким человеком, как обыкновенные люди. В этом, да и во многом другом он почти не отличался от юнкеров, как далеко ни превосходил их умом, опытом, образованием, чувством юмора, злым, колким, находчивым остроумием.

Как почти все старые немцы, он в детстве благоговел перед Александром I, в юности благоговел перед Николаем. Преклонение перед русскими царями было до зрелых лет основой его миропонимания; их империя внушала ему особенное уважение своими неимоверными размерами, размахом, огромными, еще нетронутыми богатствами. Это была настоящая страна, и цари были настоящие монархи, не связанные парламентами из говорливых дураков. В ту пору, когда он жил в России, к политическому обаянию прибавилось еще бытовое — очень бедно было по сравнению с Петербургом все, что он видел у себя на родине. Его удивляло великолепие русских дворцов, богатство русских вельмож, их жизнь с ежедневными балами, рекой лившееся шампанское, бочонки с икрой, французский театр только для своих, кутежи у цыган, охота на медведей. Нравился ему и сам Александр II: он был большой барин — черта, которую Бисмарк, вышедший из небогатой семьи, особенно ценил в людях. Его собственный старик, которого он искренне любил, был тоже барин, но не такой большой. «В нем хорошо хоть то, что ему ничего не нужно, так как у него все есть, и в этом одно из бесчисленных преимуществ монархического строя... Как жаль, что он приближает к себе карьеристов и интриганов».

Эти ругательные слова князь употреблял беспрестанно, хотя ему было и неясно, можно ли вложить в них такой смысл, при котором они не относились бы к нему самому. Он смутно думал, что тут все зависит от размеров: очень большой карьерист уже не карьерист, очень большой интриган уже не интриган. Мелкие люди, окружавшие императора и особенно императрицу и наследного принца, отравляли канцлеру жизнь, и без того тяжелую и мрачную. Бисмарк никогда не забывал обид, иногда мстил за них через много лет. К интриганам он причислял и князя Горчакова, которого в виду его глубокой старости нельзя было причислить к карьеристам. Почему-то русского канцлера, несмотря на внешне дружеские отношения, Бисмарк особенно ненавидел, еще больше, чем Гладстона (Рихтер был все-таки никто — член рейхстага). И он не мог от себя скрыть, что иногда в своих политических планах хоть немного, хоть отчасти руководится желанием сделать неприятность князю Горчакову.

Мысли о войне, о собаке, об опухоли мучили его всю ночь, сплетаясь все теснее. Он больше не знал, где кончается одно, где начинается другое. Сам порою с усмешкой думал, что, кажется, смерть его дога увеличивает вероятность войны, но тотчас

¹ «Безумный Бисмарк» (нем.).

² Галерея зеркал (франц.).

оттонял от себя эту вздорную мысль и логически проверял Божью поступь. К утру он окончательно склонился к войне: Франция может стать слишком могущественной, а теперь победа почти обеспечена и с ней не пятиллиардная, а десятиллиардная контрибуция. Себе он наметил герцогский титул. Впрочем, титул этот не очень его привлекал, не ласкал его слуха, как недавно ласкал княжеский, как еще больше когда-то графский. На первом месте были интересы Германии. Теперь все зависело от завтрашней беседы с царем. К утру, приняв во второй раз снотворное, он задремал тяжелым сном.

В одиннадцать часов, раньше обычного, он проснулся с еще усилившейся в левой щеке болью. Чтобы не переодеваться к завтраку, канцлер вместо своего обычного черного сюртука надел генеральский кирасирский мундир. В этом мундире, с крестом под третьей пуговицей, громадный, грузный, тяжелый, он медленно прошел в свой кабинет, наводя, как всегда, страх на вытягивавшихся служащих, холодно и хмуро кивая им головой. В кабинете он опустился в кресло, и опять ему вспомнился дог, который обычно, положив морду на колени хозяина, бегло лизнув его, затем удобно свернувшись, устраивался под письменным столом. Князь Бисмарк, мотая головой, незаметно смахнул слезу, взял свой, всем известный по фотографиям карандаш в фут с лишним длиной. Секретарь подал ему грудку бумаг и почтительно осведомился о его здоровье.

— О, оно превосходно! — беззаботно сказал канцлер. — Но все-таки первые шестьдесят лет в жизни человека обыкновенно бывают наиболее приятными.

III

Поезд императора Александра пришел в Берлин в понедельник очень точно по расписанию, в 12 часов 30 минут. Визит был не официальный: Александр II отправлялся на воды в Эмс и по дороге останавливался ненадолго в германской столице, чтобы повидать родных. Тем не менее встречали его на вокзале император Вильгельм, принцы, фельдмаршалы Мольтке и Мантейфель и множество других людей, нагонявших на царя скуку, самое нестерпимое для него чувство.

В этот день в «Норддойтше Алльгемайне Цайтунг» появилась статья о приезде русского императора, удивившая осведомленных во внешней политике людей своим восторженным и даже подобострастным тоном. Царь назывался в правительственной газете лучшим другом, чуть ли не благодетелем Германии, ему выражалась глубокая сердечная признательность, восхвалялась вечная историческая дружба русского и немецкого народов. «Эта испытанная дружба», писала газета, — делает для нас Его Величество императора Александра еще более драгоценным. Вместе с остальным миром мы изумляемся его мудрости и энергии. Но и в дальнейшем право на дружбу России принадлежит одним немцам. Неблагодарность никогда не была пороком германского народа».

Статья, переданная по телеграфу во все концы Европы, вызвала переполох в министерствах иностранных дел. Дипломатам было ясно, что она либо написана самим Бисмарком, либо им инспирирована, и склонялись к тому, что все-таки скорее инспирирована. «Уж слишком для него лизоблюдский тон. Верно, перестарался редактор», — говорили русские дипломаты. Тон статьи был, очевидно, связан с надеждой на нейтралитет России в предстоявшей новой франко-германской войне.

Царь внимательно прочел статью еще в поезде — она была ему привезена на одну из близких к Берлину станций. Александр II недолго любил газеты, не любил читать по печатному тексту (в немецких газетах почему-то всегда казавшемся липко-грязноватым) и терпеть не мог готический шрифт. Похвалы и тон статьи доставили ему удовлетворение. Однако, хотя было неприятно разочаровывать автора, он еще в Петербурге твердо решил, что войны быть не должно и что Россия не останется нейтральной в случае нового нападения на Францию — чрезмерное усиление Германии нарушило бы европейское равновесие. В Берлине предстояли неприятные разговоры. Александр II имел давнюю репутацию *charmeur*¹ и действительно очаровывал на

¹ Очарователя (франц.).

своем веку множество самых разных людей, однако он чувствовал, что тут никакие чары не помогут.

Прочитав статью, царь отдал ее Горчакову для изучения. Изучать в статье было, собственно, нечего, но это был лучший способ ненадолго освободиться от говорливого 77-летнего князя, тоже обладавшего способностью нагонять на него смертельную скуку. Канцлер с озабоченным видом унес газету в свой вагон.

Император выехал из Петербурга в самом лучшем настроении духа. Летняя поездка на воды всегда бывала ему приятна. За границей забот, огорчений, беспокойства бывало гораздо меньше. Гораздо меньше было и дела. Хотя царь, как Людовик XIV, любил son délicieux métier de Roy¹, он чрезмерно работой не увлекался и в отличие от того, что о себе говорили другие монархи и государственные люди, вполне чувствовал себя способным провести несколько недель без всякой работы.

Как всегда, дурное настроение на него нагнала Варшава, по которой он в коляске переехал с одного вокзала на другой. Царь догадывался, что этот город (неприятный ему тем, что он был как будто свой и вместе с тем совершенно не свой) для него почистили и прибрали. Тем более тягостна была — до моста через Вислу — скучная бедность улиц, домов, людей. Он помнил, что это предместье называется Прагой, что здесь когда-то происходили кровопролитные бои между наступавшими русскими и защищавшимися поляками. Сидевший с ним в коляске генерал давал какие-то объяснения, но царь чувствовал, что генерал в этой части города никогда не бывает, что люди, кричащие «ура!», согнаны сюда полицией и что даже это сделано не очень хорошо: «ура» звучало довольно жидко и нисколько не походило на тот бешеный, восторженный рев, который неизменно, особенно в прежние годы, вызывало его появление в русских городах. За цепью солдат в боковых улицах виднелись люди, изумленно смотревшие на царские экипажи (впереди императора все должностные лица ехали стоя, повернувшись лицом к его коляске и неловко держась сзади за козлы). Эти люди, срывавшие с себя шапки еще при появлении передовых казаков конвоя, были одеты очень бедно. Особенно тягостное впечатление производили бородатые старики в черных длинных, до земли, не то смешных, не то страшных одеждах. Царю было известно, что это евреи; он помнил, что уже лет двадцать безуспешно предписывает сделать что-либо для улучшения положения этих людей. За Вислой город стал нарядным, но из-за пасмурной ли погоды или оттого, что в воскресенье магазины были закрыты, оживления было мало. Генерал бодро докладывал о своей работе по поднятию благосостояния края. Бодрый тон обычно бывал приятен царю, но на этот раз ему казалось, что генерал говорит вздор, тот же вздор, какой ему тем же бодрым, радостным тоном докладывают здесь уже двадцать лет. Александр II слушал молча, очень хмуро и чувствовал, что с ним может случиться припадок дикого бешенства. Таким припадкам он был изредка подвержен, сам их смертельно боялся и после некоторых из них плакал от стыда и раскаяния. На вокзале Варшавско-Бромбергской дороги царь сухо простился с генералом, не пригласив его в поезд, и поспешил войти в свой вагон.

Вскоре после того, как поезд тронулся, показалось солнце. Александр II, очень чувствительный к погоде, стал успокаиваться. Он подумал, что его впечатления от Варшавы поверхностны, что поляки сами во всем виноваты, что, вероятно, население живет не так плохо и что генерал, хотя и туповатый человек, заботится о благосостоянии края. Все же, когда у царя бывало предчувствие припадка ярости, он обычно старался пробыть некоторое время в одиночестве (которого вообще не любил). Сопровождавшие его свитские генералы и флигель-адъютанты (генерал-адъютантов он в последние годы по возможности не брал с собой, инстинктивно избегая общества старых людей) разошлись по своим вагонам, чтобы не попадаться ему на глаза. Им было известно, что в состоянии бешенства он очень страшен, хуже отца — Николай редко терял самообладание, — должно быть, таков бывал дед Павел. Однако именно то, что припадка ярости с ним не случилось, что он не сделал и не сказал ничего лишнего, скоро привело царя в его обычное хорошее настроение духа — по природе Александр II отличался необычайной жизнерадостностью и по убеждениям был оптимистом.

¹ Свое сладостное ремесло монарха (франц.).

Он достал из футляра записную книжку. Для него специально, по его любви к красивым вещам печатались такие книжки на золотообрезной бумаге, в необыкновенных переплетах с двуглавым орлом и с короной, с прекрасными гравюрами, в дорогих футлярах. Александр II всегда носил с собой очередную книжку и своим изящным почерком заносил туда события дня. Частью из предосторожности, частью от нетерпеливости характера он писал так сокращенно, что разобрать его записи было очень трудно; иногда царь и сам не разбирал того, что написал год-два тому назад, слова обычно обозначались лишь первыми буквами, а то и одной буквой. Так и теперь он закончил запись своих впечатлений от Варшавы строчкой: «Непр. н. ч-н. сд». Это означало: «Непременно надо что-нибудь сделать».

Записи в книжке всегда его успокаивали, хотя по опыту он мог бы знать, что за ними редко, особенно в последнее время, следовали какие-либо важные действия. Царь спрятал книжку — в том, как мягко и ровно книжка, точно по бархату, вошла в футляр, было тоже нечто успокоительное. Он вынул из несесера каллиграфически переписанный роман Тургенева. Почему-то Александр II неохотно читал по печатному тексту, и для него переписывались книги, которые он желал прочесть. Тургенев был его любимым писателем; когда-то он читал «Записки охотника» со слезами (вообще нередко плакал). Этот роман Тургенева «Дым» был старый, но по случайности царь его не читал. Накануне его отъезда в Эмс кто-то из великих князей сообщил ему, что в «Дыме» изображена княжна Н., одна из прежних его любовниц. Царь изумленно приказал переписать «Дым». Работавшие на императора лучшие писаря России в течение суток переписали роман.

Не останавливаясь пока на первых страницах, Александр II разыскал и с любопытством прочел главу о княжне Ирине Осининой. Царя и раздражила бесцеремонность писателя, осмелившегося хотя бы отдаленно намекать на его частные дела, и позабавила его неосведомленность. Некоторое сходство у Ирины с княжной Н. было, но очень небольшое. «То, да не то. Совсем она не такая была», — улыбаясь, думал царь, давно бросивший княжну, но сохранивший к ней ласковый сочувственный интерес, как ко всем бесчисленным женщинам, которых он любил. В других главах романа ничего связанного с его частной жизнью не было, и тем не менее он чувствовал, косвенно весь роман был направлен против него. У Тургенева описывались «молодой, но уже тучный генерал с неподвижными, точно в воздух уставленными глазами и густыми шелковыми бакенбардами, в которые он медленно погружал свои белоснежные пальцы», другой «подслеповатый и желтый генерал с выражением постоянного раздражения на лице, точно он сам себе не мог простить свою наружность», и царь догадывался, что Тургенев именно на него возлагал ответственность за обоих генералов, за подслеповатость и желтизну одного, за шелковистые бакенбарды и белоснежные пальцы другого. Были в романе еще «несравненный граф Х», «восхитительный барон З», «княгиня Бабетт», «княгиня Пашетт», «смешливая княжна Зизи», «слезливая княжна Зозо», и царь чувствовал, что он отвечает за всех этих людей, и не понимал, почему отвечает. «Может быть, это остроумно и смешно, но, право, «Помолвка в Галерной гавани» остроумнее и смешнее, и там уж я, по крайней мере, ни за что не отвечаю, — с недоумением думал он. — Что ему нужно? Почему он пристает? Чего они все от меня хотят?» Впрочем, варшавский генерал как будто в самом деле был чуть-чуть похож на одного из генералов Тургенева. «Ну, хорошо, пусть Тургенев и даст мне других. Или пусть сам Тургенев управляет Польшей, тогда все пойдет отлично. Пусть бы они отвечали за эту бедность, за нищету, за лачуги, за тех людей в черных хламах», — с усмешкой думал он. Его успокоило описание радикалов и нигилистов в романе. Нигилисты и радикалы были, очевидно, еще противнее Тургеневу, чем смешливая княжна Зизи и слезливая княжна Зозо. «Это уж у него вышло гораздо остроумнее. А может, он просто страдает катаром печени и ему надо лечиться. Вот и любовь у него всегда не любовь, а черная меланхолия», — удивленно думал Александр II, плохо понимавший, как что-то меланхолическое, неудачливое может связываться с лучшей вещью в мире. У него никогда неудач в любви не было. — «И что он нашел в своей Виардо? На нее давно смотреть гадко»...

Царь отлично знал, чего они от него хотят. «Да, они убеждены, что конституция все разрешит, накормит голодных, оденет голых», — думал он. — Кроме того, им хочется править, носить мундиры, иметь почет и власть. Что ж, я их понимаю: я сам люблю все это. Отчего же они не идут на службу, эти господа Тургеневы? Я ничего против них не имею, они могли бы иметь все это и без конституции... А что если в

самом деле дать им конституцию и раз навсегда от них отделаться?» Ему, впрочем, казалось, что в России есть гораздо больше противников конституции, чем сторонников ее. Вдобавок все противники принадлежали к кругу, который он знал и любил с детских лет. Требовала же конституции малоизвестная ему часть общества, недавно кем-то названная интеллигенцией. Царь не то, чтобы ненавидел эту группу, но у него было к ней наследственное, профессиональное, смешанное с нерасположением и с иронией недоверие, которое он замечал и у конституционных монархов: у австрийского, у германских, даже у Виктории. В его собственном тесном кругу о конституции почти все говорили не иначе как с насмешкой, ужасом или ненавистью. Сам он не чувствовал в себе ни прежних сил, ни прежнего задора, и введение конституции казалось ему менее спешным и гораздо менее бесспорным делом, чем в свое время освобождение крестьян. Кроме того, царь смутно понимал, что он понизится в чине, если из самодержавного императора превратится в одного из многочисленных конституционных монархов. И, хотя он не был чрезмерно властолюбив, это соображение, которым он ни с кем никогда не делился, имело большое значение. Он знал и то, что его немецкие родные преклоняются перед ним именно как перед самодержцем. Многие из них, и больше всего сам Вильгельм, молили его не давать России конституции; тон их при этом был такой, точно они, в свое время попавшись, теперь хотели его уберечь от выпавшего на их долю несчастья. «А может быть, я им нужен, как героусоизм¹, пусть немецкие либералы не слишком ворчат: в России еще хуже! Но я власть принял от батюшки самодержавной и такой же должен передать ее Александру. Что если при них все пойдет к черту? Ведь я помазанник Божий, а не они!» — решительно сказал себе он. Ему, как и всем его предкам (за исключением Екатерины II), никогда и в голову не приходило усомниться в том, что они помазанники Божьи.

Он положил рукопись «Дыма» на стол и стал думать о княжне, тоже отправившейся в Эмс, в другом поезде, с их трехлетним сыном, с компаньонкой Шебеко, с няней Боровиковой, еще с какими-то людьми. И тотчас от его дурного настроения не осталось ни следа. «Не устал ли Гого в дороге? Не плакал ли? И хорошо ли спала княжна?» У него опять зашевелились неосуществимые, несбыточные мысли о том, как можно было бы соединить, совершенно соединить их жизнь с его жизнью: «Чтобы княжне не надо было ни прятаться, ни путешествовать отдельно, ни искать чьего-то снисхождения. Вот тогда я счастлив был бы дать им конституцию!» — сделал он вывод, который ему был ясен, хотя другие логической связи тут никак понять не могли бы.

Спал он отлично и на следующее утро вышел в десятом часу завтракать к своей свите, тотчас оживившейся от его прекрасного настроения. За завтраком он просмотрел программу двух берлинских дней. Несмотря на неофициальный характер визита, она была длинная и торжественная. Предстоял большой военный парад — император Вильгельм собирался лично провести перед племянником первый гвардейский полк. Предстоял придворный спектакль: Théâtre paré². Предстояли завтрак у Вильгельма и обед у прусской гвардии, за которым оба императора должны были произнести тосты, а затем облобызаться в порыве дружбы. Горчаков пока составил только предварительный текст тоста, окончательный текст зависел от бесед обоим императоров и от его разговора с Бисмарком.

— Но непременно, Александр Михайлович, намекни, что на войну мы ни при каких обстоятельствах согласия не дадим, ты это умеешь, — сказал царь и вздохнул. — Еда будет скверная, шампанское отвратительное и спектакль невыносимый.

С вокзала он ехал в коляске вдвоем с Вильгельмом Великим (так многие называли императора, хотя официально он стал так называться лишь после смерти). Как всегда, престарелый император был уютно скучен и достойно туповат. На этот раз он поглядывал на племянника не без робости — в Петербурге уже знали о планах князя Бисмарка. Собственно, наедине в коляске было бы всего удобнее поговорить о важных делах. Но царю не хотелось начинать этот разговор: он очень неохотно говорил «нет», любил дядю, был у него в гостях и ценил оказанное ему чрезвычайное внимание. Вильгельм, старейший в мире георгиевский кавалер, получивший орден четвертой степени больше шестидесяти лет тому назад за сражение с Наполеоном I, недавно распускавшийся от радости при получении первой степени («Глубоко трону-

¹ <Здесь> Для контраста (франц.).

² Парадный театр (франц.).

тый, со слезами, обнимаю, благодарю за честь, на которую я не смел рассчитывать»,— телеграфировал он Александру II), приехал на вокзал в черно-желтой ленте через правое плечо и без других орденов. Наследный принц и граф Мольтке были на вокзале в русских фельдмаршальских мундирах. Сам царь немецкого мундира не надевал и был в синей венгерке лейб-гусарского полка и в красной фуражке.

Говорили почти исключительно о родных и о здоровье. Вильгельм Великий вздыхал и жаловался на болезни. Из сочувствия царь сообщил, что тоже по временам испытывает необыкновенную усталость. Это была неправда, он физической усталости никогда не испытывал и чувствовал себя, особенно теперь, в обществе дяди, чуть ли не молодым человеком. Поговорили о предстоящих водах, об Эмсе, о Гаштейне, куда уезжал Вильгельм Великий, выразили надежду, что воды обоим очень помогут, и сказали, что непременно надо будет встретиться еще раз летом: либо в Гаштейне, либо в Эмсе. Когда их экипаж в сопровождении других колясок и конвоя выехал на Унтер ден Линден, Вильгельм Великий нерешительно спросил, хорошо ли себя чувствует княжна Долгорукая. Как все в Европе, он знал о последней любви Александра II; он даже говорил об этом с царем и был знаком с княжной. И царь, и княжна очень обиделись бы, если б император не спросил о ней. Но Вильгельму было неловко спрашивать царя о княжне — только что говорили об императрице. «Княжна? Она вчера должна была приехать в Берлин»,— беззаботно ответил Александр II. «Вот как! Я не знал»,— робко сказал старик. Он не любил лгать, между тем ему было известно, что княжна Долгорукая приехала накануне, остановилась в «Petersburger Hof» и одновременно с царем выедет в Эмс. Вильгельм спросил и о Гого; но оттого ли, что царю не понравился смущенный тон дяди, или потому, что германский император сказал «Gogo» с ударением на первом слоге, Александр II сам перевел разговор на политику. Он сказал, что слышал о воинственных планах князя Бисмарка.

— Ты догадываешься, что я им не сочувствую. Уверен, что не сочувствуешь и ты!

На лице Вильгельма Великого появилось виноватое выражение. В душе он был совершенно согласен с племянником и никаких войн больше не желал.

— Князю часто приписывают планы, которых он не имеет,— ответил он сконфуженно, почти так же, как говорил о княжне Долгорукой.— Все это очень преувеличено.

— Я чрезвычайно рад это слышать,— сказал царь с облегчением, хотя слово «преувеличено» было неясно.— Я, впрочем, и сам так думал, зная тебя. Надеюсь, ты мне разрешишь поговорить об этом и с князем.

— Я буду очень этому рад,— ответил Вильгельм Великий. В душе он действительно был почти рад тому, что нашел опору в своей глухой борьбе с канцлером. Но, как почти всегда, он опасался, не сказал ли чего-либо лишнего и не придет ли Бисмарк в ярость.

— Просто изумительно, как растет твой Берлин. За год его не узнать! — сказал царь, чтобы загладить не совсем хорошее впечатление от разговора. Он часто бывал в Берлине, и ему было не слишком приятно, что этот провинциальный, скучноватый, не исторический город вдруг стал столицей могущественной империи. Впрочем, это немного и веселило его, как его веселило то, что дядя, очень хороший и достойный человек, стал на старости лет Вильгельмом Великим. Александр II с детских лет привык считать бедными родственниками немецких монархов, вечно кланявшихся и угождавших его отцу, дяде и деду. Теперь Вильгельм был по положению равный, а по могуществу — кто знает? — быть может, и высший.

Разговор с Бисмарком был единственной неприятностью, которой ждал царь, отправляясь за границу. Он не любил германского канцлера и, как все, его боялся. Так и теперь, после завтрака, удалившись с канцлером в небольшую гостиную (все тотчас их оставили), он чувствовал смущение. Было что-то тяжелое и напористое в этой огромной фигуре, в бульдожьем лице с густыми седыми бровями; ясно чувствовалось, что уж он-то не только умеет, но любит говорить «нет»; ответить «нет» обычно было его первым инстинктивным побуждением; ему требовалось скорее усилие над собой, чтобы согласиться с собеседником. Бисмарк был еще мрачнее, чем утром. Невралгические боли у него усилились, и его раздражил длинный, скучный, плохой завтрак, немецкое шампанское (старый император, вздыхая, говорил, что, имея большую семью, должен беречь деньги). Александр II закурил папиросу, не зная, как начать разговор, и придавая себе храбрости.

— Хотите настоящую турецкую папиросу, дорогой князь? — спросил он. — А знаете, вам очень идет, что вы сбрили бороду.

— Я было отпустил ее, ваше величество, потому что терпеть не могу бриться. А о своей красоте мне уже беспокоиться не приходится, — сказал с усмешкой Бисмарк. Это было не слишком любезно: царь был всего тремя годами моложе его.

— Меня сегодня, князь, очень обрадовал император. Он сообщил мне, что слухи о вашем намерении объявить войну Франции решительно ни на чем не основаны. По-видимому, вы опять стали жертвой клеветы, которую так часто распускают о вас ваши враги. Я так и думал, что вы никакой войны не хотите, как не хотели ее и в 1870 году, — сказал царь, улыбаясь чрезвычайно мягко. У Бисмарка лицо передернулось от злобы. Он тяжелым взглядом уставился на Александра II, ожидая продолжения. — И это мне тем более приятно, что при всей моей испытанной любви к императору и к Германии Россия не могла бы остаться равнодушной в случае нового нападения на Францию. Русское общественное мнение этого не потерпело бы, — с силой сказал царь. В беседах с иностранцами о внешней политике он часто ссылался на русское общественное мнение. Теперь самое неприятное уже было сказано. Он бросил в пепельницу недокуренную папиросу и закурил новую, больше для того, чтобы отвести глаза от так неприятно молчавшего, уставившегося на него человека.

Бисмарк с перекосившимся от злобы лицом помолчал еще с полминуты. Он и раньше допускал возможность такого ответа царя, но считал ее маловероятной. Теперь ему стало ясно, что в Петербурге принято окончательное решение, иначе царь, которого он хорошо знал, говорил бы не столь твердо. «Если так, то дело сорвалось! Старики не согласятся на войну на два фронта, да и в самом деле это слишком опасно. Невозможно!» — с бешенством подумал он и занес в память жестокую обиду. Но к нарушению своих планов Бисмарк привык, из доброй половины их обычно ничего не выходило (хоть об этом лучше было не говорить, это вредило его репутации гения). Как ни хотелось ему высказать царю все, что он думал о русской политике и о князе Горчакове, доводы, колкости, обидные слова были бесполезны, даже вредны. В политике имели значение только выводы. «Конечно, надо *faire bonne mine*¹...» На лице его появилось подобие улыбки.

— О, это в Париже распространяют слухи, будто мы собираемся напасть на Францию, — любезным тоном сказал он. — И я догадываюсь, что князю Горчакову было бы очень приятно выступить в роли ангела мира с белыми крылышками за спиной.

Царь слабо засмеялся, понимая, что Бисмарк говорит не только о Горчакове, но и о нем самом.

— Повторяю, я чрезвычайно рад тому, что распускаемые французами слухи оказались клеветой на вас, князь. Вы знаете мое глубокое уважение к вам и к вашему гению.

— У меня нет никакого гения, ваше величество, — холодно сказал канцлер. — У меня есть разве только одно достоинство: я друг моих друзей и враг моих врагов. Против его воли в голосе Бисмарка прозвучала угроза. Хотя он принял решение *faire bonne mine*, справиться со своей природой, с душившим его бешенством ему было трудно. Александр II раздраженно улыбнулся.

— Ваша верность друзьям, дорогой князь, известна всему миру... Мне было чрезвычайно приятно увидеть вас в добром здоровье и побеседовать с вами, — сказал он и поднялся, опасаясь своего припадка гнева. Оба знали, что для приличия следовало бы поговорить дольше, никто не ждал их выхода из маленькой гостиной раньше, чем через полчаса или даже через час, столь короткий разговор мог бы вызвать толки. Но им больше разговаривать не хотелось. Царь чувствовал некоторое облегчение, какое, расставаясь с Бисмарком, испытывали почти все люди, даже его горячие поклонники. «Все-таки главное сказано и подействовало», — решил Александр II, с удовлетворением думая о том, как сообщит Горчакову о проявленной им твердости; он бессознательно собирался даже немного ее преувеличить.

Начальник полиции был предупрежден, что русский царь совершит инкогнито прогулку по городу и что охрана его должна быть совершенно незаметной. Такие предписания начальник полиции получал нередко, и они всегда приводили его в уни-

¹ «Делать хорошую мину» (франц.).

ние: несмотря на свой опыт, он не знал, как можно от нормального и не слепого человека скрыть, что его охраняют. Он вздохнул и почтительно спросил, куда именно может отправиться его величество. Узнав, что император, по всей вероятности, пойдет в «Петербургер Гоф», начальник полиции увеличил в пять раз число городских между дворцом и гостиницей и приказал им не замечать царя, не своя с него, разумеется, глаз, пока он будет находиться на их участке пути. Кроме того, по улицам с трех часов дня незаметно шныряли агенты полиции в штатских костюмах. И, наконец, одному из наиболее опытных сыщиков велено было незаметно идти впереди царя.

В светлом костюме, в мягкой шляпе, с модной тросточкой, без пальто, царь вышел на Унтер ден Линден. В отличие от большинства военных он любил и умел носить штатское платье, но привыкал к нему каждый год лишь через несколько дней пребывания за границей. Теперь, в первый день, он испытывал такое чувство, будто находился на маскараде. Лишь только Александр II снял свой мундир, ему показалось, что он стал свободным человеком, точно его самого давила та нечеловеческая власть, которую он имел в России. «Здесь я никто, и, право, это очень приятно! В самом деле, уж не дать ли им конституцию? Пусть они правят!» — подумал он. В этот прекрасный солнечный день царь не сомневался, что с конституцией или без конституции все будет отлично.

Он с первого взгляда признал сыщика в человеке, который, не вытянувшись при его появлении, но как-то внутренне подтянувшись и чуть изменившись в лице, пошел впереди него. Царь всякий раз за границей просил не приставлять к нему охраны, однако понимал, что хозяева правы и иначе поступать не могут. Прохожие на улицах его не узнавали. Дамы искоса с любопытством окидывали взглядом высокого элегантно человека и отводили глаза; он на большом расстоянии замечал красивых женщин, замедлял шаги и провожал их ласковым взглядом. Хотя Александр II был страстно влюблен в княжну Долгорукую, мнение Софьи Яковлевны, будто другие женщины для него не существуют, было неверно. Сама княжна нередко устраивала ему сцены ревности. Он смущенно оправдывался, как-то что-то объяснял (был очень изобретателен), но чувствовал, что переделать себя не может, да и не собирался себя переделывать. В женщинах был главный интерес его жизни, и он чувствовал, что ему не вредит прочно установившаяся за ним в мире репутация. Иногда ему даже казалось, быть может, и не без основания, что едва ли не вся Россия гордится ходившими о нем легендами (число его побед, действительно очень большое, еще преувеличивалось молвой). На Унтер ден Линден красивых женщин было не так много. Проходившая старая дама вдруг, взглянув на него, остолбенела. Он ускорил шаги с чувством и неприятным, и не совсем неприятным. Впереди его ускорил шаги сыщик. Огромный городской на перекрестке вытянулся вопреки приказу и своей воле, поспешно принял нормальный человеческий вид, но отвернуться все-таки не мог. Царь подумал, что этот городской похож на Бисмарка. «На него, впрочем, кажется, похожи все немецкие городские... Почему он не может жить, как другие люди? Говорят, женщины его совершенно не интересуют, да и никогда особенно не интересовали! — изумленно думал царь. — Чего ему еще нужно? Зачем война? Зачем проливать кровь, когда так хорошо жить? Этого зания, кажется, прежде не было? Да, они прямо выходят в люди. И магазины появились совсем хороше!»

Он вспомнил, что надо купить подарок няне Гого, Вере Боровиковой, которую очень любил и которая, как все слуги, его обожала (самой княжне покупать подарки в Берлине было невозможно, все выписывалось из Парижа). Царь подошел к магазину, увидев дамские вещи. «Кажется, княжна сказала, что ей надо купить сумку? Да, вот у них есть сумки». Сыщик впереди замедлил шаги — его инструкция не предусматривала такого происшествия. Он нерешительно остановился у витрины соседнего магазина. Царь вопросительно на него взглянул, как будто спрашивая, можно ли войти, и вошел. Сыщик торопливо подошел к двери.

В магазинах на товарах были написаны цены. Александр II в них не разбирался, совершенно не зная покупательской способности денег — никогда ничего не покупал. В дамских вещах он, однако, знал толк и безошибочно выбрал самую красивую сумку. «Geben Sie mir bitte diese...»¹ — вежливо сказал он, забыв, как по-немецки называется сумка. Немецкий язык всегда его забавлял. Он довольно хорошо знал этот язык, но еще в детстве, несмотря на наставления Жуковского, не мог к нему

¹ «Дайте мне, пожалуйста, эту...» (нем.).

относиться серьезно. Теперь с немецкой речью у него тягостно связывалось воспоминание об императрице Марии Александровне (императрица, в которую он тоже был когда-то страстно влюблен, была решительно во всем перед ним права, он был решительно во всем перед нею виноват и поэтому, да еще вследствие ее весьма заметной кротости и ее болезни мысли о ней всегда бывали ему тяжелы). С Вильгельмом, с принцами, с Бисмарком царь обычно говорил по-французски по привычке и из полусознательного расчета: чтобы оставить за собой преимущество лучшего знания языка. «Ja wohl, mein Herr»¹, — почтительно ответил приказчик, с безотчетной тревогой глядя на этого иностранца. Две покупательницы с любопытством смотрели на царя. Александр II вспомнил, что у него нет денег — никогда не носил при себе ни бумажника, ни кошелька.

— Нет, без денег мы дать не можем, но мы можем послать... Куда прикажете? — вежливо и твердо сказал приказчик. Сыщик поспешно вошел в магазин и, наклонившись над прилавком, что-то прошептал приказчику, свирепо на него глядя. На лице приказчика выразились ужас и благоговение. Он низко поклонился, что-то прошептал, с необыкновенной быстротой завернул сумку, выбежал с ней из-за прилавка и широко растворил дверь. Царь вышел, очень довольный, и приветливо кивнул сыщику — оба раскрыли свое инкогнито. Позади них у дверей на тротуаре стояли, восторженно вытаращив глаза, приказчик и обе покупательницы. На них грозно смотрел с мостовой очередной Бисмарк.

Хозяин гостиницы был предупрежден о посетителе и с трех часов дня нервно прогуливался в холле. Ему очень хотелось послать мальчика за женой, которая жила недалеко, но он не знал, будет ли это соответствовать пожеланиям властей. Кроме того, ему было неясно, надо ли говорить «Фрау Боровикова» или «Фрау фон Боровикова» (княжна Долгорукая везде снимала комнаты на имя няни). Но, как он ни готовился к посетителю, появление высокого господина в сером костюме все же оказалось точно внезапным и вызвало у хозяина растерянность. Он не выдержал и низко поклонился.

— Ja wohl!.. Frau von Borovikova... Ja wohl! Nummer 108... Bitte... Da ist es²... — прерывающимся голосом говорил он, усиленно борясь с желанием вставить слово «Majestät»³ хотя бы один раз.

IV

Эмс в семидесятых годах из-за ежегодных приездов императора Александра и навещавших его там германских родных стал одним из самых модных европейских курортов. В крошечном городке уже было все, что требовалось: приличный вокзал с особой комнатой для «Allerhöchste Kurgäste»⁴, лечебные заведения и ванны, устроенные по новейшим предписаниям науки, хорошие гостиницы и, главное, курзал с мраморными колоннами, с толстыми мягкими коврами, с Freskomalerei⁵ и с залами в помпейском стиле. Воды источников вытекали в сталактитовых гротах и мраморных нишах из посеребренных трубок; у них бело-желто-красные девицы с жизнерадостными улыбками протягивали больным их стаканчики, превращаясь в столбы при виде германского или русского императора. Каким-то чудом они помнили лица и фамилии всех больных и твердо знали, кому надо говорить «Ja wohl, Durchlaucht»⁶, кому «Guten Morgen, Herr Doktor»⁷, а кому «Wie geht's, Herr Müller?»⁸. Коронованным особам они ничего не говорили, так как у них при появлении коронованных особ отнимался язык.

Дюмлеры еще из Петербурга снеслись с агентством, получили планы Эмса, объяснительные брошюры, фотографии домов и сняли на лето виллу на левом берегу Лана, в отдаленной старой части города. Через агенство были наняты горничная и кухарка, так что к приезду Дюмлеров все было готово и даже стоял на столе холодный завтрак. Владелица виллы почтительно, но с твердым сознанием своих прав за-

¹ «Конечно, господин» (нем.).

² — Конечно!.. — Фрау фон Боровикова... Конечно! Номер 108... Пожалуйста... (нем.).

³ «Величество» (нем.).

⁴ «Высочайших гостей на водах» (нем.).

⁵ Фресками (нем.).

⁶ «Конечно, ваша светлость» (нем.).

⁷ «Доброе утро, господин доктор» (нем.).

⁸ «Как дела, герр Мюллер?» (нем.).

ставила «Фрау Баронин» принять по описи все вещи, белье, посуду, горестно отмечая чуть поврежденные тарелки или чашки, которых оказалось очень мало. Это продолжалось долго, утомило Софью Яковлевну и раздражало ее. Кое-что в обстановке виалы неприятно-карикатурно напомнило ей обстановку их петербургского дома. Здесь, разумеется, все было гораздо беднее, хуже и дешевле, но также было множество ящичков, резных шкатулов, огромных фарфоровых ваз, бронзовых пастушек с козочками, замысловатых пепельниц, домиков с автоматическими выскакивавшими на крыше папиросами; так же, хоть в гораздо меньшем числе, военным строем стояли в книжном шкафу выровненные раззолоченные *Sämtliche Werke*¹ и даже вместо генерала в александровском мундире висел против Сикстинской мадонны в золоченой рамочке пожилой прусский офицер, очень похожий на Фридриха-Вильгельма IV до его окончательного сумасшествия. В вилле, стоявшей довольно глубоко в прекрасном саду с грядками цветов, с посыпанными желтым песком дорожками, с подстриженными по-версальски деревьями, были большая угловая гостиная, отделенная от нее раздвижной дверью столовая и четыре спальные комнаты. Лучшую из них отвели Юрию Павловичу, который прилег отдохнуть, как только его комната была сдана хозяйкой по описи.

— Ах, она меня просто замучила! — сказала Софья Яковлевна вернувшемуся с прогулки брату. — Но все-таки я очень рада, что мы сняли виалу. В гостинице и Юрию Павловичу, и Коле было бы хуже. Жаль, что нет веранды, по плану мне казалось, будто веранда есть. Вилла недурна, и, если хочешь, в этом немецком безвкусици есть свой *charmé*.

— Отличная вила! — подтвердил Черняков, настраивавший себя по курортно-му бодро и благодушно. — И городок просто прелестный.

— Да ведь вы с Колей уже успели погулять. Вам понравилось?

— Чудесный городок, — сказал Михаил Яковлевич. — Я уже все здесь знаю. Государь живет в «*Hôtel des Quatre Tours*», а княжна Долгорукая на нашем берегу. Ее вила называется «*la Petite Illusion*», и, представь, она в двух шагах от нас.

— Вот как? — рассеянно переспросила Софья Яковлевна. Чернякову показалось, однако, что это для его сестры новостью не было. Он еще не понимал, зачем им требовалось поселиться поблизости от княжны Долгорукой, но твердо верил в практическую гениальность Софьи Яковлевны. «Если она признала нужным, значит, нужно».

— Государь бывает на водах каждое утро, днем он не появляется. Княжна вод не пьет. Кстати — или нестати, — здесь получаются русские газеты. Но последние номера еще от четверга! Я в Петербурге читал от пятницы... Что же завтрак? Я голоден, как зверь. Или в ресторан пойдем на первый случай? — спросил Михаил Яковлевич, недоверчиво поглядывая на накрытый стол. На нем было только «*kalter Aufschnitt*»², масло, булочки и какой-то немецкий сыр. Но все было подано так уютно, с таким изобилием вазочек, сеточек, колпачков, войлочных кружков, полотняных и бумажных салфеточек, что решено было позавтракать дома. Юрий Павлович не любил ресторанов, а на людей, ходящих в кофейни без крайней необходимости, смотрел как на развратников.

Дюммлер вышел к завтраку в самом лучшем настроении. Он по-настоящему оживился, оказавшись за границей. В Берлине они пробыли один день. Профессор Фрерих поставил сдержанный диагноз, впрочем, скорее успокоительный и близкий к диагнозу петербургских врачей, о которых говорил с корректной улыбкой. Он дал письмо к эмскому врачу и велел пить «кессельбруннен» с молоком, для начала по три стакана в день. — «Разумеется, если доктор Краус не предпишет другого режима», — добавил он так же корректно, но, очевидно, никак не предполагая, что доктор Краус изменит его предписание.

После успокоительного диагноза Юрий Павлович стал еще больше восхищаться всем, от гениальности Фрериха до чистоты берлинских улиц. Теперь за завтраком Дюммлер восхищался вилой, воздухом, булочками, ветчиной, маслом и услужливостью горничной, на лице которой, как и на лице владелицы виалы, было написано сознание не только своих обязанностей, но и своих прав (из них главным было ее право старшей горничной говорить хозяевам «*Sehr wohl*» вместо «*Ja wohl*»³).

¹ Собрания сочинений (нем.).

² Холодная мясная закуска (нем.).

³ «Очень хорошо» вместо «хорошо» (нем.).

Дюммлера она почтительно и с достоинством называла «Ехселленц» — это слово чуть резало слух Юрию Павловичу, хотя он знал, что на немецком языке — непостижимым образом — нет особого слова для «Высокопревосходительства».

В тот же день они побывали на водах и встретили знакомых: профессора Муравьева с дочерьми. Это были приятели Михаила Яковлевича, Дюммлеры их почти не знали и в другом месте едва ли поддержали бы такое знакомство. Профессор считался либералом, чуть ли даже не радикалом. Но тут, на водах Софья Яковлевна скорее обрадовалась встрече: младшая дочь профессора, немного постарше Коли, играла в Эмсе в теннис, знала других детей и могла свести с ними Колю (позднее, впрочем, Софья Яковлевна встревожилась: так ли полезно Коле бывать в обществе четырнадцатилетней девочки, хотя бы и не очень хорошенькой?). Сам профессор был любезный пожилой человек, видимо, нимало не искавший общества тайных советников, но и не считавший себя обязанным избегать их. Старшая дочь его, красивая, прекрасно одетая барышня лет девятнадцать, поздоровалась с Софьей Яковлевной холодно и тотчас с ними рассталась, даже не постаравшись выдумать для этого предлог. Михаил Яковлевич проводил ее взглядом.

— Я знаю ее платье, это модель Ворта. Разве профессор богат? — спросила брата Софья Яковлевна, когда Муравьевы отошли.

— Не то удивительно, что я не могу тебе на сие ответить, но не может, наверное, ответить и он сам. Это самая безалаберная семья в Петербурге. Едва ли милейший Павел Васильевич имеет понятие о том, сколько у него дохода и сколько он проживает. Он знает только, что свободных денег у него почти никогда нет и что проживают они очень много, неизвестно как и неизвестно зачем. Правда, у него только миллионеры и святые не берут займы...

— Ты, Миша, не святой и не миллионер, а, наверное, никогда не брал.

— Ты отлично знаешь, что я принципиально ни у кого не беру займы денег, да мне и не нужно, я достаточно зарабатываю, — сказал Михаил Яковлевич. С той поры, как сестра заставила его принять плату за надзор за Колей, он при разговорах о деньгах всегда чувствовал неловкость, хотя и Софья Яковлевна, и ее муж считали эту плату совершенно естественным, само собой разумеющимся делом. — Верно и то, что в их доме каждый день и целый день толкуются люди тоже неизвестно зачем и почему. Однако и при его широком хлебосольстве они, наверное, могли бы проживать вдвое меньше, если бы он хоть в малой степени обладал способностью считать деньги. Павел Васильевич у нас в университете признается выдающимся физиком, и я ему говорил, что он, вероятно, интегральное исчисление знает лучше, чем арифметику.

— Где же он все-таки берет средства, чтобы так жить? Я никогда не верила легендам, будто можно роскошно жить ни на что.

— У него прекрасное родовое имение в московской губернии, должно быть, заложенное и перезаложенное... Это приятно, что они здесь, я очень люблю их семью. Знал еще его жену, она умерла года три тому назад. Ее смерть была для него ужасным ударом. С тех пор у него пошли какие-то катары.

— Он из московских Муравьевых? Довольно родовитая семья. Они происходят от боярского сына Муравья из рода Алаповских.

— Не знаю, Юрий Павлович. Как тебе известно, все сие не по моей части... Так ее платье — модель Ворта? Она пугает, будто уйдет в народ. Очевидно, уйдет в платье от Ворта. Но никогда она не уйдет, вздор! А правда, очень хорошенькая?

— Хорошенькая.

— Что такое значит «уйти в народ»? — с тревожным изумлением спросил Юрий Павлович.

— По совести, я и сам не знаю, что это, собственно, значит.

В списке курортных гостей оказались и другие знакомые, однако тоже мало интересные. Дюммлеры побывали у врача, который благоговейно подтвердил предписание Фрериха, купили градуированные стаканчики и записались в курзале. Черняков попробовал наудачу воду одного из источников и, не допив, сделал гримасу. «Гадость невообразимая!» — сказал он сестре вполголоса, чтобы не слышал Юрий Павлович. Музыка жалобно играла что-то веселое. Они вернулись домой к ужину и очень рано легли спать. Михаил Яковлевич приуныл. Он вообще не любил уезжать из Петербурга, да еще в такие места, куда петербургские газеты приходят на четвертый или пятый день.

На следующее утро Дюмлеры встретили на водах государя. Он был с ними очень любезен и прошелся с Софьей Яковлевной по Unter-Arlee, что необычайно подняло их престиж в городке, где все тотчас узнавало все. Однако об их адресе государь не спросил и ничего не сказал о княжне. Софья Яковлевна тщательно скрывала разочарование.

— Для нас всех главное отдохнуть и возможно меньше видеть людей, — говорила она убедительно.

Жизнь скоро наладилась. Юрий Павлович пил воду очень рано утром, тотчас возвращался домой и проводил большую часть дня у себя в саду, в парусиновом кресле у стола, читая «Норддойтше Альгемайне Цайтунг», местную кобленцскую газету, а также книги, теперь преимущественно по медицине. В частности, главы о катарах и о действии вод. Черняков, как все, вставал рано, подчиняясь распорядку дня в Эмсе. Он немного занимался с Колей, уводил его к Муравьевым под предлогом тенниса, затем гулял по колоннаде. В восемь приходили русские газеты. Их для него оставлял книгопродавец, с которым, как везде со всеми книгопродавцами, у Михаила Яковлевича установились приятельские отношения. С газетами он возвращался домой, проходил в саду к столу не по дорожке, а через траву под неодобрительным взглядом Юрия Павловича и тоже надолго устраивался в парусиновом кресле. Дюмлер в Эмсе русских газет не читал, говорил, что отдыхает от них душою — для одного этого стоит уезжать за границу. Черняков, очень уважавший зятя и не любивший заниматься изысканиями ни в своей, ни тем менее в чужой душе, все же находил, что Юрий Павлович расцвел, оказавшись в Германии. «Конечно, он верноподданный, но, ей-Богу, в душе ему Вильгельм ближе, чем наш государь, тем более что он государя считает либералом», — думал Черняков, искоса поглядывая на Юрия Павловича. По давнему молчаливому соглашению они редко говорили о политике.

После немецкого диетического завтрака Дюмлер уходил в спальную отдыхать, а Михаил Яковлевич звал все в том же кресле. В четыре часа они снова отправлялись на воды, слушали музыку, обменивались со знакомыми новыми сообщениями о коронованных особах и о княжне Долгорукой. Дня через три Дюмлеры опять встретили государя; на этот раз он спросил, где они остановились. Софье Яковлевне было известно, что государь после завтрака уезжает верхом к княжне и обычно проводит у нее весь остаток дня. Как-то встретились они и с княжной на левом берегу Лана. Беседа была приятная, но краткая; с обеих сторон была выражена радость по случаю соседства, однако о дальнейших встречах ничего определенного сказано не было, только неясно говорилось, как приятно было бы встречаться почаще — в Эмсе так скучно.

Скучно действительно было невообразимо, особенно Чернякову. Занятия с Колей отнимали у него не более часа в день. Работа не шла. Без библиотеки Михаил Яковлевич сразу терял большую часть своего ученого дара. И он чрезвычайно обрадовался, когда получил из Берлина следующую телеграмму: «Priesjau sevodnia 7 vechera prochu sniat komnatu spasio privet Mamontov».

— Узнаю нашего Леонардо! «Прошу снят комнату», — благодушно сказал сеestre Черняков, точно Николай Сергеевич так и произносил эти слова. — Это не разговор. На сколько времени «снят комнату»? В какую цену? В гостинице или в приватном доме? С табльдотом или без табльдота? Обо всем этом ни слова!

— Возьми без табльдота — он, надеюсь, будет часто приходить завтракать и обедать к нам.

— В приватном доме без табльдота, пожалуй, не сдадут. Назло ему я сниму комнату в «Энглишер Гоф», пусть тратится!

— Почему, однако, он едет из Берлина? Ведь между Эмсом и Парижем прямое сообщение.

— Вот увидишь: cherchez la femme.

Михаил Яковлевич отправился встречать Мамонтова на вокзал и к обеду не вернулся. Дюмлер осведомился о нем у жены.

— Мамонтов?.. Ах да, тот, первой гильдии купеческий сын. Но разве поезд еще не пришел?

— Вероятно, они куда-нибудь пошли вместе обедать. Они большие друзья и давно не видались. Я тоже очень рада Николаю Сергеевичу и через Мишу просила

его бывать у нас возможно чаще,— сухо сказала Софья Яковлевна, раздраженная «купецким сыном».

— Очень рад. Я решительно ничего против него не имею,— поспешно добавить Юрий Павлович.

Черняков вернулся лишь в одиннадцать часов. Вопреки установившемуся порядку гостиная виаллы еще была освещена. Софья Яковлевна сидела у лампы, как всегда, затянутая в корсет и, тоже как всегда, на стуле, хотя в комнате были диван и покойные кресла (это изумляло ее брата, он любил говорить, что «жизнь ничего не стоила бы без лежачего положения»). Она читала «La Cigée»¹ Золя. Ей показалось, что Михаил Яковлевич очень весел.

— Ну что? Приехал? Где же вы были? — спросила она вполголоса — Юрий Павлович уже спал и его спальня была рядом с гостиной.

— Приехал,— так же тихо ответил Черняков и засмеялся.— И не один! Что я тебе говорил? Конечно, *cherchez la femme!*

— В чем дело?

— Ларчик просто открывался! Та самая питерская цирковая артистка! Помнишь, я тебе рассказывал? Это он к ней ездил в Берлин! И привез отсюда целую трупшу... Ее зовут Катилина! Но, должен сказать, мила, очень мила!

— Да? Ты успел познакомиться?

— На вокзале имел честь быть оной Катилине представлен. Слава Богу, они живут в фургонах, а то наш Леонардо, верно, их бы притащил со слонами в «Энглишер Гоф»!.. Мы с ним там пообедали и выпили бутылочку-другую очень недурного рейнвейнцу.

— Я вижу. Что ж, он изменился, твой Мамонтов?

— Изменился. И домается немного больше прежнего. Вероятно, от продаж «Стеньки». Но я его все-таки очень люблю. Мы в ресторане встретили...

— Утром увидим его на водах?

— Он сказал, что органически не способен встать раньше десяти... Встретили Павла Васильевича, я их познакомил.

— Значит, он у нас завтра завтракает?

— Завтракать не может, занят. Врет, конечно, пойдет к Катилине. Но соизволил принять приглашение на обед. Так что ты, во всяком случае, увидишь его вечером.

— Да я не так жажду его видеть,— сказала с досадой Софья Яковлевна.

V

Мамонтов весной получил в Париже от Кати письмо. Она сообщала, что Карло в Варшаве проделал тройное сальто-мортале, и не разбился, и стал знаменитостью, и получил приглашение в какой-то знаменитый цирк, развезжающий по всему миру. Заодно взяли ее и Алексея Ивановича. «Без нас Карло, конечно, не принял бы»,— с гордостью писала Катя. Она умоляла Николая Сергеевича встретиться с ними где-нибудь перед их отъездом за море. «А то ей-Богу, едем с нами в Америку, я и забыла сказать, что ведь мы едем в Америку, ей-Богу, правда!.. А вы все говорили, что любите меня и нас всех. Так как же, милый, не приехать хоть проститься, ведь когда же мы вернемся в Россию!.. А я вас так люблю!.. Вы опять скажете, что это надо доказать, видите, как я все помню, голубчик, но, накажи меня Бог, я говорю правду, ведь я и не умею врать, вы сами говорили... И я так рада за Карло, хоть берет страх, просто ужас и ночью не сплю, впрочем, вру, сплю...»

Все письмо было нежное, счастливое, бессвязное, бестолковое и безграмотное (почему-то Катя беспрестанно употребляла многоточия, видимо, приписывая им какое-то особое значение). Мамонтов с улыбкой прочел и перечел письмо.

Получение этого письма совпало у него с неудачами и разочарованиями. Он вдруг почувствовал желание пристать к цирку. Ему стало совестно, что в последний год он почти забыл о Кате, только изредка обменивался с ней письмами. «Все эта глупейшая история с Ивонн...» У него был роман с натурщицей, закончившийся денежным расчетом, о котором ему и теперь, через месяц, было стыдно вспоминать.

Он долго ходил по своей мастерской, останавливаясь, улыбаясь и пожимая плечами. Думал, что, быть может, цирк пригодился бы ему как художнику новизной вне-

¹ «Добыча» *Фрэнсиса*.

чатлений и сюжетов. «Вот это тема почти не использованная. А уж если в самом деле подтвердится, что большого таланта к живописи нет, если в самом деле переходить на карьеру журналиста, то, пожалуй, поездка в Соединенные Штаты подходит как нельзя лучше?» Ему казалось, что это мысленное слово «подтвердится» уже, в сущности, предрешало дело, и теперь впервые эта мысль не вызывала у него тревоги. «Ну, допустим, что я писал не так, как нужно, допустим, большого таланта не оказалось — это добавок пока неизвестно, — все-таки еще два-три года можно выбирать жизнь заново... И как прелестно безграмотно она пишет! Что если в самом деле поехать с цирком? Я не подраядил прожить жизнь так, как это угодно мешанам». Он думал и о том, что в присоединении к цирку было бы нечто устарело романтическое и теперь дешовое, «à la Алеко».

На следующее утро он проснулся с очень тоскливым чувством, как все чаще в последнее время (прежде, в Петербурге, этого не было). Николай Сергеевич первым делом подумал о письме Кати и сам удивился своим вчерашним мыслям: «Что мне делать в Америке?» Он встал, оделся, хотел было начать работу и не начал, опять стал ходить по комнате. «Вот ведь мне казалось, что и в Ивонн я влюблен... Другое дело, если говорить о поездке в Америку вообще. Собственно, я подумывал о Соединенных Штатах, когда собирался стать журналистом. Но о чем я только не подумывал! Верно и то, что за деньгами остановки не было бы, еще на несколько лет жизни денег хватит, во всяком случае, если даже ничего не зарабатывать. Да и для живописи Америка могла бы кое-что дать». Он почти с отвращением взглянул на свой «Уголок Компьенского леса» и подумал, что таких уголков в лесу, на заре и под вечер, в серых, голубоватых, серебряных тонах только что всеми оплаканного Коро есть, наверное, сотни. «Да, ясно, что надо все, все пересмотреть, надо понять, что я писал вздор, что «Стенька» никуда не годится, как никуда не годятся всякие княжны Таракановы, Грозные у гроба сына, становые на следствии и колдуны на свадьбе, которые десятками фабрикуются у нас в России... Если же с позором из живописи уйти, то... Куда же уйти? В революцию? В журналистику?.. Верно, это судьба всех бездарных неудачников — бросаться из стороны в сторону, — думал он полупокаянно-полуиронически. — А вот просто повидать Катю было бы очень соблазнительно, но где-нибудь поближе, без всякой Америки... — Он опять прочел письмо. Из него нельзя было понять, куда и когда едет цирк. — Но как мило, что она «умею» пишет с «е».

Николай Сергеевич так же нежно ответил Кате и просил Карло и Рыжкова толком сообщить все об их поездке. Очень скоро пришло от Кати новое письмо, настолько восторженное, что после него не встретиться с семьей Диабелли было бы просто невозможно. В конце на немецком языке без обращения и подписи был записан, очевидно, рукой Карло их маршрут с обозначением дней, часов и гостиниц. Оказалось, что они будут выступать в Гамбурге, Бремене, Бреславле, Берлине и закончат европейские гастроли в Эмсе. «Ну, что ж, в Эмс ездят теперь все. Отчего же мне не пробывать там несколько дней с ними?»

Узнав из письма Чернякова, что Дюмлеры тоже едут в Эмс, Николай Сергеевич поколебался, потом рассердился и сказал себе, что в таком случае приедет туда с Катей наверное, точно он бросал кому-то вызов.

В последний день Мамонтов решил сделать сюрприз — заехать в Берлин за семьей Диабелли. На долгой остановке в Кельне он вынул из чемодана новый костюм, переделался и выбрился. «Совсем как влюбленный!» — иронически думал он.

Но, когда в крошечной комнате их убогой гостиницы на окраине Берлина Катя, смеясь и плача, повисла у него на шее, Николай Сергеевич почувствовал, что улыбался он напрасно, что это очень серьезно, что его неудачи и глупая история с Ивонн никакого значения не имеют, что он поедет за Катей и в Эмс, и в Америку, и куда она захочет.

Алексей Иванович встретил его со своим обычным степенным радушием, как будто и в самом деле очень ему обрадовался. И только в приветливости Карло было, как всегда, нечто не совсем приятное. «Точно он еще выше ростом стал после этого сальто-мортале...» О поездке в Америку Николай Сергеевич не сказал ни слова, да и не было времени — их поезд отходил через несколько часов. Для международного цирка были сняты особые вагоны. Катя предложила взять туда и Мамонтова. Карло кратко ответил, что это невозможно — все места заняты и постороннего человека не впустят. «Это ничего не значит, я поеду в другом вагоне», — поспешно сказал Нико-

лай Сергеевич. Легкий холодок исчез, когда Карло предложил Мамонтову повести Катю и Рыжкова в кондитерскую, сам он все бегал по делам.

— Разумеется, он страшно рад нас вам подбросить, мы у него на шее сидим,— объявила Катя. Оказалось, что она и Алексей Иванович, не зная ни одного слова ни на одном иностранном языке, почти не выходят из гостиницы из боязни заблудиться.— Мы и то носим при себе его записочку с адресом, как собаки ошейник с надписью, чьи они! — объяснила она и залилась смехом, который в следующую ночь снился Николаю Сергеевичу.

По пути в Эмс на большой станции Мамонтов в другом, светлом, тоже слишком хорошем для дороги костюме подошел к вагонам цирка. Кати у окон не было. «Значит, не очень меня ищет...» Из ее вагона слышался веселый говор, женский смех — не Катин. Николай Сергеевич постоял на перроне, не поднялся в вагон, почему-то сделал даже вид, что стоит не у этого вагона, затем отошел с неприятным чувством. У буфета Карло пил пиво с высоким, благодушного вида человеком, который что-то рассказывал ему на ломаном немецком языке. «Так Карло не с ней в вагоне», — с облегчением отметил Мамонтов. Акробат представил его своему собеседнику. Это был директор цирка, американец Андерсон. Узнав, что Мамонтов владеет английским языком, он тотчас с ним разговорился и через минуту стал называть его по фамилии, которую легко усвоил и произносил правильно. Андерсон бывал в России и знал несколько русских слов.

— А по-французски я совсем хорошо говорю, с чистым пенсильванским акцентом,— добавил он.— В нашем деле иначе нельзя.

— Вы давно в Европе?

— Несколько лет. Америка слишком бедная страна для такой труппы, как моя. Нас разорила эта несчастная гражданская война,— пояснил он со вздохом.— Впрочем, теперь наши дела как будто начинают поправляться. Мы едем домой, и не могу сказать, чтобы я был этим огорчен... Выпьем еще по стакану? А вы ничего для цирка не умеете делать? — с любопытством спросил Андерсон.— Едем с нами в Америку? Лучшей страны нигде в мире нет!

«Да, странный и, кажется, интересный мирок,— думал у себя в вагоне Николай Сергеевич.— Конечно, он ничего не теряет от сравнения с нашим, где все так и дышит завистью и злобой. Было бы очень хорошо познакомиться с ними поближе. Но неужто я в самом деле поеду в Америку? Не сойти ли на первой станции, не сбежать ли в Париж или, еще лучше, в Петербург, а им послать какую-нибудь телеграмму?» — с улыбкой спрашивал себя он. Хотя он отлично знал, что ничего такого не сделает, Мамонтов довольно долго думал о том, как и когда они получили бы его телеграмму, что сказали бы и долго ли плакала бы Катя. Затем снова у него завертелись памятные по Петербургу мысли об отношениях между Катей и Карло, он гнал от себя эти мысли и даже отрицательно мотал головой. «...Я так вас люблю, так люблю! Ей-Богу!» — говорила Катя в кондитерской, улетаая пирожные и срываясь с места, чтобы поцеловать его. Немки принимали их за молодоженов.

Когда поезд замедлил ход у эмского вокзала, на перроне Николаю Сергеевичу бросился в глаза Черняков в не очень шедшем его солидной фигуре легком белом костюме. Михаил Яковлевич еще издали помахал высоко над головой рукой с растопыренными пальцами, затем обнял Мамонтова, обдав его смешанным запахом крепкого одеколона и хорошей сигары, и минуты две высказывался о наружности Николая Сергеевича.

— ..Совсем парижанин! Так ты и усы подстриг? Ну прямо цветешь, а? Вот что значит успех и миллионы! Я тебе и комнату пригостил в гостинице для миллионеров... Не надо было? Пеняй на себя, зачем не сообщил, что тебе нужно?

Узнав, что у Мамонтова друзья в вагонах для цирка, Михаил Яковлевич вытаращил глаза.

— Как в вагонах для цирка? Я читал в местной газете — газетка, кстати, паршивая! — что сюда приезжает цирк или зверинец... Они что же, со зверьми едут, твои друзья? Может, ты с тиграми хочешь заехать в «Энглишер Гоф»? Об этом я, извини, не договаривался, ты сам им объяснишь. Так ты стал укротителем зверей?

Увидев Катю, Михаил Яковлевич догадался, кто она, и обрадовался, быть мо-

жать, потому, что сбылось его предсказание «cherchez la femme». У Кати был испуганный и растерянный вид.

— Ради Бога! — сказала она Мамонтову с мольбой в голосе. — Ради Христа, зайдите за нами завтра пораньше! Голубчик, приходите рано утром, умоляю вас! Мы тут без вас пропадем!

Николай Сергеевич обещал прийти рано и познакомил ее с Черняковым. Катю, видимо, немного успокоило то, что в этом месте могут быть русские. В другое время она, наверное, тут же поцеловала бы Михаила Яковлевича. Но здесь общая суматоха, слышавшаяся отовсюду иностранная речь так ее напугали, что она не поцеловалась на прощание даже с Мамонтовым. Карло позвал ее, она покорно пошла за ним, держа в руках какой-то кулек и коробку. Легкий багаж семьи вообще состоял только из бумажных и картонных предметов. В конце перрона она оглянулась и горестно помахала кульком. Черняков изумленно глядел на цирковых артистов.

— Что это? Каууны? — испуганно спросил он. — Неужто ты их знаешь?

— Только этих трех и знаю.

— Ведь это та твоя, петербургская, правда?

— Да, да, «та моя, петербургская», — с досадой ответил Николай Сергеевич. Михаилу Яковлевичу, однако, показалось, что Мамонтов не слишком задет его словами. «Уж больно стал ломаться», — благодушно подумал Черняков, охотно прощавший людям маленькие слабости.

За поздним обедом в «Энглишер Гоф» бессвязный разговор еще до жаркого раза два прерывался. Михаил Яковлевич сообщил, что мог бы получить должность экстраординарного профессора в провинции, но уж очень не хочется уезжать из Петербурга, авось и там кое-что навернется; сообщил предположения о своей докторской диссертации, сообщил об отклике, который нашли его работы в русской и немецкой печати. Он спрашивал и Николая Сергеевича о его успехах, но Мамонтов отвечал уклончиво и с некоторым нетерпением. Чернякову показалось, что его друг вообще стал раздражительней.

— ...Ты как Бисмарк, который при появлении в газетах сенсационных слухов «не подтверждает, но и не опровергает». Значит, «Стенька» имел в Париже успех?

— Некоторый успех, если хочешь, имел.

— «Если хочешь!» Я хочу. И тебе были заказаны портреты. Значит, все отлично?

— Значит, все отлично.

— Ну, так и говори. Хорошо, какие же теперь твои планы? — спросил Михаил Яковлевич, любивший за вином то, что он называл «интимными беседами». Ему хотелось поговорить о Катилине. — Когда ты возвращаешься в Петербург?

— Сам еще не знаю... Быть может, я поеду в Америку.

Черняков поставил бокал на стол и изумленно уставился на Мамонтова.

— В Америку? В какую Америку?

— В Северную.

— Еще слава Богу, что не в Патагонию! Зачем тебе Америка? Что ты будешь делать в Америке?.. Постой, я, кажется, читал, что эти циркачи отсюда едут в Соединенные Штаты...

— Да. И я, быть может, поеду с циркачами, — с вызовом в голосе ответил Николай Сергеевич. Черняков сокрушенно замолчал. Он любил Мамонтова, желал ему успехов в жизни (хотя не слишком уж блистательных успехов, в меру), и ему было больно, что из его друга, по-видимому, ничего не выходит. «Все он мечется и, должно быть, этим гордится, как все мятущиеся души. А в действительности тут дело не в мятущейся душе, а просто в юбке. По-видимому, он в самом деле вторгнулся в эту Катилину!»

— Но что ты там будешь делать?

— Не знаю. Впрочем, о себе мне сейчас не хочется говорить... Что же твоя прогрессивная партия? Кажется, государь к вам еще не обращался? — насмешливо спросил Николай Сергеевич. Черняков пожал плечами. — Помяни мое слово, все это добром не кончится.

— Что именно «все это»?

— Ты знаешь, что именно. Это желание государя всех очаровать, никому ничего не дав. Эта его манера рассматривать Россию как свое родовое имение, где му-

жики и дворян, кроме нескольких неблагодарных негодяев, обожают доброго барина. Но *à la longue*¹ это не годится. Я видел в Париже, в Швейцарии кое-кого из молодых русских, поколения, следующего за нашим с тобой. Они все отпетые революционеры и нигилисты.

— Очень жаль. Теперь, впрочем, у нас намечается новое увлечение славянской идеей. К стати, из Герцеговины идут тревожные слухи, там, кажется, назревают серьезные события. Что ты об этом думаешь?

— Если есть вещь, о которой я совершенно не думаю, то это события в Герцеговине. Я даже не знал, что в Герцеговине бывают события.

— От свечи, брат, Москва сгорела,— сказал Черняков и вдруг, радостно улынувшись, помахал кому-то рукой. Николай Сергеевич оглянулся. Из дальнего угла ответно улыбался их столику человек, в котором за версту можно было признать русского. К нему подходил лакей со счетом на тарелочке.

— Кто это? Русский, конечно?

— Павел Васильевич Муравьев. Знаешь? Почему ты морщишься? Или ты тоже делаешь вид, будто не любишь встречаться за границей с русскими? Это какая-то повальная мода. И все люди врут, потому что разговаривать нам интересно только с русскими же.

— Да я не потому, что он русский. Он аристократ. да? Ты знаешь, я не люблю аристократов.

— Почему «аристократ»? И что такое «аристократ»? Муравьевых в России пруд пруди. Он профессор физики. Очень дельный физик и милейший человек. Сам говорит, что он и не из тех Муравьевых, которых вешают, и не из тех, которые вешают. Иными словами, не состоит в родстве ни с семьей декабристов, ни с Муравьевым-Виленским. Никакой он не аристократ, просто помещик второй руки. А его старшая дочь, если хочешь знать, даже симпатизирует, как ты, революционерам,— сказал Черняков неожиданно с легким вздохом.— Это ей, впрочем, не мешает выписывать платья от Ворта и ездить верхом на кровных лошадях.

— Дочь тоже здесь?

— Да, две дочери.

— Хорошенькие?

— Младшая — еще ребенок. Старшей лет девятнадцать, очень хорошенькая, и умная, и образованная. Замечательная девушка.

— Волочишься?

— Без малейшего успеха. Но часто у них бываю... Вот он подходит.

Профессор, знакомясь, крепко пожал руку Мамонтову и с полной готовностью принял предложение «подсесть». Это был человек лет пятидесяти с очень приятным, умным лицом, с окладистой, уже седеющей бородой.

— ...Вот я донесу вашему врачу, что вы в Эмсе ужинаете,— сказал Черняков.— Это строго запрещено. Мы? Мы не в счет — мы вод не пьем... Но отчего же вы не привели Елизавету Павловну?

— Ее приведешь! Она с кем-то в курзале. Что до ужина, то в нашем *табльдоте* кормят дрянью. Ешь — противно, и через час после «абендброта» хочется есть. А я голодный заснуть не могу... Так вы прямо из Парижа? — спросил он Николая Сергеевича.— Ну, что же там слышно?

— Да что же он мог слышать? Он, кроме революционеров, никого, кажется, и не видел! — сказал Михаил Яковлевич. Мамонтов с досадой пожал плечами. Профессор смотрел на него, благожелательно улыбаясь и, видимо, ожидая пояснения.— Николай Сергеевич — такой же отчаянный радикал, как ваша Лиза. Он с нашим братом, с «ретроградами», разговаривает только в случае крайней необходимости.

— Да мы с вами, кажется, не такие уж ретрограды, особенно я,— смеясь, сказал Муравьев.

— А кто вчера царя восхвалял?

— Нисколько не восхвалял, а просто отдавал должное.

— Должное? За что же, собственно, должное? — хмуро спросил Николай Сергеевич.

— Неужто и в Эмсе говорить о политике, да еще в такую жару? — вздыхая, ответил вопросом профессор.— Да что я вчера сказал? Сказал, что ненависти к царю у меня нет. К его отцу была, а к Александру Николаевичу нет... Никакой ненависти

¹ В общем (франц.).

к нему не чувствую,— твердо повторил он, точно подумав и проверив себя.— Скажу, что плохо его понимаю, это да. Может быть, и факты мне известны не все. Извините педантизм естествоиспытателя,— с улыбкой обратился он к Мамонтову,— у нас первое дело знать факты.

— Какие же такие факты нам неизвестны? Факты те, что у нас полный застой, страна в развитии остановилась и вперед не идет. И в этом вина тех, кто ею правит.

— С этим я готов согласиться лишь отчасти. Полный застой? Полного застоя нет. Россия растет и цивилизуется. Но, к сожалению, совершенно верно то, что темп ее движения вперед за последнее десятилетие очень замедлился. Вот это мне и непонятно. Александр II был одним из величайших реформаторов в истории. Если говорить правду, то по сравнению с его реформами реформы Петра отходят на второй план.

— Ну нет,— вмешался Черняков.— Наш Питер особь статья. Недаром Великий.

Профессор опять вздохнул.

— Если б Александр II при осуществлении своих реформ тоже потоками проливал кровь, то и его, Должно быть, прозвали бы Великим.

— Это парадокс.

— Нет, к несчастью, не парадокс. Великими в истории всегда прозывали только тех, кто с видимым на протяжении отрезка времени успехом пролил очень много крови. Без этого можно стать Добрым, Кротким, Благословенным, Святым, но для Великого нужны успех, кровь и больше ничего. Поверьте, если б Наполеон III выиграл войну 1870 года, он тоже стал бы Великим. Людовик XIV пролил много крови и получил Великого. А Людовик XVI не пролил и окончил свои дни на эшафоте.

— Вот же наш Николай Великим не стал.

— Крымская война помешала. И, хоть это уж другой вопрос, в Николая ведь Каракозовы не стреляли. Я, кстати сказать, всегда тех, кто ненавидит Александра II, спрашиваю, почему они никак не проявляли ненависти к его отцу.

— К нашему поколению этот риторический вопрос не относится — мы при Николае еще под столом бегали.

— Поэтому ваше поколение и не может понять, что для нас означало вступление на престол Александра II. Мы точно глотнули воздуха после того, как едва не задохлись... Я прямо скажу: я Александра Николаевича не понимаю... Ничего не понимаю,— повторил профессор, опять подумав.— Этот человек освободил крестьян, ввел земство, самоуправление, прекрасный суд вместо старого дрянного, отменил рекрутчину, уничтожил телесное наказание, без срама выпутал нас из проигранной войны, затеянной Николаем вопреки его совету, умиротворил Кавказ, мирно, не пролив ни единой капли крови, присоединил к России богатейшие земли Дальнего Востока... Разве я не вправе сказать, что он сделал больше Петра? И разве у него не было мировой славы, вроде славы Линкольна? Кстати, помните ли вы, что после покушения Каракозова Конгресс Соединенных Штатов прислал в Петербург особую делегацию во главе с Фоксом, чтобы приветствовать Александра II, «уму и сердцу которого русский народ обязан свободой»? Это, кажется, был первый такой случай в истории. Его в северных штатах всегда и сравнивали с Линкольном. Вот какая была слава! И мне непонятно, что же такое произошло с царем. Почему человек, бывший величайшим реформатором, больше ничего не хочет делать? Я не политик, но каждому нормальному человеку ясны преимущества конституционного строя перед самодержавным. По каким мотивам, только ли по усталости этот бесспорно хороший, неглупый и добрый человек окружил себя ретроградами...

— Да нам его мотивы совершенно не интересны. Если он устал, то пусть идет к... Пусть уходит на покой!

— А мне мотивы интересны. Вы Голохвастова Дмитрия Дмитриевича не знаете? Это клинский предводитель дворянства. Очень милый человек, хороший оратор, конституционалист. Так вот, видите ли, Голохвастов имел с государем беседу. Государь ему сказал со слезами в голосе...

— У него всегда слезы в голосе.

— Сказал ему следующее: «Чего вы все от меня хотите? Конституционного правления? Вы думаете, что я его не даю из мелочных чувств, не желая поступиться своими правами? А я тебе клянусь, что вот сейчас на этом столе подписал бы какую угодно конституцию, если б это только было возможно...»

— Кто же ему мешает?

— Не скрою, что это он объяснял Голохвастову невразумительно, говорил, что Россия на следующий день распадется на куски, все, мол, отделятся: Польша отделится, Финляндия отделится...

— И пусть отделяются.

— Это не разговор, Леонардо, «пусть отделяются!» — сказал Черняков. — Но эти опасения ни на чем не основаны.

— Я тоже думаю. Так какие же истинные причины? Думаю, скорее всего, сильное давление оказывает на него окружение, состоящее на три четверти из крепостников...

— Вот бы он всю эту шайку и разогнал.

— К этим твоим словам, Леонардо, я присоединяюсь, — сказал Черняков. — Давно пора приструнить этих господ.

— Вы оба совершенно правы, но... Вот у меня дочь, молоденькая девушка, собственно, чуть не девочка, и ее приструнить невозможно, и я даже спорить с ней не хочу и не могу — я слово, а она мне двадцать. Мне просто лень, и я махнул рукой, Михаил Яковлевич знает, — смеясь, сказал профессор. — Вы думаете, так легко приструнить старую Россию с ее тысячелетней инерцией? Один пример: отмена крепостного права. Вам так кажется: сел государь в хорошую минуту за письменный стол и подписал указ об освобождении крестьян. А этого указа не хотели 99 процентов всех его близких и девять десятых дворянства... Нет, вы не спорьте, это так! И как не хотели! Смертельно боялись, боролись, тормозили, готовы были на все, чтобы не допустить освобождения. Я прямо скажу, что для царя была опасность, ведь и при его неограниченной власти очень трудно справиться с дворянством. Вспомните участь его деда и прадеда, ведь их убили дворяне, а не революционеры. Да вот у меня есть маленькое личное впечатление, — сказал профессор, видимо, увлеченный спором. — Я только раз в жизни вблизи видел и слышал царя. Это было на приеме московского дворянства незадолго до освобождения. Почему-то я пошел в первый и в последний раз в жизни — я плохой дворянин. Ну, собрались мы в Кремле... Не верьте вы, молодые люди, тем, кто говорит, будто большая часть дворянства стояла за освобождение крестьян. Да и в самом деле, вот ведь и на Западе из-за какого-нибудь пустякового нового налога поднимается дикий вой, а тут дело шло не о налоге, а о потере доброй половины состояния. Герцен, конечно, хотел освобождения, но сколько же дворян Герценов?

— Герцен вдобавок своих крестьян продал или заложил до эмансипации, — сказал Черняков и ласково положил руку на рукав профессора. — Павел Васильевич, кофейку не хотите?

— Нет, поздно, я сейчас побегу... Ну, так вот, выстроились мы в кремлевской зале, хмурые, мрачные, насупившиеся, точно на похоронах. Впереди старики, все больше князья, богачи, генерал-адъютанты, ну, Английский клуб. Ну-с, вошел царь и заговорил. Говорит он, кстати, прекрасно, как настоящий оратор, только что грассирует. По-моему, царям не полагается грассировать. И с первых слов начал он нас, московских дворян, ругать, да как! Вы, говорит, и крестьян на волю отпустить не желаете, и земли им дать не хотите, и палки мне в колеса вставляете, но ничего вам не поможет, крестьяне свободу получат во что бы то ни стало! Слов не помню, а смысл был таков. Слушали его наши крепостники ох как хмуро, верно, считали Робеспьером! Смотрел я на них и думал, что страшна сила косности этих людей и не так легко царю сесть за стол и подписать указ! И продолжаю думать: без Тургеневых и Герценов эмансипация все-таки могла бы состояться, а без Александра II русские крестьяне, то есть лучшее, что есть в нашем народе, и по сей день были бы рабами... Хотя я нелегко очаровываюсь, он тогда меня очаровал. И тем больше мне теперь, что он губит свое же собственное историческое имя. Страх ли или усталость, или разочарование от того, что он, верно, считает неблагодарностью? А что если вся трагедия просто от легкомыслия? Ведь это, право, трагедия. Я много вижу молодежи и ясно вижу, что дело идет к беде... Ну, простите меня, я что-то больно разговорился. Прямо стыдно — в Эмсе на водах вести политические дискуссии! — Он взглянул на часы, ахнул и поднялся. — Рад бы еще посидеть, да одиннадцатый час и Маша дома одна. Это моя младшая дочь, — пояснил он Мамонтову, — ей уже четырнадцать лет, и, представьте, она еще не решает судеб России.

— А старшая решает?

— Уже решила. И до споров со мной не снисходит. У нее политика дамская, без

доводов, просто: «Ненавижу вашего царя!» — и кончено. Александр II, видите ли, мой!.. Так завтра увидимся на водах, правда? Ну, всего хорошего, и не сердитесь, если я что не так сказал. Я ведь физик, а не политический деятель, — ласково сказал Муравьев и, крепко пожав им руки, направился к выходу, опираясь на палку.

— Понравился он тебе? — после недолгого молчания спросил Черняков, допивая остаток вина в бокале.

— Так себе. Да, скорее понравился, хоть ничего умного он не сказал... Но в самом деле, что за манера — с первого знакомства заговорить о политике?

— Да ведь это ты заговорил о политике! И потом что же это? О себе ты говорить не хочешь, о политике тоже не хочешь, о чем же ты хочешь говорить? — обиженно спросил Михаил Яковлевич. Мамонтов засмеялся.

— Извини. Я действительно немного устал. Но расскажи мне, как вы здесь, в Эмсе живете... Уж очень приятное слово «Эмс». Мне в детстве ласкал слух «Багдад».

— Завтра утром ты на водах увидишь все и всех.

— Воды далеко отсюда?

— Разумеется, нет, два шага. Да вот я тебе объясню, — сказал Черняков, вынимая из кармана золотой карандаш. Он нарисовал на меню план Эмса. — Вот тут «Энглишер Гоф», здесь курзал. Тут «кессельбруннен», а тут «крэнхен», Юрий Павлович пьет «кессельбруннен», а государь «крэнхен».

— Ах, как досадно! Это у вас семейное горе?

— Какой ты брат, стал «каустический», просто выдержать невозможно. Это Лан. Наша вилла на левом берегу, ты перейдешь по мосту, свернешь направо, и наша вилла по левой стороне, шестая по счету, «Schöne Aussicht», запомнишь? Значит, завтра приходи к обеду, уж если ты завтракаешь с Катилиной...

— Не твое дело, с кем я завтракаю!.. Но скажи толком, здесь хорошо?

— Чудесно! Какие ландшафты! Красота! — ответил Черняков, вздохнул и засмеялся. — Если же ты хочешь знать правду, то городишка паршивый и скука адская. Смотри, вот и здесь, в «Энглишер Гоф», в десять часов вечера уже ни души!.. Я страшно рад, что ты приехал. Особенно если надолго и если ты не будешь торчать целый день у Катилины...

— Ненадолго. Дня через три они уедут и я тоже.

— Сестра тебя не отпустит. Она тоже была очень рада, что ты приезжаешь... Ты просто не поверишь, что это за скверный городок! Петербургские газеты приходят на четвертый день! Конечно, ландшафты один восторг!

В одиннадцать часов Николай Сергеевич уже лежал в постели. В прошлую ночь в поезде он почти не спал, но, несмотря на вино и усталость, спать ему не хотелось — слишком много было впечатлений, слишком много было предметов, о которых следовало бы подумать. Следовало особенно подумать о Кате, и Мамонтов пытался это сделать, однако вспоминал ее звонкий смех и больше ни о чем думать не мог. «Об этом позднее быть может, я еще завтра с ней поговорю и все выясню, — говорил он себе и смутно чувствовал, что едва ли поговорит и что ничего не выяснит. — То есть выясню, но не завтра. Карло? Это туда же, — думал он, как будто откладывая в тот же ящик и мысли о Карло. — Что еще? Цирк? Да, очень интересный и милый мирок. Черняков? Он все такой же, как был, и странно было бы, если б за год очень изменился. Этот вернопопдаанный профессор? У него приятное лицо... Надо познакомиться с его дочерью...»

Можно было бы встать и взять из дорожного плаща купленную на станции не развернутую в вагоне газету. Но это было бы слишком сложно: и вставать не хотелось, и у туфель сплюснулись задки, и в шкафу, конечно, посыпались бы пиджаки, брюки, жилеты, искусно развешенные лакеем гостиницы по тесно наседавшим одна на другую вешалкам. «Да ничего нового, кажется, и не было. Войны не будет. А то можно было бы пойти воевать? Хорош и воин, если лень добраться до шкафа... А это что такое лежит? — На столике рядом с небольшой лампой лежала отпечатанная на прекрасной гляневитой бумаге немецкая брошюра об Эмсе. Николай Сергеевич посмотрел на рисунок набережных с горами. — «Кажется, в самом деле очень красиво», — заглянул в список гостиниц, строго разделенных на ранги. «Englischer Hof» был в первом ранге, «de luxe», тотчас за «Hôtel des Quatre Tours», и это почему-то было приятно Николаю Сергеевичу. Нечто успокоительное, сознание места, прав и ранга каждо-

го было и в обстоятельном перечислении магазинов, церквей, синагог, врачей — чувствовался твердый, устоявшийся быт, исключая возможность потрясений. В историческом очерке, невообразимо скучном даже по шрифту, Николаю Сергеевичу бросились в глаза выделявшиеся стихи с белевшими обвалами в середине строчек. «Почему стихи? И почему такие длинные?» Сюжетом стихов была легенда о жившей некогда под Эмсом знатной госпоже фон Штейн, которая так удачно женила своих сыновей и выдала замуж дочерей, что не было пределов ее земному счастью.

«Dieser Ehre ist zu viel!»
 sprach die edle Frau von Steine.
 Auch das Glück will End und Ziel.
 Ziel noch Ende hat das meine.
 Beide Söhne sind vermählt,
 sind es Schmuck des Ritterstandes,
 Drei der Töchter auserwählt
 haben Edle dieses Landes.
 Blieb mir doch das letzte Kind,
 heute gab ich's einem Grafen.
 Also dass es zwölfte sind,
 die sich hier zur Hochzeit trafen...¹

В этих ровных парных стихах, как и в глупости легенды, было тоже нечто приятно-успокоительное. «Что же мне нужно? Жениться на графине и стать «Schmuck des Ritterstandes»? Или не на графине, но непременно на дочери адвоката, инженера, профессора?... Люди будут пожимать плечами, как Черняков? Какое мне до них дело? Что тут дурного, если ею стреляют из пушки? Катя бросит пушку, только и всего. Она необразована? Зачем мне ее образование? Об ученых предметах я могу говорить с Черняковым и с его сестрой, которая, впрочем, по существу, ненамного образованнее Кати, только что знает языки и читает газеты... Как она меня завтра примет, фрау гекеймрат² фон Дюммлер?... Фрау фон Дюммлер—фрау фон Штейне... «Штейне» вместо «Штейн» — это поэтическая вольность, и в ней почему-то тоже слышится какая-то уютная глупость... А моя поездка в Америку — да неужели я в самом деле поеду в Америку? — думал, засыная, Николай Сергеевич.

VI

В шесть часов утра его разбудил слышавшийся отовсюду кашель. «Энглишер Гоф» вставал. Коридорный настойчиво стучал в двери и почтительно в одном тоне что-то пел, всем одно и то же. Из номеров высовывались взлохмаченные люди в ночных рубашках, стыдливо оглядывались по сторонам и отскакивали, схватив вычищенные башмаки. Окно очень темной маленькой комнаты Мамонтова почти упиралось в глухую стену; нельзя было даже разобрать, какая погода.

Через полчаса он вышел на улицу и ахнул, так прекрасна была набережная с маленькими садами и домиками, прижавшимися к подножию гор. Пахло мокрой травой. Все было залито белым, чуть золотистым светом. Николай Сергеевич почувствовал прилив бодрости и энергии, какого не знал с Петербурга. Ему показались нелепыми его мысли о будто бы неправильно и неудачно сложившейся жизни. «Да, конечно, я был прав, что решил ехать с ними. Влюблен? Старый дурак! — подумал Мамонтов, бессознательно подражая каким-то разочарованным людям, которых и не встречал в жизни; он не считал себя ни дураком, ни старым. — «Влюблен до безумия», как пишут в романах. Я в жизни был по-настоящему влюблен четыре раза, это пятый, и, разумеется, в тридцать лет нельзя быть так влюбленным, как в восемнадцать...»

¹ «Этой чести я не стою!» — так сказала фрау фон Штейне, титулованная дама. — Мое счастье беспредельно. Большого желать не смее: оба сына, что женились, гордость рыцарства всего, и три дочки вышли замуж, обрели мужей знатнейших; с самой младшею моею обвенчался граф светлейший. Все двенадцать, что венчалось, здесь на свадьбе повстречались.

(Перевод с немецкого Э. Гуревич)

² «Рыцарским украшением» (нем.).

³ Фрау тайный советник (нем.).

Нет, я никогда не думал, что влюблен в Ивонн!» Он был так весел, что даже не поморщился при воспоминании о последнем разговоре с натурщицей.

Из гостиниц и пансионов медленно выходили, тяжело опираясь на палки или на зонтики, кашлявшие люди с изможденными лицами. Несмотря на прекрасное солнечное утро, многие из них были в пальто и в шарфах. Почему-то с Эмсом у Николая Сергеевича не связывалось представление о тяжело больном человечестве. «Да, прелестный, хоть смешной городок!» — думал он, улыбаясь.

Той же безобидной, уютной глупостью, как ему казалось, веяло от всего: от того, что гостиница называлась «*Gasthaus der Witwe Jost*», от того, что на вывеске лечебного заведения огромными буквами значилось «*Einspritzungen und Klystiere*»¹, от того, что уродливая, пожилая, толстая дама ехала верхом на ослике, победоносно улыбаясь немцу, шедшему за ней по тротуару с градуированным стаканчиком.

Из боковой улицы на набережную выехала барышня в amazонке на прекрасной гнедой лошади. Она с вызывающим любопытством оглядела Мамонтова, затем стегнула лошадь хлыстом и поскакала к мосту. «Уж не это ли дочь Муравьева? — спросил себя Николай Сергеевич. — В самом деле хорошенькая и похожа на русскую. Зачем она все же несется как сумасшедшая? На таком галопе и задавить большого нетрудно. А отлично, кажется, ездит...»

Мамонтов спросил дорогу у полицейского, который в этом городке не имел внушительного, грозного вида; он и говорил как обыкновенный человек и даже улыбнулся, узнав, что прохожий направляется в цирк. В конце набережной больные исчезли. Город перешел в деревушку. За ней открывалась роща, издали слышался радостный гул.

На отведенной цирку большой, залитой холодноватым светом поляне за рощей стоял смешанный запах мокрого сена, конюшни и зверей. За ночь в середине поляны подняли и закрепили на канатах, цепях, блоках огромный шатер цирка; на нем развеивались германский и американский флаги; вход был задрапирован пологом, спешно спитым из синих, золотых и красных кусков полотна (это были цвета города Эмса). С раннего утра составлялся забор из больших деревянных щитов, на которых были наклеены ярко-красная толстая женщина с волочившейся по полу косой, танцующие многоцветные карлики, раззолоченно-фиолетовая девица, мчащаяся под острым углом к арене на широкоспинном белом коне и на лету прыжком пробивающая бумажный обруч, полуголый атлет с громадными буграми мускулов, элегантный господин в синем фраке, вынимающий из цилиндра птицу, яростно выпучившую глаза и распутившую крылья. За шатром цирка стояли другие шатры, поменьше. Из-за отдернутых половов виднелись то раскормленные, белые, лениво жующие овес лошади, то длинные столы и табуреты кухмистерской, то расставленные правильными рядами черные сундуки костюмерной. С железнодорожных платформ были ночью сняты, перевезены на лошадях и поставлены за шатрами красные нумерованные фургоны с высокими козлами, с бронзовыми фигурками, с талисманами. В них и около них устраивались или отдыхали артисты. Везде из фургонов уже были вынесены скамейки, табуреты, складные кресла и протянуты веревки, на которых сушилось белье. На мокрой траве валялись битое стекло, кульки, окурки, обрывки газет. К облепленным грязью колесам фургонов были привязаны собаки разных пород и размеров. Огромная, с мохнатыми книзу ногами лошадь, очевидно, отставная, той же широкоспинной цирковой породы, медленно везла бочку, однообразно мотая головой сверху вниз, точно обсуждая что-то важное. Поводырь лениво вел слона, еле сгибавшего на ходу ноги. Около них бежали дети. Детей всех возрастов на поляне было множество, их восторженный визг выделялся в общем гуле — такой гул первобытной радости бывает только в цирке да еще в воде морских курортов во время купанья. Особенно много детей было по другую сторону шатров, где стояли фургоны-клетки хищных зверей. У многочисленных ларей люди в белых фартуках и колпаках торговали мороженым в вафельных трубочках и мутновато-желтой жидкостью из стеклянных чанов. Вокруг будки с кассой деловито устраивались нищие цирка.

— Николай Сергеевич, пожалуйста! — радостно окликнул Мамонтова Рыжков. Он сидел у своего фургона на скамеечке с фуфайкой и иголкой в руке. После тройного сальто-мортале положение Карло в высшей аристократии цирка стало совершенно бесспорным, и семье теперь везде полагался отдельный фургон. Против Алексея Ивановича сидел на табурете карлик и что-то деловито починял, болтая в воздухе ножками.

¹ «Вливания и клистиры» (нем.).

Рядом в парусиновом кресле дремал голый человек в трусиках и темных очках, с чудовищными мускулами, едва ли не тот самый, который был изображен на стене цирка. На него восторженно глядели два подростка с вафельными конусами. Катя и Карло не было. Дверь фургона была открыта, и Николай Сергеевич, здороваясь с Рыжковым, невольно в нее заглянул. Его волновало, как расположены койки и перегородки в фургоне. По-видимому, фургон был пуст.

— Здравствуйте. Где же ваши?

— Карло репетирует, у нас вечером номер. А Катя ездит на слоне,— ответил Алексей Иванович.— Как изволили почивать?

— Отлично. Как ездит на слоне? Ведь мы должны завтракать?

— Да она сейчас придет. Слон оказался, изволите ли видеть, земляк — в России был когда-то. Дурочка этакая!

— Можно взглянуть на ваш фургон? Мне интересно, как тут живут артисты.

— Сделайте милость, только, извините, у нас еще не убрано.

Николай Сергеевич поднялся по крутой лесенке. Фургон был разделен пополам на две части. В первой из них стояли две койки. «Карло и Рыжков или Карло и Катя?» — тревожно спросил себя Мамонтов. Он отодвинул полог. Там была одна койка, и было ясно, что тут живет женщина. Николай Сергеевич узнал и коробку, стоявшую перед зеркалом, это была та бонбоньерка, которую он в Петербурге поднес Кате. Его охватило радостное умиление. Как ни первобытна была обстановка фургона, Николаю Сергеевичу, очень любившему комфорт и чистоту, страстно захотелось хоть немного пожить и этой жизнью, ее жизнью.

Он спустился по лесенке. Со стороны рощи послышался радостный визг — Катя издали его увидела. Она ехала на слоне, очень удобно усевшись на его голове во впадине; слон вытянул вперед хобот, и Катя расположила на нем ноги. В руках у нее были синие очки. Она соскочила и хотела было броситься в объятия Николаю Сергеевичу, но не бросилась — накануне Карло сказал ей, что за поцелуй на улице в Германии сажают в тюрьму, и Катя этому поверила, как верила всему, что ей говорили мужчины, только с ужасом вытаращила глаза. Она гладила слона по его одноцветной морщинистой коже, похожей на плохо пригнанное покрывало, целовала его в странно-нежный раздвоенный кончик хобота и одновременно без умолку говорила:

— ...Идем кофе пить!.. Ах, как я вас люблю! Или нет, лучше не кофе, а шоколад! Я страшно люблю шоколад со садовыми булочками и с маслом. Какое чудное место. Гадкий, почему вы так опоздали? Я умираю от голода!

— К тридцати годам ты растолстеешь так, что тобой разве из Царь-пушки можно будет стрелять,— сокрушенно сказал Рыжков.

— Вот вы Царь-пушку для меня и купите, Алешенька. К тридцати годам я давно умру, не хочу быть старухой! Или нет, в тридцать лет я стану укротительницей зверей! Постойте, я вас познакомлю с Джумбо! Его, наверное, зовут Джумбо, все слоны Джумбо. Это мой лучший друг! И он русский, вы знаете? Ей-Богу, русский, он долго был в России. Чудный слон, ему сто лет, он помнит Ивана Грозного!.. Отчего вы смеетесь? Я глупость сказала? Это со мной случается, я страшно необразованная. А об Иване Грозном я сама читала, что он любил слонов. Где это я читала? Постойте, я вот только освежусь, и пойдем пить шоколад.

— Без Карло?

— Карло еще будет репетировать добрый час, и он по утрам пьет два стакана горячей воды,— как будто с уважением, но и с отвращением в голосе сказала Катя. Она взбежала по лесенке в фургон. Слон неторопливо пошел дальше. Он здесь, очевидно, был таким же безобидным членом общегития, как бежавшая рядом собачка. Ни карлик, ни атлет даже не взглянули на него, когда он прошел в двух шагах от них, и только восторг подростков раздвоился между слоном и атлетом.

— Мне страшно нравится, как вы живете,— сказал совершенно искренне Алексею Ивановичу Мамонтов.— Вот увидите, я присоединюсь к вам!

— Мы хорошо живем,— убежденно сказал Рыжков.— Но куда же вам к нам? Соскучитесь.

— В цирке соскучусь?

— Да, это публичнее только так кажется, будто мы такие веселые люди. Пришел раз к одному знаменитому доктору человек, жалуется на черную меланхолию. Ну, осмотрел его доктор и говорит: «Да вы, господин, здоровы как бык. А ежели у вас меланхолия, то вы пойдите в цирк, развлекитесь, там теперь гастролирует сам Грималь-

ди, первый клоун в мире». А он отвечает: «Да ведь я-то, господин доктор, он самый Гримальди и есть», — сказал с удовольствием Алексей Иванович, видимо, любивший эту историю.

Катя что-то с хохотом кричала им из фургона. Мамонтов заглянул в растворенное окно. Она быстро расчесывала волосы, опуская гребешок в ведро.

— Извините, Катенька, я думал, вы меня звали.

Катя выскочила из фургона, не пользуясь лесенкой, на ходу подняла и поцеловала собачонку, которая лизнула ее в губы.

— ...Назло Алешеньке я сегодня выпью не одну, а две чашки шоколада. Да!.. Правда, Николай Сергеевич, вы и за две заплатите. А то у меня в кармане один ихний гривенник, да и то не серебряный. И не две чашки, Алешенька, а три! «Ри», как говорит Карло.

Она опять залилась смехом. Николай Сергеевич видел, что американский атлет снял темные очки и смотрел, любуясь, на Катю. Впрочем, ни он, ни карлик, ни женщина, развешивавшая белье на веревке соседнего фургона, не старались вмешиваться в разговор. Мамонтова удивляла сдержанность цирковых артистов, то что французы называют непереводимым словом *discretion*. Радостный гул и веселье на поляне создавала публика, артисты были серьезны и молчаливы.

Николай Сергеевич повел рощей Катю и Рыжкова. Он по дороге в цирк заметил у кургауза кофейню с открытой террасой. Они шли быстро, Катя то опиралась на его руку, то убегала вперед, то с хохотом надевала синие очки и спрашивала, очень ли они ей к лицу, то срывала веточку венгерской сирени — на ее счастье, сторожей в роще не было, начальству просто не приходило в голову, что кто-либо может позволить себе столь дикие, караемые законом поступки.

— ...Ах, как хорошо!.. Ах, какая дивная роща! Собственно, это даже не роща, а сад. Но у нас в России рощи еще лучше! Вы Волгу знаете? Правда, нигде в мире нет такой реки?.. Голубчик, я так рада, что вы приехали к нам! А вы рады? Правда, ей-Богу? Ну, спасибо, чудно! Ей-Богу, я предчувствовала, что вы приедете! Я и Алешеньке говорила, правда, Алешенька?.. Ужасно смешные немцы и по-русски ни слова не понимают! — говорила Катя. На набережной опять показались гуляющие с градуированными стаканчиками, тяжело опирающиеся на палки, кашляющие люди, и переход к ним от радостного веселья цирка, от его артистов, в громадном большинстве молодых, здоровых, сильных людей, был разителен.

Когда они проходили мимо курзала, из боковой двери вышел крупный, грузный, некурторного вида человек в необычном здесь темном сюртуке. Он быстро окинул их взглядом и вдруг, раздвинув локти, так неожиданно и так уверенно надвинулся на них, что почти прижал их к стене. Прежде чем Мамонтов успел выругаться, грузный человек грозно прошептал: «Der Russische Kaiser!»¹ — и поспешно повернулся к двери. На пороге появился Александр II в белом костюме, со стаканчиком в правой руке. За ним следовал другой грузный человек. Катя взглянула на высокого господина и обмерла. Остолбенел и Алексей Иванович. Царь окинул Катю очень ласковым взглядом и, приподняв левой рукой шляпу, кивнул головой. Рыжков низко поклонился, Мамонтов тоже автоматическим движением снял свою шапочку, за что позже себя бранил. Снимали шляпы и другие прохожие, даже те, что шли по противоположной стороне улицы. Отойдя на несколько шагов, император оглянулся, опять ласково улыбнулся Кате, смотревшей ему вслед выпученными глазами, отпил воды из стаканчика и пошел дальше своей бодрой военной походкой, беспрестанно отвечая на поклоны сторонившихся перед ним или сходявших на мостовую прохожих.

— Ведь это наш государь?! — прошептала, придя в себя, Катя. Она совершенно не знала, что государь находится в Эмсе, что он вообще может быть за границей и особенно что он может гулять в штатском костюме.

— Вот так штука! — изумленно проговорил и Алексей Иванович. — Как же вы нам не сказали, что государь тут?

— Совершенно забыл.

— Ах, какой красавец! Ах, какой чудный! И глаза какие! Голубые-голубые и блестят! — восторженно говорила Катя, все еще жадно глядя вслед Александру II. — Ей-Богу, он на меня посмотрел! Вы видели? Ей-Богу!

— Катенька, он ни на одну женщину не может смотреть равнодушно. Это всем известно.

¹ «Русский царь!» (нем.).

— Как вы смеете так говорить о государе? Вам не грех? — возмущенно спросила Катя, впрочем, не видевшая большого греха в том, что сказал Николай Сергеевич. Тут же выяснились ее политические взгляды: Катя обожала царя, но находила, что всех министров нужно повесить, так как из-за них очень плохо живется бедным людям. Алексей Иванович прикрикнул на нее и объявил, что царь — прекраснейший человек, а министры как министры; есть, верно, хорошие и есть плохие.

В кофейне лакей, привыкший к диетическим заказам кашлявших и задышавшихся людей, с приятным удивлением смотрел на то, как Катя уписывала булочки с маслом, с ветчиной, с медом. Он и прислуживал за этим столом охотнее, чем за другими. Ему было не совсем ясно, дама ли Катя. Что-то не дамское было и в ее платье, и в манерах.

Черняков, до прихода русских газет старательно восхищавшийся природой на Умге-Аллее, увидел их и радостно к ним подошел с книгой в руке. За их столиком не было свободного стула. Михаил Яковлевич с несвойственной ему легкостью, происходившей от белого костюма и белых туфель, скользнул к другому столику и, галантно приподняв шляпу, получил от сидевшей за ним семьи разрешение взять стул. Он, так же скользая, вернулся, держа стул высоко над головой и не вполне естественно улыбаясь. Катя смотрела на него с сочувственным любопытством. Николай Сергеевич, несмотря на свою дружбу с Черняковым, опять почувствовал безотчетное раздражение.

— Вы воды не пьете? — спросил Катю с улыбкой Михаил Яковлевич. Она не поняла вопроса. Узнав, что здесь все пьют натошак два-три стакана очень противной, пахнущей тухлым яйцом воды. Катя вытаращила глаза.

— Разве есть такой приказ?.. Нет, не смейтесь! Ну, я сказала глупость! И вы тоже пьете?

— Я нет, я здоров, тьфу-тьфу, — сказал Черняков и прикоснулся к столу, хотя нисколько не был суеверен. — Но все больные пьют и вы не можете себе представить, с какой олимпийской серьезностью: одни с молоком, другие без молока, третьи утром с молоком, а днем без молока! Кто «кренхен», кто «кессельбруннен», кто сначала «кренхен», а потом «кессельбруннен».

— Неужели и государь это пьет? Я видела у него стаканчик!

— Государь пьет «кренхен», раз в день, по утрам. А германский император не пьет. Он сейчас тоже здесь, вы его не видели? Прямой важный старик, никому не отвечает на поклоны, не то что наш государь, который чуть ли не первый кланяется. Днем государь у княжны Долгорукой и вечером тоже.

Катя, слышавшая о княжне Долгорукой, с жадным любопытством расспрашивала о ней Чернякова. Какая она? Действительно ли так красива? Вся ли в бриллиантах? Михаил Яковлевич сообщил о романе царя приличные юмористические подробности (в Эмсе передавали и не совсем приличные).

— Сам я ни разу ее не видел. Она не показывается ни на водах, ни на музыке, ни в саду. Иногда по вечерам ездит с государем кататься, но всегда за город, к Рейну.

— Что же вы-то здесь делаете, если разрешите узнать? — солидно спросил Алексей Иванович. — Вы здесь давно?

— Целую вечность — больше недели.

Черняков благодушно-юмористически описал жизнь в Эмсе. Он хорошо рассказывал, гораздо лучше, чем писал. Ему очень понравилась Катя, но он все-таки не мог привыкнуть к мысли, что разговаривает с настоящей акробаткой; улыбка на его лице была напряженно-галантной.

— А где же твои? Еще спят? — спросил Николай Сергеевич.

— Что ты? Кто же в Эмсе спит в восьмом часу утра? Сие запрещено полицией, *polizeilich verboten*. Они пьют «кессельбруннен» в верхнем курзале... Надеюсь, ты не забыл, что ты у нас сегодня обедаешь? Обед ровно в семь тридцать. А то, может, и утром зайдешь? — спросил он и немного смутился, подумав, что, собственно, законы не запрещали бывать в их доме и друзьям Мамонтова. «Божьего запрещения, конечно, нет, но Юрий Павлович умер бы от разрыва сердца, если б на его пороге появились акробаты. Да и Соня была бы, пожалуй, недовольна. Все-таки, может, не следовало звать его при Катилине...»

— Нет, я не забыл, — кратко ответил Николай Сергеевич. Катя на него взгля-

нула. Черняков поднялся, сообщив, что должен зайти за русскими газетами, они уже, наверное, пришли.

— Неужто тут есть русские газеты? — радостно спросил Рыжков. — Голубчик, позвольте мне пойти с вами? Я ни слова по-ихнему не знаю.

— Очень рад.

— Покажи ему курзал, — сказал Мамонтов. — Постой, это у тебя «Русский вестник»? Майский? Давай его сейчас сюда! Там должно быть продолжение «Анны Карениной»!

— Представь, почему-то в этой книжке нет ее продолжения! Я сам очень жалел. Зато есть интереснейшая статья Соловьева о судебной реформе в Царстве Польском...

— Это сам читай, — сказал Николай Сергеевич.

— Вы у его жены нынче обедаете? — спросила Катя, немного насторожившись.

— Нет, у его сестры. Он не женат. Он здесь с сестрой и с ее мужем.

— Она молодая?

— Молодая и очень красивая, — ответил Мамонтов. Они помолчали. — Завтракаю я, конечно, с вами. Хотите здесь, на свежем воздухе?

— А здесь не очень дорого? Мы и то вас разоряем. Но мы сейчас без копейки.

— Нет, не разоряете... Почему же у вас и теперь нет денег? Ведь после тройного салто-мортале, вы говорите, Карло стал знаменитостью?

— Не я говорю, а это все говорят! — обиженно сказала Катя. — Телеграммы были во всех газетах, даже в Америку телеграфировали! И везде нам теперь большой почет. Почему нет денег? У нас никогда нет денег, — пояснила она, точно сообщая закон природы, вполне все объясняющий. — Ну, мы немного приоделись после тройного, Карло нас заставил взять из общей кассы, деньги, говорит, не мои, а нашей семьи. А какая это общая касса? Мне грош цена, Алешенька уже стар, деньги платят Карло. Конечно, мы долги заплатили, все до копейки, мы страшно честные, — сказала Катя, слизывая с ложечки остатки меда. — Вот ничего денег и не осталось. Да это не важно — Карло теперь знает весь мир! Ах, если б вы видели, что это было в Варшаве! Это был не успех, а Бог знает что такое! Вы понимаете, что значит тройное? Это значит, прыгнуть надо так, чтобы перевернуться в воздухе три раза! Между тем даже если два раза, то и то это страшно опасно. Я Христом Богом умоляла Карло, чтобы он тройного не делал. Да ведь вы знаете, что он за человек! Вбил себе в голову тройное, и кончено. Ему для славы нужно! Нет, говорит, не все разбивались. Этот, говорит, не разбился, и тот не разбился. А что другие десять раз разбились насмерть, это ничего!

— Вы очень волновались?

— Безумно! Просто и вспомнить страшно! Я сидела в уборной и молилась: «Господи, спаси!.. Господи, помоги!» Вдруг стало тихо, знаете, как когда объявляют публике... Ну, понятно, публику часто обманывают, вот и перед моим выстрелом Карло тоже просит «господ зрителей соблюдать полную тишину». Но здесь-то ведь я знала, что дело вправду идет о жизни!.. Сажу, трясусь (лицо у нее побледнело). Вдруг слышу, рев! Что это было, сказать не могу! Я выбежала на арену и бросилась ему на шею. А он ничего! Только голова немного кружилась. Журналисты побежали на телеграф, ей-Богу, правда! Потом нам газеты показывали: английские, финляндские. С его б и о г р а ф и е й, — старательно выговорила Катя. — Я умоляла, чтобы он перевел. Да он не перевел. А сам мне сказал, что для этого дня жил. Такой он человек!

— Какой же он человек?

— Хороший! Чудный! Прелесть какой!

— Вы любите его?

— Страшно люблю! А то как же? У меня, кроме него и Алешеньки, никого нет. Вот еще вы, — сказала она и потянулась, чтобы его поцеловать, но вспомнила о тюрьме и не поцеловала. — Они меня и воспитали. Я вам ведь рассказывала, что я, можно сказать, в цирке родилась? Нет? Мой отец был жонглер и первый человек на всей Волге. Он меня отдал в Мариинское училище. И не в трехклассное, а в шестиклассное! — с гордостью сказала Катя. — Я пять классов кончила, ей-Богу, не вру! Была в пятом классе, когда папаша скоропостижно умер, царство ему небесное! Ну, как у нас водится, похоронить было не на что, хоть он чудно зарабатывал, больше всех. Ну, Алешенька, спасибо ему, стал собирать деньги на сироту (у нее на глазах показались слезы и тотчас исчезли, как будто испарилась). Так можете себе представить, арти-

сты собрали денег и на похороны, и на мое учение! Ах, какие у нас в цирке чудные люди! Я еще шесть месяцев училась. Потом, понятное дело, собирать стало труднее, стали там разное говорить: пусть, мол, работает, уже не маленькая. Да и правду говорили. Вот позвал меня Алешенька, погладил по голове и спрашивает: «Хочешь, Катенька, учиться у меня делу?» Я страшно обрадовалась, хоть и жалко было бросать училище, но, правду сказать, мне все эти алгебры осточертели. И, верно, цирк у меня в крови. И, как видите, с тех пор без алгебры живем, и чудно живем. Теперь Америку увидим... Вы нашего директора Андерсона видели? Красивый старик, правда?

— Какой же он старик?

— Да ему сорок лет! И он американец, ей-Богу! Но очень хороший человек, хотя не русский. Вы знаете, он по-русски немного говорит. Только его какие-то шутики научили нехорошим словам, дураки такие! И вообще в цирке всегда хорошие люди. Только наездница Кастелли — язва, думает, что она красавица, и важничает.

— Это та, что на белой лошади?

Катя засмеялась его невежеству.

— У наездниц обыкновенно белые лошади. Чтобы не видна была канифоль... А вы где же ее видели? — подозрительно спросила она.

— Да ведь она намалевана на стене там, где лотки.

— Да. Это наши лотки. И, вы знаете, они платят нам, то есть Андерсону, аренды миллион рублей в год... Нет, что я вру! Тысячу. Тысячу талеров, — поправилась Катя, для которой, прочем, и миллион, и тысяча были одинаково невообразимыми числами. — И нищие у нас тоже свои, всегда переезжают с цирком, но они нам ничего не платят.

— Что же вы будете показывать в Америке? Тройное сальто-мортале?

— Это главное, конечно, но не только это. На тройном сальто-мортале нам с Алешенькой ведь нечего делать. Алешенька тот хоть на подкидную доску прыгает, а мне и показаться нельзя. Нет, мы уже с о с т а в и л и н о м е р, — серьезно и многозначительно сказала Катя. Николай Сергеевич по ее выражению понял, что это очень важная вещь — составить номер. «Не может быть, чтобы она притворялась насчет Карло. А что если прямо ее спросить? Грубо и глупо, но, право, я спрошу», — подумал Мамонтов и сказал совершенно другое:

— Должно быть, это особая порода людей — люди тройного сальто-мортале. Верно, и Бисмарк такой же.

— Какой Бисмарк? Бисмарк с тремя волосинками? Разве он прыгает?.. Опять я вру!..

— Да, Бисмарк с тремя волосинками, — повторил Николай Сергеевич. Ему было досадно, что она не очень оценила его замечание, как ему казалось, тонкое. Вдруг на аллее в нескольких шагах от себя он увидел Софью Яковлевну. Она шла с мужем и с какой-то дамой. «Подойти? Не могу же я бросить Катю!» Николай Сергеевич нерешительно привстал и поклонился, почему-то чувствуя себя смущенным. Софья Яковлевна ласково улыбнулась и кивнула, бегло оглянув Катю. Дюммлер его не заметил.

— Кто эта черная? — спросила Катя. В голосе ее вдруг послышалась недоброжелательность. — Какая красивая!

— Да это и есть сестра Чернякова, с которым я вас познакомил. Ее фамилия Дюммлер. А Черняков — мой товарищ по гимназии и по университету. Он вам понравился?

— Ничего... Только какой же он вам товарищ?

— Почему же нет? Что вы хотите сказать?

— Нет, я так.

VII

Софья Яковлевна тоже нашла перемену в Мамонтове.

— Вы возмужали, дорогой мой, — говорила она, вставляя в вазу принесенные им цветы. — Надеюсь, это слово вас не задевает? Вы не в том возрасте, когда оно может обрадовать, и не в том, когда оно может обидеть. Брат сказал мне, что вы стали «величественнее», и в этом есть маленькая доля правды. Успехи сделали вас самоувереннее, это сказывается даже в вашей наружности. И слава Богу, так и надо.

— Какие же мои успехи?

— Я знаю вашу скромность.

— Она знает твою скромность, Люцифер! — сказал Черняков, бывший в самом лучшем настроении духа. В петербургской газете, которую он купил в это утро, была корреспонденция из Эмса. В числе видных русских, уже находившихся или ожидавшихся в Эмсе, был назван «профессор Я. М. Черняков». Как ни досадно было, что газета перепутала инициалы, заметка доставила Михаилу Яковлевичу большое удовольствие. Назван он был в списке на последнем месте, но это, очевидно, объяснялось алфавитным порядком фамилий. Михаил Яковлевич проверил. «Да, конечно, все по алфавиту». Только «Ю. П. Дюммлер с супругой» шел впереди «писателя Ф. М. Достоевского». «Порядок второй буквы не всегда соблюдается. Достоевский, кажется, еще не приехал. А не повезло мне с первой буквой», — подумал Михаил Яковлевич.

— Нет, особенных успехов я что-то за собой не знаю, — повторил Мамонтов. За минуту до того он нисколько не собирался говорить о своих неудачах и стал отрицать свои успехи нечаянно, так вышло.

— Леонардо, ты продал «Стеньку», что во-первых...

— Продав потому, что в Париже в некоторых кругах появилась мода на все русское. Французы надеются, что Россия поможет им отвоевать Эльзас и Лотарингию, а для этого, разумеется, необходимо было купить мою картину — ничто ведь не может доставить больше радости государю, правда?

— А во-вторых, тебя засыпали золотом заказчики и особенно заказчицы. В-третьих, наконец, ты имел сказочный успех у парижанок. И тем большую честь тебе делает то обстоятельство, что ты и после всего этого не забыл старых друзей. Ведь ты мне за полтора года написал целых два письма, шутка ли сказать! Впрочем, и тот Леонардо, говорят, после «Джоконды» еще подавал два пальца старым приятелям.

— Да что ты к нему пристал? — сказала брату Софья Яковлевна. — Это правда насчет заказов?

— Совершенный вздор. Я за умеренную плату написал три портрета среднего достоинства. Только и всего.

— Это уже несомненный успех. А как отнеслась к вам критика?

— Критика была больше устная. Рецензий было мало. Кое-кто хвалил, кое-кто ругал. А один молодой художник выругал мою картину непечатным словом.

— Кто и каким? — радостно спросил Черняков.

— Это было так. Наша прошлогодняя выставка помещалась недалеко от выставки импрессионистов на Boulevard des Capucines. Вы слышали об импрессионистах?

— Кажется, я что-то читала во французских газетах. Они так называются по названию картины одного из них: «Impressions de...» «Impressions de...»¹ не знаю, чего именно?

— Просто «Impressions». Они в прошлом году устроили в Париже свою первую выставку. Над ними все издевались и, по-моему, очень глупо, между ними есть одаренные люди. Но публика нарочно к ним валила свистеть и скандалить. Чтобы не остаться в долгу, они ходили к нам и хохотали самым непристойным образом. Один из них, вообще, впрочем, человек мрачный, Сезанн, проходя мимо моего «Стеньки», будто бы воскликнул: «Dieu, quelle saloperie!»². Быть может, он даже выразился еще сильнее, но мне добрые люди передали именно так, — сказал, улыбаясь, Мамонтов. «Зачем я им это рассказываю? Как глупо!» — подумал он и нахмурился, вспомнив, сколько горя причинило ему это происшествие. Именно на выставке импрессионистов Николаю Сергеевичу пришла мысль, что, быть может, ничего не стоит и его картина, и живопись всех его учителей. «Что если именно эти мальчишки правы и мне надо всему учиться с азов?»

— И ты не заколол одного Сезама каким-нибудь флорентийским кинжалом 16 века?

— Я сделал другое: я решил купить его картину «La Maison du pendu»³. Как бы все над ним ни издевались, он человек очень талантливый. На их выставке любую картину можно было бы купить за десять-пятнадцать франков, но эта как раз уже была продана, я опоздал.

— Твой поступок прямо из первых времен христианства!.. Ты разочаровался в живописи и сожжешь «Стеньку», как Гоголь сжег «Мертвые души»! Не делай этого. умоляю тебя!

¹ «Впечатления от...» (франц.).

² «Боже, какая гадость!» (франц.).

³ «Дом повешенного» (франц.).

— Я не разочаровался в живописи. Скорее, она во мне разочаровалась,— сказал Мамонтов, обращаясь к Софье Яковлевне. «Точно он с вызовом это говорит: влюблен, и ни живопись, ни ваше мнение теперь не имеют для меня значения!» — подумала она с удивившей ее досадой и улыбнулась.

— Меня очень радует, что ваш очевидный успех не вскружил вам головы и что вы остались таким же простым, милым и умным человеком, каким были... Ну, а как же Бакунин и Маркс?

— Никак. Маркса я так и не повидал. Зато с Бакуниным — не сердитесь — я на «ты»... Юрий Павлович не выгонит меня из дому?

— Вас даже не оставят без сладкого... Надеюсь, вы приехали в Эмс надолго?

— Нет, всего на несколько дней. Вы довольны Эмсом?

— В восторге.

— Ведь это теперь самое модное место. Съезд огромный. Кто здесь из русских?

— Могу дать тебе список. Сегодня его зачем-то напечатали петербургские газеты. Вот... Только верни, я еще не все в газете прочел.

— Кто из русских? Прежде всего государь.

— Да, я знаю. Вы его, разумеется, часто видите?

— Да, как все, на водах. Он очень милостив к Юрию Павловичу и постоянно спрашивается о его здоровье... Не то что некоторые.

— Ради Бога, извините! Но мне Михаил вчера сказал, что Юрий Павлович чувствует себя гораздо лучше и что вообще его болезнь не опасна.

— Это так. В Петербурге он в последнее время не вставал с постели, а в Эмсе теперь вот гуляет, как юноша. Здешние воды делают чудеса. Он и сейчас на музыке. Вы не очень голодны? Мы сядем за стол, как только вернется Юрий Павлович... Вы спрашивали о государе. Он здоров, весел и жизнерадостен. Отдыхает и наслаждается жизнью. Вы знаете, княжна Долгорукая тоже здесь. Государь проводит у нее целые дни, с ней и с Гого.

— Кто это Гого?

— Сын государя и княжны, Георгий, очаровательный ребенок, писанный красавец, весь в отца. Он здесь на водах имеет бешеный успех. Когда он гуляет с няней, за ним так и бегут восторженные немки. На днях его встретил император Вильгельм. Немного поколебался, но подошел, потрепал Гого по щеке, сказал: «Der kleine ist wirklich bildschön»¹, добродетельно вздохнул и оглянулся по сторонам: не донесли бы его жене или нашей императрице... Я редко вижу княжну. Она живет очень уединенно. Государь обожает и ее, и сына; он своих законных детей никогда так не любил и не баловал. Каждый день привозит ей бриллианты, ему игрушки, все выписывается из Парижа. При Гого няня, славная женщина. И, представьте, государь сам купил сумочку, наполнил золотом и подарил ей. Он с няней здоровается за руку! Этого мы с вами не сделали бы. Александр Николаевич — самодержавнейший из всех монархов, но он по природе демократ!

— Не говорите мне таких вещей — у меня льются слезы умиления.

— Он ее и при посторонних, и наедине называет «княжна», — продолжала с увлечением Софья Яковлевна. Брат смотрел на нее и дивился: «Откуда ей все это известно? Выходит так, будто она проводит с ними целые дни...» Михаил Яковлевич был в душе разочарован невниманием государя к Дюммлерам и понимал, что это для них тяжелый удар, как они ни притворяются, будто ничего лучшего нельзя было и ожидать. — А она называет государя «Саша». У меня в ее положении просто не повернулся бы язык сказать государю «Саша» и «ты»!

— Что же она, старику изменяет?

Софья Яковлевна только на него посмотрела.

— Изменяет? Государю!.. Ну, не будем об этом говорить. Какие же ваши планы? Когда вы возвращаетесь в Петербург?

— Это зависит от многого... Прежде всего от состояния моих дел.

— Да, кстати, я у тебя вчера забыл спросить. Что же твой процесс?

— Оказалось, что у меня не один процесс, а два. Первый, небольшой, кончился миром: мой адвокат заключил соглашение с противной стороной, она заплатила мне сорок тысяч. Но второй процесс выходит сложный, путанный и, по-видимому, очень затяжной. Другая сторона не идет на соглашение, хотя я предлагал ей выгодные условия.

¹ «Малыш действительно необыкновенно красив» (нем.).

— Леонардо, сорок тысяч — тоже большие деньги.

— Не очень большие, — сказал с досадой Николай Сергеевич. Он вернул долг купцу-процентщику, заплатил четыре тысячи адвокату, немало истратил в Париже, и денег у него оставалось не так много.

— Какая же связь между вашим процессом и возвращением в Петербург?

— Прямой связи нет, — сказал Мамонтов, чувствуя, что говорит неправду — его планы зависели теперь только от Кати. — Мне хотелось бы сначала выяснить состояние моих дел.

Из передней послышался недовольный голос Дюммлера. Юрий Павлович вошел усталой походкой, тяжело опираясь на трость с массивным золотым набалдашником, изображавшим голову птицы. Эта купленная в Берлине трость обладала способностью раздражать Софью Яковлевну. Он снисходительно поздоровался с Мамонтовым. «Должно быть, так с ним здороваются государь», — подумал тотчас раздражившийся Николай Сергеевич.

Дюммлер опустился в кресло, вытирая платком лоб и голову. В первый раз в Эмсе он находился в дурном настроении духа — на музыке Юрий Павлович вдруг почувствовал странную боль, как будто не имевшую ничего общего с его катарам или с тем, что катарам называли врачи. Боль прошла, но он не мог понять, что это такое значит. Вслед за отцом в гостиную вошел Коля, уже не в матросской куртке, но еще в коротких панталонах.

— Узнаете его? Помните, вы его видели полтора года назад с Патти? — спросила Софья Яковлевна, нежно поправляя волосы сына, который тотчас с досадой отклонился в сторону.

— Узнаю, конечно, но мог бы и не узнать, так он вырос.

— На вид мы, кажется, не такие старые, но нам больше двенадцати лет.

— Скоро будет тринадцать, — поправил Коля и тотчас исчез.

— Я ему заметил, что он слишком много бегает к этим... как их? — сказал Юрий Павлович и, не дожидаясь ответа, заговорил с Мамонтовым о Париже: — Если говорить правду, то Париж просто грязный город. Да и красота его ложная слава.

— Что ты, Юрий Павлович, стыдно! — возразил Черняков, отстаивавший самостоятельность своих суждений. Дюммлер, впрочем, никогда на его самостоятельность не посягал. Он признавал своего шурина очень способным и подающим большие надежды ученым, все же хорошо выделяющимся на общем фоне радикальной интеллигенции. Их спор о Париже, который оба знали очень мало, был прерван горничной. Она широко раздвинула на шарнирах дверь из гостиной в столовую и очень отчетливо произнесла, видимо, на всю жизнь заученные слова:

— Das Essen ist angerichtet¹.

Николая Сергеевича, надеявшегося на хороший обед, ждало разочарование. На столе не было ни закусок, ни водки, подавались диетические блюда, а вместо вина пиво, правда, превосходное. «Почему бы это такое падение?» — спросил себя Николай Сергеевич, слышавший, что дом Дюммлеров в Петербурге славился кухней. Его на обеды в этот дом никогда не приглашали, однако не из-за невысокого социального положения, а потому, что Софья Яковлевна, зная его взгляды, опасалась неприятных разговоров с другими гостями. Тут, в Эмсе, ей было решительно все равно, как и о чем говорят. Говорили о возможности новой франко-германской войны.

— Теперь благодаря вмешательству государя опасность может считаться устраненной, — сказал Черняков.

Юрий Павлович пожал плечами. Он во внешней политике называл себя реалистом.

— Какое нам до этого дело? Германия нам нигде и ни в чем не конкурент. Союз с ней был, будет и должен быть краеугольным камнем нашей иностранной политики. Я боюсь, что неожиданная интервенция государя императора очень задела князя Бисмарка. Мне пишут, что он прямо сказал государю императору и князю Александру Михайловичу: «Je suis l'ami de mes amis et l'ennemi de mes ennemis»².

Дюммлер совершенно правильно и чисто говорил по-русски, но, когда он произносил французские фразы, в них немедленно сказывался немецкий акцент.

— Ну, нам незачем особенно считаться в нашей политике с тем, что приятно и что неприятно князю Бисмарку, — сказал Михаил Яковлевич.

¹ — Кушать подано (нем.).

² «Я друг моих друзей и враг моих врагов» (франц.).

— С германским канцлером приходится считаться всем, хотя ли они того или нет. Вся ориентация нашей внешней политики сейчас едва ли отвечает прочным, правильно понятым интересам России и европейского концерта. Я не понимаю этой нашей сентиментальной любви к французам, от которых мы ничего не видели, кроме Севастополя, поддержки польских революционеров и так далее, чтобы не восходить к пожару Москвы. Теперь наше застарелое франкофильство еще стало у государя императора осложняться англофильством, в чем я вижу последствие брака великой княжны Марьи Александровны с герцогом Эдинбургским. Будущее покажет, чего нам ждать от Сент-Джемского кабинета, — сказал Дюммлер и замолчал, пожалев, что начал серьезный разговор с людьми, не имеющими никакого значения.

— Ну, уж с этим я никак не согласна. Герцог очень мил, — возразила Софья Яковлевна. — А твоего Бисмарка я просто терпеть не могу! Если бы я была художником, как вы, Николай Сергеевич, я изобразила бы его встречу с императором Александром: злое начало и доброе начало в мире. Бисмарк отнюдь не безобразен, но взгляните на его лицо — злой бульдог.

С дамами, кроме великих княгинь, Юрий Павлович вообще никогда не говорил о политике, как Ньютон никогда не говорил с дамами о науке. Услышав замечание жены о наружности Бисмарка, он улыбнулся и сказал:

— Странно, что выпавший ночью сильный дождь, нисколько не освежил воздуха. Но, в общем, климат Рейнской области и стоящие здесь погоды выше похвал.

— Вы довольны лечением? — спросил, подавляя зевок, Мамонтов.

— Да, доволен, — ответил Дюммлер. До появления новой боли, о которой еще не знали ни жена, ни врачи, он ответил бы гораздо восторженнее. Софья Яковлевна тотчас с удивлением на него взглянула. — И я всем советую пить именно «кессельбруннен». Он много теплее «кренхена», 46 градусов, а не 35, и содержит в три с половиной раза больше аммониевых солей.

— Меня забавляет немецкая обстоятельность, — сказал Черняков. — В заведении, где положут горло, есть *Rachengurgeln*, *Kehlkopf-gurgeln*, *Rachennasengurgeln*, *Kehlkopf-lasengurgeln*¹ и еще с полдюжины разных гургельнов.

— Не понимаю, что тут может забавлять, — возразил Юрий Павлович. — От каждой болезни свое полоскание, что же тут забавного? Да эта обстоятельность и составляет силу Германии, являясь одним из серьезнейших факторов ее необычайных успехов во всех областях. Благодаря ей, хотя, разумеется, не только благодаря ей, Германия стала самым могущественным и самым благоустроенным государством в мире. В Германии нет места крайностям, утопиям. А мы, чemo подражать этому, смеемся над этим. И профессор, как ты, тоже смеется. Это, я прямо скажу, нехорошо, Миша.

Мамонтов вяло поддерживал разговор, скучал и досадовал, что принял приглашение на обед. «Можно было пообедать с Катей, пожалуй, даже вдвоем: Рыжков собирался ужинать дома. Но неудобно было отказываться от приглашения. Теперь скоро конец, и я еще попаду к Кате... После этого дрянного компота будет кофе, вопрос в том, подадут ли его здесь или в гостиной; если здесь, то через полчаса можно будет проститься, но если перейдут пить кофе в гостиную, то, значит, начинается второе действие пьесы... Кажется, она еще похорошела», — думал Мамонтов, глядя на Софью Яковлевну. Его безошибочная память художника сохранила ее точно такой, какой она была полтора года тому назад. «Ей, должно быть, года тридцать два? Мальчику тринадцатый... Да, Михаил говорил, что он двумя годами ее моложе. Бальзаковский возраст... Есть ли у нее любовник? Неужели она верна этому тупому старому немцу? Не выставить ли свою кандидатуру? Конечно, она красивее Кати, но Катя в сто раз лучше. Эта сюжет для скульпторов».

— О нет, я не отрицаю гения Бисмарка, однако ничего не надо преувеличивать, — почти механически сказал Николай Сергеевич, сам удивляясь тому, что его замечания выходят все же складно, хотя он думает совершенно о другом. Пьеса оказалась в двух действиях — Софья Яковлевна велела подать кофе в гостиную.

— Меня прошу извинить, — сказал, поднимаясь, Дюммлер. — Кофе мне запрещен, и доктор велит после обеда лежать не менее часа. Надеюсь завтра увидеть вас на водах, — обратился он к Мамонтову, очевидно, не выражая желания, чтобы гость оставался очень долго. Хотя Николай Сергеевич только и мечтал о том, как бы уйти пораньше, нелюбезность хозяина его раздражала — все в этот вечер раздражало его

¹ Полоскание носоглотки, орошение носоглотки, полоскание гортани, орошение гортани (нем.).

у Дюммлеров. Юрий Павлович кивнул головой и вышел. В конце обеда он опять почувствовал боль в боку. Эта боль надолго связалась в его памяти с гостем, пришедшим в их дом в день ее появления. За отцом скрылся Коля. Горничная внесла зажженные канделябры, затем стала зажигать свечи в гостиной. Их задувал легкий ветерок из сада.

— Очень способный мальчик Коля, — сказал после минуты молчания Черняков. — Еще два года тому назад не было более шаловливого ребенка во всем Петербурге. Теперь он присмирел, но глубоко презирает всех нас.

— Да что ты выдумываешь, Миша!

— Не сердись, Соня, это так.

— Ну, а что же ты сам делаешь теперь? Над чем работаешь? — спросил Мамонтов.

— Немного работаю над курсом, который буду читать в предстоящем семестре. Читаю... Представь, на днях я от скуки съездил в Кобленц и за бесценок купил у букиниста отличное издание Шеллинга. Знаешь, четырнадцатитомное издание его сына, в хорошем переплете. Ты понимаешь, что это такое для страстного шеллингианца, как я!

— Я знал, что ты библиофил, это в тебе самое подлинное, но я не знал, что ты страстный шеллингианец. Верно для оригинальности, потому что все наши философы — кантианцы или гегелианцы, — сказал Мамонтов, перенесший свое раздражение на Михаила Яковлевича. Тот поднял брови чуть не до верхушки лба.

— Какой вздор ты несешь!

— Все-таки ты не станешь говорить мне, что в твоей жизни Шеллинг или какой бы то ни было вообще философ играет какую бы то ни было роль, — сказал неприятным тоном Николай Сергеевич. Софья Яковлевна смотрела на них с улыбкой.

— К кофе я велю подать коньяк и ликеры, это, быть может, умиротворит страсти. Прошу вас извинить дурной обед, — смеясь, обратилась она к Мамонтову. — У нас немецкая кухарка, этим все сказано. Кроме того, Юрию Павловичу все вкусное запрещено. При нем я не даю вина, чтобы не вводить его в соблазн, но...

— Софья Яковлевна, вы дома? Добрый вечер, — послышался через гостиную из сада чей-то очень звонкий, приятно грассирующий мужской голос. Софья Яковлевна вдруг изменилась в лице, быстро поднялась и вышла в гостиную. Мамонтову показалось, будто она хотела было задвинуть дверь между обеими комнатами, но удержалась. Он вопросительно посмотрел на Чернякова, тот с недоумением пожал плечами.

— Кого это еще Бог принес? Мы никого, кажется, не ждали, — вполголоса сказал он.

— Меня княжна прислала... Здравствуйте, дорогая, позвольте через окно ручку поцеловать... Княжна у ваших ворот в коляске. Не хотите ли поехать с нами кататься? — говорил тот же грассирующий голос. В столовой неожиданно появился Дюммлер, на ходу застегивавший жилет. Он бросил страшный взгляд на Мамонтова и Чернякова, поспешно прошел в гостиную и исчез за дверью, сделав попытку задвинуть ее за собой. Тяжелая дверь не сдвинулась.

— Ваше величество, как я счастлива! — сказала Софья Яковлевна слегка срывающимся голосом.

— Это государи! — прошептал Черняков.

— Какой вечер, а? Я чудом нынче освободился — удрал от дяди Вильгельма. Он, что и говорить, мудрый император, но мне с ним смертельная скука, — говорил веселый голос. — Ах, какая была эти дни жара! Но теперь дивно! Луна какая, а? Едем, право? Мы к замку собираемся. Рейн так пышет при высокой полной луне! Княжна меня послала к вам на огонек:

Спит иль нет моя Людмила?
Помнит друга иль забыла?
Весела иль слезы льет?

— Помните, а? Нет, попались, вовсе это не из «Руслана и Людмилы»! Это моего покойного учителя Жуковского. Я наизусть выучил к его рождению и, представьте, не возненавидел его, и сейчас все помню:

Вот и месяц величавый
Встал над тихою дубравой;
То из облака блеснет,
То за облако зайдет;

С гор простерты дланны тень,
И лесов дремучих сени,
И зеркало зимних вод,
И небес далекий свод
В светлый сумрак облечены...
Спят пригорки отдаленны,
Бор заснул, долина спит...
Чуй!.. Полночный час звучит.

— Но до полночного часа еще далеко. Едем, дорогая, дайте ручку, я еще раз поцелую.

— Ваше величество, благоволите взойти к нам. Вы нас осчастливите, — взволнованно сказал в саду Дюммлер. — Мы...

— Ах, это вы, Юрий Павлович? — гораздо менее радостно сказал император. — Нет, какое взойти к вам! Это в другой раз. Меня ждут. Едем, Софья Яковлевна, а? Как жаль, что вы нездоровы, Юрий Павлович, да и коляска тесная, — не слишком церемонно добавил он. Видимо, царь совершенно не собирался звать Дюммлера, и это доставило чрезвычайную радость Николаю Сергеевичу. На пороге показался Коля.

— Это государи! Ах, какие у него лошади! — восторженно прошептал он. Черныков приложил ко рту палец и посмотрел на племянника так, как только что на него самого смотрел Дюммлер.

Николай Сергеевич, не прощаясь, вышел через кухню и обошел дом, направляясь к выходу. Сад был слабо освещен луной. Подстриженные деревья бросали черные тени. Остановившись у забора, Мамонтов увидел, как Дюммлер страшными знаками что-то показывал выходявшей жене. Софья Яковлевна приятно улыбалась — прорыв в ее самоуверенности продолжался не более минуты. Царя, стоявшего у бокового окна по другую сторону виллы, Мамонтов не видел. Издали снова послышался тот же голос, только теперь еще более радостный:

Что, родная, муки ада?
Что небесная преграда?
С милым вместе — всюду рай;
С милым розно — райский край
Безотрадная обитель...¹

«Все-таки жалко уходить, другого такого случая в жизни не будет», — сказал себе Николай Сергеевич и, осторожно ступая по рыхлой земле, спугивая блескующих на луне лягушек, пошел вдоль забора к калитке. Его никто увидеть не мог. На улице у ворот стояла коляска с фонарями, запряженная парой английских лошадей, с бритым английским кучером. Высокая дама с улыбкой смотрела в сторону сада. В полосу света появились государь и Софья Яковлевна. Александр II остановился у коляски, мотая отрицательно головой, очевидно, он не хотел занять место на задней скамейке.

— Нет, нет, за границей я не государь, здесь я просто никто... Не хотите? Also nach Stolzenfels², — весело сказал он своим звучным, далеко слышным голосом.

VIII

Железная дорога была выстроена лишь недавно, и маленький живописный, с садиком при каждом доме южный городок неожиданно превратился в важную станцию. Через нее был проведен телеграф, еще мало распространенный в России. Под вечер, к приходу двух главных поездов, на вокзале (это слово в его новом значении уже вошло в общее употребление) собиралась местная интеллигенция, среди которой главенствовали киевские и одесские студенты, жившие на кондациях у дачников и у местных помещиков. На вокзале стоял смешанный запах дыма и цветов. В окружавшем вокзал садике и по другую сторону железной дороги росли сирень, черемуха, акации, розы. Обмахиваясь платками и шляпами, отгоняя бесчисленных мух, люди торчали на вокзале до ужина. Места на трех скамейках перрона брались чуть не с бою и передавались по соглашению. В буфете у длинного стола с огромным самоваром, с сеточками поверх тарелок и блюд дачники спорили о том, сколько нажили концессионеры на постройке дороги и кто из должностных лиц какую взятку получил. С гордостью говорили, что городок как уездной пункт имеет важное стратегическое значение на случай войны с Австрией. Старожилы слушали рассказы о взятках с полным веры любопытством, а о стратегическом значении довольно недо-

¹ В. А. Жуковский, «Людмила» (незачная цитата).
² — Итак, к Штольценфельцу (нем.).

верчиво, они не знали, что их городок — пункт, и сомневались, чтобы могла начаться какая-то война, да еще не с турками, а с Австрией, никогда такой войны не было, и вообще на этих местах со времен запорожцев никто не воевал.

В комнату для проезжающих с новенькими твердыми скамейками и стульями заглянули телеграфист и пожилой толстый дачник в чесучовом пиджаке, без воротника и галстука, обмахивавшийся выжженной соломенной шляпой и доедавший бутерброд с паюсной икрой и с зеленым луком. Об этих бутербродах местные остряки говорили, что буфетчик перед приходом главного поезда их «подлизывает для свежести». Тем не менее ели их и остряки. Телеграфист с любопытством оглядел сидевшую у окна миниатюрную барышню и, очевидно, разочарованный, сказал:

— Я ж тебе говорил, что она не придет! Конечно, надула, стерва.

— Придет. Куда ей деться? — равнодушно ответил тяжело дышавший дачник, и оба вышли.

Миниатюрная барышня улынулась.

— Забавные личности, — сказала она.

Сидевший рядом с ней молодой человек расхохотался, показав из-под усов ровные, крепкие, очень белые зубы. Наружность этого человека привлекла на вокзале общее внимание, когда он появился часа полтора тому назад. Он был высокого роста, держался необычайно прямо и как будто нарочно (в действительности же совершенно естественно) закидывал назад большую красивую голову с бородкой, с выщипанными волосами, с непослушным малороссийским чубом. Войдя в комнату для проезжающих, он положил на пол небольшой пыльный мешок, оглянул одиноко сидевшую миниатюрную барышню, вежливо поклонился и вышел в буфет. Люди, уже начинавшие собираться на вокзале, невольно останавливали взгляд на его статной атлетической фигуре и думали: «Какой молодец! Кто бы это такой был?» Старый близорукий буфетчик издали сначала подумал, что это гвардейский офицер, уезжающий в штатском платье из имения за границу, но тотчас увидел, что ошибся: он знал всех местных помещиков, да и одет был молодой человек, как одевались студенты на кондициях, и носил не бакенбарды, а бороду. Он сказал что-то шутливо дачнику, лениво тыкавшему вилкой в тарелочку с селедкой, выпил стакан холодного пива с таким наслаждением, что смотреть было любо, и вернулся в комнату для проезжающих. Через полчаса молодой человек снова появился у буфета, заказал два стакана чаю со связкой бубликов и унес все без подноса так ловко, что не пролил ни капли. Он уже успел завязать знакомство с миниатюрной барышней.

Эта барышня, дождавшаяся главного поезда с полудня, напротив, не вызвала на вокзале большого интереса. Она не была ни хороша, ни дурна собой. Хороши у нее были только нежный румянец и большие светло-голубые глаза. В ее подстриженных, зачесанных гладко назад волосах, в слегка нахмуренных бровях и плотно сжатых губах сказывалось что-то мужское. Стриженные уже не вызывали любопытства и в провинции, к ним понемногу все привыкли. Одета барышня была бедно, и, несмотря на жару, все на ней было очень темное. Не обратившись к носильщику, она внесла в комнату для проезжающих большой потертый чемодан со сложенным под ремнями пледом, хотела было положить его на стул, в изнеможении уронила тяжелый чемодан на пол, тотчас подогнула концы пледа так, чтобы они не касались пола, и опустилась на первый стул у окна. Позднее барышня пообедала на вокзале: заказала борщ и битки в сметане, самое дешевое из того, что было на карте, не спросила ни напитков, ни сладкого, съела все с аппетитом и нерешительно оставила на чай вдвое больше, чем полагалось. Буфетчик, презиравший стриженных и обращавшийся с ней грубовато, был приятно удивлен. После обеда барышня вернулась на прежнее место в пустую комнату для проезжающих. Эта пахнувшая краской, жарко нагретая солнцем комната, выходившая одним окном в садик, а другим на перрон, днем обычно пустовала. Буфетчик решил, что стриженная — фельдшерица или деревенская учительница.

— Нет, я с вами не согласен, — сказал молодой человек, продолжая давно начатый разговор. — И, если хотите, тот факт, что любая беседа в любом образованном русском доме теперь неизбежно переходит на царя, сам по себе не лишен некоторой значительности. Он, во-первых, свидетельствует о том, что Александр не такое ничтожество, как большинство из них. Во-вторых же, он лишний раз показывает необходимость конституционного образа правления — ненормален ведь такой общественный строй, при котором все зависит от одного человека и все говорят об одном человеке.

Отсюда непреложно вытекает и необходимость противоправительственной деятельности под лозунгом конституции. Резюмируя наш разговор, я скажу, что царь не злодей и даже, быть может, не злой человек, но...

— Я, кажется, и не говорила, что он злодей,—перебила его барышня.— Он просто ничтожная личность... И бабник,—брезгливо прибавила она. Ее собеседник взглянул на нее озадаченно, точно не зная, что на это ответить. «Может быть, он сам бабник»,—с огорчением подумала барышня. Были основания предполагать, что этот человек имеет большой успех у женщин.

— Его частная жизнь меня не интересует,—сказал он и засмеялся.— Знаете, говорят, я похож на него лицом! Мне это сказал смотритель Одесской тюрьмы, когда меня выпускал. Старичок все убеждал меня больше не участвовать в противоправительственном движении. «Кончайте,—говорил,—поскорее университет и займитесь адвокатурой. Любя вас, советую, будете деньги загребать».

Миниатюрная барышня улыбнулась и подумала, что, пожалуй, и то, и другое верно: маленькое сходство с царем у него есть и, в самом деле, говорит он отлично.

Он полтора часа назад первый заговорил с ней, сказал, что едет с Городищенского сахарного завода, и назвал безобразием то, что так плохо подогнано расписание поездов: «Если б у этих господ была голова на плечах, то публике не приходилось бы ждать часами». Она сначала отвечала кратко и сухо, частью по застенчивости, частью потому, что терпеть не могла приставаний (мужчины, впрочем, приставали к ней редко). Но молодой человек был так любезен, так весел и, видимо, так хотел поговорить, что ее запаса сухости хватило ненадолго. Начался разговор, тотчас по обычаю перешедший на политические дела. Молодой человек очень ругал правительство. Хотя окна были отворены, он несколько не понижал голоса, и его прекрасный, звучный, безукоризненной дикции баритон мог быть слышен и на перроне, и в саду, и в буфете. Впрочем, правительство ругали все и в провинции полиция за этим следила без усердия. Молодой человек не умолкал ни на минуту, речь у него лилась гладко и красиво, он не запинался даже на таких трудных словах, как «противоправительственный». «Никто так не говорит, все говорят «революционный»,—думала она, внимательно его слушая, еще внимательнее на него глядя.— Необыкновенное лицо — так и дышит умом! Хотя он не народник, он мог бы быть подходящим для нас человеком... И что-то есть в нем необыкновенно располагающее, хотя это, разумеется, никакого значения иметь не может...»

— Я, впрочем, признаю, что после освобождения крестьян, бывшего очень большим историческим делом, что бы там ни говорили наши доктринеры, Александр окружил себя, извините меня, всякой швалью,—продолжал молодой человек.— Но какой же, я вас спрашиваю, из сего следует для нас вывод? Опять-таки борьба за политическую свободу, за столь многими презираемый конституционный образ правления. Вот великая задача, поставленная историей перед нашим поколением. Каковы должны быть формы и методы борьбы? На это я пока не могу ответить. Это надлежит обсудить, не отводя от обсуждения образованных и честных людей, хотя бы и умеренного образа мыслей. У нас все не хотят понять, что борьба за освобождение России никак не может быть делом одной небольшой кучки народолюбцев, ибо в такой борьбе соотношение сил неизбежно сложилось бы для них в высшей степени неблагоприятно. Здесь нужны соединенные силы всей русской интеллигенции, поскольку народ пока безмолвствует. Поэтому, по крайнему моему разумению, отпугивание людей либерального лагеря явилось бы глубокой, коренной и, быть может, непоправимой ошибкой. Зачем путать их призраком социализма, еще нигде не осуществленного и у нас едва ли теперь осуществимого?

— Вы меня неправильно поняли. Меня не интересует политическая борьба, но никто и не собирается устраивать сейчас социализм. Сейчас самое нужное дело уплатить хотя бы в малой части наш страшный долг народу. Вы с этим не согласны?

— Поскольку речь касается меня лично, то мой долг народу маленький. Я из помещичьих дворовых,—сказал молодой человек. Лицо миниатюрной барышни вдруг стало испуганным и виноватым.— Мой родной дядя был до эмансипации лакеем, его на конюшне драли... Каким-то образом я попал в гимназию, затем стал студентом юридического факультета в Одессе, был исключен и угодил в тюрьму. Считаю позволительным заключение, что мой долг народу не так велик. Просто я очень люблю народ и к нему принадлежу... А вот вы, конечно, дворянка? Я мгновенно узнаю дворян,—с усмешкой сказал он.

— Да, к сожалению, дворянка, но это вы так живите, — обиженно ответила барышня. — Меня все принимают за крестьянку.

— Моя фамилия Желябов, — сказал он, вопросительно на нее глядя и, видимо, ожидая, что она назовет себя. Барышня пробормотала что-то невнятное. Он встал и заглянул в выходящее в садик окно. — Ах, как хорошо! Чудесные это места — предтепе. В лесах тут полно волов, везде лисицы, белки, водятся даже бобры!

— За что же вы сидели в тюрьме?

— В сущности, за ерунду. Ничего драматического в моей жизни не было... По ка не было... Я не Каракозов и не Нечаев, никого не убивал и убивать не собираюсь.

— Вы живете в Одессе?

— Сам не знаю, где я живу! Жил в Керчи, в Одессе, учил там русской грамоте еврейских девочек... Ужасно они смешные были, славные, но так смешно произносили русские слова. «Зима, крестьянин торжествуя...» — передразнил он кого-то. — Отчего бы это, кстати, крестьянину было «торжествовать»? Скажу вам правду, не люблю, не люблю Пушкина, хотя, разумеется, отдаю должное его гению. Вот Лермонтов — совершенно другое дело. Лермонтова и Гоголя я боготворю... Да, так где же я, в самом деле, живу? В Киеве жил. Чудесный город, еще лучше Одессы! Ах, какие сады в Киеве! Царский над Днепром, Ботанический. Там я в коммуне сапоги тачал со старичками, пирыми украинцами. Но мне скоро смешно показалось; право, немногим это важнее, чем стиха читать одесским швеечкам. Я и бросил. А они, громадяне, по сей день тачают сапоги и при этом спорят, как поскорее освободиться от кацапов... Ведь вы кацапка? Петербургская? Ну да, я сейчас узнаю. Я и в Великороссии жывал — у графов Мусин-Пушкиных был на кондичии в Симбирской губернии. Хорошие люди, хотя по взглядам чуть не крепостники. Со старым графом, дядей моего ученика, я все время имел дискуссии. Он меня любил, но называл Сен-Жюстом и предсказывал, что я тоже окончу свои дни на эшафоте!

Оба засмеялись. Желябов отошел от окна и сел на чемодан барышни, но, увидев скользнувшее на ее лице неудовольствие, тотчас встал. Только теперь он заметил, что, несмотря на бедность ее платья, у нее все так и сверкало чистотой, вплоть до неопостижимо-белоснежных в дороге рукавчиков. «Это уж их, дворянское, — подумал он. — А сама симпатичная, хотя и не красива...»

— Вы и на сахарном заводе были на кондичии?

— Нет, там я жил баринком. Мой тесть — сахарозаводчик и помещик Яхненко, тоже регроград и тоже хороший...

— Так вы женаты? — перебила она его как будто с огорчением в голосе. — Извините, я вас перебила.

— Женат, но с женой не лажу. Уж очень мы разные люди: разные и по происхождению, и по взглядам, и по наклонностям. Я мужик и очень горжусь этим. Вероятно, мы рано или поздно разойдемся, — сказал он очень просто и спокойно. Она смотрела на него с сочувственным любопытством, удивляясь его откровенности, столь странной при первой и случайной встрече. — Я из своих маленьких дел мировой трагедии не делаю, — пояснил он, точно угадав ее мысль. — Ну, что ж, не вышло, ничего не поделаешь. Неприятно, разумеется, тем более что есть сын. Но уж я поставил себе правилом: что бы там в моей личной жизни ни случилось, хоть какое угодно несчастье, огорчаться не более трех дней. По моим наблюдениям над собой и над другими, трех дней достаточно, чтобы изжить какое угодно личное горе. Дальше начинается неискренняя скорбь, а я терпеть не могу неискренности. Впрочем, может быть, у нас с женой еще жизнь наладится.

Миниатюрная барышня вдруг расхохоталась так весело, как не приходилось ждать от нее при ее строгой внешности. Он сначала смотрел на нее с недоумением, потом тоже засмеялся.

— Извините меня... На меня иногда находит... А вы очень легкий человек...

— Это хорошо или плохо?

— Разумеется, хорошо... Очень хорошо... По крайней мере, я очень это люблю в людях... Вы не сердитесь? Это я так... Куда же вы теперь едете?

— Да вы опять будете смеяться. Я еду в Одессу, а оттуда на Балканы, сражаться с турками.

Ее лицо мгновенно стало серьезным и строгим.

— Как? И вы? Да это просто поветрие. В Москве теперь вся молодежь хочет освобождать славян! Мы бы прежде себя освободили.

— Одно другому не мешает. Но тут дело не в рассуждениях. Когда я прочел в газетах о зверствах, совершаемых турками, я ни с кем не советовался и не спрашивал, поветрие ли это или нет, и даже, поверьте, не знаю, что это будто бы поветрие. Я сказал себе, что пойду добровольцем. И не в том вовсе дело, что они славяне. Достаточно того, что они люди и что за них заступиться некому.

Он встал и прошелся по комнате на ходу ловким, точным движением поправив криво висевшее, засиженное мухами зеркало. Миниатюрная барышня подумала, что ему, верно, неприятно все неровное, беспорядочное, бесхозяйственное и что он, должно быть, вообще не может спокойно сидеть без дела. «А на себя в зеркало, кажется, и не взглянул, хотя мог бы собой полюбоваться — необыкновенно красивое и умное лицо!» — почему-то со вздохом подумала она. Из-за окна тяжело грохнул звонок. Барышня вздрогнула. Послышался радостный гул. На вокзале все пришло в движение.

— Это повестка моего поезда, — сказал он. — У нас на юге называют повесткой предварительный звонок. Кажется, у вас этого слова нет? Мне сейчас ехать.

В комнату опять заглянули телеграфист с толстым дачником.

— Теперь если она, стерва этакая, и придет, то пусть провалится к черту, — яростно сказал телеграфист. — Мне через полчаса после поезда становиться на работу.

— Поезд в шесть двадцать не отойдет, — заметил толстый дачник, по-прежнему что-то жевавший. — Графиня прислала нарочного, просит подождать ее с четверть часика...

— Ну, это дудки, будь там она хоть разграфиня, — сказал расстроенный телеграфист. — Нет, конечно, надула, я так и знал!

— Придет, придет, — ответил, тяжело дыша, дачник, и опять оба исчезли. Разговор в комнате для проезжающих возобновился не сразу.

— Странно, как мы с вами разговорились, — сказала миниатюрная барышня. Ей было неловко и грустно. Он, напротив, не находил ничего странного в том, что они разговорились, и, по-видимому, не слишком сожалел, что сейчас, верно, навсегда ее покинет. «Надо бы все-таки спросить его адрес», — подумала она и сказала: — Какие чудесные цветы здесь в саду. И все так бесцеременно их рвут, я сама видела.

— Это шотландские розы, махровые, их здесь везде пропасть. Хотите, я вам сорву на память, — ответил молодой человек и, опершись рукой о подоконник, легко перескочил в садик. Он сорвал там розу и вернулся к окну.

— Спасибо... Послушайте, вы это серьезно насчет Балкан?

— Очень серьезно. Хочу быть, как «Бейрона»! — сказал он, смеясь. — Помните, у Рылеева «На смерть Бейрона»:

Царица гордая морей!
Гордись не силою гигантской,
Но прочной славою гражданской
И доблестью своих детей,
Царящий ум, светило века,
Твой сын, твой друг и твой поэт,
Увянул Бейрон в цвете лет
В святой борьбе за вольность грека.

— А вы хорошо читаете.

— Плохие стишки, хотя написал большой человек... Но если поезда для этой графини не задержат, то мне сейчас ехать. Разрешите проститься с вами. Поговорили, царя побранили, все в порядке, — сказал он, и его веселый тон неприятно ее задел. — Вам еще больше часа ждать. Вы в комнате останетесь? Уже не так жарко.

— У меня тяжелый чемодан, не стоит его переносить.

— Чемодан — это пустое, я сейчас перенесу на перрон, — сказал он и, не дожидаясь ответа, с той же легкостью перескочил назад через окно. Без малейшего усилия он поднял ее чемодан правой рукой, взял в левую свой мешок и ухитрился отворить перед ней дверь. На перроне они столкнулись с толстым дачником и телеграфистом. С ними была огромная дама в разноцветном наряде, с лорнетом.

— Ах, нет, я так вам и сказала — около шести, уж это вы напрасно. Кто же, скажите, пожалуйста, приходит за час до поезда? — жеманясь, говорила дама и отвела от глаз лорнет, чтобы получше разглядеть стриженую. Толстый дачник прощался. — Да нет же, не уходите, Осип Иванович, вы нисколько не мешаете, по крайней мере, мне.

— Не могу, у меня нынче к ужину уха! Не разогревать же.

— Дарья Степанна, у них к ужину уха, он мне еще раньше объявил.

— Как можно в такую погоду! Я и зимой почти ничего не ем, а теперь, хоть убей меня, я не прикоснулась бы к уху! — кокетничала Дарья Степановна, снова поднося лорнет к глазам.

— Нет, я прикоснусь.

— Хоть бы поезда, право, подождали.

— А что мне в поезде? Я никуда не уезжаю.

Вдали уже показался извивавшийся дымок. Молодой человек довел барышню до скамейки, на которой теперь освободились места, положил ее чемодан и весело сказал, что, верно, они скоро опять встретятся.

— Где и как, не знаю, но вот увидите! — сказал он и, пожав ей руку, пошел навстречу замедлявшему ход поезду. Снова прогремел звонок. По перрону тяжело бежала старушка, изнемогая под тяжестью мешка. Молодой человек что-то ей сказал и подхватил ее мешок. Она бежала рядом с ним, еле поспевая за его большими шагами, благодаря его и подозрительно на него поглядывая. Миниатюрная барышня смотрела им вслед.

Поезд, шипя, остановился. Молодой человек еще на ходу очень ловко отворил дверцы первого зеленого вагона. Как только из него вышли пассажиры, он бросил на площадку мешки, посадил старушку и вскочил за ней в вагон. «Больше никогда его не увижу», — подумала миниатюрная барышня. Перед синими вагонами взволнованно толпились дачники. Поезд стоял на станции несколько минут. «Выйдет он еще или не выйдет? Должно быть, теперь устроился рядом со старушкой и с ней разговаривает так же уютно и весело, а о моем существовании думать забыл. Да, легкий человек... Но чего же я, собственно, хотела?» — с приятной грустью думала барышня, прислушиваясь к медленно замиравшему грохоту третьего звонка. Поезд дрогнул, отшатнулся и отошел. Она невольно проводила взглядом зеленый вагон. Молодой человек в окне не показался.

Перрон пустел. Дачники медленно расходились. Лишь немногие фанатики развлечений остались ждать второго поезда. На другом конце скамейки разговаривали телеграфист и Дарья Степановна.

— «Юзы», Дарь Степанна пропускают до тридцати слов в минуту, а «морзы» не более пятнадцати. Зато «морзы» много проще. В «юзе», Дарь Степанна, все основано на синхроническом вращении диска и бруска...

— Ах, как интересно! — рассеянно говорила Дарья Степановна, глядя поверх лорнета на фарфоровые чашки телеграфного столба. — Однако я не вижу, чтобы телеграммы пролетали по проволоке. Или сейчас телеграф не работает?

— Нет, Дарь Степанна, вы не так поняли, — сказал, вздохнув, телеграфист. Папироску не прикажете ли?

— Что вы! Избави Бог! Я только пахитоски курю и, как на беду, забыла дома... А то дайте, если у вас «Огонек», — сказала Дарья Степановна.

Часть четвертая

I

Рядом с кабинетом профессора Муравьева в его квартире на Миллионной была большая неустроенная почти пустая комната. В ней он уже несколько лет собирался «строить собственную лабораторию». В комнате стоял огромный, чуть не во всю стену стеклянный шкаф, купленный по случаю для помещения приборов и посуды. Больше ничего не было. В шкафу лежали толстые преискурanty различных немецких, французских, английских фирм, прекрасно отпечатанные, с рисунками, на глянцеви-той бумаге. Иногда Павел Васильевич их просматривал, любясь новыми спектроскопами, лампами, гальванометрами. Некоторых из этих приборов не было в его университетском физическом кабинете. Война с Турцией только что кончилась, сметы всех гражданских ведомств были сильно урезаны, и министерство уже почти два года отпускало деньги скупно. Профессор Муравьев с наслаждением представлял себе, как будет из-за границы приходить ящики с надписями «Vorsicht» или «Fragile»¹, как он будет вынимать из кожаных, с шелковой прокладкой футляров и расставлять на рабочих столиках новейшие, самого лучшего образца приборы, не казенные, университетские, а собственные — от этого, все равно как от своих книг, удовольствие уве-

¹ «Обращаться с осторожностью» или «Стекло» (нем., франц.).

личивалось во много раз. Столы выпишу из Англии, они, кажется, лучше и немецких, и французских», — думал Муравьев.

Павел Васильевич не очень давно побывал в Кембридже на открытии Кэвендишской лаборатории. Ее показывал многочисленным гостям хозяин — сам Максвелл. Он очаровал Муравьева своей любезностью, простотой, скромностью, тем, что за ним всюду по пятам ходила породистая собака, тем, что он со страстным увлечением следил за спортивными матчами, тем, что писал шуточные стихи и, читая их вслух за бутылкой пива, веселился как ребенок. Одно из его стихотворений, начинавшееся словами «So we who sat oppressed with science, — As British asses, wise and grave»¹, Павел Васильевич даже записал на память (он и сам грешил шуточными стихами). Во время кембриджского съезда знаменитые ученые, Лайелль и Лаверрье, получили почетную докторскую степень. Муравьев был не слишком честолюбив и совершенно не был завистлив, но у него с того времени остались приятные мысли, изредка всплывавшие в сознании: а пожалуй, со временем и я?.. Дни, проведенные им в Англии, английское гостеприимство, в своем роде почти не уступавшее русскому, живописные колледжи, их старинный уклад жизни, обряды, столь непривычные петербургскому профессору, какая-то органичность этих «British asses», были одним из наиболее отрадных воспоминаний Павла Васильевича. После поездки в Кембридж еще усилилось его бытовое и политическое англофильство. — «Да, что бы вы там ни утверждали, страна замечательная и среда высококультурная», — говорил он по возвращении в Петербург; ему было немного совестно, что он употреблял такие книжные слова. Почему в жизни трудно говорить совершенно просто? — «Знаем, знаем их высококультурность. Они и в Индии ее показали», — отвечал иронически профессор-англофоб.

В устройстве собственной лаборатории (в которой можно было бы работать в любое время дня и ночи, в воскресенья и в праздники, не отвлекаясь по пустякам) не было ничего невозможного. Наследственное имение Муравьева приносило от десяти до пятнадцати тысяч рублей в год, хотя значительная часть земли была сдана крестьянам по низкой цене, вызывавшей возмущение у помещиков всего уезда, и хотя управлял имением сомнительный приказчик (Павел Васильевич никогда его не называл управляющим — в этом слове был неприятный оттенок чего-то магнатского). Немало денег, правда, уходило на уплату процентов по закладной. Тем не менее вместе с жалованьем дохода у профессора было больше, чем у его друзей. Между тем жил он хуже, чем многие из них. Это всеми приписывалось безалаберности Павла Васильевича и расточительному характеру его старшей дочери. Изредка случалось, что в доме вовсе не оказывалось денег. Тогда Муравьев обращался к ростовщикам и о размере процента не торговался, так ему было совестно за этих людей и неприятно с ними разговаривать. Платил он им, впрочем, не очень дорого — ростовщики знали, что его имению цена полмиллиона, что сам профессор честнейший человек и долг уплатит без малейшей задержки. Обычно в таких случаях Павел Васильевич начинал беспокоиться за несколько дней до срока векселя: как бы не вышло недоумения, как бы не забыл кредитор, как бы не напутал банк, как бы вексель не был опротестован.

В прошлом году дохода было больше обычного — во время войны цены на хлеб установились высокие, осенью военное ведомство реквизировало лошадей и скот по хорошей цене. Прошлогодний заем именно и предназначался для лаборатории. Однако в тот самый день, как процентщик принес деньги, Елизавета Павловна попросила у отца двести рублей. Муравьев был по природе щедр и почти никогда ни в чем детям не отказывал; дал и на этот раз, но не без тревоги: дочь просила денег с хорошо ему известным таинственным видом, он знал, что в таких случаях лучше ни о чем не спрашивать. «Все равно путного ответа не будет, зачем же заставлять девочку изворачиваться? Верно, опять отправляют в народ какого-нибудь мальчика», — успокоил себя профессор. Затем Павел Васильевич сгоряча пожертвовал довольно крупные суммы в пользу болгар, пострадавших от турецких зверств, и в фонд помощи румынским героям. Больше обычного стоила в год войны поездка на воды за границу, так как из Эмса он с дочерьми заглянул в Париж и как раз происходила распродажа у Ворта, где самые модные платья можно было приобрести по баснословно низкой цене. Триста рублей было послано в имение крестьянину, у которого на мельнице оторвало

¹ «Так, мы сгибались под тяжестью знаний подобно британским осликам, ученым, серьезным (англ.).»

кисть руки. Смета лаборатории все сокращалась. Осенью же, по возвращении из-за границы, был куплен серый в яблоках рысак с пролеткой. Это оказалось полной неожиданностью для профессора. Рысака продавал какой-то Степан Петрович, неизвестно почему бывавший в их доме, и так вышло, что Елизавета Павловна уже с ним обо всем сговорилась.

На этот раз Муравьев серьезно рассердился. Он совершенно не понимал, зачем им рысак. Павел Васильевич многого не понимал в своей жизни. Не понимал, почему он, профессор университета, живет не на Васильевском острове, не на Петербургской стороне, а на улице богачей и аристократов. Не понимал, зачем ему нужна большая квартира с огромными, высокими, холодными комнатами, лишь наполовину обставленная мебелью за несколько лет, требовавшая пяти человек прислуги и неимоверного количества дров. При квартире были конюшня и сарай. Лошадей профессор в городе не держал, но в сарае при жизни жены появилась корова — младшая девочка Маша была слабого здоровья и ей требовалось парное молоко. С тех пор корова у них и оставалась для тех двух стаканов молока, которые ежедневно приносила девочке няня, жившая в их доме двадцать лет, из них десять без всякого дела. Молоко Маша тайком выливала в ведро рукомойника.

— ..Милая Лиза,— сказал профессор,— я тебе повторяю, что рысак нам и не нужен, и не по средствам. Это, наконец, смешно! Вздор ты говоришь, будто я буду на нем ездить в университет! Профессора на рысках не ездят, меня освистали бы студенты. И, наконец, что же это такое? Ты все-таки могла бы предварительно меня спросить!

— Папа, вы забыли! Я вас спрашивала, и вы кивнули головой. Вы, должно быть, тогда думали об электромагнитной теории света,— говорила с мягким, виноватым видом Елизавета Павловна.— Конечно, это моя вина, я должна была спросить вас еще раз, в другое время. Но что же теперь делать? Степан Петрович положился на нас, он обещал этими деньгами завтра заплатить очень важный долг. Не можем же мы его подвести!

— Никогда, моя милая, я тебе головой не кивал, и я очень сомневаюсь, чтобы Степан Петрович платил долги, ежели кто ему и дает займы. Кроме того, цена совершенно безобразная. Уж если держать лошадей, то я написал бы, чтобы нам прислали из деревни.

— Что вы говорите папа! Как же вы сравниваете ваших деревенских лошадей с этим рысаком, который на бегах призы брал! Мы его покупаем за полцены!

— Да, помилуй, зачем нам призовой рысак? — спросил профессор и остановился, высоко подняв брови.— Послушай, Лиза... Я помню, молодого князя Кропоткина увезли из тюремной больницы на каком-то рысаке!

— Не на каком-то, а на Варваре. Он войдет в историю революции.

— Мне совершенно все равно войдет ли этот Варвар в историю революции или нет, но я не имею ни малейшего желания, чтобы в историю революции входил мой рысак. И если ты...

Елизавета Павловна вдруг расхохоталась.

— Папа, вы мне подали мысль!

— Милая, я не шучу, а говорю с тобой очень серьезно. Я не желаю иметь никакого отношения к подобным делам. Совершенно не вхожу в вопрос о том, хороши ли они или нет, но у меня есть свое дело в жизни, я не принадлежу ни к их, ни к вашему лагерю и я не намерен идти на старости лет в тюрьму из-за того, что какому-то юноше, может быть, и очень милому, нужно устроить побег из тюрьмы. И тебе тоже запрещаю... Говорю это раз навсегда!

Елизавета Павловна, имевшая, впрочем, свое мнение относительно того, может ли отец запрещать ей что бы то ни было, дала ему честное слово, что рысак ни для какого побега не предназначается, что ей просто хочется ездить на острова, что она в этого серого в яблоках рыска прямо влюбилась.

— Конечно, папа, вы можете запретить и не дать денег, но помимо того, что нам будет стыдно смотреть в глаза Степану Петровичу...

— Мне не будет стыдно смотреть в глаза этому лопоухому проходимцу!

— Не понимаю, почему он вдруг стал проходимцем, вы сами постоянно зовете его обедать... Помимо этого, вы меня, папа, лишите большого удовольствия. Это, разумеется, в вашей власти.

Елизавета Павловна приняла жалобный тон, вообще совершенно ей несвойствен-

ный. Хитрость была старая, классическая. Как раз накануне она говорила Чернякову, что ее отец «соткан из противоречий».

— Вы находите, что он сама доброта, — сказала она. — Это и верно, и неверно. Папа действительно очень добр, но только в своих поступках. Думает он очень зло. Я и от злых людей не часто слышала такие мысли, какие папа иногда выскажет так вдруг, совершенно для меня неожиданно. То же самое и с его рассеянностью. Да, он в самом деле рассеян, когда занят своими электромагнитными теориями... Так, кстати, я говорю: электромагнитные теории?.. А в другое время он замечает всякую мелочь и моего, и Машина туалета. Вот вы этого совершенно не видите, и большинство мужчин не видит. Говорят, он непрактичен, как малое дитя, а к нему в житейских делах обращаются за советом самые практичные люди и обыкновенно недовольными не остаются. Вы думаете, что он слабохарактерен, а он упрям, как... (Елизавета Павловна все же не решилась сказать: как осел). Не знаю, как упрям! Единственное, что в нем «постоянная величина», это его совершенная порядочность. И, заметьте, она у него двойная: и природная, и головная. Он джентльмен по убеждению.

— Ну, а вы, Елизавета Павловна? — спросил Черняков, слушавший ее, как обычно, с любопытством, восхищением и с ужасом. Она рассмеялась.

— Я? Я во всем прямая противоположность папá! Если б покойная мама не была воплощенной добродетелью, то надо было бы сделать ужасные выводы!

К делу о рысак Елизавета Павловна подошла правильно, и Павел Васильевич смягчился. Он знал, что его дочь на «честное слово» не солжет. Ее заверение, будто он кивнул головой, было, конечно, неправдой, но это было заверение просто. «Честное слово» было другое дело, его ритуал свято соблюдался в семье, и обе дочери Муравьева, часто обманывавшие отца (особенно старшая), никогда на «честное слово» его не обманывали. Он успокоился и пошел на уступки. Серый рысак был куплен. Смета лаборатории была спрятана (и безвозвратно затеряна) под преискурантами. Один экстренный расход повлек за собой другие. После покупки рысака пришлось нанять кучера. В добавление к пролетке поздней осенью по случаю купили сани. К саням понадобилась новая полость, так как старая была грязна и порвана. Елизавета Павловна говорила, что ей-то все равно, но перед кучером стыдно. Вначале она действительно каждое утро ездила на острова с разными молодыми людьми и была в восторге от нового развлечения. Черняков с тревогой говорил, что она носится на рысак с бешеной скоростью, «как какая-нибудь Жанна д'Арк» (он, собственно, хотел сказать «как сумасшедшая», но это было почти то же самое). Позднее ей езда надоела — в марте и сани, и пролетку очень трясло. Елизавета Павловна перестала кататься и приказала кучеру выезжать по утрам, чтобы лошадь не застоялась. Гнев Павла Васильевича скоро прошел, и он даже написал шуточные стихи по случаю покупки рысака.

По понедельникам от часа до двух Муравьев читал специальный предмет студентам старшего курса. Это были избранные главы физики. Под конец Павел Васильевич оставил то, что в последние месяцы занимало его мысли больше всего на свете: электромагнитную теорию света. Он вышел из дому в прекрасном настроении. Была вторая половина апреля, самое любимое его время в Петербурге, стояла прекрасная солнечная погода, и на улицах вдоль тротуаров еще стекали последние потоки мутной воды, которым он по опыту приписывал непонятную живительную силу.

В маленькой уютной аудитории слушателей было человек десять. Кроме студентов на первой скамейке прямо против кафедры сидел приват-доцент физики из другого учебного заведения. Павел Васильевич давно знал, что товарищи по науке, особенно не сверстники, а младшие, очень высоко его ставят и признают одним из первых физиков России. Однако всякий новый знак внимания бывал ему приятен. Этот же знак внимания относился и к нему, и отчасти к Максвеллу. Недавно созданная электромагнитная теория света была еще мало известна в Петербурге. У Муравьева в физике больше, пожалуй, чем в политике, были дружественное и враждебное направление, близкие и чужие люди. Максвелл был одним из самых близких. Теперь преклонение перед его гением дополнялось сердечным сочувствием: из Англии шли глухие слухи, будто Максвелл очень болен, хотя скрывает это от жены и ото всех.

Среди студентов Муравьев пользовался немалой популярностью как выдающийся ученый, независимый человек передовых взглядов, и очень снисходительный экзаменатор. Павел Васильевич дорожил своей популярностью, но немного сожалел о том, что популярен он отчасти в пик у некоторым другим профессорам. Не совсем была

ему приятна и его репутация «блестящего лектора» (всегда употребляли именно это существительное с этим прилагательным); самые большие ученые, как Максвелл или Гельмгольц, «блестящими лекторами» не были. Вступительная лекция Павла Васильевича первокурсникам в начале учебного года составляла маленькое университетское событие, на нее собирались студенты разных факультетов, и задолго до ее начала одна из самых больших аудиторий бывала совершенно полна; студенты сидели даже на ступеньках кафедры или стояли по стенам; его встречали и провожали долгими рукоплесканиями Павел Васильевич не очень любил свой общий курс начинающим, в особенности именно вступительную лекцию. Не любил из-за торжественной обстановки (на второй лекции студентов бывало вдвое меньше), из-за неизбежной доли актерской игры из-за «милостивых государей», из-за анекдотов, которые полагалось вставлять и которые (как и все выигрышные места первой лекции) повторялись из года в год — Муравьев не чувствовал себя способным ежегодно подыскивать новые анекдоты, имеющие хотя бы малое отношение к физике, и всякий раз с ужасом думал: что если в аудитории есть прошлогодние слушатели с хорошей памятью? Некоторые блестящие лекторы под конец вступительной лекции, говоря о величии науки, пускали в ход дрожь в голосе (как теноры гремело или фермато в конце арии). Или же им вспоминался один древний миф; большей частью вывозил Прометей со своим огнем. Ни на дрожь в голосе, ни на Прометея Павел Васильевич просто не мог пойти. Бывали, впрочем, и такие профессора, которые с первой же минуты первой лекции, без Прометея без величия науки даже без обращения к студентам начинали тыкать палочкой в какой-нибудь препарат или большой гростью в висевшую на доске диаграмму. По наблюдениям Муравьева, это и были самые выдающиеся ученые.

Специальный курс был гораздо интереснее, чем общий, и по предмету, и по обстановке. Тут не было ни шуток, ни анекдотов, ни «милостивых государей». Он был знаком со всеми слушателями, знал, кто подает надежды, кто не подает (хотя может стать прекрасным профессором). Студенты с почтительной интимностью называли его по имени-отчеству. На этот раз Павел Васильевич, улыбаясь, раскланялся с аудиторией, вавиленно-радостно помахал рукой приват-доценту, затем четко выписал очиневым мелом на доске (он терпеть не мог доску и мел) несколько уравнений, почувствовав, что студенты и подавлены, и горды этими предназначавшимися для них страшными интегралами. Но профессор почувствовал и то, что даже самые способные из них ничего не поймут и понять не могут. Так оно и было. Павел Васильевич это видел по их лицам. В одном месте он сделал ошибку, выписывая новую формулу, и никто его не поправил (обычно когда он вместо «синус» по рассеянности писал «косинус», с разных концов аудитории раздавались радостные возгласы: синус, синус...).

После окончания лекции приват-доцент подошел к кафедре и снизу вверх протянул Муравьеву обе руки. Павел Васильевич протянул ему тоже обе руки сверху вниз и выслушал комплименты. Но хотя приват-доцент говорил о «кристально четкой формулировке» с тем, что мысль Максвелла была ему ясна как день, Муравьев чувствовал, что и приват-доцент тоже ничего не понял. «Что ж делать? Над этим годами надо размышлять», — подумал он. Затем он в коридоре дал какое-то разъяснение одному из способнейших студентов, который не то из самолюбия скрывал непонимание, не то просто хотел на виду у товарищей пройти с профессором Муравьевым в ученой беседе с ним.

Павел Васильевич зашел в профессорскую и там посидел полчаса. С громадным большинством профессоров у него тоже были очень хорошие отношения, он редко ссорился с людьми, хотя когда его выводили из себя, говорил, случалось, очень резко. В этот день разговор опять зашел о Сан-Стефанском мире, не интересовавшем, по существу почти никого и о деле Веры Засулич, напротив, всех еще волновавшем. Была и свежая университетская новость составлявшая злобу — именно злобу — дня. Профессор-юрист превосходный рассказчик и *causeur*¹, слушавший себя с заразительным наслаждением остановился к общему удовольствию (кто-то, впрочем, осторожно отошел), на личности министра народного просвещения. В характеристике министра профессор следовал литературному методу Светония, который для начала почтительно отмечал достоинства своего цезаря, а затем рассказывал о нем самые ужасные, невероятные истории. Поговорили и об отставке великого князя Николая Николаевича, одни предполагали, что он покинул должность главнокомандующего добровольно,

¹ Остролов (франц.).

другие утверждали, что великий князь поссорился с царем. Поговорили также о княжне Долгорукой (поспешно отошел еще кто-то).

Затем общий разговор разбился. Старый математик, давно взятый товарищами на свободную, необходимую и симпатичную роль «человека не от мира сего», обычно достающуюся в университетах математикам, рассказал очень недурной (и вполне от мира сего) анекдот об отсутствовавшем ботанике. Все весело смеялись, смеялся и Павел Васильевич. Почему-то он, впрочем, подумал, что приблизительно такие же разговоры ведутся везде в Петербурге: «Так же спорят об отставке Николая Николаевича и о княжне Долгорукой если не ремесленники Васильевского острова, то титулярные советники, над которыми вот уже полвека смеются в стихах и в прозе наши сатирики... Есть ведь такое ремесло — сатирики, — и довольно странное ремесло. Сатирики, впрочем, тоже водочку пьют и тоже дуются в преферанс и шку... Впрочем, нет, они играют в преферанс — одно дело, когда люди дуются в преферанс, и совершенно другое, когда они просто играют в преферанс... А если говорить правду, то в Кембридже разговоры и шутки были еще элементарнее, потому что англичане как люди элементарнее нас. Быть может, платоновская академия была рассадником афинских сплетен. Никакое человеческое общение без сплетен и шуточек обойтись не может и не обходится, и слава Богу, иначе мы погибли бы от скуки», — благодушно думал Павел Васильевич. Профессор философии, человек бездарный, специалист по Прометееву огню, попросил Павла Васильевича напомнить ему, в котором часу послезавтра обед. «Какой обед?» — чуть было не спросил озадаченный Павел Васильевич, но вовремя вспомнил, что действительно пригласил к себе этого профессора. Они до того и не бывали друг у друга, но зимой у философа умерла жена и Муравьев счел нужным выразить сочувствие приглашением. «Не забыть сейчас же сказать Лизе, — подумал он, выходя из профессорской комнаты. — Теперь и обо мне немножко посплетничают».

Продолжение следует

(1919—1979)

Одиночество



1

Жил в Москве один поэт-писатель
Амфибрахий Ямбович Хореев.
Понапрасну времени не тратил
Он на посещение музеев.

Сам музейной редкостью являлся
Амфибрахий Ямбович Хореев.
Всюду, где бы он ни появлялся,
Собирал он толпы ротозеев.

Потому что на его затылке,
Словно спирт в полтавском штофе
крепкий.
Возвышалось горлышко бутылки.
Остроумно вделанное в кепку.

И всегда пропойцу-стиховода,
Ежели шатался он Москвою,
Окружало толпище народа,
Как Гольфстрим, течение морское.

Это было, может быть, нелепо,
И забыли многие про это.—
Но гремело в дни и ночи нэпа
Имя забуддыги и поэта.

А потом Хореева забыли
Женщины, и дети, и мужчины,
Ибо всем нужны автомобили,
Трактора и швейные машины.

Ну, а сей поэт имел характер
Не такой, чтоб воспевать заводы.
И живет, не ведая заботы,
Амфибрахий Ямбович, бухгалтер

Он пятнадцать лет стихов
не пишет,
Но бутылке, как и прежде, верен.
Потому что счастья не ищет,
А бежать от счастья не намерен.

Над Москвою небо сине-сине,
Час такой, не поздно и не рано.
И не купишь водки в магазине,
И уже закрыты рестораны.

На душе неизъяснимо плохо,
Разве это не на сердце рана?
Справедливо сказано у Блока:
В час рассвета холодно и
странно.

В час четвертый, ни утра,
ни ночи,
Видишь мир особыми глазами...
Ну, а если выпить хочешь очень,
Водка есть на Киевском вокзале.

Надо взять билет до первой зоны
Контролер пропустит молчаливо,
И тогда хватить весьма резонно
Грамм сто пятьдесят и кружку
пива

В пьянство, как в причастие
поверив,
Амфибрахий Ямбович Хореев
Закачался у буфетной стойки
Вроде пароходика на Волге.

Но не падать — пьяниц всех
привычка,
Пьяницы — народ на редкость
ловкий.
На полу меж тем валялась спичка,
Спичка с обгорелою головкой.

2

Закрутилась мысль поэта:
Если пить, то пить до дна...
Ну, а спичка, спичка эта,
Почему она одна?

Взгляд его скользнул по кругу,
Как бумага по перу,
И увидел он подругу
Бедной спички на полу.

Поднял спички — ту и эту,
Завернул в бумагу их,
Чтоб не маялись по свету
И людей не знали злых.

Чтобы жили и делили
Горе, радость пополам,
И друг друга чтоб любили,
Не валяясь по полам.

Между тем Хореев робко
К выходу направил бег,
И заметил он коробку
Папиросную «Казбек».

У вокзального порога
С четырех концов видна
Папиросная коробка,—
Почему она одна?

И Хореев благородный
Потерпеть того не мог:
Начал он искать подобный
Папиросный коробок.

И извлек его из урны
Амфибрахий потому,
Что на свете очень трудно
Жить «Казбеку» одному.

Он схватил «Казбека» оба
И прижал к своей груди,
Чтобы их людская злорада
Не застала по пути!

Чтобы жили и делили
Горе, радость пополам,
И друг друга чтоб любили,
Не валяясь по полам.

Амфибрахий в упоенье
Был от этих мудрых слов.
В этот миг сердцебиенье
Ощущает он часов.

Бьют часы тик-так все тише
На Хореевой руке
От часов других таких же
Почему-то вдалеке.

Бьют часы ежесекундно
И отсчитывают дни.
Но часам работать трудно...
Почему они одни?

И ведут они беседу
С кем в свободные часы?
Вдруг увидел у соседа
Он подобные часы.

А сосед, уткнувшись в водку
Благородные усы,

Песню пел про Волгу-Волгу
И не думал про часы.

А на деньги запасные
Заказал он ветчины...
«Выплывают расписные
Стеньки Разина челны...»

Амфибрахий незаметно
Перерезал ремешок,
Совершил в один момент он
Героический прыжок.

И со страстью Архимеда
Погрузился в мир любви,
Чтобы парные предметы
Неразлучно жить могли!

3

Шествовал по жизненным дорогам
Амфибрахий Ямбович Хореев,
Шествовал над близким и
далеким
Амфибрахий Ямбович Хореев.

Был невероятно одиноким
Амфибрахий Ямбович Хореев,
И сошел с ума подобно многим
Амфибрахий Ямбович Хореев.

От обычных жуликов в отличие
Он не брал презренного металла,
Но его квартира обретала
Странный вид сплошного
симметричья.

Круглых два стола стояли рядом
Так, что составляли цифру
восемь,
Стулья шли торжественным
парадом,
Чайник к чайнику тянулся носом.

Были схожими шкафы, буфеты,
Книг одноименных было много,
И висели парные портреты
Пушкина. Некрасова и Блока.

Амфибрахий Ямбович старался,
Чтоб все парным стало, лез из
кожи.

Лишь зеркальный шкаф один
остался,
Начал он искать другой такой же!

4

Чтобы выйти
Из заколдованного круга,
Любите
Друг друга.

Во время труда
И в часы досуга
Всегда
Любите друг друга.

Взгляните в окно:
Там бушует вьюга,
А вы все равно
Любите друг друга.

Цветут цветом ярким
Растения луга...
И летом жарким
Любите друг друга.

Вы живете на западе
Иль приехали с юга,—
Помните заповедь:
Любите друг друга!

Под хвойными иглами,
Под зарослями бамбука,
Тешась вольными играми,
Любите друг друга!

Молодые, старые,
Это вам говорит наука:
Во что бы то ни стало
Любите друг друга!

5

— Амфибрахий!
— Здравствуй, Боря!
— Черт возьми! Ты жив поэт?
Не видались мы с тобою
Двадцать зим и двадцать лет!
Я-то думал, ты в Сибири!
Тоже дружба! Так нельзя!
— Неужели не забыли
Амфибрахия друзья?
— Нет! Но ты как в воду

канул...

Впрочем, воду чем толочь,
Лучше трахнем по стакану!
— Выпить я всегда непрочь!

— Узнаю тебя, Хореев!
Вот,хвати сто грамм огня,
А бутылок батарею
Шандарахнем у меня.
А живу я на Арбате,
Горьким пьяницей слыву...
У меня жена есть. Надя...
Сам увидишь, как живу.

— Вот и дома мы. Знакомься:
Это вот моя жена.
Надя, ради друга-гостя
Надо выпить нам вина!
Что ты смотришь, как тигрица?

Кстати, нет на то причин:
Встретил друга,— с ним
напиться —
Благодарнейший почин!—

6

Вот он поставил шкаф зеркальный
Со шкафом рядом.
Обвел тот и другой нахальным
Победным взглядом.
На столько лет в неизвестность
канув,

Всю скорбь изведав,
Он пару вытащил стаканов
Из двух буфетов.

Меж тем мужик толковый Боря
Часа в четыре
Пришел, нашел следы разбоя
В своей квартире.
Белье валялось на кровати
Под пиджаками,
А на полу валялись платья
Под башмаками.
И крепко связанная Надя
Лежала рядом.
Он посмотрел на все, не глядя,
Печальным взглядом.
Заметил он на пианине
Чернила, пятна.
А шкафа не было в помине:
Оно понятно!

7

Остроумный следователь Слуцкий
В чине почитаемом майора
Говорит: — Я доберусь до сути!
Это не покража, а умора!
Я верну вам шкаф, а после
смейтесь!

Я до дела докопаюсь сразу!
Кто, скажите, за последний
месяц
Заходил к вам в дом, в стойло
Пегаса?

Так, так... Нарочитов, говорите?
Он меня сейчас не занимает:
Пьяница, однако не грабитель,
Разве только деньги занимает.
И не отдает... Оно понятно!
Мы над всеми «И» поставим точки!

Овский? Это маловероятно:
Он ворует лишь чужие строчки!

Кто еще ваш терем посещает?
Ауков? Он тоже шкаф не вынес,
Ибо ничего не похищает,

Разве что у девушек
невинность —
Да и то в своем воображенье...
А еще какие есть таланты?

Прометеев? Я прошу прощенья:
Он ворует только преysкуранты!

Кто еще стучится в ваши двери,
Чтоб напиться и развеселиться?
— Надя утверждает, что Хореев...
— Так, так, так... А это что за
птица?

— Он, скажу я вам, настолько
честен,
Что почти что равнодушен
к тыщам.

— Ну, а адрес вам его известен?
Нет? Так в адресном столе
отыщем!

8

Господа! Себя виновным
До сих пор не признаю!..
Просто я искусством новым
Душу радовал свою.

Просто я понятие рифмы
Взял да и распространил
На сухой, как логарифмы,
Ваш материальный мир!

Честный, как и все поэты...
(Возглас с места: «Вот нахал!»)
Я не брал у вас предметы,
Я их просто рифмовал!

1950

Публикация Н. Н. ГЛАЗКОВА

Русская культура на перекрестке мнений

СЕССИЯ СОВЕТА «ДН» ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Гасан Гусейнов

Цивилизация по имени Россия или племенной психоз?

Никакая сила в мире не сможет объяснить мотылькам, что им не надо лететь на огонь, они все равно будут лететь. Толпы людей, бегущих на огонь национальной идеи, не умнее, но много злее мотыльков. Повинуясь проснувшемуся в сердце чувству любви к Отечеству, они по дороге убьют много других людей. Можно ли убедить или заставить людей не убивать себе подобных и одновременно сохранить в них чувство любви к Отечеству? Я полагаю, что нельзя. Более того, такой «патриотизм» — это идеология смерти, вспыхивающая от времени до времени страсть к самоубийству, которой подчиняются целые народы и которая стихает либо после исчезновения зараженной ею цивилизации, либо благодаря столкновению с более могучей силой, которой удастся унизить свою соперницу. Такое унижение, однако, не может продолжаться слишком долго, ибо оно легко превращается в стимул и питательную среду («почву и арсенал») для новой и всякий раз более разрушительной «патриотической» горячки.

Безотчетная и чистая любовь к Родине и гордость за свою принадлежность к ее сынам — тем более высокие чувства, чем менее заслуженными они могут казаться, заслуженными в обыденном, плоском и пошлом смысле. Города, деревни, библиотеки, заводы и филармонии цивилизации разваливаются на куски под ударами «патриотического» землетрясения.

И вот не успела Западная Европа — впервые за тысячу лет — прийти к единству, не успела «распри позабыв, в единую семью» соединиться, не успела наездница славного быка спешиться, как шумное дыхание с Востока достигло сперва ее слуха, а теперь уже хватает Европу за руки, за платье, торопится сесть за ее красиво убранный стол.

Европа цезарей! С тех пор, как в Вонапарта
Гусиное перо направил Меттерних —
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта!

Мандельштам писал так в начале первой мировой войны. Задержанный Октябрьской революцией и подмороженным сталинским социализмом распад величайшей из империй не мог не ударить по Европе, потому что часть этой империи была и частью Европы. Химические процессы в политически непроницаемых мешках начали роковое взаимодействие.

Протрем глаза, взглянем сквозь туман великой смуты — от Балтики до Адриатики с севера на юг, от Трансильвании до Закавказья с запада на восток — и мы увидим новый виток взаимодействия, старого как мир: Германия и Россия. Слово оказались напрасными неимоверные усилия закройщиков сперва «версальской», а потом «ялтинской» системы, уверенных и торжественных ничуть не меньше нынешних «отцов наций», да и имевших неизмеримо больше оснований для такого самочувствия и позы.

Поверженная, растоптанная союзницами по антигитлеровской коалиции, разделенная на зоны и раздавшая своим главным союзницам по куску земли, Германия к концу XX столетия не только выросла в процветающего экономического гиганта, но кажется единственным в Европе государством, угрожающим физически разрастись. И именно за счет тех

земель, которые политы родной нашей кровью. Поневоле задумаешься: не пиррова ли победа одержана 45 лет назад? И почему мы не удержались? Не потому ли, что зараза национального социализма оказалась такой живучей?

Сперва она прокатилась по искалеченной войною стране, попавшей в «тень врага», волной депортаций младших народов, обвиненных в предательстве, а припядуч сотен тысяч украинцев, литовцев, эстонцев и еще военнопленных всех национальностей. Настал черед борьбы с евреями космополитами, потом с националистами в республиках. И вот в последнее десятилетие века страна подползла к пику болезни. «Национальное возрождение», «национальное единство», «национальное самосознание» — только и слышится со всех сторон.

Преобразовав «империю» в союз национальных государств, Россия утратила статус не державы, но наднациональной цивилизации, в гражданском смысле скукожившись до размеров РСФСР, а в военном — расширившись до самой большой за всю свою мирную историю армии, расквартированной до недавнего времени от центра Европы до пустыни Гоби и побережья Японского моря.

С одной стороны — военно-патриотическое Отечество, граничащее чуть ли не совсем светом, а с другой — большая Родина, по маяте и нищете ровня своим республикам-соседкам. И вот надобно возвращаться сотням тысяч сынов Отечества с чужбины на Родину, а ехать боязно — нет на Родине жилья для сыновей, а в республиках нет охоты попадать под пули патриотов, или верных сыновей своего Отечества, или террористов, или экстремистов, или боевиков. Солдаты и офицеры не обязаны понимать, что это Будапешт-56, Прага-68, Кабул-79 отзываются и Тбилиси-89, и Баку-90, и Вильнюсом 90 года. Из стран европейского будущего они должны возвращаться в изуродованное колониальное прошлое. Есть отчего сойти с ума.

А навстречу из Казахстана и из несостоявшегося для них Поволжья едут в Германию немцы. «Хуже не будет!» — думают и говорят уезжающие. «Хуже не придумаешь!» — думают и говорят русские женщины из военных городков под Берлином, Будапештом или Прагой. Или в Баку.

Сельская и промышленная Россия надорвалась под тяжестью военного и религиозного Отечества. Действительность такова, что призраки по-прежнему готовы играть победу над реальными людьми и целыми народами. Как, за что, почему так происходит?

Первое приближение заставляет признать, что испытанию подвергается не просто постимперская военно-политическая структура, унаследованная от монархов прошлого и нынешнего столетия. Как и в 1917 году, сегодня испытывается на прочность цивилизация России.

В составе этого понятия одним заметнее деградировавшая управленческая машина, проходящая под кличкой «ведомств» и воплощенная в коллективном портрете «русского человека»: московского чинуши, ленивого неграхи «работяги», солдата, смолещаго в своей бытовке над переполненной окурками консервной банкой из-под баклажанной икры. Другим заметнее униженный праведник в окружении своих беспамятных соплеменников и русофобов всех мастей, наследник великой национальной идеи, русоголовый и голубоглазый былинный герой — покоритель и покровитель, мастер и первооткрыватель всего на свете.

Этому «Лиру», незримо стоящему у ворот любого дома, где обсуждается «русский вопрос», приносится в жертву не только историческая правда, но и элементарный здравый смысл. И если в начале века ликвидация высшего сословия и трудовых крестьянских ресурсов на всем пространстве империи все же обеспечила на свой, люмпенский манер интернациональную солидарность, то в конце XX столетия племенному психозу не сможет противостоять у нас в стране никакая сила.

От цивилизации остается пока еще только довольно вялое космополитическое сознание большинства русского населения страны (включая, разумеется, и «обрусевших инородцев» — излюбленных героев разработок по политграмоте времен реконструкции империи). Как долго продержится чувство гражданина мира и наднациональное самосознание?

Для этого надо увидеть, в какой фазе исторической жизни находится сейчас народ, понять, куда пойдет русский человек — настоящий, а не литературный Вечный странник Евразии.

Все исторические аналогии хромают — одна хуже другой. И стародавняя римская цивилизация, давшая жизнь и галло-романскому, и романо-германскому континентам, и сегодняшнее «германское чудо», в который раз перепугавшее памятливых европейцев.

Чтобы заработали аналогии, Россия должна, наверное, пройти нынешнюю фазу глобального исторического унижения, и тут не обойдется и не обходится без грошовой мессианской риторики из уст духовных вождей, мечтающих выпрыгнуть из истории, прихватив с собой как можно больше народу.

Горечь поражения только тогда становится сильнейшим лекарством, когда проигравший, не лукавя, признает свой реальный статус и свою ответственность. Тут и начало лечения. Только не надо называть его возрождением утраченного здоровья. Простых людей, бедных и просто нищих, тошнит от бессовестной пропаганды духовности, жалких претензий на роль всемирного учителя, навязываемых русскому человеку иной раз из самых добрых побуждений.

Не менее опасна и пропаганда национального экономического чуда. Для японцев оно неразрывно связано не только с атомным шоком Хиросимы, но и с массовым самоубийством армейской элиты. Нужно ли так глубоко нырять за недостающими цивилизованными структурами?

Для России эти структуры будут учреждаться, вероятно, на пути региональной самостоятельности и раздачи бессмысленно гниющего государственного имущества людям. Новая идеология преодоления бедности должна оттеснить культ нищенской духовности, идеология промысла — сдерживать индустриальный онанизм, чувство гражданина — распространяться не слишком далеко от дома и сада...

Сегодня, к несчастью, все или почти все работает против этой чаемой цивилизации: исход даже малой части этнических русских из Закавказья или из Средней Азии, с Кавказа или из Прибалтики сделает Россию национальным государством, каким она не была уже несколько столетий. Вот только захотят ли русские — белые, и желтые, и черные — снова становиться в разбитую колею?

Бронислав Холопов

Аберрации взвинченной памяти

Национальное чувство, чувство принадлежности к своей нации... На нашем совете о нем было сказано уже немало. И. Виноградов в своем выступлении, насколько я понимаю, намечал определенные вехи в осмыслении этого чувства, рассматривал его и в общетеоретическом плане и в плане конкретном — так, как оно проявляется или должно проявляться у русских в наше сложное время. Это, безусловно, нужный и плодотворный подход. Но, думается, не зря вместе с философскими размышлениями за этим столом звучали слова великих русских писателей, особенно Пушкина и Достоевского, выражающие в художественной, публицистической форме их понимание русской культуры, русского национального характера. Такие, кажется, совсем простые слова порой словно вспышка света озаряют ум, душу. Как говорил классик, становится далеко видно во все стороны света.

Вот и сейчас я вспоминаю стихотворение А. С. Пушкина о двух «дивно близких» нам чувствах: о любви к родному пепелищу и любви к отеческим гробам. Именно на них, по представлению гения, основаны «самостоянье человека, залог величия его». И верно, без этих чувств невозможно ощутить себя принадлежащим к своей нации, а без этого человек и беднее, и заброшеннее. Можно произносить громкие слова о патриотизме и любви к народу, и не исключено, что такие слова будут вызваны искренними побуждениями, но если, кажется мне, они не освещены любовью, интересом к своей единственной на земле «малой Родине», особенно если она к тому же и родина твоих предков, если эти высокие слова не подкреплены заботой о «малой Родине», то они теряют ценность, выхолащиваются, превращаются в пустую фразеологию.

Я давно живу в Москве, но по происхождению ярославец, да и все колена моих предков оттуда. Связь с Ярославией стараюсь поддерживать — знаю ее историю, представляю нынешние проблемы, — а потому судьбы развития русской культуры могу наглядно проследить на примере тех мест, где завязывалась Россия. К этим судьбам сейчас обращаются многие исследователи, писатели, но иногда, читая новейшие сочинения, ловлю себя на мысли, что авторы изображают историю нашей культуры или упрощенно, или так,

как это нужно для доказательства какой-нибудь концепции, кажущейся этим авторам единственно верной в переустройстве нашей современной кризисной жизни. Историю такие авторы мнут, как глину, лепят из нее простенькие, но яркие фигурки, дабы ими привлечь на свою сторону людей, падких на доходчивые, популистские идеи. Впрочем, вероятно, лепщики фигурок и сами верят в их правдивость, художественность, увлекаются ими. Иначе говоря, обращаясь к прошлому, они возбуждают, взвинчивают свою историческую память так, что возникающие радужные aberrации принимают за явления, имевшие место в действительности.

Ну вот, скажем, приходится мне читать теперешние рассуждения о судьбе памятников архитектуры в Ярославле. Из иных статей выходит, что их начали уничтожать с первых лет Советской власти. А как же было на самом деле? Да, Ярославль жестоко пострадал летом 1918 года, погибло более трети только жилых строений. Но из-за чего, из-за кого? Они уничтожены в ходе белогвардейского мятежа, возглавленного полковником Перхуровым и эсером Савинковым, боев между мятежниками и отрядами с ярославских фабричных окраин. Зачинщиков-то мятежа, наверное, можно считать большими виновниками разрушения города, чем их противников-победителей.

И ведь тогдашнее советское правительство сразу же распорядилось начать большие работы по спасению ярославских памятников истории и культуры. Уже в августе 1918 года начала действовать Ярославская реставрационная комиссия во главе с П. Д. Барановским, человеком, который впоследствии спасал собор Василия Блаженного в Москве, восстанавливал древние соборы Чернигова. Комиссия, которую после Барановского возглавлял в Ярославле выдающийся археолог, краевед, историк искусства И. А. Тихомиров, в тяжелейших условиях реставрировала Спасский монастырь, где когда-то нашли «Слово о полку Игореве», Митрополичы палаты, возведенные в XVII веке славным строителем великоростовского кремля митрополитом Ионой Сысоевичем, кафедральный Успенский собор, который вел свою историю с XIII века и стоял у Волги, там, где город в начале XI века был заложен Ярославом Мудрым.

Конечно, не надо идеализировать действительность: и в двадцатые годы было много противоречивого в развитии русской культуры. Расцветал авангард, а тысячи художников, писателей, приверженных вкусам и взглядам прежнего времени, уезжали из страны. Многоцветье русской культурной палитры обеднялось. И все же развитие культуры продолжалось. Заметили ли вы напечатанное в прошлом году в «Новом мире» (№ 8) письмо тверичанина М. Петрова «Культура в провинции»? Автор письма показывает, какой богатой была культурная жизнь его города в двадцатые годы. В Твери жили тогда известные писатели, выходило около двадцати журналов и альманахов, работали музеи, процветало краеведение. М. Петров приводит названия десятков краеведческих книг, вышедших тогда. Тверяки только ими и пользуются до сих пор при изучении своего края. «Других у нас нет», — пишет автор новомирской публикации. Так же кипела издательская деятельность и в Ярославле, и во многих других городах. Что же касается музеев, то хоть Ярославль не был беден ими и до революции (Ярославский исторический музей-заповедник только что отметил свое 125-летие), а вот все-таки художественной галереей не располагал. Ее открыли в 1919 году!

Ах, если бы развитие русской культуры шло в тридцатые годы, как в двадцатые! Но куда там. В Твери закрылись журналы, одни писатели уехали, другие погибли. В Ярославле же начался форменный погром культуры. Из восьмидесяти примерно храмов было разрушено около тридцати, причем некоторые уникальные, расписанные знаменитыми мастерами XVII—XVIII столетий. Восстановленный Тихомировым Успенский собор был взорван. В Толгском монастыре, ведущем историю с XIV века, устроили тюрьму, а затем детскую колонию. Там, в огромной Введенской церкви установили макет гидростанции, которая должна была вырасти на Волге, перед самым Ярославлем. В главном нефе храма соорудили бассейн. В его воде отражались, отсыревая и разрушаясь, фрески XVII века. В Крестовоздвиженской церкви того же монастыря, ставшей клубом, перепилили железные тяги, державшие своды, — они мешали показывать кино. Своды рухнули. Хирела редчайшая кедровая роща, заложенная в XVI веке. Уже в 1938 году решили взорвать едва ли не самую известную в городе Ильинскую церковь — она расположена на центральной площади Ярославля. Только самоотверженность нескольких людей — музейного работника, художника, которые были готовы погибнуть вместе с храмом — спасла его. На митингах тогда принимались резолюции: пусть церковный кирпич (лекальный, плинфа) пойдет на строительство заводов.

Преступление? Безусловно. Но еще раз подчеркнем: оно совершалось не в двадцатые, а в тридцатые годы. Значит, не надо валить все содеянное на Советскую власть вкуче, надо видеть разные стадии ее развития, различать их. М. Петров в «Новом мире», а с ним и все мы считаем, и вполне обоснованно, что именно сталинщина, сталинский централизм стал главным виновником оскудения русской культуры в провинции. Автор «Нового мира» видит один путь исправления содеянного: «Возвратить провинцию то, что было у нее в свое время отнято,— самостоятельность культурного развития. Уравнять ее в правах со столицей, как это должно быть во всяком цивилизованном государстве (разрядка моя. — Б. Х.), отказаться от порочного, но ставшего уже привычным для многих взгляда на культуру как на некий продукт, производимый исключительно в центре и экспортируемый оттуда на периферию».

Верные слова! Однако сразу же и скажем: исправить совершенные когда-то ошибки, искупить преступления не означает, что надо вернуться в то прошлое, которое существовало до содеянного. Такое возвращение тоже может стать и ошибкой, и преступлением, особенно если — повторим еще раз — прошлое начинает казаться радужным в абберациях взвинченной памяти. А именно продуктом такой абберации представляется мне, к примеру, статья Т. Наполовой «Преемственность зла» («Наш современник» № 1. 1990). Нет ни времени, ни места для разбора этой статьи. Скажу лишь, что для утверждения правоты своих атак на органы печати, которые видят выход нашей страны из кризиса в том, чтобы она стала нормальным цивилизованным государством (повторим слова М. Петрова), то есть на «Московские новости», «Огонек», «Советскую культуру», для оправдания нынешней принадлежности к «патриотам», для этого Т. Наполова по-своему, так, как ей надо, трактует историю русской культуры, русской литературы. Одни там, оказывается, были «либеральными крикунами», другие честными защитниками русского народа. Разделим всех на «чистых» и «нечистых», чего там мудрить. Ну, к «нечистым» Т. Наполова отнесла Писарева, Михайловского. Почему, непонятно, декабристов не упомянула, или Белинского, или Блока, наконец, с его «Возмездием» и «Двенадцатью»? В «честных защитников» включила и Толстого, и Чехова, слава Богу. Но ведь этим «честным защитникам» она приписала не какие-нибудь, а «охранительские» тенденции, что, с ее точки зрения, похвально (это Льву-то Николаевичу, отлученному от церкви, охранительство!), а всех «антиохранителей», Салтыкова-Щедрина, к примеру, зачислила в число ненавистников русского народа. И ведь, оказывается, «радикальные либералы» в царской России установили террор по отношению к любезным Т. Наполовой «охранителям» — что хотели, то и делали. А сами эти радикалы жили, если судить по статье, просто припеваючи, гражданским казням не подвергались, на помосты виселиц не всходили...

И именно они, «либералы», а не бездарный царский режим довели Россию до революции. Теперешние же их потомки, всякие там Дедковы, к примеру, травят нынешних честных, беззащитных, талантливых «охранителей» — Ю. Бондарева, скажем. Так и получается, что нынешние «охранители», желающие сохранить самобытность тоталитарной России, выступают за русский народ, а поборники создания у нас демократического, свободного, цивилизованного государства — русофобы. Да и происхождение их стоило бы, получается, как следует проверить.

Каких только рецептов не предлагают нам те, кто видит спасение России в возвращении к прекрасному прошлому. И обязательный закон божий ввести в школах, как когда-то, и все музеи изгнать из церквей, и чуть ли не пробы крови на чистоту расы брать... Разумеется, в цивилизованном государстве каждый гражданин должен иметь возможность свободно читать великие Ветхий и Новый Завет; конечно, пусть те, кто видит свое нравственное спасение в приобщении к церковному учению, обращаются к нему и не подвергаются при этом никаким дискриминациям.. Возвратили Толгский монастырь русской православной церкви — и слава Богу, хотя я бы подумал, стоит ли забирать Ильинскую церковь из владений музея-заповедника, как это требуют сейчас иные особо страстные ревнители прошлого. Главное в другом: права-то, права любого человека, любой личности должны оставаться в государстве нерушимыми, будь он атеист или мусульманин, русский или караим.

Нет, оказывается, такой идеал свободного государства не годится русским «охранителям» — в нем мало «русскости» И, странное дело, защитники «охранительства» русской культуры смыкаются теперь с теми, кто вчера восхвалял имперско-социалистический централизм, а сегодня оплакивает его, ищет выхода из кризиса в неких туманных братаниях патриотов, принадлежащих к разным кланам. Получается, что тот самый централизм, который, как я старался показать вначале, уничтожал русскую культуру в Ярос-

лавле и Твери, все же способствовал сохранению русской нации, а вот либералы, выступавшие и выступающие за демократическое, цивилизованное государство, ей вредили и вредят.

Много путаницы в нашем понимании русской культуры, русской идеи, русского государства, русского национального характера... Но что делать! Разбираться-то надо. Поэтому в заключение мне хочется поддержать предложение И. Виноградова о том, чтобы наши выступления по всей этой русской теме приобрели постоянный характер, стали рубрикой. В этой рубрике могли бы найти свое место и выступления теоретического характера, и такие, которые бы показывали практику нынешней русской культуры. Я не скажу ни слова о бытовании русской культуры, русской жизни в инонациональных ареалах — как за границей, так и у нас в стране, а это тоже особая и важная тема. И все-таки, чтобы ее лишь затронуть, обозначить, расскажу один случай. В позапрошлом году я летел из Степанакерта в Ереван. На аэродроме нас посадили в самолет и долго не выпускали в полет по каким-то причинам. И тут маленькая армяночка, чтобы скрасить пассажирам ожидание, стала читать стихи на русском языке. Объявила: «Стихотворение Анаит Татевосян, семи лет, читает Астхик Ванян, пяти лет». И прочитала вот такой стих, который я записал на диктофон:

Мама, мама, мама, не гони в кровать.
Лучше мне Цветаеву почитай опять
Расскажи о Пушкине, о его жене,
Пусть сегодня ночью он придет ко мне,
Пусть Есенин, Тютчев, Фет, Тюткин, Светлов
Вновь меня окутают музыкой стихов.
Ведь от этой музыки вечно ты пьяна,
Как же тебе, мама, не тонить меня?
Знаю, знаю, мама, будешь ты опять
Туманяна, Блока, Чаренца мне читать.
И еще я знаю: истинный поэт
Людам в мир приносит самый добрый свет.

Имя чтицы Астхик — по-армянски «звездочка», таким показалось мне и стихотворение. Пусть оно было несовершенным, сентиментальным, пусть даже семилетняя девочка не самостоятельно его написала, а ей помогала мама, которая «пьяна от музыки стихов», но все же оно меня растрогало. И если жизнь в стране пойдет так, что у других народов к русской поэзии, к русской культуре сохранится такое же отношение, как то, которое выражено в детских стихотворных строках, то мы, русские, в иные моменты могли бы себя чувствовать счастливыми. Но ведь по приказу, под нажимом, под знаменами истерично раздуваемой борьбы с «русофобией» никто такие стихи писать не будет. Вот и еще предмет для размышления.

Микола Рябчук

«Дебрь» или «лад»?

Некий остроумец заметил о нашей державе, что это большая Буркина Фасо с атомными ракетами. Шутка злая, но небезосновательная. Потому что действительно страна, превратившаяся в крупнейшего покупателя зерна и стирального порошка у стран третьего мира, научившаяся изготавливать ракеты и танки, но не умеющая изготовить одноразовые шприцы и лезвия, это отнюдь не победившая в историческом, то есть прежде всего в гуманитарном смысле страна. И я думаю, что здесь есть над чем задуматься русскому народу и, конечно же, русской интеллигенции. Во всяком случае, самое опасное сейчас, в это судьбоносное, как мы говорим, время — это убаюкивать себя мифами о некоем государственном величии и всемирном мессианстве, о «сверхчуткости» и «сверхотзывчивости» русского народа, о его некой особой нравственности и исключительной «консолидирующей» роли. И уж тем более о некоем особом, чуть ли не врожденном интернационализме.

Жизнь, увы, опровергла все эти мифы, то есть сама наша эмпирическая реальность ежечасно их опровергает, однако опаматования, к сожалению, не происходит: в постигшем страну и народ неблагополучии винят, как правило, «большевиков», «инородцев», «империалистов», «жидо-масонов» — кого угодно, но только не самих себя, не ту опас-

нейшую имперско-великодержавную идею, которая на протяжении веков внедрялась в сознание российского обывателя, можно сказать, в нем лелеялась и которая, на мой взгляд, весьма мало изменилась после 1917 года, сталинско-брежневский гегемонизм, согласитесь, не слишком этому способствовал.

Да, я понимаю, можно от этой реальности отмахнуться, как от назойливой мухи; можно и дальше лелеять мифологему народа-богоносца или, в современных терминах, народа-«интернационалиста», эдакого мученика и спасителя, принесшего себя на алтарь всеобщего благоденствия и теперь невинно страдающего от окружающих его неблагодарных «националистов», внешних и внутренних «врагов». Все это мы уже проходили и ни к чему хорошему не пришли. Потому что если мы в очередной раз рассуждаем о «русофобии», которая, по словам В. Распутина, распространилась в Прибалтике, Грузии, проникает и в другие республики, в одни меньше, в другие больше, но заметна почти повсюду, и при этом в очередной раз ни слова не говорим о «прибалтофобии», «украинофобии», «евреюфобии» и т. д. как о явлении первичном и, в конце концов, как о главном источнике так называемой русофобии, то мы лишь усугубляем проблему и нисколько не приближаемся к ее решению. То есть мы в очередной раз ставим проблему с ног на голову и продолжаем в этом странном положении двигаться туда, куда только и можно двигаться вверх ногами.

Пока что, мне кажется, и «формалы», и «неформалы» в России (по крайней мере, абсолютное большинство и тех, и других) проявляют единство в одном: в приверженности к имперскому мышлению и почти полному непониманию сущности национальных проблем в различных регионах. Конечно, спектр этого непонимания весьма широк — от традиционного держимордовского стучания кулаком по столу: «Мы вас научим свободу любить», «Сталина на вас нет» или, как высказался у нас один руководящий товарищ, «вот Юрий Владимирович Андропов навел бы порядок» — до вполне интеллигентного «европейского» либерализма: «да что вы, ребята, какое все это имеет значение, не все ли равно, на каком языке разговаривать; вон во всем мире исчезают границы и все кругом говорят по-английски...».

Насчет английского спорить не буду, хотя наши «европейцы» и «интеграторы» применительно к СССР с этим новшеством почему-то отнюдь не торопятся. А жаль. Потому что, если перестройка действительно всерьез и надолго и ежели Москва в самом деле на роль «столицы мира» больше не претендует, то, видимо, и о серьезном изучении английского языка нам всем пора бы подумать. Хотя я и понимаю, что изучение какого-либо еще языка, кроме русского, отнюдь не в отечественной традиции последних десятилетий. Боюсь, что даже психологически русский народ к этому не готов — вспомните, каким праведным забастовочным гневом ответило русскоязычное население Молдавии, Эстонии и некоторых других республик на дерзкое требование изучить кроме «межнационального» еще и «национальный» язык аборигенов.

Реальность, однако, такова, что язык межнационального общения, о котором мы в республиках до хрипоты, до забастовочных судорог спорим, действительно необходим и он действительно существует. Но устанавливается он отнюдь не декретами и законами, а самой жизнью: торгово-экономическими, культурными и прочими отношениями. Капитализм разговаривает по-русски, — сказал некогда Петр Струве. Сегодня в условиях мировой интеграции эту формулу придется подправить: «Пост-индустриальное общество разговаривает по-английски», — нравится нам это или нет. Японцы сегодня отлично понимают индийцев, хотя, заметим, языков в Индии почти столько же, сколько в СССР, а мы тем временем все волнуемся, как же это бедные узбеки будут торговать с эстонцами без знания русского языка!.. Было бы чем торговать!..

Приведу другой пример: во Львове вот уже 50 лет никто никого не принуждает изучать польский язык и тем не менее большинство жителей в той или иной степени этот язык знают — этому способствуют и личные контакты, поездки к соседям, и возможность читать польские книги, журналы, смотреть две программы варшавского телевидения...

Честно говоря, я не думаю, что у нас ситуация существенно изменилась бы, если бы русский язык в украинских школах вдруг стал необязательным — скажем, факультативным или одним из нескольких иностранных, по выбору. За рубежом, кстати, английский язык распространяется без принуждения, школьники в большинстве стран имеют возможность выбирать между несколькими иностранными языками и выбирают, как правило, два из них — английский и еще один — подобно нашим студентам иняза.

В этом контексте мне представляется весьма анахроничным намерение навязать республикам русский язык в качестве «общегосударственного» — против этого, как известно,

категорически выступал еще В. И. Ленин, подчеркивая необходимость добровольности в выборе языка межнационального общения. Добровольность, заметим, определяется в этом деле отнюдь не путем пресловутого «всенародного одобрения» и даже не модным нынче референдумом, а путем личного, сугубо индивидуального выбора.

Русская интеллигенция, в том числе и та, которая клянется «принципами», не сказала пока ни слова против этой великодержавной затеи. Не отмежеввалась она пока — вслух — и от многих других «имперских» поползновений своих сородичей. Я понимаю, что настоящему интеллигенту, быть может, и не пристало вступать в спор с зарвавшимся сановником, называющим с высокой трибуны Польшу и другие восточноевропейские страны «буферной зоной»... Настоящему интеллигенту, наверно, не пристало спорить с солдафонской логикой, согласно которой республикам ни в коем случае нельзя предоставлять независимость, потому что «они тогда все передерутся».

Но должен ли спорить настоящий интеллигент со своим коллегой-писателем, который бьет тревогу, что в России русские составляют уже менее половины населения? Или с коллегой-академиком, который сообщает по телевизору, что извечная тяга русских к свободе проявилась в их экспансии на восток: «Сибирь завоевана в поисках идеала(!) свободы»? А может, и пресловутый «дранг нах остен» пора в подобном же романтическом ключе переосмыслить? Может, и в Афганистане мы этот самый «идеал свободы» искали?

И дело ведь не в конкретных ответах на подобные откровения — дело в том, что в стране, даже среди интеллигенции, не существует такой атмосферы, когда почтенному академику и не менее заслуженному писателю было бы стыдно за подобные речи, наоборот, они встречаются рукоплесканиями!..

Нет, я вовсе не утверждаю, что вся русская интеллигенция — и «консервативная», и «либеральная» — заражена эгоизмом. Я хочу лишь сказать, что прогрессивная часть русской интеллигенции пребывает сейчас как бы в некоем оцепенении, то ли недооценивая проблему дальнейших перспектив бывших «окраин» (в том числе и для подлинного возрождения самого русского народа), то ли — скорее всего! — опасаясь обвинений в причастности к пресловутому «жидо-масонскому заговору».

Такие обвинения действительно возможны, но в свое время это не помешало Герцену написать: «Развяжемте им руки, развяжемте им язык, пусть речь их будет совершенна свободна, и тогда(!) пусть они скажут свое слово...»

И не помешало несколько позже Ленину продиктовать следующее: «...Интернационализм со стороны угнетающей или так называемой «великой» нации (хотя великой только своими насилиями, великой только так, как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически».

Если русская интеллигенция этого не поймет и не скажет, то уж тем более этого не поймут широкие массы населения, а следовательно, и никакой свободы и демократии у нас, в том числе и в России, не будет — русские не будут свободны до тех пор, можно сказать словами Карла Маркса, пока будут угнетать другие народы.

Мне возражат — и правильно возражат, — что русский народ никого не угнетает, а все мерзости и безобразия от его имени делает безнациональный (по сути), но русский (или обрусевший) по языку бюрократический аппарат. Но заметим, что и черносотенное движение в свое время состояло отнюдь не из царской бюрократии (хотя ею и поддерживалось), да и сегодняшние деяния «Памяти» и близких ей по духу «интерфронт» — это не только бюрократические происки (хотя и они тоже).

Двусмысленность положения русского народа в нашем многонациональном государстве, на мой взгляд, очень тонко проанализировала Г. Старовойтова: «Чувство превосходства старательно прививалось русскому народу. Тирания, с одной стороны, льстила крупнейшей нации страны, с другой — пыталась сделать ее объектом манипулирования и посредником в проведении государственной политики на национальных окраинах, которым постоянно напоминалось об оказываемой им экономической и культурной помощи. В сознании большинства русских укоренилась идея об исключительной роли своего народа для социального прогресса других народов страны и мира. Идея исключительности делала как бы излишним знакомство с подлинной историей во всей ее противоречивости: культурная память нередко была потеснена шовинизмом».

Произошло, в сущности, то, против чего предостерегал Ленин еще в 1922 году, критикуя «пресловутый вопрос об автономизации, официально называемый, кажется, вопросом о союзе советских социалистических республик». «При таких условиях, — утверждал

Ленин, — очень естественно, что «свобода выхода из союза», которой мы оправдываем себя, окажется пустою бумажкой, неспособной защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ. Нет сомнения, что ничтожный процент советских и советизированных рабочих будет тонуть в этом море шовинистической великорусской швали, как муха в молоке».

Было бы несправедливостью распространять описанное выше явление на русский народ, но было бы еще большей несправедливостью и дальше молчать об этом явлении, в то время как упомянутое «море» действительно разлилось по всем окраинам империи с надеждой из «ничего» стать сразу «всем». Великодержавно настроенный обыватель не желал видеть в России именно Россию, то есть обычное государство, интегрирующееся на равных правах с другими в «общеευропейский дом», он желал от имени России интегрировать весь подлунный мир вокруг себя.

А ведь именно в России, в исконно русских областях лежит главная точка приложения усилий русского народа, именно там решаются главные проблемы бытия русской нации: будет ли она наконец накормлена собственным черноземом и нечерноземом, создаст ли она наконец у себя цивилизованное гражданское общество, под стать хотя бы прибалтийскому, сохранит ли самобытную культуру.

Увы, пока что «Россия — согласно традиционным культурным нормам, да и глубинному нашему ощущению, сформированному этой культурой, — это ведь не просто страна, одна из многих, не просто равноправный член мировой семьи, нет, Россия — это нечто большее, один из китов, на которых мир держится, одна из основ мироздания, своего рода «новый Израиль», то есть народ, избранный то ли Богом, то ли Историей (в зависимости от времени и идеологической принадлежности верующих в Россию)».

Это слова публициста А. Факина из статьи «Бремя величия», опубликованной, к сожалению, не в миллионных центральных изданиях, а в периферийном рижском «Роднике» (№ 1. 1989). Хотя главные выводы этой статьи, мне кажется, должны были бы прежде всего услышать жители России, а не маленькой Латвии: «И вот, когда на одну чашу весов ложится освященное сознанием исторической избранности бремя величия, а на другую — тысячи индивидуальных человеческих жизней, которыми химера величия вскормлена, вот тут и наступает момент истины, время выбора основополагающих ценностей нашего дальнейшего национального бытия в мире. Выбор в пользу державного величия сегодня — это выбор в пользу ничтожной цены человеческой жизни, две эти ценности связаны кровью, они неразрывны во взаимоотрицании».

Вернуться в мир Россией означает преодолеть традицию противостояния России — миру. Это единственный путь сделать индивидуальную жизнь личности — главной ценностью жизни соборной. Но для этого надо освободиться от магии «оборонного сознания»; выйти из «осажденной крепости», стряхнуть с себя культ власти. Если это возможно...

Пока, увы, не государство существует для нас, а мы все еще для государства. Не вчера это началось. Закончится ли нами?»

Да, несомненно, подобные выступления спасают честь русской интеллигенции и вселяют определенную надежду на достойное (не «великое», а именно достойное) будущее русского народа. Но почему эти немногочисленные голоса тонут в противоположном хоре? Почему всякая попытка стряхнуть с себя бремя ложного величия и сказать неприятную правду наталкивается на яростные обвинения в «руссофобии» и «предательстве», в причастности к некоему «антирусскому» заговору?

А между тем социологические исследования свидетельствуют, что на вопрос «Что прежде всего должны делать те, кто желает добра своему народу?» из трех жителей РСФСР двое отвечают: «Заботиться о единстве и сплоченности Союза ССР». По другим республикам так отвечает один из трех. И лишь один из десяти россиян отвечает: «Добиваться полного политического самоопределения республики, не исключая отделений». По другим республикам эта цифра в несколько раз выше.

И добро бы речь шла о новой федерации, той, где «части связаны общим делом», как говорил Герцен, и где «никто никому не принадлежит, ни Женева Берну, ни Берн Женеве». Но в том-то и дело, что речь идет все о том же пресловутом варианте с «сильным центром». За этот вариант опять-таки больше всего высказывается жителей РСФСР, в то время как состоянием родного языка и культуры жители РСФСР обеспокоены меньше всех: каждый десятый, а по другим республикам — каждый пятый, каждый второй...

В этом контексте мне представляются весьма сомнительными разговоры о некоей особой «ущемленности» русского языка и культуры, о чуть ли не дискриминированном

положении русского народа, не имевшего своей компартии и своего комсомола, своей Академии наук и своей телепрограммы; я бы добавил сюда еще жалобу и на отсутствие «своей» армии, «своего» КГБ, «своей» православной церкви и т. д., если бы подобные сетования не выглядели слишком уж ложными и лицемерными.

Их ложность и лицемерие, разумеется, не в том, что все вышеупомянутые структуры русскому народу и русскому государству якобы не нужны (я-то как раз считаю, что нужны), а в том, что авторы подобных сетований, как правило, умалчивают или извращают ответ на другой, неизбежный в данном случае вопрос: а чьими, собственно, если не русскими, являются так называемые всесоюзные армия, комсомол, компартия, телевидение, Академия наук и т. д.? И — продолжим этот вопрос — чем, как не провинциальным филиалом вышеупомянутых «всесоюзных» структур, является, скажем, компартия Украины, или комсомол, или АН УССР?

На каком языке издается 90 процентов академической печатной продукции и создается 100 процентов академических диссертаций? Сколько звучит в эфирном времени (на радио и ТВ) русский язык и сколько, ну, скажем, белорусский? Сколько в кинопрокате фильмов на русском и на всех остальных языках?

Вопросы можно продолжать, но ответ, надеюсь, понятен. Из этого ответа, пожалуй, трудно сделать вывод о некой особой ущемленности русского языка и культуры — по крайней мере, по сравнению с языками и культурами тех народов, которые исчезли или же очутились на грани исчезновения в процессе «небывалого расцвета всех наций и народностей».

В этом контексте борьба за создание соответствующих республиканских структур для России (безусловно, необходимых, но в неперенной связи с общедемократическими, антицентралистскими преобразованиями) остается, к сожалению, борьбой преимущественно групповой и корыстной, ибо усилия направляются при этом не на устранение гегемонии центра, а лишь на усиление собственной гегемонии в центре.

В существующей ситуации все это не может привести ни к чему иному, кроме как к созданию «еще одной» русской Академии наук, «еще одной» русской телепрограммы, «еще одного» или нескольких русских журналов — в придачу к тем, которые уже существуют под вывеской всесоюзных. И, сколь хитроумно бы их ни делили на «русские» и «русскоязычные», националы в республиках вряд ли клонут на подобную словесную казуистику. Потому что если, скажем, среднестатистический украинец получает за год полторы книги на родном языке против десяти книг, которые получает на родном языке его русский собрат, этого украинца вряд ли обеспокоит соотношение в той десятке между книгами «истинно русскими» и всего лишь «русскоязычными».

«Мне бы ваши заботы!» — скорее всего, скажет он, а может быть, и спросит своих коллег, борцов с «русофобией»: неужто же те две немилые вам программы всесоюзного телевидения идут уже на идише или иврите? Неужто так называемые всесоюзные газеты и журналы уже перестали издаваться по-русски? Может, уже и школы русские исчезли в большинстве городов, может, и в вузах русским студентам приходится учиться нынче на санскрите, может, и военную службу они вынуждены теперь на этом самом санскрите проходить?

Что за вздор, возмутятся коллеги и при этом не подумают о том, что в условиях подобного «вздора» вот уже многие десятилетия живут миллионы украинцев, белорусов, татар и других народов. Так уж, видимо, устроено великодержавное мышление, что оно совершенно не способно признавать за другими народами тех же (без каких-либо исключений!) прав, что и за своим собственным.

Я вовсе не хотел бы, чтобы рьяные патриоты повесили и на меня ярлык «руссофоба». Я прекрасно знаю, что в каждой культуре есть две национальные культуры (вовсе не «русская» и «русскоязычная», а подлинная и поддельная) и в каждом народе есть, как писала некогда Марина Новикова, своя «дебрь» и свой «лад». Я действительно испытываю «фобию» к любой «дебри», в том числе и в моем собственном народе. Но я искренне уважаю «лад» в каждом народе и желаю возрождения этого «лада» равно как русским, так и украинцам. Я желаю этого русским даже больше, потому что не верю в свободу и демократию народов СССР без подлинной свободы и демократии в России.

И если я говорю сегодня о шовинизме великорусском, то это вовсе не значит, что я недооцениваю опасности других шовинизмов: мировой опыт показывает, что многие национально-освободительные движения, особенно после своей победы, заболевали опаснейшей ксенофобией, превращаясь, в сущности, в свою противоположность. Национализм

Кадафи и Хомейни — яркое этому подтверждение. Или, скажем, национализм Тодора Живкова — это ведь совсем не то, что национализм Христо Ботева. Возрождение национального сознания ни в коем случае не может быть целью, а может быть лишь средством в достижении справедливости, утверждении общедемократических свобод.

Но я полагаю, что в нашей стране шовинизм великорусский особенно опасен сегодня, потому что розыгрыш «русской карты», нагнетание шовинистической истерии — это, пожалуй, последнее, что остается сегодня антиперестроечным силам в условиях несомненного банкротства всех прочих идеологических догм. Русская интеллигенция, как я понимаю, очутилась в очень сложной и очень ответственной ситуации.

«В этой перспективе, — писал замечательнейший русский философ Георгий Федотов, — все новейшее развитие России представляется опасным бегом на скорость: что упредит — освободительная европеизация или московский бунт, который затопит и смоем молодую свободу волной народного гнева?»

Наталья Иванова

О национальной скромности великороссов

Прошлым маем я провела несколько дней в Шотландии, неподалеку от самого северного в Великобритании университетского города Абердин — города, целиком выстроенного из гранита, казавшегося бы мрачным, если бы не великолепное обилие цветов, украсивших каждую свободную пядь земли, каждый палисадник. На уик-энд меня пригласил к себе профессор Абердинского университета Дэвид Лонгли, историк, еще в 60-е стажировавшийся в МГУ. Абердин, как и Ленинград, славится своими белыми ночами, и мягкие зеленые шотландские холмы как будто сами светятся ирреальным светом. И вот такой шотландской белой ночью Дэвид показал мне выпущенный в Англии альбом: рисунки уехавшей с родителями в эмиграцию девочки, через много лет вспоминавшей при помощи красок свое детство. И я увидела ушедшую от нас навсегда Атлантиду — запечатленный мир семейных торжеств, христианских праздников, тишины и уюта, размеренной жизни старинного московского дома, теплого лета, дворянской усадьбы. Слишком тяжел, невыносим контраст незатейливых, простодушных рисунков-воспоминаний с той действительностью, в которой мы обитаем сегодня. Та Россия была утрачена не только беженцами — она была навсегда утрачена и оставшимися.

Стало уже банальностью повторять, что русская культура находится в плачевном состоянии. Разрушены сотни церквей, монастырей, очагов русской духовности и памятников отечественной архитектуры, уничтожены дворянские гнезда. Смертельно поражена крестьянская культура, плодоносящий и воспроизводящий ее слой. Не превращаемся ли мы, русские, в нацию мигрантов? Десятки миллионов людей, по подсчетам социологов, сменили место обитания за последние семьдесят лет. Этот котел так перемешался и так перекипел, что в Москве не сыщешь коренного москвича, а в Ленинграде — потомка подлинных петербуржцев.

В первые годы после революции из России были насильственно высланы виднейшие интеллигенты — цвет духовности. Уехало в эмиграцию более двух миллионов человек — практически чуть не вся русская интеллигенция того времени.

Россия была обезглавлена.

Так называемые спеццы, еще оставшиеся в России, пошедшие на сотрудничество с властью прежде всего ради любви к своей земле, были уничтожены в начале 30-х годов. Добавим к этому физическое уничтожение духовенства.

Свято место, как говорится, пусто не бывает. Его заполнила так называемая советская интеллигенция, люди, как правило, плохо и малообразованные. Но секира «классового отбора» настигла затем и их.

Мы пытаемся выбраться, вырваться сегодня из общенациональной трагедии. Похоже, что нам предоставлен последний исторический шанс, иначе остается думать, что Бог вовсе оставил нас, предоставил нам и дальше скользить вниз; и тогда, может быть, прав Эдуард Лимонов, рисуя в своей антиутопии такую картину: в один прекрасный день прилетает в Москву самолет французской авиакомпании и не может сесть — кругом расстилается безнадёжная белая пустыня.

И тем не менее что-то никак не «пускает» согласиться с утверждением Дмитрия Михайловича Урнова. Коротко говоря, он противопоставляет «русских» как культурно-национальное порождение XIX века, связанных с действительно сияющими именами наших классиков, русским XX века как века национального упадка, декаданса. Я, напротив, полагаю, что чудовищные нравственные испытания и физические потери русские вынесли, продолжив великую литературу в двух ветвях — метрополии и эмиграции. Сегодня, когда наконец эти ветви начинают, слава Богу, соединяться, мы начинаем себе представлять подлинные масштабы русской мысли, культуры, литературы XX столетия.

С начала XX века русская литература к тому же стала своего рода «дрожжами», строительным веществом, ферментом развития общемировых культурных течений.

Я все это говорю вовсе не из национальной гордости. Соглашусь с И. Виноградовым и М. Новиковой — не о гордости, а о скромности нам, русским, сегодня думать надо. Но и недооценивать то, что было создано до нас (или при нас), тоже ведь ни к чему.

Русская культура последних семи десятилетий — это Голгофа. И на Голгофе этой настоящая интеллигенция оставила нам в наследство «Реквием» и «Чевенгур», «Доктора Живаго» и «Жизнь и судьбу», «Мастера и Маргариту» и «Собачье сердце»... А за рубежом? Вспомним хотя бы имена Георгия Федотова и Николая Бердяева, Ивана Бунина и Владимира Набокова, Владислава Ходасевича и Георгия Иванова... Одним перечислением имен настоящих деятелей, творцов литературы можно занять многие страницы. А живопись? музыка? театр? Целые залы в европейских музеях? Памятник Дягилеву в Монте-Карло?..

Другое дело, что именно сегодня мы переживаем затяжную культурную паузу. В отсутствие гения, что ли... Или мы просто так и не научились распознавать живые таланты (и по-настоящему быть им благодарными) еще до их отлета на небеса?..

Сегодня мы наконец начинаем осознавать свою нищету, в том числе и духовную. И очень хорошо, что осознаем. Ведь только отсюда и может прийти спасение. «Блаженны нищие» — это ведь о нас с вами. Но здесь есть условие: нищие должны признать свою нищету. А не продолжать упиваться словесами — мы, великий народ, всех приведем к светлому будущему и т. п. Эта нехорошо возбуждаемая нынче псевдорусская гордыня абсолютно неплодотворна. Ее результатом только и может стать лимоновская белая пустыня.

Итак, о национальной скромности и ее противоположности — национальной гордыне.

Чем рождена гордыня? Только одним — комплексом национальной неполноценности, ущемленности. Ведь к чему мы привыкли? Что, с одной стороны, нас эксплуатируют, с другой — с высоких трибун вдалбливают нам, какой мы великий народ. Чем больше эксплуатировали — тем больше вдалбливали. Вспомним хотя бы «русскую» кампанию конца 40-х.

В результате — трагедия идеологически промываемого, дрессированного, утопического сознания среднего русского человека. Внушалось: он лучший, потому что русский (а невыносимые условия жизни как-нибудь перетерпим).

И чем больше расширялась суперимперия (а в нее входили отнюдь не только наши республики, но и восточноевропейский ареал, в котором стояла и отчасти еще стоит наша армия), тем более значительным и мессианским должен был ощущать себя народ, самый по численности большой, стоящий в Центре, плюс выделивший из своей национальной среды руководство (за последние шестьдесят лет на 85 процентов русское!). Народ, избалованный своим имперским положением «большого» и «центрального», даже не замечает того, как он ущемляет волю и самолюбие других народов.

Афганистан стал пиковой точкой имперской проблемы.

С выводом войск из него русское имперское сознание с ужасом обнаружило (впервые за десятки лет!) не привычное за столетия наращивание подвластной территории, а ее сокращение.

И дальше — Чехословакия, Болгария, берлинская стена, Румыния... Крушение не только режимов — крушение идеологии. Резкое сокращение нашего влияния. Выход стран к самостоятельному развитию. И события в Литве. И в Закавказье.

Все это было болезненно воспринято непросвещенным великорусским имперским сознанием, которое страшно обидится, услышав в свой адрес такие эпитеты.

Наряду со спасительным движением к культурному и экономическому возрождению России началась визгливая, агрессивная возгонка националистической истерии. Сюда сгодилось все: обрывки, ошметки мыслей, полуграмотные лозунги, фантастическая «статистика», мутноглазая угроза физической расправы с «инородцами».

Националистически имперские элементы, как в химической реакции, вступили в соединение с наследниками дискредитированного казарменного социализма, с партийным аппаратом.

Они наконец нашли, обрели друг друга. Кольцо взаимной поддержки замкнулось в национал-социализме.

Началась беззастенчивая эксплуатация эпитета «русский». В процессе мутации русского национального чувства в нацистское особую роль сыграли люди, лишенные культуры, правовой защиты своих интересов, нормальных условий жизни — люмпен, или антилиберальный человек. Люмпены есть в любой социальной среде, в интеллигентской тоже.

В чем же особое положение нас, русских, сегодня?

Нет такого соседа, перед которым мы, русские, не были виноваты, замечал А. Солженицын. Вред, нанесенный нам самой идеей «мессианизма», исключителен. Виноваты мы перед поляками и венграми, чехами и литовцами, эстонцами и латышами. Перед вымиряющими тофами и чукчами, каракалпаками и уйгурами.

Но только ли мы, русские, виноваты?

На русских перекладывается вина за все. Микола Рябчук популярно здесь нам объяснил, чем плохи мы, русские, в чем привержены имперскому мышлению, объяснил, что мы не понимаем «сущности национальных проблем в различных регионах», что «русская интеллигенция... не сказала пока ни слова против... великодержавной затеи» «навязать республикам русский язык в качестве «общегосударственного» и т. д.

Кто навязывал М. Рябчуку русский язык? Почему он ставит нас перед необходимостью оправдываться? Почему он судит всю «русскую интеллигенцию»? Почему в бедах, являющихся нашими общими бедами (страна не может изготовить лезвий, не хватает стирального порошка и т. д.), виновницей оказывается Россия? И это «борьба с великодержавным шовинизмом»?

Надеюсь, что я всеми своими выступлениями в печати доказала, что отношусь к шовинистам с брезгливостью. Но насчет порошка можно бы задуматься и украинскому народу. Проблема эта внациональна.

В нашем разговоре мы пока не употребляли слов «строй», «система», «партия». И совершенно напрасно. Потому что пора уже научиться всем нам, в том числе и Миколу Рябчуку, отделять государство и партию от народа, от национальности, от интеллигенции.

В функционировании государства на протяжении 73 лет так же повинны и грузины, и украинцы, и евреи, и белорусы, и многие другие. А «историческое поражение» понесли вся тоталитарная система и идеология, грандиозный социально-исторический эксперимент последних десятилетий.

Но самые главные, болезнетворные последствия его — не только в сохраняющихся элементах ее функционирования, а в наших головах, в нашем сознании, продолжающем оставаться тоталитарным.

В частности, в стремлении во всех прехах винить какого-то «врага» — раньше классового, теперь инородческого.

Для иных «русистов» типа Шафаревича вина на «малом народе». На евреях. Для украинца Рябчука вся вина сосредоточена в русском народе.

Механизм мышления, увы, однотипный.

Полной неправдой было бы на это отвечать, что в чудовищных политических катастрофах нашего социализма не участвовали активно люди украинского или еврейского происхождения. Но гораздо большей ложью и несправедливостью было бы виноватить нынче во всем целые народы.

Почву для националистической мифологии удобряла художественная «интеллигенция», и она несет ответственность за поднимающуюся истерию национальной вражды. Повторю еще раз: сознание людей пока остается во многом тоталитарным и к нему в силу освободившейся валентности подключается лишь другой образ врага. Отсюда псевдорусское искусство А. Шилова, К. Васильева, И. Глазунова, прекрасно себя чувствующее в канонах соцреализма.

Система, которая создавалась у нас с 20-х годов, постепенно становилась нацио-

нально-социалистической. Известный советолог М. Агурикий, которому принадлежит одно из наиболее фундаментальных исследований этой проблемы, называет ее «национал-большевистской». Происходила духовная денационализация России, ее духовное умерщвление под лозунгом «Великой Руси», «навек сплотившей». Вот этот-то лозунг национализма и был подхвачен социализмом. В ноябре 1917-го М. Волошин с отчаянием кричал: «С Россией кончено...». Но уже в поэме «Россия» 1921 года (всего через три с небольшим года!) он дал более глубокий взгляд на развитие событий.

Мы не вольны в наследии отцов.
И вопреки бичам идеологий
Колеса вязнут в старой колее...
...И вновь Москва сшивает лоскуты
Удельных царств, чтоб утвердить единство.
Истории потребен сгусток воли.
Партийность и программы — безразличны.

Идеология социализма «в отдельно взятой стране», прикрывающаяся фиговым листком лозунгов об «интернационализме», окончательно восторжествовала во второй половине 30-х годов, и не случайно именно тогда началось повальное уничтожение «коминтерновцев».

Принудительная русификация, централизованно осуществляемая в республиках, нанесла не только серьезный ущерб развитию их культуры, но самому их национальному достоинству. Тяжелый ущерб та же самая политика нанесла и русской культуре: в номенклатуру вливались русифицированные «национальные» кадры; общий уровень русского языка, используемого в средствах информации в целях дрессировки массового сознания, не то что понизился — язык деградировал, вырождался катастрофически.

Кто же виноват?

К сожалению, это один из самых отчаянно звучащих вопросов сегодня.

Сознание людей во многом еще остается, по сути, инфантильным, управляемым, патерналистским. По наследству нам передалась надежда на «доброго царя» (генсека, президента и т. п.), который все устроит и разрешит. И, естественно, настроенность на какие-то «темные силы», которые нас «злобно гнетут».

Интеринфантильное сознание с радостью хватается за любой детектив.

Если есть преступление, причем в колоссальных, исчисляемых миллионами человеческих жизней масштабах, то такое сознание с присущей ему инфантильной предрасположенностью к детективным сюжетам ищет заговор против этих миллионов.

Процесс изменения массового сознания, формировавшегося десятилетиями, только начался. И этому процессу не способствуют ни разжигание «национальных» страстей, ни замалчивание проблем. В частности, проблемы антисемитизма. Ханна Аренд, крупнейшей специалист-политолог, эмигрировавшая из Германии в 1933 году, автор труда «О тоталитаризме» (1951), в первой его части («Антисемитизм») совершенно справедливо пишет: «Антисемитизм... инструмент борьбы за господство над общественным мнением. Рост антисемитизма совпал по времени с упадком национального государства в Европе и крахом Европы как системы национальных государств». Настоячивое возбуждение антисемитизма в России сейчас происходит на аналогичном историческом фоне. И ряд националистических провокаций, свидетелем которых я была в последнее время, несомненно, связан с борьбой за власть, с резким сокращением коммунистического влияния в Восточной Европе.

Что я называю «провокациями»?

Отнюдь не только шабаш в ЦДЛ, устроенный молодчиками из «Памяти». Это эпизод слишком очевидный и потому хоть и омерзительный, но элементарный.

А вот яростная кампания против «Все течет» В. Гроссмана, отрывка из «Прогулок с Пушкиным» Абрама Терца (такой эпатазирующий антисемитское сознание псевдоним намеренно избрал себе потомок русских дворян Андрей Донатович Синявский) даже более показательна. Ведь всей этой лимите от интеллигенции, скалящей зубы в раже «духовного» погрома, нет, собственно, дела до Синявского, отсидевшего в те самые годы, на которые выпал «расцвет» поэзии Ст. Куняева, «духовное» становление А. Байгушева и так далее. Им нужна была кампания — журнал «Октябрь» в раскручивании оголтелой кампании лишь повод, не более.

Надо иметь смелость посмотреть правде в глаза: да, теперешняя государственная структура не соответствует интересам многих народов, в том числе и русского. И если не эволюционирует (причем быстро) само государство, его «революционизируют» снизу. Какова же ныне роль русского самосознания? Возрождение духовности, упорочение мира в решении конфликтов. А это возможно только на основе национального покаяния. Если уж

правлящей власти удалось объединить «державу и народ», и народ от этого долгие годы не отрекался, более того, заразился великодержавной идеологией, то сегодня придется неизбежно пройти и через это.

Поэтому я призываю — хотя бы для начала — к национальной скромности.

Диас Валеев уповает на государственность во всем, в том числе и в искусстве, на упорение государственных институтов (пугая: «идет распад государственных институтов»), но ведь государственность, насильственно скреплявшая все лживой идеологией, уже доказала свою недееспособность, нежизнеспособность. Если мы будем продолжать цепляться за эти институты, рухнут последние общественные связи, окончательно рухнет доверие народов друг к другу и мы превратимся в агрессивные стаи, объединенные лишь зовом крови.

Диас Валеев, как и ранее Ю. Бондарев, пугает нас историческими аналогиями — 1941 годом, но неужто Румыния 1989 года ничему нас так и не научит?

Говорят: «Согласитесь, идет подтачивание и целенаправленное разрушение социалистической системы ценностей». Нет, никак не соглашусь! Так называемая социалистическая система ценностей саморазрушительна в своей основе, ибо она предполагает какую-то еще «капиталистическую систему ценностей»... А вот что действительно «идет», так это процесс восстановления общечеловеческих ценностей. И разные там «хлюсты», спорящие о социализме, и писатель В. Кондратьев мечтают не о «примитивном капитализме», а о мышлении поверх изживших себя идеологических клише. Речь нынче идет об отказе от идеологической амбициозности, которой прежде всего свойственна атрофия нравственного чувства.

«Сегодня все видят, что идеология потерпела полный крах, — пишет Ф. Искандер в статье «Человек идеологизированный» («Огонек» № 11. 1990). — Там, где была идеология, зияет черная дыра. И оттуда веет тревожным космическим холодком. И сейчас неуютно поеживаются не только те, кто привык паразитировать на идеологии, но и те, кто весьма критически к ней относился».

На месте «черной дыры», образованной рухнувшей идеологией, вырастают ядовитые грибы эрзац-идеологии — националистического кликушества.

А еще «цветы запоздалые» тоски по уютно идеологизированному прошлому, когда все было ясно, как на фронте, кто «наш», а кто «не наш», и уж выслушивать с вниманием советы Збигнева Бжезинского или Алекса Московича было делом чуть ли не подсудным.

Те, кого Д. Валеев обвиняет в «подобострастии» и «откровенном» холуйстве перед Западом, наконец осознали, что никакого особого экономического пути у отдельно взятой страны быть не может, что экономика, как и биология, подчиняется общим законам, не делится на «социалистическую» и «капиталистическую».

Идея экономической или культурной исключительности России, возникшая на фоне имперских амбиций, захлебнулась не в огне — захлебнулась в болоте так называемого застоя. Но ее сегодня отчаянно пытаются реанимировать. В статье А. Фоменко («Литературная Россия» № 11. 1990) я прочитала откровенный панегирик достоинствам империи. В выступлении Д. Валеева — крик о гибнущем 6-м пункте Конституции. Казалось бы, разные вещи, разные мысли. Но объединяет их идея государства — или партократии. Короче, идея власти. Уходит она, власть партократии, власть империи.

И Д. Валеев боится: «Мы теряем свои позиции в Европе, прежде всего в Восточной Европе». Что это, как не ярко выраженное имперское мышление? Какие такие «позиции» у татарина Валеева или у русской Ивановой в Праге или Варшаве? Если это позиции культуры, то их потерять нельзя. Если же это позиции силы (а так оно и было), то я, например, вместе с чехами, вместе с поляками радуюсь потере таких «позиций», я счастлива, что войска СССР уходят из Чехословакии, Польши, счастлива, что рухнула берлинская стена и немецкий народ смог объединиться, а я смогу, не чувствуя себя оккупантом, приехать к своим друзьям в Варшаву и сесть за равноправный русско-польский «круглый стол». Мне лично надоело, что я живу в стране, способной быть «пугалом» для Европы.

Д. Валееву жаль, «если социалистическая идея у нас погибнет». Но она погибла не сегодня, и погибла — в том числе — под нашими танками в Венгрии 1956 года, в Чехословакии 68-го, в Афганистане 79-го.

Идея, идея, идея...

Мы, объявившие себя материалистами, нещадно громившие идеалистов, оказались самыми большими идеалистами.

Пусть весь мир рухнет, а мы со своей идеей останемся!

Нет уж, господа хорошие. Хватит. Мне не идея — жизнь дорога. Клейкие листочки, как писал Достоевский.

Неужели на них не помиримся? И все «принципами» поступаться не будем?

Ну, тогда уж проклятые мы, русские, совсем, и не только от идеологии, а от всей России останется черная (или белая?) дыра.

Я бы не хотела, чтобы мы заслужили такую судьбу.

Юрий Калешук

Последнее действие арифметики

В последнее время я почему-то часто вспоминаю печальный рассказ Юрия Олеши «Лиомпа». Это о том, как умирает человек. Это о том, как человек сознает свое умирание — от него постепенно уходят вещи, его покидает улица, коридор, а в самой комнате на его же глазах прекращают свое значение пальто, башмаки, дверные задвижки. Расставаясь, мы тоже немножечко умираем. Но мы расстаемся, мы собираемся расстаться, практически утратив к этой поре многое из того, что нам принадлежало: реки, леса и целые моря, а еще веру, надежду, любовь, терпение и терпимость. Кажется, на одной части суши уже прекратили свое значение действия арифметики: мы не знаем, что такое умножить, забыли, что такое прибавить, еще совсем недавно помнили, что такое отнять, но отнимать стало нечего и теперь нам ведомо лишь последнее действие — разделить.

Но что же делить, когда нечего отнять?

Власть.

Коль стало немого, давайте.

Только не надо напоследок швыряться комьями грязи. Все мы сейчас наги, босы, сирь. И все мы вне зависимости от национальности и места жительства заражены странным симбиозом рабского и имперского мышления, когда лакейское высокомерие мирно уживается с униженной верой в возвышающий обман про доброго царя, как бы он ни назывался — генсек, президент, парламент. Нам никак не дается, от нас ускользает простенькая истина, что парламент мы выбирали вовсе не для того, чтобы он мудро и справедливо правил нами, а для того, чтобы законы, принятые им, надежно защищали человека от человека и человека от государства.

Пока господствует иная точка зрения.

Она традиционна, привычна, кажется естественной: защита государственных интересов. Чего только не наворочено под флагом, на котором начертаны эти три слова! И предательство жертв Чернобыля. И замалчивание сумгаитской трагедии. И вранье вокруг аральского безумия. Власть умеет защищать только власть, и потому, едва возникает даже мифическая угроза ее структурам, она вводит войска — в Ереван летом 88-го, в Тбилиси — весной 89-го, в Баку — зимой 90-го. Власть — понятие внациональное, как бы ни доказывали мне, что все это «рука Москвы». Потому-то я с удивлением гляжу на своих коллег, которым вдруг позарез потребовалась Российская компартия. Потому-то я с сожалением наблюдаю за тем, с каким самозабвенным вдохновением национальная интеллигенция конструирует национальные государственные структуры. Мне кажется, мы участвуем в создании очередного мифа, именуемого новым союзным договором. Когда мы поймем, что экономические связи имеют смысл лишь на уровне предприятий или даже отдельных предпринимателей, их взаимной заинтересованности, а богатства недр принадлежат не жителям Кулдинского района Латвийской ССР или Сургутского района Тюменской области, а всему человечеству, наверное, нам проще будет определить, какие управленческие структуры нужны и какие функции они делегируют друг другу. Пока же, ослепляя себя и других сладостной легендой о независимости, мы продолжаем делить то, чего уже не существует.

Поэтому мне совсем не хочется спорить ни с Миколой Рябчуком, ни с Кнудом Скуеником: если им станет легче оттого, что они объяснят беды украинцев или латышей метафизикой загадочной русской души, то дай им Бог. Для меня гораздо страшнее несообразность духовного отклика, когда хулиганская выходка в Доме литераторов ставится рядом с погромами, когда хамство чиновника в милицетских погонах приравнивается к тан-

ковым колоннам на бакинских улицах, когда защита собственного достоинства прекрасно уживается с унижением достоинства другого.

Очень зыбка грань между твоей свободой и несвободой других. Сделав ставку на последнее действие арифметики, мы эту грань уже переступили.

Левон Мкртчян

Я верю в нашу общую судьбу

Мы обсуждаем, казалось бы, конкретную тему. Сложность, однако, в том, что после Пушкина и особенно после Толстого и Достоевского эта тема — русская культура — стала общей для всей мировой культуры. Она обсуждается всюду в мире. Литературный процесс ни в одной сколько-нибудь развитой стране немислим без русской литературы, без русской классики.

Что касается нас, армян, то еще в 1912 году Ованес Туманян, наш великий национальный поэт, сказал: «В России мы находимся среди одного из лучших народов мира и под влиянием одной из лучших литератур».

Слова Туманяна и сегодня сохраняют свое значение. И, как я думаю, не только для нас, армян. Но сегодня наш Союз Советских Социалистических Республик раздирают национальные, межнациональные противоречия. Союз буквально разваливается.

И вот в свете сегодняшних злободневных проблем мы хотим, как я понимаю, заново осмыслить роль великой русской литературы на данном, столь сложном этапе развития нашей многонациональной страны, лишенной, увы, национального мира.

Мы хотим заново, в новой обстановке, чреватой многими далеко идущими конфликтами, осмыслить уроки русской литературы.

В чем эти уроки на сегодняшний день? Конечно, это и гуманизм, и всечеловечность такого великого и всемирного явления, как русская литература. Но сегодня, как я думаю, мы должны обратить особое внимание на один из самых простых, но требующих особого мужества уроков русской литературы: говорить правду, не лгать бессовестно и не лицемерить бессовестно, хотя и тому и другому (лжи и лицемерию) учили нас десятилетиями. И весьма настойчиво, и весьма успешно.

Ты думаешь — правда проста?
Попробуй скажи.
И вдруг онемеют уста.
Тоскуя о лжи,—

писала Мария Петровых в годы, когда ложь была объявлена методом реализма, социалистического реализма.

Но если говорить о традициях и русской классике, то Салтыков-Щедрин считал, что «литература наша — и это приносит ей величайшую честь — никогда не предавалась неправде сознательно; напротив того, она постоянно обнаруживала в этом отношении похвальную безгильность».

Наступили, однако, в русской литературе и в литературах других народов нашей страны времена, когда ложь в жизни и литературе насаждалась сознательно, культивировалась теоретически. Нас учили: если вы видите сто жалких колхозов и одно благополучное хозяйство, то типичным надо считать не сто хозяйств, а то одно, показательное, так как в будущем все колхозы будут богаты и благополучны.

По таким рецептам писались книги, авторы которых восхвалялись критикой, зачастую получали одну премию за другой.

Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Эти стихи Пастернака я бы отнес к целой плеяде прославленных в свое время советских писателей, которые создавали и поддерживали миф о том, что мы живем в самой счастливой стране и нас ожидает еще более счастливое будущее.

А будущее оказалось совсем не таким, каким нам его представляли. Появились талоны на масло и сахар, исчезло мясо, мыло и даже спички... Ненависть одних людей к другим, слепая межнациональная рознь становятся чуть ли не нормой нашей жизни.

Ложь о всеобщем благополучии не спасла нас. Я мог бы составить целую антологию стихов, в которых советские поэты содрогаются от той лжи, в которой мы жили:

Зачем мне красота, любовь
и дом уютный, —
затем, чтобы молчать?
Не-ет, не молчать, а лгать.
Лгать и дрожать ежеминутно.
Лгать и дрожать
а вдруг — не так солгу?
И сразу — унижительная кара.
Нет. Вольше не хочу и не могу.
Сама погибну.
Подло — ждать удара!
Не женское занятие: пить вино,
по кабакам шататься в одиночку...
Но я — пила...

Это Ольга Берггольц. А вот и Борис Слуцкий, который мучился, не мог себе простить выступление на писательском собрании, где обличали Пастернака за роман «Доктор Живаго».

Запах лжи, почти неуследимый,
сладкой и святой, необходимой,
может быть, спасительной, но лжи,
может быть, полезительной, но лжи,
может быть, и нужной, неизбежной,
может быть, хранящей рубежи
и способствующей росту ржи,
все едино — тошный и крошечный
запах лжи.

Официальная пропаганда не просто ориентировала на ложь, но объявляла правдой самой высокой пробы самую низкую ложь. Потому и объявляла, что, как сказал А. Солженицын в своей Нобелевской лекции, «всякий, кто однажды провозгласил насилие своим методом, неумолимо должен избрать ложь своим принципом».

Мы ведь и сейчас по инерции лжем.

Сенат США принял резолюцию о Нагорном Карабахе, на что МИД СССР сделал заявление послу США в СССР, в котором, в частности, говорится: «Такое решение сенатской комиссии вызвало острую реакцию советских граждан, и это возмущение нельзя не понять».

Читатель В. Моев из Павлодара написал в «Известия» (27 декабря 1989 года) письмо: «А какое, собственно, «такое решение»? Как могут советские граждане возмущаться, не зная чем: ведь сама резолюция не была опубликована в наших газетах? В разгар «холодной войны» было принято публиковать отдельные выдержки из критикуемых документов (пусть даже вырванные из контекста), а уж затем весь документ «единодушно клеймился» и т. д. и т. п. Сейчас нам предлагают блюдо из той же кухни, даже не выдерживая перьев (т. е. отдельные фразы)....»

В черные январские дни бакинских погромов газета «Известия» сообщила, что войска, вошедшие в Баку, стали издавать там газету. Вышел первый номер под названием... «Братство».

О каком братстве могла идти речь, когда лилась кровь, когда десятки тысяч бакинцев — армян и русских — стали беженцами?

Вместо лицемерных, оскорбительных слов о братстве запомнить бы нам предостережение Достоевского: «Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братства».

И если мы ни во что не ставим слово, смысл его, значит, мы ни во что не ставим и жизнь.

«Я тот, кто жил во времена мои, но не был мной», — сказал Арсений Тарковский о нашем трагическом времени.

Многие из нас не были самими собой, ибо «как рыбы попадают в пагубную сеть и как птицы запутываются в силках; так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них».

К счастью, не все из нас сломались в бедственные времена отечества. Пришвин уже в 1930 году говорил: «Если пристально взглянуть на наш социализм, то люди в нем, оканчиваясь, спаяны чисто внешне, или посредством страха слезки, или страхом голода...»

В эпоху повального увлечения, по слову Пастернака, «банкетно-писательской практикой» в русской литературе трудно жили и трудно писали такие мастера слова, как Булгаков, Платонов, Пастернак, Ахматова, позднее Солженицын... Они-то и спасли честь русской литературы, они-то и продолжили в условиях чрезвычайных традиции классической русской литературы. Они-то и несли народу правду; писали о том, как «целыми эшелона-

ми население в социализм отправляли» (Платонов). По книгам Платонова отныне мы будем судить о масштабах русской и общесоюзной трагедии. Насильственно изуродованная действительность уродовала язык. Уродливые идеи выразились в уродливых лозунгах, в устойчивых и уродливых словосочетаниях, наводнивших язык. Появились новые постоянные эпитеты: жизнь — непременно счастливая, страна — свободная, труд — раскрепощенный, человек — вольно дышащий... Косноязычие стало нормой языка, нормой жизни. Платонов об этом сказал, как никто другой: «А я хочу прочих организовать (это рассуждает один из героев нашего времени в «Чевенгуре»). Я уже заметил, где организация, там всегда думает не более одного человека, а остальные живут порожняком и вслед одному первому. Организация — умнейшее дело: все себя знают, а никто себя не имеет. И всем хорошо, только одному первому плохо — он думает. При организации можно много лишнего от человека отнять».

При убогости идей и убогости языка это очень точный, выверенный язык тех самых строителей социализма, для которых, говоря словами героя Достоевского Разумихина, «вся жизненная тайна на двух печатных листах уместается».

Достоевский, как я думаю, имел в виду «Манифест Коммунистической партии», книгу по-своему замечательную, но ведь действительно мы слишком примитивно, слишком упрощенно понимаем и самый «Манифест...», и саму жизнь.

Ахматовой принадлежит выражение о писателе — «круглогодичном лжесвидетеле».

Было время, когда мне казалось, что старец Зосима (а вместе с ним и Достоевский) ошибался, когда говорил: «Народ верит по-нашему, а неверующий деятель у нас в России ничего не сделает, даже будь он искренен сердцем и умом гениален. Это помните».

Словно бы старец предвидел умом гениального Ленина. Мне казалось, что все-таки старец понимал непопулярность в народе религии и утешал себя и своих последователей: «И сколько же было идей на земле, в истории человеческой, которые даже за десять лет немыслимы были и которые вдруг появлялись, когда приходил для них таинственный срок их, и проносились по всей земле? Так и у нас будет, и воссияет миру народ наш, и скажут люди: «Камень, который отвергли зиждущие, стал главою угла».

Случилось, однако, так, что наступил таинственный срок для идей, противоположных тем, что ожидался старцем. Старец ошибся в своих предсказаниях. Но теперь я понимаю, как жестоко ошиблись и мы, поставив во главу угла отрицающий все и вся атеистический, вульгарный материализм, освобождающий человека от нравственных обязанностей, разрушающий в человеке человеческое. И вот в результате мы пришли к нравственному и экономическому краху, к постыдному противостоянию народов, к дикой розни между народами нашей страны.

Достоевский говорил о русской всечеловечности. Теперь же иным русским людям кажется, что мы, нерусские, безбожно пользуемся этой самой всечеловечностью, безбожно эксплуатируем русский народ, русскую землю. При этом еще и унижаем русских. Вот что я прочел, в частности, в еженедельнике «Литературная Россия». В номере 39 за 1989 год опубликована статья В. Сидорова «Русские всех стран, соединяйтесь!». «Парадоксально,— пишет он,— но первоначальный этап перестройки и обновления нашего общества ознаменовался всплеском мутной волны русофобии... Дескать, именно русская нация в силу особенностей ее рабской психологии была тупым и удобным орудием в руках тиранов от Ивана Грозного до кавказского горца».

В той же «Литературной России» (№ 46. 1989) опубликованы выступления народных депутатов СССР на рабочем совещании в Тюмени. «Россия, — говорят депутаты, — как дойное стадо для других республик... неужто и в самом деле мы дожили до того, что боимся во всеуслышание обсуждать свои национальные проблемы, боимся сказать, что мы — русские и у нас тоже далеко не все благополучно?»

Здесь же, в «Литературной России» (№ 2. 1990) я прочел Обращение, принятое на VII декабрьской встрече русских ученых и деятелей культуры: «Мы обращаемся к высшим органам власти СССР и РСФСР с требованием прекратить социально-экономическую и культурно-политическую дискриминацию России и россиян, предоставив им равные права и равные возможности развития, прекратить использовать РСФСР в качестве безвозмездного донора для других республик и народов». И далее в Резолюции, принятой на VII декабрьской встрече, сказано: «Опустошенные преступным невниманием к судьбам России исконно русские земли заселяются переселенцами из коренного населения среднеазиатских и других республик...».

Мы можем соглашаться и не соглашаться с подобными высказываниями, но русский вопрос есть, он существует. И это больной вопрос. Больной, конечно, не потому, что рус-

ские люди, русская интеллигенция отстаивают русские национальные интересы, жизненно важные для своего народа идеи. А потому больной, что при этом определенная часть борцов за русскую идею обвиняет в русских общенациональных бедах другие, нерусские народы нашей страны, хотя А. Сахаров, великий русский человек, не делал этого, не делает этого Дм. Лихачев, далеки от этого присутствующие здесь Михаил Дудин и Сергей Баруздин.

Когда Дудин пишет: «Везде — базар. И некуда деваться. И нечему Россией называться», — я понимаю его боль. Я понимаю боль русских людей. Но мне трудно понять тех из них, которым кажется, что во всем виноваты мы, нерусские.

Я вспоминаю Толстого. В «Войне и мире» он вспоминает Ермолова, «будто бы прошившего государя об одной милости — производства его в немцы».

Сейчас, если верить И. Шафаревичу, тому, как он расписывает роль «малого народа» в жизни страны, в жизни России — мол, все ключевые позиции в огромной стране занимает малый народ, — мы должны просить о другой милости, о производстве нас в евреи. Но что-то никто не просит...

Вернемся, однако, к Толстому. Князь Андрей рассуждает о Барклае-де-Толли, которого сменил на посту главнокомандующего Кутузов: «Пока Россия была здорова, ей мог служить чужой, и был прекрасный министр, но как только она в опасности, нужен свой, родной человек». И о Наташе Ростовской, своей любимице, Толстой говорил, что она «умела понять все то, что было в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке».

Толстой, писавший «Войну и мир» (позднее Толстой был уже другим человеком), считал, что в переломные, роковые периоды русского государства (есть ведь русское государство!) русские проблемы могут быть поняты и решены русскими людьми.

Но если говорить о сегодняшнем дне и сегодняшних русских и нерусских проблемах, то мы должны исходить еще и из того, что сейчас, в преддверии XXI столетия, русские проблемы в гораздо большей мере, чем это было в эпоху войны 1812 года, это проблемы еще и всех других народов нашей разнорасовой страны, это еще и проблемы судеб чуть ли не всего мира.

Восточная Армения, например, была присоединена к России в 1828 году, и с тех пор судьбы армянские переплелись с судьбами русскими, мы вместе делим и боль и радость.

Не будь Россия родиной моею,
Армению не полюбила б я,—

писала Вера Звягинцева. А сегодня находятся люди, которые нам говорят, что тогда, в 1828 году, Армения была России нужна, а теперь с ее Карабахом, с ее землетрясением она им ни к чему...

В 1918 году Ованес Туманян обратился к Сергею Городецкому с открытым письмом, «...Как Вы думаете, — спрашивал Туманян, — нет никакой связи между теми миллионами русских людей и нынешними? И свободные русские люди наших дней, стоящие на исторических братских могилах, разве ныне отказываются от своего наследства, от своего положения на Востоке и от исполнения своей великой национальной миссии?»

Этот вопрос встает сегодня перед нами с еще большей остротой. И мы, мы все, русские и нерусские, должны ответить на него.

И было бы стыдно, а в исторической перспективе неразумно решать этот вопрос, исходя из того, что сегодня страна наша бедна и во многом из-за бедности мы озлобились и стали враждовать друг с другом.

Я считаю, что при нашей бедности и полной демократии не может быть. Бедность неизбежно (хотим мы того или нет) ограничивает демократию. Необходимо стране экономически встать на ноги.

Социальные системы нельзя фетишизировать и ставить выше интересов народа, выше родины. На то и существуют социальные системы, чтобы они служили народу. Мы же многие десятилетия фанатично и слепо служили системе и тогда, когда она не была разумной и не могла быть действительной в революционном, диалектическом понимании этого слова. Я имею в виду знаменитую формулу Гегеля, которой, увы, мы не следуем: «Все разумное действительно, все действительное разумно». И если мы сами не осознали (не хотели осознать) неразумность, а следовательно, и недействительность очень многого в нашей жизни, то с годами противоречия достигли такой остроты, когда сама собой обнаружилась нежизненность неразумных идей, что и привело страну к экономическому краху.

Ведь смысл и назначение революции не в том, чтобы сажать людей, ссылать их, а в

том, чтобы действительность неразумную, то есть недействительную в силу своей неразумности, постоянно обновлять действительностью разумной, то есть долженствующей быть действительной в силу своей разумности.

Я не могу забыть историю, рассказанную несколько лет тому назад в «Известиях». У одного хорошего человека была пасека. И был год, когда он продал государству на десять тысяч рублей меду, по три рубля за килограмм, то есть человек заработал десять тысяч. И человека стали преследовать, бульдозером прошлись по пасеке, уничтожили созданную им разумную действительность. Но рядом — в том-то и вся трагедия — существовал пчеловодческий совхоз, где себестоимость килограмма меда обходилась чуть ли не в сто рублей. Так вот, этот совхоз, эту более чем неразумную, постыдную действительность сохранили, потому что хоть она и неразумна, но вписывается в систему, а пасека частного пусть и разумна, но не вписывается в систему. У нас сотни, тысячи убыточных, давным-давно уже неразумных, мертвых хозяйств и предприятий, чего не должно быть в подлинно революционном обществе. Отсюда и все наши беды, наша экономическая несостоятельность, отсюда наша бедность и наши национальные и межнациональные распри.

Проблемы межнациональных отношений в стране усугубляются еще и потому, что и среди других, нерусских народов есть деятели, которые, в свою очередь, обвиняют русских в иждивенческих настроениях, говорят, что русские преследуют шовинистические, имперские цели, забыв о всечеловечности русской идеи, забыв о том, что, по слову Федора Достоевского, «ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено».

В Армении всегда была сильна любовь к России, к русскому. «Да будет благословен тот час, когда русские... ступили на армянскую землю», — писал великий Х. Абовян, автор знаменитого романа «Раны Армении». Но теперь в Ереване вышел молодежный журнал, на обложке которого слова Абовяна даны в форме вопроса: «Благословен ли тот час?..».

Наши беды, идущие от тоталитарной, жесткой административной системы, иные люди сейчас связывают с русскими, с деятельностью русских руководителей. «До какого состояния может привести номенклатурный бандитизм, который господствует над страной уже 70 лет, и великорусская тупость. Это не только трагедия для нашей страны, но и трагедия для всего мира», — возмущается армянский прозаик среднего поколения Ване Сирадеган.

Из чувства такта я не привожу подобные высказывания, имевшие место в других республиках, в других регионах. Скажу только о том, что меня взволновало сообщение Диаса Валеева. Его, как он рассказывал, преследуют за то, что он, видите ли, пишет по-русски, хотя проблематика его творчества всегда была национальной, татарской...

В Минске в Музее Великой Отечественной войны я видел снимок — стоят несколько фашистских молодчиков, а на переднем плане плакат: «Русский должен умереть, чтобы мы жили».

То были фашисты, и тогда была война. Но в том-то и весь ужас, что теперь в нашей стране (а наша страна, как нам внушали и как мы привыкли думать, это «Союз нерушимый республик свободных») благополучию одного народа, если верить оголтелым лидерам данного народа, якобы защищающим его национальные интересы, мешает само существование другого народа.

Дело не только в потрясших мир армянских погромах в Азербайджане. У нас в стране, да и в мире национальные чаяния одного народа, опять-таки если верить экстремистским лидерам, могут быть исполнены, если безжалостно угнетать, вплоть до физического уничтожения, другой народ.

В одном случае «национальному благополучию» мешают евреи, в другом — армяне, в третьем — русские...

Все мы видели по центральному телевидению, с каким волнением азербайджанские депутаты говорили о погибших азербайджанцах (царство небесное невинно погибшим) и как они не хотели ни вспоминать, ни говорить о погромах и убитых армянах (царство и им небесное) в Сумгаите и Баку, о тысячах русских людей, проживавших в Азербайджане и изгнанных из Азербайджана. Так и получалось, что если убит армянин, то об этом можно и не говорить, а вот если убит азербайджанец, то это ужасно.

Я не стану проклинать так нечеловечно думающих азербайджанцев, но если я, армянин, когда-либо посмею утверждать, что убийство не армян, а, скажем, азербайджанцев, это то, о чем можно и умолчать, то пусть буду я проклят во веки вечные.

Мысль о том, что не может быть доброго, хорошего преступления, казалось бы,

понятна всем и не нуждается в доказательствах. Достоевский, однако, знал, что надо эту мысль вывести, высветить от обратного. И он написал роман о страшных душевных муках Раскольникова, о его роковой ошибке: о мысли убить ненужного, плохого человека, чтобы помочь нужным, хорошим людям. Оказалось, что нет в мире людей (пусть кому-то они кажутся ненужными, плохими), которых «можно» было бы убивать. Убийц и тех, говорят, негуманно убивать, хотя я считаю, что преступников, способных убивать детей, женщин, стариков, обитателей домов для престарелых, надо судить и расстреливать. А что касается гуманизма, то было бы справедливо, если бы убийцы и погромщики вспоминали о гуманизме не после, а до того, как они совершили свои преступления...

В книге Анатолия Наймана об Ахматовой рассказано, как американский профессор хотел узнать у Ахматовой, что такое «русский дух». Ахматова не отвечала. «Он, — вспоминает Найман, — продолжал наседать и в раздражении спросил уже у меня, не знаю ли я, что такое русский дух. «Мы не знаем, что такое русский дух!» — произнесла Ахматова сердито. «А вот Федор Достоевский знал!» — решился американец на крайний шаг. Он еще не кончил фразу, а она уже говорила: «Достоевский знал много, но не все. Он, например, думал, что если убьешь человека, то станешь Раскольниковым. А мы сейчас знаем, что можно убить пятьдесят, сто человек — и вечером пойти в театр».

Почему-то мы снисходительны к разного рода преступникам и насильникам. Наше время освободило раскольников от невыносимых душевных терзаний, превращающих жизнь преступника в сплошную муку, это уже не раскольники, а «цельные личности», и они убивают не раздумывая.

Мы боимся потерять свободы, завоеванные нами в годы перестройки. Мы думаем, что чем мягче, чем терпимее будем относиться к преступникам, тем больше будет у нас шансов сохранить свободу. А это приводит к безнаказанности, к новым преступлениям. В результате власти уже не могут обеспечить безопасность своих граждан.

В послевоенном Батуми подростком я наблюдал такую сцену: четверо молодых людей избивали одного. Избиваемый лежал на земле, а его все били.

«Что вы делаете? Сейчас же прекратите!» — пробовал было вмешаться прохожий. И тогда один из избивающих столкнул прохожего и сказал ему: «Ты что не видишь? Он еще живой», — то есть не вмешивайся, мы его еще не убили.

Мне кажется, что в наши дни, когда пролилась кровь в Сумгаите, Баку, Фергане, Новом Узене и Душанбе, нашлись люди, которые склонны так именно думать. Если еще не убивают, лучше не вмешиваться в межнациональные конфликты. Но и когда убивали людей по национальному признаку, то и тогда власти не спешили принять меры, раздумывали и, чтобы никого не обидеть, в одних и тех же выражениях говорили о погромщиках и жертвах погромов. А иногда «гуманные головы» очень уж напоминали Митрофана из «Недоросля» Фонвизина: «Ночь всю такая дрянь в глаза лезла... Лишь стану засыпать, то и вижу, будто ты, матушка, изволишь бить батюшку... Так мне и жаль стало».

На вопрос, кого же пожалел Митрофан, он отвечает: «Тебя, матушка: ты так устала, колотя батюшку».

Страна сейчас переживает тяжелейший период. Нам необходимы твердые нравственные и юридические законы — такие же, как во всем цивилизованном мире. Да, мы должны быть свободны и от всякого рода погромщиков, воров и мафиози, и от подонков, провоцирующих ненависть одних людей к другим. Иначе какая же свобода? «Комсомольская правда» 17 января 1990 года опубликовала письмо своего читателя, научного сотрудника из Москвы С. Столбуна. «Весьма вероятно, — пишет Столбун, — что уже в 1990 году с политической карты мира исчезнет само понятие «Союза Советских Социалистических Республик».

Меня такая перспектива пугает. Она не предвещает ничего хорошего. Говорят, рушится империя или, как выражался Р. Рейган, «империя зла». Пусть рушится, но страна-то остается, должна остаться. Одно дело лечить больного, другое дело — считать наш Союз неизлечимо больным и не лечить, а хоронить его.

Пророкам гибели легко.
Им ошибиться трудно» —

сказано у Михаила Дудина. Лучше ошибаться, рисковать прослыть человеком недальновидным, но не пророчить гибели. Понимая трагизм нашего положения, я верю, хочу верить в нашу общую судьбу, в будущее нашей общей родины, которую мы обновим на основе новой, подлинной Федерации без каких-либо хитроумных конституционных уловок, без того, чтобы один народ угнетал, властвовал над другим народом, обращаясь с

другим народом, обращался с людьми иной национальности, как с манкуртами. И не надо будет лгать, потому что не будет насилия.

Много насилия — много и лжи.

Упомянутую выше Нобелевскую лекцию А. Солженицын закончил русской пословицей: «ОДНО СЛОВО ПРАВДЫ ВЕСЬ МИР ПЕРЕТЯНЕТ».

Очень хочется верить, что так и будет, что слово правды мы не подменим словом лжи во имя лживого братства, принесшего нам столько бед.

Сергей Баруздин

Не подводя итогов

Я хотел бы напомнить, что наша работа в Совете по межнациональным отношениям отличается от других форм таких заседаний. Когда проводится «круглый стол» по каким-то проблемам, в том числе и по национальным или экономическим, он чаще всего предполагает некое заключительное слово, подведение итогов, чтобы поставить все точки над «i». Мы такой задачи не ставим умышленно, потому что прекрасно понимаем: межнациональные отношения настолько сложны, что никаких точек над «i» ставить пока нельзя.

Мы можем сделать только одно — дать возможность всем высказать свою точку зрения, представить панораму разных взглядов читателю, чтобы читатели — а среди них есть и люди, которые решают эти проблемы на государственном и партийном уровне — делали выводы. Вот почему, выступая последним, я не хочу даже пытаться подводить какие-то итоги.

В Нью-Йорке в 1988 году вышла книга нашего недавнего соотечественника Александра Янова «Русская идея и 2000-й год». (Янов — ныне профессор Нью-Йоркского университета, не по своей воле пятнадцать лет назад выдворенный из Советского Союза). К ней примыкают и две статьи, написанные после этой книги, под общим заголовком «Приглашение к диалогу». Это фундаментальные и весьма любопытные работы.

Янов — человек, вероятно, верующий в перестройку и строящий, с точки зрения экономики, фантастические модели, претворение которых не требует затраты валютных средств и позволяет, по мысли автора, уже к осени 90-го года завалить рынок продуктами и товарами ширпотреба на уровне любой капиталистической страны.

Будучи в Москве, Янов встречался с Шеварднадзе, Маслюковым и другими руководителями нашего государства. Он выступал в ЦДЛ перед писателями. Те, кто слушал его, были потрясены.

В книге «Русская идея и 2000-й год» дана вся история нашей страны, точнее, история развития ее общественно-философской мысли с древнейших времен до сегодняшней перестройки. Тут и Чаадаев, и мало известный нам пока Юрий Крижанич — человек, живший за полтора века до Чаадаева и впервые выразивший так называемую русскую идею, будучи сербом по национальности. Тут и Владимир Соловьев, и славянофилы, и Бердяев, и Пастернак, и Солженицын — все они представлены прежде всего как выразители именно «русской идеи». В этой книге есть, может быть, спорная, а может быть, и бесспорная с точки зрения науки мысль о цикличности экономического развития каждой страны, каждого региона. Янов доказывает: то, что происходит у нас сегодня, не случайно, это запрограммировано ходом истории. При этом он ссылается на исторические аналогии.

Я не берусь ни спорить с ним, ни защищать его теорию. Мне важно, что он относится с верой к перестройке, пожалуй, даже немножко больше, чем мы с вами, слегка в ней разочаровавшиеся, он верит в нее, похоже, на все 120 процентов, без оговорок. Но мне хотелось бы поспорить с Александром Яновым вот по какому поводу. Мне думается, нельзя экономику отрывать от политической, социальной, нравственной и культурной жизни народа. И если уж говорить о так называемой русской идее, то какое место занимают в ней такие понятия, как культура и литература? Литература ведь русская огромна: от Пушкина до Чехова, от Блока до Горького, от Лермонтова до Достоевского, Толстого и Лескова, от Некрасова до Короленко, Тургенева и Гоголя. И не забудем, что традиции

русской литературы переключались в лучшие произведения советской литературы, которую не нужно исключать из нашего читательского внимания.

Это первое.

Второе. Я с очень большим уважением отношусь к трудам доктора Артура Шлезингера-младшего, на которого ссылается Александр Янов, и, в частности, к его знаменитой книге «Тысяча дней Джона Кеннеди», но мне представляется сомнительным механическое наклеивание «русской идеи» на американскую схему Шлезингера. Ну никак она, «русская идея», не ложится в схему Шлезингера, даже если взять ее в абстрактном, «космополитическом» аспекте. Ведь речь идет о совершенно другом народе, с его собственной судьбой, противоречивой историей, неповторимой культурой.

К сожалению, в течение многих десятилетий наша советская историческая наука была частью сферы обслуживания. И мы, по существу — увы! — почти не знаем своей истинной истории, русской в том числе. А ведь это не выдумка, что русский народ действительно по тому, как сложилась его история, привык «приобщать» свою жизнь к жизни других народов. Сегодня, говорят, немодным стало слово «интернационализм», но ведь на практике задолго до того, как оно возникло, русский народ волею судеб оказался связующим звеном между многими народами. Для иных он стал просветителем, для некоторых — материальной опорой.

А тяга к государственности отнюдь не означает имперских амбиций, в которых нас пытаются обвинить сегодня, на гребне национальных страстей, то в Прибалтике, то в Закавказье, называя нас оккупантами, мигрантами, «рукой Москвы» и т. п.

Разве не благодаря стараниям и русского народа после Октябрьской революции в ряде бывших окраин царской России был поднят уровень экономики и культуры?

Борясь за политическую и социальную справедливость, нельзя проявлять несправедливость по отношению к русскому народу, который, пожалуй, меньше других получил выгод себе за 70 с лишком лет Советской власти. Это факт.

В последние дни мне довелось слушать передачи радиостанции «Свобода» о национальных проблемах нашей страны. Меня очень смутил один тезис, присутствующий в них, — они во всем винят Россию за ее якобы имперскими, державными замашками. Действительно, мы, люди уже немолодые, родившиеся после революции, привыкли изучать свою дореволюционную историю как историю российской империи, а послереволюционную и до сих пор изучаем как историю советской державы. Как державную историю. Но значит ли это, что сам народ заражен имперским, державным сознанием? По-моему, вовсе нет. Кстати, давайте вспомним знаменательную ремарку Александра Сергеевича Пушкина в «Борисе Годунове», очень коротенькую: «Народ безмолвствует». Народ безмолвствует, и уж если за что-то ругать русский народ, то, может быть, как раз за то, что он слишком многие годы безмолвствовал по поводу той несправедливости, которая творилась и по отношению к нему, и по отношению ко всем народам нашего многонационального государства после 17-го года.

Что же касается тех радетелей судеб русского народа, которых ныне появилось немало — и в журналах «Молодая гвардия», «Наш современник», «Кубань», и в «Литературной России», «Московском литераторе», и в обществе «Память», и в так называемом блоке общественно-патриотических движений, которые в своей предвыборной платформе (а это было опубликовано в декабре прошлого года в «Литературной России»), с одной стороны, пугают нас всех гражданской войной, а с другой, призывают срочно перекраивать границы, сложившиеся в РСФСР, — то я думаю, что такие «радетели» оказывают дурную услугу и русскому народу, и России, и государству нашему в целом.

Освобождение от рабства, холуйства и холопства — вот к чему призывали величайшие умы России. И скажу честно, я, русский человек, за что могу себя и свой народ винить? За то, что окончательно от этих черт мы не освободились и по сей день — от рабства, от холуйства и от холопства. Даже после Двадцатого съезда, в так называемые застойные времена мы действовали по-сталински: все надеялись на хорошего, нового, умного, разумного, как раньше говорили, батюшку-царя, а ныне — на Президента.

Кстати, призыв освободиться от этих черт не был услышан у нас и после Октября 17-го года, и это привело, увы, и русский народ, и другие народы нашей страны к тому незавидному положению, в котором мы оказались сегодня.

Как это ни прискорбно признавать, но после Октября 17-го года мы, придумав для русского человека унижительно успокаивающее определение «старший брат», планомерно уничтожали русскую культуру, и особенно русскую интеллигенцию. Во-первых, это послереволюционная эмиграция и гражданская война, которые лишили русскую интеллигенцию

90 процентов лучших, талантливейших людей. Во-вторых, это репрессии 30-х — начала 50-х годов. Наконец, это отлучение крестьянства от земли и превращение рабочего в раба.

Вот эти процессы, мне кажется, очень сильно ударили по народу в целом, потому что передовая интеллигенция всегда выражала мысли и чаяния всего народа, а поскольку она происходила из людей, связанных или с землей, или с производством, то, отлучив крестьян от земли, а рабочих превратив в рабов, мы подрубили корень, из которого могла произрастать интеллигенция. Люди более молодые, наверное, этого не помнят, а я сам в анкетной графе «Сословие» писал тогда: «из мещан». А раз «из мещан», то в спецшколу, например, в 30-е годы я поступить не мог. Высшее образование мог получить только сын крестьянина или рабочего. Сын же интеллигента — нет.

И что из этой новой так называемой интеллигенции вышло? А вышла та самая командно-административная система, которую я бы условно назвал лысенковщиной. Лысенко ведь был не только в сельхознауке. Тысячи лысенок подвизались в науке, в культуре, образовании, здравоохранении... И в литературе тоже.

К этому, кстати, приложил руку и Алексей Максимович Горький, когда призывал полуграмотных людей идти в литературу от станка и от сохи.

Еще раз хочу повторить: рабство, холоуство и холопство лишь внешне приобрели другие черты и окраску, но остались явлением массовым, а люди, подобные академику Сахарову, оказались в гордом одиночестве.

Немногие ныне интеллигенты вроде бы и вовсе забыли о своем предназначении. Иные озлобились, погрязли в групповых сварах и склоках, рвутся на фоне перестройки и гласности к прочному месту под новым перестроечным солнцем. И ничто святое таких не волнует, в том числе, простите меня, и некоторых из тех интеллигентов, которые приходят в этот писательский Дом.

К сожалению, озлобился и русский человек, что не было свойственно его натуре. И как тут говорить о высокой нравственности, о милосердии, о внимании и чуткости, когда люди стали злы и радуются чужой беде. Это, Анаит, я в свой огород бросаю камень, не в армянский, не в азербайджанский, а в свой собственный, русский огород.

Тот ли это путь, по которому мы можем прийти к чему-то разумному? Мне кажется, что путь не тот.

И еще об одном мне хотелось сказать. О том, что, свершая такие потрясающие вещи, как Великая Октябрьская революция или перестройка, которую мы называли новой революцией, нельзя не прогнозировать и не учитывать характер и облик тех людей, которые должны это осуществлять.

Я вам прочту слова, которые неглупый человек Константин Дмитриевич Кавелин написал еще в 1875 году:

«Прислушайтесь к толкам мыслящих и просвещенных людей всевозможных направлений и оттенков,— и везде услышите одну и ту же жалобу: мало у нас производительности, слишком мало труда, энергии, выдержки. В уме, талантах, способностях — нет недостатка, но они пропадают даром, вырождаются в пустоцвет. Куда ни обратиться, во всем сильно чувствуется недостаток осмысленного и капитализированного труда. Оттого малейшее, ничтожнейшее дело тормозится у нас громадными препятствиями, превышающими силы одного человека. Наталкиваясь на них на каждом шагу, всякий побьется-побьется да и сложит руки и ничего не делает».

Это написано более ста лет назад о русском человеке. А звучит это так, словно сказано сегодня, уже после начала перестройки. Вот о чем, мне думается, нам надо поразмыслить.

Владимир Медведев

Праздник общей беды

Репортер.

Никто не может знать, что случится через несколько месяцев, когда будут опубликованы эти строки, но сегодня, в конце февраля, спустя две недели после событий в Душанбе, над городом сияет солнце и чудится, словно ничего не было.

Правда, еще маются на больничных койках искалеченные и раненые.

Правда, не оправятся никогда женщины, жертвы насилия.

Правда, вчера мои друзья записались на железнодорожной станции в очередь на контейнер. Их номер — 3331, и контейнер они получают лишь в сентябре (говорят, что днем раньше записывали на август).

Но уже похоронены убитые.

Но уже ушли за город танки и ждут там, когда можно будет уйти окончательно. Комендантский час начинается на час позже и заканчивается на час раньше. На улицах почти нет солдат в касках и бронежилетах.

Вставляются разбитые витрины.

Вырвавшийся наружу страх медленно уплывает обратно в подсознание, где ему и место.

По местному радио и телевидению звучат успокоительные речи и призывы. На возмущительные события набрасывается пристыженная маска.

Еще немного усилий, еще несколько благопристойных, привычных слов, и забудется истинный смысл происшедшего, как-то сам собой сойдет на нет. Но этого допустить нельзя, ибо Таджикистан дал стране великий урок, который не должен пройти незамеченным и непонятым.

Урок Душанбе сродни уроку Арала, сделавшегося в глазах общественности символом экологической катастрофы. Беды давно терзали регион, но нужен был Арал, чтобы трагедия обрела лицо. Арал стал ярким видимым образом, воплощением незримого, растянутого во времени и пространстве катастрофического процесса, охватившего всю Среднюю Азию...

Точно так же в душанбинских событиях вышли наружу, обнажились тайные силы, под давлением которых растет социальная напряженность в республике. А Таджикистан, как я считаю, по многим причинам является зеркалом, моделью всего среднеазиатского региона. Здесь высоко в горах и на безводных холмах, в райских оазисах на берегах великих рек и в сухих пустынях, в узких долинах на малых клочках земли собирались многие народы, населяющие Азию. Здесь все сжато, сконцентрировано, напряжено и оттого особенно наглядно.

Все началось совершенно обычно. Как часто теперь начинается в разных точках страны. Прошел слух, что в Душанбе прибыло огромное количество армянских беженцев, которым городские власти выделили квартиры в новом микрорайоне, ущемляя тем самым права коренных жителей, уже много лет ожидающих своей очереди на жилье.

Зафар Маджидов, корреспондент ЦТ.

...Казалось, тревога была понятной, но слухи были опровергнуты официальным сообщением. Это людей не убедило, и они собрались на митинг. Участникам его было обещано, что ровно через двадцать четыре часа они получат на свои вопросы исчерпывающие ответы. Они разошлись, чтобы собраться на следующий день снова. И пришли, несмотря на проливной дождь...

Программа «Время».

П. Г., журналист.

...Это было Авенадцатого февраля, около трех часов. Смотрю, народ собирается возле ЦК. Поначалу человек сто пятьдесят — двести. Милиция стоит спокойно. В касках, со щитами и дубинками... Подхожу. Знакомый майор. Я ему говорю:

— Что случилось?

— Да вот собрались, требуют Махкамова.

— Ну и что?

— Да вот стоим, смотрим. Команды никакой нет.

Ну, я постоял, постоял, посмотрел. Толпа скапливается. Я не придавал этому особого значения.

Репортер.

Впоследствии многие из тех, с кем я говорил, упрекали Кахара Махкамова, первого секретаря ЦК КП Таджикистана, за то, что он или еще кто-нибудь из руководства не вышли к собравшимся в назначенное время.

Я думаю, что это уже не имело существенного значения. К тем, кто пришел объясняться по поводу армян, успели присоединиться люди, имеющие другие цели.

Зафар Маджидов.

...Стражи порядка послужили своего рода раздражителем. Произошли первые стычки. В ход пошли камни, булыжники — все, что было под рукой. И когда к собравшимся вышел... Кахар Махкамов, его уже никто не слышал и не слушал...

Программа «Время».

М. Мамаджанов, военком республики.

Кахар Махкамович вышел, к этому времени устанавливали громкоговорящую аппаратуру. Так вот, один молодой человек берет микрофон, ломает его, не дает говорить. Сорок минут Кахар Махкамович уговаривал. Галоша полетела ему прямо в лицо, камни полетели. Мне рассекли голову...

Из выступления на XVII пленуме ЦК Компартии Таджикистана¹.

Абдукадыр Рахимов, художник.

То, что было на площади, это ужасно. Подогнали грузовую машину, потом «уазик». Подожгли. Хотели, видимо, чтобы взрыв был. Загнали автобус туда же. Потом троллейбус подожгли. Что интересно, они грелись возле горящего троллейбуса. Снег шел, и люди, которые штурмовали ЦК, подбегали к троллейбусу, грели руки возле огня, потом хватали камни и бежали вновь швырять их. Специально стояли бородатые люди: молодежь пытается убежать, а они уговаривают опять идти на штурм ЦК...

С. Аникиенко, корреспондент.

Водителю Анатолию Гончару довелось оказаться на маршруте 12 февраля в разгар бесчинств на площади у ЦК.

— Из-за скопления народа я никак не мог пересечь площадь, — вспоминает Гончар. — Несколько раз выходил, а вернувшись в очередной раз, увидел в своем троллейбусе ведро с бензином. Очевидно, оно было предусмотрительно захвачено экстремистами на площадь. Я понял, что по «культурной программе» этого дня моей машине стоимостью 20 тысяч рублей предстояло стать «факелом протеста».

И я сделал то, что оставалось: обернул ведро тряпкой и сунул его под водительское кресло. Скоро вернулся владелец ведра — огромный парень, совершенно пьяный, спросил, где бензин. Унесли, ответил я ему. Пьяный не догадался обшарить троллейбус, и это меня спасло. Сидел на своей пороховой бочке, держал оборону троллейбуса, пока не удалось вывести машину с площади.

Газета «Коммунист Таджикистана» от 22 февраля 1990 года.

Репортер.

Мой коллега П. Г. имел возможность наблюдать события с высоты — из окна од-

¹ В дальнейшем для краткости будут указываться лишь порядковые номера пленумов ЦК КП Таджикистана.

ного из зданий, окружающих площадь. Точка наблюдения очень важна, сверху просматривалось то, что нелегко заметить, находясь в толпе,— организованность действий.

П. Г.

Начали бить окна ЦК, и довольно дружно. Раз — и полетели все стекла. В это время застучали автоматные выстрелы. Но стреляли вверх, в воздух. Нападающие побежали назад. Трое-четверо прокричали им что-то, видимо:

— Не бойтесь, это выстрелы в воздух.

И команда:

— В атаку!

Я вижу, что машут руками: «Вперед!» И толпа опять идет вперед. Опять выстрелы вверх, и нападающие бегут назад. Так повторяется несколько раз подряд. И опять начинается камнеметание. Бьют окна второго этажа. Народу все прибывает. Тут уже, думаю, тысячи две, не меньше. Вся площадь запружена. Причем они сразу рассредоточились, стоят и не пускают никого ни на площадь, ни обратно. Прохожие идут, и они их... На моих глазах, возле швейного ателье «Зинат» шел парень с девушкой. Видно нам было прекрасно. Они его начали бить палками, лупили зверски. Потом он упал, они его ногами начали пинать. Девчонку выхватили, она орет, ей пару раз подали, затащили в проход между домами... И позже стало известно, что они ее там... Групповое изнасилование.

Пылает троллейбус, второй они пытались свалить. Берутся, качают, качают, но, должно быть, силенок не хватило, не смогли повалить. Тоже подожгли. Пламя пылает, и вдруг взрыв. Колесо взорвалось. Потом второе. Пушечный выстрел. Все это сопровождается диким ревом. И все время прослеживаются три-четыре дирижера. И вдруг самая большая волна хлынула вперед. Смяли первый ряд милиционеров, и тут, видимо кто-то дал команду и шарахнули. Смотрю, один упал, второй упал. Их мгновенно хватают, утаскивают в сторону. Подъезжает «Скорая помощь». Я видел, как избивают врачей. Причем дикая нелепость — приехали их же спасать. Вытащили врача, подали ему тут же, что дальше, не было видно. Потом вторая «скорая» подъехала, загрузили, увезли раненых.

М. Мамаджанов.

Здесь говорят: «Стреляли». Ни в коем случае. Стреляли пять человек холостыми патронами в воздух. Когда первый залп дали, они отошли, второй раз не уходят, поняли, что стреляют холостыми патронами. В это время в толпе появились люди с огнестрельными, ножевыми ранениями.

Из выступления на XVII пленуме.

Н. Саутин, корреспондент.

В Душанбе приступила к работе оперативно-следственная группа из ста работников союзных и республиканских правоохранительных ведомств. Один из важных вопросов, от ответа на который сейчас во многом зависит обстановка в городе, заключается в том, законно ли военнослужащие применяли огнестрельное оружие. Это предстоит выяснить военным прокурорам.

Осматривая тела жертв беспорядков у здания ЦК Компартии Таджикистана 12 и 13 февраля, они столкнулись с ранее не известными фактами. Есть погибшие от выстрелов из обрезов, стреляли самодельными боеприпасами, начиненными шариками из подшипников. Как известно, в армии и МВД такого оружия нет. Многие, оказалось, убиты ножами и пиками.

Пока удалось точно установить, как был убит один из нападающих. Тактика экстремистов сводилась к забрасыванию камнями солдат, затем они пытались баграми вырывать воинов из строя и втягивать в толпу, чтобы завладеть автоматами. Использовались также металлические удавки, которые набрасывались на военнослужащих. Когда такая петля захлестнула командовавшего подразделением офицера, солдат, спасая его, дал очередь в землю. Пуля срикошетила от асфальта в нападающего.

Военные юристы утверждают, что, если бы огонь из автоматического оружия велся на поражение, количество жертв исчислялось бы сотнями.

«Правда» от 20 февраля 1990 года.

Репортер.

По сообщениям очевидцев, до того, как начали стрелять, на самой площади и вокруг нее собралось немало горожан, среди них и женщины с детьми. Это были люди разных национальностей. Митингующие не обращали на любопытствующих никакого внимания. Острые террора в день 12 февраля было направлено против власти. Выкрики в толпе «Долой армян!» сменились требованиями «Долой Махкамова!». Слушай насилия над горожанами, по-видимому, действительно следует считать отдельными хулиганскими проявлениями, как бы много их ни было и какое сильное потрясение они ни вызвали бы у потерпевших и свидетелей... После митинга толпы принялись громить витрины окрестных магазинов. ларьки, поджигать автомашины, бить прохожих. С одной стороны, общее возбуждение нашло выход в бессмысленном разрушении, а с другой — нашлось немало людей, воспользовавшихся случаем поживиться под шумок. Из разбитых магазинов тащили подряд все, что попадалось под руку.

Массовый террор против населения начался на следующий день, 13 февраля.

Л. и В., жители одного из домов, расположенного неподалеку от ЦК.

В. Утром я вышел с собакой погулять. В разбитых витринах еще лазали пацаны. Бабушка пришла с внучкой и запустила ее в магазин, там оставались какие-то тряпки... «Что же вы,— говорю,— так теряете совесть да еще ребенка приучаете к этому?» Она как-то устыдилась, забрала девочку, и ушли они. Но другие все утро копшились в разбитых магазинах. Начиная с утра, к ЦК потянулись люди. К одиннадцати собралась уже целая толпа. Сначала шли кучками, к полудню стали приезжать на автобусах, на грузовиках.

Основная толпа собралась возле Союза писателей, а возле базара виднелись зеваки. Многие шли на работу, даже пацаны шли в школу. Народу на улицах было довольно-таки много. И около одиннадцати началось. Войска со щитами перегородили улицу Путовского, не пуская толпу к зданию ЦК, и на солдат посыпался град камней. Со всех сторон.

Л. Я видела мальчишек с булыжниками. Они били их об асфальт, чтобы расколотись, и с двумя половинками в руках мчались к солдатам. Я видела нескольких ребят с рюкзаками, наполненными булыжниками. Дети подтаскивали уже «использованные» камни. Я видела детей лет десяти. Совсем дети.

В. Солдаты давали предупредительные очереди почти постоянно. Но атакующие уже поняли, что не стреляют, и подошли почти вплотную. Отсюда, с балкона, было видно, что дали очередь по толпе. Появились раненые. Я видел одного, его вели с задранной штаниной. Мальчишку несли раненого. И вдруг прозвучал клич: «Бей!» Я увидел военного, бежавшего по двору, и в него летел град камней.

Л. Высокий, очень здоровый, без шинели, в одной рубашке. Мы видели, как они его били. Потом я побежала звонить 02, а наши соседи видели, как его добивали валуном.

В. Я обратил внимание, что он бежал странно, волоча ноги. Они его ударили камнем по почкам.

Л. С третьего раза я дозвонилась по 02: «Там на углу убивают...» — «Где это, конкретнее?» — «Просто на пересечении улиц». Он говорит: «Адрес». Я называю адрес. Он говорит: «Вы это сами видели?» — «Да, сама видела». — «Квартира?» Я говорю: «Не в квартире убивают, убивают на улице». И быстренько повесила трубку, чтобы не засеки. Конечно, никто не приехал. И, пока я разговаривала, наши соседи видели, как они его били, били, били, и, чтобы добить, взяли валун и всей толпой его этим валуном...

В. Видно было, как начали вылавливать прохожих. Первым избивали мальчика. Туда, в сторону моста пошел мальчик в синенькой курточке, лет тринадцати...

Л. И они били его ногами. Сбоку, сзади. Я еще поразилась, что он никому сдачи не дает и не бежит.

В. Но он пошел и они отстали. И мы думали уже: «Все, пронесло».

Л. Но он попался следующей толпе. Его били и у моста, и за мостом. Рассказывают, что какого-то мальчика возле зоопарка убили... Мне кажется, это был он. Они его там добились. Потом солдатика-пограничника... За кустами. Они его раздели. Было видно, как китель бросили... Как фуражка отлетела... Они его раздевали и били. Черная толпа, она просто месила его.

Кидались на машины. Посредине дороги стоял парень с камнями, как только появлялась какая-либо машина, он, не глядя, швырял камни. Они определяли по какому-то признаку. Одни машины пропускали, а другие начинали ксержить. «Скорые помощи», маршрутки — это все совершенно не играло никакой роли.

В. Потом начались поджоги. Загорелся киоск, другой, третий... Практически никакой защиты не было. Два дня город был беззащитен, отдан на растерзание. Если кто попадался на улице — это все... Сумеешь убежать — твое счастье. И до ночи так продолжалось.

Валентина Ивановна, автор письма в редакцию.

Возле цирка толпа остановила автобус и ворвалась в салон. Женщин вытаскивали за волосы, срывали одежду, валили на землю, били ногами. В дикой злобе выкручивали пальцы, чтобы завладеть кольцами. О сумочке и говорить не приходится — все ее содержимое оказывалось в руках у бандитов.

...Город вымер, и только хулиганы, чувствующие свою безнаказанность, хозяйничали на улицах. И каждая группа считала своим долгом ударить побольнее в страхе бегущих по улицам женщин. Когда сноха оказалась дома, от пережитого она даже говорить не могла, только рот открывала да плакала. На ее руки в кровоподтеках, на тело, все синее от ударов, и сегодня смотреть страшно. Но в больницу мы обращаться не стали — всякое передвижение по городу грозило новой бедой.

Газета «Вечерний Душанбе» от 21 февраля 1990 года.

Яков Штейман, детский хирург.

Утром на конференции нам сообщили, что был накануне массовый прием раненых. Напомнили: тяжелых — в операционную, агональных — не трогать и так далее. Все законы военно-полевой хирургии. Все это не воспринималось как реальность.

Реальность началась, как только я пришел в приемный покой. Вдруг на улице стали раздаваться выстрелы. Частые автоматные очереди. И минут через пятнадцать стали поступать раненые. Вначале мало, потом пошел поток. Большая часть ранений — в конечности. Огнестрельные. Первую половину дня шли огнестрельные ранения. Сообщили из приемного покоя:

— Сейчас мы вам доставим агонального. Готовьте операционную.

Машина подлетела, бегом занесли огромного парня в операционную. Ранение, кстати, не похожее на огнестрельное, ему перебили обе подвздошные артерии. И он остался на столе. Молодой парень, таджик, лет двадцати пяти. Примерно такого же возраста человек поступил с ранением в живот. Он тоже остался на столе. Все остальные трупы везли прямо в морг. В тот день к нам поступило пятьдесят семь раненых и одиннадцать убитых¹.

Я работал не в операционной, а в перевязочной. Между часом и двумя, когда стих дождь и выглянуло солнце, поток раненых прекратился. В это время напротив нашего отделения запылала «Волга». На территории больницы постоянно толпились какие-то люди, которые бежали с улицы. И вот они-то сообщили:

— Там русских начали бить!

Вдруг на территории больницы появились молодые люди, подростки. Они приносили своих раненых и чувствовали себя героями. Кое-кто из них размахивал заточенными напильниками. В приемном покое полетели стекла. Били их пацаны. Мальчишки семи-десяти лет бросали в нас камешками. Начал поступать второй поток раненых. На этот раз пошли ножевые ранения и удары тупыми предметами. Цепями либо нунчаками, либо палками... В основном, это были русские.

Привезли здорового русского парня. Потом четырнадцатилетнего «экстремиста» с ножевым ранением.

— Кто тебя?

— На железку упал.

Ровная такая рана. Я ему говорю:

— Железка с ровными краями называется нож.

Экстремист, надо сказать, вел себя очень смирно. Потом поступил тридцатипятилетний таджик, который вытаскивал русского ребенка из горящей машины и которого за это переехали «Москвичом»...

¹ По официальным сведениям, в эти дни погибли 22 человека, пострадали 589 гражданских лиц, ранения и травмы получили 86 военнослужащих внутренних войск, 15 — Советской Армии, 138 — работников милиции.

Вот они в палате втроем и лежали: малолетний экстремист, зарезанный русский парень и спасавший ребенка таджик.

Репортер.

По описаниям очевидцев, город был схвачен в клещи. Толпы, вооруженные палками, камнями, цепями, блокировали две основные дороги, связывающие левобережную и правобережную части города, так называемый Путовский спуск и спуск возле текстильного комбината. Миновать их для людей, живущих в одной части города и работающих в другой, не было никакой возможности.

Сопоставляя рассказы, можно заключить, что массовые избиения начались почти одновременно в нескольких, удаленных друг от друга районах. Все наблюдатели, в поле зрения которых попадала общая картина, а не отдельные эпизоды, отмечали организованность действий «хулиганов».

Вот что рассказал свидетель, наблюдавший 13 февраля с верхних этажей Худфонда сквозь огромные окна.

Александр К., художник.

Смотрим, там, на мосту — толпа. Пятнадцатилетние, десятилетние... Стоят и бомбят машины. Причем свои проезжают. Из окна руку высовывают с тубетейкой — их пропускают. Мы поняли, что знаком служит также выставленный в окно кулак или белая тряпица на антенне. А если видят, европеец, значит, все — громят, стекла бьют у машины.

Шли две женщины, около моста их остановили. Одной — ногой в живот. Она, бедная, взвизгнула, аж здесь было слышно. Отняли сумки, вытряхнули все, сумки, правда, вернули. На мосту их другая группа встретила, опять сумки проверили. Эту бедную женщина идет, плачет. Смотрим, внизу парня сбили и ногами бьют его. Потом он поднялся, шатаясь, подошел к двум женщинам, и вдоль канала они ушли куда-то. Домой-то надо добраться. Девчонки молодые бегут. Догоняют их, сумки разрывают, бьют по глазам. Они идут, плачут. И, главное, здесь они уже прошли, а там дальше опят пикеты стоят...

Здесь целый день пикетчики стояли. Разъезжали грузовики, полные людей... Все было очень организованно. Причем постоянно проверяли, на месте находятся пикетчики или нет. Приезжал автомобиль, выходил человек... Что говорил, нам отсюда не слышно, но по жестам можно понять, о чем речь. Он, видимо, так говорил: «Что вы здесь стоите в одной куче? Рассредоточьтесь, а то кто-то может под мостом скрыться, кто-то вдоль канала побежать...»

Репортер.

Город подкололи... Городу пустили кровь... Привели его в шок... Теперь с ним можно говорить. На площади возле ЦК, где находилось около тысячи человек — в основном, молодежь и жители близлежащих к Душанбе районов — и где выдвигались лозунги «Таджикистан — таджикам», «Каримов Б. Б. должен быть первым секретарем ЦК Компартии Таджикистана». «Виновные должны быть привлечены к ответственности», митингующие избрали «Народный комитет, избранный митингующим народом».

Теперь, разбирая случившееся, никто уже не может объяснить, как возник список членов комитета. Были избраны семнадцать человек, и на завтра, 14 февраля они сели за стол переговоров с руководством Таджикистана. Бесчинства в городе продолжались. Одно из главных требований комитета — отставка того самого руководства, с которым велись переговоры. Отставка первых трех лиц республики.

Позже Кахар Махкамович Махкамов, первый секретарь ЦК КП Таджикистана, вспоминал на XVIII пленуме:

— В комитет, с которым мы вели переговоры почти целый день, якобы поступали такие сообщения: если через такое-то время не будет решен вопрос, то подождем киноконцертный зал; если через такое-то время не будет сделано то-то, устроим погром в больнице. Поступали сообщения, что погром учинен на автовокзале и на ряде других объектов города.

Итогом переговоров стал протокол, первый пункт которого гласил:

«Учитывая острую критическую ситуацию, создавшуюся в последние дни в го-

роде Душанбе, и во избежание дальнейшего кровопролития, мы решили подать в отставку в соответствии с существующими законами» (подпись)¹.

Такая формулировка, как подчеркивалось впоследствии на пленуме, вполне определено означала, что все названные руководители продолжают работать на прежних должностях до проведения соответственно пленума ЦК Компартии Таджикистана, сессии Верховного Совета Таджикской ССР или заседания Президиума Верховного Совета Таджикской ССР, которые — единственные — имеют полномочия решить эти вопросы.

Однако, как показало дальнейшее развитие событий, этот, не имеющий законной силы протокол был воспринят как фактическая отставка руководства республики.

Была совершена попытка «дворцового переворота», захвата власти. Председатель Госплана республики Бури Каримов, министр культуры Нур Габаров и еще ряд лиц, занимающих ответственные посты в партийном и правительственном аппарате республики, воспользовавшись нестабильностью общественно-политической ситуации в Душанбе, в частности, пытались неконституционным путем сместить Председателя Совета Министров республики. С этой целью был изготовлен проект Указа Президиума Верховного Совета Таджикской ССР, составлен текст обращения к населению республики о передаче власти временному народному комитету.

Обстоятельства, связанные с этой попыткой, могли бы стать сюжетом острейшего политического детектива. Спустя несколько дней весь ход и развитие событий подробно обсуждались на двух пленумах ЦК Компартии Таджикистана. Это был акт доселе неслыханной, небывалой нигде в нашей стране гласности — заседания пленумов полностью, без купюр транслировались по радио. Весь Таджикистан в эти дни не отходил от радиоприемников.

Но до этого предстояло еще дожить. А пока город замер, охваченный ужасом и отчаянием.

Войска вступили в Душанбе вечером 13 февраля. Мой друг, непротивленец, философ, эстет, глядя в окно на череду бронированных машин, с грохотом идущих в полутьме по пустой ночной улице, сказал:

— Грохот танка прекраснее индийской раги...

Андрей Иванович, молодой ученый.

Ну и, конечно, чего там говорить, это был страшный кайф, когда я стоял у себя на балконе и смотрел, как идут танки и как спокойно выглядывает из люка офицер. Это было замечательно, потому что чувствовалась мощь... К этому моменту на улице никого уже не было, и с чувством относительного успокоения мы легли спать.

Н. Алешина, читатель газеты.

Считаю... необходимым привести высказывание и моей соседки, таджички по национальности, у которой маленькие дети: «Ты знаешь, ночью, пока вокруг микрорайона не прогрохочут бронемашин, я не могу заснуть».

Газета «Вечерний Душанбе» от 2 марта 1990 года.

Репортер.

Танки в городе. Солдат засыпают гостинцами и подарками — едой, сигаретами, сладостями. 23 февраля я видел в центре города танк, похожий скорее на новогоднюю елку, чем на боевую машину. Броня была усыпана букетами и уставлена банками с цветами, по танку ползали дети из ближайшего детского сада, а снизу женщины подавали солдатам пластиковые сумки, набитые какими-то подарками.

Мне рассказывали, что в районе Старого аэропорта установился особый ритуал угощения солдат. К стоящим там двум БМП постоянно приходят из местной махалли люди разных национальностей — русские, таджики, узбеки — с едой и непременно с детьми. На глазах у солдат дают детям отведать угощение.

Ребята отмахиваются.

— Да что вы! Мы и так верим.

¹ Протокол был прочитан по телевидению на таджикском и русском языках, но в печати официально на русском языке не публиковался. Данный пункт цитируется со слов одного из членов комитета — М. Миррахимова, в интервью с которым приведен полный текст протокола (см. газету «Комсомолец Таджикистана» от 23 февраля 1990 года).

— Нет, ты смотри, дети едят. Не отравлено.

Солдаты осоловели от обильной еды, но им все несут и несут. Каждому хочется угостить.

Алексей Филистович, генерал-майор, заместитель начальника внутренних войск по Средней Азии и Казахстану.

Сравнивая события, в которых нам приходилось участвовать и в Фергане, и в Баку, и в Тбилиси, отмечу первое впечатление которое сразу вырисовывается конкретно и четко: отношение к нам здесь совсем другое. Другое в каком смысле? В смысле доброты и душевности. Люди стремятся как-то помочь. Одиночество офицеров без семей или оторванность от родителей солдат местные жители хотят восполнить своей добротой, своим вниманием... А вчера даже был такой эпизод. Один писатель известный — фамилии не скажу, сложно запоминается — говорит:

— Можно, я плов сделаю для всех военных?

Ну, я опешил даже. Как это плов для всех? Нарушатся все наши боевые порядки. А с другой стороны, я подумал и доложил министру Наврузову:

— Может быть, действительно, если люди хотят, то пусть придут в какой-нибудь полк, сделают там на территории, где отдыхают, этот плов...

Репортер.

Всего в Душанбе прибыло около шести тысяч военнослужащих из Советской Армии, внутренних и пограничных войск — солдат в самом современном снаряжении, то есть облаченных, как средневековые латники, в бронированные панцири, каски с прозрачным забралом, в щитки-ножи, со щитами...

— Армии досталась роль Гулливера, который разводит дерущихся, не давая им покалечить друг друга, — сказал мне один из офицеров.

В эти дни прошли один за другим два внеочередных пленума ЦК КП Таджикистана, 15-16 февраля состоялся XVII пленум, который считал невозможным в данной ситуации принять отставку первого секретаря ЦК КП Таджикистана К. Махкамова и выразил доверие Председателю Президиума Верховного Совета республики Г. Павлаеву и Председателю Совета Министров Таджикской ССР И. Хаёеву.

Законная власть устояла.

Присутствие войск почти мгновенно стабилизировало обстановку в городе и республике. Однако вряд ли это можно считать основанием для успокоения. Скорее, это факт тревожный. Да и само количество войск показывает не столько страх или осторожность властей сколько размах и серьезность событий.

Что же это было?

Февраль-90 в Душанбе, если смотреть на него глазами студента, участника митингов, напоминает май-68 в Париже. Тот же вызов власти. Тот же разлад молодежи с обществом. То же нежелание ее платить за ошибки, сделанные отцами. Тот же праздник бунта. Но это сиротский праздник, праздник для бедных.

Пытаясь понять причины, подтолкнувшие молодежь к волнениям, я не стараюсь оправдать бесчинства. Насилию нет и не может быть никаких оправданий (далеко не все участники волнений виновны в поджогах и избиениях, а многих к этому принуждали, о чем речь еще впереди). Но нельзя оправдать и то, что молодые люди, увлеченные общим воодушевлением, вовсе не печалились о том, что праздник свободы обернулся разгулом жестокости, от которой страдают искалеченные, униженные, испуганные люди.

Этого не оправдаешь никакой бедностью, хотя, говоря о ней, я имею в виду не только низкие стипендии и переиспользованные общежития. В нашем бедном обществе молодые люди являются бедняками уже по своему статусу. Я полностью согласен с молодым таджикским ученым Музаффаром Олимовым, который утверждает:

— Дети и молодежь — наиболее социально незащищенная часть нашего общества. Они обделены всеми льготами. Экономически они полностью зависят от старших. До сих пор основой государственной политики в отношении молодежи было стремление побольше взять, поменьше дать и использовать при этом психологические особенности этого возраста — избыток энтузиазма, стремление к романтике, бескорыстие и т. д. Но при этом к молодежи всегда относятся с опаской и настороженностью и даже страхом...

Горожанин, представитель советского «среднего класса» из средних и центральных областей страны, решит, возможно, что Олимов перегибает палку.

Но мальчишки в касках и с автоматами. мальчишки со щитами и дубинками, умиряющие бунтующих мальчишек на улицах Душанбе, — можно ли найти более яркую иллюстрацию, подтверждающую справедливость горьких слов?

«Афганцы», не нужные теперь никому, «афганцы», не находящие себе места, не способные адаптироваться в нашей жизни, — чего же более?

Сельские школьники с хлопковыми фартуками на полях Средней Азии — нужны ли еще примеры?!

Яркое солнце Азии высвечивает то, что лишь смутно проступает в землях под более серым небом. Здесь же тотальная бедность и высокая рождаемость обусловили положение молодежи, более тяжелое, чем в других регионах страны. Тяжесть эта усиливается особенностями массовой психологии, которая под влиянием сильнейших пережитков облыни не считает детей полноправными членами общества. Согласно этим представлениям, ребенок не является человеком в полном смысле слова и выступает лишь как собственность своих родителей...

Такой взгляд присущ не только сельскому населению Таджикистана или даже всей Средней Азии. Как считает американский философ и социолог Эрих Фромм, подобное отношение к своему потомству характерно для всякого патриархального общества, в котором и самые обездоленные представители мужского населения из беднейших классов могут быть собственниками по отношению к жене, детям, домашним животным или скоту и чувствуют себя их полноправными хозяевами. Для мужчины в патриархальном обществе, пишет Фромм в книге «Иметь или быть?», большое число детей есть единственный путь к владению людьми без необходимости зарабатывать право на эту собственность. Все бремя рождения ребенка ложится на женщину. Однако у матерей свой вид собственности: малолетние дети. Этот круг бесконечен и порочен: муж эксплуатирует жену, жена — маленьких детей, а мальчишки, став юношами, вскоре присоединяются к старшим и тоже начинают эксплуатировать женщин.

Попытайтесь представить себе внутренний мир юноши, выросшего в столь суровой системе. Привычка с детства подчиняться старшим и главным и одновременно естественная человеческая тяга к самостоятельности. Религиозное воспитание дома и примитивный атеизм в школе. Очень малые и поверхностные знания, плохо развитые навыки самостоятельного мышления и отсюда потребность следовать за авторитетом. И вихрь противоречивых ошеломляющих идей и влияний, обрушенных на незрелый ум телевидением, прессой, учителями и вообще городом.

Добавьте к этому одно из определений Музаффера Олимова: молодежь — это те, кто не верит властям. Это те, кто не признает официальной идеологии и скрыто противостоит ей, хотя «принимает правила игры» и делает вид, что верит в постулаты, которые тайно ненавидит. Таков один полюс. Другой — молодые конформисты, принявшие административно-командную систему и принятые ею. Основная масса располжилась меж этих двух полярных точек.

Молодая сила требует выхода, ищет применения, и нетрудно поэтому понять воодушевление, с каким молодежь восприняла призыв:

Аз хоби гарон хез!
От тяжелого сна восстань!

Эту строку Мухаммада Икбала, великого поэта Востока, не только в феврале 90-го, но и в феврале 89-го, на первых несанкционированных митингах перед принятием Закона о языке, но и весь минувший год повторял каждый, наверное, таджикский юноша.

Из Индии и Самарканда,
Ирака и Хамадана
восстань!..
От тяжелого сна,
тяжелого сна
тяжелого сна
восстань!

Стихи эти звучали на митингах. Их скандировали хором как лозунг, как призыв. Как бы ни восприняли февральские события душанбинцы, но начало их немалая часть студенческой и творческой молодежи встретила с восторгом:

— Это наша революция!

Именно так все воспринималось, четко и недвусмысленно. Ученый из академии

рассказывал мне о странных, на его взгляд, речах, звучавших в последнее время на методологических семинарах и партсобраниях. Однажды его коллега заговорил о том, что есть у нас бедные и богатые. И о том, что бедные скоро пойдут отнимать у богатых. «Что значит — отнимать? Как вы это себе представляете?» — спросил мой знакомый. Оратор, спохватившись, ответил что-то невразумительное. Но на митингах впоследствии все говорилось открытым текстом.

Р. Гарибшоев, студент.

...То, что произошло в Душанбе, — трагедия. Она нанесла большой ущерб. Мы не должны рассматривать как частный случай действия погромщиков, воров, экстремистов. Знаете, почему? Потому что воров всегда ворует, погромщик — всегда разбойник. Мы должны рассматривать этот вопрос в целом, в причинно-следственной связи. У нас перестройка, а в чем она, какая задача перед перестройкой? Борьба с бюрократической системой, которая возникла за вот эти десятилетия.

Что у нас есть бюрократическая система, вы должны согласиться. На мой взгляд, она назрела как господствующий класс. Значит... у нас сейчас борьба, классовая борьба рабочих, крестьян с бюрократическим аппаратом.

Из выступления на XVII пленуме.

Репортер.

Молодежь шла на великую битву с бюрократией.

Зоир Садуллоев и. о. директора Дома кино.

Я встал у стены, наблюдая происходящее на площади. Молодые люди кричали, бросали камни, палки. Они вели себя как безумные. Все это было для меня внове ничего подобного у нас никогда не случалось. Вдруг какой-то милиционер указал на меня:

— Вот он. зачинщик!

И тут же двое милиционеров схватили меня за руки. Я увидел в стороне группу парней, окруженных милицейской шеренгой, и понял, что сейчас окажусь среди них. А там уже ничего не докажешь, в воображении моментально возник суд и статья, по которой меня осудят. Я рванулся изо всех сил. Мне удалось освободиться. Я отбежал на несколько шагов и пошел прочь, поправляя галстук, съехавший набок.

Навстречу шла группа парней. Мой галстук привлек внимание их вожака. Он пристально всмотрелся и указал на меня пальцем.

— Бюрократ!

И тут же все бросились ко мне. Я попытался образумить их:

— Братья, что вы!..

Но никто не слушал.

— Бюрократ! Бей бюрократа!!!

Я побежал, они за мной. Рано или поздно они бы догнали и затоптали меня, если бы я не увидел знакомого на пороге дома. Я вбежал к нему и захлопнул за собой дверь.

Репортер.

Революционная программа проста и доступна всякому. Четкость ее напоминает схему в учебнике для младших классов, где законы Вселенной объясняются при помощи наивных картинок. Одни и те же доводы тысячи раз повторялись в студенческих аудиториях и академических кабинетах (есть и ученые которые доверяют «революционной» схеме), и вот теперь они звучат вслух, во всеуслышание, усиленные микрофонами и мегафонами.

За несколько дней до начала событий эти требования в общих чертах изложил в интервью корреспонденту газеты «Комсомолец Таджикистана» Сафар Мастонзод.

Сафар Мастонзод, закройщик Душанбинской обувной фабрики № 1, член общества «Растохез».

Русские зачастую ведут себя, как колонизаторы, они не признают законных прав других наций! Интернационализм, дружба народов — все это пустая болтовня, под которую нас пытаются усыпить. Семьдесят лет шовинистической прорусской пропаганды замутили наши мозги... Идет планомерное ограбление республики. Из Таджикистана выкачивается все, что только можно. Один хлопок мог бы принести процве-

тание нашей республики. Но около 90 процентов урожая перерабатывается вне Таджикистана. А кому нужны крупные заводы союзного подчинения, отравляющие воды, воздух, землю? Они нужны, чтобы завезти рабочую силу из России. Среди таджиков же растет безработица. Нам такие заводы не нужны.

Гепортер.

Экстремистский черно-белый плакат, резко обозначающий две непримиримые, враждующие половины, столь же мало соответствует истинному положению вещей, как и бесцветный партийный гобелен, где реальность превращена в стандартный декоративный узор. Продажа хлопка и полезных ископаемых за твердую валюту богатым соседям так же мало способна решать острейшие проблемы, стоящие перед Таджикистаном, как и работа по «преодолению отставания и устранению перекосов в социально-экономической сфере республики». Надо назвать вещи своими именами. Надо попытаться увидеть их в истинном свете.

— Оценивая положение в Средней Азии, мы, как правило, обращаем внимание на отдельные, особо заметные явления, такие, как, например, ситуация с Аралом, которую мы теперь называем катастрофой. При этом мы не осознаем, что весь — подчеркнув, весь — среднеазиатский регион живет в подобных условиях. И оценивать ситуацию необходимо именно с таких позиций, — утверждает Валентин Иванович Бушков, кандидат исторических наук, этнограф, много лет изучающий Среднюю Азию. Он обошел пешком каждое селение в Ленинабадской области, многие десятки кишлаков в Южном Таджикистане и Узбекистане.

Валентин Бушков, историк, этнограф.

Примерно сто двадцать лет назад, когда Средняя Азия была присоединена к Российской империи, в границах современной Ленинабадской области Таджикистана проживало примерно 143 тысячи человек. Среднегодовой прирост населения составлял всего 0,3 процента. Причины были различны. Это высокая детская смертность, а главное — высокая смертность взрослого населения из-за болезней, голода и постоянных междоусобиц¹.

Как только прекратились междоусобицы, темпы прироста населения многократно возросли. Уже к концу девятнадцатого века население северных районов Таджикистана выросло более чем в два раза. Примерно такая же ситуация в ряде районов Узбекистана, например, в Фергане.

Однако этот прирост не сопровождался адекватным ростом производительных сил. В социально-экономическом плане это привело к практически полному использованию поливных земель, к резкому расширению посевов под богару (неполивное земледелие) и, что особенно важно, ускоренному классовому расслоению и разрушению традиционных социальных структур. Все это вызвало уже в начале столетия резкий рост социальной напряженности, появилось басмачество как достаточно широкое общественное явление. В этом периоде и следует искать истоки многих последующих событий, в том числе и басмачества после 1917 года.

В дальнейшем с проведением земельно-водной реформы и созданием колхозов напряженность была несколько снята, но ее корни не ликвидированы, и уже с конца 1960-х годов социальная напряженность вновь нарастает. Причиной тому был не только продолжающийся неконтролируемый рост населения, но и непродуманная ликвидация колхозов и замена их совхозами, что сразу же освободило колоссальное количество рабочих рук и привело к массовой спекуляции землей.

Одновременно с ростом численности населения, которое по основным земледельческим регионам возросло более чем в десять раз, адекватно возросло и количество скота у населения, что привело к практически полному истощению пастбищ, по-

¹ О количестве людей, погибавших в междоусобицах, можно судить на примере двух только городов по следующему свидетельству историка. «Самыми тяжелыми для жителей Ура-Тюбе и Ходжента были годы первой половины XIX века, когда вплоть до присоединения этих городов к России они часто становились ареной битв между Бухарой и Кокандом. С 1800 года по 1866 год на территорию Ура-Тюбинского владения и на город Ходжент правителями Коканда и Бухары было совершено более 54 походов. Захватывая тот или иной город, завоеватели занимались грабежом, массовыми убийствами мирных жителей, а также угоняли их в плен. Вот что пишет... очевидица одного из этих событий поэтесса Дильшод: «С позднего утра до времени молитвы «намози аср» один за другим вешали людей на виселицах, убивали их, и стояли наготове люди с носилками и арбами и удаляли мертвецов с места казни» (Жасымов Н. Прогрессивное значение образования русских частей в городах Ходжент и Ура-Тюбе. В кн. «Материалы по истории городов Таджикистана». Душанбе. Изд-во «Дониш». 1975).

всеместному нарушению гидрологического режима и иным отрицательным последствиям.

Кроме того, совершенно хищническое хозяйничание в регионе, включая добычу полезных ископаемых в промышленности и выращивание хлопка в сельском хозяйстве, лишь усугубило проблему. Участвовавшие землетрясения и другие стихийные бедствия по ряду данных были вызваны именно антропогенным воздействием на природу. Например, в 1987 году от селей пострадало свыше ста селений в той же Ленинабадской области, чего в таких массовых масштабах никогда не наблюдалось ранее.

И другие цифры: если сто лет назад в Северном Таджикистане на одного человека приходилось 18 гектаров общей площади, то сейчас немногим более 1,5 гектара. А допустим, в Андижанской области Узбекистана — 0,27 га. Общей площади! А по нормам ООН для пропитания одного человека необходимо 0,28 га одной только пашни. Из этого сопоставления уже сейчас ясно, что прокормить себя Средняя Азия не может. В этом основная причина современного состояния общества, резкого роста социальной напряженности.

Репортер.

Старожилам заметно, как густо живут люди в тех местах, где еще недавно не было никакого жилья. Со всех сторон к Душанбе прилепились сами собой выросшие кишлаки и кишлачки, они незаметно вливаются в город, как в дождь мелкие лужицы стекаются в общую лужу.

Вы едете по Гиссарской долине и видите что едва закончилось одно селение, расположенное у дороги, как почти тут же начинается следующее.

Вы пролетаете на самолете и видите сверху, что в каждой складке предгорий, возле каждого ручья, возле каждого распаханного клочка земли сгрудились дома и деревья. На землю словно заброшена густая сеть из нитей-дорог, связанных узлами-селениями.

Сеть городов и сел, расположенных в Гиссарской долине между Файзабадом и Турсунзаде, — это почти уже агломерация, то есть фактическое слияние многих населенных пунктов в единое поселение. Тесно живем. В тесноте и в обиде. Теснота и рождает обиду. Подобное положение сложилось не только в долинах, но и в горных селениях, где земли еще меньше. Независимо от рельефа, от высоты над уровнем моря источник социального напряжения один — очень много людей и очень мало земли. Аграрное перенаселение... Это еще одна болезненная зона: разговор о рождаемости по общему негласному уговору «требует особого такта и деликатности». Всякое публичное обсуждение этой темы напоминает передвижение по минному полю.

Почему?

Очень важно понять, отчего эта область ограждена многочисленными предупреждениями и запрещающими знаками. Что скрывается там, внутри?

Многое, конечно, на виду. И прежде всего убеждение, что чем больше детей, тем многочисленней, а значит, сильнее народ. Призыв «планировать семью» воспринимается как посягательство на будущее народа. Не стоит заблуждаться — так смотрит на демографические проблемы лишь гуманитарный (и урбанизированный) интеллигент, сам имеющий двоих-троих детей. Дехканин же, как и во все времена, процветание народа видит через призму своих собственных интересов. Но и он, недопонимая или скрывая истинные причины, объясняет свою многодетность «национальной традицией». Или, что для него одно и то же, традицией религиозной.

Но ислам здесь ни при чем. Шариат предписывает матери кормить ребенка грудью до двух лет, чтобы рос сильным и здоровым, а не рожать детей каждый год.

В этом необходимо разобраться... Что на самом деле движет сельским жителем не только Таджикистана, но и всей Средней Азии в его стремлении иметь как можно больше детей?

Ответ вроде бы прост — к этому вынуждает весь его образ жизни. Однако и этот простой, но ничего не объясняющий ответ тащит за собой следующий вопрос: что это за образ жизни? И тут, подумав, честнее всего будет признать, что, как ни удивительно, Советский Восток — это неведомый край терра инкогнито. Правда, жизнь здесь проста и все на виду, хотя улицы здешних селений — это проходы меж глухих заборов, меж глиняных стен без окон... Но что может быть скрытого здесь, где каждый знает всех в своем селе или в своем квартале-махалле...

где младшие почитают старших...
где муж с женой не выказывают чувств друг к другу даже при своих детях...
где на свадьбы и похороны собирается все село и съезжаются все родственники из самых дальних краев...
где отцы гордятся количеством детей...
где общественную мораль хранят старики...
где детей дома учат говорить «Аллах велик», а в школе: «Слава партии родной!..»
где односельчане хашаром — миром — строят соседу новый дом...
где люди и ныне живут по тем же законам, что и деды, и прадеды, и деды прадедов...

Музаффар Олимов, историк.

Сравнивая нашу действительность с той, которая изложена в средневековых хрониках, я с удивлением обнаружил, что многие социальные институты феодализма поразительно напоминают сегодняшние порядки в нашем среднеазиатском регионе. Занимаясь специальной общиной, понял, что она как социальное явление не изжита до сих пор.

Репортер.

Да, это сельская соседская община, которая сохранилась, несмотря на все перемены, происшедшие в регионе за последние семьдесят лет.

Строгий ученый поправит меня, уточнив, что, собственно, общины как таковой в Средней Азии не осталось, а можно говорить лишь о традиционализме и о «традиционном обществе» сохраняющем некоторые пережитки общины. Думаю, это не так, но спорить сейчас не буду и лишь поясню, что, называя это явление, чем бы оно ни являлось, «общиной», употребляю это слово лишь для краткости, поскольку предпочитаю живое выразительное слово громоздкому научному термину.

Но само по себе утверждение, что община жива, еще ничего не объясняет...

Чем она жива и в чем ее сила?

Передо мной маленькая книжка, скорее даже, брошюра — в бумажной обложке, размноженная на ротационном тиражом. Газетная бумага, полуслепой машинописный текст. Сухой научный язык. Но это самая яркая и захватывающая книга об Азии, которую мне довелось прочитать. Называется она «Традиционализм в современном среднеазиатском обществе», издание общества «Знание», 1989 год. Ее автор, Сергей Петрович Поляков, археолог, социолог и этнограф, начал знакомство со Средней Азией свыше двадцати лет назад на археологических раскопках. С тех пор он объездил и обошел пешком Туркмению, Узбекистан и Таджикистан, глубоко изучил быт живущих здесь народов, и, должно быть, именно богатство и разнообразие наблюдений помогли ему, сведя их воедино, сделать совершенно нетривиальные, неожиданные и чрезвычайно важные выводы.

Это белые страницы в нашем понимании нашей истории... И по какой-то странной игре случая эта избитая метафора материализовалась для меня. В моем экземпляре поляковской книжки после названия главы «Немного истории» идут четыре совершенно белые (вернее, серые — по причине дешевой бумаги) страницы. Типографский брак. Подсоединив диктофон к телефону, звоню Полякову в Москву.

Сергей Поляков.

В Средней Азии, а может быть, и на Кавказе, по существу, сохранились те формы собственности на землю, что были до революции.

Как это могло произойти? Когда создавали колхозы, они строились на старых формах социальной организации. Каждый колхоз был образован из авлода. Авлод — большесемейная община родственников (само слово *авлод* — форма множественного числа арабского слова «валад» — имеет значение: потомки, поколение, род, родня). После того как произошли укрупнения колхозов, эти авлоды стали бригадами, а после следующего укрепления — звеньями. Кишлак превращался в колхоз, сохраняя все структуры.

При организации хозяйственной деятельности на селе мы совершенно не учитывали плодородия почвы. Считалось, что земля в Средней Азии такая же, как и где-то в Западной Европе. Единственно, здесь земельный надел был меньше, чем в других

областях. Если в России давали 30 соток, то здесь 15. Но такой участок в силу различных бонитетов¹ давал доход ничуть не меньше, чем 30 соток в России.

Что же до работы в колхозе, то и она никак не затронула существа крестьянской жизни. Хлопок в колхозе — сам по себе, а личное хозяйство — само по себе. Хлопководство было сельскохозяйственной индустрией, привнесенной извне. Это был чуждый способ хозяйствования, он не стал и не мог стать продолжением того традиционного хлопководства, которое бытовало здесь прежде, когда выращивали хлопок-гузу.

Так сложилась ситуация, при которой крестьянин стал сторонним наблюдателем общественного производства. Конечно, он выходил на работу, трудился, но кровной связи с общественным полем, заинтересованности в результатах труда так и не возникло. Колхозная кабала была введением чуждой системы социально-экономических отношений. Дело в том, что таких феодальных отношений, как в Европе, в Средней Азии никогда не существовало. Здесь крестьянин всегда был лично свободен. Социальной зависимости от богатея не было. Зависимость была экономической.

Структура, навязанная извне, по существу, не изменила взглядов людей, их положения по отношению к обществу. При Советской власти произошло уравнильное распределение авлодных (родовых) земель. А что такое колхоз? Это все равно что эмирская земля, взятая в аренду. За обработку ее надо было платить, отдавать часть урожая, хотя, может быть, и не такую большую, как при эмире.

Что такое аренда? Это система, которая всегда существовала в Средней Азии. Не всегда арендовали у государства, ты мог у частного владельца арендовать, но какую-то часть урожая ты все равно отдавал, то есть, по существу, для крестьянина вся эта структура осталась той же, безо всяких изменений.

Музаффар Олимов.

Социализм, который строился под руководством Сталина, сам представлял собой модель общины феодального типа. Ему были свойственны патернализм, иерархичность, кастовость и мощный аппарат принуждения. Эта модель социализма дожила кое-где и до наших дней. В Таджикистане иерархичность сталинского социализма органически соединилась с иерархичностью феодальной системы.

Сохранению феодальной структуры в Таджикистане, так же как и в других хлопководящих республиках, способствовала монокультурная экономика. По подсчетам экономистов, хлопок в 16 раз менее доходен, чем садоводство. Хлопком невозможно прокормиться — расценки смехотворно низкие, сеяли его под принуждением, под принуждением обрабатывали. Отсюда преобладание женского и детского труда в хлопководстве. Основной доход семья получает на приусадебном участке и подсобных промыслах, где это возможно. Таким образом, труд в колхозе воспринимается как барщина.

Гепортер.

Барщина — выражение сильное, но, видимо, достаточно верное. Прожить на заработанное в колхозе или совхозе невозможно. Зарботки никак не рассчитаны на семью в восемь—десять, а то и больше человек при одном кормильце. Зато барщина дает право на земельный участок, законные пятнадцать соток на семью. Как считает С. Поляков, реально эта норма соблюдается редко. Есть разные способы увеличить земельный надел. Скажем, ранние браки — мнимое «выделение» женатого сына дает право на получение земельного участка. Можно и «купить» землю, то есть попросту дать взятку тому, кто ее распределяет.

Землю обрабатывает вся семья. При экстенсивном типе хозяйства, чем больше рабочих рук, тем больше отдача от земли. Вот тут-то и нужны безропотные и бесплатные работники. Содержать их недорого. Затраты на воспитание детей значительно меньше получаемой от них прибыли.

Дело в том, что выращенное на своей земле идет не на стол семье, а на продажу. В горных селах, где земли катастрофически мало, вообще чаще всего сажают табак — мало что несъедобный, но и ядовитый. С. Поляков определяет современное «семейное» производство у населения Средней Азии по преимуществу как мелкото-

¹ Показатель продуктивности растений, зависящий от почвенно-климатических условий.

варное или мелкобуржуазное. Специфика хлопкосеющих и нехлопкосеющих районов принципиального значения не имеет.

В обследованных С. Поляковым районах Таджикистана необлагаемый государственным налогом годовой доход семьи составляет в среднем 8—10 тысяч рублей. И все же дехканин беден, а семья его перебивается с хлеба на воду. Повседневная пища семьи — чай с лепешками.

Чем это объяснить? Куда деваются тысячи?

Жизнь дехканина — цепь праздников. Она пронизывает его повседневность сверкающим пунктиром и она же приковывает его к постоянным заботам и полуголодному существованию. Каждое звено этой цепи — великое семейное событие. Великий пир на весь мир и великие траты.

Звено первое — хатна, обряд обрезания, которым отмечается вступление мальчика в мир ислама и на который собирается вся община. Затем свадьба, на нее приглашается весь мир. Обрезание первого сына. Обрезание младших детей. Свадьба первого сына. Похороны родителей, в которых участвует все село. Свадьба дочери. Свадьба второго сына... Свадьба третьего... Свадьба младшего... И, наконец, похороны самого дехканина и поминки, на них сходятся все односельчане — последнее в цепи звено, которое так естественно вплетается в цепь, сковывающую его сына.

Беда не в обрядах. Беда в том, что общественное мнение вынуждает крестьянина к непосильной для него роскоши обрядов. Богатейшее угощение для бесчисленных гостей. Богатейшие подарки. Средства на них собираются годами. Все, что зарабатывает крестьянин и его семья, тратится исключительно на то, чтобы не ударить в грязь лицом.

И в городе, и в поселке, и в селе люди приобретают для свадьбы, похорон или обрезания примерно одно и то же, затрачивая примерно одну и ту же сумму. Платит в конечном счете все тот же крестьянин, поскольку редкая городская семья не связана родственно с селом и родители помогают живущим в городе детям, так как те еще не в силах поднять всю тяжесть предстоящих расходов.

Угощение и подарки на свадьбе и обрезании стоят примерно одинаково: около 7-8 тысяч рублей. Но при устройстве свадьбы к ним добавляется поистине бесконечный список затрат. Родители невесты должны приготовить двадцать платьев, стоимостью от 60 до 250 рублей каждое. В ход идут самые дорогие ткани — атлас, шелк, велюр, японская шерсть, кристаллон, парча и прочее. Необходимо закупить бельгийское пальто, японские платки и еще невероятное количество дефицитных товаров — не только для приданого, но и для подарков жениху, его родителям и родственникам.

Точно такие же расходы несет, со своей стороны, и семья жениха. И здесь покупаются десятки отрезков дорогих тканей, масса импортных вещей, вовсе не нужных молодой семье. Средняя стоимость приданого в большинстве районов Средней Азии составляет 6000 рублей.

В последние годы возник новый обычай — наряду с традиционным угощением устраивать еще и «комсомольскую свадьбу» или, как сейчас чаще называют, «молодежный вечер». Список закупок на «комсомольскую свадьбу» открывается пятью ящиками водки, что стоит 1000 рублей. Далее идут городские блюда — вареный язык, цыплята-табака и прочее. Приглашают артистов — это стоит около семисот рублей. Такой обычай установился в городе и в пригородных селах. До отдаленных селений «комсомольская» часть обряда еще не дошла.

Поминки бывают не столь пышными и обходятся значительно дешевле. Немало средств тратится и на ежегодные религиозные праздники.

Это и есть тот самый крючок, на котором плотно сидит крестьянин. Покупает ли он дефицитную ткань, продает ли он курагу или баранов — неизменно между ним и рынком вырастает фигура мироеда-перекупщика. По данным С. Полякова, многие дехкане, которые в недавнем прошлом сами продавали свою продукцию, стали чаще прибегать к услугам перекупщиков на рынках и скупщиков в кишлаке.

Перекупщик — второе действующее лицо мелкотоварного производства — прибегает к рукам сбыт. Промкооперация ему не конкурент, он платит щедрее. Если крестьянин продает, скажем, 400—500 килограммов кураги, то разница в цене достигает тысячи и более рублей. Перекупщик есть практически в каждом населенном пункте, но вовсе не обязательно, чтобы он и жил здесь. Многие ездят «обслуживать» соседние и даже дальние селения.

Цены на базарах стремительно растут. Казалось бы, замечает Поляков, в наи-

большой выгоде от роста цен находится крестьянин, производитель продукции. Чтобы не прогадать, он берет побольше и с перекупщика. Но тот не в убытке. Именно монополист базарной торговли — перекупщик, организованный в корпорации, устанавливает реальную цену на рынке. Как бы ни росли здесь цены, производителю достается старая, неизменная сумма, а вся выгода идет другим действующим лицам — перекупщикам, ркетирам, шоферам, перевозящим продукцию, и т. д. Разумеется, это несколько упрощенная схема. Есть у крестьянина и иные накладные расходы, он платит страховку и прочее. В итоге реально при существующей системе он получает меньше 40 процентов стоимости произведенного им говара.

Но это еще полбеды. Как правило, перекупщики устанавливают цены не только на продукцию, которую покупают у дехканина, но и на те товары, что сами продают ему. Дефицитных промышленных товаров, нужных для свадьбы, похорон и прочих семейных обрядов, в магазинах не купишь. Их берут с рук, из-под полы, на толкучках. И, подняв цену на яблоки или урюк, дехканин, в свою очередь, вместо двукратной цены платит за дефицитный товар уже втрое дороже. По подсчетам С. Полякова, ежегодно только, например, в Андижанской области (Узбекской ССР) спекулянты изымают у населения 120—130 миллионов рублей.

Сергей Поляков.

Все, что зарабатывает дехканин, он отдает мироеду, перекупщику, спекулянту — отдает на поддержание «национальной» традиции, на совершение «традиционных» обрядов. А точнее, грабительских обрядов. Как крестьянин ни бьется, перекупщик его не выпускает и не выпустит.

Не надо обвинять в этом ислам. Тут идеологией и не пахнет. Идеология вторична, главное — дивиденды и деньги у тех же перекупщиков, которые не желают работать. Это уважаемые люди в махалле, они создают общественное мнение, следят за соблюдением «традиций»...

Община воспитывает человека так, что в соблюдении грабительских обычаев он видит свой долг, воплощение жизненного успеха. Хотя многие в разговорах с глазу на глаз жалуются: «Да, тяжело...» Кряхтят втихомолку, но гнут ямку.

Но, если кто-то и вздумал бы восстать против диктата общественного мнения, такой человек мигом уронил бы свой социальный статус. К нему никто не пришел бы на свадьбу или обрезание. Мало того, что над ним бы смеялись и презирали его, он тут же лишился бы всякой поддержки односельчан, прежде всего богатых. А без этого в общине не выжить... Даже если бунтарь покинет махаллу, дурная слава догонит его на новом месте.

Да что говорить о крестьянине... Я знаю, как один секретарь райкома выдавал дочь замуж. Накануне свадьбы к его жене пришли жены первого секретаря райкома и председателя райисполкома. Смотреть платья. Жена показала приданое, собранное на трудовые доходы. Они стали стыдить ее: «Нищим и то неприлично так выдавать дочь!..» Тут же мигом все было организовано. Откуда-то появились отрезы, платья и прочее — все втридорога. Вогнали семью в долг...

Репортер.

Этим людям есть что отстаивать. Соблюдая заветы старины, они блюдут сегодняшнее свое процветание. Понятны их нетерпимость и непримиримость ко всему непривычному.

Сайф Рахимов, писатель.

Если смотреть широко, то в душанбинских событиях сказались не действия против какой-либо национальности, а антипрогресс. Стремление утвердить консерватизм. Ничего нового. Вернуться назад.

Репортер.

Я далек от того, чтоб вешать на общину всех собак и единственно ее называть источником всех несчастий. Беда не в самой общине. Сама по себе она, вполне возможно, самое большое достояние Таджикистана, столь богатого природными ресурсами. Разобщенному городскому человеку, в одиночку пробивающему себе и своей семье путь в толпе столь же одиноких людей, трудно представить то чувство единения, защищенности, устойчивости бытия, что дает община. Здесь человек получает

все необходимое — человеческое тепло, поддержку, понимание окружающих. Соседи, родственники помогают ему занять определенное место в жизни, самоопределяться, удовлетворить свои культурные запросы.

Беда не в самой общине, а в той экономической и социальной среде, в которую она погружена. Не может ли она существовать в иных условиях? Быть может, община и выжила-то и живет лишь благодаря этой среде, питающей ее? Как цветет, скажем, плесень на разлагающейся гнильи?.. Наше время обнаружило, что некоторые самые древние архаические технологии, скажем, в сельском хозяйстве или медицине оказываются сегодня самыми прогрессивными. Пример Японии демонстрирует нечто сходное и в социальной жизни. Архаические формы человеческой организации не просто монтируются в современное общество и производство, но и являются одной из причин мощных прорывов в экономике.

О чем, впрочем, я рассказываю... Об опыте Японии и статей и книг вышло уже немало — и наших, и зарубежных. Иное дело — община в Средней Азии. Пара статей и маленькая брошюра, да и те прошли незамеченными, вот и все. Совершенно не изучена важнейшая область нашей народной жизни.

Февральские события в Душанбе происходили словно бы в горах, окутанных туманом. Все, что рядом, ярко и отчетливо, а в отдалении проступают лишь смутные очертания каких-то больших неясных громад. Февраль-90 напоминает уравнение со многими — не скажешь: неизвестными, — со многими неизученными.

И все же именно община была прежде всего задействована в событиях. Все указывает именно на ее участие. На мой взгляд, события развивались следующим образом.

Началось все действительно с выступлений против армянских беженцев. Это не были действия с дальним прицелом. Есть сведения о том, что азербайджанские уголовники (по-видимому, по заказу неких группировок) обратились к душанбинским коллегам с просьбой пригнать приехавших в Душанбе армян. Что и было исполнено. Организованные группы взламывали двери, врываются в квартиры в жилом массиве «Зеравшан», угрожали расправой, требуя от перепуганных людей в течение суток покинуть город. В микрорайонах была проведена агитация, собраны люди, они выступили с протестом у правительственных зданий. Неизвестно, как развивались бы события дальше, если бы в игру не вступили новые участники, которые, по-видимому, решили использовать ситуацию в своих целях.

На следующий день к нескольким сотням, вновь пришедшим на площадь, присоединились тысячи молодых людей, частью студенты, но главным образом — ученики ПТУ, которые принялись атаковать здание ЦК и требовать отставки правительства. Я не берусь судить о том, кто начал провокацию с выстрелами в толпе и в толпу.

На следующий за этим день, то есть тринадцатого, в дело были брошены новые силы. Из окрестных селений в город прибыло на грузовиках и автобусах подкрепление. Кроме того, на улицы выпли мальчишки из городских махаллей.

Кому под силу организация действий подобного размаха?

Давлат Худовазаров, депутат Верховного Совета СССР, кинорежиссер.

Социальная почва была подготовлена, но надо обладать выдающимися способностями, чтобы организовать такое действие. Это я могу сказать как режиссер, поскольку моя профессия в том и состоит, чтобы моделировать на экране жизненные ситуации и обстоятельства.

Репортер.

Помимо способностей необходимо очень большое влияние, чтобы в короткий срок поднять такую массу людей.

— Сила, спровоцировавшая беспорядки, это очень серьезная сила. Искать ее надо в верхах, в самых верхах, — заявил корреспонденту «Литературной газеты» М. Н. Навжуванов, министр внутренних дел республики.

И эта сила использовала общину. Здесь каждый человек на виду. Здесь царит безоговорочное подчинение младших старшим. Традиционное преклонение перед властью имущими. Община родственными связями проросла во все сферы общества. И

именно общины смогли в одночасье по одному слову поднять в каждой махалле сотни молодых джигитов и послать их, куда прикажут.

Зафар Н., офицер милиции.

Есть информация о том, что часть жителей кишлаков, участвовавших в беспорядках, была привезена в город обманом. Как это делается? Собирается кишлак. Двадцать—тридцать человек активистов из местных жителей знают, что затевается, а остальных вводят в заблуждение. Это несложно из-за низкого уровня культуры. Пришли и сказали: «Пойдешь!» Многие пошли под страхом, а других убедили: «Ты мусульманин, соблюдаешь все заповеди Корана, а тут приехали иноверцы, забирают у тебя работу, деньги. Твои дети — босые, голодные, а они разъезжают на машинах...»

Андрей Иванников.

Солдаты с дубинками и щитами стояли напротив нашего дома и периодически отгоняли демонстрантов до середины квартала. Я заметил, что большинство повстанцев, как я их называю, вели себя просто по-хамски. Они смеялись, плевали на щиты и страшно веселились, пока их не начинали лупить дубинками. Тогда они разбегались в боковые дворы. Несколько человек забежали в наш двор, и соседка, Берта Михайловна, увидела, что двое молодых ребят прячутся в нашем подъезде, страшно перепуганные. Она рассказывала: «Мне их стало жалко, и я их позвала попить чаю». Пьют они чай и дрожат. «Бабуля, мы боимся...» Она говорит: «Ребята, кто же вас сюда ведет-то?» — «Э-э-э, бабуля, это похлеще, чем на первомайскую демонстрацию списки...» И они рассказали, что учатся в ПТУ, а родом из Файзабада. За несколько дней до событий хотели уехать домой. Так их выловили на автобусной станции, надавали по башке и вернули в общежитие. Короче, сбежать невозможно. Если ты не идешь вместе со всеми, то мало того, что ты не мужчина, не мусульманин, не таджик, тебе еще просто бьют морду.

Шавкат К., психиатр.

Они собирались группами по пять-шесть человек. Возраст — двадцать и чуть старше. Среди них выделялся явный лидер, он был сразу замечен. Лидер очень активен и агрессивен. Он постоянно в движении. Остальные стоят, вяло переминаются, вглядываются в прохожих. Глаза скорее безучастны. В них не видно ни злобы, ни агрессии, ни вообще какого-то сильного чувства. Зато у лидера глаза горят злобой и страстью.

Среди прохожих появляется русский парень. Его замечают, но никаких действий не предпринимают. Просто смотрят. Лидер бросается к прохожему, валит его на землю и бьет. Тут в дело вступают и остальные, но без ожесточения. Мертвой хватки нет. Они позволяют жертве вырваться и убежать. Не бегут вслед. И вновь, переминаясь, стоят кучкой...

Иное дело — мальчишки лет тринадцати—пятнадцати, которые поодаль громили автомобили. Они стояли у дороги с камнями в руках. Тех, кто не останавливался, они забрасывали камнями, целя через лобовое стекло в водителя. Из остановившейся машины они вытаскивали всех, кто в ней сидит, но не били их. Машину переворачивали, выливали горячее из бака. Облив машину бензином, поджигали. Так на моих глазах сожгли две машины. Все это они проделывали с мальчишеским азартом и воодушевлением.

Репортер.

Особый разговор об участии в беспорядках мафии. Казалось бы, начало событий и грабежи на улицах говорят сами за себя. Но дело не так просто.

Один из моих собеседников, имеющий возможность оценивать ситуацию изнутри, считает, что в Таджикистане мафии невыгодны беспорядки и преступный мир заинтересован в сохранении стабильности общества. Здесь нет сверхгигантских преступных кланов, подминающих всех под себя. Хищник у нас не крупный. Нет монстров, которым было бы тесно, оттого нет и жестокой битвы за жизненное пространство. Каждый род, вид и подвид фауны преступного мира, каждый отдельный экземпляр населяет привольно свою экологическую нишу, существует в полной гармонии с окружающим и мечтает лишь об одном: пусть ничего никогда не меняется. Перестройка создала великолепную питательную среду для мошенников любого калибра, и по-

ка пищи с избытком хватает на всех. «Напряженка» должна начаться через несколько лет, когда вырастет новое поколение мафии и у него возникнут сложности с добычей...

...Насколько я могу судить, серьезные уголовники не принимали участия в грабежах и избиениях. Лютовала шпана. Более того, произошло неожиданное — небольшая часть преступного мира поддержала отряды самообороны. Об этом не следует забывать, оценивая события. Как, думается, следует учитывать и то, что хулиганы и шпана вписываются в систему махалли, в зону общины, в то время как уголовный мир образует свои замкнутые корпорации.

В. В. Петкель, председатель КГБ республики.

Если говорить о тех конкретных событиях, которые произошли здесь, надо отметить, что начало их было организовано уголовными элементами, я думаю, что и коррумпированной частью нашего города. Именно их выдвинули вперед для организации напора, силового напора, силового нажима. Два дня получился штурм именно хули анами, уголовными элементами (так в стенограмме. — *Прим. ред.*). Как только этот штурм дошел до определенной стадии, когда наше правительство и руководители дрогнули, прямо скажем, тут же прямо за спиной этих хулиганов и уголовных элементов вышли политические силы... в лице временного комитета, и он начал диктовать, угрожать, шантажировать.

Из выступления на XVII пленуме.

Репортер.

Народная молва обыграла имя главы временного комитета Бури Каримова («бури» — по-узбекски «волк»), пустив бродячую фразу: «Молодые волки вырывают кость у старого поколения волков». Однако большая часть тех, с кем я обсуждал события, убеждены, что дело не просто в чьей-то попытке захватить «портфель», но в борьбе за власть «Севера» и «Юга», то есть северных и южных районов республики. Это запретная тема, о ней не принято говорить вслух, прямо, разве что обиняками, ни в коем случае не называя имен. Обычно это явление прикрывают эвфемизмом «местничество». В народе ходит поговорка «Ленинабад правит. Куляб охраняет. Памир танцует», намекающая на то, что высшие эшелоны власти составляют, в основном, выходцы из Ленинабадской области. Кахар Махкамов, первый секретарь ЦК, нарушил табу, открыто сказав на XVIII пленуме:

— Вы все знаете, никогда в истории республики трех первых руководителей из разных регионов не было. Первое, что я сделал, придя в ЦК, настоял, чтобы Председателем Совета Министров был Хаёев, представитель Куляба. Поднимите историю республики. Никогда такой расстановки территориальной в высшем эшелоне — от уровней министров, заведующих отделами ЦК, Совмина, Президиума, — по-моему, не было. Если кто-то собирается обвинять меня в местничестве, пусть это будет на его совести.

Следует пояснить, о чем идет здесь речь. Дело в следующем. Как отмечает в работе «Исторически сложившееся деление на территории расселения таджиков» этнограф из Таджикистана Амнун Давыдов, для территории расселения таджиков характерно своеобразное деление. Сложилось оно исторически. С глубокой древности население каждой определенной территории традиционно объединяется сознанием своего единства и общности, связано единым самоназванием и названием своей территории. Вот некоторые из этих названий: Гиссар, Куляб, Кабадиан, Каратегин, Фальгар, Матча...

Территориальная общность объединяет земляков в некую сверхобщину. Силы взаимосвязи не ослабевают и в наше время. Где бы ни был человек, он связан с родными местами и с земляками тысячами незримых нитей. Общины, слившиеся в сверхобщину, становятся важной политической силой. Тем более что современное административное деление Таджикистана на районы и области, в общем, соответствует исторически сложившимся территориальным общностям.

Есть еще одна тема, о которой стараются поменьше говорить вслух, а если и упоминают, то скользя, в самых общих словах. Определенное всех высказался на XVII пленуме председатель КГБ республики В. В. Петкель:

— Мое отношение к исламскому фактору. Я с вами солидарен в том, что опасность очень большая, товарищи. К нам засылается много записей в кассетах с националистическими призывами: «Сколько вы здесь будете терпеть эту власть Советскую,

давайте ее быстрее сметайте, если потребуется помощь, мы готовы». Только сейчас мне доложили, в двух местах у нас на бадахшанской границе Афганистана — в районе Хорога, в районе Калай-Хумба — вышли с той стороны представители военной оппозиции на контакт с нашими жителями с таким вопросом: «Мы знаем, что у вас революция в Душанбе, власть у вас там свергли, образовали новое правительство. Вот мы здесь с автоматами, готовы вам помочь. Мы хорошо подготовлены и можем помогать мусульманам восстанавливать мусульманское государство».

Темы этой в разговоре о феврале-90 не избежать.

Помню день, когда в Душанбе после беспорядков впервые пошел общественный транспорт. Я сел в маршрутное такси рядом с шофером. Передо мной, свисая на ветровое стекло, раскачивались четки из прозрачной пластмассы с прикрепленным к ним пластмассовым же рубиновым полумесяцем со звездой. Это могло бы стать эффектным кадром документального фильма: проплывающие за стеклом танки на улицах, воинские цепочки со щитами, сожженные киоски, разбитые витрины, снятые широкоугольником через кровавый полумесяц на первом плане. Город на фоне полумесяца... Как хочешь, так и понимай. Поскольку, на мой взгляд, невозможно точно дозировать роль полумесяца со звездой — то есть ислама — в случившемся.

Мятеж не был акцией, предпринятой экстремистскими мусульманскими группировками, не говоря уж об официальной церкви. Призывы к созданию Исламского государства, как я считаю, были личной инициативой отдельных людей. Вместе с тем, как известно, и отдельные священнослужители и церкви в качестве политической и общественной силы приняли участие в событиях. Но речь идет не о действиях конкретных людей или групп. Ясно, что ислам не был причиной февраля-90, но столь же ясно и то, что он придал событиям особый оттенок.

— Выступления были не антирусскими, а антикафирскими. Против неверных, — определил один университетский преподаватель. — Били и таджиков, одетых не традиционно...

Верно. Били и раздевали догола девушек-таджичек, одетых не по-мусульмански, то есть с короткой стрижкой и без изоров-штанов, закрывающих ноги. Вспомним: «бюрократы» определяли по галстуку. Кафира узнавали по одежде. По внешнему признаку, по символу. И это лишь указывает на то, что молодежь столь же безграмотна в религии, как и в школьных науках.

Несколько лет назад Юрий Смирнов, религиовед и филолог, опубликовал в журнале «Памир» статью под названием «Странный ислам». В ней он писал о том, что религия, которую исповедуют простые верующие, зачастую сильно отличается от вероучения, описанного в священных книгах, что, впрочем, одинаково справедливо для всех так называемых мировых религий. Не исключение и мусульманство. То, что в обиходе объединяется под словом «ислам», представляет из себя пестрый набор, куда входят и ортодоксальная вера, и пережитки исламских культов, и местные культурные обычаи, традиции. Это так называемый бытовой ислам. Распространяется он, как это ни покажется странным, женщинами.

Дело в том, что воспитание малых детей лежит целиком на женщине. И первоначальные сведения о религии ребенок получает от матери и бабушки. Кроме того, именно женщины — матери, хозяйки дома — заботятся об исполнении древних обрядов, от которых, по их убеждению, зависит благополучие семьи. Таким образом, дома ребенок не узнает почти ничего о догматах и истории ислама, за исключением начальных сведений о пророке Мухаммеде, намазе, омовениях, уразе, пищевых запретах и праздниках иди-рамазан и иди-курбан... Это одна из причин того, что большинство молодых людей, искренне считая себя мусульманами, по сути дела, ничего не знают об исламе.

Сергей Поляков.

Ислам — это не столько религия, сколько форма социальной организации общества. Но тот ислам, что существует сейчас в Средней Азии, практически имеет мало общего с учением, изложенным в Коране, в шариате, в хадисах. Самодельные подпольные муллы, не получившие никакого духовного образования, а нередко и просто малограмотные, насаждают так называемый бытовой ислам. Обряды, которые практикуются в Средней Азии, часто противоречат тому, что сказано в Коране. Ислам, по существу, превращается в язычество, с которым боролись его адепты на протяже-

нии тысячи лет. Произошло это после революции, когда перестали готовить серьезные кадры для ислама. Наши подпольные муллы, в лучшем случае, знали арабскую графику, хотя считалось, что они знают ислам и могут практиковать и преподавать его.

Леон Тайван, историк.

...Ислам сам по себе гуманное и цивилизованное учение, когда он развивается и культивируется в стенах исламского университета. Совсем другое дело, когда он начинает самочинно произрастать в дебрях доисламских культов со смутным представлением об исламской справедливости, которую якобы следует утверждать в ходе священной войны — *джихада*. Современное исламское богословие рассматривает *джихад* как внутреннюю морально-этическую борьбу индивида. Однако темный, некультурный и некультивированный ислам, богатый предрассудками и далекий от учения пророка, — наша печальная действительность.

Со времен царизма мусульманским народам приходится сталкиваться с доминирующей христианской культурой. После революции уже силой стал навязываться вариант крайне секуляризованной¹ европейской культуры. Но Восток во многом еще живет в прошлой системе ценностей, поскольку для усвоения светского или секулярного образа мышления нужно время.

Что же касается Европы, то прошло уже более двухсот лет с тех пор, как мы отрешились от состояния всеобщей религиозности. Ведь секуляризация, или оттеснение религии на периферию нашей жизни, восторжествовала в Европе в период французского просвещения. До этого вся жизнь была словно растворена в религии. Языком религии и в религиозных понятиях объяснялся мир, религиозный закон регулировал взаимоотношения между людьми, религия формулировала и государственное устройство и этические нормы.

Однако большинство населения относится к религии предков с абсолютным равнодушием. И тем не менее мы независимо от собственного мировоззрения являемся пленниками истории своих народов. Наш культурный генотип формировался на протяжении столетий в тесной взаимосвязи с той или иной религией.

Как бы Европа ни кичилась религиозной эмансипированностью, она остается носителем тех структур, которые складывались на протяжении многовековой истории христианства. В частности, мы ныне боремся за правовое государство. За такую личную ответственность, какую развили народы Западной Европы. Если пользоваться категориями немецкого социолога Макса Вебера, то речь идет о «протестантской этике», которую мы хотим усвоить. В иной терминологии это религия индивидуализма, в лоне которой родилась целая культура защиты индивида и условий его взаимодействия с другими индивидами.

Ислам же создал иную парадигму общественного бытия, в основе которой не индивид, а община или *умма*. Индивид — это производное от *уммы*, тогда как в христианской культуре все наоборот. Мусульманская *умма* имела внутренний этический регулятор. Как бы ни самодурствовал эмир, султан или иной мусульманский правитель, он всегда помнил о законах шариата. Всегда мог собраться не слишком подвластный правителю совет *улемов* — мусульманских вероучителей — и вынести вердикт о несоответствии действий правителя исламу. И, как правило, в результате такого вердикта возникало либо восстание, либо внутренний переворот. Правитель лишался не то что власти, но и жизни.

И еще одно: культура ислама не хуже и не лучше христианской, конфуцианской или любой другой. Такие исламские государства, как эмираты Ближнего Востока или Малайзия в Юго-Восточной Азии, — процветающие, высокоразвитые страны.

Юсуф Юсуфбеков, молодой ученый.

У нас за годы перестройки в несколько раз увеличилось количество мечетей. Над этим очень стоило бы задуматься. Медресе, институт религиозный, будет скоро построен. Кстати, его строительство не прекращалось во время погромов. Тринадцатого числа я проходил мимо стройки. Там митинговали, там стреляли, а здесь работали. Строили. Тоже, кстати, задуматься стоит.

¹ Секуляризация (ср. *saecularis* (латин.) — светский) — освобождение от церковного влияния в общественной и умственной деятельности, художественном творчестве и т. п.

Медресе скоро будет построен и начнет поставлять квалифицированные кадры. Тут все будет зависеть от духовенства, от конкретных людей. Чего они хотят? Они могут повести в любую сторону. Если они будут действовать в соответствии с тем, что написано в Коране, то они будут способствовать спокойствию и просвещению народа. А могут повести людей назад. Но это означает и то, что нужно постоянно быть в диалоге с духовенством.

Репортер.

Ислам во много раз усилил страх, испытанный душанбинцами. До тех пор пока не прошли пленумы и не стало, в общем-то, ясно, что к чему, многие воспринимали происходящее как начало исламской революции.

И сейчас немало людей убеждены, что в Душанбе звучит эхо афганской войны.

— Афганистан нам еще аукнется!

Я думаю, что ужас был велик именно потому, что все в глубине души ожидали чего-либо подобного. Люди были потрясены не неожиданностью, а именно тем, что сбываются наяву, материализуются тайные, подспудные страхи.

Владимир Гиро, народный депутат СССР.

Народ давно уже обращал внимание на эти проблемы. После событий в Фергане труженики аэропорта написали письмо Михаилу Сергеевичу Горбачеву с обращением: тоже боимся, неоднозначные процессы развиваются, и просим гарантий...

Вот выдержка из этого документа:

Обращение

Генеральному секретарю ЦК КПСС,
Председателю Верховного Совета СССР
тов. М. С. Горбачеву

...Съезд, идя на поводу у прибалтийских и грузинских депутатов, ограничил возможности использования Советской Армии для защиты населения от экстремистских (хулиганских) вылазок людей, прикрывающихся националистическими лозунгами. Однако в сложившейся ситуации только в Советской Армии мы видим силы, способные реально защитить людей от бесчинств.

Мы осуждаем действия правительства, связанные с переселением турок-месхетинцев, рассматривая этот факт как капитуляцию перед экстремистами-националистами. Переселение целого народа в угоду отдельным лицам — не выход из создавшейся ситуации.

Но если государство не в силах обеспечить нашу безопасность, то мы требуем решить вопрос о планомерном, а не так, как в истории с турками-месхетинцами, переселении лиц некоренной национальности в любые уголки Российской Федерации с соответствующей денежной компенсацией за многолетний труд и труд их родителей, отдавших жизнь за установление Советской власти на таджикской земле...

Под обращением — тысячи подписей. Приехали представители авторитетные, из ЦК КПСС, КГБ, МВД, местные товарищи. Естественно, проводили беседы здесь, в ЦК КП Таджикистана, во всех правоохранительных органах, а потом встретились с жителями и сказали:

— Товарищи, спокойно! Здесь у вас в Таджикистане все прекрасно...

Ну, если прямо говорить, то чуть ли не паникерами называли тех людей, что подписали обращение. И уехали. Это было в минувшем августе, ровно за полгода до февральских событий.

П. Г.

Мне позвонила знакомая и сказала, что в их микрорайоне группа молодых людей изготавливает из арматуры пики... Заточки. Изготавливает и складировать. Я особо-то не встревожился — было это месяца за два, а может, и за три до событий. Звоню одному очень уважаемому мной человеку из верхнего эшелона милиции:

— Старик, вот такое и такое-то дело.

— Ну, ладно, проверим.

— Нет, ты отнесись к этому со всей серьезностью!

— Ну, хорошо, хорошо...

Я дал ему адрес этой женщины, телефон и все прочее. День проходит, два, она мне жалуется:

— Никто не появился.

Я звоню ему.

— Ну ладно, — он, — ты не беспокойся, посмотрим... Чего ты?..

Никто ничего не сделал. А ведь тогда уже можно было раскрыть заказчика, узнать, кто это, и сделать соответствующие выводы.

В. В. Петкель.

Теперь почему и как допустили эти события? Прогноз был, товарищи, был о том, что вот эти силы, силы антиконституционного порядка, готовятся, готовятся капитально, и в этом плане могут быть использованы любые ситуации. Откровенно говоря, знали и партийные, и советские органы, и административные органы. Но что вот этот предлог — антиармянский бунт — будет использован в таком массированном давлении, прогноза не было. Вот здесь недоработка наша, Комитета госбезопасности, я считаю, ошибка бюро Центрального Комитета, поскольку не смогли разгадать планы этих сил и приступили к локализации, конечно же, с запозданием.

Из выступления на XVII пленуме.

Репортер.

Взрыва ждали. Но никто не предполагал, что он произойдет так скоро.

Но никто не ожидал, что погромщики встретят такое сплоченное и мощное сопротивление.

Душанбинские отряды самообороны — явление уникальное, нигде до сих пор в нашей стране не бывалое. Поняв, что никто их не защитит, люди начали объединяться. В самообороне приняли участие практически все взрослые мужчины города.

Переход от растерянности к решительности был мгновенным. Рассказ, приведенный ниже, тому пример. Нечто подобное могли бы поведать многие. Рассказчик — грузин по паспорту, армянин по фамилии, русский по матери. Его жена — дочь таджика и русской (это уточнение необходимо, чтобы читатель разобрался в начале рассказа).

Александр Г.

Парень, который вечно крутится по микрорайону и знает, о чем толкует народ, сообщил: «Говорят, что будут резать всех армян. И предателей...»

«Предатели» — это таджики, которые вышли замуж за русских или женились на русских. Или не знают таджикского языка. Это как раз о моей армянской фамилии и происхождении Ирины. Выход один — мимикрировать. Я повесил на балкон таджикский чапан. Ирка вывесила тряпку какую-то атласную, чтобы дать понять, что это таджикская квартира.

И тут же я начал вооружаться на случай, если будут взламывать дверь, потому что прошел слух, что они будут врывать в квартиры и резать народ. На всякий случай приготовили паспорта. Там все-таки написано, что Ирка — таджичка, а я грузин. Стал судорожно вспоминать таджикские фразы. Если войдут, я буду объяснять: вы ребята хорошие, мы с вами...

И так до утра. Готовились к обороне. Стали искать, чем двери забаррикадировать. Пытались буфет двигать, но оказалось, что слишком тяжелый. Быстро его не пододвинешь. А забаррикадировать заранее — потом он будет мешать убежать, если придется. Потом — подвал. Я спустился в подвал и там приготовил убежище. Постелил одеяла, запас воду, свечи. Потом с мужиками разговор зашел об убежище, и сосед авторитетно сказал, что подвал — дело ненадежное. Если дом подожгут, то дым спустится вниз и все задохнется. Лучше всего бежать на четвертый этаж и обороняться с кольями и топорами, не пускать наверх на узкой лестнице...

Перелом наступил утром, когда визги послышались во дворе. Мы открыли балконную дверь и, трусовато пригибаясь, чтобы нас не было видно, выглянули. И увидели, что под окнами стоит молодой парень в малиновом кристаллоновом халате, пьяный или подкуренный, и истерично кричит на все стороны одновременно:

— Всех резать буду! Всех, кто попадется. Женщин, детей!..

Какая-то из баб столь же истерично прогоняла его, стоя на своем балконе. Именно баба, не мужик. Тишина была гробовая. Но было ясно, что все в это время высунулись или уши приложили к форточкам. И тут лично я ощутил крутой облом. Такая ненависть поднялась. Холодным потом обдало, появился боевой дух.

Что я первым делом сделал, эту гадость — маскировку — сдернул, тряпку выбросил. Когда угроза неясна — неясно, что делать. Отсюда и паника. А когда человек говорит, что резать будет, тут все ясно. Сразу побежал я в подвал, железку там нашел. Пока в подвале был, мужики приходили, соседи.

— Передай Сашке, что собираемся.

Ну, и в час мы собрались...

Репортер.

Отряды самообороны были созданы в каждом дворе. В новых микрорайонах и рабочих пригородах, где нет замкнутых пространств, люди объединялись в большие дружины, охраняющие всю территорию в целом. Сами собой выявились лидеры, возглавившие ополченцев. К тому времени, как власти опомнились, была создана мощная и сплоченная система.

Владимир Гиро.

Люди с недоверием относятся к партийным и советским органам. Этого скрывать нечего. И на начальном этапе они организовывались сами. И были даже такие случаи, когда представители милиции сначала пытались разогнать отряды самообороны, считая их, по-видимому, хулиганствующими молодчиками.

Задача — сохранить созданную структуру, усилить ее. А как усилить? Может быть, на ее базе создавать муниципальную милицию, органы самоуправления. Ведь, в принципе, лозунг «Вся власть Советам» остался, но пока что эти Советы не очень-то берут власть, а возможно, не знают, как. А вот создадутся такие общественные центры самоуправления, подтянут за собой органы Советской власти на местах. Так и построим Советскую власть.

Очень бы хотелось на это надеяться. Пока таких примеров, как в Душанбе, нет нигде в Союзе. У нас уникальный случай. Вот если все переимут... От лозунга нужно перейти к реальной власти Советов.

Репортер.

Отряды стали наряду с армией реальной силой, остановившей беспорядки. Душанбинцы гордятся этим, как гордятся тем, что в трудный час объединились люди всех национальностей. И все же, несмотря на это, позже мне довелось услышать об отношениях русских и таджиков: «Треснувшую пиалу можно склеить, но пользоваться ею уже будет невозможно». Беседуя с писателем Сайфом Рахимовым, я спросил его, что он об этом думает.

Сайф Рахимов.

Афоризмы, может быть, хороши, но этот не соответствует действительности. Это поэтическая метафора, а жизнь не укладывается в простые метафоры. Все значительно сложнее. Я убежден, что конфронтации не было. Не было трещины.

В последнее время мы действительно друг друга потеряли. Правительство живет своей жизнью, народ — его основная масса — своей. Это распространяется на все слои населения. И в городе тоже. В квартирах все разобщены, почти не знают соседей. Русские плохо знают культуру таджиков и наоборот. Была с самого начала обособленная жизнь, не было стремления вникать в жизнь другого, но двух фронтов, противостояния не было!

Я прилетел, когда основные события уже прошли, и расспрашивал людей о том, что было. Я говорил со стариками и с молодыми. У них нет зла, нет озлобленности против русских. Это было антиправительственное выступление, если можно описать его одним словом. Это было социально-экономическое движение. Это даже и не студенческий бунт. Даже и не крестьянский... Это что-то другое. Слава богу, что не удалось превратить в национальное противостояние, как, может быть, некоторые и хотели. Была попытка повернуть туда, но не получилось. Сами горожане не участвовали. Мы были вместе.

Репортер.

Да, мы были вместе...

Но здесь есть одна сложность. Если ты хочешь честно рассказать о душанбинских событиях, стараясь проникнуть в глубину происшедшего, то вообще не можешь говорить «да» или «нет». Всякий раз ты вынужден уточнять: «Да, но...». Или: «Нет, но...»

Невозможно рассказать о феврале-90 в Душанбе и не упомянуть хотя бы вскользь об интернациональных отрядах самообороны. Однако это упоминание тянет за собой неизбежные пояснения, уточнения и т. п., без которых правда становится полуправдой. Но здесь не место подобным уточнениям — в двух словах всего не объяснишь, а разговор сейчас о другом, и я делаю эту оговорку лишь затем, чтобы невольно не создать еще одного черно-белого плаката.

— Война кончилась. Джанг тамом шуд,— говорили на улицах в те дни, когда вошли танки и все внезапно стихло.

Революционные студенты вернулись в аудитории. Мальчишки, вкусившие безнаказанного бесчинства, вновь сели за школьные парты. Воодушевление улеглось или затаялось.

Я не оговорился. Очень многие, даже те, кто сам не принимал участия в мятеже, приняли его с воодушевлением. И прежде всего творческая интеллигенция. Для многих это был подлинный праздник: народ пробудился от тяжелого сна! Для них это был праздник, пусть мимолетный, пусть кратковременный, но праздник революции. Поняли ли они, что эта «революция» отбросила республику назад?..

Поняли ли они, что жестокий удар был нанесен не только тем, кого избивали и калечили, но и тем, кто бил! На бесчинства толкнули молодых людей, подростков и совсем еще детей. Какая страшная зарубка останется в сознании этих детей, вкушивших насилия. Насилия опьяняющего, захватывающего, доступного. Без похмелья и угрызений совести. Оставшегося полностью безнаказанным. Как скажется на детях этот урок?..

Таджикистан действительно в эти дни был отброшен назад. Так случилось бы независимо от того, кто пришел бы к власти — новые партийные чиновники, реакционные клерикалы или прогрессивные либералы, ибо в любом случае упор делался на смену вывески, на попытку изменить внешние условия, хотя болезнь коренится глубоко внутри.

Валентин Бушков.

Пора понять и признать — Средняя Азия тяжело больна. Вылечить ее можно лишь хирургическими методами. Поэтому никакой рецепт, хотим мы того или нет, не может быть безболезненно принят.

Какие в этой ситуации могут быть приняты меры хотя бы для стабилизации создавшегося положения? Первая, самая главная и самая болезненная — снижение рождаемости. Ни одно, даже весьма богатое общество не в состоянии выдержать такой прирост своих граждан. Если общество захочет выжить, ему придется пойти на ограничения.

Второе. Необходимо резкое сокращение площадей, занимаемых хлопком. И не на проценты, а в два-три раза. Это позволит создать резерв земель, которые в будущем смогут быть использованы под продовольственные культуры.

Третье. Нужно, как это ни болезненно, сокращение поголовья скота, так как горные пастбища нагрузки уже не выдерживают, а равнинные практически выведены из оборота.

Четвертое. Необходимы экстраординарные меры по подготовке национального отряда промышленных рабочих.

Конечно, это лишь набросок возможных мероприятий, но и он способен вызвать на себя огонь критики. Но друзьям нужно говорить лишь правду, какой бы она ни была.

Репортер.

Можно принять или отвергнуть этот рецепт, но самого лечения болезни не избежать никакому руководству республики.

Каков же итог февраля-90?

Городское население резко шатнулось вправо. Это не очень последовательно, но при всем своем недоверии к партийному и государственному аппарату русскоязычное население поддержало в его лице Законную Власть, какой бы она ни была.

Аппарат сильно укрепил свои позиции.

Это сказалось на выборах в Верховный Совет республики.

Давлат Худоназаров.

Чрезвычайное положение определенные руководители использовали для нагнетания обстановки, чтобы ввести в заблуждение русскоязычное население и провести угодных им кандидатов, в том числе и из числа своих приближенных по принципу личной преданности. По феодальному принципу.

Вышло так, что те, кто привел республику к кризису, сейчас зачастую являются и носителями власти. Вот в чем беда, вот в чем сложность этой ситуации. Поэтому я и не могу дать прогнозов на будущее. А если я попытаюсь это сделать, то прихожу к грустным выводам и не могу успокоить никого...

Репортер.

Среди избранных 225 народных депутатов Таджикской ССР — 1 рабочий, 2 колхозника, 10 представителей научной и творческой интеллигенции, 7 деятелей искусства и литературы, работников средств массовой информации. Подавляющее большинство в парламенте республики составляют работники партийного аппарата и руководители предприятий, совхозов, колхозов, организаций и учреждений. Абсолютное большинство — за командно-административной системой.

И одновременно это торжество общины. Махалля еще раз показала свое единство и послушность, отдав свои голоса самым богатым и сильным.

Круг опять замкнулся, и страшный бушующий праздник бунта против бюрократии сменился спокойным удовлетворением бюрократии, которая победила и в этот раз.

Но взглянем на положение трезво. Признаем, как ни парадоксально это прозвучит: выбор-то община сделала верный. Я не говорю о каждом избраннике конкретно, но в целом именно этот слой общества — и только он — обладает сейчас реальными навыками общественной и политической деятельности, влиянием и авторитетом, то есть реальной властью.

Кто мог бы с ним соперничать? Крестьянин? Но крестьянин, принимающий самостоятельные решения, полностью независимый от махалли и местного начальства и при этом достаточно образованный, чтобы разобраться в сложных государственных делах, это пока лишь идеал, мечта, скажем об этом честно. Интеллигент? Либеральная интеллигенция и студенчество сильны в обличениях пороков общества, экологических бедствий, перекосов в политике и т. п. Но одного обличения мало. Сейчас гораздо важнее не критика, а всесторонняя позитивная программа.

Вопрос сейчас в том, сможет ли новый парламент республики разработать такую программу. И сможет ли он, несмотря на центробежные стремления, собрать и объединить здоровые силы. Это самое главное.

Юсуф Юсуфбеков.

Это было сильное потрясение. И теперь все должно измениться. Я думаю о катарсисе, очищении через потрясение. И мне кажется: наше движение, то, что сейчас с нами происходит, это своеобразный катарсис. Если мы сегодня не объединимся, в следующий раз у них может все получиться. И это будет иметь более трагические последствия.

Лана Шихзаманова

«И разлил он краски жизни...»

Реальность, увиденная сквозь сон

Мир Надир Зейналов начинает свою профессиональную деятельность как достаточно «традиционный» художник, работающий — и вполне успешно — в рамках так называемой реалистической живописи. Путь его, по первому впечатлению, ровен, спокоен, благополучен и включает в себя все необходимые и привычные этапы: художественное училище в Баку, московский Полиграфический институт, участие в выставках в Союзе и за рубежом, персональные выставки и т. д.

Внешняя гладкость пути, однако, отнюдь не способствовала превращению Мир Надира в художника, приверженного однажды найденной манере. Напротив, словно противореча обстоятельствам собственной определенной судьбы, художник видит в поиске и беспрестанном обновлении едва ли не важнейшие признаки подлинного творчества.

Подобная убежденность была не результатом установки на неперемное формальное экспериментирование, но, скорее, следствием импульсивного, непредсказуемого, отзывающегося на малейшие эмоциональные колебания характера Мир Надира — художника, многолетний творческий путь которого, по существу, представляет ряд сменяющих друг друга художнических пристрастий. Художник, создавший многочисленные реалистические портреты, пейзажи, композиции, пишет сегодня картины, близкие тому направлению живописи, которое получило название абстрактного экспрессионизма, лирической абстракции, живописи действия и т. д.

Примечательно, что новые открытия никогда не перечеркивают целиком старых увлечений мастера, нередко совмещаясь даже в одной картине. Так, художник любит смешивать элементы реалистического и абстрактного изображений. При этом в одном случае нефигуративная живопись сохраняет едва различимые следы своих реальных прообразов, в другом — реалистические формы, сильно стилизованные и обобщенные, приближены к абстракции.

Мастер словно набрасывает на изображение пеструю ткань, покрывало, из-под которого иногда проглядывают отдельные предметы, лица, фигуры, фрагменты архитектурных сооружений — часть скрытого от зрителя, преображенного мира. Создавая подобное изображение, художник как бы приглашает зрителя присутствовать то ли при рождении узнаваемых предметов и образов из хаоса красок, то ли, наоборот, при разрушении элементов реальности, исчезающих в бесформенной красочной стихии. Постоянное балансирование на этой неустойчивой грани рождения и разрушения, начала и конца создает особую напряженность, отличающую живопись Мир Надира.

Эти картины художника нельзя назвать ни реальностью, ни сном или фантазией. Пожалуй, они напоминают тот краткий промежуток между сном и явью, когда реальные события, предметы, лица начинают уходить от мысленного взора, расплываться, перемешиваться, образуя размытую мозаику — полуреальную, полуфантастическую, как бы перенесенную живописцем на холст.

Это мир, увиденный взглядом художника — взглядом, который всегда оказывается неожиданнее, чем наш с вами.

Триптих

Ниспосланный свыше дар — редкость.

Мир Надир, словно оправдывая свое имя (Надир — редкостный, уникальный), «записывает» свои состояния, впечатления, образы почти одновременно на трех языках — живописи, музыки, поэзии.

И возникает картина — но это картина, написанная поэтом.

И пишутся стихи — но это стихотворение, созданное музыкантом.

И звучит музыкальная импровизация — импровизация живописца.

Создаются живописная, музыкальная, поэтическая версии, призванные выразить впечатление, чувство или образ, которым поглощен мастер. Разнообразие выразительных средств, используемых художником для создания стихотворной, музыкальной или изобразительной формы, делает каждую из них вполне самостоятельным произведением, однако часто благодаря сквозным темам и образам они составляют уникальное триединство, своеобразный триптих.

Одним из таких, сквозных, «кочующих» образов для Мир Надира становится священный бык.

Сцена кормления священного быка, давшая название одной из картин художника, увидена им как действие одновременно торжественное и трагическое. В следующую минуту — «за кадром» картины — прекрасное, могучее животное будет принесено в жертву богам.

В поэзии Мир Надира этот образ неожиданно совпадает с образом собственного поэтического творчества. «Он в шкуре зверя, реву быка созвучен», — скажет он о своем стихе, и в этом уподоблении невольно прозвучит трагический отзвук жертвы.

Совсем иное звучание — лирическое, светлое — получает и в стихах, и в музыке, и в живописи Мир Надира тема весны, излюбленный художником образ весеннего сада. Весенний сад — вечный и неизменный в своей неистощимой изменчивости — своеобразный образец сочетания несочетаемого, данный художнику самой природой.

«Открываю рояль, перебираю клавиши...»

Из трех родственных искусств, близких художнику, музыка — самая скрытая от нас сторона творчества Мир Надира. От прозвучавшей импровизации художника, как правило, не остается следа.

Приверженность музыке, в особенности народным музыкальным формам — вообще своеобразный родовой признак азербайджанской художественной культуры.

Музыкальность современных азербайджанских художников, пожалуй, может стать темой для отдельного разговора. Пока же остается лишь констатировать наличие удивительного музыкального культа, которым охвачены — в той или иной степени — подавляющее большинство художников Азербайджана. Тар, висящий на стене мастерской, стал привычной деталью интерьера, знание мугама (традиционной восточной музыки) и его регулярное, почти медитативное слушание — едва ли не обязательным условием профессии, проникновение музыкальной темы в живописные произведения и повышенная музыкальность изображения — естественным, всеместным явлением.

И все-таки даже на фоне всеобщего поклонения музыке Мир Надир, играющий на нескольких инструментах, выделяется как один из самых увлеченных ее ценителей и знатоков. Не удивительно, что даже из своей поездки по Индии художник привез еще один музыкальный инструмент — ситар, который отныне соседствует в его доме с гитарой и азербайджанским таром.

Индия

С Мир Надиром случилось то, что случалось многократно с тысячами и тысячами людей, попавших в Индию: страна эта ошеломила его и сделала вечным своим пленником.

Поездка закончилась, и началась работа. Яркая, жаркая, ослепительная Индия возникла вновь на картинах мастера, и краска его полотен словно плавилась, обожженная индийским солнцем.

С тех пор прошло несколько лет.

Из картин Мир Надира постепенно исчезли индийские сюжеты и мотивы.

Однако, как ни парадоксально, чем дальше время отодвигало от художника эту экзотическую страну, тем явственнее становились внутренние, глубинные связи, соединившие их.

Индийская философия — древняя и живая, представления о законах и течении человеческой жизни, особая индийская духовность оказались силой, перевернувшей многое в жизни самого Мир Надира.

Индия «ушла» из картин художника, но абстрактная живопись Мир Надира словно впитала в себя целиком эту страну, изменив и эмоциональный настрой, и цветоритмическую структуру. Абстракции Мир Надира, прежде нередко связанные со вполне конкретными впечатлениями и образами, теперь практически освобождаются от этой зависимости. Главным становится — не передать внешнее впечатление, но выразить состояние души.

Отражение в зеркале

Считается, что любое произведение художника — в какой-то мере его автопортрет. Если это так, то для Мир Надира «степень приближения» к автопортрету особенно высока.

Естественный для Мир Надира способ работы — импровизация. Начало работы приносит легкость, наслаждение самим процессом творчества, свободным от заданности и не имеющим четкой цели. Целью становится само действие художника, покрывающего пятнами красок чистый холст.

Картина, таким образом, уподобляется своеобразному стоп-кадру, остановившему и сохранившему для нас эмоциональное состояние мастера, пойманное им мгновение. А следовательно, «герой» живописного произведения — эмоции и творческая удача определяется адекватностью ее воплощения в картине.

Роль же зрителя сводится теперь не к угадыванию сюжета или расшифровке концепции — они, как правило, отсутствуют, — но диалогу и эмоциональному совпадению с состоянием художника, выраженным в картине.

Так, например, «Полифония» — попытка соединения музыки и изображения, попытка визуализации звука. Каждому звуку соответствует в картине «свой» оттенок цвета, однако не только цвет, но и сама фактура живописи, рельефность и густота мазка, сверкающие наклейки из фольги, то есть все изобразительные средства живописца направлены на воссоздание музыкальной формы. Эту музыку нельзя услышать, но можно увидеть; это переживание, оставшееся в прошлом, у нас перед глазами.

Вверх по лестнице

Мастерская художника — явление, порой не менее интересное для исследователя, чем его картины. По существу, и то, и другое — его творения. Размеры и расположение мастерских редко зависят от желания художника, чаще это продукт совсем других обстоятельств, но независимо от них любая мастерская, как и жилище человека, всегда выражает его личность, особенности его характера и привычек. Мастерская подобна хорошей собаке: она всегда похожа на своего хозяина.

Ее можно превратить в настоящую творческую лабораторию — помещение строго функциональное, где каждой вещи определено свое место и назначение, где царит великий порядок и все готово к работе.

Мастерская может стать и великолепным салоном, словно созданным для общения, приема гостей, и тогда интерьер ее театрализован, украшен множеством вещей и вещей, разглядывание и любование которыми входит в обязательный ритуал посещения.

Мастерская может иметь облик беспорядочно «богемный», эпатазирующий, лишенный целостности и системы, и в этом пестром обиталище переплетаются воедино жизнь, работа, отдых художника, вполне естественно и легко существующего и творящего в этом опрокинутом мире.

Таких вариантов — бесчисленное множество, их ровно столько же, сколько и человеческих индивидуальностей. Возможны самые крайние противоположности — от «башни из слоновой кости» до проходного двора, каким с равным успехом может быть мастерская. Однако мастерская — почти всегда второй дом, жилище художника.

Свою мастерскую Мир Надир устроил в доме матери (что само по себе встречается нечасто) в пригороде Баку, в старом поселке Бузовны. Весь высокий второй этаж дома — владения художника.

Мастерская и дом соединены здесь под одной крышей и, может быть, поэтому четко функционально «разведены» — дом остается жилищем, мастерская лишается «домашних» черт, сохраняя за собой лишь непосредственно «рабочие» функции. Просторная, светлая мастерская Мир Надира очищена от всего, кроме холстов, красок, кистей и мольбертов.

Мир Надир — добрый хозяин, Мир Надир — заботливый отец, Мир Надир — внимательный сын поднимается на второй этаж по высокой лестнице, входит в мастерскую и закрывает за собой дверь, оставляя за ней все свои роли, кроме одной...

Постскриптум, или Год Лошади

В наши дни, когда предсказания, гороскопы, магические сеансы и прочие явления загадочного свойства теснят нас со всех сторон, словно торопясь с избытком восполнить свое многолетнее отсутствие в нашей жизни, трудно удержаться от соблазна воспользоваться астрологическими указаниями. А указания эти, как известно, позволяют судить не только о прошлом, но и о будущем.

Астрология — наука древняя и строгая, и, согласно ее утверждениям, художник Мир Надир, рождение которого совпало некогда с годом Лошади, сегодня, ведая или не ведая об этом, живет и работает в том же году Лошади — «своем» году, что, несомненно, обещает ему благотворное влияние звезд.

И — великая все-таки наука астрология — именно в этом году в Москве, уже совсем скоро откроется персональная выставка художника, которая впервые представит широкому зрителю этого одаренного азербайджанского живописца и поэта, стихами которого мы завершим наши заметки.

Надо делиться хлебом
Честным и лучистым
Воду уступать младшим
Робким и слабым

В дороге быть верным

Надо колодцы вырыть
Орошать пустыни

Очень любить животных
И их следы.
Землю возвратить
Тоскующей луне
А яблоню
Солнцу и душе.

Надо найти главного
С посохом в руке
И пусть Земля его
Пребудет.

Форс-мажор инфляции



Форс-мажор (юрид.) — неодолимая сила, чрезвычайное и непредотвратимое событие, как, например, стихийные бедствия.

Энциклопедический словарь

Ситуация

Обесценение рубля достигло последней черты. Деньги падают в общественном мнении, утрачивая необходимый им кредит доверия, а без доверия бумажные деньги уже не деньги. Они все чаще замещаются суррогатами вроде талонов: именно к талонам прилагается слово «отоваривание», за деньгами же остается чисто иллюзорное значение. Они теряют все функции или свойства, которые делают их всеобщим эквивалентом товаров: всеобщность, обмениваемость, отовариваемость, эквивалентность, конвертабельность, платежеспособность, устойчивость, наконец, единство меры или масштаба. Деньги перестают быть индикатором экономического благополучия и достатка, доверия к государству, социального благоденствия и гражданского согласия. Налицо все признаки денежного кризиса, отражающего общий кризис в экономике. Такое случалось, наверно, лишь однажды — накануне денежной реформы 1922 года, позднейшие реформы все же не запаздывали в такой степени, а более или менее упреждали столь зловещие симптомы денежного краха. Накануне деноминации 1961 года Н. С. Хрущев сетовал: копейку ленятся поднять. Теперь не приходится говорить о разменной монете, дошло до крупных купюр. В шоке не только рядовые покупатели, но и ведущие экономисты, да и само правительство. Недостатка «программ» не наблюдается (скорее избыток), но это голые декларации, где словесная риторика превалирует над реалистическими и конструктивными мерами.

За последние год-полтора инфляция неудержимо и круто рванула вперед, опровергнув оптимистически настроенных экономистов, неосторожно суливших повернуть инфляцию вспять, да еще в одночасье. Куда там! Умерить бы ее темпы, попридержать неукротимый рост, научиться мало-помалу управлять набравшим силу стихийным процессом — и того не вышло. Все равно требуют «прекратить», «тащить и не пущать». Кто ж остановит? Запретительный декрет? Воззвание к народу? Отряды Национальной гвардии при расширенных полномочиях? Или пикеты бастующих?

В. Богачев вызывает: «Пора действовать» («Коммунист» № 3. 1989). Трудно не согласиться. Экономическую реформу он, пользуясь шахматной терминологией, уподобляет «блистательной выигрышной комбинации», которая однако, «оборачивается крахом, если в ее проведении перепутан порядок ходов». С чего начать? С денежной реформы? Или же с «прыжка к рынку», как образно выразился совсем недавно известный публицист, то есть «крепко зажмуриться и прыгнуть в неизвестность», словно бы сломя голову, напропалую ринуться в омут? Думаю, что дилеммы здесь нет. Начинать надо с двух концов — и с денег, и с рынка — одновременно и последовательно, целеустремленно и согласованно, как при прокладке тоннеля, идя навстречу с обеих сторон, только бы не разминуться в темной «неизвестности». Это, боюсь, больше всего и угрожает. Другое дело, какое из звеньев является сейчас самым слабым, отстающим, запаздывающим. Здесь невеселый приоритет надо отдать деньгам.

Ведь свободные коммерческие цены — всецело функция нормального рынка, а такого рынка нет именно потому, что безнадежно больны деньги. Начинать с установления коммерческих цен значило бы еще больше подстегнуть и без того стремительную инфля-

цию и вконец развалить рынок до его стабилизации и возрождения. Сначала нужно овладеть эффективными методами контроля над инфляцией, притормозить непреодоленную коррозию денежных доходов и прошлых сбережений, оживить денежные стимулы к труду и росту производства.

Какой же нормальный «порядок ходов» предлагает В. Богачев? Он высказывает на этот счет два противоположных суждения, которые, хотя взаимно исключают друг друга, оба (редкий случай) не выдерживают критики с профессиональной точки зрения. Первое: «После денежной реформы 1947 года инфляционные процессы удалось даже повернуть вспять...» Увы, эта давно разыгранная «блистательная комбинация» не воспрепятствовала новой, аналогичной реформе уже через 13 лет, так как была нацелена лишь против последствий инфляции, но не против ее причин.

Для борьбы с причинами инфляции требуется не формальная замена одних дензнаков другими, а радикальная реформа всей денежной системы, на которую не замахивались ни в 1947, ни в 1961 годах.

Но, радужно оценивая старую реформу, бесславно провалившуюся, В. Богачев энергично протестует против новой, дважды подряд восклицая: «Невозможна денежная реформа!» — ибо, по его мнению, она означала бы признание «перед народом и миром» банкротства «государства, а не правительства!». Полноте, подобно тому, как несостоятельность одного ученого шарлатана еще не означает банкротства всей науки, очевидный крах прежней государственной денежной политики или даже, в конце концов, отставка одного правительства еще не банкротство всего государства, скорее наоборот — необходимое условие для укрепления государства и рационализации его политики. Но, похоже, В. Богачев настолько «запугал» правительство, что оно без страха и упрека принимает одну программу за другой с лихорадочной поспешностью.

Осенью 1989 года была принята чрезвычайная программа на 15 месяцев — до конца 1990 года. Комментируя ее, Л. И. Абалкин сказал: «15 месяцев не такой уж и большой срок... А потом — судите» («Говорит и показывает Москва» № 43. 1989). Пресса приготовилась ждать истечения карантинного срока, хотя на карту поставлено больше, чем одна личная карьера. Но прошло лишь несколько месяцев и в конце 1989 года была принята новая чрезвычайная программа — уже до 1992 года. Чего уж тут обсуждать (тем более «судить») старую? После драки кулаками не машут. Между тем даже невооруженным глазом видно, что новая программа обречена на провал не в меньшей степени, чем предыдущая. Если так пойдет и дальше и впереди очередная «новая» программа, то налицо гарантированно беспроигрышная «блистательная комбинация». Выигрышное очко разделится поровну между правительством и парламентом, но победителем, не выиграв, будет правительство. Экономическая реформа стала полем нечистой игры, где будущий победитель требует себе новую и новую фору и то и дело забирает обратно сделанные ранее ходы. Едва сдвинувшись с места, реформа откатывается на исходные позиции и, захлебнувшись, должна снова и снова набирать второе дыхание. Напомню, что предыдущий куратор реформы (С. А. Ситарян) переведен на новый, более высокий правительственный пост, не отчитавшись публично о проделанной работе и не получив положенной благодарной оценки. Еще напомним, что именно в его время начался безостановочный развал не только потребительского рынка, но и централизованного планирования.

В терминах шахмат «защита Ситаряна с рокировкой» обеспечивает несменяемость высшего эшелона экономического управления, создает безнадежную «патовую» ситуацию.

Инфляция по-советски: патология и диагностика

Принятые в мировой практике понятия «инфляция», «сбережения», «государственный внутренний долг» и другие, прилагаясь к нашей действительности, приобретают иной смысл, нередко противоположный изначальному. Можно ли игнорировать эти расхождения? В. Богачев считает, что можно: «нет у нас времени для изобретения собственных теорий», «вполне адекватных реалиям социалистического хозяйствования» («Коммунист» № 3. 1989). Но как тогда интродуцировать постулаты западных теорий и западный опыт в условия, на которые те никак не рассчитаны? Не вызовет ли подобная трансплантация естественного отторжения? Этими вопросами даже не задаются.

В своих современных формах инфляция сложилась после отказа от золотого стандарта, когда наличные золотые запасы (внешний для экономики фактор) перестали оказывать сдерживающее влияние на рост хозяйственного оборота, создавать ему искусственные

преграды. (Маркс отрицал возможность инфляции при золотоденежном обращении: деньги в этом случае «никогда не переполняют каналов обращения» и «никоим образом не действуют на общий уровень цен». — Соч. Т. 23, с. 145. Т. 12, с. 557). Речь идет о постоянном, более или менее равномерном росте цен и доходов, связанных между собой общим «коромыслом»; поочередно себя компенсируя, рост тех и других обретает собственный внутренний импульс и способность сам себя репродуцировать. Раз начавшись, он продолжается уже без передышки. При этом исподволь происходит постоянный размен денежного масштаба.

Известный английский экономист Рой Форбс Харрод дает этому психологическое оправдание: «Удовольствие, доставляемое единовременным увеличением денежного дохода, вероятно, больше, чем удовольствие, доставляемое соответствующим понижением цен... Разве не было бы некоторым видом садизма стремление лишать этого добавочного удовольствия...» В конце концов весь мир смирился с инфляцией, привык и приспособился к ней, выработав противинфляционную систему демпферов (буквально «глушителей»). Инфляция сделалась неразлучным спутником современной цивилизации. Это болезнь, которой переболели и продолжают болеть разные страны, но одни выработали устойчивый иммунитет, в других она стала затяжной, запущенной, хронической, жизненно опасной. При длительной самоизоляции нашей экономики, ее автаркическом развитии в «отдельно взятой стране», в пренебрежении мировым опытом наша инфляция приобрела особо тяжелые формы. Инфляция — это относительное удешевление денег по сравнению с товарами¹. Совершается оно по-разному. Первый случай: цены растут быстрее доходов, инфляция выражается в асинхронности их динамики и гасится методами социального демпфирования. Второй (тяжелый) случай: доходы растут быстрее цен, инфляция проявляется в остром товарном дефиците, который быстро распространяется и становится всеобщим (сейчас у нас он охватывает 9/10 всего не шибко богатого и разнообразного набора товарного рынка), вызывая нарастающий ажиотаж денежного спроса, когда деньги оказываются в избытке и на них нечего купить — нет товаров в свободной продаже. Ясно, что товарный дефицит тождественно равен инфляционному избытку, представляющему собой не обеспеченный товарами денежный спрос. Это не два разных, а один, единый показатель инфляции. Требуется только небольшое уточнение: деньги оказываются «лишними» не для тех, кто их заработал, а для потребительского сектора огосударственной экономики, которая не в силах обеспечить их товарами. Такой вариант инфляции представляет очевидное социальное зло, служит детонатором всеобщего недовольства и острой социальной напряженности, провоцирует межнациональные, межрегиональные и другие социальные конфликты, стяжательство и прочие нравственные пороки. Если же инфляцию рассматривать ретроспективно, то в короткий эпизодический период нэпа, когда ее не было, в стране существовал гражданский и классовый мир. И наоборот, инфляция составляла неприменный социальный фон для крайностей революционной поры, последующего обострения классовой борьбы, массовых репрессий, политического экстремизма, а в недавний период застоя — мощной волны экономической преступности, коррупции и казнокрадства.

Накануне 80-х годов, когда инфляция ускоренно набирала темпы, я доказывал (сборник «Категории финансов и кредита в системе товарно-денежных отношений развитого социализма». М. Институт экономики АН СССР. 1980) необходимость «определенной переориентации распределительной политики», ее «известной перестройки» имея в виду «возрождение денежных стимулов, восстановление доверия к деньгам, этому векселю, который выдало государство и который оно обязалось оплатить», «поддержание определенной стабильности денежной единицы и обеспечение ее непосредственной обмениваемости». Для этого предлагалось «ускоренное насыщение денежного спроса потребительскими товарами», «нарастающее опережение в росте товарного наполнения рынка» на основе «преимущественных темпов отраслей II подразделения, сферы услуг». Я рекомендовал также «стимулировать рост и особенно пролонгирование вкладов (предусмотрев для этого, возможно, даже повышение процента)» в сберкассах, «разнообразить формы и методы налогообложения», «расширить сферу платных услуг» и т. п.

Такие меры, к сожалению, начали осуществляться с большим опозданием, время было упущено, инфляционный процесс зашел слишком далеко вглубь, и теперь одним этих

¹ При одновременном и пропорциональном увеличении как доходов, так и цен в одинаковое число раз произойдет лишь разукрупнение денежного масштаба, и только. При возросшей денежной массе суммарная покупательная способность не страдает, а если инфляция была и до этого, ее темп не увеличится.

мер недостаточно, требуются более крутые и радикальные средства, вплоть до коренного реформирования всей денежной системы.

«К дефициту товарному приводит в конечном счете дефицит бюджетный», — писал я в 1980 году, в то время, когда официальная статистика регулярно по заведенному ритуалу сообщала о ежегодном превышении бюджетных доходов над расходами. За 1988 год статистический ежегодник «Народное хозяйство СССР в 1988 г.» показывает такое превышение в размере 9,5 миллиарда рублей. Между тем реально бюджетный дефицит был все эти годы. Именно формируемый в бюджете инфляционный денежный избыток, не обеспеченный товарным покрытием, растекаясь по всем каналам бюджетного финансирования, распространяет инфляцию подобно чуме во всем народном хозяйстве, создавая реальный денежный спрос на товары, которые реально не существуют. В дефицитном бюджете корни инфляции, первопричина избыточного спроса, не имеющего товарного обеспечения, первоисточник товарного дефицита. В оцененнейшей бесхозной «плановой» экономике бюджет — самое централизованное, но едва ли не самое запущенное и нерациональное хозяйство. Его реальный дефицит компенсируется только дефицитом гласности. Если у отдельного человека смета расходов превысит смету доходов, он останется без средств к существованию. И только государство, не подконтрольное представительным демократическим органам, может позволить себе не год-два, а десятилетия тратить больше, чем получает. Каким образом? За счет денежной эмиссии (с помощью печатных станков фабрик Гознака), а также остатков вкладов населения на сберкнижках, что тоже является формой эмиссии, так как выплаченные, но не отоваренные деньги снова и снова включаются в повторный оборот.

После того как прежний Верховный Совет 28 октября 1988 года утвердил на 1989 год дефицит бюджета в размере 35 миллиардов рублей, не прошло и года, как не сам, разумеется, бюджетный дефицит, а обнародованная цифра возросла втрое-четверо. Сначала известные публицисты Е. Гайдар и О. Лацис («Коммунист» № 17. 1988) к официальному дефициту добавили еще 65 миллиардов «средств общегосударственного ссудного фонда» (заметьте, столь прозрачный намек подsunул сам Минфин), в итоге получились 100 миллиардов рублей. Наконец, новый министр финансов В. С. Павлов доложил новому Верховному Совету («Известия» от 26 сентября 1989 года): дефицит бюджета в 1989 году «снизится против утвержденного Верховным Советом СССР на 29 миллиардов рублей и составит 92 миллиарда рублей». Выходит, утвержденный дефицит был $92 + 29 = 121$ миллиард (вместо первоначальных 35 миллиардов). Знал ли Верховный Совет, что он утверждал? Откуда трехкратная разница? Для профессионалов здесь нет большого секрета. Он раскрывался еще в докладе Б. И. Гостева, прежнего министра финансов, в 1988 году, где сумма поименованных поступлений от народного хозяйства оказывается меньше их объявленного общего итога. Это расхождение, то есть нерасшифрованный источник бюджетных доходов, присутствует еще с довоенных лет во всех регулярных публикациях и нарастает из года в год подобно снежной лавине. Скроенный Минфином казначейский карман таит в себе немало больших тайн и маленьких секретов. Один из потайных источников (нет, не доходов, а дезинформации) в том, что исполнение госбюджета исчисляется методом валового оборота (не очищенного от повторного счета, от холостых перекачек): союзный бюджет может, к примеру, позаимствовать из любого республиканского нужную сумму с возвратом в пределах бюджетного года, чистого дохода не получит, разумеется, ни тот, ни другой, а валовой оборот номинально возрастет на любую требуемую величину.

Манипулирование цифрами потихоньку раскрывается, но до конца ли? Дозировка гласности увеличивается, но остается скупой. Она сравнима только с самими бюджетными и товарными дефицитами и схожа с «обмерами» и «обвесами» в терминах госторговли. Нелегко, спотыкаясь на каждом шагу, пробивает себе дорогу гласность. О многом можно только гадать. Не опубликованы данные о денежной массе (наличной и безналичной) в обороте, о сумме кубышек (да и ведется ли их грамотный учет?). Осталось на бумаге обещание Госкомстата расширить информацию о «ранее не публиковавшихся данных по доходам населения» («СССР в цифрах в 1988 г.»), их не найти и в большом статистическом сборнике («Народное хозяйство СССР в 1988 г.»), но можно исчислить косвенно.

Известно: в 1988 году прирост денежных доходов населения достиг 41 миллиарда рублей (Ю. Д. Маслюков. «Правда» от 5 августа 1989 года) и возрос к 1987 году на 8,5, а к 1985-му — на 16,7 процента (М. А. Королев. «Правда» от 30 января 1989 года). Этих данных достаточно, чтобы реконструировать абсолютные суммы доходов: в 1985 году 448, в 1987-м 482 и в 1988-м 523 миллиарда рублей, но уж никак не «около 400 миллиардов», как утверждали С. С. Шаталин («Огонек» № 5. 1989) и А. Г. Аганбегян («Известия» от 1 августа 1989 года). Занижение на 100 миллиардов (об аптечной точности нет речи) вле-

чет неоправданный «оптимизм» и дезориентирует относительно действительных масштабов инфляции.

Вычтя из доходов государственные налоги с населения, получим текущий покупательский спрос (487 миллиардов в 1988 году).

А товарное предложение? Статистика, привыкшая больше скрывать, чем вскрывать, предлагает лишь крайние ориентиры для оценки: от 290 миллиардов (реальное потребление из использованного национального дохода за вычетом общественных фондов потребления) до 438 миллиардов (заведомо завышенная благодаря «повторному счету» сумма розничного товарооборота и платных услуг) или, круглым счетом, 364 миллиарда (предельно осторожная оценка). Вычтя их из текущего денежного спроса, получим его неотоваренный остаток (избыток): это 123 миллиарда рублей в 1988 году, то есть втрое больше годового прироста доходов, так что весь прирост можно считать бестоварным. Откуда столь астрономическая цифра в стране, где не меньше 80 миллионов находятся за чертой бедности, а подавляющее большинство едва перебивается от зарплаты до зарплаты? Цифра набирается буквально по крохам. На душу населения это всего 36 рублей в месяц. Но в целом это 23,5 процента от всех доходов в 1988 году. «В среднем» и «в целом» часто скрывают глубокое социальное расслоение. Неотоваренный остаток резко дифференцируется и варьирует в широком диапазоне: для кого-то он близок к нулю (если, к примеру, есть родственники в госторговле, прямой доступ к спецраспределителям, закрытым буфетам и т. д.), для других (их гораздо больше) он сколь угодно превышает 23,5 процента доходов, несмотря на «дежурство» у магазинов, выстаивание в очередях, поездки в столицу и т. п.

По отношению к валовому национальному продукту денежные доходы населения в 1988 году составили 60 процентов, а товарное наполнение потребительского рынка — только 41—42 процента. В этом разрыве — исходная материальная причина денежной инфляции. Никакие «жесткие» и «чрезвычайные» меры (очень полюбились эти слова высшим хозяйственным чиновникам) в области волевого распределения (одним доходы поднять, другим урезать) не принесут желаемого облегчения, а тем более избавления от галопирующей инфляции. Первое, что требуется для успешной борьбы с ней, это поднять долю товаров для народа в валовом национальном продукте ни много, ни мало на целых 20 процентных пунктов. Это грандиозная по своим масштабам структурная перестройка всей экономики, нацеленная на скорое удовлетворение самых насущных и безотлагательных нужд людей. Такую задачу не осуществить в одночасье, но приступить к решению нужно немедленно, не откладывая, тем самым подводя реальную базу под вторичные меры, касающиеся денежно-кредитной и финансовой сфер.

Примерно 123 миллиарда рублей — таким и был в 1988 году реальный бюджетный дефицит (официального или номинального не было объявлено): именно столько выплаченных денег не вернулось в государственную кассу, обусловив зияющую брешь в доходах бюджета и вынуждая его к новой и новой эмиссии и перелопачиванию («чрезвычайному» перераспределению) имеющейся денежной массы для того, чтобы поддерживать регулярные государственные расходы, а также чтобы скрыть, спрятать, закамуфлировать фактический дефицит под видом упомянутого выше, заведомо ложного превышения бюджетных доходов над расходами.

Рубль, на три пятах обрубленный¹

Инфляция образует своего рода замкнутый заколдованный круг: насколько она обесценивает денежные стимулы, настолько экономика лишается внутреннего импульса к росту для удовлетворения денежного спроса, а чем больше хроническое недопроизводство, тем больше нарастает и инфляция, становясь процессом самовоспроизводящимся. В его основе — уродливый, деформированный разверсточный рынок, при котором производство реагирует не на денежный спрос, а на бюрократические плановые задания, которые тем более не учитывают денежный спрос, и инфляция постоянно возвращается на круги своя.

Дальнейшие цифровые выкладки (а без них ничего до конца не понять) подобны элементарным расчетам, по которым каждый в пределах школьной арифметики строит свой семейный бюджет, так или иначе сводя концы с концами, то есть соразмеряя свои расходы с получаемыми доходами.

¹ Этимологически слово «рубль» происходит от рубленной серебряной гривны, предшествующей денежной единицы (от нее ведет происхождение современное название «гривенник»): в XIII веке серебряные слитки за их недостатком рубили пополам при сохранении прежней номинальной или нарицательной ценности.

Расчет, сделанный для 1988 года, можно повторить и для предыдущих лет. Приведу только его итоговые результаты. Неотоваренные остатки текущего спроса за каждый год составляли: 123 миллиарда рублей в 1988 году, 107 — в 1987-м, 100 — в 1986-м, 93 миллиарда в 1985-м и так далее. Это не значит, что 93 миллиарда затем «превратились» в 100, потом в 107 и так далее (хотя вклады на сберкнижках и в облигациях, конечно, нарастали на известные проценты). Нет, все эти избыточные (неотоваренные) остатки переходили из года в год, накладывались друг на друга, наслаивались, накапливались год от года, то есть суммировались: 423 миллиарда рублей только за четыре года. Другими словами, часть (довольно внушительная) текущих доходов («потоков», по экономической терминологии) каждый год превращалась в «запасы».

В самом деле, если из текущих доходов 1988 года оказались неудовлетворенными 123 миллиарда рублей, то вряд ли при этом удалось отоварить перешедшие из прошлых лет остатки (тоже немалые). Аналогично оставшиеся с 1988 года 123 миллиарда вряд ли поспешивало хоть частично воплотить в товары в 1989 году, когда из собственных доходов последнего года остались снова неотоваренными никак не меньше.

Между тем в уважаемом академическом журнале сообщается об «открытии феномена превышения денежных расходов населения над доходами. Сейчас этот факт уже очевиден» (В. Богачев. О хозяйственной власти, деньгах и немного о мифотворчестве. «Вопросы экономики» № 9. 1989). Израсходовать больше денег, чем имеешь? Кто на это, паче чаяния, сподобится, может смело претендовать на почетное занесение в Книгу рекордов Гиннеса. Это «открытие», несомненно, войдет в анналы науки под названием «феномена В. Богачева». Балансовый подход к любым расчетам — элементарная азбучная грамотность для экономиста. Если баланс «не сходится», значит, имеются либо неучтенные доходы («зряплата», например), либо вымышленные расходы (например, повторный счет и приписки в рознице в виде «мелкого опта»). Не исключаюклады в городах и тайники в двенадцати стульях, но и они не в силах существенно повлиять на полутриллионные показатели.

На подобном курьезе не следовало бы останавливаться, но вот не менее известный публицист принимает вывод В. Богачева, хотя высказывает «сомнение в точности расчетов» и недоумевает: «Если на книжки поступала вся денежная прибавка, то чем оплачивался прирост товарооборота?» (Василий Селюнин. Черные дыры экономики. «Новый мир» № 10. 1989.)

Это область точных расчетов, а не литературной фантазии и интуитивных озарений. Поскольку речь зашла не о валовых, а приростных показателях, приведу их балансовый расчет. В 1988 году прирост денежных доходов населения был равен 41 миллиарду рублей, из него 3 миллиарда ушли на прирост государственных налогов, а 38 — на прирост текущего покупательского спроса. Из этого последнего прироста на 22 миллиарда возросли покупки товаров, а 16 составили прирост неотоваренного остатка (123—107), это 39 процентов всего прироста доходов. Посмотрим, куда пошли эти 16 миллиардов.

Прирост вкладов населения на сберкнижках составил 24 миллиарда рублей в 1987 году и 30 миллиардов в 1988-м, то есть возрос за год на 6 миллиардов (это прирост прироста), остальные же 10 миллиардов составили прирост прироста денежной наличности на руках населения, объединяемой обычно собирательным термином «кубышки», чей годовой прирост в 1987 и 1988 годах был равен соответственно 83 и 93 миллиардам рублей.

На реальном потребительском рынке сталкиваются друг с другом валовые объемы денежного спроса и товарного предложения, а не их годовые приросты. Валовой объем неотоваренного избытка денежных доходов в 1988 году в 7—8 раз превышал его годовой прирост и втрое — прирост доходов.

Л. И. Абалкин предлагает «упорядочить соотношение приростных показателей доходов и расходов и одновременно начать постепенно удовлетворять отложенный за предыдущие годы спрос населения» («Этот трудный, трудный путь. Экономическая реформа». М. Изд-во «Мысль». 1989). Речь идет о том, чтобы в достопамятные 15 месяцев уравнивать приросты доходов и расходов.

Насколько конструктивна такая задача? Предположим, что в 1988 году было достигнуто равенство годовых приростов денежного спроса и его товарного насыщения. Тогда в этом году не было бы годового прироста неотоваренного спроса (16 миллиардов рублей), но полностью сохранился бы неотоваренный остаток предыдущего (1987) года, то есть 107 миллиардов рублей. Приходится ли в таком случае надеяться хотя бы на стабилизацию ситуации на рынке, не говоря уже о «заметном улучшении»?

Оперирование приростами и приростами приростов вместо валовых объемов, по меньшей мере, некорректно и непрофессионально, оно вводит в опасное заблуждение.

Посмотрим теперь, как распорядилось население своим неудовлетворенным валовым спросом в 1988 году. Из 123 миллиардов рублей было отложено на счетах Сбербанка в виде прироста вкладов на сберкнижках 30 миллиардов, а остальные 93 миллиарда обращены на прирост кубышек. Граница между сберкнижками и кубышками довольно условна: вклады, как и облигации, в любой момент могут быть востребованы, обращены в наличность. И тем не менее эта граница существенна: она отделяет видимую часть громадного айсберга от «подводной», которая таит в себе наибольшую и непредсказуемую опасность на фаворатах экономической политики.

Итак, ежегодный неотоваренный остаток текущего спроса обращается на прирост денежных сбережений на сберкнижках и в кубышках, значит, он выражает собой отнюдь не весь не обеспеченный товарами, неудовлетворенный денежный спрос населения, как полагают цитированные экономисты, а всего лишь его ежегодный (текущий, регулярный) прирост.

Какова же кумулятивная величина неотоваренного спроса населения? Она равна сумме сбережений, которые нетрудно исчислить, зная их текущие (годовые) приросты. На конец 1987 года денежные запасы населения на сберкнижках составили 267 миллиардов рублей («Народное хозяйство СССР в 1988 г.») и в кубышках около 200 миллиардов (В. А. Коротич. «Учительская газета» от 28 июня 1988 года), всего 467 миллиардов рублей. В 1988 году они приросли — первые на 30, вторые на 93 миллиарда — и, значит, составили соответственно 297 и 293, а всего 590 миллиардов рублей.

Прирост сбережений за каждый год равен годовому неотоваренному остатку¹. 1988 год был переломным: кубышки сравнялись со сберкнижками, а все сбережения — с текущими доходами населения. Таковы два наиболее тревожных симптома инфляции.

Опережающий рост кубышек свидетельствует, что в условиях нарастающих товарных нехваток население предпочитает держать свои денежные запасы в наиболее мобильной форме, «под рукой», чтобы при первой возможности, как только представится благоприятный случай, обменять их на что придется.

Еще хуже, что застоявшиеся запасы прошлых сбережений уверенно обгоняют текущие денежные доходы: это все больше обесценивает и без того ослабленные денежные стимулы к труду.

Сбережения, принявшие масштабы настоящих завалов, — это кумуляция неотоваренного текущего спроса всех прошлых лет. Они одновременно и следствие, и причина ставшего хроническим товарного голода. Это не просто симптом, а постоянно действующий генератор денежной инфляции.

590 миллиардов рублей денежных сбережений и образуют реальный государственный внутренний долг (столько государство задолжало своему народу).

Сбережения в мировой практике предполагают добровольный отказ от текущего («немедленного») потребления ради его последующего увеличения, причем в обозримом будущем. Таким путем сбережения экономически стимулируются, а сама их возможность не уменьшает, а увеличивает желание больше зарабатывать, то есть больше и, главное, лучше работать. У нас они тоже представляют собой отложенный спрос, но отложенный не добровольно, а вынужденно, по причине товарной недостаточности рынка, не на заранее

¹ Все, что не было отоварено в одном году, добавляется к избыткам предыдущих лет и переходит в будущее, присоединяясь к накопленной сумме сбережений, из «потоков» текущего спроса превращается в «запасы», и граница между ними размывается — все это единый бестоварный спрос.

Утверждают, что вынужденными (избыточными) «надо считать» процентов 65—70 от всех сбережений («Коммунист» № 3. 1989). Помимо интуитивных экспертных оценок существуют и более надежные ориентиры. Достаточно, например, сопоставить вклады населения в Сбербанке с товарными запасами в розничной сети (то и другое на конец соответствующего года). Каждый рубль денежных сбережений обеспечивался товарными запасами в таких размерах: в 1940 году 2 рубля 29 копеек, в 1960-м 1 рубль 67 копеек, в 1970-м 76 копеек, в 1980-м 34 копейки, в 1988-м 22 копейки («Народное хозяйство СССР в 1987 г.», «Народное хозяйство в 1988 г.»), в 1989 году — только 18 копеек («ЛГ» № 48. 1989). Другими словами, на каждый рубль товарных запасов приходилось вкладов на сберкнижках: в 1940 году 44 копейки, в 1960-м 60 копеек, в 1989-м уже 5 рублей 56 копеек. Если взять за норму 1960 год (условно, конечно), то в 1989 году были избыточны (5.56—0.60): 5.56—89 процентов всех вкладов. По меркам же 1940 года, необеспеченными были более 92 процентов сбережений.

Вопрос в том, насколько «нормальны» 1940 и 1960 годы. Конец 1940-го — это канун крутых дефляционных мер, когда (до начала Великой Отечественной войны) из обращения была изъята внушительная часть денежной массы. Конец же 1960 года — это канун памятной денационации на 1 января 1961 года, которая была бы бессмысленной, не существуй и тогда инфляция.

Не берусь судить о давно прошедших временах, но в последние десятилетия полностью бестоварными оказались все 100 процентов вкладов на сберкнижках, тем более это отложилось к кубышкам.

обусловленный срок, а на неопределенное время, притом не ради увеличения, а при очевидном уменьшении в будущем, поскольку депозитный процент, уплачиваемый за хранение наличности на счетах Сбербанка, заведомо меньше ежегодного темпа ее инфляционного обесценения. Поэтому у нас сбережения дестимулируют текущие заработки, а значит, и хорошую работу.

За рубежом (не исключая наших ближайших соседей) сбережения населения гораздо больше, чем у нас, но они и обеспечиваются достаточными товарными запасами в рознице, тогда как у нас последние не покрывают даже текущих доходов. За рубежом эти сбережения образуют один из действенных антиинфляционных демпферов, у нас являются наиболее ощутимым и болезненным фактором денежной инфляции.

Государственный внутренний долг (а без него не обходится ни одна современная страна) представляет у нас явление не менее «почвенническое», а одноименные термины ведут к полному смешению понятий. Различие — в способах формирования этого долга. В цивилизованных странах он представляет собой добровольные вложения населения в государственные процентные облигации, продаваемые по ценам, складывающимся путем свободной котировки на открытом рынке ценных бумаг (фондовой бирже). Такой долг имеет предусмотренный (не «резиновый») срок погашения или возврата и основывается на обоюдной выгоде должника и массы кредиторов, получающих весомые проценты.

Потребность во внутреннем долге возникает у государства, если (то есть практически всегда) не хватает регулярных доходных источников — твердых налогов, принятых в цивилизованных странах. Эта потребность трансформируется в неутолимую жажду у нашего бюджета, чьи доходы базируются не на твердых, а чрезвычайных доходах, на эластичной разверстке (больше получил — уплати всю разницу), что подрывает заинтересованность хозяйства в увеличении доходов, а бюджет лишает доходных источников.

Основную, а в последние десятилетия практически полную сумму внутреннего долга государство формировало за счет принудительного ограничения текущего потребления населения путем неограниченного роста бестоварных, заведомо необеспеченных сбережений, когда и население «при деньгах», и экономика за его счет получает в общий котел сверхмаксимальные вливания (изрядная их часть уходит в песок бесхозяйственности, ибо в общем котле дырявое дно). Всеми своими успехами, подлинными и мнимыми, бюрократизированная экономика обязана безудержному росту внутреннего долга, для чего всегда было мало одних навязанных займов, а требовался постоянный источник — насильственный, вынужденный рост бестоварных сбережений.

Это заимствование не носит характера правового долга, возвращение которого обязательно в предусмотренные сроки, а кредиторы чувствуют себя правомочными. Сейчас ищут корни государственной эксплуатации работников в низком денежном вознаграждении за труд, забывая, что еще ниже его делает недостаточное товарное насыщение.

Но что такое деньги, пущенные в оборот и свободно обращающиеся на потребительском рынке? Это не что иное, как беспроцентные и бессрочные долговые обязательства государства. Обязательства бумажные, но скрепленные государственным гербом. Единственная их гарантия — моральный, социальный, политический, экономический престиж государственной власти. Утеря престижа ставит гаранта на грань банкротства. В условиях нарождающейся демократии это делает неизбежной отставку правительства. Деньги — это постоянно действующий вотум доверия к государству.

Если часть его долговых обязательств исключается из живого оборота и омертвляется (замораживается или блокируется) в запасах, ждущих своего часа, срок погашения такого долга перманентно пролонгируется в неопределенное будущее, становится «вечным» и безгарантийным. Так постоянно, из года в год генерируется хроническая инфляция — органический порок всей экономической системы. Парадоксально, но именно такой государственный внутренний долг оказывается материальным источником, подпитывающим подпольную экономику, то есть действующим против интересов государства. Сколько ни борются с этим злом правоохранительные органы, одолеть его не могут. Экономика сильнее права, тут Маркс был прав. Дело не в падении нравов (здесь, как нигде больше, бытие определяет сознание), а в нерациональности государственных структур в экономике. Пока сохраняется материальная причина в виде бестоварного спроса, неизбежны спекуляция, мздоимство, взятки, коррупция.

Много уже высказано едкой критики и грозных инвектив против воротил подпольного бизнеса. Хочется сказать несколько слов в их защиту (исключая безусловно преступные, уголовно наказуемые и особенно коррумпированные элементы). Среди них немало незаурядных организаторов с деловой хваткой и трезвой головой. Они полноправные члены об-

щества. Как обратить их неумную энергию на всеобщую пользу? Может быть, передать им общественный транспорт, перекрывший все рекорды Гиннеса по числу пассажиров на одно посадочное место? Или привлечь к управлению центральными экономическими ведомствами, нынче безнадежно консервативными? Или пусть, имея не только денежные, но и материальные капиталы, воссоздадут в беднеющей стране потребительский сектор экономики, способный реагировать на запросы рядовых покупателей?

Пока существует накопленный неудовлетворенный спрос, он неизбежно будет интенсивно перераспределяться. В пользу таксиста — сверх таксы. Соседке-продавщице — сверх цены. Медперсоналу бесплатной поликлиники. И т. д. А ведь это все государственные служащие, использующие государственную вывеску как прикрытие своих частных промыслов. Чем они лучше дельцов подпольного бизнеса? Не вижу разницы. Вот и пусть они все конкурируют друг с другом, а не с законом, ибо, если нет конкуренции среди продавцов своих товаров (изделий, услуг), возникает жесткая конкуренция покупателей.

Что же удерживает денежные запасы населения в состоянии залежалых сбережений? Только пустые полки в рознице. Стоит их сколько-нибудь пополнить, и вся масса сбережений тут же пойдет в ход. Неотоваренный денежный спрос, накапливаясь из года в год в течение десятилетий, остается не менее, а, пожалуй, даже более активным, нежели текущий. Это настойчивый нервный спрос, алчущий немедленного отоваривания.

Завершим цифровые выкладки исчислением полного денежного спроса населения, включающего не только текущий (данного года), но и накопленный за все предшествующие годы. Прибавим к текущему спросу 1988 года (523 миллиарда) накопленный к концу предыдущего (1987) года прошлый спрос (467 миллиардов) и получим 990 миллиардов рублей — именно такой денежный спрос в 1988 году реально противостоял товарному предложению на рынке.

Полный спрос превышал товарное наполнение потребительского рынка в 2,6 раза. Это означает, что текущими доходами и прошлыми сбережениями население в целом (или в среднем) было обеспечено на 2—3 года вперед и в течение этого срока гипотетически могло вообще не работать, полностью сохраняя свой жизненный стандарт или же, если угодно, сохранив за собой рабочие места, не слишком заботиться о текущих заработках и не чересчур «выкладываться» на работе. Видимость труда адекватна видимости денег. Принцип оплаты по труду не искушенный в схоластической тарабарщине работник читает как бы с конца: по оплате и труд. Стремление хорошо заработать перестало быть насущной повседневной потребностью. Творческая энергия работников переключается в ажиотажную сферу отоваривания. Отсюда стагфляция (стагнация+инфляция). Это не результат одних только последних нескольких лет, а тяжелое наследие долгого периода застоя, его необходимая инерция, которую не переломить сразу.

Отовариваемость рубля составила 38 процента, то есть 38 копеек¹. Бестоварная доля рубля выросла с 44 в 1985 году до 62 копеек в 1988-м или в среднем на 12 процентов в год (темп инфляции), тогда как средний темп роста всех сбережений составлял более 31 процента в год.

Феноменальный рост внутреннего долга в виде сбережений был главным фактором дестабилизации потребительского рынка. Денежная масса, которой располагает население, на три пятых не обеспечена товарами. Денежный спрос захлестнул товарный рынок, никогда не бывший богатым, превратился в бездонную прорву, куда сколько ни кинуть, все будет мало. Товарные запасы в торговле истончились до волоска, поддерживающего на весу громадную гиру. Спорадические опустошительные набеги на магазины сменились постоянными засадами.

Если существует нормальный рынок с его естественной саморегуляцией (что не исключает необходимости во внешнем регулировании), темп инфляции сводится к росту цен, за ним поспевает рост доходов, но их общая гонка не нарушает равновесия денежного спроса и товарного предложения. Инфляция оказывается в большей или меньшей степени управляемым процессом, централизованное регулирование и социальное демпфирование высокоэффективны, ибо опираются на рыночную саморегуляцию, а не действуют в обход и вопреки ей, наперекор здравому смыслу, как это бывает у нас.

¹ Показатель отовариваемости денежной единицы (не зависящий от ее нарицательной стоимости и номинальной покупательной силы) не вбирает в себя всех аспектов и оттенков инфляции. В погоне за дефицитом покупатели вынуждены караулить его завоз, выстаивать каждодневно в очередях или обращаться ко всякого рода спекулянтам, жульникам-аферистам, становясь соучастниками, партнерами или, в лучшем случае, свидетелями криминальных действий. Все это сопряжено с очевидными моральными и нервно-психическими издержками. Но кто их измерит?

В нашем варианте все не так.

Здесь инфляция развивается по неписанным канонам в условиях стихии гипертрофированного и жесткого бюрократического централизма, подминающего и подменяющего реальный плюрализм экономических интересов.

Рынок остается (полностью он никогда и не исчезал, даже в пору военного коммунизма), но он скован, разрушен, расколот, дезинтегрирован, отсюда его перманентная разбалансированность. Рынок, подлинно демократический институт общества, подчиняясь планово-хозяйственной бюрократии, распадается на множество изолированных рынков, которые различают по цвету: от светлых оттенков до черного (боящегося света), от привилегированных дефляционных (для «белой кости») до общедоступных инфляционных (для «черной кости»). Все эти рынки безэквивалентные, так что сколько выгадывают на одних, столько прогадывают на других (правило «коромысла»).

Нет единства рынка — нет и его нормальной саморегуляции, действующей с непреклонностью естественного закона.

Инфляция в мировой практике — это нормальная реакция рынка на определенные процессы, у нас же это ответная реакция экономики на ненормальные деформации рынка.

Торжество над здравым смыслом

Слово «разверстка» пришло в XX век из феодальной России: в XVI—XVII веках «верстанием» называлось сословно-кастовое назначение земельных наделов и денежного жалования за военную службу. Это феодально-иерархическая уравниловка, в ее основе замшелое феодально-этакстистское сознание многовековой давности.

Постепенно, в результате длительной эволюции в России сложился нормальный рынок: единый, свободный, открытый, равнодоступный, конкурентный, равновесный, эквивалентный. Единство рынка не исключало, разумеется, его спецификации. Существовали рынки товаров — предметов потребления и средств производства, капиталов и инвестиций, кредитный и финансовый, ценных бумаг, труда, денег. Единству рынка не противоречило и существование множества региональных рынков. Принципы функционирования всех этих специальных и региональных рынков были едины: свободная состязательность любых контрагентов, согласование спроса и предложения при формировании цен, процентных ставок и др., отсутствие постороннего вмешательства, включая государственное.

После денежной реформы С. Ю. Витте в 1895—1897 годах (перевод рубля на золотой стандарт по примеру Англии и других европейских стран) рынок сделался завидно стабильным, в основном, дефляционным (хлебные цены тяготели скорее к снижению, покупательная сила рубля была устойчивой), не нуждался он и во внешнем регулировании. Россия с обычным опозданием догнала общеевропейский уровень.

Но США уже вырвались далеко вперед, введя антитрестовское законодательство и создав федеральную резервную систему.

С началом первой мировой войны европейские воюющие страны начали осуществлять меры государственно-монополистического регулирования, к ним пристально присматривался Ленин, ища в них прообраз будущего. Постаралась не отстать и Россия, тем более что в начале войны из обращения исчезли золотые, потом серебряные, даже медные монеты (они были тазаврированы, припрятаны) и бумажно-денежная инфляция приобрела угрожающие размеры. Но на западе Европы чрезвычайные военные меры глубоко не заделали рынок и он воспрянул сразу же после окончания войны.

В России в силу не экономической, а социально-политической отсталости аналогичные меры приобрели феодально-этакстистский характер. Они оказали роковое и необратимое влияние на последующие десятилетия. В конце 1916 года была объявлена хлебная разверстка, она называлась по имени царского министра земледелия «разверсткой Риттиха». Разверстка разрушила единый рынок, расколола его надвое: внутри инфляционного рынка возник искусственно дефляционный рынок, ибо формально разверстка сохраняла внешние аксессуары купли-продажи, хоть и принудительной, хотя и по заведомо заниженным «предельным» ценам, установленным «в обрз».

Противоестественное сочетание инфляционного (с «дорогими» ценами) и дефляционного (с «дешевыми» ценами) рынков привело к распаду единого рынка, стало началом длительного и мучительно трудного периода его развала, первой ступенью. Вторую осуществило Временное правительство, введя в марте 1917 года государственную монополию хлебной торговли и карточки в городах.

Во второй раз в течение одного года создалась революционная ситуация, разрешившаяся Октябрем. Ни царскому, ни Временному правительствам не удалось «выполнить» («собрать») продразверстку, это осуществляла только Советская власть путем революционного насилия и обострения классовой борьбы. Началась крестьянская война. Требование свободы торговли выдвигалось во время Кронштадтского мятежа. Ленин удовлетворил это требование (сначала в рамках местного оборота, но вскоре и такое ограничение было снято) и объявил нэп. Нормальный рынок на время восстановился и в отпущенный ему короткий срок успел накормить изголодавшуюся страну.

Как же понять последующую реставрацию разверстки? Дело в том, что она успела пустить глубокие корни в экономике. Нэп отменил только «разверстку Риттиха» в деревне, но не затронул ее разветвленную систему в государственном секторе, а государственная монополия, огосударствление экономики — это заповедная область разверстки. Еще более глубокие корни пустила разверстка в общественном сознании, в массовой психологии. Ведь разверстка — не только уродливый, ущербный рынок, это еще и внеэкономическое принуждение, легшее в основу директивного планирования, что десятилетиями внедрялось в умы людей как «преимущество социализма». История разверстки — это мучительно долгая, затянувшаяся история ее агонии, она и не могла кончиться ничем, кроме полного развала. Помогали ли разверсточные дефляционные цены хоть когда-либо умерить темпы инфляции? Нет, они только подстегивали их. С самого своего возникновения разверстка идет об руку с инфляцией, это неразлучные сестры-близняшки.

Русские марксисты усмотрели в инфляции обещанное теорией желанное отмирание денег и рынка, в это верили, с нетерпением ждали, стремились ускорить. Великое благо свободы понималось узко как свобода внеэкономического принуждения и насилия, военный коммунизм сомкнулся с этатистским феодализмом, огосударствление собственности стало удобной почвой для нового резкого расширения сферы бюрократической разверстки.

Лозунг «учиться торговать» Ленин адресовал не крестьянству (оно и не успело «разучиться»), а новой советской бюрократии, которой разверстка давала занятие и чье собственное благополучие зиждилось на прочной основе общего котла. Статистика показывает точные цифры: на государственном нормированном (пайковом) продовольственном снабжении накануне нэпа находилось около 35 миллионов человек (для прочих оставался спекулятивный «черный» рынок), спустя год — только 2,8 миллиона. Вряд ли это могло им понравиться. Они-то и были поборники реставрации разверстки, грубого политического давления на крестьян, разжигания классовой борьбы вместо политической консолидации общества, объявленной нэпом. Эта-то аппаратная бюрократия, поддержанная сверху (после ухода Ленина с политической арены), с ее привилегиями реальной политической силы в авторитарно-тоталитарном государстве и помогла быстро смять нэп.

Система разверстки в госсекторе даже не была затронута, а в деревне быстро восстанавливалась. На нее уже никогда больше и не покушались. Здесь причины неизбежных провалов всех последующих экономических реформ.

Нэп принес быстрые успехи в подъеме сельского хозяйства и жизненного уровня народа вовсе не по причине радикализма (его не хватало, чтобы сделать перемены необратимыми), а потому, что в массовой психологии еще не успели пустить глубокие корни новые предрассудки, и среди них самый страшный и опасный стереотип разверстки: «Получи за спасибо — и отдай за так». В сознании не выветрилась память о нормальном рынке.

Сейчас не осталось поколений, которые бы знали о нем не понаслышке.

До Октября разрушение нормального рынка было вынужденным, после оно стало преднамеренным, из печального следствия тяжелых обстоятельств превратилось в желанную самоцель, диктуемую теоретическими постулатами.

Разверстка, основанная на вынужденном насилии, разрушила до основания эквивалентный рынок, а общедоступный и единственный равновесный рынок оттеснила на далекую периферию экономики, на задворки «черного» рынка, который сохранялся даже в пору «успешных» пятилеток и «победных рапортов». В эту пору он даже процветал. Почему? По принципу компенсации или правилу коромысла: опускается одно плечо, тут же и в той же мере поднимается другое.

Каждый рынок характеризуется своим особым уровнем цен — от застывших дефляционных (низких) до подвижных инфляционных (часто непомерных). Дефляционные и инфляционные рынки реагируют на растущий избыток спроса по-разному: дефляционные — сохраняя, несмотря ни на что, омертвевшую стабильность цен и вместе с тем все глубже стгораживаясь «ведомственными» перегородками и замыкаясь в своей «сословной» или «кастовой» исключительности, инфляционные — неограниченно взвинчивая цены (но и при-

нимая на себя возрастающий натиск неудовлетворенного спроса). По сравнению с обираловкой на вольных рынках заострившие госцены становятся поистине царской привилегией, но и все менее демократической и общедоступной.

Однако натиск спроса не знает преград, разрушает все искусственно возведенные барьеры и проникает даже на безденежный рынок: номинально бесплатные услуги обрекают негласные и неконтролируемые таксы в виде взятки бюрократам, которые эти услуги распределяют или оказывают. Безденежный рынок обнаруживает даже большую, чем остальные, склонность уходить в подполье «черного».

Итак, существует множество рынков, не связанных между собой (ничем, кроме невидимого коромысла), хуже того, разделенных друг с другом своего рода «сословными» перегородками, прочными, как шлагбаумы или намертво вкопанные полосатые столбы. Эти разнообразные рынки различаются во всю ширь солнечного спектра, включая все цвета радуги — от черного (инфляционного) до нежно-голубого (дефляционного), где можно выделить также небесно-звездный, сохранивший цены 1926 года) и бледно-розового (и вовсе безденежного, где происходит бесплатная раздача некоторых важных услуг).

На последних рынках торжествует символ веры Полиграфа Шарикова «все поделить», но, как любит говорить Маргарет Тэтчер, «бесплатный сыр бывает только в мышеловке» и социальная дифференциация в потреблении здесь резче, чем на остальных рынках. Это чудовищное искажение прекрасного принципа социального равенства и справедливости с едким сарказмом высмеял Дж. Оруэлл: «Все одинаково равны между собой, но при этом некоторые равны в большей степени, нежели остальные». Именно отсюда уравниловка, расходясь кругами, достигает сферы производства, это «выводиловка» и «зряплата», не говоря уже о «несунах» («разверстка снизу»), что, впрочем, относится уже к «черному» рынку. Но и тот не является одноцветным.

В «черном» рынке можно выделить, так сказать, иссиня-черный или коричневый, грабительский, мафиозный, называемый обдираловкой, а с другой стороны — серо-буро-малиновый — тот, что поддерживает хрупкую стабильность товарного снабжения неудовлетворенного денежного спроса в условиях, когда с этим все больше не справляется государственная торговля.

Да и последнюю вряд ли можно безоговорочно отнести к чисто белому рынку — злоупотреблений, воровства и хищений, как уже говорилось, здесь всегда было предостаточно. Возрождение нормального рынка, может, следовало бы начать именно с легализации серо-буро-малинового рынка, придав ему современные цивилизованные, то есть контролируемые и регулируемые формы.

Теперь посмотрим, что происходит с деньгами. Из инструмента здорового демократического рынка они превращаются в «учетное» орудие всеобщей разверстки, из силы регулирующей и координирующей — в силу дезорганизующую и дестабилизирующую. Деньги — всего лишь инструмент рынка. Если его единство разрушено, не может быть и единства денежного масштаба, хотя только это и есть условие нормального функционирования и рынка, и денег.

Рынок распадается на инфляционный и дефляционный, но обслуживают их номинально (только номинально) одни и те же деньги. Абсурдное соседство инфляции и дефляции (один из неразгаданных парадоксов бюрократического централизма) разрушает единство денежного масштаба, который оказывается различным в зависимости от того, какой из множества рынков он обслуживает.

Возникают его расхождения в зависимости от каналов использования денег, а как следствие — между отдельными социальными группами (даже между бюрократами разных служебных рангов) и регионами (один денежный масштаб в Москве, другой в центральной России, третий в Закавказье, четвертый в Прибалтике и т. д.).

В этом расщеплении денежного масштаба — самый болезненный симптом описываемой инфляции. Рядовому покупателю наплевать на нюансы различных экономических интерпретаций инфляции, его раздражает больше всего, если не удастся «достать» нужный товар по хорошо знакомой цене и приходится переплачивать там, где этот товар ему реально предлагают. Дробление товарного рынка ведет к случайному, непредсказуемому дроблению денежного масштаба. Нелепый симбиоз инфляции и дефляции ставит в тупик.

Здесь все абсурдно: разные уровни цен — перед чисто номинальным единством денег, дотационные низкие цены — перед натиском неудовлетворенного спроса, жесткое планирование доходов — перед неконтролируемым флотом цен. Здесь все случайно, но все взаимосвязано: дефляционная разверстка — изначальный и постоянно действующий катализатор инфляции. Правило коромысла делает их неразлучными близнецами.

Не могут быть здоровыми деньги, если болеет рынок. И врачевать их надо вместе. Инфляция — неизбежное осложнение хронических недугов деформированного рынка. Инфляцию не побороть, сохраняя разверстку.

Консолидация внутреннего рынка

Нормальный рынок — это саморегулирующаяся жизнедеятельность здорового экономического организма, залог его жизнеспособности и стойкости, с крепким внутренним иммунитетом против инфляции.

Требуются воскрешение из мертвых и рынка, и денег, давно находящихся в состоянии клинической смерти, их реанимация с целой серией сложных хирургических вмешательств. И это постепенно начинают понимать все.

Упругая спираль инфляции раскручивается с неослабевающим напором, словно сжатая донельзя пружина. Обыденное сознание видит причину в рынке с кооператорами и индивидуалами¹, якобы потеснившими плановое управление. Что возразить? Это не первый случай, когда следствие принимают за причину. Причина же именно в разверсточном планировании, самом что ни на есть зацентрализованном.

Между тем цепочка причин и следствий в обыденном сознании оказывается перевернутой. В инфляции винят новые формы хозяйствования, которые вводятся неспешно, робко, с оглядкой, осторожно и не всегда последовательно.

Все зло инфляции в заморозченности, недостаточной оборачиваемости рубля, а выход в том, чтобы разблокировать залежавшиеся сбережения, втянуть их в оборот, заставить быстрее циркулировать. Как это лучше сделать, сложный вопрос, решения неоднозначны, и о том речь еще впереди. Главное же в том, что дезинтенсификация денежного оборота вопреки некомпетентному мнению, затуманенному расхожими стереотипами, ведет, как мы хорошо знаем, к тому самому порочному кругу, который заставляет интенсифицировать работу печатных станков Гознака, денежную эмиссию, а здесь и лежит подлинная причина обострения инфляции, ее самовозобновления.

Инфляция — это напряжение, вызванное застоем сбережений. А как с ними поступать (пусть лежат себе и отлеживаются либо захлестывают рынок и пускаются в оборот), это всецело частное дело их хозяев.

Что же может денежно-финансовая политика? Думают, что достаточно принять и внедрить постулаты и максимы западных теорий «неоклассического возрождения», чтобы сразу приблизиться к равновесной экономике. Это хорошо, если не сводится к бездумной компиляции по принципу «с миру по нитке».

Берем, к примеру, альтернативу «инфляция — безработица», предлагают держаться на равном расстоянии и от перепроизводства (безработицы), и от товарного дефицита (инфляции) («Коммунист» № 3. 1989). Но «альтернатива» — это, между прочим, не «серединка наполовинку», а «либо-либо», «одно из двух». Современная западная наука в лице авторитетного М. Фридмана давно (в 1968 году) отвергла «существование постоянного компромисса между инфляцией и безработицей» в статье, которую другой американский экономист назвал «самой влиятельной за два последних десятилетия» (В. М. Усоскин. «Денежный мир» Милтона Фридмана. М. Изд-во «Мысль». 1989). Мы отстаем, выходит, от развития западных теорий на многие десятилетия, а в развитии собственного рынка — на столетие. Но не теряем куража.

Теперь возьмем «фундамент макроэкономического равновесия» («Коммунист» № 3. 1989) — равенство сбережений и инвестиций (капиталовложений). Но это, оказывается, «не про нас», «для нас интересней» превышение инвестиций над сбережениями. Равенство это соблюдается не только «у них», но и у нас, разница — «только» в способах его достижения. В мировой практике: сколько сберегает население (потребители-депоненты и сами инвесторы-бизнесмены), столько бизнес и вкладывает инвестиций в расширение производства. У нас: сколько государство посчитает нужным вложить инвестиций, столько население и вынуждено будет сберегать.

¹ Стыдливый эвфемизм частников. В 1921 году Ленин не побоялся денационализации и реприватизации мелких и средних предприятий. А мы спустя 70 лет никак не можем латинское «приватная» (прилагательное к слову «собственность») адекватно перевести на русский то «личная», то «индивидуальная», то «отдельных граждан», но никак не «частная». Посмотрите только, с какими ухищрениями пытаются дезавуировать правомерность частного владения «Собственник своего дома... вправе его спалить. Вот он облил свое имущество газOLIном и поджег. Но соседи, озабоченные судьбой собственных домов, вызвали пожарную команду, и... суверенитет владельца оказался ущемленным» («Вопросы экономики» № 9. 1989). Интересно, кому бы это пришло в голову спалить свой дом только затем, чтобы досадить ближайшим соседям?

Рыночный способ достижения макроэкономического равенства надежно предохраняет от инфляции, централизованный (разверсточный) — ее продуцирует. Именно возрастающий переизбыток инвестиций (ложная «стратегия перенакопления») «служит мощным фактором инфляции» («Коммунист» № 13. 1988), делает ее неотвратимой. Здесь разгадка советского феномена инфляции, отсюда закручивается ее пружина. Вот замкнутый цикл инфляционной спирали: мобилизация избыточных инвестиций согласно амбициозным планам бесконечно повторяющегося «крутого рывка», безвозвратное финансирование и дотирование хозяйства, бюджетный дефицит и его эмиссионное покрытие, наконец, в качестве общего отстойника для денежных инфляционных (иллюзорных, нереальных, необеспеченных) избытков в доходах и бюджета, и хозяйства — стремительно накапливающиеся личные сбережения населения, где иллюзорность граничит с фантастикой. Что же дал этот затянувшийся исторический эксперимент, утопический по замыслу, авантюрный по методам, катастрофический по последствиям? Кризис в экономике, только не «классический» кризис перепроизводства, а скорее перенакопления, то есть недопотребления. Изобилие «дешевых» денег ведет к девальвации денежных стимулов. Такую инфляцию называют «подавленной» (как будто ее удавалось «подавить» или хотя бы ограничить надежными заслонами) и «скрытой» (от кого? Только не от рядовых потребителей). Экономика молчаливо отвергает ультрацентралистские, чрезвычайные, волюнтаристские методы управления, и те все больше оборачиваются пустыми ритуальными заклинаниями.

Подлинно дееспособный и эффективный централизм возможен только в качестве органического компонента нормального цивилизованного рынка, опирающегося на него, а не вытесняющего.

Это то, что Ленин называл «мягким руководством дирижера», но его взгляды претерпели весьма существенную и быструю эволюцию — от требования «диктаторской власти» (Т. 36, с. 200) для «дирижеров» в экстремальных, чрезвычайных условиях военного коммунизма до признания, уже при нэпе, если продолжить ленинскую метафору, самодействия всего «оркестра», где каждый участник (исполнитель) «солист», но все вместе «играют» по одним «нотам», подчиняясь совместно выработанному единому замыслу.

Интересно, что в революционную пору у нас возник неожиданный феномен, не имевший, к счастью, продолжения, в самом музыкальном исполнительстве — «Персимфанс» — симфонический ансамбль без дирижера, и это тогда, когда в экономике за пульт уверенно встала аппаратная бюрократия и цепко к нему присосалась.

Только одновременное поэтапное, но четко скоординированное решение трех названных мной дальше задач, включая и денежную реформу, — необходимое и достаточное условие преодоления инфляции и ее неповторения в будущем.

Первая задача — интеграция рынка в единый, цивилизованный и саморегулирующийся рынок, способный заменить собой «барахолки» психологических предубеждений, «толкучки» очередей, «базары» бюрократических согласований. Это достигается полной коммерциализацией экономики.

Одного плюрализма форм собственности (государственной, групповой, частной¹, смешанной) и их равноправия мало. Нужно еще, чтобы ни одна из них не подвергалась разверстке или ее самоновейшим рецидивам вроде чрезвычайных налогов (например, рассчитанных на 15 месяцев). Критика государственной собственности направлена не против нее как таковой, а против сложившихся бюрократических разверсточных форм управления ею. Возможны различные формы коммерческого расчета, но ему не требуются эпитеты «полный» или «подлинный». Рынок — синоним коммерции, торговли.

Предоставляя экономические процессы там, где это только возможно, саморегуляции свободного рынка, можно избежать часто случающихся ошибок вследствие не всегда компетентного вмешательства «силы власти», рынок — единственный контролер, надежно предохраняющий от управленческих ошибок.

Рынок тоже нуждается в рациональной (не аппаратной) бюрократии и сам создаст ее для своих нужд. Но все это не самоцель, а средство для того, чтобы задействовать новые эффективные формы централизации, способные обеспечить подлинно высокий уровень координирующего регулирования из единого центра и добиться постепенного органического включения национального рынка СССР в общемировую, влить его в русло мировых интеграционных процессов, преодолеть автаркию, узко национальную замкнутость экономики.

Новый централизм и консолидированный рынок — не антонимы, не антиподы, не антагонисты, конфронтирующие между собой или соревнующиеся друг с другом подобно бюро-

¹ Если ЧАСТНАЯ, конечно, ЧЕСТНАЯ, извините за каламбур.

кратам из разных ведомств. Это равноправные партнеры, сотрудничающие на равных на основе консенсуса или компромисса. Они не только совместимы, а образуют органическое и нерасторжимое целое.

Вторая задача — комплекс кардинальных реформ бюджетно-финансовой, кредитно-банковской и денежной систем. Экономика, как и общество в целом, должна быть правовой, что исключает повседневный диктат ведомств.

Бюджет должен быть уменьшен до необходимого минимума (его доля в национальном доходе сокращена, по меньшей мере, вдвое), из общего баланса выделены на самостоятельные балансы союзный, республиканские и местные бюджеты, утверждаться они должны не ежегодно, а на пятилетку, а их доходы и расходы тоже нужно консолидировать, то есть базировать на твердых (не чрезвычайных) нормативах: ставках платежей и квотах финансирования.

Недавняя децентрализация банковской системы была ошибкой (как и попытка перевести на многосменную работу станочников, коих не хватает даже для одной смены). Денежное обращение и особенно эмиссия — это традиционная сфера централизма. Жесткая (а в условиях инфляции сверхжесткая) централизация в этой области должна дополняться мягкой индикативной (не директивной) централизацией в сфере производства.

Нынешний Госбанк, кажется, свyksя с ролью функционального структурного и подчиненного подразделения аппарата, и Минфин реально не «испрашивает», а предписывает ему востребовать эмиссию под видом заемных средств, но видимость обманчива, это не ссуда, а передувка по принципу «вынь да положь», то есть разверстка. Будущий центральный (Союзный) банк и единственный эмиссионный центр — Союзбанк — необходимо вывести из сложившихся иерархических структур, гарантировать ему независимость и административно подчинить ему республиканские и остальные коммерческие банки. В США должность председателя совета управляющих Федеральной резервной системой неофициально считается второй после президента этой страны государственной должностью (но все же второй, а не на равных с высшей исполнительной властью, «двоевластия» не возникает). Можно также учесть опыт ФРГ, Японии и т. д. и выбирать компромиссные комбинации.

Как интеграция внутреннего рынка — центральное звено экономической реформы, так банковская реформа — основа нового централизма.

Речь идет о переходе от допотопных военно-феодалных методов управления экономикой на основе «азиатского способа производства» к современным и цивилизованным, от внеэрыночного насилия и произвола — к правовой экономике в условиях демократического гражданского общества.

Третья задача в этом ряду — перевод всего государственного внутреннего долга на цивилизованные методы формирования, для чего в едином консолидированном рынке наряду с рынками товаров, труда, инвестиций надо предусмотреть свободный рынок ценных бумаг, то есть процентных, срочных и возвратных долговых обязательств государства либо предприятий.

Повторю вопрос, на который уже отвечал: что удерживает вклады на сберкнижках? В том-то и дело, что не депозитный процент. Как же быть со сбережениями, заработанными большей частью честным трудом? Не находя выхода, они оказывают давление на вкладчиков-депонентов (сберкнижки) и владельцев (кубышки), вызывают напряжение на потребительском рынке. Чтобы снять это напряжение, когда товаров нет, нужно предложить «финансовые товары» — возможность выгодного вложения денег, означающего их временную тезаврацию (отключение из активного экономического оборота). Речь идет в данном случае не о сокращении денежной массы, а частичном переводе ее из «мертвого груза», тяжким бременем давящего на экономику, в формы, выгодные не только хозяевам сбережений, но и застоявшейся экономике.

Теперь поясню, как на рынке ценных бумаг происходит их свободная котировка. Допустим, государство предлагает для свободной купли-продажи облигации нарицательной стоимостью в 100 рублей (или любого иного достоинства), обязуясь выплатить эту сумму, скажем, через 10 лет. Продажа одной такой облигации за 75 рублей означала бы, что сумма, израсходованная на покупку, возрастет через 10 лет в 1,3 раза, что равносильно депозитной ставке в 3 процента годовых ($1,03^{10} = 1,3$) — чуть больше существующего среднего депозитного процента в Сбербанке. Покупатель остановится перед выбором между облигацией и сберкнижкой, откуда вклад забрать легче, а цена облигации может ведь и упасть. Продажная цена облигации в 50 рублей равнозначна 7 процентам годовых (рост за 10 лет в 2 раза), в 25 рублей — 15 процентам годовых (рост в 4 раза).

Покупатель выбирает цену, естественно, исходя из вероятной выгоды. Если, к примеру, инфляция больше 7 процентов в год, вряд ли кто-либо согласится приобрести 100-рублевую облигацию за 50 рублей. Свободная котировка установит цену ниже, иначе облигацию никто не купит.

«Думаю, и свободная котировка государственных долговых обязательств не повредит престижу нашего государства», — считает В. Богачев, но относит «6—7-процентный внутренний долг» ко «всяким, какие только можно выдумать, способам подстегивания темпов инфляции» («Коммунист» № 3. 1989). Пусть читатель не спешит делать отсюда логический вывод, что подстегивание инфляции не повредит нашему престижу: логика в приведенных высказываниях и не ночевала. Имея в виду не только психологические предубеждения, но и известный консерватизм и нерасчетливую прижимистость Минфина (давнего и безнадежно-го банкрота), я отдавал предпочтение не гособлигациям, а облигациям и акциям предприятий, способных платить весомые проценты и дивиденды. Теперь появляется возможность выкупа некоторых предприятий в собственность их коллективов (это не только наиболее верный способ отключения горячего спроса, но и наиболее продуктивный: за дивиденды коллективы будут работать не за страх, а за совесть). Именно о таких процессах В. Богачев пишет, что они приобретают «ненужные обществу формы», что общество разбилось «по корпоративным, групповым, национальным закоулкам». Это республики-то — «закоулки» вседержавного центра? Здесь слышится ностальгический вой по застою. Общие (то есть суммарные, итоговые) цели и интересы не распадаются и разбредаются, а складываются из отдельных (частных), и задача планирования (с ней оно пока не справлялось) объединить их в нечто целостное.

Сила есть — ума не надо

Придав деньгам ключевую роль и требуя именно с них начинать реформу, В. Богачев неожиданно (снова парадокс?) в дилемме «либо сила, либо рубль» высказывается в пользу «силы власти».

Что-то в последнее время потянуло с печатных страниц ностальгической тоской по «твердой руке», мечтой о «хозяине» и отозвалось наконец звонким окриком «силы власти» вместо (или против?) денег. Иные интеллектуалы, оказывается, изныли по «крепкой руке» и с первыми проблесками свободы уже не приемлют иной воли, кроме «железной».

Если деньги болезненно немощны, какую же «силу» им можно противопоставить? Только здоровые и крепкие деньги. Ничего лучшего (или хотя бы равноценного) человечество за долгие века цивилизации не придумало.

Деньги — продукт рынка, один из его инструментов (рынок — понятие родовое, деньги — видовое). Но в не меньшей, если не в большей степени, чем продукт рынка, деньги — продукт государства. Чеканка металлических и печатание бумажных денег — монополия государства (разных его институтов). Деньги — это всегда сила государственной власти, сила ее политического авторитета и социального престижа. Более того, сила власти и изменяется силой денег. Больны деньги — значит, что-то не то с силой власти.

Можно ли деньги, одну из прерогатив государства, подменить или компенсировать другими его прерогативами? Но тогда зачем вообще деньги? В пору военного коммунизма инфляция достигала таких масштабов, что центр не успевал печатать и рассылать деньги по регионам, наличной денежной массы не хватало и кое-где печатались «местные» деньги (уйма экспонатов будет в музее денег). Сейчас это повторяется в виде областных талонов, то есть суррогатов денег, не говоря уже о «местных» валютах (литах, латах, кронах).

При столь очевидных центробежных тенденциях экономическая реформа без денежной — пустой звук. Не буду притворяться, что не понимаю, к чему клонит В. Богачев — сторонник «централизованного контроля доходов» и «жестких мер рестрикции», то есть новых рецидивов разверстки. «Сила власти» помимо денег — это заурядное злоупотребление властью, попирающее нормы и экономики, и правового государства. Вопрос в том, быть ли централизму подлинно демократическим (необходимая коррекция к автоматической самонастройке цивилизованного рынка) или оставаться деспотически директивным (это управление скоростью при не работающем, давно заглушем моторе).

Вопрос не в том, нужны ли экстренные и экстраординарные меры, а лишь в том, насколько те или иные меры эффективны и принесут ли результаты, на какие рассчитаны. Можно ли, опираясь на политическую мощь и непреклонную волю государства, вернуть деньгам утраченное доверие с помощью насилия, запретов, принудительности, чрезвычайных мер и методов? Если примеров из собственной истории мало, приведу другой.

Римский император Диоклетиан — бесспорно, «сильный» диктатор, установивший неограниченную монархию (это он расстрелял тысячу стрел Себастиана, будущего христианского святого) — являет собой поучительный пример азартного, оголтелого употребления «силы власти» против рынка и денег. Инфляция при нем достигала фантастических масштабов, особенно после того, как он уменьшил содержание металла в медном динарии и ввел баснословные подати. Расплачиваться приходилось не монетами, а фолисами — опечатанными казной мешочками с большим числом монет. Чтобы отнестись домой покупку в кармане или под мышкой, деньги приходилось везти на рынок в повозке с лошадью. В конце концов взбунтовались солдаты, требуя жалованья натурой. Тогда (в 301 году) Диоклетиан издал печально знаменитый, ставший одиозным эдикт о ценах, «выше которых никто не может взимать».

Эдикт этот, выбитый на каменных плитах (подлинно каменная твердолобость: можно поручиться, что за тыльной стороной плит втихую шла бойкая торговля по красным ценам), был отменен сразу же после смерти Диоклетиана, а вслед за тем началась чеканка новой монеты — золотого солида (отсюда русское «солидный»), образца для будущей Европы. Каменные плиты Диоклетиана сохранились для нас вечным надгробием разнузданной «силы власти», свидетельством ее позорного провала.

А что сохранится от нашего бурного времени? Грандиозные планы, оставшиеся на бумаге? Проценты роста, показываемые статистикой? Колхозы, изначально служившие натуральными вотчинами спецраспределителей? Лысенковская «ветвистая пшеница»? Или развесистая клюква ведущих экономистов?

Чего же нам не хватает? Конструктивных предложений? Оказывается, «теории переходных состояний». Ждите: владение риторикой и фразеологией, превалирующее над логикой, достигнет новой степени совершенства. Идет разверстка политических ярлыков: современное состояние комментируется как размежевание правых консерваторов и леворадикалов. Пустая фраза. Есть догматизм и творческий подход, реализм и прожектерство, тоталитаризм и демократия. Персонафикация этих тенденций рискованна. В свое время деление противников Сталина на левых и правых было нарочито искусственной, но удобной схемой, облегчавшей ему политическую борьбу, но слабо соотносилось с реалиями. И с этой стороны изобретенный Сталиным правотроцкистский (то есть «право-левый») блок не был сплошной бессмыслицей. Линия же Сталина, представляемая как центристская, якобы избегающая крайностей левого и правого уклонов, на самом деле и была самым чудовищным уклонением от социализма классиков. Сейчас обветшавшую схему пытаются возродить тоже в погоне за лоском центристской «золотой середины». Имеет значение не заявленное знание, а реальная позиция. Есть радикализм Нины Андреевой — и есть радикализм Андрея Дмитриевича Сахарова, их разделяет пропасть. Зато «умеренный» радикализм смыкается и прикрывает порой безмерный консерватизм, который тоже надо дифференцировать, выделив в его составе в конце концов ответвление сверхрадикального консерватизма.

В. Богачев бросил клич: «Сокращайте денежную массу!» («Коммунист» № 3. 1989). И следом вновь развернулась энергичная кампания кондово-консервативного централизма по замораживанию роста зарплаты. Теперь мы знаем: успеха это не принесло, добиться сокращения массы «неликвидных» денег не удалось¹.

Чего добились недовольной политикой ограничений сложившегося роста зарплаты, временных задержек в ее выплатах, а подчас и снижения ее уровня? Помимо пробуксовки экономической реформы ее последствием стала волна забастовок и стачек, причем естественные требования бастующих были быстро удовлетворены. Особое и вполне законное недовольство вызывало снижение сдельных расценок (их подгонка по разверстке под достигнутый уровень производительности труда) при сохранении твердых окладов для канцеляристов.

Перед нами напоминающее дурной фарс противоборство «силы власти» с объективными тенденциями. Верх берет «стихия», опрокидывая тщетные усилия изжившего себя централизма. Рост зарплаты не удастся попридержаться. Тут бы сторонникам «жестких рестрикций» задуматься, приостановиться, переориентироваться, умерить пыль. Куда там.

«Сила власти» продолжает уповать на внеэкономическое принуждение и на его слабосильных плечах надеется внести рынок в экономику. Нет ли здесь тайной надежды «приручить» рынок до его рождения, превратив в одну из своих иерархических структур? Ибо

¹ В разгар кампании были названы цифры (заведомо округленные), которых статистика не дает: прирост денежных доходов населения в первом полугодии 1989 года по сравнению с первым полугодием 1988 года составил 28 миллиардов рублей (Ю. Д. Маслюков. «Правда» от 5 августа 1989 года) или 12 процентов (Н. И. Рыжков. «Аргументы и факты» № 33. 1989).

подлинный рынок — могильщик бюрократического централизма, который не в силах провести даже чрезвычайные меры и сам выносит себе приговор. Надо ли и дальше консервировать такой несостоятельный централизм, если его потуги неизменно опрокидываются экономикой?

Отчаявшись подогнать прирост товарного предложения, чтобы уравновесить рынок, «сила власти» принялась сокращать прирост доходов, тогда как главный фактор рыночной несбалансированности не в текущих доходах, а в прошлых сбережениях. И вместо того, чтобы размораживать сбережения, не нашли ничего лучше, как вдобавок заморозить и рост доходов (при растущих-то ценах). Отсюда явный перевес откровенно фискальных мер, которые обречены с самого начала. Они создают больше проблем, чем решают.

Чрезвычайные меры следовало бы назвать чрезвычайно отчаянными. Дестабилизация рубля усилится. Если 12—13-процентный рост доходов в 1989 году обеспечил всего несколько процентов прироста производства, то вряд ли больше можно ожидать при сокращении роста доходов до 3—4 процентов, как это предусмотрено чрезвычайным налогообложением. Многие не захотят зарабатывать больше необлагаемого процента роста либо попытаются скрыть дополнительные заработки. Из видимого русла инфляция устремится в незидимое, умножая и без того широкий спектр хозяйственных преступлений. Темп экономического роста снизится при обострении кризиса в производстве промежуточных продуктов, необходимых и для изготовления потребительских товаров. А фиск не получит той прибавки своих доходов, на какую рассчитывает. Востребованные «чрезвычайные полномочия» обернулись блефом. Упрямая пружина инфляции закручивается все туже, все энергичнее. А попятное движение дискредитирует поступательный путь вперед.

Главное зло в привычной, традиционной, заурадной психологии разверстки: чем больше заработаешь, тем непропорционально больше заплатишь (то есть сам себя накажешь, чтобы впредь согласно заповеди «не высывался»). И пора наконец этой психологии противопоставить принцип твердого налога. Тогда и производство будет беспрепятственно расти, и фиск получит верные поступления. Только тут выход.

Перед Рубиконом

Попытки взять инфляцию штурмом обречены, требуется длительная осада.

Вопрос лишь в том, как наиболее безболезненно, с наименьшими потерями выйти из ситуации денежного кризиса. Борясь с инфляцией, нужно стимулировать, а не сдерживать рост производства, не провоцировать массовое недовольство, протесты, забастовки, демонстрации, социальную напряженность, не придумывать новые налоги (по существу, это надбавка к инфляционному «налогу»), наказывающие за трудовую активность и добросовестность.

Коль скоро инфляция существует, нельзя снижать устоявшиеся темпы роста денежных доходов, чтобы стимулы к труду и производству, и так сникшие, не зачахли вконец. Темпы роста доходов должны превосходить темпы инфляции, компенсируя задним числом их реальное обесценение.

Беспрепятственный, искусственно не сдерживаемый рост доходов — это в создавшихся условиях единственный способ сдвинуть производство с мертвой точки и удержать сбережения в состоянии относительной тезаврации.

Пусть зарплата растет, как росла, быстрее производительности труда и выше априорно заданных темпов роста. Почему она повышена (иногда чуть ли не вдвое) только работникам аппарата? Мне не хватит места перечислять всех, кто в этом нуждается, читатели это знают сами. Знает и правительство.

Пусть доходы в государственном секторе растут, постепенно подравняваясь к доходам кооператоров и частных, это снимет опасное социальное напряжение, сложившееся сейчас именно по причине большой разницы в доходах.

Пора разгрузить дырявый госбюджет от ежегодного массива социально-культурного бюджета, выплатив всю сумму последнего на руки населению наличными в виде прибавок к текущим доходам (зарплате, пенсиям, пособиям и т. д.). Пусть население распоряжается ими по своему усмотрению, а государственные социально-культурные учреждения концентрируют с соответствующими кооперативами за привлечение клиентов. Все услуги станут номинально платными (при сохранении бюджета социального страхования вне рамок госбюджета, а в руках профсоюзов), все предприятия, от государственных до приват-

ных, перейдут на коммерческий расчет, заботясь о качестве оказываемых услуг и их расширении до полного товарного насыщения.

Ликвидация безденежного рынка — надежный способ навсегда преодолеть хронический дефицит госбюджета и кардинально укрепить рубль как единственную правовую гарантию на приобретение любых благ (изделий и услуг).

Пусть доходы для всех возрастут — хоть вдвое, хоть больше. Ухудшит ли это ситуацию? Нисколько. Чем больше текущие доходы превысят прошлые (пока не обеспеченные товарами) сбережения, тем лучше. Относительно обесценятся сбережения, но в той же мере поднимется престиж текущей оплаты за труд, подкрепляя стимулы к расширению производства. Как я уже говорил, надо повысить депозитный процент по вкладам на сберкнижках, а кубышки перевести в облигации и акции с длительными сроками тазаврации (хранения). Государственный внутренний долг обретет наконец цивилизованные формы.

Если и доходы, и цены будут расти равным темпом, никто не проиграет.

Все это означает подтянуть тылы для решительного наступления на инфляцию. Главное, чтобы производство вышло из длительного застоя.

Даже если товарное наполнение рынка будет расти запланированными повышенными темпами, уйдет с десятков лет, пока удастся насытить прошлые «неликвидные» денежные запасы населения, но за это время успеет вырасти и новый бестоварный спрос. Народ устал ждать. Это исключает постепенный, слишком длительный выход из денежного кризиса, требующий большого терпения, железной выдержки, чересчур долгих ожиданий.

Давно пора наконец объявить реальный валютный курс рубля, без чего государство лишается валютных поступлений, утекающих по расширяющимся каналам «черного» рынка — исконного и главного дестабилизатора рубля.

Но это уже означает девальвацию рубля, то есть денежную реформу.

Свободная конвертируемость рубля — необходимое условие и средство полной разгерметизации нашей экономики, долгие десятилетия закупоренной в самоизоляции, как в тюрьме, со всеми издержками и потерями автаркии.

Но переход к конвертабельной валюте — это тоже денежная реформа. Она не имеет альтернативы. Иной путь — это дополнительная проверка на выносливость истощенного долготерпения, новая оттяжка, передвигающая радикальные решения в неопределенное будущее «после нас».

Посмотрим, что предлагают взамен. Снова разверстка? Но это хуже реформы, больше того, это верное условие для череды реформ, как это уже и было.

Повышение цен? Допустим, товарная и денежная масса на определенный момент сравняются, а что потом? Переход к более высокому уровню цен не предотвратит необходимости их нового повышения, если товарная масса будет расти недостаточно быстро. Между тем стимулы к труду, и без того обескровленные, особенно чутки к повышению цен и отреагируют таким падением, что вряд ли рост физического объема производства и товарооборота окажется достаточным. Это мера сколь простая (она первой приходит в голову, но не требует большого ума), столь и бессмысленная, бесперспективная и социально опасная (психология потребителей слишком долго формировалась в условиях окаменевших цен). К тому же средние цены реализации и так безбожно растут, чего больше?

Цикл предложений касается распродаж государственного имущества в виде «выкупов». Это допустимо, но столь радикального и уверенного результата, как денежная реформа, не даст. Следует опасаться, чтобы «выкупы» не создавали слишком узкого привилегированного слоя, не вызывали накала страстей (с требованиями последующей «экспроприации»).

Выкуп предприятий в собственность коллективов — один из магистральных путей экономической реформы. Но выкуп небольших предприятий частными лицами должен обязательно носить массовый характер и быть доступным для подавляющего большинства активно работающих членов общества.

«Выкуп» земли крестьянами? Но она по праву принадлежит тем, кто ее обрабатывает, а фиску с лихвой хватит платы за ее аренду. «Выкуп» земельных участков горожанами? Достаточно будет и того, что те возьмут на себя рентные платежи и расходы по окультуриванию и созданию коммуникаций.

«Выкуп» жильцами квартир, где они уже живут? Но они их давно окупили не только квартилой: существующий уровень заработной платы предусматривает негласный «вычет» в пользу государственных капиталовложений в жилищное строительство. В таком случае жилье надо отдать жильцам безвозмездно, за глаза хватит и того, что они возьмут на себя эксплуатационные расходы, не покрываемые сейчас «самой низкой в мире» кварт-

платой. Равноценный вариант: в одноразовом порядке распределить названный годовой «вычет» между доходами населения и пустить новые благоустроенные квартиры в свободную куплю-продажу. Цена должна быть доступна не единицам, не тысячам, а сотням тысяч высококвалифицированных специалистов. Опасаться, повторяю, нужно сильного социального расслоения, которое и сейчас велико и создает в бедном Отечестве нашем предубеждение против «богатых».

При засилии фискальных интересов «выкуп» нельзя превращать в грабег.

Наиболее интересные и содержательные советы исходят от американских специалистов — ученых и банкиров. Все они сходятся на необходимости денежной реформы и введения нового рубля (или червонца), с чем я согласен. О расхождении, касающихся содержания реформы, скажу дальше. Как и уважаемый В. Леонтьев, я высоко оцениваю советскую денежную реформу 1922 года, но считаю ее повторение в сложившихся условиях недостаточно эффективным, поэтому предложенный им обменный курс из расчета пять старых рублей за один новый («Аргументы и факты» № 16. 1989) в моем варианте выглядел бы скорее как обратный: пять новых рублей за один старый. В предложениях американцев присутствует здравый смысл, какой трудно подчас найти у советских авторов, хотя, казалось бы, должно было бы быть наоборот.

Закупить в кредит за рубежом недостающую товарную массу? Это значит трансформировать внутренний долг во внешний, переложив его, таким образом, на будущие поколения, на детей и внуков. Впрочем, немало нелепостей и в действующей практике. Стоит ли, к примеру, закупать за рубежом мыло? Не проще ли сосудить валютные кооперативы для закупки оборудования и полного насыщения внутреннего рынка столь не «стратегическим» товаром?

Заложить или распродать золотой запас? Ох, не прогореть бы, повинувшись минутным эмоциональным всплескам. А что потом? Ведь в долговременном аспекте речь идет о столь важном факторе поддержания устойчивости рубля. Можно и нужно торговать золотом на мировом рынке, не только продавать, но и покупать, но на основе квалифицированного дилинга. Что делает дилер (посредник, перекупщик), желая продать золото, когда цена на него падает? Он не продает, а покупает и, только подняв цену, учув момент, приступает к распродаже. Но пустить в разрекламированную, афишированную распродажу громадный золотой запас значило бы сбить мировые цены на золото и понести потери едва ли не большие, чем от падения цен на нефть. Боюсь, как бы самые благожелательные американцы не посчитали нас дураками или сумасшедшими, с которыми опасно иметь дело как с партнерами.

Наконец, самое последнее предложение — ввести карточное распределение. Это кратковременное облегчение (вроде обезболивающего укола), а в долговременном аспекте не приходится рассчитывать на восстановление таким путем нормального обмена веществ и кровотока в обессиленном болезнями организме. Карточки довершают систему разверстки, делая ее всеобщей (это обратная сторона пресловутой продразверстки). Итак, круг предложений замкнулся. Что же в итоге? Инфляция, рост бестоварного денежного спроса, наконец, «черный» рынок остаются и при карточках, введение таких суррогатов денег означает не только признание, но и закрепление бессилия самих денег, которые уже никогда не станут полноценными, превратившись в не имеющий никакого значения пустой номинал. Тогда карточки — это преддверие денежной реформы.

Реформу 16 декабря 1947 года, отменившую карточки, Сталин (как вспоминал потом министр финансов А. Г. Зверев) назвал «последней жертвой» на алтарь ненасытной инфляции. «Жертву» списали на войну (теперь спишем на сталинскую модель казенно-бюрократического социализма), но «последней» она не была, не предотвратив новой реформы спустя 13 лет (1.1.1961).

Обе реформы готовились келейно и тайно, на особой секретности настаивал Сталин (но и тогда сохранить тайну не удалось: молва прокатилась по стране до далекого Севера, где кубышки спешно переводили на сберкнижки). Обе реформы проводились неожиданно на одну дату, обе в условиях тотального безраздельного господства разверстки и сами были разновидностью разверстки, то есть «экспроприации».

Это было списание (как списывают безнадежные и невосполнимые убытки) накопившегося к моменту реформ государственного внутреннего долга за счет заимодавцев, с тем чтобы... с нуля начать его новый рост. Обе реформы перераспределили (разверстали) денежную массу между населением и государством в пользу государства, инфляции же и ее причин не затронули, сохранив весь механизм ее возникновения и нагнетания. Это были акты сугубо централистские и сводились к одноразовому изъятию из обращения разбухшей

денежной массы с чисто номинальным изменением внешнего вида денежных купюр. Обе реформы означали обмен старых купюр на новые, то есть формальный выкуп старых купюр с последующим изъятием из обращения.

Обе реформы были ревальвациями (нарицательное повышение номинала рубля), по-видимому, из чисто престижных соображений. (Косвенная девальвация в 1961 году касалась лишь «золотого содержания» рубля, то есть затрагивала лишь его внешний декорум, но не реальное содержание, обе реформы ориентировались на внутренний оборот в условиях полной автаркии.)

Реформы на короткое время приостановили инфляцию, не устранив ее основу. Повторять их сейчас было бы худшим злом, чем сама инфляция.

Я изложу только принципиальные аспекты возможной мягкой и постепенной денежной реформы, обходя слишком специальные детали. Нужна не однократная (на «круглую» дату), а многоэтапная и длительная реформа без обязательного (принудительного) выкупа (обмена) старых дензнаков на новые, с гарантией неповторения подобных экстремистских мер даже в отдаленном будущем.

Денежная реформа оправдана только в случае, если потери от нее меньше, чем от инфляции, а уверенный выигрыш избавляет от будущих потерь. Вопрос в том, как справедливо распределить потери между социальными группами и поколениями. Думаю, предпочтение должно быть на стороне тех, кто трудится и создает экономические ценности сейчас, на стороне текущих доходов, а не прошлых сбережений. Приоритет отдается людям труда: им трудиться сегодня и завтра, им оживлять зачехлившую экономическую жизнь и наращивать потенциал страны.

Речь идет о продуманной сложной системе своего рода «шлюзования», устойчиво поддерживающей обесиленную экономику «на плаву» при постепенном безболезненном оттоке неминуемо разбавляющейся денежной массы.

Единство рынка обеспечивается единством денежной единицы, его обслуживающей, а эффективное управление денежной массой возможно только при условии строгой централизации. Суррогаты «местной» валюты способны стать сильным и опасным конкурентом рубля, подорвать его вконец. Приостановить эти тенденции у последней черты и призвана новая, неоднодневная денежная реформа: Союзбанк (в качестве банка банков, единого эмиссионного центра), не откладывая в долгий ящик, наряду и наравне со старым рублем выпускает в обращение мелкими партиями новый — свободно конвертируемый рубль, равняясь не на мифическое «золотое содержание», а приравняв новый рубль к мировым валютам (найти приемлемые паритеты — дело техники).

Введение новой национальной валюты (вначале в малых объемах и ограниченных сферах обращения) преследует цель постепенного расширения сферы ее обращения сначала на внутреннем, а потом и на внешнем рынках.

Это не значит, что признание нового рубля мировым сообществом наступит сразу — реформа рассчитана на многоэтапность. Конвертабельность рубля поначалу будет ограниченной и внутренней (в пределах внутреннего рынка), но конечная цель реформы — полная конвертабельность (снятие или отказ от любых валютных ограничений и жесткого валютного регулирования).

Предположим, что внутренний обменный курс равен трем новым рублям за один старый. Старые рубли не подлежат принудительному «выкупу», не изымаются из обращения и циркулируют на всех этапах реформы.

Речь идет о девальвации (признание, что покупательная способность денег не может обеспечиваться по прежней нарицательной стоимости).

Новая денежная единица освобождается от изжитого атавизма «золотого стандарта» («обеспечивается золотом, драгоценными металлами и прочими активами...» и «всем достоянием СССР») и ориентируется на реальный плавающий валютный курс по отношению к свободно конвертируемым мировым валютам («свободно размещается на любые иностранные валюты по их текущему курсу всеми учреждениями Союзбанка на территории СССР и в любых частных сделках»). Свободный размен (конверсия) нового рубля на золото никоим образом не предусматривается, а цена золота формируется конъюнктурой внутреннего рынка (и может повышаться, так как после почти 5-кратного удорожания за 20 лет в магазинах Ювелирторга золото продолжает усиленно тазавриваться и вывозиться частными лицами за пределы страны).

Выпуски новых рублей надежно обеспечиваются достаточными товарными ресурсами (включая самый острый дефицит) в рознице («Березки», новые отделы крупных магазинов,

вновь открываемые маркиеты), строго лимитируются и гарантированно обеспечиваются инвалютными и золотыми запасами.

Спрос на новые рубли должен неизменно превышать их предложение (их поступление в оборот). Их выпуск будет ограничен: первоначально ими будут оплачиваться только госзаказы (чей объем придется, возможно, сократить), внутренние поставки совместных предприятий, а также поставки, ограничивающие импорт. Эти предприятия получат возможность расплачиваться новыми деньгами со своими работниками, а также поставщиками (например, торговые фирмы — с сельскохозяйственными кооперативами). Начнется конкурентная борьба за госзаказы, от которых сейчас стараются увильнуть.

На этих этапах следует рационализировать налогообложение и ценообразование, но отказаться от централизованного перераспределения заработанных денег. Рестрикции допустимы только в одном случае — если не обеспечивается достаточная оборачиваемость денег (интенсификация их оборота).

Последовательное расширение сферы оборота новых денег будет идти вместе и строго в меру расширения реальных товарных ресурсов.

С начала реформы и доходы, и цены в новых рублях номинально возрастут втрое, затем движение обменного курса надо всецело предоставить саморегуляции рынка, сохраняя эффективные средства централизованного воздействия. Введение новых рублей разделит денежную массу в обращении, а вместе с тем и рынок на две сферы. Это позволит сразу же локализовать инфляционные процессы в пределах оборота старых рублей, где инфляция будет продолжаться, ибо остановить ее невозможно: старый рубль, имеющийся в явном избытке, остается инфляционным и иным уже никогда не будет.

Новый же рубль с самого начала является дефляционным, и обслуживаемая им сфера рынка станет зародышем, генератором и катализатором последующей многоэтапной интеграции рынка, возрождения его единства.

После того как новый (свободно конвертируемый) рубль, ориентированный первоначально преимущественно на внутренний рынок, завоеует на нем доминирующее положение, возрождающееся единство рынка не потерпит долго двойных цен, они рано или поздно сравняются. Это будет означать повышение обменного курса нового рубля втрое и соответственное обесценение старых рублей. «Бегство от старых денег», имеющее место сейчас, трансформируется в «погоню за новыми». Полное товарное обеспечение, беспрепятственный обмен на любую инвалюту, возможность свободных туристических поездок за границу — все это будет поддерживать и подстегивать неснижающийся спрос на новые рубли, их обменный курс будет повышаться.

Прочное положение на внутреннем рынке благоприятно повлияет и на котировку нового рубля на мировом рынке и международные позиции новой валюты. Предприятия, располагающие резервами новых денег, могут продавать их мелкими партиями на аукционах за старые: обменный курс первых будет неизменно повышаться, поддерживая и их международный валютный курс.

Это будет побуждать продавцов кооперативно-индивидуального сектора снижать свои цены в новых рублях. Такая тенденция станет устойчивой по всем позициям крепнущего товарного рынка, кроме одной: на товарном рынке золота сохраняется государственная монополия, удерживающая уровень цены, не допускающий истощения золотых запасов — опоры новой валюты.

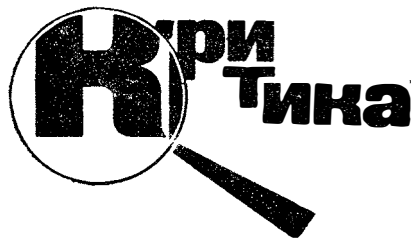
Союзбанк может выпустить на рынок ценных бумаг облигации невысокой нарицательной стоимости для продажи на старые деньги (с достаточно длительными сроками тезаврации), облигации, скорее всего, будут котироваться по ценам больше нарицательной стоимости, что позволит ставку процента, первоначально резко повышенную, понизить до нормального уровня.

Когда «погоня» за новым рублем выльется в «погоню» продавцов за покупателями (прочно забытая ситуация), а города и поселки засверкают яркой и веселой рекламой «Покупайте... Приобретайте... Заказывайте...», это станет долгожданным свидетельством нормализации положения.

Так, постепенно и спонтанно, повинувшись саморегуляции рынка, новый рубль будет все больше сужать сферу оборота инфляционных денег, пока они сами не уступят место, а сфера оборота новых рублей сама собой охватит полностью и без остатка весь рынок, сделав его в конце концов единым и безынфляционным.

Александр Архангельский

Наследие и наследники



ВЗГЛЯД НА АРХИВНЫЕ РАЗДЕЛЫ
ТЕКУЩЕЙ ПЕРИОДИКИ

НАСЛЕДОВАНИЕ, переход имущества умершего <...> к его наследникам. <...> Н. по закону обычно имеет место при отсутствии завещания. <...> НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ, свойство организмов повторять в ряду поколений сходные типы <...> индивидуального развития <...>

Советский энциклопедический словарь

Было два знаменитых высказывания. Одно о некрофилии в связи с только-только начинавшейся в 1986 году волной публикаций из литературного наследия. Другое — о писателе как душеприказчике народа. Над авторами высказываний дружно посмеялись; первому объяснили, что «некрофилией» принято называть половое влечение к трупам, второму — что душеприказчиком можно стать лишь после кончины завещателя. Вскоре все затихло, и трагикомическая история канула в прошлое, ибо если то была некрофилия — какое же имя подобрать для нынешней ситуации? Три года прошло, а попробуйте открыть первые номера «толстых» журналов за 1990-й:

«Новый мир» — бердяевская подборка, подготовленная Ренатой Гальцевой в постоянной рубрике «Из истории русской общественной мысли»; рассказ Юрия Домбровского; «Мысли, воспоминания, картины» В. Г. Короленко;

«Звезда» — замечательная, пронзительная книга воспоминаний покойного генерала Петра Григоренко;

«Литературная Грузия» — роман Г. Робакидзе «Хранители Грааля»; «Кодры» — поэма Д. С. Мережковского «Франциск Ассизский», продолжение набоковской «Лолиты».

Даже «Молодая гвардия», жертвенно посвятившая себя защите нашего славного прошлого от очернительских происков инородцев, но строго соблюдавшая мораторий на архивные публикации из этого

самого прошлого¹, в конце концов не выдержала. В февральской книжке редакция «превозмогла обожанье» к Б. Л. Пастернаку и перепечатала два его хрестоматийных стихотворения — «На ранних поездах» и «Победитель». Пусть каждый образованный человек знает их наизусть — нынешняя «Молодая гвардия» рассчитана на другого читателя. И то, что она не устояла перед общим соблазном, характерно.

А «Литературная учеба», увеличившая свой тираж в 36 раз именно благодаря обещанной публикации «из прошлого» (о которой предстоит сказать особо), просто на 2/3 состоит из архива. Дневники М. М. Пришвина, переписка В. В. Розанова и священника Павла Флоренского, новый перевод Евангелия от Матфея... Обложка уже претерпела некоторые стилистические изменения — в ней чувствуется образная отсылка к рождественским и пасхальным открыткам начала века; вместо «N» значится — книга I; все это похоже на приготовление к смене вывески и преобразо-

¹ Между тем — уже не шутя — поле деятельности для журнала с таким направлением тут необозримо. «Новый мир» (№ 2. 1990), «Взгляд» (М. 1990) печатают дневники А. Кондратовича о последнем годе «Нового мира». Но где могут появиться дневники и письма В. Кочетова времен войны с «Новым миром»? Или стенограммы заседаний СП СССР эпохи «борьбы с космополитизмом»? Мемуары высокопоставленных сталинистов — не мистифицированные, как в случае с посмертной публикацией «бесед» журналиста В. Литова с И. А. Венедиктовым (№ 4. 1989), а подлинные? Утвердись подобный раздел в «Молодой гвардии», я лично стал бы ее верным подписчиком: история без полноты информации и учета всех точек зрения превращается в миф.

ванию в альманахах... не знаю уж, как он будет называться — «Русский альманах» или «Русский православный вестник», но, кажется, дело идет к тому. А вслед за «Литучебой» и другие журналы будут отваливаться от усыхающего древа современной литературы, никуда не денешься.

Мог ли кто предсказать все это в «некрофильском» 1986 году?

В тот «установочный» период легализации и первоначального накопления наследия иной реакции на писательские благоглупости насчет «некрофилии» и «душеприказчества», кроме возмущенного смеха, и быть не могло. А после стало не до них. Но теперь, когда ничто «архивному» процессу не угрожает, пришла пора вспомнить их, чтобы воспользоваться как поводом для постановки двух пересекающихся проблем.

— Чье наследие? Наше ли оно «по завещанию» или принадлежит нам ничуть не больше, чем наследие древних римлян жителям современного Рима, древнегреческое — нынешним грекам, древнеегипетское — сегодняшним арабам, ветхозаветное — теперешним иудеям?

— Живо ли прошлое, которое мы сейчас так активно наследуем, способно ли продлиться в нас, повторив «в ряду поколений сходные типы... индивидуального развития», или вопрос о нем, как о всяком «нормальном» наследии, встает по смерти «завещателя»? И, если это горькое сравнение верно, нельзя ли на каких-то условиях стать наследником хотя бы «по закону»? То есть:

кто мы на самом деле, душеприказчики или сыновья? некрофилы или жизнелюбы?

Задумывались об этом и раньше.

На самом излете 70-х в Центральном доме литераторов состоялась получившая скандальную известность дискуссия на тему «Классика и мы». Только теперь она нашла издателя; в «Москве» №№ 1-3. 1990. напечатана расшифровка сохранившейся магнитофонной записи. Об эпатажных выступлениях после, а пока о самой классике. Много было предложено тогда определений, но, если схематизировать, все их многообразие сводится к трем тонам.

Классика — это то, что нас возвышает. что испытует наши души высотой нравственного примера (И. Золотусский).

Классика есть та духовная традиция народа, которую мы сейчас по мере сил продолжаем (Ю. Селезнев).

Классика для нынешних поколений — «это все накопленное культурой, с чем нельзя отождествиться» (И. Роднянская)¹.

По законам того глобального времени дискуссия была названа всеохватно, чтобы избежать опасной конкретики. Но разговор все равно прорывался к ней, да и в подтексте многих выступлений чувствовалось: оратор говорит не столько о классике вообще, сколько о той ее хронологически ограниченной части, которую мы теперь именуем «наследием»: рубеж веков, пред- и сразу послереволюционные времена, эмиграция первой волны, реже — потаенная часть творчества последнего «досоветского» поколения писателей, созданная уже в советскую эпоху, но укорененная в прошлом. Обостренное внимание именно к этому, предельно узкому слою отечественной культуры нельзя объяснить только слабостью запретного плода. Фактически запрещены были не только Бердяев или Евгений Трубецкой, но и Хомяков, и Чаадаев, и Бакунин, но мало, слишком мало кто тосковал о них. Да и сейчас архивы последних «распечатываются» в специальных изданиях, тогда как и Бердяеву, и Трубецкому место находится в журналах, выходящих миллионным тиражом — «Юность» (соответственно №№ 11 за 1989 и № 3 за 1990 год), «Огонек», «Новый мир»... И дело здесь не в тех или иных искусственно преданных забвению именах или сброшенных «с парохода современности» произведениях. Дело во *временной границе*, к которой волею судьбы они оказались приближены и которая совершила преполовинение нашей истории на «прошлое» и «настоящее». В 70-е годы мы читали из-под полы, а сейчас открыто, в журналах письма Короленко и «Несвоевременные мысли» Горького, «Четвертую прозу» О. Мандельштама и «Смысл истории» Н. Бердяева, мрачноватую эссеистику Мережковского и пылающие протуберанцами мемуа-

¹ Очевидно, что первый и последний подходы при всем различии внутренне ближе друг к другу, чем к срединному, ибо исходят из чувства нравственной преграды, предела, положенного между нами и «классикой». Это чувство мучительно, но оно реально. Тот же, кто считает себя прямым продолжателем славного дела отцов, неизбежно снимает проблему дистанции и подменяет ее проблемой масштаба: учитель больше ученика, ученик меньше учителя, но оба находятся в одном классе. Такие иллюзии неизбежно ведут к эйфории и «головокружению от успехов», а если мираж в какой-то момент рассеется, невозможно будет удержаться от поиска врага, разрушившего прямую связь с прошлым, развеявшего исторический туман, в котором так сладко было пребывать. Мечтательное благодушие легко оборачивается агрессивностью, в этом мы убедились. Другое дело, что необходимо искать пути преодоления преграды, но для этого надо, по крайней мере, ее ощущать.

ры А. Белого, однако размышляли не столько о них, сколько о революции и о том, из-за какого выпавшего с ее помощью звена мы не можем внутренне отождествиться с писателями, которые были старше нас немногим больше, чем Лев Толстой Анны Ахматовой. (А она «отождествлялась».)

Чем дальше разрушается наш быт, чем неустроеннее мы живем, тем крепче убеждение, что выпавшим звеном был строй, гармония старой жизни, ее целостный уклад, а «вина» революции в пренебрежении к ценностям и достижениям прошлого, в стремлении все разрушить до основания, камня на камне не оставить, а затем построить заново, в небрежении и нехранении созданного отцами и дедами, ребячливом упоении новизной, в разбазаривании былых богатств. Эта мысль одушевляет разные слои — от элиты до «низов»; она звучит всюду — от нескончаемых телепередач до какой-нибудь районной газетенки уровня «Пульса Тушина»; она проявляется во всем, даже в том, что «Старая Москва» М. Пылева постоянно перепечатывалась в последнее время — от «Московской правды» до «Москвы» (1990. № 1—5). И можно представить себе, какой бальзам на раны многих и многих украинских читателей пролила перепечатка в «Жовтне» (№№ 1—12, 1989 и с № 1, 1990) II тома «Истории запорожских казаков» Дмитро Яворницкого или книги Михайлы Грушевского «Культурно-национальный рух» Украины 16—17 веков — прекрасных работ старых историков, буквально погружающих нас в атмосферу давешней жизни, передающих вкусы и запахи ее вольных просторов, способные довести голодного и запертого в пыльном городе современного читателя до головокружения. Или как усладила российских читателей одновременная публикация «Окаянных дней» И. Бунина в «Литературном обозрении» (№№ 4, 6, 7, 1989; с блистательными комментариями А. Бабореко, но и с купюрами), в «Даугаве» (№№ 3—5, 1989; во фрагментах и без справочного аппарата, но зато и без изъятий), «Слове», «Литературном Киргизстане» (и во фрагментах, и с купюрами, и без аппарата). Все эти публикации могут и должны вызывать только бескорыстную радость. Вопрос в другом: благодаря чему они вызывают обостренный интерес? Благодаря трезвому историческому знанию о славном прошлом Украины? суровой правде о «буднях» революции? Или благодаря возможности сладко помечтать об утраченном? То есть благодаря той самой «ретроспек-

тивной утопии», которую Бунин, писатель отнюдь не утопичный, сознательно ввел в «Окаянные дни», чтобы резче оттенить ужас реальности: «Наши внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую не ценили, не понимали, — всю... мощь, богатство, счастье...»

Все было: бессмысленное и беспощадное разрушение дворцов и каменных палат, взрывы храмов, сотворение калининских проспектов, поджоги зданий и разграбление библиотек. Было и варварство, и кровавое опьянение толпы озверевших люмпенов. Но пожар 1812 года дотла спалил Москву, не разорвав цепи времен; пугачевский бунт по жестокости сопоставим с разбоями гражданской войны, и, однако, похмелье тогда наступило быстро. Все можно поправить, реставрировать, отстроить, выкупить. Почти все. Нельзя ничем заменить только одно — прямой контакт поколений, осуществляемый не на встречах, форумах, слетах, а в родительском доме, во дворе, в быту. И потому гораздо страшнее, гораздо непоправимее разрухи, пожаров, «бесформенности» была изоляция, сначала нравственная, а потом и физическая, живых носителей прошлого, делающих его вечным настоящим, до чего наполеоновские французы не додумались, а Пугачев осуществить не успел. О том, «как это делается», колоритно, барственно, язвительно написал в «Маске и душе» Федор Шаляпин, — фрагменты ее, выпущенные в прежних изданиях, появились в «Новом мире» (№№ 5—6, 1988). Между тем, условно говоря, если поколение Короленко и Бунина, и поколение бравого матроса Железняка будут разделены непроходимой пропастью, для потомков последнего путь в прошлое, «короленками» и «буниными» олицетворяемое, будет закрыт напрочь, даже если они поднимут из запасников все, что сохранила история о людях уровня и круга полтавского писателя.

Поэтому, разделяя общий ужас перед разорением старых «гнезд», я хотел бы обратить внимание на то, что ценности уходящей культуры не только разрушались, но и сохранялись — ленинские декреты об архивах и об организации музейного дела тому порукой! Но «сохраняемое» изымалось из живой жизни: драгоценные кольца разлучали с теплом рук, икону — с церковным таинством, мемориальную квартиру — с бытовым укладом выселяемых соседей усопшего классика, с шумом двора. Вот в чем беда! Ценности отлучались от людей, потерявших

ценность, и становились элементами системы отчужденной информации о прошлом, которое навсегда прошло. Совершалась музеезация старой культуры, особенно чуткие носители ее предугадали последствия этого процесса, находясь у самых его истоков.

Когда газета «Советская культура» в 1989 году перепечатала доклад о. Павла Флоренского в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры «Храмовое действо как синтез искусств» (1918), многих, ставших жертвами «музейного воспитания», озадачили страстно-жесткие, до неприятного прямые суждения выдающегося священника и богослова, подобно Короленко, Волошину и даже нелюбезному его сердцу Блоку, пошедшего на контакт с новым строем, чтобы отстоять человеческую полноту русской культуры. Для Флоренского музей «самостоятельно существующий есть дело ложное и, в сущности, вредное для искусства, ибо предмет искусства... не есть вещь, но... никогда не иссякающая, вечно бьющая струя самого творчества... живая, пульсирующая деятельность творца... задача музея — есть именно отрыв художественного произведения, ложно понятого как некая вещь, которую можно унести или увезти куда угодно и поместить как угодно, — уничтожение... художественного предмета как живого». Когда перечитываешь эти пламенеющие¹ слова, сам собою всплывает в памяти эпизод из горьковского очерка «В. И. Ленин» — великий пролетарский писатель гневается на красноармейцев, захвативших Зимний и получавших извращенное удовольствие от использования драгоценных дворцовых ваз не по назначению. Прочти Флоренский этот очерк, он, следуя своей парадоксальной логике, мог бы сказать, что в каком-то труднодоступном смысле красноармейцы обращались с вазами *менее варварски*, чем последующие поколения чиновников от культуры, запиравших эти вазы под стекло и тем самым убивавших их. Во всяком случае, он соглашался скорее понять фанатическое требование разрушить Троице-Сергиеву Лавру, «так, чтобы не осталось камня на камне, — во имя религии социализма», чем превратить ее в мертвый советский музей. Лучше ничего, чем не все, — таков категорический императив культуры.

¹ И, конечно, несправедливые: любой хороший музей стремится разомкнуть помещенную в него «вещь» в живое пространство культуры; самый известный пример — Декабрьские вечера в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Но почему, в конце концов, был избран именно «музейный» путь? Я думаю, ответ прост: у жизни нет запасников и спецхранов, а у музея есть; у человека не оторвешь руку таким образом, чтобы никто не заметил, а в музее, где целостность культуры расчленена и распределена по залам, это сделать легко. История же, прошлое, «наследие» стали механическими составляющими идеологии, которая заинтересована не в полном беспамятстве, а в памяти маразматической, с провалами. Для идеологии сегодня выгодно, чтобы помнили одно и напрочь забыли другое, а завтра наоборот. Сегодня царствует идеология III Интернационала и задвигаются в запасники свидетельства «реакционной» Отечественной войны 1812 года, завтра побеждает идеология национал-социализма, и вот уже в главной витрине красуется черная повязка фельдмаршала Кутузова. Потом айсберг вновь переворачивается.

Точно таким же образом обстоит дело и с «публикаторской политикой» все минувшие годы. Только очень недобросовестный человек решится утверждать, будто все печатали до революции, а после нее русская классика была предана забвению. Со студенческой скамьи мы помним, что Первое Собрание Герцена было издано в 1905 году — с купюрами, а без купюр лишь после революции. Что К. И. Чуковский в 1918-м подготовил том сочинений Некрасова, где исправил несколько сот цензурных искажений, а раньше, несмотря на всю декларируемую свободу печати, помыслить о том было невозможно¹. Что Горький основал издательство «Всемирная литература», а разжалованный Каменев возглавлял выдающееся издательство «Academia». Но очевидна четко выраженная направленность в этом пореволюционном «восстановлении исторической правды» о русской культуре. Только работавшее на революционную идею. Только противостоявшее гнусной, архиглупой, подленькой (как тогда выражались) «поповщине». Только содержавшее пафос отрицания сословного строя («критический реализм», используя термин Горького). «Будильники» русской общественной мысли — Белинский, Герцен, Михайловский. Обладающий способностью к «перепахиванию» Чернышевский. Едкий Салтыков-Щедрин. Гоголь, понимаемый как сатирик, иной раз сбивавшийся на молитвы, отчего и помер прежде времени. Писа-

¹ Хотя память услужливо предлагает контраргумент: прошлоековое «павленковское» издание циника и материалиста Добролюбова полнее выходивших в наши материалистические времена.

рев. Но не Владимир Соловьев, не Дмитрий Мережковский, не Достоевский, не Конст. Леонтьев, не Хомяков, не Иоанн Кронштадтский. Здесь также на смену *некоторой неполноте* культуры пришла *полная избыточность*. То есть та же идеология. На первых порах достаточно умно осуществляемая по-своему честными людьми, но подобная прокрустову ложу. Прокруст может быть гуманнее, и тогда он укоротит тело за счет ног, и бесчеловечнее, тогда полетят головы. Принцип действия ложа от того не изменится, и рано или поздно Прокруст будет вынужден опробовать его на себе (что и произошло).

На первых порах процесс «возвращения» прошлого вызывал ажиотаж и нервное возбуждение — главных врагов анализа и трезвого размышления. Но вот напор ослаб, осадок лег на дно и все очевиднее, что вместо желанного обретения полноты своего исторического бытия мы просто получили очередную смену экспонатов коллекции и заменили одну идеологию на другую.

Если я попытаюсь продемонстрировать принцип «музейного» смещения прошлого и настоящего, своего и чужого, когда уравнивается в правах любой словесный антиквариат — на примере публикаторской деятельности обновленной редакции кишиневских «Кодр»¹, то именно потому, что это издание имеет мужество прочертить «линию» до конца. В 1989 году здесь появились «Рассказы» Гумилева, «Соглядатай» и другие новеллы Набокова, продолжилась публикация «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертого» Дж. Оруэлла, записки Хрущева (после «Огонька», перед «Военно-историческим журналом» и — чуть было не — вместе со «Знаменем», прервавшим печатание как раз по причине массивированных распечаток этих воспоминаний)... Добавим сюда стихи Б. Савинкова 1911—1913 года, Т. Г. Шевченко, статью о Лермонтове Д. С. Мережковского... Но то год минувший, а нынешний обещает нам главы из мемуаров Деникина, книгу Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра», насколько мне известно, не раз переводившуюся на русский язык до революции. Случай с набоковской «Лолитой», задолго до появления на страницах «Кодр» успевшей выйти отдельной

книгой в приложении к «Иностранной литературе», вообще символичен. Не хочешь, а задашь вопрос: где связь между всем этим? почему все смешалось на страницах действительно принципиального в своем демократизме журнала?

Пожалуй, у него-то как раз есть некоторые «стратегические» основания допустить мирное сосуществование в своих пределах украинца Шевченко и немца Ницше, англичанина Оруэлла и русского Деникина (об основаниях тактических — проблеме тиража и заполнения вакуума — скромно умолчим). Молдавия страна романская, некогда искусственно изолированная от романского мира; как нереализованный комплекс таила она в себе тоску по европейской культуре, которую по праву языка могла считать отчасти и своею. И вот, дорвавшись до мирового литературного пиршества, она стремится скорее насытить себя информацией, чтобы в конечном итоге, построив свое здание до полноты исторического замысла, успокоить обостренное чувство причастности и войти в сонм европейских народов на равных.

Что тут возразишь?

О необходимости блюсти диету голодным говорить бестактно, особенно если сам голоден и сам с жадностью кидаясь на любую духовную пищу. Следовательно, через этап всеядности пройти необходимо, но именно пройти насквозь, чтобы выйти к чему-то иному, а не застрять у поворота. К тому же в дом, где ты некогда жил (на верхнем ли этаже, в полуподвальном ли помещении — не суть важно), откуда волею исторических обстоятельств был изгнан и где намерен вновь поселиться, можно прийти и с пустыми руками. Там соберут с миру по нитке, в беде не оставят. Но хорош будет у нас вид в этом респектабельном обществе! Довоенная английская шляпа, американские лаковые ботинки, деникинский френч и немецкое пенсне на цепочке... Поэтому лучше прийти в своей одежде, пусть скромной, но свободной от франтоватости пугала. Стать причастным чему-либо можно. Или получив во владение часть чужого достояния, или внеся в него свою долю. Каждый выбирает, что ему ближе. Мне ближе «Молдавия литературная», когда она печатает Мих. Эминеску и совершает тем самым дарение миру, ибо этот румыно-молдавский классик есть символ единения народов, рассеченного бессарабской границей. Или когда она покаянно возвращается к наиболее теме — кишиневскому погрому 1903 года, помещая статью Льва Берин-

¹ Редакция действительно творчески обновленная (недаром на обложке под старым названием гораздо более крупным шрифтом набрано «Молдавия литературная») и, к радости читателей давшая ход неконъюнктурным современным произведениям; так что я меньше всего хочу поставить под сомнение ее деятельность в целом.

ского «Несколько напоминаний к не совсем крупной дате» и фрагмент «Сказания о погроме» Хайма-Нахмана Бялика (имя, от которого бросит в жар любого «памятливому» читателя).

Эту публикацию, кстати, можно было бы и расширить, дав слово не только страдающей, но и со-страдающей стороне. Так, в газете «Новости» от 30 апреля 1903 года был напечатан текст выступления св. Иоанна Кронштадтского: «Прочел я в одной из газет прискорбное известие о насилии христиан кишиневских над евреями, побоях и убийствах, разгроме их домов и лавок и не мог надивиться этому из ряду вон выходящему событию. ...И когда он <погром> совершился? На пасхальной неделе, когда вся тварь небесная и земная, ангелы и верные христиане ликуют о Воскресении из мертвых как начатке общего воскресения всего рода человеческого... Русский народ! Братья наши!.. Зачем вы сделали варварами — громилами и разбойниками людей, живущих в одном с вами отечестве?..» Есть и другие, не менее интересные свидетельства; но за счет чего расширять объем публикаций в относительно небольшом журнале? за счет «Лодиты»?

Вновь и вновь встает не только перед «Кодрами», но и перед всеми нами проблема — кто к кому возвращается. Мировая культура к нам, неся в роге изобилия роскошные, но кем-то другим созданные дары, или мы к ней. В первом случае процесс наследования будет означать нисхождение, во втором — восхождение.

Вверх идти куда труднее, и, если бы, скажем, «Литва литературная», с августа 1989 года ставшая «Вильнюсом», просто перепечатала книгу Н. А. Бердяева о русском коммунизме, как это сделал, ориентируясь на своего читателя, журнал «Юность» (№ 11. 1989), или статью Д. С. Мережковского о Лермонтов «Поэт сверхчеловечества» подобно «Книжному обозрению», «Огоньку», «Молдавии литературной», «Простору», «Вопросам литературы», «Нашему наследию», «Литературному обозрению» — это было бы для нее как легче в техническом отношении, так и прибыльнее в кассовом. На такую приманку еще год назад подписчик бы «клянул». Не только литовский. И даже не столько литовский, как «клянул» он на перепечатку в том же «Вильнюсе» записок Ольги Ивин-

ской о Б. А. Пастернаке (№№ 8—12. 1989 и с № 1, 1990). Но в данном случае журнал пошел другим путем: опубликовал переписку Бердяева и Мережковского с вильнюсским профессором М. Здеховским (соответственно №№ 11 за 1989 и № 1 за 1990 год). Конечно, читать о Лермонтов высокие и насквозь прожигающие какую-то страшноватой энергией слова куда интереснее, чем продираться сквозь суховато-информативный эпистолярный двух людей, не слишком заботившихся о том, чтобы их разумели посторонние: «Но вы и эти каракули поймете и почувствуете, как мы в этом близки с Вами (при всей нашей далекости по вопросу о католической, Римской, или католической, Вселенской, еще не явленной Церкви)...» Мариан Эдуардович-то понял Дмитрия Сергеевича, в том не приходится сомневаться, но многие ли современные люди без нудного комментария способны разобрать, чем католичность отличается от католичности? Тем большее уважение вызывает решение редакции отстаивать в прошлом — свое, не унижаться заемами и не идти на поводу у всеобщей истерии. А если кому-то покажется, что пример слишком эстетский и мною движет филологическое пижонство, что же, поблизости от «Вильнюса» в латышском молодежном «Роднике» в 1987—1988 годах было блестяще продемонстрировано умение сочетать «гуманитарность» — и «популярность». Здесь достаточно долго (соответственно №№ 8—12 и 1—4) вел антологию «Из истории русской поэзии» один из лучших литературоведов поколения «сорокалетних» Роман Тименчик. Антологию, в которую попали 12 русских поэтов «серебряного века», так или иначе связанных с Латвией (кто же не любит Рижское взморье!). Безупречно отобранные стихи — Александра Добролюбова или Иннокентия Анненского, Всеволода Ревича или Зинаиды Гиппиус — каждый раз как бы встраивались в рамку краткой вводной статьи, стилизованной под эссе начала века с преобладанием зеленовато-сиреневых, сизо-туманных «борисово-мусатовских» тонов, с господством пластического образа над терминологической определенностью. Между тем все, чтобы читатель смог «ощутить, как жизнь поэта становится его судьбой, то есть стихами» (удачное выражение одного из рецензентов антологии), здесь есть. Главное — единство стиля поэта и размышляющего о нем филолога, отказ от культурной экспансии, духовная скромность и священное чувство дистанции, которую нам предложено преодолеть. Преодолев ее, мы

¹ Последний случай — особый: здесь читателю предложен не только неусеченный текст (в отличие, скажем, от «Нашего наследия»), но и обширный комментарий, имеющий самостоятельную ценность.

становимся зваными гостями на пиру все-благих, тогда как, проглотив на бегу «Лолиту» и закусив ее «Поэмой о Франциске Ассизском», в лучшем случае, оказываемся потребителями. В каком-то смысле чувство собственной удаленности от классического образца делает нас ближе к нему, чем беззастенчивое приближение вплотную, когда кажется — протяни руку, и вещь твоя, но рука неожиданно натывается на стеклянную преграду музейной витрины.

Но, увы, «случай Тименчика»¹ — исключение из правил нынешней торговли антиквариатом, а правилом следует скорее считать перепечатку булгаковской «Дьяволиады» в не имеющем никакого отношения к Булгакову «Литературном Азербайджане», тогда как Вяч. Иванову, символисту, с Баку связанному более чем тесно, места здесь практически не остается. Как не вспомнить характерную (но, к сожалению, вовремя снятую редакцией) фразу из одной рукописи: в минувшем году благодаря публикациям забытых произведений Булгакова, Платонова, Пастернака уровень киргизской прозы заметно повысился...

Между прочим, проявлением «музейной» психологии (а не только данью цензурной ситуации) следует считать и повсеместную страсть к купюрам. Я не ригорист и прекрасно понимаю, что не все дозволенное Юпитеру позволено быку, что к свободе слова мы продвигаемся короткими перебежками под шквальным огнем всевластного противника, но ведь никто насильно не заставляет обращаться к непроходимым непроходящим ценностям! Если же — обращаемся и готовы ради этого поступиться чужим, нам не принадлежащим текстом, значит, «коллекционный» подход к прошлому, позволяющий покупать не всю коллекцию, оптом, а отдельные разрозненные предметы, намертво втелся в наше сознание. Значит, мы хотим богатство приобрести, а о чести не думаем. Значит, публикуемая с подчистками книга не является нашим наследием, а приобретена нами, как нуворишам, на «черном рынке»... Когда же дойдет до нас, что адаптированной истории не бывает и тот, кто согласен изучать ее по выжимкам из хрестоматии, уподобляет себя благовоспитанным институткам (да и те по ночам прятали под подушками не хрестоматии, а полновесные романы с «опасными связями», «мельмота-

ми-скитальцами» и радклифовскими ужасами)!

Особенно в этом смысле не везло писателям, хоть словом обмолвившимся о В. И. Ленине. Только дочитает ответственный редактор «Оканные дни» до слов «Ленин и Маяковский... некоторое время казались всем только площадными шутами», как рука его дрогнет и потянется к ножницам. Только у Набокова дойдет до «зеленой жижи ленинских мозгов», как в тексте сами собою образуются треугольные скобки с таинственной дробью многоточия. И — даже если исходить из вполне законопослушной логики — совершенно напрасно образуются, ибо, как пояснил в «Звезде» (№ 3. 1990) Ив. Толстой, «выражение принадлежит не Набокову, а заимствовано им у И. А. Бунина, а точнее — из его речи 1924 года «Миссия русской эмиграции»... Но и Бунин не был автором: он всего лишь пересказал выступление наркома здравоохранения Семашко. Так что, как оно и должно быть, мы прячем от самих себя нами же пущенную весть. Не пора ли выздороветь и от этого психоза?».

Пора-то оно пора, но выздороветь можно от всей болезни, а не от отдельного ее симптома. Выздоревть от «музейности», плавно перетекающей в идеологию. Иначе, если мы будем сражаться только за право говорить о Ленине плохо¹, вполне реальна — пусть удаленная во времени — ситуация, когда плюсы поменяются на минусы и редакторы начнут дырывать «наследуемые» тексты именно там, где обнаружатся следы «ленинизма». Во всяком случае, меня, человека отнюдь не коммунистических убеждений, в выступлении Ю. Н. Афанасьева на 3-м съезде народных депутатов СССР резанула непреклонная интонация: «Если наш вождь и основатель действительно заложил основу чего-то, так это возведение в принцип государственной политики массового насилия и террора. И, кроме этого, он возвел в принцип государственной политики беззаконие». Не то чтоб в словах историка совершенно отсутствовала правда, но в них было маловато истории. От нетерпимой интонации и подчеркнутой однозначности суждений, скорее похожих на приговор, всегда становится не по себе. Еще позавчера с таким же однозначностью принято было изрекать: «Учение Маркса всесильно, ибо оно вер-

¹ Недаром он стал одним из «главных» авторов «ахматовского» номера «Литературного обозрения», который может служить образцом действительно культурного обращения с культурой (№ 5. 1989).

¹ А такое право жизненно необходимо — с любой точки зрения, и прежде всего с «общекультурной»: исторический взгляд на вещи не знает и не должен знать исключений, табу, неприкасаемых фигур, иначе он тут же превратится во взгляд идеологический, а значит, противостоящий культуре.

но». Еще вчера с таким же убежденным пафосом шестидесятники призывали вернуться к ленинским нормам от сталинских искажений. А что будут возглашать завтра? В идеологии ведь в отличие от культуры сумма переменой мест слагаемых не меняется, и, если где-то памятник Ленину сносят только для того, чтобы водрузить памятник Пилсудскому, это похоже на идеологизацию наизусть. Понятно, что не к ней зовет Ю. Н. Афанасьев. Но спасти от нее нас может не повсеместное обличение вчерашних и не обожествление новых кумиров, а полный отказ от кумирслужения как такового, когда к потоку истории обращаются не за броским примером, не для оценки и переоценки, а для свободного размышления о ней, без всякой заведомой цели и предуготовленного итога. Увы, на практике приходится встречаться с прямо противоположным.

Хорошо, что на страницах журнала «Родина» до его разгона успели высказаться Вл. Солоухин (с его знаменитым «Читая Ленина») и три историка — Г. Бордюгов, В. Козлов, В. Логинов (со статьей «Куда идет суд»). Но, читая их, поневоле вспоминаешь классическое: «Чума на оба ваших дома». Один выводит все последующие (и действительно непоправимые) беды России из октября 1917-го как из бесспорной причины и судит большевиков как единственных виновников гибельного переворота. Другие, правильно диагностируя ошибку Солоухина и полагая его отношение к истории судебным, тут же сами впадают в гораздо более глубокую ошибку, соглашаясь в этом суде участвовать в совсем уж сомнительной роли адвокатов и пытаясь доказать, что Ленин в «террористическом» 1918 году не только призывал к крови, но и делал много чего хорошего... Между тем история — не уголовная хроника, потомки — не судьи и на пустом месте в истории ничто не происходит. Будь то спор свободно мыслящих людей, каждая сторона предложила бы свою версию событий, не наперерез, а параллельно друг другу. Но то был спор идеологий. Со всеми вытекающими последствиями. Метафизической причиной появления таких споров в относительно гласное время следует считать наш всеобщий инфантилизм и повсеместное чувство исторической безответственности. Сказать, что до всего плохого богатую и цветущую страну довели большевики (интеллигенты, инородцы, масоны, булочницы, цветочницы, трубочисты, кто угодно) — значит, снять с себя чувство вины за произошед-

шее. Сказать, что Ленин и партия не по своей воле вызвали потоки крови в 1918 году — значит, также уклониться от ответственности за свою причастность и этой партии, и этой истории. Такая позиция весьма напоминает поведение нашего праотца Адама, застигнутого за поеданием запретного плода и пробормотавшего в оправдание: «Жена, которую Ты дал мне, она дала мне есть». Если дореволюционная жизнь и была раем, то, перефразируя одного из комментаторов вышеприведенного речения, с такой логикой в рай делать нечего.

Этой же логикой спровоцированы бессмысленные споры между «почвенническим» и «революционно-демократическим» лагерями о Троцком и Бухарине, Луначарском и Рудзутаке; она же толкала Ф. Кузнецова и В. Баранова на создание их памятных статей в «Литературной газете», где вроде бы здравая мысль о сомнительности замены одного списочного состава классиков русской литературы XX века другим, «легального» — «запретным» подавалась с вполне идеологическим подтекстом: осади назад! Ею же была продиктована и заведомо обреченная попытка на заре перестройки довести до логического итога старую полемику конца 1960-х между «Новым миром» и «Молодой гвардией». Опять возобладал «судебный» подход, опять полемизирующие действовали по принципу «моя твоя не понимай», и одни поднимали на щит глубоко идеологическую по сути, кладущую оппонента на лопатки не силой доводов, а неприступными цитатами статью А. Деметьева о «неорелигиозном» направлении «Молодой гвардии», а другие — что несопоставимо хуже — ухитрялись оправдать доноительство авторов «письма одиннадцати». Между тем к полемике многолетней давности имело смысл вернуться именно потому, что она продемонстрировала невозможность прямого подключения наших современников к старым культурным спорам не в силу исчерпанности разногласий, а просто оттого, что нам никто лиру не передавал и в сан западников ли, славянофилов ли не возводил. Эти звания нужно заслужить, а присвоившие их себе не по праву уподобляются молюеровскому мещанину во дворянстве...

«Идеологичность» обращения к истории, «судебный иск», предъявляемый предшественникам (даже тем, последователями которых мы не согласимся считать себя ни при каких обстоятельствах), оборачиваются против «судей», лишая их слова «сермяж-

ной правды», буде она в них содержится. Так, в принципе трудно что-либо возразить против некоторых куняевских упреков Багрицкому — в воспеании жутковатого принципа «Если скажут тебе — «убей!» — «убей!», — прозвучавших в его выступлении на дискуссии «Классика и мы» (как раз оно-то и придало ей привкус скандальности). Много справедливого было сказано им и о «романтически революционном» поколении ифлийцев, о «мировой мечте», сжигавшей их. Во всяком случае, ныне покойный А. Якобсон в давней (ныне перепечатанной «Новым миром» — № 4. 1989) статье «О романтической идеологии» писал о том же времени, тех же героях и тех же взглядах не менее, если не более, жестко, однако такой бури возмущения, граничащего с восторгом, она не вызвала. И совсем не потому, что автор окончил дни свои в Иерусалиме и никак не может быть заподозрен в антисемитизме, а потому, что статья его была начисто лишена злорадства и создавалась не ради того, чтобы выявить злоумышленников, осудить или оправдать кого-то, разоблачить, вскрыть, обнаружить, но для того, чтобы разобратся, чтобы осознать. Высказывания же Куняева при всей верности отдельных его суждений не хватает главного — свободы от идеологии, в них начисто отсутствует то чувство истории, которое М. Чудакова определила в одной из лучших своих работ («Новый мир» № 10. 1988) как «Без гнева и пристрастия»...

В этом контексте несколько иным смыслом наполняется одна из последних литературных баталий.

В апрельской книжке «Октября» за 1989 год появился крохотный — всего-то 4 журнальные странички — фрагмент из книги А. Терца (псевдоним Андрея Синаевского) «Прогулки с Пушкиным». О творении Терца могут быть разные мнения; на мой вкус, оно не остроумно, игровая стихия в нем не по-пушкински тяжеловесна и автор слишком скован в своем «панибратстве» с классиком. Но дело не в Терце и даже не в Пушкине. Дело в нас. Дело в нашем желании видеть дальше собственного носа и умении превращать живых писателей в символы, знаки и атрибуты. В той полемике, которая разгорелась после выхода «Прогулок...», о Терце говорили мало, о Пушкине еще меньше, все сводилось к иному.

Совокупную точку зрения тех, кто был возмущен действиями «Октября», представившего свои страницы порочному сочинению Терца—Синаевского, с подкупаю-

щей бесхитростностью выразил Юван Шесталов: «Духовность кто-то пытается поломать. И я сегодня хочу повторить слова: «Отечество в опасности!»... сегодня хочется говорить о главном. О России, потому что здесь — главный нерв». Вопреки пушкинскому упованию имя Поэта называет «всяк сущий... язык — и внук славян, и финн, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык» не ради самого имени, и защищают Пушкина от терцевской иронии не ради самого Пушкина, а ради некой идеологической реальности. Защищают — подчеркну — и не Россию, на которую Терц не покушался¹, борьба идет за право воспринимать живого и неотторжимого от русской истории и русской литературы величайшего нашего классика как своего рода «домашнее божество», хранителя очага, гаранта национального единства. Именно этим обстоятельством объясняется общеизвестный парадокс: когда несколько лет назад Юрий Кузнецов напечатал в альманахе «Поэзия» хамоватую и даже не панибратскую, а высокомерную статью о «первом поэте России», никто из нынешних обличителей Терца не возмущился. Некоторые даже писали вполне сочувственно об исчерпанности пушкинской линии в русской литературе. И причина тому — отнюдь не групповые предпочтения. Дело исключительно в том, что мрачновато-серьезная статья Ю. Кузнецова была по Пушкину как таковому; Синаевский же (Терц!) сознательно направил жало своей еретической иронии в самую сердцевину идеологического мифа о Поэте, и все это прекрасно почувствовали, только сказать не могли.

В гротескной истории с «Прогулками...» обрел итог многолетний и вполне трагичный процесс подмены истинного Бога — мнимыми. Обожествляемые в том неповинны; более того, каждая здоровая культура нуждается в сакрализации одного, первого среди равных. Патриарха своей словесности. Главное не переходить границу между преклонением и поклонением. Мы же пересекаем ее постоянно. Я, к сожалению, не имею возможности читать по-грузински, или по-украински, или по-польски, но то, что у нас происходит ныне с Пушкиным, вполне может произойти с любым Патриархом любой словесности — Чавчавадзе, Шевченко, Мицкевичем... Мирской культ всегда проще и облазнительнее религиозного; он доступен всем и всех устраивает.

¹ После того, как «Вопросы литературы» полностью напечатает «Прогулки...», это станет очевидно, и, я уверен, никакого шума эта публикация уже не вызовет.

Интеллигенты могут поклоняться пушкинскому свободолюбию и страстотерпчеству, так называемые обычные люди, приобщаясь к нему, испытывают иллюзию своей причастности «высокой» культуре (Пушкин прост, да велик), власть поддерживающие довольствуются тем, что вера в Поэта уводит тысячи и тысячи людей по «народной тропе» от врат Церкви... Но на деле этот культ далек от Культа-уры, немислимой без чувства внутренней свободы, и от религиозного Культа, невозможного без отречения от «самости». Он дает иллюзию и не требует жертв, позволяя вопреки половице вытащить рыбку из пруда без труда. И, главное, готов повторить еще и еще раз, он умерщвляет Писателя. Один из моих друзей по этому поводу любит вспоминать знаменитую литературную байку Виктора Шкловского: тот в 1937 году, в самый разгар торжеств по случаю 100-летия со дня кончины поэта, был в Болдине. И лицемерное шествие ряженных: на повозках ехали Пугачев и Гринев, ложенный Онегин и толстый Ленский, а в самый конец процессии пристроилась тачанка с Василием Ивановичем и Петькой. «Помилуйте! — воскликнул Шкловский. — Но у Пушкина нет таких героев!» — «А нам все равно!» — раздавалось в ответ. То же отношение чувствуется и в сегодняшних баталиях...

Какое-то время назад мне, и не только мне, казалось, что возвращение в наш ежедневный обиход священных текстов само собою снимет «проблему Пушкина» и предотвратит дальнейшее использование «храма под капище» (выражение литературоведа О. Проскурина из его ответа на юбилейную анкету «Литературного обозрения» № 6. 1989, где он, не называя имен, предсказал все, что последовало за публикацией фрагмента «Прогулок с Пушкиным»). Нашими бы устами да мед пить; действительность развеяла мечты.

Первым новозаветные тексты начал было печатать (да быстро опомнился) журнал «В мире книг»; переименованный в «Слово», он переменял и ориентацию: теперь там опубликован последний труд классического позитивизма — ренановская «Жизнь Иисуса». Последний в том смысле, что за прошедшее после его создания столетие эта традиция ничего заметного предложить миру больше не смогла. Хотя и старалась. Затем «Литературная учеба» приступила к публикации «Евангелий» в новом переводе киевского священника о. Леонид (Лутковского). В 1991 году здесь же обещан перевод «Деяний апостолов и посланий», вы-

полненный ленинградской группой, стоящей на иных переводческих принципах. Сразу четыре журнала отдали свои страницы «Корану»: «Наука и религия» (1989, № 7—9, 11-12. 1989; № 3. 1990), «Памир» (русский перевод), «Идель» (по-татарски), «Звезда востока» (тоже по-русски). И если о Ренане говорить бесполезно, потому что это уж точно никакое не наследие, а факт научного плюсквамперфекта, то необходимость всех остальных публикаций в принципе не должна бы подвергаться сомнению. С чего же начинать восстановление полноты своего исторического бытия, как не с этого «пласта», не навязывая друг другу убеждений, но приобщаясь к сакральным истокам?

Однако спросим себя: а на какой язык мы намерены заново переводить Писание? На язык очередей, на латинизированную ораторскую мешанину? Другого-то не знаем, не обучены. Когда о. Леонид в первой же главе Евангелия от Матфея (в его версии — «Евангелие Матфея») архаические формулы заменяет более понятными, им движут самые благородные просветительские помыслы, но что выходит? Вместо «Иосиф... хотел тайно отпустить Ее...» — «Иосиф... решил тайно расторгнуть помолвку с Нею». «Расторгнуть помолвку» звучит привычнее, чем «решил отпустить», но именно по этой причине не подходит. За словом выстраивается ряд ассоциаций, связанных с послехристианской эпохой, с Европой XIX века, с предреволюционной Россией, с Диккенсом и Боборыкиным, но никак не с первым годом Рождества Христова и не с Матфеем-Евангелистом. Кажущаяся близость понятия, как это часто бывает, оборачивается исторической близорукостью. Но гораздо хуже, когда ради пуцей современности слова приходится жертвовать его целомудренностью. «И не знал Ее, как наконец Она родила Сына своего первенца...» — гласит 25 стих первой главы в синодальном переводе. «...и не обладал Ею», — читаем мы у отца Леониды. Комментарии излишни.

И это всего лишь два слова! Мне труднее говорить о Коране, но и тут, по словам В. Г. Садура, обиходная передача арабского слова через транслитерацию — «Аллах» — нарушает смысловое равновесие и основывается на том, что у мусульман другой, «неправильный» Бог — Аллах... Так что — как бы эти журнальные новации в сакральной сфере вместо желаемого прощшения не принесли нам еще большего разделения. Естественно, я не зову, «чтобы зло пресечь — собрать все книги» «да

сжечь»; просто есть сферы, где лучше действовать осторожно. В конце концов, для экспериментальных переводов есть «Журнал Московской Патриархии», но, к сожалению, это едва ли не единственное периодическое издание, устоявшее перед натиском «наследия»...

Однако мечты мечтами, а реальность реальностью. Вот мы получили по почте журнальную книжку с Кораном или Евангелием. Оставим в стороне вопрос — уютно ли чувствуют себя авторы произведений, напечатанных в непосредственной близости со Словом Божиим. Это их дело. Но как себя чувствуем мы? Чтобы освоить явление, сделать его своим, нужно его сначала наедине осмыслить, а затем в общем кругу обсудить. На каком языке будет обсуждать Евангелие большинство наших научно-технических современников? Положим, для разговора о «серебряном веке» русской литературы такой язык описания имеется: худо-бедно, но гуманитария в 70-е годы выработала своеобразный стиль, круто замешанный на разговорных словечках из интеллигентского обихода, иронически заковыченных оборотах из смежных научных областей, вплоть до кибернетики. Стиль, который может не нравиться и раздражать смещением французского с нижегородским, но который дает ощущение обсуждаемого текста сразу как чего-то незыблемо классического — и как своего, близкого и понятного, живого и современного. Но попробуйте поговорить в дружеском кругу о переведенном о. Леонидом Евангелии не как о художественном произведении, а именно как о Евангелии, то есть о Благовестии. Не повергнет ли вас эта задача в полную немоту? Ибо как на СРЯ (так в студенческом обиходе именовался «современный русский язык»), на этом советском эсперанто, на этом газетном жаргоне говорить о священных предметах, не становясь развязным пошляком? Если не пользоваться архаичными оборотами, которые за пределами церковных стен звучат с фарисейской елейностью, то наше рассуждение о духовном будет похоже на рассказ одной добродушной экскурсоводши в Загорске: св. Сергей Радонежский, говорила она, был очень вежливый, и когда кто из монахов шумел в келье, он подходил, стулал тихонько и просил: «Тише, товарищи, тише». Или на отзыв маленького энергичного мальчика о воскресной приходской школе, прозвучавший в одной телепередаче: «Здесь мы получаем хорошую моральную подковку».

И в этой связи мне кажется, что было

бы правильнее, если современный массовый читатель начал вхождение в закрытый для него «теологический» мир не со знакомства с новыми переводами Писания (о которых разговор особый), а с простых, не безмерно глубоких, но удивительно здравых книг английских эссеистов Г.-К. Честертона и К. С. Льюиса. Тот, кто имел доступ к английским источникам или держал в руках самиздатовские машинописные переводы, и раньше знал: эти консервативные весельчаки с берегов туманного Альбиона умели говорить о серьезном, вероисповедальном и трагическом так просто и так радостно, как нам только предстоит научиться. Теперь в том может убедиться и более широкий читатель «Вопросов философии», где в январской книжке за 1989 год помещен перевод честертоновской работы о Франциске Ассизском, а в июльской — перевод эссе Льюиса «О Любви» (переводчик — Н. Л. Трауберг).

Вот только одна цитата: «...я пишу для обычного современного человека, не враждебного, но скептического и разрешаю себе надеяться, что привычно-живописные, подкупающие черты Франциска помогут мне хоть немного показать его сущность. Я надеюсь, что читатель лучше поймет, почему поэт, воспевающий солнце, прятался в темной пещере; почему святой, жалевший Брата Волка, был столь суров к Брату Ослу, собственному телу; почему трубадур, чье сердце зажгла любовь, сторионился женщин; почему он радовался огню и бросался в снег; и почему одна и та же песня начинается язычески страстно: «Слава Господу за сестру нашу землю, что родит и плоды, и пестрые цветочки», а кончается словами «Слава Господу за сестру нашу смерть»...» У книг Честертона и Льюиса вкус ледяной и прозрачной родниковой воды — их можно пить только маленькими глотками, ибо от такой чистоты и ясности захватывает дух¹.

¹ Предчувствуя возмущенные голоса ревнителей, отчувствлюбия — мыслимое ли дело формировать русский «православно-обиходный» язык с помощью английских католических книг, — спрошу: где, кто написал о чудотворном подвиге св. Серафима Саровского для обычного современного человека? Кто с ласковой и веселой православной любознательностью раскрыл сияющую бездну религиозного юмора в обращении св. Серафима к собеседнику — «Ваше Боголюбие», сопоставимое по радостной силе с формуле мн. св. Франциска Ассизского «Брат мой Волк». «Сестра наша Земля». Или — выходя за рамки русской традиции, но не смыкаясь с католичеством — где и кто написал на «честертоновском» уровне книгу об армянском св. Григории Нарекаци? О грузинской мученице св. Нине? Нет уж, кто хочет проглотить язык, пусть глотает его в одиночестве: мы же предпочтем взять урок добродетели у «латиняна», и пусть нам будет стыдно перед нашей правой верой.

Так вот, пока мы не научимся хорошим манерам в обращении со священными текстами, пока не обречем своего рода «средний штиль» для бесед о них, о-своить их мы не сможем. Пока не будут наведены интеллектуальные мосты между миром традиционной духовности и сознанием современного человека, «не враждебного, но скептического», не следует удивляться, если из Корана, Евангелия, Торы каждый будет вычитывать что ему заблагорассудится или, нарушая всякое историко-культурное приличие, ставить их в один ряд с мистико-теософскими, оккультно-романтическими сочинениями начала XX века. Нет, я двумя руками за то, чтобы в «Москве» печатались книги Е. Блаватской — что не запрещено, то разрешено, — однако против «наделения» ее нимбом святости, против того, что работы Блаватской в толстых многотиражных журналах подаются с придижением, а ее письмо в III отделение с предложением своих услуг полицейскому ведомству публикуется в более-менее специальном «Литературном обозрении» (№ 6. 1988). Складывается очередной миф, и это страшно, ибо иллюзии — самое опасное, что есть на свете. Они манят за собою и заводят в пустыню на духовную погибель.

Памятником такого рода иллюзиям может стать восстановленный «один к одному» Храм Христа Спасителя — очередная «музейная», «идеологическая» и «символическая» затея наших иллюзионистов. Мысль, которая их одушевляет, понятна: заполнить пространственное зияние на месте величественного собора — значит, приглушить нравственную боль, успокоить взбужденную совесть. Но в таком случае они вопреки собственному желанию следуют формуле «религия — опиум для народа»! Теми же методами действуют, только на место «веры» подставляя «культуру», и призывающие восстановить Сухареву башню. «В результате, — пишет в «Нашем наследии» (№ 6. 1989) замечательный литературовед М. А. Гаспаров, — получится такая же картонная имитация, как новый старый Арбат, только обойдется он вдесятиро дороже. Вместо этого я бы предложил поставить на Колхозной площади памятник Сухаревой башне или — почему нет? — воздвигнуть над бассейном «Москва» памятник храму Христа Спасителя. Между тем проект такого памятника храму, памятника нашей боли есть — я имею в виду макет Ю. Селиверстова, — сваренный из металла ажурный контур собора в масштабе 1:1, а внутри этой прозрачной, продуваемой всеми ветрами конструкции

маленькая часовенка. Такое решение хорошо тем хотя бы, что не пытается поправить Историю и — одновременно — сохраняет память о былом величии.

Собственно, Ю. Селиверстов нашел идеальный образ для всего «наследия» в составе современной культуры, процесс возвращения которого, как выяснилось, призван был не обогатить, но отрезвить нас. Процесс, который не заполнил лакуны, а только оттенил различие. Недаром в журналах, чаще всего поминавшихся в этой статье, ибо наиболее красиво, разумно и культурно работают с «архивным» разделом — «Новый мир» и «Литературное обозрение», — комментарии и сопроводительные статьи иной раз превышают по объему публикуемые тексты. Обильный комментарий необходим сейчас не только потому, что мы чудовищно необразованны и нуждаемся в бесконечных пояснениях, но и потому, что он дает почувствовать духовную дистанцию между нынешним читателем и «вчерашним» автором, одновременно снимая ее — собою.

Когда же это различие, как наготу, пытаются прикрыть, получается что-то вроде журнала «Наше наследие», где замечательное полиграфическое исполнение только подчеркивает жанр издания: аукционный каталог. Разнородные, эклектически несводимые к общему знаменателю материалы — журналистски-просветительские очерки и раритетные публикации для специалистов, Октябрь в рисунках детей и библиотека фрейлины Екатерины Великой, русский католик В. Печерин, чья рукопись подготовлена к печати П. Гореловым, и статья М. Чудаковой, размышляющей о судьбах отечественных книгохранилищ, рассказ В. Борисова об Оптиной пустыни и многое, многое другое — расположены между красивыми цветными картинками, на фоне которых их несовместимость не бросается в глаза. Все они воспринимаются как развернутые подписи к фотографиям¹.

Каталог и есть каталог, он не призван пробудить в читателе (листателе) чувство дискомфорта. Его цель противоположна — продемонстрировать принципиальную вписываемость рекламируемых предметов в современный интерьер. К чести создателей журнала они смотрят правде в глаза.

Во-первых, они завели рубрику «По страницам старых журналов», заведомо невы-

¹ Я сознательно уклоняюсь от конкретного обсуждения тех или иных публикаций (а среди них есть и работы крайне низкого и самого высокого уровня) — оно потребовало бы дробления темы, а мне важно сосредоточиться на целом.

годную для себя, ибо «Русская старина», «Старина и новизна», «Русский архив», «Голос минувшего», несмотря на всю внешнюю схожесть, строились принципиально иначе, чем «Наше наследие», и на другого читателя ориентировались. Эти издания дополняли и уже существующую картину деталями и подробностями, как бы прописывая фон¹; сейчас же, когда минувшее обезголовосело, все воспринимается как передний план, ибо приходится писать картину заново. Чтобы избежать присущего ему вавилонского смещения красок, «Нашему наследию» нужно было планку или повысить подобно «Литературному обозрению», либо опустить подобно «Огоньку»². То есть избрать в качестве адресата специалиста-гуманитария или совсем «просто-го» человека. Избран промежуточный путь, и другим журнал получиться не мог. На его страницах бесполезно искать полновесный портрет старой культуры, зато получилось очень точное, зеркальное отражение современного человека, желающего раз в два месяца общаться с этой культурой.

Во-вторых, каждый номер открывается статьей какого-нибудь известного деятеля искусства, и, по крайней мере, дважды в этих статьях прозвучали горькие слова, к «Нашему наследию» имеющие самое непосредственное отношение. Одна из них принадлежит С. С. Аверинцеву (№ 4. 1988) и посвящена проблеме неизбежной эклектики современной культуры, другая — уже упомянутая мною — М. А. Гаспарову, который писал: «...культ «нашего наследия» стано-

вится составной частью современной массовой культуры... Справедливо, что массовая культура — это все-таки лучше массового бескультурья». Последуем совету мудрого филолога, откажемся от резонерского порицания красиво изданного журнала только за то, что он делает прошлое элементом массовой культуры, усредняя его...

И все-таки «наследие» способно стать «нашим» и мы сможем с ним отождествиться, если смиренно осознаем свою неотождествимость и сумеем преодолеть разрыв, если остро ощутим его в своем сердце. Сыном становится тот, кто отказывается от упований на чужие сокровища и добровольно соглашается ощущать на зубах оскомину от винограда, который ели отцы.

Те, кого мы сейчас «наследуем», понимали это лучше нас. В «Заметках» Максимилиана Волошина, датированных 1917 годом и опубликованных «Молдавией литературной» (и это украшение журнала; № 12. 1989), читаем: «Считая себя вправе отречься от деяний своего правительства, мы пользовались безграничной свободой и безответственностью <...>. Первой нашей обязанностью при принятии этого великого и страшного наследства яв<ается> уплата долгов Рос<сийской> империи по международным векселям. <...> как по отношению к Франции <...>, как по отношению к Польше и Финляндии, как по отношению к евреям и собствен<ым> политическим ссыльным.

Эти вины должны быть искуплены <...>.

Этот долг должен быть уплачен до последнего волокна».

Сказано не о литературе — о политике; больше того, сказано о войне, завершение которой Волошин считал тяжким долгом новой, пореволюционной России. Не место сейчас спорить, кто был прав — поэт или политики, пошедшие другим путем. Главное — нравственная логика волошинского высказывания: чтобы сохранить (восстановить — тем более!) единство своей истории, обновленная страна должна в первую голову не взять лучшее из того, что было, а понести вину за худшее. Не получить, а расплатиться.

Готовы ли мы к этому? Не знаю.

¹ К тому же печатали они, в основном, мемуарные, «исторические», а не собственно литературные произведения; кстати, если процесс «наследования» войдет у нас когда-нибудь в нормальное русло, мы неизбежно последуем их примеру, ибо литературный ряд исчерпается, а «документальны» не знает границ.

² Как бы мы ни морщились, ни ворчали на уровень текстологической подготовки, хаотичность и непоследовательность его нынешней «архивной» части, нехорошо забывая: именно он протаранил брешь в стене, отделявшей нас от нашего же прошлого. Квалифицированный читатель может что угодно говорить и о поэтической антологии, которую весьма прихотливо составлял в 1987—1989 годах Евг. Евтушенко, но было бы сушеи благодарностью отрицать ее роль в популяризации самой идеи наследия, в психологической и общеобразовательной подготовке миллионов людей к резкому усложнению и даже полному пересмотру их воззрений на отечественную историю последних десятилетий.

М. М. Пришвин

Мы с тобой

По Дневнику 1940 года

(составление и сопроводительный текст
В. Д. Пришвиной)

Глава 11. ХРУСТАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ

Сегодня я опять уверял ее, что люблю и опять вспомнил «кусоч хлеба», что отдам ей последний кусок хлеба, если заболеет — не отойду. И много такого наговорил, и насылил. И она, выслушав все, ответила:

— Но ведь так все делают.

— Как же это все? — спросил я.

— Все хорошие люди, — ответила она спокойно и уверенно.

И в этой уверенности я узнал, что есть на земле какая-то страна в невидимых для посвященного границах, где живут только хорошие люди. Оказалось, об этой стране я и думал, когда в молодости ходил с мужиками искать невидимый град в керженских лесах!

И тогда мне вспомнилось, что я сам клятву себе давал, когда впервые пришел мне успех от моего писательства, чтобы писать только о хороших людях.

Мне бессмысленно показалось тогда обращать внимание людей на пороки, потому что обращенное на порок внимание его только усиливает. Мне казалось, что нравственность всего мира попала на эту удочку греха: пороки беспрестанно бичуются моралистами и беспрерывно растут.

Но почему же в сторону поэзии все лучшее, все тысячи комнат хрустального дворца, а в сторону, где возникает самая жизнь — не одна даже комната, а какой-то лишь полутемный чуланчик необходимости? Откуда взялось это темное чувство, что во дворце есть одна комната, где и совершаются все чудеса, но вход в нее запрещен — иначе весь дворец исчезнет? И поэтому создается Недоступная...

При неразрешимых вопросах я всегда обращаюсь к первоисточнику своему — к тому, каким я родился, к своему детству.

— Деточка моя, Курымушка, — говорю я, — подскажи мне, старому, когда и кто внушил тебе этот страх к одной комнате в нашем Хрустальном дворце?

— Таким я родился, — отвечает Курымушка, — не виноват был ни в чем, а выходил грех. Что ни сделать — грех и грех! Вот тогда я догадался, что есть запрещенная комната и в ней — Кашей живет. От Кашея пошел весь грех.

— Я понял, Курымушка, мысль о запрещенной комнате и создала весь порок. Не обращать на него никакого внимания и усиливаться в сторону света, — вот как победим мы с тобой Кашея, мальчик!

Так почему же я забыл о своей клятве писать только о хороших людях? Ночью я пробудился, написал маленький рассказ в темноте, и утром переписал его на машинке, а вечером прочитал его ей. Вот этот рассказ:

Художник. Никакой любви в жизни этого старого художника не было. Вся любовь, все, чем люди живут, у него ушло в искусство. Овеянный поэзией, он сохранился ребенком, удовлетворяясь разрядкой смертельной тоски и опьянением радостью от жизни природы.

Прошло бы, может быть, немного времени, и он умер бы, уверенный, что такая и есть жизнь на земле.

Но однажды в его Хрустальный дворец пришла к нему женщина, и он ей сказал свое решительное слово: «люблю».

— Что это значит? — спросила она.

— Это значит, — сказал он, — что я открываю запрещенную для меня комнату жизни и вхожу в нее без всякого чувства греха и страха. Теперь я не художник, а — как все.

Если у меня будет последний кусок хлеба — я отдам его тебе. Если ты будешь больна — я не отойду от тебя. Если для тебя надо будет работать — я впрягусь как осел...

— Но ведь это у всех, так делают все,— сказала она.

— Мне вот этого и хочется,— ответил он,— чтобы у меня было как у всех. Я об этом именно и говорю, что, наконец-то испытываю великое счастье не считать себя человеком особенным и быть как все хорошие люди — без стыда и страха.

Она не сразу поняла рассказ, долго молчала, похрустывая сухариком за чашкой чая, и мы стали, было, говорить уже о чем-то другом, как вдруг она вслихнула, глаза ее засверкали:

— А ну-ка, прочтите мне еще ваш рассказ!

Потом задумалась, как будто вовсе даже забыла обо мне. И когда вернулась ко мне, то сказала:

— Я не сразу поняла, что это про самое главное. А вы ведь решаете задачу всей моей жизни! Знаете, Олег до сих пор во сне посещает меня и всегда почему-то строг, не улыбается, не скажет ничего, и я всегда перед ним виновата. Неужели я все еще виновата?

Он считал меня царицей — и я была ему царицей. Он считал меня невестой и матерью — и я была ему всем: через меня, как через мать, проходило все его творчество. Он писал мне в Москву из своего одиночества: «Я не знаю, где кончаешься ты и начинаюся я». И мы должны были жить раздельно. Я любила его — вот почему ни разу не пришла мне мысль о нем *для себя*. Если б я знала тогда, что для себя должна была звать его в мир, в тот мир, где живут хорошие люди, — мы могли бы и это сделать священным!

— Вернуться во дворец,— подсказал я,— в тысячу комнат, в котором нет придуманной взрослыми тысячи первой, влекущей к запретному.

— Да, да, в хрустальный дворец без запретной комнаты. И там мы стали бы царями!

В 1941 году Пришвин запишет: «В рассказе «Художник» намечена, но не совсем раскрыта тема первенства жизни перед искусством: я говорю о жизни, преображенной деятельностью человека, где искусство является перед нею только средством, пройденным путем (как ожидание друга и сам друг).

Искусство рождается в бездомьи. Я писал письма и повести, адресованные к далекому неведомому другу, но когда друг пришел — искусство уступило жизни. Я говорю конечно, не о домашнем уюте, а о жизни, которая значит больше искусства.

— *Есть ли такая жизнь?*

— *А как же! Если бы не было такой жизни, то откуда бы взяться и самому искусству?*

Сегодня я так далеко забежал вперед, что уж не она, как прежде, говорила мне новое, а я ей принес весть, и она воскликнула изумленная: «Думала ли я когда-нибудь, что здесь найду объяснение своей жизни!»

Было совсем еще светло, когда я провожал ее через Каменный мост. Вдруг она встревоженно прижалась ко мне и насильно повернула меня в другую сторону. Через минуту она отпустила меня и сказала:— Там мой муж прошел. Он хороший человек и настоящий герой. Он продолжает любить меня, ему сорок лет, а он сидит, и от меня, только от меня! И не перестает любить, и делает открытия...

— В чем?

— В математике.

— При чем же тут в любви математика?

— А и математика его тоже от меня. Это взамен меня. Помните наш разговор о запрещенной комнате? Олег отказался меня ввести — я ушла к этому...

— И он ввел?

— Нет... Но он герой.

Все было загадочно, почему человек, имевший задачу одолеть Касея, вместо того делает открытия в математике и оттого стал героем.

— Я сказал ей:— Так-то, пожалуй, и я герой. Я, пожалуй, больше герой: должен был войти в запрещенную комнату, а вместо того создал Хрустальный дворец в тысячу комнат.

— И все-таки вы не герой, а он герой.

Она с улыбкой посмотрела мне в лицо и я понял: это она из жалости к нему, а меня «героем» просто поддразнивает.

— Принимаю вызов,— ответил я,— я напишу поэму, вы будете плакать и перестанете меня дразнить. Ваш геометр пришел к вам по прямой линии, я же приду по кривой.

Она с недоумением посмотрела на меня и просто сказала:

— Мы с вами очень подходящие, я чувствую себя с вами так же как с Олегом, но, вот, человек прошел мимо и мне за него больно... Это мои долги! И я не знаю, люблю ли я вас, или впрямь пришло мое время... Нет, я не хочу времени: заставьте, помогите мне забыть долги и время — и я с вами на край света пойду.

Мы расцеловались на прощанье по-настоящему, как родные с детства люди, и я впервые сказал ей «ты».

Вот это самое главное чувство — время преодолеть. Можно в 20 лет сказать все, как Лермонтов, а если срок не дается, то в старости будешь как юноша писать.

И вот почему искусство — это форма любви. И вот я люблю, и моя юность вернулась, и я напишу такое, чтобы она растерялась и сказала: «Да, ты герой!»

3 марта. Ночь почти не спал. Я повторял:— Зачем это я сделал, зачем тратил на забаву или самообман драгоценную человеческую жизнь!

Днем перед ее приходом я трепетал: мне представилось, будто во мне самом, как в торфяном болоте скопился тысячелетний запас огня. Я это придумал, и оттого пробудился во мне тоже давнишнего происхождения страх за себя и стыд.

Но когда она вошла, в глазах ее было так много какого-то неведомого мне богатства, что страх и стыд прошли при ее появлении.

— Ничего,— сказала она с милой улыбкой,— наверно, без огня нельзя жить на земле!

— Но, мне кажется, это опасно для нашей дружбы.

— Я когда-то тоже себя так пугала. Только это может быть и иначе: что опасного, если ребенок просит молока?

Я не знал что ответить, я не понимал ее...

В этот раз вышло так, что, казалось,— вот оно и в с е... Но в этом «все» не хватало какого-то «чуть-чуть» и через эту нехватку «все» превращалось в ничто.

— Я обещала вам, что не буду с вами лукавить. Сама женщина это ни во что не ставит, и все это «грудь Психеи, нога газели» — это только приманки, а сущность — то есть в каком-то «чуть-чуть». Я не буду лукавить: если хотите, вы все можете брать, но все это без «чуть-чуть» будет ничто — ч е п у х а.

— А что же не чепуха?

— У вас редкий ум,— ответила она,— вы сейчас единственный, с кем я открываюсь, и у вас сердце,— ах, какое у вас сердце! И все-таки я не вся с вами. Догадайтесь, в чем дело, чего не хватает,— и я отдам вам всю жизнь.

— Это похоже на сфинкса: все открыто и ясно; природа как везде и во всем, но в лице сфинкса есть какое-то «чуть-чуть», и его нельзя разгадать. Мне кажется, разгадать это для меня, а может быть и ни для кого невозможно: зачем же иначе сфинкс? Вы-то, ведь, сама тоже не знаете!

— Но, мне кажется, это можно заслужить и тогда все само собой откроется, как сундучок без замка.

— Как же вы думаете заслужить?

— Служить,— сказал я,— это значит собирать внимание к тому, что любишь. Все, все туда!

— Как хорошо! Мне кажется — это правда. Откуда вы это берете?

— Из своего опыта: я в молодости давным-давно влюбился и все лучшее на земле собиралось к ней. А когда она исчезла, то все собранное в ней, стало обратно становиться на свои места: какой-нибудь заячий следок, голубеющий на белом снегу, отчего он стал мне прекрасен? Оттого, что пришел сюда от нее. Или звук шмеля на цветке ранней ивы, или северный свет, или южное море, и все на свете, все было из нее и все прекрасно.

А теперь я буду служить вам, и все, что вышло тогда от нее, собирать обратно в этот сосуд. Я буду делать это вниманьем.

Она молчала. Я посмотрел: она свернулась собачкой в углу дивана, поджав ноги, стала маленьким комочком — не женщина, а дорогой мой ребенок. Глаза большие сияли радостно и щеки горели.

Вечерело. Я примостился рядом и слушал, как билось ее сердце..

— Подождем! — сказала она. И я послушался, и мы стали вместо того обмениваться

словами. Но слова эти рождались на той же почве, как будто в душе было два выхода: через жизнь и через мысль.

Я: — А может быть люди научатся управлять этой силой?

Она: — Об этом есть еще у Шекспира: любовь Ромео и Джульетты примирила два враждующие рода.

Я: — Женщине дана такая сила и такая власть над людьми, больше которой на земле нет ничего. И как же глупо она силу эту растрчивает!

Она: — В мире до тех пор счастья не будет, а только война, пока не научится женщина управлять своей силой.

Я: — А может быть обычную женскую уклончивость, это ваше «пождем» и надо понимать как начало этой силы в действии?

— Так долго длиться это не может! — ответила она.

И вот как радостно, и вот как мучительно страшно, как бы нам не попасть в руки Кашея. Надо освободить ее от «долгов» и, если бы это возможно было, самому бы за долги заплатить. Как? — Не знаю. Я не знаю, когда это будет и как именно совершится, только знаю, что это будет как свет: тихий свет придет, и мы что-то вместе поймем, и вдруг бросимся друг ко другу, и навсегда.

...После того мне стало так, будто я кругом открыл всю ее душу и она мне стала как своя душа. Когда она ушла — ко мне вернулось спокойствие, смешно было вспоминать о «торфе» и я отлично уснул.

Встал бодрым и сильным. Надо честно отнестись, всерьез к простейшему. Как будто солнечный луч пронизал мне сейчас эту паутину и я должен во всем разобраться до конца. Буду читать письма Олега.

Необходимым условием стало решение: до тех пор, пока она не войдет ко мне в дом мой — ничего. Пусть это обещание соберет мою силу в сторону достижения цели — быть настоящим и единственным мужем этой женщины. Вся моя, в моем доме, и я весь ее: и хозяин, и работник.

Ей встретился на улице друг ее Птицын и она ему по-дружески рассказала о всем, что с нею происходит...

— Все выйдет само собой и не нужно придумывать себе заранее препятствия, — сказал Птицын. — Наверно, он долго сидел на цепи, теперь сорвался, — так пусть покажет себя. В этом движении и есть сущность любви.

Мне понравилось птицынское сравнение меня с собакой, но только себя я чувствую не цепной, а охотничьей собакой, собакой на стойке.

Вот она стоит вся в готовности, сдерживая страсть в монументальной неподвижности. Так и стоит монументом с поджатой одной лапой, чтобы этой свободной приготовленной лапой птицу поймать. Но она умная охотничья собака, готовая прыгнуть, и в то же время знает, что птицу поймает не она, а выстрел стоящего за ее спиной охотника.

И вот мне теперь, как я себя чувствую, мое дело быть собранным, и готовым поймать, и сделать вечностью пролетающий миг жизни.

...А совершит это все стоящий за мной Охотник.

Думаю теперь, что слова «большой» и «маленький» таят в себе какую-то не только количественную, но моральную сущность. Так бывает, когда от маленького дела переходишь к большому, то являются на помощь не свои, известные, взвешенные, измеренные силы, а неведомые, непрошенные, не требующие труда твоего и печали, и тогда чувствуешь на своей уютной лодочке под собой несущую тебя большую океанскую волну.

Да, конечно, под лодочкой океан, а в человеческой жизни, в большом деле — когда ты на него станешь — весь человеческий род от сотворения мира становится на твою сторону и, вызывая на бой темные силы, открывает священную войну за тебя самого.

Она так презирает быт, так слаба в борьбе, что я не могу себе вообразить ее любящей, если придется столкнуться даже с одной Аксией... Я боюсь ее: ей это станет противно! Без настоящей любви — невозможно!

Она очень похудела на моих глазах. Худеть можно и от одного ущемления девственной гордыни, и мало ли от чего, и это вовсе ничего не говорит о любви...

— Ну, — сказала она, — конечно, надо сделать так, чтобы другие от нас меньше страдали, но если жизнь скажет свое слово, что н а д о...

— Если будет надо, я возьму вашу руку, выйду из своего дома и больше не вернусь. Я это могу.

Самое большое, что я до сих пор получал от В. — это свобода «физического» отношения к женщине, то есть при духовном сближении стыд исчезает и, главное, уничтожается грань между духовным и физическим.

Раньше мне казалось это возможным лишь при сближении с примитивными женщинами, где «духовное» сознание становится ненужным: «пантеизм». А теперь вот именно вследствие этого равенства и постоянного обмена и происходит рождение чувства единства духовного и телесного.

Вычитал из юношеской их переписки, что ее возмущала в то время даже сама постановка Олегом вопроса о применении аскетических приемов против опасностей любви. То и замечательно, что в этом их романе пики острейшие двух разных миров стали друг против друга. Борьба эта закончилась трагично..

Потом пошли долгие черные годы одиночества. Где-то, неведомые ей, шли мои такие же годы. Наконец мы встретились, и теперь я думаю о нашем романе, что два подобных желания или мысли среди миллиона разных людей жили в двух, и этим двум суждено было встретиться, и этой встречей увериться, что это не сон, не поэзия, а так оно и есть, и должно быть.

Замечаю, как В. резко схватывает и ничего не забывает из моих рассказов о себе: это делается силой родственного внимания. И я тоже не по дням, а по часам усваиваю ее во всех подробностях.

В этом и состоит любовь, ее святая природа, это и приводит к тому, что у всех... Но с этим п р о с т ы м результатом никогда не может мириться поэзия монашеская (Олега).

Подозреваю, что та редкая радость (будто разыгралась что-то в душе), радость не забываемая ни годами, ни нуждой, ни оскорблениями — эта радость у нас с ней общая, она и соединила нас. И отсюда наша общая с нею ненависть к удовольствию, замещающему радость. И мы нашлись двое таких. Верно ли?

У нее всю жизнь была борьба за радость на два фронта: против эгоистического удовольствия и против аскетической любви.

5 марта. Со стороны Москвы подхожу к Троице-Сергиеву и в свете вечерней зари необычайной красоты сияет Лавра с древними башнями и церквями. Я вспомнил красивое письмо юноши, навеянное ему любовью к женщине, которую я сам так полюбил.

Я подошел к Лавре и увидел колокольню без колоколов, вспомнил всю мерзость запустения и море злобы, кипящее вокруг древних стен. То, что мне было красотою, в жизни возбуждало злобу, служило источником зла.

Как это могло случиться, что подвиг любви Сергия Радонежского стал источником зла среди людей? Раздумывая об этом, я опять вспомнил письмо юноши и растерзанную страданиями женщину, из души которой он черпал свою любовь к Прекрасному.

А теперь я люблю ее, эту ограбленную...

Но что эта злоба вокруг древних стен! Мне стоит к любому из этих людей подойти, стоит чуть-чуть его обласкать, как откроется, что он — жалкий невольник зла, и стоит протянуть руку — он схватится за нее, чтоб вырваться. Так чего же мне скорбеть о внешнем, обращенном в мерзость запустения, если внутренняя жизнь наша, она здесь налицо передо мной, и небо тоже, и наступающая весна!

А письма... что мне в них, если источник со мной! Я обладаю самим источником красоты. Никогда я ее не чувствовал так, никогда не был в состоянии такого священного ожидания! Мне кажется, я построил прекрасную хорому, и долгожданная вошла в нее, и я сказал ей «люблю», и она мне сказала свое «люблю», и мы ждем, чтобы кто-то третий вошел, и благословил нас, и убедил нас, что мы сами видим любовь, а не только нам это видится.

А это ведь и есть музыкальная тема души этой женщины: «Виджу, или мне это видится? Чего-то не хватает, какого-то «чуть-чуть» недостает до Целого и оттого я не пойму: вижу я или это мне видится...».

Нет, я не пойду в те леса искать дупло, в котором Олег прятал когда-то свою рукопись. Я сам напишу свою «Песнь песней».

6 марта. (Неотправленное письмо).

«Раз в году бывает у нас как на высокогорном снегу: в солнечных лучах можно раздеться и жечь тело в присутствии снега.

Встаю радостный, каким бывал только мальчиком утром в Светлый праздник, и не слышу обычного голоса какого-то сурового и страшного Бога: «можно ли теперь радоваться?».

Спрашиваю себя: — Отчего таким прекрасным мне кажется наступающий день?

И начинаю искать причину моей радости, как утром в праздник искал спрятанный родными подарок. Обезав, ощутив свою радость со всех сторон, я догадался... Как будто в согласии с догадкой моей с утра полетели сверху откуда-то на снег золотые капли. В полной силе пришла весна света, и голубеют в лесу на белом снегу следы зверьков: везде двойные следы, везде гон! И уж не пинь-пинь, как зимой, а полным брачным голосом распевает синица.

Медленно с какого-то случайного облака спускаются и садятся на темно-зеленые ели снежные пушинки. Как раньше я любил весну света, это святое целомудрие любви Мороза и Солнца! Бегая на лыжах по голубым следам пушных зверьков, сколько в жизни своей надышался я этим целебным воздухом весны света. Но теперь больше не завлекает меня неведомая сила бежать вперед по следам. Для меня теперь где-то сходятся в одну точку нити от всего мира, и там эта моя весна сияет как маленькая подробность всего прекрасного.

Мои старые и вечно юные боги весны, неизменно прилетающие каждый год с южных морей,— синие, голубые, зеленые боги,— теперь тоже, как я стремятся в наш общий дом.

Вот теперь и открывается все, отчего я сегодня как мальчик в праздничное утро: сегодня я тоже спешу в тот дом, куда стремятся все прекрасные силы весны. Сегодня иду я к нему. И когда я приду туда, пусть попробует тогда голос сурового и самого великого и страшного Бога упрекнуть меня: — Можно ли теперь радоваться?

Пусть позовет Он меня.

Я не пойду.

И когда еще позовет и, может быть, даже покажет огненный Лик, тогда я сам загорюсь, и Ему покажу свой возмущенный лик и скажу: — Отойди от меня, Сатана! Единственный и настоящий Бог живет в сердце моей возлюбленной, и от Него я никуда не пойду».

Глава 12. ОТСТУПЛЕНИЕ

— Вы меня любите?

— Люблю. Вы верите?

— Верю. Но я вас не люблю.

— Как же быть?

— Мы люди подходящие, и я знаю, что могу быть вам бесконечным источником, неисчерпаемым...

Мы переходили с ней в это время Москву-реку по Каменному мосту.

— Да, конечно,— попробовал я отшутиться, сам не понимая еще, шутит она, или всерьез говорит,— конечно, эта река текла и при Грозном, и какие-то мамонты дочеловеческие к ней приходили напиться...

Она отклонила шутку и строго мне ответила:

— Но вы для меня можете исчерпаться!

— Интересом ко мне, как к писателю?

— Нет! — я в человеке не уверена: вы слишком писатель... Олег был тоже такой: он стремился тоже по прямой, а жизнь наша круглая. Вы напрасно думаете, что ваша линия кривая,— вы обманываете себя.

— Что же делать?

— Если любите — берите какая есть: рискуете.

— А вы?

— Я тоже рискну.

7 марта. Я при Павловне сказал Р. В-чу, что взято три билета на концерт, а если он не пойдет, мы пойдем вдвоем. Павловна вдруг накинулась на меня: «Знаю, знаю, не погуляешь, все разрушу!»

Р. В. был изумлен: — В шестьдесят лет? Это нервы!

После Р. В. нападение возобновилось. И тут я выказал неизвестную самому в себе твердость. Я сказал: мои условия — до гроба к ней мое внимание и благодарность, а если у меня будет связь — я откроюсь.

Чувствую как потупел в своем чувстве жалости к людям: я слишком много жалел...

8 марта. Нам обоим до смерти хочется любить, и от этого мы ужасно спешим и «выпрыгиваем» как рыба из воды. Я это во всем чувствую, ее «не люблю» понимаю как последнее сопротивление разума. Избежать этого я считаю преступлением против жизни. Эта наша связь должна стать связью с землей, Л. должна почувствовать примирение с тварью, и милость, и страстную радость милующего внимания. Этот священный момент (мы должны сделать, чтоб он был священным), при условии полнейшего разгрома моего быта, из-за спешки может не только не сделаться священным, а изуродовать все наше чувство. Вот почему «отсрочка» сейчас необходима, и самое лучшее, если она будет проведена в деловой работе дружной. Кроме того надо работать над созданием возможности жить вместе без помех. Ум же должен сказаться в ритме: не надо спешить, но не надо и зевать.

Ее задушевная мысль — это поэзия любви, что для акта любви нужен тот же талант, как и для поэмы... На свете мало таких озорниц, и как раз мне такая нужна.

9 марта. Она ненавидит размазывать разговор по телефону: «Говорите только, что нужно!» Почему?

Потому что говорю по чужому телефону от соседей и они слушают. А ты по невниманию к моей жизни и это делаешь «за агочным».

И вот звонок: — Не приду завтра. Не пускайте Аксюшу в Загорск.

Написал письмо в тревоге. Мне кажется, что письмо настоящее. Тревога же моя вот в чем: в последний раз за ужином после вина, уходя, она прошептала: «Нехорошо». И я только сейчас понял: нехорошо, что я отпускаю ее куда-то одну на улицу после всего... И после того на другой день взамен пропущенного мгновения — рассуждения.

...Есть опасность, что Л. предложит разделить хотя бы на время. Тогда я могу предаться писанию, увлечься этим — так нарушится здоровый ход нашего сближения.

Если бы Л. умерла у меня на руках — как это легко, как это богато в сравнении с тем, что ушла!

Тревога, что «уйдет». Эта тревога коренится в самом же чувстве. Потому, что и она, когда обрадовалась «Весне света», сказала мне вся в слезах: «Не бросайте меня!» Тревога эта противоположна «счастью», то есть приятности остановки после достижения.

Однако, в чем же ее тревога, почему этот странный звонок? Узнаю, а пока обещаю: ни одного намека никому, о чем мы говорим. Вот когда только я понял то, чему она меня учила: беречь нашу дружбу от «сглазу»!

10 марта. И вот, поди тут! Написал «обещанье» и прямо после этого Р. В-чу рассказал о своем намерении писать «Песню песней», в смысле том сказал, что новым человеком собираюсь жить и на старом ставлю крест. Прочитал ему «Весну света».

— Очень сильная вещь, — сказал Р. В. Но через несколько времени говорит: — Март, апрель — в мае все будет готово.

— Что? — спросил я.

— А «Песнь песней».

Набрав в себя воздуха говорю: — Как бы хорошо я ни написал «Песнь песней», она ведь будет даже в самой лучшей удаче не больше как свидетельство того, что человек ее спел: важен с а м человек, а не его песня. Тогда Р. В. вдруг меня понял. Я же его наставлял дальше о том, что вот в этом смысле и должна расхотиться Церковь с искусством, то

есть, что если на чаше весов сам Бог, а на другой Его изображение,— что тяжелей? Был бы Бог — Рублев явится. А нет Бога — и Рублева не будет.

...Странно, что даже Р. В. не может отделаться от этой многовековой борьбы верующих и неверующих художников с попами за свободу искусства.

Завет себе: для духовной связи с В. и через нее со всем миром хороших людей — обрести свободу от предрассудков интеллигенции в отношении Церкви, равно, как и от предрассудков Церкви в отношении живого настоящего искусства. Словом, чтоб мне самому ни с той, ни с другой стороны не мешали.

Ознаменовать этим мой переход к новой жизни.

11 марта. Р. В. рассказывал, что Павловна знает о каком-то письме Аксюши. Вот она, Аксюша-то! И вдруг стало ясно, почему В. позвонила вчера, и не пришла, и не велела Аксюшу в Загорск пускать.

Так что Аксюша всем насолила: мне, Павловне, В. и стала главным героем романа.

Р. В. сказал, что положение в Загорске такое: если я скажу, что ничего нет у меня — то все будет по-старому. Если же иначе — дверь туда будет мне закрыта. Теперь остается сговориться с Л. Чуть-чуть страшновато; еще бы немного подождать...

Виноват ли я? В Павловне, какая она есть собственница, я виноват: я распустил ее, я смотрел как на ребенка, не переломил, не воспитал и не расстался, когда **надо было** расстаться.

Аксюшу тоже я распустил, создал ей соблазн, и она «сдуру» наделала всем беды. Почему же я, старый дурак, так делал? А вот как это вышло: я лишен способности принуждать людей и дипломатически проводить свою мысль в отношениях. Я могу быть с людьми только равным, считая равными всех. Мне противны педагоги, дипломаты, политики, всякого рода хитрецы и насильники. «Будьте как дети» — есть моя природа.

Виноват ли я, что так создан? И кому было плохо от этого? Всем было хорошо. Кто же виноват?

Могу ли я винить и того, кто пришел ко мне действительно как равный, вытащил меня из детской комнаты на достойное меня место, а дети, лишённые друга, завопили и обнажили не лучшую, а худшую собственническую сторону своей природы? В заповеди «будьте как дети» не хватает какого-то прилагательного к детям, вроде «хорошие дети».

...Так окончилась неопека нашего романа.

Получено письмо В.

«Может быть потому, что мы оба склонны к юмору, не только Ваше «Гебургстаг», но и мое признание совершается через домработницу. Таким образом устанавливается какое-то равновесие: я повторяю Вас, и не преднамеренно.

Я довольна и тем, что Аксюша написала мне оскорбительное письмо — без него я бы долго колебалась. Оно выбило меня в определенность, и хотя новое состояние мне очень тяжело, но зато я знаю — что делаю, а это главное.

Со вчерашне о дня я узнала, что жить без Вас тревожно, места себе не нахожу. Я думаю, это оттого, что я узнала об опасности: нас хотят разлучить. Вы этого, признаться, добивались — вот и получайте: теперь я могу быть только с Вами или совсем без Вас. Расстанусь без слез. И письмо я пишу не для того, чтобы делать пространные признания, а чтобы получить четкое направление дальнейшей жизни и перестать страдать. Мне так много пришлось мучиться в жизни, что я боюсь страданий, ненавижу их, и даже страдающие люди внушают мне сейчас страх и отвращение.

Слушайте внимательно: я решаюсь с радостью на то, чтобы быть с Вами, и не только в благополучии, но и во всех возможных трудностях и несчастьях. Все мои долги потеряли надо мной власть, как только я почувствовала, чего хочу и на что имею право.

Если Вы меня любите не литературно и имеете силы, чтобы сделать все как надо — мы получим свою долю человеческого счастья. Если нет — я прошу Вас ради Бога, еще раз проверьте себя, не обманывайте нас обоих, — я круто поверну, так как должна жить, должна быть здоровой и сильной.

Не бойтесь мне сказать горькую о себе истину, — любить человека, недостаточно меня любящего, я не хочу, — не буду!

...Не сердитесь на Аксюшу — это скорее Ваша, чем ее вина: нельзя требовать от человека большего, чем способно вместить его сердце и ум, и надо самому быть больше человеком, чем писателем в отношении той же Аксюши.

Боже мой! Неужели Вы — не тот человек, и это снова обман? Откуда взять силы, чтоб дотерпеть до конца».

13 марта. Или я нездоров, или может быть так этому и быть: прошло как будто это напряжение, небывалое в моей жизни состояние, — днем и ночью в теле пожар. Тогда все время было «люблю». Теперь «люблю ли ее я не знаю, но кажется мне, что люблю». Немного грустно, зато проходит тревога и рождается свет тихой радости.

Хотя она и кичится передо мной практичностью и рассудительностью, но по существу, так же как и я в порывах своих расточительна, щедра, до «все или ничего». Взять хотя бы эти письма, которые она мне пишет: в них «все» — и ни малейшей осторожности.

14 марта. Мало ли какое сомнение тронуло голову ночью, тогда не можешь заснуть и начинаешь от нечего делать...

А у нас положено ведь все говорить, и такие мы сами, что все стараемся на себя больше и больше худого навалить: пусть знает такого, пусть любит такого, а хорошего-то всякий полюбит.

— Все, все говорите, до конца!

— Если до конца, то вот этой ночью было мне худо от мысли, могу ли я теперь, как раньше, стать с глазу на глаз с природой — я один и природа и сказать: «Да будет воля Твоя».

Она так была ужалена этим, что залилась слезами, съехала с дивана на ковер, повторяя: — «Старик, старик, десять лет тому назад надо было нам встретиться, не понимаешь, старик!..»

Удар мой пришел ей прямо в сердце: она же и есть моя муза, она сама поэзия, и это надо видеть, а кто не видит — тот слепой или старик.

— Старик, старик!

Мне пришлось опуститься с дивана самому на ковер...

Она права: в моих словах выражался мой страх перед новой жизнью и больше ничего.

Вся моя поэзия была как призыв: приди, приди! И вот она пришла, та самая, какую я знаю, лучше той прошлой женщины с какой-то неведомой планеты (Невесты). Так зачем же теперь-то мне обращаться к пустыне и вызывать оттуда на помощь поэзию: она со мной теперь, поэзия, я достиг своего...

Но как же мне было и не отступить? До 13 марта она не говорила ни «да», ни «нет». Ее можно было целовать — это да. Любите? — она отвечала «нет», но и это не было «нет». Она разъясняла, что «нет» относится к ее личному глубокому небесному пониманию земной любви, а так — она почти готова.

И вот, имея только это «почти» я из-за глупости Аксюши вступил с Е. П. в борьбу за свободу и нанес ей почти смертельный удар. Мое положение было очень трудное. Я был на пути русалочьем: идти без конца... И вдруг под влиянием Аксюшиного письма (не могу понять, чем это письмо подтолкнуло!) крепость хоть и не пала, но стала моей крепостью, вошла в ее состав, и оба мы с ней твердыня в борьбе с жалостью.

13 марта было знаменательным днем: В. сожгла все свои корабли, все долги, вся жалость полетела к чертям. Любовь охватила ее всю насквозь, и преграды оказались фанерными. Все рушится. За ужином мы все объявили Аксюше. Она с виду была спокойна и обещала хорошо служить. Но когда я, проводив В., вернулся домой, бедный «Вася» рыдал в истерике. Взглянет на Боя, и зарыдает, взглянет — и зарыдает. Я ухаживал, мочил голову, давал валерьянку, а сам внутри ничего не чувствовал, я связан личным чувством, я прав...

Окончание следует.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ГЕННАДИЙ АЙГИ	Из книги «Поле-Россия». Стихи	3
ДЖУМА АХУБА	Кто бросит камень. Роман. С абхазского. Перевод Г. Ковалевича	7
ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА	Тайные тризны. Стихи	70
МАМЕД ИСМАИЛ	Свет. Стихи. С азербайджанского. Перевод А. Кушнера	73
МАРК АЛДАНОВ	Истоки. Роман. Вступительное слово и примечания А. Чернышева	75

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ	Одиночество. Стихи. Публикация Н. Н. Глазкова	168
М. М. ПРИШВИН	Мы с тобой. По Дневнику 1940 года. Продолжение. Составление и сопроводительный текст В. Д. Пришвиной	262

НАЦИЯ И МИР

	Русская культура на перекрестке мнений. Сессия совета «ДН» по межнациональным отношениям. Окончание. В обсуждении приняли участие: Г. ГУСЕЙНОВ, Б. ХОЛОПОВ, М. РЯБЧУК, Н. ИВАНОВА, Ю. КАЛЕЩУК, Л. МКРТЧЯН, С. БАРУЗДИН	172
ВЛАДИМИР МЕДВЕДЕВ	Праздник общей беды	197

ПУБЛИЦИСТИКА

ЯКОВ ЛИБЕРМАН	Форс-мажор инфляции	227
---------------	---------------------	-----

КРИТИКА

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ	Наследие и наследники	249
-------------------------	-----------------------	-----

К НАШЕЙ ВКЛЕЙКЕ

ЛАНА ШИХЗАМАНОВА	«И разлил он краски жизни...» Из произведений Мир Надира Зейналова	223
------------------	--	-----

НА ОБЛОЖКЕ:

на второй и
третьей страницах —

М. СТРАТИЛАТ. Экслибри-ы.

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ДРУЖБА НАРОДОВ»

В моей статье, опубликованной в № 5 за этот год, допущена досадная неточность. На странице 171 говорится: «В официальной идеологии царили Суслов, Ильичев, Пономарев». В действительности Пономарев не был в числе руководителей идеологической деятельности.

Чтобы исправить эту неточность, необходимо читать следующий текст: «В официальной идеологии царили Суслов, Ильичев».

С уважением —

С. ХРУЩЕВ

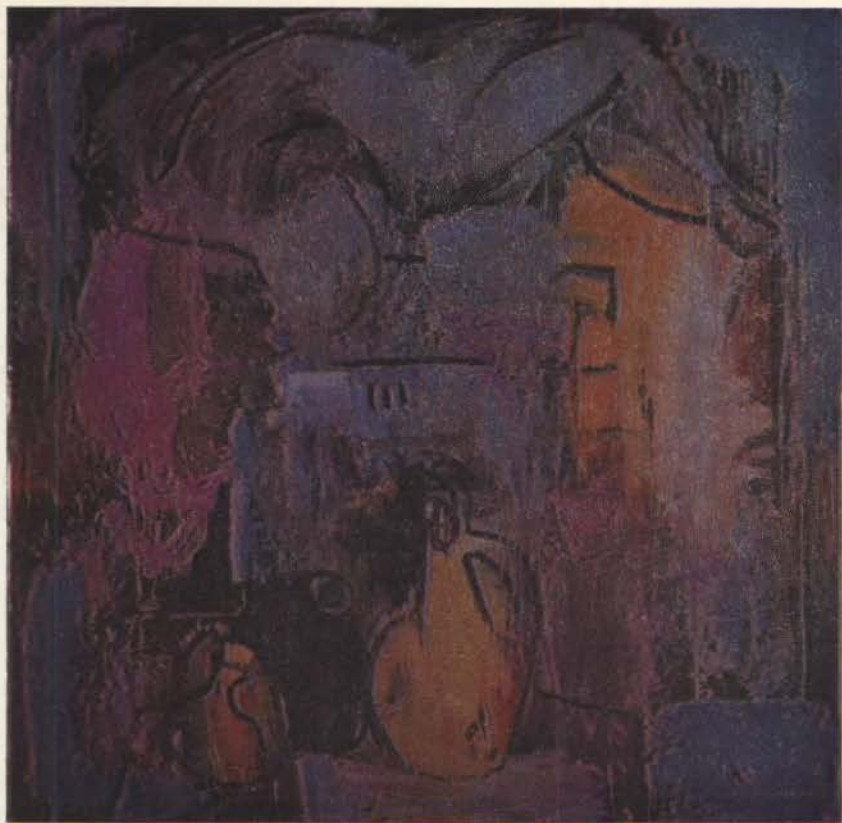
ПОПРАВКА

В исследовании Ж. Нива «Солженицын» («ДН» № 5, 1990) допущена ошибка в цитате из стихотворения Хомякова (стр. 245) переставлены строки. Следует читать: «Не говорите: «То былое, То старина, то грех отцов, А наше племя молодое Не знает старых тех грехов». Нет! этот грех — он вечно с вами...» — далее по тексту. Редакция приносит извинения автору и читателям.

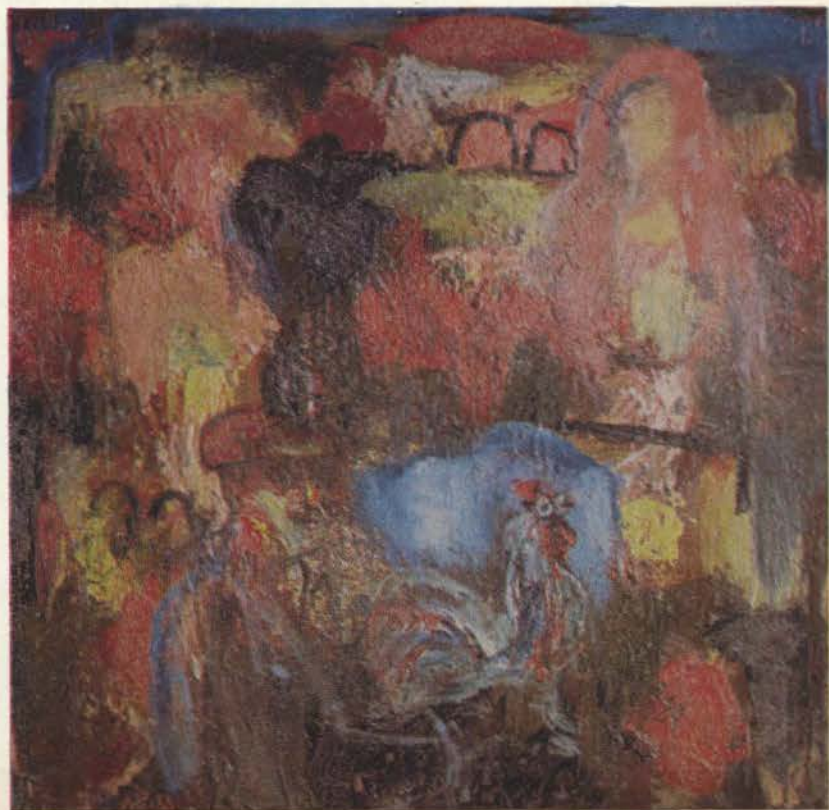
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении. Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографии-изготовители, указанные в выходных сведениях журнала.



Вдохновение.





Фантастический пейзаж.



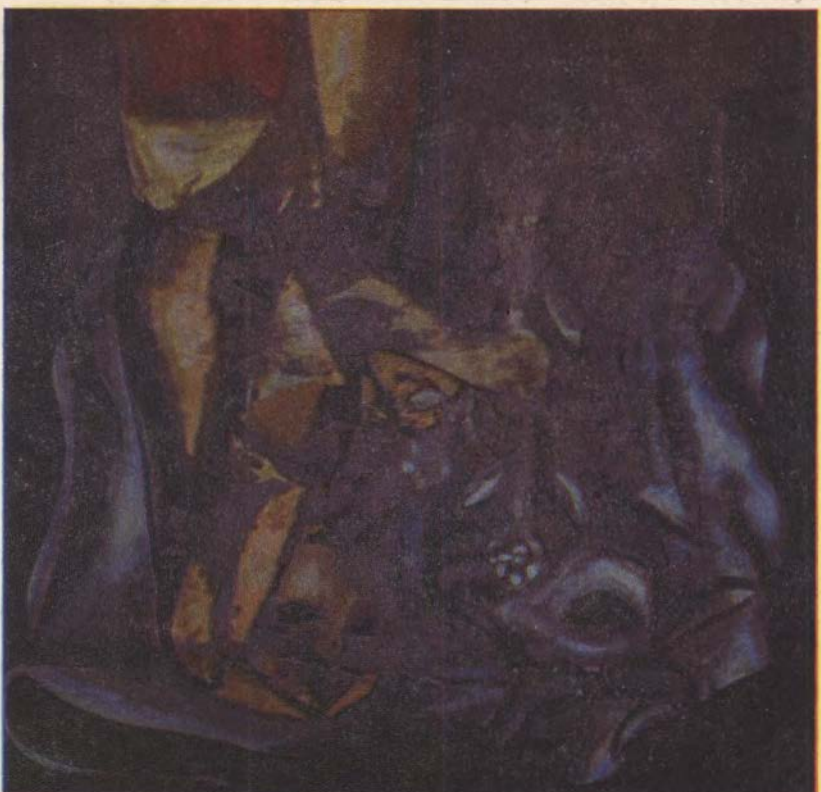
Заброшенное селение.

Композиция.



Посвящение.





Поллифония.



Кормление священного быка.

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИИ МИР НАДИРА ЗЕЙНАЛОВА

МИКОЛА СТРАТИЛАТ



Украинский художник Микола Стратилат родился в 1942 году на Черниговщине. В 1972-м закончил графический факультет Украинского полиграфического института имени И. Федорова. Член Союза художников СССР с 1980 года. Постоянно участвует в республиканских, всесоюзных и зарубежных выставках.

Творчество М. Стратилата глубоко национально: родная природа, мотивы и сюжеты, почерпнутые из книг украинских писателей, реминисценции из живописи Т. Шевченко составляют основу многих его гравюр и экслибрисов. В них динамичная перекличка черного и белого порой звучит ностальгической нотой по былой красоте Малороссии (циклы «Ніч яка місячна», «Кнів. Сторінки історії»), иногда же создает трагический диссонанс, как, например, в цикле «Екологія Шевченківського краю». Вместе с тем в по-классически строгих листах его графики возникает ощущение цвета: то серебристого мерцания Дняпра под луной, то розово-пепельного цветения садов.



Екслибриси.

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ!

Журнал во второй половине 1990-го
и в 1991 году публикует

Романы и повести:

С. АЛЕКСИЕВИЧ.

ЧЕРНОБЫЛЬ.
Документальное повествование.

Г. БАКЛАНОВ.

СВОЙ ЧЕЛОВЕК.
Повесть.

А. ЛЬВОВ.

ДВОР.
Роман писателя, ныне живущего в США,
своеобразный «срез» советской действитель-
ности на примере жизни Одессы за последние
пять десятилетий.

А. РЫБАКОВ.

СТРАХ.
Вторая книга дилогии «Тридцать пятый и другие
годы», продолжающая роман «Дети Арбата».